

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1993

3

1993

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3 (815)

Март, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРИНА КУДИМОВА — Искра звенит по проводу, стихи	3
ВЛАДИМИР ШАРОВ — До и во время, роман	6
ЕЛЕНА ШВАРЦ — Мартовские мертвецы, маленькая поэма	78
МАРИНА ПАЛЕЙ — Рейс, рассказ	82
ЕВГЕНИЯ КУНИНА — Франческа да Римини, лирическая трагедия	96

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

А. В. — Орган ретрансляции. По страницам «Северо-Востока»	103
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Россия, которую мы обретаем...

ВИКТОР ЯРОШЕНКО — Попытка Гайдара. Помесячные записки историографа «правительства реформ»	107
---	-----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ПАВЕЛ ПЭНЭЖКО — Конверсия по-нижегородски	142
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АРИАДНА ЭФРОН — «А душа не тонет...». Публикация, подготовка текста и комментариев Р. Б. Вальбе	159
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ — Геббельс. Портрет на фоне дневника. Продолжение	195

(См. на обороте)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — «Ты опоздал на много лет...». Кто герой «Поэмы без героя»? 216

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Литература и искусство* 227

Владимир Микушевич. Дар черного дня.
 Ю. Шрейдер. Сюжет: выжил.
 Ю. Каграманов. «Жизнь... дрожит полнотою».
 Б. Дубин. Чтение и общество в России.
 О. Майорова. О пользе дилетантизма.
 Евгений Добренко. Порнология, или Философия «в шелочку».

КОРОТКО О КНИГАХ:

- Георгий Вирен.— I. «Теплый стан». Современный альманах. 249
 II. «Здесь и теперь»

- ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 253

- SUMMARY 256

Редакция «Нового мира» поздравляет члена редколлегии журнала, писателя, доктора юридических наук, профессора Зуфара Максумовича ФАТКУДИНОВА со знаменательным для него событием: Международный биографический центр в Кембридже (Англия) присвоил ему звание «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК ГОДА 1992—1993 гг.». Это звание присваивается за выдающиеся достижения одновременно в нескольких областях — науке, литературе, образовании и т. д., — и биография лауреата помещается во Всемирную энциклопедию «Кто есть кто».

Редакция «Нового мира» поздравляет члена редколлегии журнала Андрея Георгиевича БИТОВА с присуждением ему Государственной премии Российской Федерации (1992) за книги «Пушкинский дом» и «Улетающий Монахов». Нам особенно приятно отметить успех нашего постоянного автора, поскольку ранее роман «Пушкинский дом» был — впервые в России — напечатан в «Новом мире».

МАРИНА КУДИМОВА

*

ИСКРА́ ЗВЕНИТ ПО ПРОВОДУ

* *
*

Кто кормился разбоем в ненастную ночь —
Пусть тому приговор объявляет судья.
А о том, кто боролся с грехом в одиночку,
Умолчу, ибо знаю его, как себя.

О себе и скажу милосердному Богу, —
Я — песчинка в пустыне, а Он — Сам-большой:
Мол, пока что никак рассчитаться не могут
Протестантская жизнь с Православной душой.

* *
*

Одержание там и голод —
Как-нибудь!
Заколотся или заколот? —
Вот в чем суть.

Бьет царича мамку чумичкой,
Как супруг учил — плотояд.
Заигрался младенец в тычку —
Извиняйте за недогляд.

Распалится сонная зыбель,
Перекинется за предел.
Углич, ты себе на погибель
За ребенком недоглядел.

Кровью Рюрика отсыревши,
Кровью собственной впредь говей.
В черной немочи сшиб царевич
Полтораста твоих церквей.

Как отец научил, кромешник,
Что с замахом наискосок
Вороной унзил наконецник
Брату старшенькому в висок.

Он бесказния не боится —
Темен разумом, сердцем чист, —
Самодержец-детоубийца,
Самодержец-самоубийца,
Самодержец-царевубийца, —
Что ему бомбист-нигилист!

Заколотся — и прочь затей!
Только звяцает на всю степь

Ожерелье на детской шее,
Адаманская его крепь...

Лохонишко наше, червишко,
Обыденный поденный плен...
Углич, ну как не тот мальчишка
Погребен, а потом явлен?!

И, выходит, смилив натуру,
Временщик пожалел дитя,
И теряем литературу
Мы, историю обретя?

И махался огонь беспальный,
И предсказанный мор морил,
А во гробе святитель малый
Самозванно чудотворил.

И молился у Одигитрий
Колчеруконым чернецом
Без малейшего лже-Димитрий,
Венценосным зачат отцом?

Но Ипатьева дома холод
И мозжит и знобит с тех пор,
И свидетельствует: — Заколот! —
Пятигласный ребячий хор.

И не чует народ отхожий
В крике петела ничего,
И трикрат государь-надежда
Отрекается от него.

* * *

Что мне сказать вам в напутствие —
 Тем, кто приходит молчать?
 Литературу в отсутствие
 Выпало мне изучать.

Больно из времени оно
 Бьют в циклопический глаз:
 Это у вас от Платонова,
 Это от Бродского в вас!

Слезы текли, и от сырости
 Стала оскальзывать плоть.
 Глядя на лес ли, не вырасти?
 Глядя на щепки ль, соглеть?

Перестилала по досточке
 В брошенном доме полы.
 Ворон не нашивал косточки,
 Выпь не кричала из мглы.

Мрели в углах белошники,
 Цвел на стене иммортель.
 Но собирались помощники,
 И составлялась артель.

Спросит прохожая странница
 Или пролетный ящик:
 — Тут за кого так стараются?
 — Тут — за отсутствующих.

Чтоб, например, к возвращению
 Было готово жилье.
 Им обрядим помещение —
 Примемся и за свое.

Стала начитанность массовой,
 Умствует всякий дурак:
 — Это у вас от Некрасова... —
 Господи, если бы так!

Крышу покрыли, отстроились,
 Холки намяли, горбя.
 Хоть бы теперь успокоились,
 Пожили бы для себя.

Только пространства огромные,
 Только истек документ.
 Так и гуляем — бездомные,
 В торбе таскаем струмент.

Бурсы предстанут лицами,
 Запад свернет на восток,
 Скинутся тюрьмы музеями, —
 Наша работа не впрок.

Правый укажет неправого,
 Тот заполучит свое...
 — Это у вас от лукавого!

— Очень возможно, месё...

* * *

Рванина рьяная,
 Судьба моя решенная!
 Свиныня пряная,
 Говядина тушеная...

Житуха дачная
 На Сетуни, на Сороти
 Да связь внебрачная,
 Оставленная в городе.

Тоска невместная,
 Реальности причастная.
 Любовь безлестная,
 Душа моя тричастная!

Как ты окислена
 Курсированьем грехотным
 Между помысленным,
 И яростным, и похотным.

Как в землю впаяны
 Лета твои аредовы...

Зовут хозяина
 А ну — Мотай — Отседова.

Колено хамово
 Ему претит увечностью,
 Но он — то ж самое —
 Равняет ветхость с вечностью.

Приятен с дамами
 И под ноги не харкает,
 Но — то же самое —
 Не понял иерархии.

Иду до станции,
 Искра звенит по проводу.
 Кому достанутся
 Резоны все и доводы?

Свобода шумная
 И боль переносимая...
 Молитва умная.
 Отечество незримое.

* *
*

За каинство, за мельтешенье,
За истину не по уму
Прощения и разрешенья
Народу прошу моему.

В белесое марево вперясь,
В насельное небытие,
Я думаю: в чем моя ересь
И в чем нестроенье мое?

Гремят буферов тулумбасы,
И пролеси клонит к зиме,
И как на расстреле колбасы
Стоят в переметной суме.

И клянчит валюты, валюты
Подученный уркой юрод...
Состав обречен с той минуты,
Как задом пошел наперед.

Но так затянулось крушенье,
Что в толк ничего не возьму.
Прощения и разрешенья
Желаю я праху сему!

Сама — только пыль его пыли
Я в пику сапожным пятам,
Что мне на глаза надавили,
Смотрю в поднебесье.

А там

Глаголеобразным извивом,
Как птичий, но ярче на свет,
За отроком кровоточивым
Немеркнувший тянется след.



ВЛАДИМИР ШАРОВ

*

ДО И ВО ВРЕМЯ

Роман

Впервые я оказался в этой больнице в октябре 1965 года, кажется, восемнадцатого числа. Класть меня тогда не должны были. Речь шла о том, чтобы работавший в клинике профессор Кронфельд частным образом меня проконсультировал и подобрал таблетки ко всему моему «букету». От метро, как и было велено, я пошел наискосок, через пустырь и неогороженные строительные площадки; народу здесь ходило много, и снег, выпавший вчера ночью, был уже хорошо умят и утоптан, местами даже накатан до льда. Пейзаж был совершенно нежилой: едва кончились котлованы и неровные штабеля бетонных плит, пошли склады, гаражи, овощебазы — недалеко текла прежде судоходная Яуза, тут же была железная дорога, и все это по традиции лепилось вокруг.

Я знал, что если срезать угол, мне надо будет идти минут двадцать — двадцать пять, но шел я уже больше получаса, а нужной улицы не было. Тропинка была узкая, скользкая, и, конечно, я шел медленнее обычного, и все же ей пора, давно пора было кончиться. Тот срок, на который я себя настроил и который готов был идти вот так, все время боясь упасть, все время балансируя, как клоун, руками, истек; я устал и злился, что не пошел другой, более долгой, но куда более спокойной дорогой. Можно было не пробираться через эти склады и стройки, а обойти их по двум широким улицам, которые чистили и по которым было не опасно идти. Я был уверен, что заблудился, ругал себя последними словами, едва не плакал. Ситуация вряд ли этого заслуживала, но я шел к врачу, шел в психбольницу, не знал, что он мне скажет и как решит мою участь. Конечно же, я нервничал и жалел, что вышел из дома впритык, длинным надежным путем идти уже не мог и пошел этой неровной неверной дорогой.

Все же Бог есть. Я еще плутал между гаражами, старательно обходя колдобины, грязь, когда и земля, и дорога, по которой я шел, и этот недостроенный лабиринт, даже снег разом запахла ванилью и свежей горячей выпечкой. Впереди, совсем рядом была хлебопекарня, мне ее называли как ориентир, говорили, что она стоит на той же улице, что и больница, за три дома до нее.

Запах ванили — это запах моего детства, тот запах, в окружении которого я был зачат, выношен и рожден, так пахли и моя мать, и бабушка, и наш дом — словом, все, что было в моей жизни хорошим и добрым. Свои первые шесть лет я провел на улице «Правды» — это там же, где до сих пор знаменитая цыганами гостиница «Советская», напротив огромного кондитерского комбината «Большевик»; отсюда и шел этот дух, и я, сколько себя помню, всегда был уверен, что комбинат потому носит это имя, что большевики такими и были — мягкими, сдобными и сладкими.

Мать моя страстно любила шоколад, у нее были длинные, тонкие пальцы, ногти она красила фиолетовым лаком, и когда за чашкой кофе с одной из своих многочисленных подруг она брала из цветастой коробки ромбики и башенки шоколадных конфет, это было очень красиво. В три года я узнал, что наборы конфет выпускает фабрика, называемая «Большевичка», и это окончательно утвердило мое представление о большевиках — все равно, кто они — мужчины или женщины — и даже, если нужно, разрешило столь важный в детстве вопрос, откуда они берутся и как рождаются. Картина мира была построена и завершена.

Известно, насколько крепки в нас первые впечатления детства: уже после института, в сущности, взрослый мужик и достаточно опытный журналист, я всякий раз, как мне приходилось писать о большевиках, невольно делал их

мягкими и сладкими, а потом долго мучительно переписывал, и все равно, какими должны быть, они у меня не получались. В общем-то, это понятно: я продолжал жить в другом мире, и было похоже, что так в нем и останусь. Из-за этих большевиков в нашей газете меня считали как бы дурачком, хотя относились, пожалуй, хорошо. Очерки, которые я писал, пойти в первоизданном виде, конечно, не могли и не шли, но одно достоинство в них все же имелось: герои были написаны с такой неподдельной любовью и нежностью, что наши старые газетные волки говорили, что завидуют моей неиспорченности и искренности. Увы, она сразу же пропадала, едва кто-нибудь пытался выправить текст.

Я понимал, что все это долго продолжаться не может: несправедливо, что кому-то приходится фактически работать за меня, — и года через два уволился. Шаг этот дался мне нелегко, я любил все связанное с газетой, самый дух ее, да и идти мне, в сущности, было некуда. К тому времени ненапечатанных очерков и рассказов у меня скопилось великое множество, и я, то здесь, то там занимаясь поденкой и халтурой, медленно дрейфовал в поисках изданий, которые бы устроил мой взгляд на жизнь. В конце концов я нашел их, нашел там, где, собственно говоря, и должен был найти, — нашел, вернувшись с моими большевиками в детство, туда, откуда и они и я были родом.

Ныне минуло уже десять лет как меня охотно печатают — охотнее многих моих старых знакомых по газете — и в «Пионерской правде», и в «Мурзилке», и в «Костре», а особенно в «Малыше». Те первые книжки, которые читают детям и дома, и в яслях, и в детских садах, — мои, потому что в них есть мое собственное детство, есть доброта, есть нежность, потому что большевики у меня похожи на маму, добрую, ласковую маму, и, конечно, дети любят их и готовы слушать эти книги еще и еще. Потом, как и все, мои читатели вырастают, узнают мир, понимают, что коммунисты не только и не всегда были добрыми и мягкими, но любовь к ним остается. В общем, стыдиться мне нечего, я всегда писал честно, писал то, что думал, хотя, может быть, сейчас это и выглядит немного наивно.

Книжки о Ленине в конце концов сделали мне имя, и я незадолго до всей этой истории вдруг получил сразу два чрезвычайно лестных предложения. Предложения, о которых прежде не мог и мечтать. Много лет назад, еще в институте, я написал дипломную работу о замечательной французской писательнице Жермене де Сталь, продолжал дальше собирать о ней материалы и даже в свое время отнес в издательство «Молодая гвардия», в редакцию, которая выпускает серию «Жизнь замечательных людей», заявку на книгу о ней. Разумеется, тогда из этого ничего не вышло. Теперь же, когда я думать забыл об этой заявке, «Молодая гвардия» неожиданно прислала мне письмо, где в обрамлении множества реверансов говорилось, что если я не передумал, издательство готово подписать со мной договор: книга о мадам де Сталь уже в плане.

А ровно через месяц (я только успел взяться за Сталь) Политиздат предложил мне стать автором другой популярнейшей в Союзе серии — «Пламенные революционеры». Причем было заявлено, что моя репутация столь безупречна, что и герой и эпоха — все будет по моему выбору. Впрочем, эти наполеоновские планы — в прошлом, за последние три года я не написал ни страницы и кормлюсь лишь гонорарами за переиздания.

Территория больницы была довольно велика, здания разной архитектуры и разной, но блеклой расцветки стояли безо всякой системы вокруг большой центральной клумбы, которая сейчас, в конце осени, была покрыта желтой с проплешинами травой, уже присыпанной снегом, и остатками разбитых на квадратике цветов. Корпус, куда я шел, был из блочных построек последних лет, стоял он ровно против ворот, и я, поднявшись на нужный мне седьмой этаж, убедился, что пришел вовремя. Но спешил я зря. Кронфельд был занят, у него был обход, задержавшийся из-за министерской комиссии, и медсестра передала, что он сможет принять меня не раньше чем через час. Засим дверь в отделение была заперта, и я остался один в маленьком, почти как терраса, светлом то ли коридорчике, то ли предбаннике.

Это было нечто вроде западни — ни вызвать самому лифт, ни спуститься по лестнице было нельзя. Окно коридорчика выходило на Яузу, река здесь была совсем узкая, набережная — высокая гранитная стена — почти перекрывала от меня воду. Поверху парапет был достроен недавно валиком снега, и оттуда, из глубины, как журавль деревенского колодца, торчала стрела плавучего крана. Я

стоял, смотрел на него и все думал, что вот сейчас он начнет кланяться или хотя бы повернется, но так и не дождался.

Мне всего сорок пять лет, однако три года назад у меня после травмы черепа — я поскользнулся на льду около автобусной остановки и упал — начались провалы памяти. Два-три раза в год я уходил из дома и не возвращался. Родным, когда они, разыскивая меня, обезжали морги, дежурили в милициских справочных, говорили, что живым они меня вряд ли когда-нибудь увидят, но потом, через несколько недель, иногда месяцев я находился или арестованный за бродяжничество без документов и, конечно, без денег в каком-нибудь неблизком КПЗ, чаще всего почему-то на юге (меня с детства тянуло на юг, к морю, это — несомненно), или в одной из местных психиатрических клиник. Обычно я был крепко избит, весь в ссадинах и кровоподтеках, — когда милиционерами, когда санитарями (говорили, что в этом состоянии я беспокоен, порой даже буен), когда неведомыми попутчиками в странствиях (хотел бы я хоть раз посмотреть на себя в это время со стороны: как я и что я). Потом дома я долго болел, но в конце концов все же отходил, от природы я вообще весьма здоров, и даже память ко мне возвращалась, хотя сначала я не мог назвать ни своего имени, ни фамилии.

В общем, все пока возвращалось, и мне не тяжело это было и не мучительно, я легко это делал, легко, как нитку разматывал. Я видел, что матери и тетке очень нравится вспоминать вместе со мной то, что было, и чувствовал себя снова ребенком, за которого, когда он оправляется после тяжелой болезни, все радуются, прямо светятся, видя, что он выздоравливает. Но перспективы у меня были плохие — по рассказам врачей, многих из подобных мне убивали уголовники, других калечили так, что поставить их на ноги было уже невозможно, третьих — милиция нами заниматься не любила — не находили по году и больше, а главное, память моя после каждого нового приступа должна была восстанавливаться все медленнее и труднее, в конце же концов мне грозила полная амнезия. Собственно, страх перед ней и привел меня в больницу к Кронфельду.

В отделении, у дверей которого я теперь ходил, испытывался препарат, радикально, по слухам, просто чудодейственно улучшающий кровообращение мозга, а моя болезнь как раз была связана с тем, что после травмы многие сосуды были повреждены и кровь по ним не шла. Это новое лекарство было моим шансом — я это понимал. И все же тот час или немного больше, что длился обход, дался мне с трудом. Не так уж долго я был в этом предбаннике и не так уж там было страшно: лифты приходили и уходили, за стеклянными дверями все время мелькали люди, можно было их окликнуть, позвать, попросить открыть, даже, на худой конец, можно было закричать, и пришел бы, прервав обход, врач, — все было возможно и была бездна самых разных выходов, но я за последние месяцы так измотался, что сил уже не осталось.

Первые год-два я крепился, меня хватало даже на то, чтобы относиться ко всему этому с иронией, я острил, что, теряя память, очищаясь и это прекрасно: всякая дрянь, мерзость уходит, и я снова, как младенец, невинен и чист. Это и в самом деле было верно. Кроме того, болезнь пока протекала куда легче, чем у других; ведь память быстро восстанавливалась, полностью восстанавливалась и не было никакой потери интеллекта. Может быть, спасала куча витаминов, которые мне ежедневно скармливала мать, во всяком случае, думал я явно не хуже, чем раньше. Словом, и после падения долго все было терпимо, а потом я как-то разом устал. Я начал ждать новых приступов, стал ловить их, стал их больше и больше бояться и за несколько месяцев себя довел. Врачи считали, что мне нельзя переутомляться, я теперь во всем слушался врачей, ограничивал себя, все время видел, что нет, это я не могу, на это сил у меня не хватит, и вдруг понял, что я старик.

Но я еще держался, когда вокруг умерли сразу несколько близких мне людей, и все они умерли такими одинокими, словно у них был только я, и все; и это одиночество людей, и то, что всех их я теперь должен был помнить, они как бы брошены на меня, я не выдержал и сорвался. Нашли меня где-то за Тулой на вокзале, избитого, ограбленного, и только через месяц опознав, привезли в Москву.

Еще полгода я болел: у меня были отбиты почки, правда, не сильно, и врач, который всю болезнь меня вел и знал лучше, чем я сам, сказал, что впервые, отходя от своего припадка, я не хотел отходить, не хотел ничего вспоминать. Я

устал терять и хотел остаться без памяти. Он говорил, что раньше во мне была бездна оптимизма, будто это все ерунда, недоразумение, а теперь он видит, что мозг как бы приспособился к болезни, научился ею пользоваться, освоился в ней, и теперь лечить меня будет куда сложнее, потому что сам я ему больше не помощник. Было и еще одно. Я понимал, что таблетками дело не кончится, рано или поздно, если меня где-нибудь не убьют, я наверняка сделаюсь пациентом отделения старческого склероза, а я знал, что это далеко не самое приятное место на свете. Я вдруг осознал то, чем меня давно пугали: меня ждет — и скоро — маразм, потому что основная магистраль моей болезни именно к нему и ведет. Раньше меня такая перспектива лишь забавляла, тема «я среди склеротиков» казалась мне хорошей шуткой, я даже любил поговорить об этом. В конце концов, мне было только сорок пять лет.

Теперь же, когда то, что я лягу в больницу, подошло вплотную и мне уже некуда было деться, я сам себя сюда загнал, я вдруг увидел, что, останься здесь, я разом теряю все, становлюсь человеком, с которым можно делать что угодно. Еще недавно, до последнего припадка, я не боялся ни клиники, ни полной зависимости от санитаров и врачей, ни даже смерти среди вставших в детство стариков, а только беспамьятства. Память была моим больным местом, и я боялся лишь того, что было с ней непосредственно, напрямую связано, на большее меня не хватало.

Пожалуй, с начала болезни ее следствием было то, что моя жизнь стала замыкаться, возвращаться назад: я все более и более ценил то, что уже было, то есть уже прожитое; память сделалась центром моего мира, я терял ее так мгновенно, что это больше всего походило на смерть. Смерть ждала меня сзади, а не в будущем, и я почти инстинктивно пошел тоже туда — назад, в прошлое. Этот поворот и все более явная и для меня самого, и для моих близких обращенность моей жизни вспять вовсе не были, как я боялся вначале, пустым и бессмысленным повторением пройденного. Не знаю почему, может быть, потому, что я шел с другого конца, но эта жизнь была совсем другой и совсем другие вещи имели в ней значение. Почти сразу я обнаружил, что многое необъяснимо, многое было прожито мной как бы предварительно, пунктирно, совсем не понято и не оценено. Теперь же все это мне возвращалось.

То был, конечно, щедрый подарок; никак не меньше нескольких лет я брал от него день за днем, а он не убывал. Его даже становилось больше. И я, видя это, временами едва ли не радовался своей болезни. Врач мой был прав: я приспособился, привык к ней, в общем, смирился и больше ни на что не роптал.

И все же что-то во мне еще продолжало надеяться на выздоровление, на возвращение к нормальной жизни, был еще какой-то очаг сопротивления, именно в нем зародилась идея — возможно, мой же врач, знавший, как я сорвался, ее и внушил, — что память мне самому не нужна, пускай ее не будет вовсе (в то время, когда я по месяцу и больше пребывал в беспамьятстве, я узнал, что можно жить и так); но память моя должна, и главное, у меня есть на это силы, сохранить тех, кого знал лишь я или, во всяком случае, готов был помнить один я. В реальной жизни в нас не так много ростков альтруизма, чтобы я эту мысль — мой долг их всех запомнить и продлить хотя бы на собственную жизнь — не подхватил, она и стала тем знаменем, под которым я все еще сопротивлялся болезни. Сыграла здесь роль и другая давняя история.

В двенадцать лет, 3 мая, в день своих именин, я впервые причащался, а примерно через неделю после этого события, которое и сейчас люблю вспоминать во всех деталях, случайно услышал разговор отца с одним из его друзей о только что вышедшей статье, посвященной «Синодику опальных» Ивана Грозного. Помню, что тогда сама идея, сама возможность такого «Синодика» поразила меня. Тридцать лет человек бестрепетно убивал себе подобных, зная, что они ни в чем не повинны, и вот на смертном одре он начинает их вспоминать и на помин души каждого оставляет некую толику денег. Кого-то он вспоминает сам, кого-то вспомнили те, с кем он убивал, но многих они, конечно же, вспомнить не могли, они даже имен их не знали, потому что убивали их безымянными; и вот, понимая это, Иван оставляет деньги и на помин души тех, кого, как он пишет, «Ты, Господи, и Сам ведаешь». Ночью, после того разговора, мне пришла в голову странная мысль, что человек может убить другого человека и совсем просто — человека невинного и безгрешного — именно потому, что

есть Воскресение, что есть кому вспомнить и воскресить убитого. И еще я вдруг понял, что смерть — это возвращение к Богу, возвращение после долгих и трудных испытаний, после свободы воли и ответственности; об этих предметах отец любил говорить со мной лет с семи, это было как бы возвращение из взрослой жизни в детство или даже в материнскую утробу, словно туда и вправду можно вернуться. И главное, для Господа ничего не было напрасным, ничего не пропало, не сгнуло, и Он хочет, чтобы и для нас, людей, тоже ничего не было напрасным. Мне казалось, что это ясно следует из «Синодика», но для чего это, для чего на земле должна была остаться память об этих людях, почему были записаны их имена, а не обо всех равно сказано: «Господи, ты Сам их ведаешь», — я не понимал, да и сейчас понимаю нетвердо. Тогда же я лишь подумал: неужели мы и вправду все останемся, неужели и вправду мы ни в огне не горим, ни в воде не тонем и казнить, убить до смерти нас тоже невозможно?

К тому времени, о котором сейчас пишу, я уже много лет, во всяком случае, столько, сколько себя помнил, любил Христа, и, как ни странно, любовь к Нему совсем не мешала мне любить Ленина. Я не знаю точно год, когда я узнал о Христе, узнал о Его страданиях и мученической смерти, но возлюбил Его я сразу, возлюбил и душой, и плотью, и кровью, и помыслами, и мне казалось, что так было всегда, то есть я Его всегда знал и любил и всегда Он был со мной. С тех пор я слышал много здравых рассуждений о том, что нельзя одновременно любить Ленина и Христа — или одного, или другого, что сам Ленин не любил или даже ненавидел Христа, да и Христу, доведись Ему встретить на Своем пути Ленина, тот вряд ли понравился бы. Но это их личное дело, меня оно даже не должно касаться. Можно сколько угодно смеяться, что я, дожив до седых волос, люблю Ленина, но это так, я его действительно люблю и действительно люблю Христа, и верю Христу, и Ленину тоже верю, и благодарю Бога, что мне дан этот дар любить, а другой дар — анализировать, все время метаться и спрашивать себя, за что я его люблю и стоит ли он моей любви, дан меньше.

Единственное, что омрачало в детстве мою любовь к Христу, это мысль, что я за малостью лет и малостью моих грехов не должен много к Нему обращаться, а мне хотелось это все время; даже не должен часто Ему молиться, потому что так я отнимаю Его у людей, которым гораздо хуже, чем мне. Я знал, что подобных бедняг много, куда больше, чем веселых и счастливых, и все же в моем детстве было так мало настоящего зла и горя, что я этих несчастных, у которых осталась одна надежда — Христос, понимал плохо, и, как ни странно, первым, кто объяснил мне, что это за люди, был все тот же Грозный. После разговора о «Синодике» я каждый день, а бывало, и по многу раз в день — мне это очень нравилось — стал представлять, точнее, даже разыгрывать в себе, как он умирает. Я представлял, как на смертном одре, перед лицом Господа этот страшный человек раскаивается и понимает, что убивал невинных. Он плачет, он молит Господа о милости, о прощении, он кается, он жертвует деньги на помин убитых им душ и сам понимает, как это мало. Только одно было ему дано в жизни — творить зло, он мог убить тысячи тысяч, но воскресить не способен никого. Сколько бы он дал сейчас, чтобы спасти хотя бы единственного из им казненных: уж во всяком случае, свое право убивать отдал бы, не задумываясь, но увы! Впервые он видит всю свою мерзость, всю греховность, и это как бы торжество покаяния, торжество веры в Бога и страха перед Ним, перед Его могуществом, и смирение, и трепет, и не потому, что он боится вечных мук, — может быть, впервые он даже не помнит о них — нет, просто он понимает, как велик и праведен Бог и как мал и ничтожен он сам.

Я очень живо представлял себе терзания Грозного, я очень любил себе их представлять, и, пожалуй, это — то, что я придумывал, — и было для меня христианством, во всяком случае, самым живым из того, что я знал тогда в вере. Молитвы и обращения Ивана к Богу были для меня ярче и убедительнее собственных, я и молился обычно не за себя, а за него, часто и от его имени: мне нравилось и я верил, что я, ребенок, чистая душа, спасу его, вызволю из ада, но главное, почему я за него молился, — во мне тогда крепко засело, что покаяние соразмерно греху и так же, как я не мог сравниться с Грозным во зле, я не могу сравниться с ним в покаянии и в вере.

Отпечаток тех детских молитв, конечно же, остался, да, наверно, не только отпечаток. Вряд ли я ушел от всего этого слишком далеко. Вот и сейчас, когда я, начиная работу, раздумываю, как назвать эти записки, первое, что приходит

в голову, это — что в древнерусской литературе был такой жанр — «плач». Думаю, что то, что пойдет ниже, это, скорее всего, тоже плач, плач по людям, которых я знал и любил. По людям, которые — так уж получилось — ушли раньше времени, как говорят, до срока, и от которых ничего не осталось, кроме моей памяти. А когда уйду я, не останется и этого. Жизнь этих людей не сложилась, в ней было мало любви, радости, иногда мало смысла, никто из них по-настоящему ничего сделать не успел, и если мы говорим, что, чтобы спокойно уйти, человек должен осуществиться, то им это дано не было. Они мучились перед смертью и ушли скорбя. Умирая, они чувствовали себя обманутыми, обделенными и опальными в этой жизни. Так что в память о детстве я вправе назвать это и моим «Синодиком опальных».

Первый, кого я хочу внести в него, — Николай Петрович Пастухов, бывший прокурор Фрунзенского района Москвы, с которым я познакомился примерно лет семь назад. Светла нас дорога. Мы оба возвращались из Киева в Москву, ехали в нестерпимо жарком двухместном купе международного вагона, поезд, по традиции, безбожно опаздывал, и мы, уже подъезжая к Москве, со скуки разговорились. У Пастухова был друг, к тому времени несколько лет как покойник, тоже прокурор. Они вообще и учились вместе, и вместе шли по чинам, никто из них вперед не вырывался, и, по словам Пастухова, они друг друга считали за брата и чем старше становились, тем были ближе. Тот прокурор, фамилия его была Савин, вторым браком был женат на женщине моложе себя на двадцать лет.

«Отец ее работал в торговле, был оговорен и получил по своей статье почти максимальный срок. Но дочь продолжала хлопотать, и по надзору дело попало Савину. Девочка была совершенно героическая, ей еще не было восемнадцати, денег в доме никаких, все конфисковано, мало-мальски сведущие адвокаты ей отказывают, говорят, что помочь ничем не могут (жила она и раньше без матери, та, кажется, умерла при родах, одна с отцом — теперь у нее и вовсе никого не осталось). Савин сразу к ней проникся и стал помогать. В этой истории были замешаны большие люди, и все было непросто. Однако они вдвоем почти его вытащили, сократили срок сначала до пяти, потом до трех лет, так что он попадал под ближайшую амнистию, и вот за месяц до этой самой амнистии он умер. Девочке сказали, что сердце, но Савин по своим каналам узнал, что его забали сокамерники. Девочка была жива только отцом, тем, что она должна его спасти, вернуть, теперь ей все стало безразлично. До дня, пока Савин не решился наконец сделать ей предложение, она два месяца не выходила из дома, он, как нянька, кормил ее, кажется, даже кухарничал. Никого, кроме него, у нее не было, Савин тоже был человек одинокий — словом, она дала согласие. Знакомы они были года полтора, она успела к нему привязаться, она вообще была добрая, привязчивая девочка; важно было и то, что по возрасту он был как ее отец, даже немного похож на него, это мне сам Савин говорил, лично я ее отца никогда не видел. Вряд ли она тогда по-настоящему его любила, потом любила, и сильно, — это точно. Они жили очень хорошо, даже странно, как хорошо, все годы, кроме последних двух. Он уже чувствовал, что серьезно болен, хотя чем и сколько ему осталось — еще не знал. Он, конечно, понимал, что умрет намного раньше, чем она, но вдруг ему стало казаться важным не то, какой она была ему женой, а знать, как будет жить без него, когда он умрет, эта молодая красивая женщина; он уже думал о ней только так, отстраненно. По-моему, его поразило, что его не будет, а она останется.

Савин, наверное, немало думал о том, с кем она будет спать и за кого выйдет замуж, но не это главное; он не собирался ей мешать, просто ему было важно знать, как она будет без него, как это будет, когда она есть, а его нет.

Позже, когда он уже знал, что у него рак и жить ему осталось год, самое большее — полтора, ни о чем другом, кроме как что она будет делать, похоронив его, он и говорить не мог. Все прочее отошло на второй план, даже о собственной смерти он помнил только как об условии, только как о том, что даст ей отдельную от него жизнь. Последние свои месяцы он попросту торопил конец, наотрез отказался принимать лекарства, лишь разрешал делать себе снимающие боль уколы.

Жена, конечно, знала, что он думает, и, похоже, он заразил ее своим сумасшествием. Во всяком случае, и она, когда я бывал у них, не могла говорить ни о чем ином, поминутно начинала убеждать меня, что он не прав, что хочет

знать, что с ней будет дальше, что это его совсем не касается, если он будет отсюда следить за ней, это будет ее стеснять, сделает ее жизнь невозможной и невыносимой: нельзя нормально жить, когда бывший муж, да еще покойник, за тобой все время подсматривает.

Она тоже уже его похоронила, тоже уже жила в этой будущей жизни, даже говорила о нем чаще всего „был“. Лишь когда я приходил навестить Савина, она вспоминала, что он еще жив, и тут же начинала искать у меня поддержки. Она, конечно, была постоянно на взводе и все-таки по внешности вела себя разумно; было видно, что она следит за каждым своим словом, делает все, чтобы произвести на меня благоприятное впечатление. Она говорила, что была ему хорошей женой, верной и заботливой, ни разу ему не изменила, хотя человек он нелегкий и старше ее на двадцать лет. Но как он умрет и она его похоронит, ее обязанности по отношению к нему кончатся, нельзя же и вправду от нее требовать, чтобы и дальше она жила им одним. Она настаивала, чтобы я, его самый лучший друг, сказал ему это, объяснил, убедил его, что он не прав. Я говорил ей, что Савин умирает, жить ему осталось считанные недели и на смертном одре никому ничего объяснить невозможно, такие разговоры вести с ним сейчас просто подло, умрет он — и пускай она живет как хочет. Но она уже мало что понимала, рассказывала мне, с кем она будет спать, кто что ей предлагал: поездки на Кавказ там, шубы, драгоценности — все это было правдой, красива она была — дай Бог. Однажды она даже обняла меня, поцеловала в губы и потянула на диван, причем Савин в это время не спал и дверь в его комнату была открыта. Я не думаю, что она открыла ее специально, что здесь был расчет: вот он еще жив, а она на его глазах спит с его другом. Все было проще — за живого, тем более за мужика, она его давно не считала, а меня хотела подкупить, дать мне взятку, чтобы я сделал так, чтобы он, мертвый, не мешал ей жить. Конечно, она его уже ненавидела, но тоже скорее как мертвого, а он ее любил, тянулся к ней, все старался взять ее за руку, не отпускал от себя и, в сущности, ничего у нее не просил, может быть, просто хотел как отец знать — он ведь ей и в самом деле был не только муж, но и отца ей заменил, — как там она без него будет».

Поезд тогда снова остановился, и я сказал Пастухову: «И что дальше? Она ведь права, а даже если бы была не права — лечь в его могилу вы ведь ее не заставите».

«Да, — согласился он, — первое, что Лена сделала, когда Савин умер, это составила завещание, по которому должна была быть похоронена совсем на другом кладбище, вместе с матерью».

В Москве мы с Пастуховым продолжали регулярно встречаться, правда, нечасто. Я видел, что он привязался ко мне, обижается, если я долго не звоню и не появляюсь, особенно это стало явно в последний год, когда он вышел на пенсию. И все же мне и в голову не приходило, насколько много я для него значил. Я знал, что человек он довольно одинокий, потому что в наших разговорах с ним почти никто, кроме покойного Савина, не упоминался, и все-таки я почему-то был твердо уверен, что со своими сослуживцами дружеские связи он сохранил. А потом однажды утром позвонила девяностолетняя мать Пастухова и сказала, что вчера ночью он скорострительно умер. Для меня это было совершенно неожиданно, и я хорошо помню, что и для нее это было тоже непонятно — она все время удивлялась: вот так совсем не болел и моложе ее на тридцать лет, на пенсию вышел, жить бы да жить; возможно, я передаю ее слова неточно, никакой иронии в них, конечно, не было — лишь недоумение; я что-то ей стал отвечать, утешать, наверное, делал это плохо, и тут она вдруг сказала, что я был его единственным другом и он, уже умирая, говорил ей только обо мне и вспоминал только Савина и меня, а если считать из живых — меня одного. Еще она сказала, что он хотел, чтобы я был его душеприказчиком, и его бумаги она должна передать мне, а я уж как распоряджусь. Я тогда не поверил, кроме меня у него не было близких людей, но похороны все расставили по местам, нас было семеро: его мать, я, представитель от местного райпрокуратуры, где он работал и состоял на партучете, и оттуда же четверо стажеров, которые несли гроб.

После того первого, «поездного» разговора о савинской жене имя ее во время наших встреч всплывало не раз. Дважды или трижды, когда в ее жизни случалось что-то неожиданное и Пастухов не знал, как поступить, он приходил ко мне

советоваться, и тогда мы с ним подолгу о Лене разговаривали, но и кроме этого она упоминалась почти в каждое наше свидание, так что я неплохо представлял себе, как складывалась ее жизнь после смерти Савина. Я, например, знал, что Пастухов за несколько дней до кончины Савина дал ему слово не только помогать Лене, сделать все, чтобы она была хорошо устроена, но и держать Савина в курсе ее судьбы. Еще при мне Пастухов регулярно, раз в неделю, ездил на могилу Савина.

Потом визиты на кладбище прекратились или, во всяком случае, сделались редкими и необязательными. Я знал их время и как-то, когда Пастухов вдруг назначил встречу на этот день и час, спросил его, и он мне сказал, что уже несколько месяцев ездит к Савину лишь в дни годовщин и только для себя, в остальном нет необходимости — все, что он обещал Савину, делается и без него, Пастухова. За полгода до этого разговора он мне рассказывал, что Лена удачно вышла замуж, муж носит ее на руках. Работает он в торговле, как и ее отец, среди своих Лене легко, хорошо, и она буквально расцвела. Такой красивой он ее не видел много лет. Было ясно, что Пастухов искренне рад и даже испытывает облегчение, что данную часть завещания Савина выполнил: Лена устроена.

Мы тогда заговорили о торговле, о царящем там повальном воровстве: в тот год по Москве гремели судебные процессы директоров крупнейших гастрономов. Пастухов принимал участие в расследовании и знал детали из первых рук. Настроен он был до крайности пессимистично, считал, что воруют все, иначе просто нельзя выжить, но самое страшное — во главе наиболее умелые, так что стоит их посадить, все сразу разваливается. В итоге гибнет куда больше, чем они разворовывают. Он сказал тогда, что в этом деле замешан и новый муж Лены, правда, неглубоко. Он как раз из умелых, да и берет для того поста, который занимает, немного, поэтому посадят его вряд ли. Если же и до него дойдет очередь, Пастухов ради памяти Савина ему поможет, причем сделает это с чистой совестью, потому что в наших собачьих условиях пользы от него больше, чем вреда.

Однако не все здесь было просто. Пастухов был законник, настоящий фанатик, и то, что ему ради Савина пришлось пойти на прямое нарушение закона, без всяких оснований прикрыть дело мужа Лены, он переживал очень тяжело. Правда, они тогда очень сблизились, они тогда словно бы вернулись к началу своего знакомства. Первые недели после нового замужества Лены Пастухов бывал у них дома часто и как бы на правах посаженного отца; однажды они даже вместе, все втроем, ездили на могилу Савина, но скоро отношения с Леной у Пастухова испортились. Почему — догадаться нетрудно: она знала о тех обязательствах перед Савиным, которые он взял на себя, и, конечно, чуть ли не ежедневно видеть в своем доме человека, который за тобой следит и о тебе доносит, было ей не очень приятно. Она много раз требовала от мужа, чтобы он отвалил Пастухова от дома, но тот, словно зная, что Пастухов ему еще понадобится, уклонялся.

Пастухов мне говорил, что посвятил его во все обстоятельства, связанные со смертью Савина, сразу же, как Лена за него вышла, но представить, что он скоро все это принял и согласился помогать, во всяком случае согласился добровольно, я не могу. В сущности, у Лены после замужества началась совершенно другая жизнь, и единственный, кто мог регулярно поставлять информацию об этой жизни для Савина, был он, новый ее муж. Пастухов долго втолковывал ему, как важно для него, Пастухова, чтобы то, о чем просил его ближайший друг, было сделано, убеждал, что Савин имеет на это право как первый муж Лены, что вообще по любым нравственным законам правильно, чтобы последняя просьба умершего была исполнена. Но тот отказывался его понимать, не слушал никаких доводов, только повторял Пастухову, что знает, чем ему обязан, готов для него на очень многое, но рассказывать чужому человеку интимные подробности своей жизни с женой не может. В некий момент Пастухов — разговор был в его квартире, — очевидно, не рассчитав, пережал. Уйдя от него, муж Лены тяжело напился (так он был чуть ли не трезвенник), а когда его привели домой, полночи грязно ругался, звал жену «блядь», кричал ей: «Ты знаешь, чего хотят от меня твои друзья-менты?!» — и плакал, что все его предупреждали — нельзя их брату родниться с прокурорами! Она тоже плакала, целовала ему руки, говорила то что она сама будет все рассказывать Савину, то что они никому ничего не скажут и Пастухова ему бояться не надо, сделать он ничего не посмеет. В тот раз ей удалось

его успокоить, и он заснул. Некоторое время она действительно сама ездила на кладбище, а потом Пастухов сказал, что ей ходить не надо, это всем тяжело, в первую очередь жалко Савина: зачем ему знать, как она его ненавидит. Пастухов это сказал Лене перед самым своим отъездом в отпуск и поэтому лишь много позже узнал, что муж Лены, когда она ему сказала, что к Савину ездить теперь снова будет он, не говоря ни слова, собрал вещи и ушел. Лена думала, что это конец, и, пожалуй, была рада. Она устала. Но через две недели — Пастухов все еще был в отпуске — он вернулся: он был сильно влюблен в Лену и понял, что оставить ее, что бы ни было, не сможет.

Возвратившись в Москву, Пастухов застал его уже сломленным и согласным на все. Когда-то Пастухов объяснял мне, что так же обычно бывает и во время следствия: обвиняемый ломается разом и навсегда, стоит в одном-единственном месте пробить его оборону — она рассыпается, и перед тобой теперь человек, который ищет, буквально цепляется за тебя, чтобы скорее покаяться.

«Конечно,— говорил Пастухов,— он боялся, что я его посажу, но и раньше он знал, что я могу его посадить, однако тогда вел себя довольно смело, теперь же, когда он понял, что не может без нее жить, он понял и то, что если я его посажу, он останется без нее, и испугался, то есть она его, в общем, сломала, а не я».

И еще: он вдруг стал понимать Савина, ведь здесь то же самое — его не будет, а она останется. Пастухов тогда рассказывал, что телефон зазвонил буквально как он вошел и он сразу догадался, что это Ленин муж. Поздоровались, тот сказал, что вот уже сутки звонит каждый час, а затем без перехода вдруг принялся объяснять ему про Савина, причем теми же словами, какими раньше сам Пастухов, только лучше. Что Савин Лену женщиной сделал, а это, что бы потом ни было, деться уже никуда не может, говорил, что Леной и Савиным прожита вместе целая жизнь и она не должна быть вот так, одним махом, зачеркнута. Что он теперь понимает, кто Савин Лене, и Лена, конечно, тоже понимает, кто Савин ей, и он больше не намерен ей потакать, когда она пытается сделать вид, что ничего у них с Савиным не было. Естественно, он будет аккуратно ездить на кладбище — здесь вопросов нет, звонит же он потому, что ему необходимо срочно обсудить, что он должен рассказывать Савину, звучало это так: чтобы Савин и Пастухов и дальше разрешали ему пользоваться Леной.

«Как вы думаете,— допытывался он раз за разом,— стоит ли говорить Савину вот об этом и об этом тоже?..»

«Разговор был не телефонный, на следующий день,— сказал Пастухов,— он ко мне пришел, и мы с ним эти детали подробно обсудили».

Много позже я спрашивал Пастухова, проверял ли он Лениного мужа. Он сказал, что трижды, хотя в этом не было никакой необходимости, они ведь продолжали регулярно встречаться и по его поведению было видно, что их договоренности соблюдаются полностью.

«Люди, когда их ломаешь,— говорил Пастухов,— врать больше не могут, только хитрят по мелочам. Вообще их постоянно, когда надо и когда не надо, тянет исповедоваться, каждому они готовы душу раскрыть; судя по всему, он и Лене сам рассказывал, что ездит на могилу Савина (до этого она была почему-то уверена, что я оставил их в покое), во всяком случае, она как-то прознала, что муж стучит на нее, и не простила ему. Думала с ним порвать — Лена знала себе цену, пару не хуже и не беднее она нашла бы без труда, но тогда она уже начала меня или, что то же самое, Савина бояться, понимала, что я от нее так просто не отвяжусь. И муж ее это знал, то есть знал, что мы Лену для него как бы сохраняем, но дело не в этом, не в том, что он был признателен мне: просто к тому времени Савин ему стал необходим. Он жаловался ему на Лену, искал сочувствия — в общем, выговаривался, и ему становилось легче».

Савин явно готов был делить с ним обиды и оскорбления, на которые Лена не скупилась, и союз их с каждым днем креп. Был, правда, один период, когда муж Лены повел себя совершенно некорректно,— Лена тогда стала ему изменять — вообще она вела жизнь вольную, на условности внимания не обращала. Вряд ли это было связано с врожденной безнравственностью, скорее другое: иметь независимую, закрытую от мужа и Савина жизнь для Лены к тому времени стало манией, в ней она пыталась спастись, оторваться от них обоих. И еще: похоже, она сознательно делала так, чтобы им вступаться в эту ее отдельную

жизнь было до крайности неприятно. Каким-то образом подробности ее жизни быстро становились мужу известны, раз он даже застал ее с любовником, и вот со всем, что он успел узнать и собрать, он сразу шел к Савину и с чудовищной скабрзностью это ему описывал. Он явно хотел представить, что изменяет она одному Савину, а он здесь ни при чем — просто частный сыщик.

«Он довольно скоро увлекся слежкой, сыск — засасывающее занятие: добыть, разведать то, что от тебя всеми силами пытаются скрыть, — и занимался он этим вроде бы не для себя, а для меня и Савина, — говорил Пастухов, — что, конечно, разрешало многие нравственные проблемы».

Продолжалось это месяца два, а потом (Пастухову даже не пришлось вмешиваться) само собой кончилось. В сущности, Ленин муж был неплохой человек и скоро понял, что ведет себя неправильно; кем бы он ни был — местоблюститель, временная замена, просто пользователь Лены, — изменяла она не только Савину, но и ему. Но суть не в этом: он и Савин действительно с каждым годом становились все ближе, все нужнее друг другу, и я думаю, что если сказать (подобное я не однажды слышал и от Пастухова), что он стал продолжением Савина, здесь не будет большого преувеличения, они и вправду сделались словно одним человеком.

Для мужа Лены это было, вне всяких сомнений, спасением, но я не знал, насколько хорошо он это понимает, и теперь испугался, что когда Пастухов умер, он поспешит все разрушить. Я боялся, очень боялся, что, сделавшись душеприказчиком Пастухова, именно я, используя как палку собранный компромат, должен буду поддерживать сооруженную им конструкцию. Этого я совсем не хотел, я всегда бежал ответственности, не умел и не любил командовать людьми, кроме того, в то время я был уже болен и вряд ли мне это вообще было под силу. И еще одно меня смущало: Пастухову так и не удалось добиться, чтобы Лена переделала завещание и согласилась быть похороненной вместе с Савиным. Следовательно, и это могло остаться на мне, а никаких идей, как все уладить, у меня не было.

К счастью, Пастухов, очевидно, трезво оценивал мои возможности; на пухлом конверте с материалами дела Ленинского мужа была приклеена адресованная мне записка с просьбой за ненадобностью конверт уничтожить — это было подчеркнуто, — причем без крайней нужды не читая. И вправду, после смерти Пастухова отношения Лены с мужем по видимости совсем не изменились, вообще ничего не изменилось, во всяком случае, он, как и прежде, регулярно, каждую неделю продолжал ездить на могилу Савина.

У меня нет особых сомнений, что Пастухов догадывался, насколько прочно выстроенное им здание: именно прочность и устойчивость такого странного любовного треугольника должна была натолкнуть его на мысль, что во всем этом есть нечто чрезвычайно важное и справедливое. Настолько справедливое и правильное, что оно могло оправдать и то, что он нарушил закон, и то, что Лена и ее муж, безусловно, были людьми глубоко несчастными. Он думал, что здесь, может быть, в самом деле находится ключ к пониманию взаимных обязательств мужей и жен, к закону, который сообщит их отношениям равновесие и гармонию. Пастухову очень импонировало то, что он никогда не был женат и, значит, ни в чем и никак не заинтересован и может смотреть на эти вопросы, как и должно юристу, бесстрастно и беспристрастно. Он был независим и свободен от любого влияния, глядел со стороны, откуда только и можно увидеть все как есть.

Подобных обоснований его права разрабатывать закон о браке, подчас чрезвычайно тонких и, как я понимаю, юридически безупречных, я обнаружил в бумагах Пастухова много страниц и ждал, что если не вся, то большая часть работы над законом им завершена. Однако в итоге нашел, увы, лишь несколько коротких и не слишком оригинальных тезисов. Все же понять из них, чего хотел Пастухов, нетрудно. Он явно верил в загробную жизнь, правда, для него она играла подчиненную роль, была несамостоятельной. Люди оттуда продолжали смотреть на эту жизнь, особенно пристально — на жизнь своих родных, которая их по-прежнему занимала, трогала, касалась, однако влиять ни на что они уже не могли. Пастухов считал, что, исходя из этого, мертвые обладают одним неотъемлемым правом — знать, и никакая информация, ни плохая, ни хорошая, не должна быть от них скрыта. Также он считал, что первый брак свят, вступившие в него, как бы ни сложились в дальнейшем их судьба, должны быть

после смерти похоронены в одной могиле, и, прерывая текст, жаловался, что, как видно, не сумел обеспечить этого Савину. Он отдавал себе отчет, что никаких ограничений на вдову наложено быть не может, но думал, что если она будет знать, что мужу известна ее жизнь и она, когда умрет, будет лежать с ним рядом, это само по себе будет ее сдерживать. Вот, собственно, и все.

Разбирая его архив, я ждал чего-то похожего на откровение, может быть, потому, даже наверное потому, что был виноват перед ним — в последний месяц его жизни я ведь так и не нашел времени с ним встретиться, — и, конечно, был разочарован этим результатом. Лишь позже, и то не скоро, я понял, насколько немногого надо было Пастухову: ему просто было важно, чтобы я, вообще хоть кто-то, знал, о чем он думал, а потом дальше думал об этом сам и помнил о нем, Пастухове. То есть эта работа и должна была быть только начата, только намечена им. Он пока лишь хотел принять меня в свою игру, объяснить ее правила, ее законы, а затем мы вместе сели бы и начали говорить о деталях, обсуждать, думать, советовать, делали бы это неспешно, обстоятельно, соразмерно серьезности и важности темы; не возражал бы он и против затяжки работы, самой долгой затяжки, потому что, пока бы работа не кончилась, все это время я бы помнил о нем.

И еще: он любил Савина.

Второй, кого я хочу внести в «Синодик», это Вера Николаевна Рождественская. Она была женой брата моего деда — как такое родство называется короче, я не знаю, — и три года назад мне в руки попали четыре тома ее воспоминаний. Мне тогда даже в голову не приходило, что она жива, что вообще жив кто-нибудь из их поколения. Незадолго перед этим я по вполне определенным причинам стал интересоваться историей своей семьи, ее происхождением, занятиями, нравом, произошло это вскоре после смерти отца и, как я теперь понимаю, было попыткой вместе с прочим наследством перенять все то, что связывало его с его родными. Смерть отца оборвала тысячи всяких линий, отношений, и я оказался как бы отрезан от своего прошлого.

Отец, пока был жив, очень мало рассказывал мне о своем детстве, о своих отце и матери, вообще о родственниках; иногда меня это раздражало, и я настойчиво добивался подробностей, но в общем понимал, что он просто бережет меня: позади было много страшного и непростительного, а я был ребенок. Будь у меня дети, я, без сомнения, поступил бы так же, но когда он умер и я после похорон стал понимать и обживать новое свое место в этом мире, фактически его место, оказалось, что я как бы самозванец, даже сказать мне, кто я и откуда, некому.

Долгое время любые попытки узнать хоть что-то достоверное о нашей семье были совершенно безуспешны: или это был разговор, или о ней и правда никто ничего не знал. Я безрезультатно опросил всех своих дальних родственников — из близких у меня нет никого, вообще всех, кто, по моим предположениям, мог знать нашу семью, когда вдруг мне позвонила троюродная сестра отца и сказала, что еще жива такая Вера Николаевна Рождественская, которая наверняка знает больше, чем все те, с кем я раньше говорил; если я хочу, можно попробовать договориться с ее дочерью о моем визите. Правда, есть одна сложность: последнее время Вера Николаевна прихварывает и общаться с ней будет нелегко. Через три дня тетка перезвонила и, продиктовав адрес, сказала, что завтра вечером меня ждут.

Между Курской и Таганской, с той стороны Садового кольца, которая ближе к центру, за большим академическим домом, чуть утопленная, — надо было по лесенке спуститься вниз — стояла на три четверти выселенная под какое-то учреждение хрущевская пятиэтажка, она и была мне нужна. Как путь, так и все ориентиры тетка расписала очень подробно и, главное, правильно, но я все равно запутался и пришел на полчаса позже. Встретили меня дочь Веры Николаевны Аня и старая ласковая колли по имени Настя, и я, оправдавшись в опоздании, узнал, что дом этот четвертый, в котором они живут, и все они стоят на одном месте. Сначала здесь была деревянная изба-пятистенка, затем большой, но тоже деревянный дом, потом его снесли и построили каменный для причта двух ближайших храмов, а теперь — эта самая пятиэтажка, откуда их гонят, но они из этого района уезжать никуда не хотят и вот уже третий год держатся.

Все это Аня рассказала мне, пока я раздевался, после чего повела в свою комнату и принялась жаловаться, что мать с лета болеет и ей трудно общаться

с чужими, вообще со всеми, кого она плохо знает. Было видно, что Аня недовольна, что пригласила меня, и не знает, как поступить. В такую дурацкую ситуацию я, честно говоря, раньше не попадал: подняться и попрощаться, так и не повидав Веры Николаевны, казалось мне глупым, хотя я хорошо понимал, что мне будут только благодарны. Этот мой визит вообще с самого начала был бессмысленным; какая болезнь имеется в виду, догадаться было нетрудно: Вера Николаевна явно была в маразме, и почему тетка не сказала мне этого прямо, а зачем-то воспользовалась эвфемизмом, я объяснить не мог.

Судя по всему, Аня так же хорошо понимала меня, как я ее, во всяком случае, стоило мне подумать, что у Веры Николаевны маразм, она сразу оставила разговор об абстрактных хворостях и, словно оправдываясь, стала говорить, что раньше у мамы была великолепная память, вообще у них в роду у всех великолепная память; кроме того, мама, как в свою очередь ее мама, с пяти лет была приучена вести подробнейший дневник: записывать обязательно каждый день и все-все, так что она ничего не забывала и не теряла — что прожила, оставалось с ней. Когда же маме исполнилось восемьдесят, то есть три года назад, она решила написать воспоминания о своей жизни, и она, Аня, непонятно зачем ее поддержала, хотя очевидно было, что делать это не надо. Ведь и так почти все ее дневники сохранились, а любые непосредственные впечатления, конечно же, живее и искреннее, чем обработанные, отделанные воспоминания. Но это она понимает сейчас, а три года назад она мать очень поощряла, и та, пока не заболела, успела написать целых четыре тома. Эти вот тома и съели ее память. Сначала в семье не обращали внимания, а потом заметили, что стоит маме о чем-нибудь написать, как она перестает это помнить, вернее, помнит очень и очень расплывчато, как бы в дымке.

«В общем, это понятно,— объясняла Аня,— так все, что не попало в дневник, было записано у мамы в голове, и она знала, что должна это помнить, потому что, если забудет, все как бы умрет или даже вообще не рождалось, теперь же помнить это ей больше стало не нужно».

Потом Аня принялась трогательно меня убеждать, что мама прожила тяжелую, страшную жизнь, но не опустила, сумела одна поднять и вырастить трех дочерей, дать им образование,— было видно, что она ее очень любит, гордится ею и боится, что все это будет разрушено, что я ее заражу тем, как сам буду смотреть на Веру Николаевну. Конечно, ее взгляд на мать был вернее и справедливее, чем мой, потому что сейчас Вера Николаевна была больна, была не в форме, я это понимал, понимал, что не прав, что пришел, и давно уже не стремился в соседнюю комнату. В этой квартире я был чужеродным началом, которое в одночасье могло все сломать, всю длинную жизнь, которую они вместе прожили, все их отношения. По внешности и дальше все осталось бы таким, каким было, но сделалось бы, стоило Ане хоть минуту посмотреть на мать моими глазами, фальшивым и неискренним. Для меня визит этот потерял смысл: вряд ли в нынешнем состоянии Вера Николаевна могла мне рассказать много интересного; кроме того, четыре тома воспоминаний, конечно же, были ценнее всех разговоров. Я уже собирался попросить их, но тут Аня, решив, что ее любовь к маме должна пройти и это испытание (то есть меня), решительно поднялась и сказала, что нас уже заждались.

После вышеописанной преамбулы впечатление, которое произвела на меня Вера Николаевна, было очень хорошим. Она была статна, суха, и, несмотря на восемьдесят лет, в ней хорошо различалась порода. Это была по-настоящему красивая старуха, которую портил лишь большой и, когда она вскидывала голову, нелепо болтающийся зуб. Даже то, что она больна, я понял не сразу.

Представили и встретили меня очень тепло, как старого знакомого: Аня дала чай, принесла красивый пирог, который, как она несколько раз настойчиво подчеркнула, делала сама Вера Николаевна и именно потому, что должен был прийти я. Вообще Аня все время старалась сказать маме что-нибудь приятное и в этом же духе режиссировала мной. Так что и я хвалил пирог после каждого съеденного куска: он и вправду был неплох. Все же ей, конечно, было тяжело с мамой и очень тяжело все это передо мной представлять; позже, когда она убедилась, что мне у них хорошо и я рад, что пришел,— Вера Николаевна в это время сидела за пианино, то играя нам свои любимые вальсы: «Амурские волны» и «На сопках Маньчжурии», то рассказывая о детстве, в частности о русско-

японской войне, так что это было кстати, — вдруг сказала, что мама всегда отлично готовила, пытается и сейчас, но давно путает соль с сахаром и ей, Ане, все приходится выбрасывать и делать наново.

Насколько необратимо больна Вера Николаевна, я понял лишь через час, когда она, устав, стала путаться и повторяться; до этого она говорила нормально, ничего не было сбито и нарушено — ни интонации, ни выражение лица, — и все равно это была очень странная беседа. О моем отце она рассказывала с большой охотой, она ясно помнила, что познакомились они в Новый год, который у нас в семье всегда был любимым праздником и справлялся по возможности пышно. Вера Николаевна вспомнила елку, игрушки, подарки, которые получили другие и она сама, тогда только что введенная в дом.

Тот двоюродный дед, ее муж, очень любил моего отца, они были почти ровесники, отец был самым легким и веселым в этой совсем не веселой семье, и она тоже вслед за мужем быстро привязалась к нему. Все это осталось, она и сейчас говорила о нем очень нежно. В начале нашего разговора я сказал ей, что отец два месяца назад умер, но, видимо, она не могла встроить мое известие в мир, который был в ней закончен и завершен и где кто живой и кто умер было установлено раз и навсегда. Вскоре я заметил, что она принимает меня за отца, даже так же называет «Андрюша». Аня это поняла одновременно со мной и несколько раз, испуганная, — она боялась, что я буду этим недоволен, — пыталась мать поправить, объяснить, что я сын Андрея, а сам Андрей недавно умер, но мать и от нее это не приняла. В сущности, мне было все равно, и я остановил Аню: я хотел услышать как можно больше об отце и боялся, что она помешает Вере Николаевне. Позже я вдруг поймал себя на том, что мне нравится, что меня принимают за отца, видят во мне его и вспоминают так ласково. Все же я решил, что это нечестно, и снова сказал Вере Николаевне, что отец умер, но и на этот раз она меня не услышала.

Внешне мы с отцом очень похожи, и перед собой она видела его, тем более, что когда они виделись последний раз — это было еще перед войной, — отцу было немногим больше лет, чем мне сейчас. То, что Андрей умер, для нее звучало как неумная шутка: какое умер, когда сидит напротив и пьет чай.

В этот вечер я вообще умудрялся все время ставить их в неудобное положение: сначала Аню, которая не хотела пускать меня к Вере Николаевне, но не знала, как отказать, теперь Веру Николаевну. Она легко и с удовольствием вспоминала то, где она и отец были вместе, а когда я спрашивал об отце отдельно, удивлялась: ведь она думала, что я спрашиваю ее о самом себе, и, конечно, ей казалось странным, что я так себя совсем не помню и так собой интересуюсь. Она по-прежнему ко мне хорошо относилась, просто искренне удивлялась, что я это забыл, и лишь один раз за весь разговор мне сказала: «Андрюша, а ты разве сам не помнишь?»

Только после этого я понял, что вопросы мои мало уместны, и поменял тему. Я спросил Веру Николаевну о ее детстве, очевидно, она была довольна этим, потому что отвечала очень живо. Гимназия, первые бальные туфельки, дача и тамошние любительские спектакли, бойкот немецких магазинов в четырнадцатом году и подаренная ей незадолго перед войной чистопородная овчарка колли — все это она помнила хорошо со множеством подробностей и, главное, светло, и я был рад, что увел ее от нашей семьи.

Так она говорила минут двадцать, а потом начала упираться в две вещи, которые, очевидно, ее сильно угнетали. Она все время натыкалась на них, все время принималась их заново пересказывать. Обычно делалось это слово в слово, и лишь когда Аня, как я, забывавшая, что мать больна, упрекала ее, она, снисходя, добавляла две-три детали.

Первая история касалась ее любимой старшей сестры. У той было редчайшее по красоте место-сопрано. Уже на четвертом курсе консерватории она дважды пела в Большом театре, и считалось, что ее ждет блестящая карьера. Но в девятнадцатом году, когда их семья, как и другие, голодала, сестра со студентом-турком, снимавшим комнату в соседней квартире, поехала за крупой на Волгу. Где-то под Самарой и она и турок пропали, вернее, отец Веры Николаевны через полгода получил справку, что в самарском госпитале она умерла от тифа, но и сама Вера Николаевна, и вся семья были уверены, что турок выкрал ее, увез в Стамбул и там продал в гарем. Тогда вроде бы такие вещи были не редкостью. Позже они не раз пытались найти хоть какие-нибудь ее следы, даже ездили для

этого в Самару, но безуспешно. В сущности, это был крест, который лежал на всех них, их общий грех: каждый мог поехать вместо нее, но поехала она.

Вторая тема, к которой Вера Николаевна все время возвращалась, была связана с моим двоюродным дедом. Они расписались в двадцать третьем году и прожили вместе пятнадцать лет до конца тридцать седьмого, когда дед был арестован и через три месяца расстрелян. Это был, по общему свидетельству, на редкость счастливый брак. Она родила мужу трех дочерей, была безумно в него влюблена и, собственно, затеяла писание всех этих воспоминаний именно для того, чтобы осталась история их любви. Все годы ее жизни с дедом сохранились в ней, вернее, должны были сохраниться с предельной четкостью, потому что сразу же после его ареста и гибели ее жизнь кончилась.

Из Грозного, где они до этого жили и где ее муж был начальником крупнейших после бакинских нефтепромыслов страны, она, забрав детей, немедленно выехала в Москву и здесь, в доме родителей, в буквальном смысле спряталась. Та ее прошлая грозненская жизнь не только была наполнена дедом, любовью к нему, но и сама она играла в ней достойную, равную ему роль. В частности, она была одним из организаторов популярнейшего в тридцатые годы движения «Жены инженерно-технических работников (ИТР) — большая культурная сила», вела в Грозном кучу разных кружков, читала лекции на заводах и в ФЗУ и даже в том же тридцать седьмом году, за несколько месяцев до его ареста, получила в Кремле из рук Калинина большой и еще очень редкий орден Трудового Красного Знамени. Из-за этого в Москве ни она, ни дочери никогда не ходили на ВДНХ, где чуть ли не до смерти Сталина провисел у входа ее портрет с тем самым орденом: она боялась, что ее опознают и арестуют.

Отъезд из Грозного резко и навсегда оборвал ту жизнь, все, что в ней было; до самой пенсии она, несмотря на высшее образование, проработала машинисткой в какой-то захудалой конторе, жила тяжело и безрадостно, с трудом сводя концы с концами. В новой жизни не было ничего, что могло бы заслонить, отодвинуть то время, которое она прожила с моим двоюродным дедом.

Она с дочерьми часто голодала и все-таки сумела их вырастить, поднять, Ане она говорила, что у нее хватило на это сил, она это сделала потому, что была та жизнь.

Перед моим дедом она была чиста, как только может быть чиста женщина, и все же одна вещь ее смущала и не давала покоя. Брак с ним был второй в ее жизни, раньше она год была замужем за каким-то гимназическим учителем, но еще до знакомства с дедом от него ушла. Сейчас, когда она при дочери говорила со мной, ей не хотелось, чтобы та это знала. Она вообще не хотела, чтобы в ее жизни был еще хотя бы один мужчина, — это оскорбляло ее любовь, делало ее виновной перед мужем, она как бы его не дождалась. Чтобы вычеркнуть этого человека из своей жизни, Вера Николаевна встречу с моим двоюродным дедом отодвигала все дальше и дальше в прошлое, все время уменьшала то, сколько ей было лет, когда они познакомились, пока не сделала себя совсем девочкой.

Роман завязался вполне прозаически. Она гуляла с собакой недалеко от дома, на Яузском бульваре, потом села на лавку, где он читал газету, и они разговорились. Сначала она мне сказала, что ей тогда был двадцать один год, но затем, решив, что могут подумать, что у нее и раньше были романы, стала при каждом повторении уменьшать свой возраст. В конце концов, она буквально настояла на том, что все это произошло, когда ей было только пятнадцать.

И главное: то, почему, собственно говоря, я и включил имя Веры Николаевны в этот «Синодик». Весь вечер, что я у нее провел, она подробно, с удовольствием вспоминала свое детство, но когда я спрашивал ее о нашей семье, отвечала уклончиво и неохотно, обычно говорила, что помнит это сейчас плохо, да ей и необязательно теперь это помнить — ведь она все-все записала, и если я хочу, Аня даст мне ее воспоминания. Аня действительно мне их дала, и я захлеб, за три дня прочел эти четыре тома; местами они были написаны совершенно блистательно, в других кусках уже чувствовалась ее болезнь, но не в этом суть: кроме той встречи на Яузском бульваре, в них нигде и ни разу не упоминался ее муж, тот, в память которого, ради которого это все и писалось. Яузским бульваром записки обрывались, дальше не было написано ничего, ни единой строчки. Я уже давно думаю об этой истории, но пока никак не могу для себя уяснить: если Вера Николаевна права и все незаписанное действительно

уходит, умирает, значит, раз она начала слишком поздно и, заболев, не успела кончить работу, ничего не останется и от ее любви к деду, а то, что она уверена, что воспоминания завершены,— просто самозащита, своего рода сумасшествие или же и в самом деле все это есть, каким-то образом и где-то записано, предположим, у Бога, и, следовательно, уцелеет, сохранится.

Третий, о ком я буду писать, это Лев Николаевич Толстой. Я уже давно знал, что должен его помянуть, но понял, что готов к этому только сейчас, уже в больнице, после длинного разговора с двумя его учениками, Морозовым и Сабуровым, прожившими по его заветам один — девять, другой — двенадцать лет в сельскохозяйственной коммуне на Алтае. Это не значит, что все или большую часть того, что тут написано, я узнал от них, это не так: основные факты жизни Толстого рассказал мне в свое время наш сосед по квартире на улице «Правды» Семен Евгеньевич Кочин, о котором ниже я еще расскажу. Однако начать работу я смог лишь теперь, после знакомства с ними — последователями Толстого.

Этот разговор, в котором кроме нас участвовало довольно много самого разного народа, долго крутился вокруг двух известных точек зрения на толстовство. Одна заключалась в том, что Толстой создал настолько этически чистое и безупречное учение, что использовать его во зло невозможно, другая утверждала, что среди наиболее жестоких НКВДовских следователей было немало бывших толстовцев.

Кочин, в тридцать шестом году прошедший в Лефортово через руки подобного следователя, объяснял мне когда-то, почему так получалось:

«Все равно,— говорил он,— лучше людей, чем ученики Толстого, я в жизни не встречал. То есть поодиночке, по личной природе попадались мне, конечно, и не хуже их, но так, чтоб отмеченные одной метой, хорошие через учение,— только они, да еще, пожалуй, некоторые сектанты. И на коммунах, которыми они селились, тоже лежала благодать, но уж чересчур далеко они ото всех отошли, однако мостик назад оставили, и для многих это сделалось страшным искушением. Толстой, их учитель, очень скакнул в своих нравственных принципах, как бы совсем себя переделал, то есть при всей добровольности толстовства это все равно было насилие над обычной человеческой природой.

В сущности, цель у толстовцев была почти та же, что у большевиков, правда, средства совершенно иные, ни в чем со средствами коммунистов не согласные,— полная свобода, в любой день можешь выйти из коммуны, в любой — если коммуна не возражает — в нее вернуться, но и так то, что они сообществом, коммуной строили из себя новых людей, спасались коллективом, и то, что цель для них была так близка, позволяло толстовцам легко, как родным, входить в советскую жизнь, чувствовать себя в ней как дома. Веля они уже по несколько лет прожили новой коммунистической жизнью, и она, эта жизнь, воистину была совершенна и прекрасна. То есть они тогда и впрямь под влиянием Толстого порвали с обычной жизнью, со всеми ее компромиссами и слабостью, со всей ложью, грязью и униженностью, которая в ней была, и в натуре построили рай на земле, в натуре в нем жили. Он оказался так близок, так достижим и возможен и, главное, без чуда, без Бога, при жизни. Это-то, что они уже жили в раю, был их вклад, их приданое, то, с чем они приходили в уже не толстовскую, а советскую коммуны. Шли же они туда, во всяком случае многие из них, просто чтобы приблизить превращение земли в рай; та власть, та государственная машина, которая была у большевиков, могла все это бесконечно ускорить, так ускорить, что не только они, ученики Толстого, а все получили бы долю в этом земном раю, в котором, как и в небесном, блага, сколько их ни раздавай — не уменьшаются, наоборот, чем больше вошедших праведных, тем больше у каждого.

В этих толстовцах, вернувшихся назад, в нашу жизнь, чтобы всем подать добрую весть о рае, сказать, что он и в самом деле есть и он точно такой, как говорили пророки от века и, главное, он совсем рядом, в них, которые, как проводники, хотели всех повести за собой, если они становились следователями, было намного больше вдохновения и идеализма, намного больше честности, искренности и бескомпромиссности, чем в других следователях. То есть в них вовсе не было сомнения в своей правоте, не было сомнения, что те, кто попал в их руки, действительно общие, общинные враги, враги, сбивающие коммуны с дороги в рай. И еще: эти люди, уже раз сами себя переделавшие, относились

с безразличностью к обыденной жизни; в свое время они тоже за нее цеплялись, но все-таки сумели с ней порвать, и то, что другие продолжают за нее держаться, казалось им неправильным — это была та слабость, та трусость, которая заслуживала не сострадания, а презрения. Вообще люди, особенно остро „чувствующие несовершенство этого мира, склонны мало ценить чужую жизнь”».

Толстой, говорил Кочин, когда он создавал свое учение о добре, счастье, справедливости, не заметил, что если он хочет достичь всего этого в той полноте и абсолютности, которая среди людей встречается редко, которая делает их святыми, он должен или быть Богом, или сначала и, главное, навсегда ото всех уйти, жить один. Раньше для этого уходили в пустыню, потом в монастырь, и это было разумно.

Существовало, хотя и не везде, правило: когда человек покидал «мир», он должен был получить согласие родных, потому что нельзя уходить в жизнь без греха, причиняя этим боль и горе близким, — добро не должно причинять зло. Потом времена изменились, в монастырь теперь мало кто шел. Попытка же жить по-новому, никуда не уходя, превращала все в ложь — так было всегда, и здесь ничего не поделаешь. Чтобы избавиться от этой лжи, у людей, остающихся в миру, был лишь один путь — покончить со всем, что было прежде, вычеркнуть его из жизни, вычеркнуть за то, что оно несовершенно. Человек, уходя в монастырь, может уйти и от своего прошлого, — оставшемуся это не дано, но ни один, ни другой не должны, не имеют права трогать прошлое, если оно не только их.

Человек не властен над чужим прошлым, говорил Кочин, то есть даже если он эту власть и имеет, он не может, не должен ее использовать. Нельзя убивать прошлое, общее с другими людьми, нельзя так расчищать место для новой правды. И еще: Богом устроено, что добро, которое ты хочешь принести всем людям, не искупит зло, принесенное близким. Добро очень зависит от расстояния. Обращенное на людей, которых ты любишь, оно всегда больше, чем розданное, распределенное среди всех. Если ты ради всеобщего блага причинишь боль близким, зло будет больше, и от этого никуда не деться.

Конечно, трудно примириться с тем, говорил Кочин, что надо уходить, что все, что ты понял, — это только для тебя, что даже люди, ближе которых у тебя никого нет, люди, с которыми ты прожил целую жизнь, которых любил, которые рожали тебе детей, не хотят разделить это с тобой, что они заталкивают это в тебя обратно, затыкают уши, только бы не слышать о том, что тебе представляется самым чистым и прекрасным и самым открытым для всех, что ты мечтаешь всем и без остатка отдать, зная, что дар твой, сколько ни раздавай — не оскудеет, зная, что это те хлеба, которые, сколько ни отламывай от них, не оскудеют, — а они это заталкивают в тебя обратно и не хотят ничего понимать. С этого и начинается практическое осуществление идеи. Почему они отказываются от того, что так прекрасно, почему не хотят принимать, почему не меняют зло на добро, не дети ли они неразумные и не твой ли долг — долг отца и учителя — взять их за руку и вывести на правильную дорогу?

Нет ничего опаснее учительства, говорил Кочин, отец не отвечает за сына, сын — за отца, но учитель отвечает за учеников. Откажись от учительства: неправда, что если ты знаешь нечто хорошее и не научил, не передал — это грех. Если ты учитель, тебе нужна власть. Власть многократно усиливает действенность твоих уроков, и ты должен хотеть, чтобы ее было больше и больше, ты должен любить и хотеть ею пользоваться.

Страшное дело — отказ от прошлого, на всей или почти всей жизни ставится крест; то, что было в ней, объявляется злом, неправдой и отсекается, жизнь человека рвется по живому, и выйти из этого здоровым невозможно. Восторг обретенной правды хоть и может подавить, дать забыть прошлое, все же сзади — пустота, провал. И еще: в этом рождении не из материнской утробы, а из идеи — все искусственное и ненатуральное, и мир, который создают в себе и вокруг себя люди, переписавшие свою жизнь, сумевшие в середине пути подвести ей итог, вынести приговор, сумевшие очиститься и родиться снова, — такой же искусственный. Этот мир отлично приспособлен к переделкам, его просто конструировать, он мобилен, но другие люди — люди, не умеющие легко отказаться от того, что было раньше в их жизни, в него никак не вписываются; он быстр, и они не успевают за ним.

Толстой, говорил Кочин, был очень хороший человек: он боролся против смертной казни, мечтал о нравственном самосовершенствовании, мечтал о том, чтобы здесь, на земле, все было так, как хотел Христос. Но чтобы это осуществилось, он готов был отказаться от своего и не только от своего прошлого, и тем, кто был к нему ближе всего, тем, кто любил его, он поломал жизнь.

Я и сам знал, что многие годы семья Толстого жила очень тяжело, что, начиная с 80-х годов, жена и он расходились все дальше, и вместе с женой от него уходили дети, кроме разве одной дочери, а место их занимали его ученики. Я знал, что он долго искал примирения с семьей, и когда оно оказалось невозможным, когда все, что он делал и говорил, разводило их только дальше и дальше, ушел из Ясной Поляны и через десять дней после ухода умер на железнодорожной станции Астапово, в доме начальника станции, который подобрал его на перроне.

Отец Кочина 1901—1907 годы прожил в Канаде то как корреспондент газеты «Либерасьон», то как простой фабричный рабочий. Для своей газеты он много писал об устройстве в Канаде уехавших из России духоборов, посылал эти статьи в Ясную Поляну, получил даже от Толстого короткую записку с благодарностью и потом несколько лет регулярно переписывался с Чертковым. В те годы он уже был социал-демократом и среди них тоже принадлежал к крайне левым, почему и примкнул потом, после семнадцатого года, к коммунистам. Но взгляды его скорее напоминали взгляды Богданова, а не Ленина, во всяком случае, он был убежден, что марксизм — религия, а Христа почитал как предшественника Маркса. Через отца Кочин и стал интересоваться Толстым. Отец боготворил Толстого и всецело был на стороне его учеников; Кочин же считал, что Толстой был фактически похищен из семьи и из Ясной Поляны, что похищение это растянулось почти на тридцать лет и только в последние дни его жизни, неправдоподобно ускорившись, убило его. Обычно ученики похищают учителя и его дело после его смерти — здесь они похитили его при жизни. Он умер из-за них, но бежал он к ним, и правыми оказались они. Он — жертва своих учеников, как и многие другие учителя, но породил их он.

Чтобы доказать это, Кочин даже сделал из дневниковых записей и писем схему семейной жизни Толстых. Первые семнадцать лет брака Льва Николаевича Толстого и Софьи Андреевны Берс были, писал он, счастливыми, почти идеальными. Они любили друг друга, пожалуй, даже были влюблены друг в друга, и найти, что разделяло их, очень трудно. Кажется, ничего. Еще холостым Толстой мечтал о жене-матери, а не о жене-любовнице, и та, на которой он женился, почти каждый год рожала ему детей и сама выкармливала их. Но после десятых родов она стала бояться новых беременностей, разрыв их к этому времени зашел уже далеко.

Отношения начали ломаться еще в семьдесят девятом году. В письме Страхову он говорил: «Для моего дела смерть моя будет полезна». Тогда же она пишет о нем Т. А. Кузминской: «Левочка вдался в свою работу, в посещение острогов, судов мировых, судов волостных, рекрутских приемов, в крайнее соболезнование всему народу и всем угнетенным. Это так несомненно хорошо, велико и высоко, что только больше чувствуешь свое ничтожество и свою гадость» (1880 г.). В восемьдесят четвертом году она пишет сестре: «Вчера Сергей Николаевич вернулся из Тулы и видел Левочку в Ясной Поляне. Сидит в блузе, в грязных шерстяных чулках, растрепанный и невеселый, с Митрофаном шьет башмаки Агафье Михайловне... Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радостей, ни просто обязанностей, и у меня все больше и больше к нему чувствуется презрения и холодности. Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого. Но мне так стало трудно с большими мальчиками, с огромной семьей и с беременностью, что я с какой-то жадностью жду, не заболела ли я, не разобьют ли меня лошади,— только бы как-нибудь отдохнуть и выскокить из этой жизни».

В том же году он пишет в дневнике: «Сожитие с чужой подушкой женщиной,— т. е. с ней,— ужасно гадко».

Отношения их еще нередко и надолго налаживаются, но потом они окончательно расходятся. В конце 80-х годов Толстой не просто рвет эти отношения — он отрывается от их общего прошлого. До этого он всю жизнь считал, и это было

для нее самым важным (письмо Черткову, 1888 г.), что «деторождение в браке не есть блуд... Это не грех, а воля Божия... Недаром Христос хвалил детей, говорил, что их царство небесное... Только на них вся надежда. Мы уже изгажены, и трудно нам очиститься, а вот с каждым поколением в каждой семье — новые невинные чистые души, которые могут остаться такими». Теперь он стал говорить ей, что брак не есть одна из форм служения Богу. Брак всегда падение, удаление от Бога. Об этом и «Крейцера соната», «Дьявол» и написанные потом «Отец Сергей» и «Воскресение». Она пишет: «И вот я переписываю статью Левочки „О жизни и смерти“, и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества, я помню, что я стремилась всей душой к тому благу самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба послала мне семью, я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была жизнь. Додумаюсь ли я когда до этого?» (Дневник, 1887 г.)

Она пишет: «...И если спасение человека, спасение его духовной жизни состоит в том, чтобы убить жизнь ближнего, то Левочка спасся. Но не погибел ли это двум?» (Дневник, 1890 г.)

Возможно, говорил Кочин, что Толстой ждал, что его дети будут и его учениками, что жена родит ему учеников, которые пойдут за ним. Но она не умела рожать учеников, умела только детей, и тогда он сам ушел от них, ушел к ученикам.

Но сильнее всего Толстой прошелся не по жене, а по старшему сыну Льву Львовичу Толстому. Они были необычайно, буквально как две капли воды похожи друг на друга. Когда отец начал отходить от семьи, сын стал бороться с ним: сходство заставляло его быть равным, и одно время он даже писал на темы поздних романов Толстого небесталанные контрроманы. Но потом сын сломался, заболел нервным расстройством и уехал из России. Можно только пожалеть, что он не сошел с ума и до конца своих дней знал, что он Лев Львович, а не Лев Николаевич Толстой. Оказавшись впоследствии в Америке, бедствуя там — это было уже после семнадцатого года, — Лев Львович в Голливуде стал сниматься в кино в роли отца и, неплохо рисуя (в юности он несколько лет учился в Париже), с себя рисовать его портреты. Вряд ли легко найти другие примеры такой полной капитуляции.

В том, что говорил Кочин, конечно, много правды, и я недаром все это здесь цитирую, но история взаимоотношений Льва Николаевича и Льва Львовича далеко не так проста, как ему представлялось. Все куда печальнее. Дело в том, что старший сын Толстого, тоже названный Львом, был на самом деле или самим Толстым, или его братом. Тут не может быть никаких сомнений. Домашний врач Толстых Глюк говорил коллегам, что уверен, что это однойцевый близнец Льва Николаевича, чье развитие по неизвестным причинам задержалось, и он сумел развиваться лишь позже, уже в утробе жены Толстого Софьи Андреевны Берс. Глюк говорил, что любовь Берс к Толстому его всегда поражала, это была классическая любовь матери к сыну, и то, что Берс фактически родила Толстому его самого, выносила такого же Льва, как и мать Льва Николаевича, все превосходно объясняет. Конечно, о таком продолжении себя любой нормальный человек, особенно человек отчаянно, как Лев Николаевич, боявшийся смерти, может только мечтать — ведь ему удалось то, что удавалось совсем немногим: продлить свою жизнь на еще целую человеческую жизнь, видеть, как ты сам растешь и развиваешься, как делаешься таким, какой ты есть, оставаясь самим собой, видеть себя со стороны, знать, что это ты и вот какой ты на самом деле. Льву Николаевичу удалось воскреснуть не умирая, а это немногим, поверьте мне, немногим дается: ему две жизни были дарованы, и обе очень длинные, но он этого не оценил. И вот, когда Лев Львович стал подрастать и для всех стало очевидно, что это Лев Николаевич и есть, Толстой стал доказывать, что это не он, а просто его и Берс сын; конечно, в нем что-то есть от него, как в каждом ребенке что-то есть от отца, но не более того. В старшем Толстом уже накопилось много эгоизма, он как бы чувствовал себя завершением цепи: все поднималось до него, а он — вершина и дальше идти в его роду некуда, он — конец и продолжать его не нужно, это профанация. Толстой только один и может быть. Вообще не стоит думать, что такие случаи с близнецами — из ряда вон выходящая редкость, так, недавно в Китае у человека, жаловавшегося на постоянные боли в желудке, удалили во время операции часть челюсти, ребро и пучок волос его

брата-близнеца, съеденного им еще в утробе матери; подобный же случай был в этом году в Индии, где врачи тоже из живота больного извлекли даже мягкие ткани, а также совершенно целую затылочную кость.

Эти истории взволновали толстовцев, особенно Морозова, и они, перебивая друг друга, стали обсуждать конфликты и соперничество между братьями, начинающееся еще в утробе и идущее так же жестоко и кроваво, как между Каином и Авелем. Но и остальных два эти случая, закончившиеся каннибализмом, потрясли, и все сошлись на том, что, узнав, что ты съел своего брата, жить после этого невозможно, иначе никакой нравственности не существует вовсе. Второй же толстовец, Сабуров, забыв, что речь идет о его учителе Толстом, сказал: «Какова все-таки человеческая психика, как все-таки человек умеет то, что ему не нужно, хорошо забывать и ощущать себя чистым и непорочным. Ведь эти люди, наверное, даже не чувствуют вины, не испытывают никакого раскаянья, словно поедали не они, как же это гадко и омерзительно!» Но Сабурова поддержали не все. Кто-то сказал, что, возможно, это было ритуальным убийством: убивший и съевший своего брата-врага, по поверью, наследовал его силу и ум; возможен и иной вариант: Толстой голодал или, вернее, оба они голодали и поняли, что выжить из них может только один, и тогда был брошен жребий. Это была страшная трагедия для обоих, но тот, кто спасся, наверное, поклялся своему брату, что проживет жизнь за них двоих. Они обнялись и поцеловались. Так что все это должно вызывать не омерзение, напротив, это пример высшей нравственности, пример героизма и самопожертвования, и только то, как прожил жизнь уцелевший из двух, покажет, достоин ли он был дара.

«На подобных примерах, — добавил кто-то, — мы должны учить наших детей, а не отбрасывать их как нечто постыдное. Кроме всего прочего, — сказал тот же человек, — у нас, в сущности, вообще нет оснований предъявлять Толстому обвинение в убийстве; строго говоря, своего брата он не съед, а просто задержал на несколько десятков лет его развитие. Меня гораздо больше печалит то, как вел себя Лев Николаевич Толстой, когда его брат все-таки родился. С упорством, достойным лучшего применения, он объяснял Льву Львовичу, что он не Лев Николаевич, — это все равно, как если бы мать, мечтающая, что у нее родится мальчик, родив девочку, начинает воспитывать ее как мальчика, объяснять ей, что она и на самом деле мальчик; в итоге девочка вырастает с мужскими манерами и хватками и потом несчастна всю жизнь. Или даже кончает с собой, потому что не может вынести раздвоения.

Лев Николаевич рассчитывал, что, воспитывая сына совсем не так, как воспитывали его самого, он сделает из него другого человека, Толстой вообще считал, что среда играет намного большую роль в воспитании, чем наследственность. Так, он всячески мешал попыткам Льва Львовича писать, напротив, поощрял его отъезд во Францию, где Лев Львович принужден был ряд лет учиться скульптуре. После его возвращения в Россию, когда со всей очевидностью выяснилось, что способности сына к валянию крайне ограничены, он продолжал делать все возможное, чтобы тот и не приближался к литературе. Толстой при каждом случае объяснял Льву Львовичу, что писателя формирует жизнь; так, его, Толстого, сделала писателем война и пребывание в Севастополе, кроме того, прозаику необходимо внутреннее спокойствие, которого у Льва Львовича нет, он нервен, неровен и писать по-настоящему, как пишет сам Лев Николаевич, никогда не сможет».

Особые споры вызвали у нас контрроманы младшего Толстого. Морозов считал, что у Льва Львовича просто не могло быть отличных от отца сюжетов и он, давая своим героям иную — иногда диаметрально — трактовку, просто пытался, как и хотел отец, отделиться от него. Резко, для всех явно продемонстрировать, что он совсем другой. То есть он принял правила, навязанные старшим Толстым, и вел себя как его сын. Но Толстой не оценил, не захотел это понять, принял за издевательство.

Однако я с этим морозовским толкованием контрроманов не согласен: известно, что они в отличие от новых романов Льва Николаевича продолжали линию раннего Толстого. Так вот, я думаю, что именно старший Толстой, пытаясь отмежеваться от Льва Львовича, сознательно перестал быть прежним, искусственно себя переделал; возможно и то, что он наконец понял, как глубоко был не прав перед братом-сыном, и оставил ему продолжать себя, сам же стал

другим. С этого времени истинным Толстым стал его официальный сын, его и следует нам изучать.

Конфликт между братьями продолжался и дальше. В конце концов теперь истинный Толстой — Лев Львович — уехал в Швецию, где у известного врача Эрнста Теодора Вестерлунда долго лечился от неврозов, а старший Толстой бежал из Ясной Поляны — всеобщее бегство от себя.

После смерти Льва Николаевича Толстого и особенно после революции все постепенно приходит в норму. Как и должно, Льва Николаевича играет в голливудских фильмах Лев Львович, и с себя же он в минуту острого безденежья рисует автопортреты великого Толстого.

И последнее: возможно, что большевики решились на коллективизацию, глядя на такие процветающие и такие изобильные толстовские коммуны.

Четвертый, кого я хочу помянуть, это вышеназванный Семен Евгеньевич Кочин, наш сосед по коммунальной квартире в доме на улице «Правды», где я с родителями прожил до своих пятнадцати лет. Потом мы получили отдельную квартиру совсем в другом районе, на Ленинском проспекте, и я после переезда видел Кочина всего дважды, второй раз чуть больше года назад, за месяц до его смерти. Так что можно считать, что я с ним попрощался. И при мне, и позже Кочин жил со своей сестрой, тихой, неприметной старой девой, относящейся к брату как к ребенку, — к нему вообще все относились как к ребенку, я, например, с детства был уверен, что он мне ровня.

Комната Кочиных в квартире была самой большой, но предельно странной формы. Та ее сторона, где находилось окно — оно выходило на юг, — была совсем узкой, собственно говоря, там только это окно и умещалось, однако дальше комната расширялась, образуя настоящий параллелепипед, который Кочин предпочитал именовать «зрительным залом». Из тех же соображений его кровать (вставал он с нее крайне редко) звалась «королевской ложей», а старые льняные занавески — «театральным занавесом». Следуя кочинской логике, все, что было за окном, следовало бы назвать сценой, точнее, даже сценой жизни, но для него вряд ли это было так: жизнь за окном интересовала его мало; пожалуй, после освобождения из лагеря он никогда не стремился выйти из своей комнаты, заглянуть за стекло, которым комната кончалась. Он вообще ценил завершенность и границы, мир его был плоским, как экран кино, он намеренно отказался от глубины сцены ради четкости и ясности изображения или потому, что не мог совладать с масштабом. Однажды он говорил мне, что в юности учился на художника, считался довольно талантливым колористом, но никак не мог научиться перспективе — этому сознательному искажению всех размеров ради достижения истинности.

День свой Кочин начинал с того, что искал в неровностях занавесочной ткани человеческие лица; если они были добрые, он немедленно приходил в хорошее настроение, вставал и до вечера был бодр и весел; плохие лица, наоборот, вгоняли его в тоску, часами он совершенно неподвижно лежал в постели и смотрелся тяжело больным. Все это было достаточно серьезно, и когда-то давно, еще до моего рождения, сестра пыталась его лечить, клала в больницы, водила к хорошим врачам, но дело оказалось безнадежным, и в конце концов его оставили в покое. Впрочем, некоторая польза от хождений была: он был признан инвалидом и стал получать микроскопическую пенсию. Лет с пяти, после смерти моей бабушки, я бывал у Кочиных по многу раз в день, иногда просто проводил у них все время; квартира наша утром и до вечера, когда люди возвращались с работы, вымирала, один я оставаться не любил и шел к ним — в единственную комнату, где всегда кто-то был. Естественно, что очень быстро он и меня пристрастил к своему занятию: каждый из нас хвастался найденными лицами, но потом сам Кочин решительно это пресек. Дело в том, что нередко, когда ему попадались хорошие лица, я отыскивал злые, на него это действовало, он мрачнел, снова ложился в постель, и сестра меня выгоняла. Пожалуй, это был первый человек в моей жизни, который относился ко всему серьезнее, чем я; довольно скоро я научился жалеть его и обманывать.

Свой хороший день Кочин начинал с того, что расшторивал окно; занавес, закрывающий сцену, убирался, но света в комнате это не прибавляло. Дело в том, что все стекло, насколько я сейчас помню, кроме форточки, было заклеено тонкими — на каждой помещалось всего несколько строк текста — полосами исписанной бумаги. Из-за них в комнате даже в солнечный день был полумрак

и горела электрическая лампочка. Мне это нравилось: я люблю электрический свет. По словам Кочина, вместе эти полосы составляют автобиографический роман, который, в силу бедности его жизни событиями и, соответственно, причинно-следственными связями, состоит исключительно из отдельных мыслей и зарисовок. Мысли же приходят в голову вне всякой системы и логики, во всяком случае по внешности; найти ее каждый раз заново — и есть его ежедневная работа писателя. Логика, конечно же, наличествует, потому что все это рождено им, но она внутри, а кроме того, непостоянна, текуча и изменчива.

На практике его представление о писательском труде воплощалось следующим образом. В день, когда у него не было депрессии, он все утро рисовал подробнейшую схему развития своего романа: то есть как, в какой последовательности читать сегодня эти наклеенные на окне строчки; делалось это обычно красным карандашом и больше всего напоминало карту кровообращения. Очевидно, такая ассоциация устраивала Кочина, потому что сам он никогда не забывал подчеркивать, что роман — живое существо, которое, как человек, живет и дышит, растет и развивается. Потом, когда схема бывала закончена и к нему кто-нибудь приходил, он ловко взбирался на прислоненный к подоконнику стол и, ходя по нему, приседая, вставая на цыпочки, садясь, читал в точном соответствии с планом написанное. Зрелище это было занятное до крайности. Но чтобы читать, Кочину был необходим слушатель, ему обязательно нужно было видеть реакцию на текст, и он успевал все время оглядываться, хотя читал быстро и без запинки; правда, слушатель подходил любой, может быть, кроме сестры, во всяком случае, я — пяти-шестилетний ребенок — его вполне устраивал.

Зачем он наклеивает то, что пишет, на окно, Кочин объяснял мне неоднократно, но всякий раз иначе; правда, ни один из его ответов, в общем, другому не противоречил. Началось это, кажется, во время войны, когда стекла, чтобы они при бомбежке не вылетели, заклеивались крест-накрест бумажными лентами. Кочин выделил тогда сестре на эти нужды несколько страниц романа и стал утверждать, что его писания не дают миру окончательно разрушиться и распасться на части. Еще он говорил, что так теплее, его роман греет их и не дает замерзнуть; что роман должен прокалиться на солнце; что он должен быть прозрачен, и раз в их комнате все время горит электричество, до конца работы еще далеко. Говорил он и то, что не может держать его в столе — живое нельзя лишать света, что вообще роман больше всего похож на растение и живет за счет фотосинтеза. Что же на самом деле представляет собой написанное Кочиним, ребенком я, конечно, судить не мог, хотя после первого прочитанного мной романа — диккенсовского «Оливера Твиста» — подозревал, что вряд ли его полоски можно назвать этим именем. Но я был привязан к Семену Евгеньевичу, пожалуй, можно сказать, что любил его и никогда не выражал сомнений.

И все-таки, что это было, я сейчас знаю. В мое последнее посещение Кочина, — я поехал к нему вслед за звонком его сестры, сказавшей, что он неизлечимо болен, через месяц-два умрет и было бы хорошо, если бы я с ним попрощался, — он действительно уже не вставал, но был весел и определенно мне рад; не успел я поздороваться и раздеться, он вручил мне новую, кажется, только что законченную схему и погнал на стол читать. Дело это было совсем не легкое, и не только потому, что мне приходилось совершать замысловатые телодвижения, чтобы уследить за ходом его мысли, зашифрованной в стрелках и цифрах; здесь он мне все время помогал, интенсивно жестикулируя и давая бодрые указания: вверх-вниз, налево-направо, в угол и т. д., хуже было другое: многие листки выщвели, почти везде они были наклеены в два-три слоя, буквы просвечивали друг через друга, строчки налагались, и я ежеминутно путался. Тем не менее с заданием я справился, прочитал кусок, который он хотел, а потом, поскольку все это показалось мне небезынтересным, даже попросил разрешения переписать, чем он был очень польщен. Таким образом, часть им написанного у меня есть; конечно же, это никакой не роман, наверное, правильнее всего назвать то, что он писал, циклом стихотворений в прозе или, может быть, цепочкой совсем уж микроскопических рассказов. Скорее, все же это стихи.

«Я шел в деревню. Чтобы попасть в деревню, мне надо было перейти три ручья. Я перешел первый, перешел второй, вошел в третий. Когда я вошел в третий ручей, я услышал шум. Это вода билась о мои ноги. Я решил посмотреть, как

вода бьется о мои ноги. Она билась красиво. Я никуда не спешил и решил посмотреть еще. С тех пор прошло семьдесят два года. Значит, это было до революции.

Один человек думал, что моя жизнь — чашка. Случайно он уронил чашку и разбил мою жизнь. Он разбил мою жизнь, извинился и ушел. Всю ночь жена собирала осколки. Она собирала и клеила их. Утром она спрятала чашку в безопасное место. Потом она ушла к этому человеку. Как у солдата, у меня перед дождем болят старые раны.

Болото высохло, и мох стал похож на овец. Много людей видели мох, и все говорили, что это овцы. Овцы дают шерсть, дают кожи, дают мясо. Все это овцы дают. Все это овцы дают нам. А что они оставляют себе? О себе они забывают. Они альтруисты. Они хорошие. Если мох стал овцами, это хорошо. Ура! я трудоустроен. Мне сделали шалаш и велели сгнать овец. До зимы перекантуюсь.

Напротив окон моей комнаты крыша девятиэтажного дома. С некоторых пор эта крыша — бойкое место. По ней все время ходят люди. Одни люди идут по делам, другие просто гуляют. Мои симпатии целиком на стороне первых. Люди, которые идут по делам, всегда идут прямо. Когда они доходят до края крыши, они прыгают. В их прыжках есть сила, напор, расчет, стремительность и деловитость. Те, кто просто гуляют, дойдя до края, поворачивают обратно. Или садятся на раскладные стулья и смотрят вниз. Я часто думаю, есть ли между теми людьми и этими хоть что-то общее. Жена говорит, что есть. Жена говорит, что их легко можно скрестить. Она говорит, что не пройдет и года, как на крыше будет полным-полно маленьких мулов. Если это так, значит, она выиграла у меня шоколадку.

Днем и вечером снег таял. Под утро он замерз. Стало скользко. Люди стали ходить, как канатоходцы. Они стали держаться за воздух, как старики. Они стали падать, как дети. Они стали мягче.

Когда Христос ходил по воде, оставил ли он следы? Если нет, значит, оставить следы на земле легче, чем на воде. Если нет, значит, земля и вода — не одно и то же. Значит, Господь действительно разделил их.

В аллее деревья стоят в ряд. Они построены, как солдаты. Аллея — это регулярный лес. Растить аллею долго и трудно. Но есть новаторский способ. Солдат надо зарыть в землю. Каждый день их надо поливать. Тогда весной они прорастут и пустант побеги.

Сегодня я написал руководство для птиц. Взрослая птица, которая хочет стать птенцом, должна уменьшиться в росте. У нее должен измениться взгляд на жизнь. Птица, которая хочет родиться заново, должна оставить эту мысль.

Я стою на высоком месте. Здесь опасно. Дальше глубокий провал. Я смотрю вниз. У меня кружится голова. Но я все равно смотрю. Внизу растут деревья. Я стою над ними. Я — птица, которая летает стоя. Ниже деревьев болото. Преисподнюю залила вода.

Человек рухнул как подкошенный. Он понял, что он трава. Он понял, что вокруг луг. Он понял, что уже время. Время сенокоса.

Птица села на ветку, ветка качнулась. Птица слетела с ветки, ветка качнулась. Думаю, что это уже не первый раз. Думаю, что все уже было.

Глубокое лесное озеро. Дно завалено упавшими деревьями. Среди веток медленно ходят рыбы. Между собой деревья зовут их птицами.

Всю зиму я ухаживал за снежной бабой. Я полюбил ее. Мне нравилось, что у нее простое лицо. Мне нравилось, что у нее большой живот. Я вообще не люблю воздушных барышень. В марте она наконец согласилась стать моей. Мне было

с ней хорошо. Мне нравилось, что она ревнует меня к другим снежным бабам. Когда стало тепло, я увез ее на север. Моя любовь спасла ей жизнь. Зимой мы снова вернемся назад.

Я долго-долго болел. Я уже свыкся со своей болезнью, привык к ней. Она стала моей частью. Старел я, и старела моя болезнь. И все-таки она умерла раньше меня. Я похоронил ее в себе.

1936 год. Москва. В окне первого этажа стоит голая женщина. Она красива. Она хорошая мать. Она ждет меня. Она ждет каждого, кто видит ее в окне. Каждый может вложить в нее то, что имеет. В любой момент то, что вложил, он может взять обратно. Все будет возвращено ему в целостности и сохранности. Плюс проценты.

«Как же зовут эту женщину?» — спросил учитель.

«Сберкасса», — крикнул я с места.

«Лед, — сказал учитель, — это организованная вода. Это вода, у которой устойчивый быт. Лед хороший производственник и надежный товарищ».

«А река, — сказал я, — как же река?»

«Река, — сказал учитель, — тоже хороший производственник, если она течет сверху вниз».

Пустыня. Желто-серый такыр. Покров земли пошел трещинами и распался на части. Трещины глубокие. Уже ничего не склеить. Ветер пересыпает песок. От подножья бархана вверх, полого и медленно. Власть должна быть воспитана. Потом круто вниз. Всякий, достигший власти, достоин забвения. Если хочешь сделать революцию, так и делай ее. Пересыпать песок — славное занятие. Им можно заниматься всю жизнь».

Напоследок, когда я уже был в дверях, Кочин сказал мне: «Толстой предвидел, что из его учения может произойти зло. Он говорил Софье Андреевне, что ученики — те же дети, только ущербные, воспитанные без материнского тепла. Много раз он просил, уговаривал жену, чтобы она обращалась с ними как с их общими детьми, вернее, еще лучше, еще внимательнее, как относятся к больным детям, сиротам. Был и еще один способ избежать зла: Софья Андреевна должна была согласиться кормить учеников Толстого грудью, как собственных детей. Толстой, плача, молил ее об этом, но она, по словам Черткова, на все его стенания холодно отвечала, что на всех молока у нее не хватит, а потом, чтобы все это прекратить, даже перевязала груди бинтами, так что их последнего ребенка тоже выкармливала не она, а кормилица. После этого у них все и порвалось, а через несколько лет он, чтобы ученики не чувствовали, что никому не нужны, совсем ушел к ним».

Все-таки Кронфельда я дождался. Он вышел ко мне сам, отвел в кабинет и там, выслушав, сказал, чтобы к следующей среде я уладил неотложные дела — в этот день в отделении освобождается место, и он готов меня положить. В больнице мне придется пробыть долго, не меньше полугода, потому что курс при тех дозах, которые я буду получать, очень растянут. Может взять он меня к себе и в другое время, правда, койки, выделенные для испытания препарата, у него появляются нечасто, и ждать, скорее всего, придется месяцы. Если же среда мне подходит, то я накануне, во вторник, должен позвонить по телефону, который он мне сейчас даст.

Неделю, которая была оставлена на раздумья, я провел спокойно, в сущности, все мои страхи были сбиты его бодрым тоном, даже срок, который придется провести в больнице, не особенно пугал. Наверное, он был хороший врач, потому что при всей моей мнительности ни разу за весь разговор его честность не вызвала у меня сомнений. В общем-то, он меня и не обманул. Во вторник, как и было договорено, я позвонил, подтвердил, что ложусь, а в среду — это было десятое число — мама и тетка проводили меня до приемного покоя. Здесь я переоделся в казенную пижаму, после чего они сдали меня с рук на руки медсестре и, поцеловав, ушли. Мама плакала, но, кажется, больше для порядка, она уже давно была измучена ожиданием моих припадков, тем, что никуда не

может отпустить одного, теперь больница соглашалась ей дать отдых, передышку, и даже была надежда, что меня совсем вылечат. Конечно, ей хотелось в это верить. Во всяком случае, ей твердо обещали, что хуже не будет, и в больнице она оставляла меня со спокойной душой.

Корпус, в котором был приемный покой, находился почти у самой Яузы, на задах того двенадцатиэтажного здания, где был кабинет Кронфельда. Это был старый, возведенный еще до революции дом. Проектировали его, очевидно, как загородный особняк, но на середине работ решили переделать под клинику и к центральной, очень изящной части добавили с двух сторон непропорционально длинные флигели, тут же надстроенные вровень с ней, после чего все сооружение сразу стало напоминать казарму. Позднее многочисленные, как они у нас называются, косметические ремонты окончательно подравняли здание. Орнаменты, звериные морды, другая лепнина или обвалились, или были отбиты, даже колонны, раньше выступающие из стены полукругом, постепенно были замазаны штукатуркой и теперь выделялись лишь цветом. Корпус был историческим: с него, построенного иждивением какого-то купца-золотопромышленника лично для Корсакова, и началась больница.

Между собой двенадцатиэтажный корпус и этот были соединены, как пуповиной, подземным тоннелем, и я был уверен, что сестра, оформив бумаги, отведет меня на уже знакомый шестой этаж, но оказалось, что мой Кронфельд поистине вездесущ и возглавляет в больнице не одно, а целых два отделения; нужное же мне как раз находится здесь. Правда, тут он работает на полставки. Все это сестра рассказала мило и весело, а потом без всякого перехода принялась меня жалеть, какой я молодой. Делала она это быстро, почти скороговоркой, и странно похоже на то, как в церквах, молясь, причитают старухи. Наконец она кончила и писать и сострадать, спокойно взяла за руку и повела в палату.

С койкой, объясняла она, пока мы шли, мне очень повезло: она у окна, а окно выходит в парк, место самое что ни на есть почетное, по справедливости положено оно старожилу, но отделение у них особенное, и ей жалко, что я чуть ли не мальчик, а уже пациент Кронфельда, поэтому она отдает его мне.

Так, я стал законным здешним обитателем. Теперь мне надо было все это обживать. Я думал, что больничная жизнь дастся мне проще, но привыкал я медленно и тяжело. Хотя я по всем статьям был привилегированным пациентом не только потому, что попал сюда по благу, главное же — я пока был куда легче болен, чем другие, но этот мой козырь оказался слабым утешением. Скорее, наоборот. Дело в том, что я был едва ли не единственным из местных постояльцев, кто вообще ощущал себя больным; правилом, нормой тут было чувствовать боль, а не болезнь как таковую, боль, которая то приходила, и тогда ты мучился и страдал, но потом, когда она слабела, кончалась, ты забывал о ней, забывал так, словно ее и вовсе не было. Я же этого забвения был лишен. Я всегда был со своей болезнью, всегда думал о ней, всегда следил за ее динамикой и изменениями, следил, как действуют на меня препараты, что я принимал, насколько мне лучше или, наоборот, хуже.

С моей, да и с любой другой точки зрения, мои сопалатники жили страшной жизнью, и я бы ни за что не согласился с ними поменяться, однако и мне тоже было трудно и плохо. Наверное, особенно трудно потому, что рядом не было никого, кто был бы в равном со мной положении, кто мог бы меня понять, я был совершенно ото всех отгорожен, предоставлен себе. Я ощущал чисто физически забор, который был вокруг меня.

В сущности, быть пациентом отделения старческого склероза, или, как их для благозвучия теперь именуют, отделения геронтологии, нелегко для любого человека — все равно, чем и в какой степени он болен. В любой психиатрической клинике оно считается тяжелым, и в первую очередь из-за той абсолютной безнадежности, которой заражены там все — и больные, и врачи, и медсестры. Сделать ничего нельзя, невозможно навести даже относительный порядок, больные ходят под себя, а белье, хотя наше отделение считалось привилегированным, им меняли не чаще чем через день, в других больницах и того реже — раз в неделю. По этой причине все и навсегда пропахло скишей мочой да еще, как в обычной больнице, прогорклым маслом из кухни и рассыпанной в уборной хлоркой. Из-за сырых простынь и грязи у многих больных были язвы, пролежни, правда, с ними, поскольку они на виду, все же пытались бороться — перевязки

делались регулярно, врачи за этим следили, и тогда вдобавок в отделении остро пахло мазями и спиртом.

Корпус был для бывшего начальства, но не весь, только центральная часть здания и левый флигель. В правой же стороне уже при мне стали делать ремонт, ее собирались от нас отгородить и передать «скорой помощи» под тех, которых, как и меня, подбирали на улице. Продлиться переделка должна была год, а то и два, но, очевидно, решение передать флигель «скорой» уже где-то было утверждено и, соответственно, прежние койки у нее отняты, так что машины одновременно с началом ремонта стали возить сюда больных, клали их в те палаты, где строители еще не работали, а потом через несколько дней скандалов и ругани переводили в другие клиники. Весь этот бред со «скорой» был связан не только с обычным нашим бардаком, но и с давней, чуть ли не двойной нехваткой коек в психиатрии. Те, что были, бронировались за острыми больными, а на остальных денег никто давать не хотел.

Про то, что люди, лежащие в нашей части корпуса, не простые, легко было догадаться по тем разговорам, которые они вели сами с собой, но и так Кронфельд во время одного из обходов сказал мне, что чуть ли не все, кто здесь обитает, или старые большевики, или в прошлом большие начальники, так что он, бывая тут, чувствует себя генсеком. От него же я узнал, что, как ни странно, попасть сюда считается вполне достойным завершением карьеры.

В сущности, понять это можно. Жить в одной квартире со впавшим в маразм стариком до крайности трудно. Ему нужна отдельная комната, постоянный уход, кто-то все время должен быть рядом, иначе в доме непролазная грязь, вонь, всегдашняя опасность, что будет не выключен газ, залита водой квартира. Однако найти женщину, которая бы согласилась ухаживать за таким больным, давно сделалось невозможным.

Есть еще один путь — дом для престарелых. Но и туда попасть сложно, очередь тянется несколько лет, бывает, что даже люди, у которых нет никаких родных и которые просто физически не могут жить одни, так и умирают, не дождавшись места. Кроме того, жизнь в этих заведениях ужасна, это всем известно, и мало кто готов сдать туда мать или отца. Другое дело — больница, куда формально берут на время (если постараться, его можно тянуть и тянуть), а не навсегда и где, по идее, лечат, а не содержат. Условия в отделениях геронтологии, как бы их ни ругать, не сравнимы с тем, что творится в домах престарелых, так что они для всех — и для семьи, и для больного — лучшее, на что можно рассчитывать. Соответственно, чтобы сюда взяли, нужны немалые связи и немалые заслуги.

Правда, по словам Кронфельда, этот год был переходный: в Москве стали строить сразу несколько интернатов для хроников — нечто среднее между больницей и приютом для стариков, — куда через пару лет большинство здешних больных должны быть переведены. Уже установлен и предельный срок пребывания у них в отделении — полгода, но пока он еще не действует. Если интернаты действительно построят, пациентов будет поменьше и больница наконец станет похожа на больницу. А сейчас, когда на две палаты одна санитарка, ждать, что тебе вовремя дадут утку, поменяют белье, — наивные мечты, тем более, что в их отделении денег, чтобы за это заплатить, ни у кого нет.

Все, что говорил Кронфельд, было, конечно, правильно, и все-таки дело было не только в деньгах и в нагрузке. Некоторые санитарки, сами старухи, когда я ходил за ними, чтобы позвать к больному, так их было недокричаться, по-книжному рассудительно и жестоко объясняли мне, что я лезу не в свое дело, что вообще незачем длить жизнь этих ублюдков и зря тратить народные деньги. Для всех было бы лучше, если бы их усыпили, врачей же и остальных перевели в нормальные больницы, например в роддома, где тоже одна санитарка на две палаты и чистого белья надо не меньше, чем здесь. Все это трезво и спокойно они говорили прямо в палате, тому же, кто звал их, персонально объявлялось, что он не человек, в лучшем случае — животное, а обслуживать животных они, санитарки, не нанимались. Пожаловаться на них было некому, и они, чувствуя себя правыми, при каждом удобном случае пытались сагитировать и врачей.

Первые два месяца, что я провел в больнице, были, в сущности, предварительными. Все это время внутримышечно и внутривенно в меня вливали самые

разные лекарства, по большей части стимуляторы внимания, памяти, а также витамины, которые должны были подготовить организм для собственно лечения.

То, что мне давали, на меня, несомненно, действовало: достаточно сказать, что никакие другие шестьдесят дней своей жизни я не помню с такой отчетливостью, как эти. Контраст особенно силен потому, что то, что было позднее, когда мне уже принялись делать инъекции кронфельдовского препарата, я не помню или вовсе, или помню отдельными эпизодами и очень смутно. Особенно начальные недели этих инъекций. Тогда я практически круглые сутки спал, и лишь затем постепенно, по мере того, как мой мозг привыкал и приспособлялся к лекарству, во мне что-то стало оставаться. В контрасте с этим те вводные два месяца больничной жизни по яркости, цвету не сравнимы ни с чем, я и сейчас не способен отойти, взглянуть со стороны ни на что, что было со мной тогда; время ничего не излечило, я по-прежнему боюсь тех своих страхов, по-прежнему во мне живут все та же вера, все та же надежда на то, что не все еще решено окончательно, и все это соединено с пониманием своей, и не только своей, обреченности.

В те месяцы я был никак не ограничен в режиме, чувствовал себя бодрым и молодым, в постели почти не лежал, во мне вообще было странное смешение почти забытого здоровья и свежести, телесной радости, если не восторга, — думаю, что по любым тестам я тогда помолодел лет на десять, — со слабостью, унижением и страхом. И этот страх, хотя случались у меня целые недели равновесия и покоя, никуда не уходил, рос и рос во мне. Так что сон, длинный, почти непрерываемый сон от кронфельдовских инъекций я принял как спасение и потом, все боясь, что страх вернется, тянул его сколько мог.

Благодаря избытку жизни, который в меня влили вначале, я был весьма деятелен, на взгляд со стороны, наверное, и суетлив, во всяком случае, за предшествующие спячке два месяца я успел не только перезнакомиться со всем отделением, поразившись, среди прочего, что здесь частью лежат совсем не те люди и по возрасту, и по другим статьям, которые должны бы лежать, но и с некоторыми из обитателей клиники даже сойтись. Это — что лиц десять из тех, что мне встретились в больнице, тут чужие, — долго не давало мне покоя, пока я в конце концов — это было на исходе первого месяца — не решился спросить о них у Кронфельда. Многих я уже к тому времени выделил и знал большинство даже по имени, например, тех же толстовцев Морозова и Сабурова, Николая Семеновича Ифраимова, о котором скажу ниже; пожалуй, я мог считать себя принятым и в то подобие кружка, который они образовывали (они себя тоже отличали от других), однако отделение старческого склероза — не то место, жизнью в коем гордятся, и спрашивать их самих, как они сюда попали, казалось мне совершенно неудобным.

Кронфельд легко понял и мой интерес, и то, почему я обратился именно к нему: вполне любезно он мне ответил, что, по слухам, в двадцатые годы, а возможно и позже, этот корпус принадлежал закрытому интернату, по-видимому, для детей разных ответработников, наших и коминтерновских, — так, во всяком случае, говорили ему нянечки, работавшие здесь двадцать—двадцать пять лет. Впрочем, тех, кто сам работал в этом интернате, он, Кронфельд, уже не застал. Когда этих людей посылали на какие-нибудь дальние и опасные задания, например, за кордон или туда, где шла война и куда взять с собой детей они, естественно, не могли, они оставляли их здесь; вернувшись же, забирали обратно. Возможно, что дети одновременно были и чем-то вроде заложников, но это только предположение. Однако, сказал Кронфельд, если я хочу, он постарается выяснить все точнее — ему это тоже интересно.

Через день он снова зашел меня проведать, но ничего нового я от него больше не услышал, он только сказал, что некоторые из воспитанников по неизвестной ему причине так и прожили в интернате всю жизнь: может быть, их родные погибли, может быть, изменили. Таких старожиллов еще лет десять назад было человек тридцать, но теперь, когда моложе шестидесяти среди них нет никого, каждый год двое-трое умирают, и на сегодня осталось их всего одиннадцать. В общем, из-за чего они здесь, узнать уже не у кого, разве что у них самих, во всяком случае, для властей этот вопрос давно потерял актуальность. По тому, что до него, Кронфельда, доходило, добавил он, на каком-то этапе об этом интернате просто забыли, потом вспомнили, спохватились, было сие при Хрущеве, и хотели закрыть. Решение об этом даже было подписано. Но никто из

здешних выходить на волю уже не хотел: там их никто не ждал, да они и понимали, что после тридцати лет заточения нигде прижиться не смогут. Как ни странно, чиновнику, который данным делом ведал, всю эту ситуацию удалось объяснить, приказ был изменен, и их оставили. Правда, чтобы не держать ради тридцати человек целый корпус, тем более такой большой, здесь тогда же стали размещать больных из соседних отделений, обычно выздоравливающих. Получилось нечто вроде реабилитационного центра. А дальше естественный процесс: одних становилось все меньше и меньше, других — больше, в конце концов они перемешались; палат, во всяком случае у интернатских, отдельных нет, чересполосица полная, так что он, Кронфельд, постепенно о них и думать забыл — не его пациенты, и слава Богу. В общем, подвел он итог, они здесь патриархи, старожилы, это знают все и все вплоть до нянечек с этим считаются. Льготы и привилегии, которые у них есть, табу, и блюдут его свято. Вот, в сущности, и все, что я узнал от Кронфельда.

Конечно, это не многое прояснило, но я вдруг образумился: общение с этими людьми было единственным светлым пятном в больничной жизни, я старался не пропускать ни одного из их семинаров, был благодарен, что они приняли меня, отнюдь ни о чем не расспрашивая; я же не мог и самому себе объяснить, почему с такой настойчивостью пытаюсь узнать их подноготную. Без сомнения, все это было не очень хорошо. Если бы они хотели, чтобы я знал их историю, они бы нашли время мне ее рассказать.

Эти и подобные соображения скоро дошли до уровня самобичевания, в больнице я вообще все раздувал и преувеличивал, потом я вдруг сообразил, что Кронфельд не сказал мне ничего нового, и обрадовался: намеренья мои были несправедливы, но Господь не допустил греха. Однако любопытство в человеке неистребимо: дня через два я, словно забыв, что только что каялся, решился обратиться с тем же вопросом к Ифраимову. Я успокоил себя тем, что он из них, значит, на этот раз все открыто и честно. Я видел, что Ифраимов ко мне относится с явной симпатией, и понимал, что он не откажет, скорее, чем другие. Ифраимов и вправду согласился, причем на удивление легко, мне даже показалось, что он обрадовался этой возможности. Никакой тайны, сказал он, здесь давно нет, только история эта некороткая, так что мне, может быть, еще придется пожалеть, — словно извиняясь, он поклонился, — что я его об этом спросил. В нем вообще была склонность к рисовке и кокетству. Я не скрыл, что готов начать хоть сейчас; сначала мы думали устроиться в холле, перед как обычно выключенным телевизором, но там уже кто-то сидел, и мы просто стали ходить из конца в конец коридора.

«С двадцать второго года, — приступил он, — по тридцать второй, то есть всего десять лет, в этом особняке помещался Институт природной гениальности, сокращенно ИПГ — контора в ту пору совершенно секретная; Совнарком, еще во главе с Лениным, подписавший постановление об организации этого института, возлагал на него исключительные надежды. Мы, то есть те десять человек, которые по заведенной привычке (инерция — вещь серьезная) проводят каждую неделю свои семинары, — последние воспитанники этого института, остальные или умерли, или погибли. В тридцать втором году, как я уже сказал, ИПГ был распущен, опять же решением Совнаркома, правда, состав его был на этот раз совсем другой. Объявленным основанием закрытия института было то, что он оказался абсолютно бесполезен; на самом деле причина была иная. В тридцать втором году наш директор, милейший и умнейший профессор Христофор Иннокентьевич Трогау, к пятнадцатилетней годовщине революции подготовил и частично доложил профессуре ИПГ свой труд, этой революции посвященный. Вернее, его первую полутеоретическую главу. Он использовал собственные, весьма необычные источники, в результате картина получилась настолько несхожей с официальной, что вышел огромный скандал. Рукопись конфисковали, Трогау посадили, позднее он довольно скоро погиб, под нож пошло и большинство тех, кто его вживую слышал. Среди нас таких не осталось, например, ни одного. Но тридцать второй год по сравнению с тем, что было дальше, можно счесть за либеральное время, так что материалы, собранные Трогау, даже после изъятия самой рукописи довольно долго циркулировали в институте, и мы все имели об этой работе вполне ясное представление, — сказал Ифраимов, — но об этом когда-нибудь потом. Трогау не случайно стал директором ИПГ, гениальностью он занимался очень давно. Он был членом сложившейся еще в семидесятые годы девятнадцатого века группы весьма дальновидных людей — она

называлась «группа Эбро», в нее входили политики, философы, много было ученых, в основном биологов, были врачи-психиатры, несколько предпринимателей и инженеров, словом, состав весьма разнообразный и разношерстный, — которая пришла к выводу, что в двадцатом и двадцать первом веках мощь государства будет определяться не его территорией и численностью граждан, а исключительно качеством этих граждан. Человеческий мозг они признали главным природным ресурсом, отдав ему предпочтение перед всем остальным — золотом, углем, нефтью, рудами и прочая, вместе взятым. Соответственно, первостепенную цель последующих русских правительств они видели в его приумножении и обогащении.

Надо сказать, что приоритет в заботе о качестве народонаселения принадлежит не России, а, как и во многих других вопросах, Германии — там подобная группа появилась десятилетием раньше, возглавили ее выдающиеся психиатры Крепелин и Кречмер; но здоровье нации было понято там совсем не так, как в России, следовательно, и в этом вопросе Россия и Германия рано сделали антагонистами. Германия посчитала здоровье вещью вполне утилитарной и, по сути, почти чисто физической. Евгенисты, которые составляли в немецкой группе явное большинство, были убеждены, что главная проблема — в огромном количестве душевнобольных, умственно неполноценных и уродов, но в первую очередь именно душевнобольных, которые, воспроизводя себе подобных, постепенно разлагают нацию. Вывод отсюда был однозначен: в целях общего блага необходима и обязательна их насильственная стерилизация.

В России победил совсем иной взгляд. Основан он был на целом ряде весьма своеобразных исследований. Так, среди прочего в последние десятилетия XIX века были тщательно изучены биографии всех гениальных русских людей и их ближайших кровных родственников; параллельно, как контрольная группа, изучались и некоторые особенности еврейского населения империи, в частности, сочетание явной одаренности этого народа с не менее явной его неуравновешенностью. Результаты в обоих случаях были практически одинаковы. Оказалось, что гениальность неразрывно связана с той или иной формой психической патологии, — правило это не знает исключений. В отличие от немцев даже ради душевного здоровья нации русские не были готовы расстаться со своими гениями; наоборот, в России и правительство, и общество всегда исходили из того, что гений — это и есть соль земли; сила народа, его качество — это качество его гениев, именно порождая гениев народ оправдывает свое существование на земле. Прямым следствием этого было не просто чрезвычайно терпимое отношение к душевнобольным, но начало разработки целой системы анализа их идей, их бреда, прочих аномалий, дабы не был упущен ни один случай одаренности.

Хотя деятельность группы была строго засекречена, часть ее разработок все же выплыла на поверхность, но публика, как это обычно и бывает, получила их в убого-карикатурном виде. Некто Петр Ткачев, недолгое время работавший в группе в качестве секретаря, опубликовал за своей подписью политический трактат, в котором доказывалось, что историю творят не народные массы, а критически мыслящие личности, то есть гении, сумевшие непредвзято взглянуть на мир, их окружающий, увидеть его несовершенство, его ущербность и греховность и повести за собой миллионы людей, готовых этот мир разрушить до основания. Конечно, как вы понимаете, Алеша, гении случаются не только в политике, наоборот, в политике их на удивление мало, но русское общество того времени было наивно, уверенное, что стоит свергнуть монархию, и все само собой наладится; оно встретило теорию Ткачева восторженно, но о Ткачеве позже.

Поразительная сцепленность патологии и гениальности требовала объяснений, и этой проблемой занимались довольно долго. Что же оказалось? Любое общество чрезвычайно жестко организовано, оно делает все мыслимое, чтобы каждое новое поколение воспроизводило его в неизменном виде; для этого существуют тысячи запретов и табу, любой человек чуть ли не с пеленок знает, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. Эта норма вложена во всех нас, не забыт ни один, с рождения до смерти мы живем под цензурой, от которой невозможно скрыть ничего, никакого наимельчайшего пустяка, потому что мы сами и есть эта цензура. И мы очень бдительны, Алеша. Гении — страшные враги общества, они единственные способные разрушить его, потому что понижают его необязательность. Часто достаточно всего одного незаурядного человека, чтобы рухнуло все, и с каким грохотом рухнуло.

Защищаясь, общество убеждает гения, что все его мысли, идеи, теории — это глупость, бред, сумасшествие, что они бессмысленны, отвратительны, порочны, грязны и он ради собственного же блага не должен посвящать в них никого, даже самых близких своих родных. Он должен помнить, что это его проклятье, его крест, его позор, и молить Бога, чтобы все так и осталось тайной, ушло с ним в могилу. Доводы общества, несомненно, звучат очень убедительно; большинство гениев и не пытаются бороться с цензурой: они быстро, даже с радостью смиряются и проживают хотя, может, и не всегда счастливую, но вполне нормальную жизнь. У гения есть шанс осуществиться, только если общество в нем самом ущербно, если оно болеет и слабо, тогда он добывает его сначала в себе, а потом, выйдя на свободу, сколько хватит сил и жизни, с такой же ненавистью и вовне. Чем же и когда болеет общество в человеке? Иногда это легкие, быстро проходящие недомогания, сон, например, или галлюцинации, вызванные жаждой, голодом, жарой, но есть вещи более серьезные: истерика, транс, вызванный гипнозом или еще чем-нибудь, наркотические галлюцинации, иллюзии, особенно так называемая иллюзия уже виденного; аутизм, психическая синкинезия и многое другое.

Наша вера в справедливость и оправданность этого мира может быть разрушена какой-нибудь огромной трагедией, происшедшей с нами или с нашими близкими или просто на наших глазах: мы возвращаемся к этому и возвращаемся, утрата наша столь велика, что принять ее, смириться с происшедшим мы не в силах, мир, в котором подобное возможно, не может быть справедливым. Часто такие переживания — источник и начало душевных болезней, но, конечно, не только они. Кто же те люди, которых мы помещаем в сумасшедшие дома, — все эти шизоиды, параноики, эпилептики, циклотимики и тому подобные? Конечно, у них совершенно разные болезни, но есть и общее: люди, больные ими, отказались от наших норм, от наших законов, от всего нашего мироздания. Из тех же кирпичиков они выстроили все заново, и теперь ни один из запретов общества не сдерживает их гений; „хорошо” и „плохо” у них другие, и в нашем мире они совершенно свободны. Вот, собственно говоря, главный вывод группы Эвро.

Исходя из него, к концу века для России и были разработаны две программы, в соответствии с тогдашней модой они назывались программа-минимум и программа-максимум. В сущности же обе программы были просто разными этапами одной. Конечной целью этой общей программы было возвращение человеком, не Богом, всего человеческого рода в рай и его соединение с Господом. Для этого предусматривалось воскрешение всех умерших, начиная с Адама, а также дарование каждому личного бессмертия, вечной молодости и полноты счастья. В программу-минимум входила реализация дара, данного Господом России. Россия, ставшая новой Святой землей, русский народ, избранный Богом на место потерявшего из-за своей греховности благодать народа еврейского, должна была объединить вокруг себя и возглавить все силы добра и света, какие есть на земле, и готовиться к последней, решающей схватке с силами мрака и греха. Группа была настолько дальновидна, что уже тогда, то есть в семидесятые годы прошлого века, с несомненностью утверждала, что силы мрака возглавит не владычица морей Англия и не набиравшая с каждым годом вес Германия, а провинциальные и далекие Соединенные Американские Штаты. Для того чтобы выполнить возложенную на нее миссию, Россия должна была увеличить число своих гениев в десятки, сотни, а то и во многие тысячи раз, то есть провести так называемую генизацию страны. Путь для этого один: всеми возможными силами расшатывать общество, все его сферы (политика — разного рода социалистические партии; религия — сектанты и тессофские общества; искусство — все виды модернизма, но, конечно, в первую очередь футуризм; нравственность — половые извращения, гомосексуализм, просто эротика) — поддержка всего этого, резко ослабляя общество, должна была столь же резко увеличить число гениев. Предполагалось, что кульминацией процесса станет изменение характера и протекания душевных болезней: ранее не заразные или очень мало заразные, они теперь легко станут выходить за пределы больного, начнется эпидемия, в результате которой душевнобольной окажется вся нация. Эта эпидемия, или, как ее будут чаще именовать, революция, разрушив общество до основания, проведя его через немислимые бедствия, горе, страдания, перемешав все, что в нем есть, так, что ни один человек, даже вполне заурядный, не

проживет свою жизнь, как рассчитывал, приведет к массовому выбросу гениев (этот прогноз впоследствии оправдался — численность гениев в революцию действительно увеличилась во много раз, однако голод, тиф, холера, смерти на фронтах гражданской войны, массовые расстрелы и еще более массовое бегство гениев за границу значительно скорректировали первоначальные оценки), что и позволит России стать во главе сил добра.

Программа-максимум — это конечная битва мрака и света, греха и праведности; битва эта будет очень долгой, стороны будут вести ее с невиданным ожесточением, чаша весов будет колебаться то в одну сторону, то в другую, словно Господь еще ничего не решил, а завершится она точно так, как это описано в Откровении Иоанна Богослова, — Апокалипсисом. Катастрофа, которая постигнет человеческий род, будет столь страшна, что из прежней жизни не уцелеет ничего, ничего не спасется.

Та прошлая жизнь была вместилищем греха — грех был в каждой ее поре, он пронизывал ее всю, всею ею владел, — теперь он гибнет вместе с ней. Гибнет и все, что люди считали добром, справедливостью, что они любили, во что верили, перед чем благоговели: на глазах матерей гибнут их дети, растерзанные дикими зверями, и дети видят, как те же звери терзают их матерей, а если кого-то, вняв мольбам, звери не тронули, его пожирает огонь, то есть не остается ничего, гибнет даже вера в Бога. Люди должны пройти через эти невыносимые страдания, чтобы очиститься и воскреснуть. Бедствия и горе должны свести их с ума, свести всех, до последнего человека, только тогда они наконец порвут с прошлой жизнью, откажутся от нее и их душа и мозг станут свободны. Они будут свободны, так что как бы ни были малы способности любого из них, он делается гением и как гений откроется Богу. Впервые человек увидит Его истинное величие и красоту, совершенство созданного Им мира и, увидев, вернется к Господу. Да, все должно было быть именно так, — сказал Ифраимов. Он помолчал, а потом неожиданно закончил: — Ну вот, Алеша, кажется, я удовлетворил ваше любопытство...»

Мы как раз стояли около двери в его палату, он полуобнял меня и тут же — я даже не успел с ним попрощаться — ушел к себе.

Кроме этих одиннадцати человек, как я к тому времени уже самолично выяснил, в отделении лежало еще пятеро непрофильных больных: из них трое молодых мужиков, по всей видимости, солдат и, кажется, с черепно-мозговыми травмами, во всяком случае, память была ими потеряна полностью. Их положение считалось довольно тяжелым, и кто-то из медсестер круглосуточно дежурил в палате, которую они занимали. Эти солдаты были, кстати, сущим благословением для отделения. Дело в том, что хотя Господь лишил их разума и памяти, плоть солдат была сильна необыкновенно, и вот три сестры, которые посменно дежурили в нашем корпусе, правя им практически самовластно (Кронфельд разрывался между двумя отделениями и заглядывал к нам нечасто), прознав это, поделили солдат между собой, так что у каждой оказался свой любовник. Впервые в жизни я видел сразу трех женщин, которых постоянно хорошо удовлетворяли, и должен сказать, что радость, им дарованную, они возвращали сторицей. Пары эти были неутомимы, казалось, что в добавление к собственной им отданы и остатки жизни всех нас. Дни напролет, почти без отдыха из их палаты слышались крики, стоны, всхлипывания мучающегося в блаженстве тела. Иногда сестры оставались с солдатами все втроем и, возбуждая себя происходившим по соседству, устраивали нечто вроде турнира — чей любовник окажется сильнее. В такие дни даже самые немощные наши старики от вождения едва не сходили с ума.

За своими солдатами сестры ухаживали с трогательной заботой — те не просто всегда лежали на свежем белье, но были умыты, побриты, аккуратно подстрижены, часто даже надушены. Однажды мне довелось увидеть, как сестры приводили их в порядок, и должен сказать, что все это было настолько нежно и ласково, что я, прежде не сомневавшийся, что они относятся к ним как к бессловесной скотине, устыдился: сестры, без сомнения, были в солдат влюблены. Этой любви мы обязаны тем, что наши сестрички, закончив смену, никогда не спешили домой, наоборот, им было здесь так хорошо, они были так тут счастливы, что искали любой предлог, чтобы задержаться. Они вообще любили отделение, любили даже нас, больных, мы были свидетелями их радости, и они хотели, чтобы и нам тоже было хорошо. В них была эта потребность, чтобы весь

мир вокруг них радовался и ликовал, был таким же молодым и красивым, таким же полным страсти и любви, как они. Они нечасто отрывались от своих солдат, но когда отрывались, были терпеливы, милы, любезны и всегда как бы светились. Для любого из нас было подарком перекинуться с ними хотя бы несколькими словами, наверное, мы все тоже были в них влюблены, и, я думаю, они это понимали. Если с нянечками, как я уже говорил, отношения у нас были очень тяжелые, то сестричек мы называли между собой не иначе как ангелами, голубками, и они действительно ими были, я не помню ни одного случая, чтобы они отказали кому-нибудь из нас, если были в силах помочь. По каким-то соображениям они никогда не закрывали дверь в свою палату, возможно, эта публичность придавала особую пикантность их любовным схваткам, еще больше их возбуждала или сестры были убеждены, что, отгороженные болезнью, мы все равно ничего не видим, пускай даже они просто не считали нас за людей, в сущности, все это совершенно неважно: для нас их любовь была последним кусочком настоящей живой жизни. И мы были им благодарны за то, что они его не прятали.

Холл, где мы собирались, по счастливой случайности находился буквально напротив солдатской палаты, и едва оттуда начинали слышаться пришептывания сестер: мой миленький, сладкий мой, моя ласточка, ягодка, кровиночка моя, единственный мой; и дальше: еще, мой хороший, еще, еще, да, вот так, еще, еще, я хочу тебя, хочу, хочу,— как собрания наши сами собой прерывались. Конечно, мы не расталкивали друг друга локтями, чтобы поближе пролезть к дверям, до этого дело не доходило, но рядом была такая жизнь, какой ее создал Господь, мы же были уже стариками. Сил, которые у нас еще оставались, хватало лишь, чтобы рассуждать о жизни, а рядом с ними это было скучно и неинтересно. Даже после того, как они затихали, наши штудии возобновлялись далеко не всегда.

Кроме солдат, в отделении лежала еще одна довольно занятная пара. Он и она. По всем данным тоже из первопоселенцев, во всяком случае, они пользовались теми же правами и льготами, но были старше своих — им было никак не меньше восьмидесяти лет. Обычно они и держались особняком. Это были очень странные люди: и по поведению и так. Иногда мне казалось, что они уже почти не отличаются от обычных местных пациентов, потом такое впечатление пропадало. Их напряженная, к сожалению, нечасто мне понятная деятельность,— несмотря на возраст, они были самыми активными и энергичными из всех, кто тут обитал, это несомненно,— явно имела смысл. Более того, временами она все отделение как бы организовывала, соединяла вокруг себя, это было нечто вроде спектакля, который они играли с редкой экспрессией, причем в нем каждый из нас получал свою роль, свое назначение — ни зрителей, ни статистов они не признавали. И это при том, что большинство здешних обитателей были навсегда обращены внутрь себя и редко когда замечали происходящее в миру. Эта пара, как хороший массовик-затейник, легко включала в свое действие и их, она вообще явно к ним тяготела.

То был довольно странный театр, возникал он совершенно спонтанно, вел его всегда один и тот же дуэт, причем участники были ориентированы, видели только друг друга, в этом смысле он был так же замкнут и закрыт, как и прочие здешние жители, но действие шло столь интенсивно, что без сопротивления вовлекало в себя всех, кто был рядом; все вокруг этой пары начинало жить и жило, пока дуэт сам собой не распадался. Тогда отделение разом успокаивалось, приходило в норму. Не могу сказать, чтобы меня самого эта пара сильно заинтересовала, по большей части я был занят тогда или собой, или проводил время в обществе тех интернатских воспитанников, о которых расспрашивал Кронфельда, но не заметить ее было нельзя.

Выше я уже говорил, как боялся и не мог ни на что решиться, когда в нашей семье вдруг возник разговор о госпитализации. Более того, если бы не молчаливое давление матери и тетки, я бы, наверное, вообще не лег к Кронфельду. Но первые несколько дней прошли для меня в больнице, в сущности, неплохо, и я исполнился оптимизма. Связано это было не только с тем, что здесь оказалось немало интересных людей, с которыми я нашел общий язык — подарок для меня совершенно неожиданный, главным было другое: во мне как-то вдруг, в один день все само собой уравновесилось, я был спокоен и после долгого перерыва впервые

начал работать. К несчастью для меня, этот светлый период не был длинен. Еще перед тем, как ехать в больницу, я дал себе слово возобновить «Синодик». Я решил, что при всех условиях буду работать каждый день, составил четкий план, о ком и в какой последовательности стану писать; теперь у меня все это пошло. Даже о тех, о ком я собирался рассказать очень кратко, только помянуть, потому что во мне от них мало что осталось, я вдруг за бумагой стал один за другим вспоминать все новые эпизоды, слова, жесты, выражения лица; я писал легко, почти не останавливаясь, мне это было удивительно приятно и нетрудно, о каждом я мог писать еще и еще, все они действительно как бы ожили и вернулись. Это были очень счастливые дни: я чувствовал в себе силу, чувствовал, что мне дан едва ли не дар воскрешения, а потом, на исходе второй недели, все это разом оборвалось.

В больнице я особенно много молился, мне было о чем просить Господа, было за что Его благодарить; я молился, как привык еще в детстве, дома: со слезами, со всякими ласковыми присказками, благо в палате никто не обращал на меня никакого внимания, а тут (дату я помню точно) на двенадцатый день моей больницы жизни я почувствовал, что меня никто, абсолютно никто не слышит. И как бы даже никого нет — все пусто, все ушло, умерло. Тогда во мне и начался этот страх. Была уже ночь, я так и лег не домолившись, а утром, когда встал, работать уже не смог. Дня через три после этой ночи я снова присутствовал на семинаре, о котором уже говорил, тогда речь шла о Толстом. Как точно была сформулирована тема, которую они обсуждали на этот раз, я сказать теперь не могу, потому что Николай Семенович Ифраимов — он, кстати, и ввел меня в этот кружок — зашел за мной, когда все уже началось, но о чем шла речь, было вполне понятно. Собравшихся занимал вопрос об историчности некоторых известных лиц, в частности, дебатировались Сталин и Христос. О Сталине монотонно и бесцветно докладывал некий Сергей Прочич, назвавшийся учеником знаменитого исследователя русской сказки Владимира Яковлевича Густавса. То, что он говорил, было не его изысканиями, а изложением большой, начерно законченной работы самого Густавса. Несмотря на скучный голос, было видно, что Прочич восхищается своим учителем, гордится тем, что у него учился. Он явно любил Густавса, был к нему привязан и просто не умел это выразить. Все, что получалось у Прочича, — это ненужная значительность, когда он повторял собственные слова учителя.

Густавс начал собирать материалы о Сталине еще в двадцать третьем году и продолжал до дня своего ареста и гибели, то есть до тридцать восьмого года. Работа делалась чрезвычайно фундаментально, одних выписок, по словам Прочича, было больше десяти томов. Формирование и бытование образа Сталина было рассмотрено Владимиром Яковлевичем во всех жанрах и видах искусств, от частушек до симфонии, и во всех регионах страны, включая Камчатку. Разумеется, подробно перелагать здесь доклад Густавса я не буду, да это, на мой взгляд, и не нужно — выводы его, основанные на анализе тысяч фольклорных источников, практически всеми были приняты, во всяком случае, с ними никто из собравшихся не спорил. Только их я и повторю. Густавс был убежден, что Сталин — фигура чисто мифическая. В этом духе Прочич неоднократно нам его цитировал: «Никакого Сталина никогда и в помине не было. Настоящий Сталин, Сталин, который ест и пьет, — это такой же нонсенс, как живая птица Феникс», — и так далее.

Сталина Густавс считал величайшим достижением народного гения. «Я всегда говорил, — писал он, — что единственный истинный художник — народ. Кого поставить рядом со Сталиным? Мы любим его как творение своих рук. — И продолжал: — Сколько вдохновения, сколько мудрости и любви понадобилось, чтобы его создать! Сотни тысяч, миллионы безымянных талантов творили его день за днем, год за годом, и он удался на славу. Это было поистине всенародное дело».

Вот, собственно говоря, тот основной вывод, к которому пришел Густавс в своем исследовании, повторяю, все с ним без особых возражений и интереса согласились, тема была исчерпана. И тут Прочич неизвестно почему вдруг истошно, по-бабьи стал кричать: «Сталина не было! Нет! Нет! Не было! Никогда не было! Не было его, нет!»

Он долго так кричал, потом голос его стал сбиваться, захлебываться, все превратилось в какое-то непонятное причитание, и только тогда его наконец удалось увести.

Собрания проходили в небольшом холле на втором этаже, где в обрамлении росших в кадках пальм стоял телевизор; в нашей больнице, в отличие от других, это было самое тихое место. Дело в том, что почти никто из здешних пациентов не понимал телевизионного изображения (почему они все, как один, утрачивали эту способность — я не знаю, возможно, что-то тут было связано с частотой строк или кадры менялись так быстро, что больные за ними не успевали, но факт остается фактом). Единственное, что они могли смотреть, это мультфильмы. Мультфильмы им даже нравились, и врачи, считавшие, что чем больше их нынешняя жизнь будет похожа на прежнюю, добольничную, тем лучше, железной рукой сгоняли их на передачу «Спокойной ночи», во время которой, как известно, показываются мультики. Так было всегда, и мы, пока они смотрели телевизор, не спеша гуляли по коридору, потом они ушли, мы снова вернулись в холл и продолжили наши штудии. Сталина мы больше не касались, с ним все было ясно, но некоей оппозицией тому, о чем мы говорили дальше, он все же был.

Разговор начался с обсуждения недавней сенсации — Туринской плащаницы, той самой, в которую было обернуто тело Христа, когда Его клали в могилу и на которой отпечатался и сохранился до наших дней Его облик. История эта была уже всем хорошо известна, и, пожалуй, она убедила последних скептиков, что такой человек или Богочеловек действительно был, что две тысячи лет назад Он жил и ходил по земле Палестины, потом был распят и похоронен в этой земле, то есть что все было точно так, как описывается в Евангелиях. И, как сказано там же, на третий день могила Его оказалась пуста: Он вознесся и занял положенное Ему место одесную Бога Отца.

Как ни странно, меня совсем не поразило, что этот разговор о Христе совпал с тем временем, когда я Его потерял; все высказывались совершенно академически, пожалуй, даже безразлично: такой тон был вообще традицией этих встреч. Верует или веровал хоть кто-нибудь из них, понять было невозможно. Говорили не только о Туринской плащанице, разбирались и другие свидетельства историчности Христа, в частности, очень долго — высказывания о Нем Его современников. Потом какой-то незнакомый мне человек, все ласково звали его Матюша, — кажется, когда в прошлый раз говорили о Толстом, его не было или я просто не обратил на него внимания, — вспомнил еще одно сравнительно редкое свидетельство о Христе — так называемую «Повесть о повешенном». Читали ее из присутствующих лишь двое, и Матюшу наперебой стали просить, чтобы он хотя бы вкратце пересказал ее сюжет, вообще ввел в курс дела. Начал он с того, что «Повесть о повешенном» — это народный еврейский роман, написанный то ли в десятом, то ли в одиннадцатом веке, во всяком случае, именно этим временем датируются самые ранние списки. Книга получилась почти карнавальная по своей жестокости и была некогда весьма популярна, копий сохранилось много. Велика ли ее ценность как источника о Христе — сказать трудно, скорее всего, нет. Впрочем, есть богословы, думающие, что она основана на каких-то древних преданиях и тогда, следовательно, частью заслуживает доверия. Большинство же уверено, что повесть — просто антихристианский памфлет, интерес которого ничтожен.

История Христа и христианства излагается в повести так: некий молодой и крайне самоуверенный человек, Иисус из Назарета, тайно проник в Святой Святых Храма, где помещался Ковчег Завета, и вынес оттуда талисман; он зашил его себе в бедро, и львы, охранявшие Ковчег, ничего не учуяли. Этот талисман дал ему силу творить чудеса и побеждать в диспутах самых образованных раввинов. Все это привлекло к Иисусу сотни и сотни приверженцев, утверждавших, что тот — Мессия, Богочеловек, посланный на землю во искупление грехов человеческого рода. Зачатый непорочно от Святого Духа, Он, на котором нет даже первородного греха, рождением своим изменил мир: если раньше зло на земле множилось и множилось, люди все больше отдалялись от Бога, то теперь, посланный к ним своим Отцом, Он, как блудных детей, поведет их обратно.

Ересь эта распространялась как пожар, последователи Христа были едва ли не в каждом палестинском селении, общины их стали возникать и за пределами Палестины, и тогда Синедрион почти не колеблясь пошел на странный шаг. Он решил чуду противопоставить чудо. В сущности, это было капитуляцией веры,

признанием, что она слабее чуда. Такой же талисман, какой похитил Иисус, был передан известному своим добронравием раввину, и тот скоро и в чудесах, и в прениях о вере стал побеждать Христа. Почти неправдоподобно быстро ученики нового Мессии от него отшатнулись, он был брошен едва ли не всеми, схвачен правоверными евреями и после многих унижений и надругательств повешен. Поэтому книга и называется «Повесть о повешенном», а не о «распятом».

«Так вот,— продолжал Матюша,— Синедрион праздновал победу, но она была пиррова. Смерть Христа воскресила веру в него. И он сам тоже был воскрешен народной молвой. Не было дома, где хоть кто-нибудь не верил, что на третий день после погребения он восстал из гроба и был взят Господом на небо. Эта вновь воскресшая ересь была страшной угрозой для той веры в Единого Бога, которую был должен хранить Синедрион, но не только она напугала судей. Хуже было другое: в Христа сразу же уверовали тысячи тысяч иноземцев по всему греко-латинскому миру и число их росло и росло. Люди окропляли себя водой, принимали крещение и начинали думать, что они евреи. Со страстью новообращенных они верили, что стали частью избранного народа Божьего. Никакого учения еще не было, была только вера в смерть и воскресение Христа, Христа, взявшего на себя грехи мира, но никто из его последователей не сомневался, что стал истинным иудеем. Раввины считали христианство чем-то вроде народной латыни: людям, недавно познавшим Единого Бога, еще трудно было соблюдать все законы и предписания, и они, убежденные, что это в сравнении с верой не так уж и важно, хотели облегчить себе жизнь. Такое течение было всегда, но теперь оно получило высшую санкцию и должно было затопить тех, для кого веры без Закона не существовало.

Эта разбухающая словно на дрожжах толпа была варваром в вере, и судьи страшились, что она, как волна, захлестнет их. То есть судьи испугались христиан, испугались не их учения, а их числа. Они испугались того, что христиане даже не подозревают, что у них другая, совсем другая вера, что они евреям чужие.

Евреи издревле жили среди куда более многочисленных, чем они, язычников, и к такому строению мира они успели привыкнуть и приспособиться; здесь все было ясно и понятно: были евреи и были неевреи — гои, и между ними не было ничего общего, никаких переходных ступеней; в вопросах веры ни те, ни другие не искали ни компромиссов, ни согласий, и эта абсолютная отделенность устраивала всех. Христос изменил мир. Вдруг появилось множество считавших евреев своими, но сами евреи оказались не готовы признать их братьями. Они чересчур долго жили в изоляции, она успела стать их отличием, их частью, и теперь выходить на открытое место им было страшно.

Евреи хотели возвратиться назад, они требовали от Синедриона, чтобы он увел их туда, где все было бы по-прежнему и они бы знали, как им жить. Это был голос целого народа, голос всех, кто не пошел за Христом, и Синедрион не мог его не услышать. Раввины долго не понимали, что делать, выхода не видел никто, а христиан тем временем становилось больше и больше, казалось, что вот-вот народ, избранный Богом, растворится и исчезнет среди них. Опасность, угрожавшая в этот раз евреям, была сильнее, чем даже в годы Вавилонского пленения, это равно сознавали и левиты, и люди земли, и тогда один из младших членов Синедриона, некто Анания, решился и предложил старейшинам следующее:

«Пускай,— сказал он,— два наших самых образованных раввина (их имена он назвал, но мы их не знаем) уйдут к христианам и из того, что известно о Христе, создадут цельное учение, новую веру так, чтобы каждому еврею и каждому христианину было ясно, что они люди разной, совсем разной веры, что один другому они чужие. После этого им не останется ничего иного, как разойтись и оставить друг друга в покое, забыть друг про друга, тогда-то все и станет на место».

Этими раввинами,— продолжал Матюша,— были, по повести, апостол Петр и апостол Павел. Они поселились в Риме, в специально выстроенной для них башне, ее они не покидали до своей кончины, дабы общение с христианами не принудило их нарушить хотя бы одно из правил кашрута. Чтобы не оскверниться, ели они только то, что Закон разрешил есть евреям во время самого строгого поста. То есть, создавая учение Христа и строя Церковь, они прожили жизнь и умерли правоверными иудеями. Судя по „Повести о повешенном“, удалось даже сделать так, что и похоронены они были как правоверные евреи».

Вся эта история, а особенно, как мне показалось, то, как подал ее Матюша, чрезвычайно возмутила толстовца Сабурова, который сказал: «Но ведь тогда получается, что евреи сознательно создали лжеверу?»

«Ну, это как сказать,— пояснил Матюша,— с точки зрения евреев это, конечно же, была лжевера, и придумать грех больший, чем тот, что взяли на себя Петр и Павел, наверное, невозможно, но христиане вряд ли согласятся с тем, что их вера ложная, да и вообще все, кто признают, что путь познания человеком Бога долг и труден, что он постепенен, согласятся, что учение Петра и Павла истинно; едва ли когда-нибудь еще такое множество людей чуть ли не разом покинули язычество и пришли к вере в Единого Бога».

«Но ведь эта повесть,— настаивал Сабуров,— не что иное, как восторг перед собственным злом и собственной греховностью. Правда-правда, во всем этом столько ненависти, столько изощренности и изобретательности, так сведены концы с концами, тут неважно, с какой стороны смотреть, кроме того, писали-то повесть евреи, и значит, это их взгляд, значит, это лжевера; Матюша, вдумайтесь в то, что вы нам рассказали: сначала надругательство и убийство Христа, причем более гнусное и жестокое, чем то, что описано в Евангелиях, потом два раввина, все равно как Иван Сусанин, путают и уводят людей, ищущих дорогу к Богу, в сторону, причем они так презирают доверившихся им и так гордятся тем, что сами ни в чем не нарушают заповедей, что ни разу не преломят хлеба ни с кем из своих последователей. Об этом нельзя, неправильно говорить спокойно, по-моему, никто из нас не слышал ничего более дикого».

«Может быть, вы и правы,— согласился Матюша,— и все же, как я уже говорил, здесь не все просто. Фантазии в повести действительно много, виден ум, с юности занимавшийся комментированием Галахи и вот вышедший на волю. Но не в этом суть: эта повесть — ложь, самооговор, что бы ни думал о ней сам автор. И я вам скажу, почему евреи оговорили себя. Для них это было страшное время — десятый и одиннадцатый века от Рождества Христова, совсем страшное. Многие общины в Англии, в Германии да и в других странах тогда погибли целиком, убиты были все: от грудных младенцев до стариков. Поймите,— говорил он странно глухим голосом,— даже вера не может выдержать, когда вырезают всех, всех до последнего. Вера не может выдержать, когда беременным вспарывают животы и вместо плода зашивают туда живую кошку,— этого не может выдержать никто! И тогда евреи решили,— продолжал он совсем тихо,— что или Бога вообще нет, потому что Бог не мог создать такой мир, или чаша грехов переполнилась и завтра все будет уничтожено. И они захотели спасти христиан, христиан, которые их убивали, и спасти мир, потому что то, ради чего он был создан, еще не исполнено. Они не могли больше погибать невинными — и они оговорили себя. Они взяли на себя такой грех, что сколько бы страданий ни выпало на их долю, все будет мало. Они восстановили справедливость, уравнили мир, зло теперь снова не просто жило в нем — оно было воздаянием за грех. Они сказали Господу, что виновны сами, сказали так, что Он поверил им и простил христиан».

Потеряв способность молиться, не имея больше ни в чем никакой опоры, я почти интуитивно стал искать себе покровителей здесь, на земле. Так получилось, что я по мере возможности помогал другим больным, обычно своим сопалатникам. Я ходил за нянечками, когда надо было поменять белье, дать утку, ходил за медсестрами, когда моих соседей мучили боли и был необходим укол, чтобы они могли успокоиться, заснуть. Иногда я даже заступался за них: больных здесь никто, может быть, за исключением Кронфельда, не считал за людей, и все это так искренне и откровенно, что сдержаться временами было трудно. Собственно, все эти нянечки, санитарки были в отделении единственной реальной властью, во всяком случае, единственной властью, с которой мы соприкасались, и я оказался к ней ближе всех. Из-за этих просьб и заступничества я был все время на виду и очень рано научился этим пользоваться.

Началось это сразу, в первый же день моей больничной жизни, когда мне хотелось еще и еще благодарить санитарку за то, что мне была дана совершенно не заслуженная мной койка у окна. Я хотел, чтобы она знала, что я ценю услугу, которую она мне оказала, что я не какая-нибудь неблагодарная скотина. Всем этим двигала, конечно же, не признательность, а страх: я боялся их, их всех, боялся того времени, когда буду в полной от них зависимости. Любое обострение моей болезни означало рост их и без того огромной власти, то есть в этой их

власти и надо было измерять мою болезнь. Тем не менее, пока я молился Богу, все это еще было в каких-то рамках, Господь как бы противостоял и моему страху, и их власти надо мной. Пока Он был, я не позволял себе делать что-то совсем непотребное, бояться совсем непотребным образом, были какие-то запреты. Но Он ушел, страх же остался.

То, что я по мере сил помогал сопалатникам, всегда доставляло мне живейшую радость, это были реальные добрые дела, и я не мог не чувствовать удовлетворения. Тем более, что из-за этих услуг я временами портил с нянечками отношения, работы у них и так было много, и то, что я взваливал на них дополнительную, конечно, не могло им нравиться. И все-таки я это делал, а потом мне открылось, что подсознательно у меня и тут был расчет. Я понял, что заступался за других больных потому, что хотел иметь право на такое же сочувствие, жалость, помощь, когда сам буду в их положении, я хотел показать нянечкам, какой я хороший человек, сказать им, что я действительно достоин сочувствия. И еще: я пытался сделать их лучше, чтобы они запомнили, что со мной, из-за меня они когда-то были лучше, и сохранили ко мне благодарность. Мне вообще все время надо было с ними разговаривать; когда их не было, я делал это мысленно; когда спал, они мне снились; мне все время хотелось быть при них, и это несмотря на страх. Мне нужно было, чтобы они выделяли, отличали меня, считали своим, смотрели бы на меня как на защитника больных, некую номенклатуру среди них, причем вполне покладистую, имеющую как сейчас, так и в будущем право на привилегии и поблажки. Здесь была бездна страха и бездна хитрости, но была и самая обыкновенная жалость к тем, кто лежал рядом, так что мне долго удавалось себя убеждать, что грех мой не столь уж и велик.

Больше всего меня пугало отсутствие в нянечках хоть какой-то вины. Оно было таким полным, что меня, когда я говорил с ними, охватывало состояние абсолютной беспомощности. Они же всякий раз надо мной добродушно подсмеивались, говорили, что скоро я сам буду такой же, как мои соседи, тогда они в охотку и побеседуют со мной о нравственности. Возможно, я не просто их боялся, а на меня действовали и их доводы, во всяком случае, я скоро начал ловить себя, что если они соглашаются сделать то, что я прошу, все равно — для меня или для другого больного, — я им поддакиваю, особенно когда речь заходит о роддомах. Не полностью, но все же соглашаюсь, что, конечно, спасти жизнь ребенка или роженицы важнее, чем продлить жизнь любого из моих сопалатников. Те ведь еще только начинают жить, силы их не растрочены, наши же большую часть отпущенного им срока, как ни посмотреть, прожили.

Как-то я им вполне одобрительно рассказал, что у некоторых народов даже заведено, что старики, не могущие сами себя прокормить, покидают общину, уходят из нее умирать, чтобы никому не быть обузой. Причем все обставляется так, что ни община, вообще никто, даже их дети, не берут на себя никакой вины, старики же умирают людьми, которые знают, что оказались достаточно сильными, чтобы помочь своему племени выжить. Надо сказать, что мою поддержку нянечки принимали спокойно, они всегда помнили, что я больной и, значит, никоим образом им не ровня. И все же то, что я их понимал и оправдывал, было им приятно. Пожалуй, охотно они слушали только взятые из японских, якутских и прочих книг рассказы о стариках, которые уходят в горы, чтобы там в одиночестве закончить свой путь. Им явно это было интересно, может быть, потому, что почти все нянечки были старухи и для них это время тоже было уже близко. Конечно, когда я вел эти разговоры, я сознавал, что предаю своих, фактически отказываю им в праве на жизнь, но я оправдывал себя тем, что делаю это для них же самих. Это как бы плата за утку, за бельё.

На исходе первого месяца больницы жизни я подхватил довольно сильную простуду, температурил и почти не выходил из палаты. Продолжалось это дней пять, в сущности, я еще был болен, только пошел на поправку, но заставить себя лежать весь день в обществе моих соседей я больше не мог. Так совпало, что на это число как раз была назначена встреча воспитанников, и я, просто чтобы увидеть нормальные человеческие лица, услышать нормальную речь, решил, что хоть немного посижу с ними в холле, а когда устану, вернусь и лягу.

После Сталина и Христа разговор на этот раз вернулся к Толстому. Не знаю, может быть, это был уже конец, завершение или тема была постоянная, по каким-то причинам давно и безнадежно их волновавшая, во всяком случае, связь

с тем, что я слышал раньше, несомненно, была. Разговор этот, естественно, кончился ничем, как, впрочем, и прошлый, они ни в чем не сошлись, да и не могли сойтись, потому что вывод был почти обвинением для всех последователей Толстого. Серегин, всегдашний оппонент толстовцев, легко, даже с изяществом, ставил крест на всей их жизни, на всем, во что они верили, было бы глупо ожидать, что они это примут. Человеку и когда он молод трудно примириться с тем, что часть его жизни прожита не так, как следовало, — здесь же была вся жизнь; поверь они Серегину, им бы осталось одно: лезть в петлю. Логика, разум тут ни при чем, достаточно обычного чувства самосохранения, чтобы найти тысячи доводов, утверждающих именно твою правоту.

Все же тезисы Серегина были весьма изящны, предварил он их тем, что сам давно понимает, что разговор этот пора кончать, ни к чему хорошему он не приведет и привести не может: те, к кому он обращается, давно уже сформировались, их не переделаешь, новых же учеников Толстого он среди присутствующих не видит, так что разговор и впрямь не имеет никакого смысла: не диспут, а сплошное злопыхательство. Тут он состроил страшное лицо, пыхнул на толстовцев злом, назвал мазохистами, раз они его слушают, все они были явно друг к другу привязаны, а потом сказал примерно следующее. Ученики по самому своему рождению уже ненормальные, ущербные дети. Если обычные дети естественным путем, в свой срок занимают место отцов и сравниваются с ними — так задумано природой и никаких особых усилий для этого обычно не требуется, — то ученики обречены на неравенство, на неполноценность. Лишь редчайшие из них в конце жизни добиваются того, что легко, без всяких препятствий получают дети. Возможно, это связано с тем, что их не вынашивают девять месяцев, не выкармливают грудью, что они, в сущности, просто чужие дети. Когда-то они ушли от своих родителей, оставили их, пришли к учителю, но за плечами у них прошлая жизнь, выбор и отказ от нее — все это тяжелая ноша. Их трудно винить, но все они люди как бы полomanые, отказ от родивших тебя — огромная травма, она остается навсегда, на все кладет свой отпечаток. И еще: дети не выбирают своих родителей, это как бы от Бога, ученики же сами находят себе учителей-отцов, и это основание для страшной гордыни. Дело в том, что зачатие ученика в лоне учителя непорочно и безгрешно, и это такой соблазн для них обоих, что устоять перед ним удается не многим. Тому и другому кажется, что их отношения так чисты, ведь и в самом деле на них нет даже первородного греха, что врата рая открыты. Соответственно, рожденному безгрешно ученику и позволено очень-очень многое, куда больше, чем обыкновенным людям; отсюда и зло, которое они творят со странной легкостью. И последнее: дети похожи на своих родителей, это привычно и ни у кого не вызывает вопросов, ученик же стремится быть копией своего учителя, в нем всегда живет страх, что кто-нибудь скажет, что он не настоящий, не свой, что он только притворялся верным, на самом же деле еретик и предатель. То есть он снова предал, предал сначала отца, теперь учителя. Это «снова» здесь самое страшное. Вот и выходит: мир все время другой, сегодняшний день в нем никогда не равен вчерашнему, в учениках же наследство учителя не продолжается, оно застывает, превращается в канон и всегда обращено в одну сторону — назад. Ученики могут добавить к нему только свой страх, только его, и этот страх скоро становится в учении самым живым. Он дышит, растет в нем, пока не заслонит все.

В конце декабря я физически снова чувствовал себя почти нормально. Организм явно приспособился к инъекциям, и хотя Кронфельд все время увеличивал дозу, я это не ощущал. Со сном тоже наладилось. Обычных восьми часов мне вполне хватало.

Настроение мое давно уже было неровно, перед больницей и в первые два месяца моего больничного лежания я большей частью жил с ощущением ближайшей трагедии, причем приближающейся очень быстро, все как бы было уже решено и надежды оставлены. Теперь это почти отошло, я был спокоен и тих. Как и врачи, я уверился, что мои прежние кошмары связаны лишь с тем, что у меня внутри; сейчас же, когда я стал чувствовать себя лучше, они сразу кончились. Впервые за долгое время я довольно легко отвлекался от своих проблем, мне вдруг сделалось скучно все время следить за собой, скучно без новых впечатлений, и я снова принялся интересоваться моими товарищами по отделению, причем всеми: и маразматиками, и воспитанниками — без исклю-

чения, хотя, наверное, и не равно всеми. Возможно, интерес этот возобновил во мне своими разговорами Ифраимов: я видел, что в первую очередь обращаю внимание именно на тех, о ком он мне рассказывал, кого называл.

Наблюдать жизнь отделения оказалось на редкость занимательно, причем чем больше я во все это влезал, тем интереснее мне становилось. Я чувствовал, что за этой суетливой и бестолковой жизнью, за этим странным смешением людей стоит что-то важное, но что — долго понять не мог. Мне часто казалось, что я близок к разгадке, но каждый раз ответы были неправильными. Очевидно, в конце концов эта чересчур активная жизнь оказалась мне не по силам. Во всяком случае, Кронфельд во время очередного обхода вдруг сказал, что последние два дня я ему нравлюсь намного меньше, чем раньше, я излишне возбужден, и если это состояние сохранится, дозу успокоительного, которая мне положена, придется увеличить. Для врача его квалификации это была грубая ошибка, доза должна была быть повышена сразу — здесь же он опоздал. На следующий день к возбуждению добавилась тот же страх, что у меня был, то же ощущение надвигающейся катастрофы, и ничего сделать с собой я уже не мог. Все произошло так быстро, что я даже не понял, что передышка, которая была мне дана, истекла.

Буквально перед тем я даже думал возобновить работу над «Синодиком», сел и тут же понял, что это чистой воды инерция. Я просто помнил, что вел когда-то такой «Синодик», сейчас чувствовал себя неплохо и, значит, мог продолжить. Но для чего я его вел, за этот месяц сна потерялось. Мне как-то разом сделалось ясно, что та жизнь и то, что я тогда делал, не просто на время прервалось, а для меня, да и, наверное, не только для меня кончилось навсегда. Мир вокруг меня настолько изменился, что никакого смысла в моих писаниях не было больше ни для тех, кого я знал и старался сохранить, ни для меня самого. Пока мир хоть в какой-то степени был тем, в котором они жили, они ему еще были нужны, нужны как предшественники, как корень и объяснение того, что стало; наконец, как традиция, относительно которой можно смотреть: что и сейчас как раньше, что ушло, что изменилось; в том мире у них была своя часть, своя доля, но он ушел, и вспоминать их и помнить сделалось как бы лишним. Это было совершенно очевидно, и я вдруг понял (абстрактно я, конечно, знал это и раньше), что Бог — единственный стержень мира, единственное его оправдание, и теперь, когда Он ушел от меня, — я вдруг вспомнил, что Он от меня ушел, когда Его не стало, все должно кончиться или уже кончилось. Мне было совсем плохо и страшно, потому что я видел, что ничего не вернуть. Теперь, когда Бога со мной не было, когда, может быть, Его вообще ни с кем не было, я понимал, что раньше всегда чувствовал, что Он рядом, что Он совсем близко от меня. Я и сейчас ничего не забыл из этого ощущения, что Бог рядом со мной, мне Его не надо вызывать, я продолжал и продолжаю чувствовать Бога как свою отнятую часть, но она отнята, и я это знаю. Я вспомнил, что и после той моей давней ночной молитвы я еще не раз пытался к Нему обратиться, пытался Его вернуть, но в словах, которыми я молился, даже не было, для кого они, кому. Самое странное, когда я молился, у меня ни разу не было ощущения, что Бог отступился именно от меня, что я, конкретно я, Его прогневил, здесь я был уверен, что нашел бы слова, я верил в Него, верил и любил Его, а ведь сказано: «Спасешься верою». Нет, я чувствовал, что Он ушел от нас всех. Вообще ушел. Теперь, когда это опять ко мне пришло, меня охватило такое отчаяние, какое до этого я никогда не испытывал. Мне казалось, что вокруг ничего нет кроме холода, мир как бы бесконечно расширился, потерял замкнутость, все в нем сделалось чужим. Я не мог его ни населить, ни согреть. Его населял Бог — теперь Он ушел, и все сразу потеряло смысл и значение, стало огромным, пустым пространством, в которое можно было только падать и падать.

Сейчас мне было нетрудно очертить то место, которое Бог занимал в моей жизни, потому что оно так и осталось незанятым. Какие-то внешние формы мира еще сохранялись прежними, но сердцевина была изъята и чем все держалось, чем и как скреплялось, понять было невозможно. Ощущение хрупкости конструкции, того, что вот-вот все рухнет, было постоянно. Иногда мне казалось, что мир как бы стал своим изображением, — только оно, это изображение, и осталось, ничего живого, только форма, видимость — жизнь же ушла. Так бывает зимой: лужа поверху замерзает, вода из-под льда уходит в почву, и когда наступишь — сухой треск и провал рытвины.

Все вдруг сделалось никому не нужным. Я не знал, как жить дальше, и постепенно впал в какое-то оцепенение. Мне было очень худо, но сделать ничего

было нельзя, никакие таблетки мне не помогали, ничего во мне не менялось, я вообще ни на что не отзывался. В этом моем странном состоянии мне все же был дан один длинный, почти недельный просвет. Прежде о том, что касалось моих отношений с Богом, я говорил очень осторожно, все это было настолько непонятно, что я не верил себе, вернее, старался себе не верить, и все-таки я сразу знал, знал наверняка, что не только я оставлен, не только я не могу молиться. Я буквально кожей чувствовал, что приближается какая-то страшная, ни с чем не сравнимая беда, что мир покинут и неминуемо должен погибнуть. Держаться ему не на чем.

Однажды я даже не выдержал и во время обхода заговорил о моих страхах с Кронфельдом. Я уже много раз хотел это сделать, хотел через него предупредить и других, но все не решался. Я хорошо к нему относился, поэтому и заговорил именно с ним, он же решил, что я напуган больницей и ишу сочувствия. Ко всей моей апокалиптике он отнесся с иронией, сказал, что и сам в последнее время чувствует себя не очень хорошо, впрочем, причина этого вполне реальна: два отделения он больше не потянет, что же касается меня, то и здесь тоже все ясно: я знаю, что в любой момент могу потерять память и как человек в общепринятом смысле кончиться, боюсь и самого лечения, те же, кто лежат со мной в одной палате, вряд ли способны внушить оптимизм. Все это Кронфельд по своему обыкновению говорил очень спокойно, пожалуй, даже лениво, и, наверное, его настроение мне передалось, потому что я вдруг увидел, что страх отпустил. Неправильно будет сказать, что я и вправду поверил, будто свои неприятности и свою болезнь я раздуваю до вселенских масштабов, просто неизвестно почему у меня опять возникла надежда. Вдруг почудилось, что не все еще решено окончательно. Что Господь еще чего-то ждет. И почти сразу же мне в голову снова пришла мысль — раза два это было и раньше — начать писать другой «Синодик», «Синодик» тех, кто лежит со мной рядом. Это была совершенно шальная идея, наверное, я просто устал бояться и ждать и вот опять вспомнил о той работе, которой занимался все последние месяцы перед больницей, да и в больнице тоже, работе, которую привык считать как бы своим оправданием, своей санкцией на жизнь. Но прошлая жизнь была для меня отрезана, она кончилась, и мне вдруг показалось допустимым и даже правильным писать о тех, кто лежит здесь. Тут было намешано много разных вещей и то, что я знал, что виноват перед ними, перед ними всеми, буду виноват и дальше, ведь я продолжал смотреть на них так, как будто они уже умерли, и ничего не мог с собой сделать. Эти люди и вправду были обращены только в прошлое, только обратно, вспять, новое не существовало для них вовсе. Тут было что-то близкое, чрезвычайно похожее на смерть, и это давало мне право писать о них для «Синодика», перевешивало даже то, что они все же были живы, что я хоронил их живыми.

Наверное, не все из сказанного выше звучит безупречно, но то, как я намеревался рассказать о своих сопалатниках, мне вряд ли может быть поставлено в укор. Если бы я сумел их написать, в «Синодике» они, безусловно, были бы равными среди равных. Я знал, что не должен писать о них, пока их не полюблю, пока не захочу сохранить как своих близких. Господи, я действительно хотел полюбить их такими, какие они есть.

Конечно, полюбить их было очень трудно, их не любил, давно уже не любил никто, даже их собственные дети; на них уже была эта печать, что никто и никогда любить их больше не будет, они вправду были настолько мерзки, грязны, отвратительны, что я был в полном отчаянье, мне надо было хотя бы начать, сделать первый шаг любви к ним, а зацепиться было не за что. В общем-то, я был готов и понимал, что эта любовь не дастся мне легко, что понадобится огромный труд и огромное количество сил, чтобы их полюбить, а есть ли они у меня, достанет ли их, я не знал. Наверное, я все-таки надеялся на Бога, надеялся, что он вернется и поможет мне их полюбить, и тогда вдвоем, вместе мы, конечно же, сумеем сделать их любимыми.

Я помню, что у меня тогда даже был план, как прийти к этой любви, я понимал, что их никто не любит, потому что все думают, что как люди, как отдельное человеческое существо, существо, говорившее один на один с Богом, они умерли, больше их нет. Они остались теперь только в упрощенном одинаковом обличье, как бы в виде макета, и только чудо, равное воскрешению, могло сделать их прежними. Творить же чудеса я не умел, мне не было это дано. я и

сам был человеком, оставленным Богом, человеком, которого Бог больше не слышал. И все-таки ни в чем, что было в эти несколько дней, я не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. План, о котором я говорил, был следующий: болезнь, а потом больница почти целиком стерли все то, в чем они были не похожи друг на друга, в чем они были разные, диагноз как бы сделал их близнецами. В диагнозе было отмечено все, что считалось важным и необходимым, чтобы они могли жить дальше. То же, что было в них их отдельным, что они сумели сохранить из той своей жизни, которая была до болезни, все это почиталось никому не нужной чепухой, отклонениями, нюансами, которые ничего не меняют. Так вот, я думал через Кронфельда, медсестер, нянечек сам выяснить все, что в них было диагнозом, и отсесть это. Пускай осталось бы совсем мало, почти ничего, но это было бы то, чем они в самом деле были, а не болезнь, которой они были больны. В этих клочках была бы их жизнь, ведь каждый из них прожил длинную-длинную жизнь, в которой было все, что делает нас людьми, и я начал бы из этих мельчайших фрагментов собирать, склеивать их такими, какими они были раньше. Это была бы очень медленная и тонкая работа, постепенно края бы стягивались, закрывали лакуны, а я бы все больше и больше привязывался к ним: ведь если бы мне удалось воскресить их, сделать прежними, они стали бы как бы делом моих рук. Тогда бы я и полюбил их, впервые полюбил, сначала потому, что сам столько в них вложил, потому, что они были бы моими созданиями, моими детьми, а потом все это наверняка бы прошло, ведь, в сущности, это ерунда, осталась бы просто любовь.

Таков был мой план. Но еще ничего не было сделано, я просто сказал себе, что эти люди достойны любви, просто понял, что они люди, как все начало меняться. Я вдруг почувствовал, что Господь следит за мной, ждет, что у меня получится, Он был еще очень-очень далеко и не приближался, но Он уже был здесь, я не мог ошибиться. Возможно, я беру на себя слишком много и слова мои звучат кощунственно, но мне казалось, что Он как бы решил следовать за мной, довериться мне, то есть если я, человек, способен их полюбить, способен их спасти и воскресить, то и Он, Господь, спасет и воскресит всех нас. Я знал, что должен их полюбить, что Господь хочет, чтобы я их полюбил, что Он очень этого хочет, что Он с трудом сдерживает Себя, с трудом Себя убеждает, что то, что я захотел их полюбить, это еще мало, так мало: все это идет не от сердца, а от ума, головы и еще от страха, вот если я в самом деле их полюблю, если в человеке, в простом человеке, а не в Христе — Сыне Божьем, все же есть любовь к своим ближним, к своим соплеменникам, — ведь это самое малое, что можно требовать от живого существа, — тогда мы действительно достойны жизни, только тогда.

Я чувствовал, как все это важно для Бога, то есть Он тоже запутался и не уверен, не знает, что делать дальше, не знает, нужны ли вообще люди этому миру. Он уже склонялся к тому, что не нужны, что все зло от нас и мы неисправимы, но если я полюблю тех, кто здесь лежит, то, значит, Он, уйдя от нас, жесточайшим образом ошибся, тогда мы совсем не так плохи и еще можем быть спасены. Я знал, что если смогу всех их написать так, как тех людей, которых любил; даже за чем всех, может быть, всего нескольких, даже одного-единственного — это как с праведником в Содоме, — если я сумею хотя бы начать эту работу, то та беда, которую я чувствовал буквально на ощупь, остановится, перестанет к нам приближаться.

Итак, стоило мне только подумать об этом «Синодике», как все плохое оцепенело, замерло и теперь будто ждало, будут они написаны или нет. Люди здесь, где смерть была делом естественным, где она была ежедневна, желанна, считалась благословением, даже перестали умирать. Они как бы отделились мне в руки. Стараясь ничем мне не помешать, никак не отвлечь, они день за днем тихо и кротко лежали на своих койках, но я видел, что каждый из них верит, надеется, что именно его я выберу, чтобы сохранить.

Я знал, все время сознавал, что план мой — чистейшей воды утопия, что это совершенно невозможная для меня в моем нынешнем состоянии работа, работа на много-много лет, но больные как бы не хотели этого понимать и ждали так, будто я способен был это сделать сейчас, сегодня, в крайнем случае — завтра. Они и вправду были как дети, верящие, что для взрослого — меня — нет ничего невозможного, или как те, кто пошел за Христом, моля Его: воскреси, излечи, накорми. Во всем этом не было никакой игры, не играла ни одна сторона, и то,

что я тогда снова почувствовал Бога, свидетельствует, что и для Него, который знал истинные мои мысли и намеренья, все тоже было очень и очень серьезно. И все-таки, когда я понял, сколько работы, сколько ученичества в психиатрии мне предстоит уже на самом простом первом этапе, прежде чем я смогу отсеять от них болезнь,— ведь если бы мне это удалось, я в каком-то странном смысле их бы вылечил, снова сделал бы их людьми без болезни,— так вот, для этого мне надо было прочитать великое множество книг, которые совершенно неизвестно где было достать, вообще бездну всего узнать, а где, как — у меня даже подходов никаких не было.

Сам не знаю почему, я дня через два рассказал все это Ифраимову: и про план, правда, без Бога, без всего того, что делало его как бы из последних времен, а просто, что вот такой работой я занимался раньше, до больницы, а теперь здесь не получается, все уходит, ничего не могу вспомнить и поэтому думаю начать писать тех, кто рядом. Трудности этого предприятия я вижу вполне отчетливо, но все же хочу попробовать. Наверное, для него все это выглядит довольно смешно и по-детски, каждое свое слово я умалил, смягчал иронией, и все же, продолжал я, если бы он или кто-то другой, я просто не знаю, как к ним обратиться, мне бы посодествовали, я бы был им очень и очень благодарен. Ведь у них знаний об этом предмете, конечно же, неизмеримо больше, чем у меня, они здесь видят, наблюдают больных десятилетиями, все-все на их глазах; в общем, повторил я, все это, конечно, дурь и блажь, но вдруг кто захочет помочь.

То есть я просто забросил удочку, вообще не веря, что кто-нибудь клюнет, и даже боясь, что кто-то клюнет, потому что я, уже говоря с Ифраимовым, стал понимать, что все это вышло за мои пределы,— Господь готов был подумать о возвращении к человеку, больные перестали умирать,— и вдруг ужаснулся всему тому, что на себя взял, всему тому, что на себя принял. Я был, конечно, рад, что Бог согласился или, вернее, почти согласился вернуться, что в моем мире Он опять есть, и в то же время я вдруг ясно увидел, что меня ждет участь какого-то невиданного самозванца и провокатора. Провокатора, который обещал миру спасение, людям, многим-многим из них — исцеление и воскрешение, пускай даже обещано это было нетвердо и неуверенно, все равно внушил надежду, сделал так, что они в это поверили, на это поставили, а теперь, если я ничем не сумею им помочь,— а разве я был в силах им помочь, несмотря на то, что намеренья у меня были самые добрые,— окажусь неким абсолютным злом, человеком, который обманул в самом главном, обманул всех ему доверившихся, всех-всех. Я вдруг понял, что от меня, только от меня они ждут исцеления, что Господь ждет, что именно я, моя любовь скажут, спасти Ему этот мир или поставить на нем крест. То, что я хотел, было правильным, безусловно правильным, и в то же время это было совершенно отъявленное самозванство, потому что я явно ни в какой части ничего этого исполнить был не способен.

И все-таки я, зная, что у меня на это нет сил, что мне это не будет дано, пошел по этому пути, пошел, потому что остановиться и свернуть было негде и некуда, но шел я по нему совершенно невнятно и обреченно и так же кончал разговор с Ифраимовым. Я никак и ни в чем его не торопил и не форсировал и поэтому совершенно не ожидал той реакции, которая последовала. Ифраимов выслушал меня очень спокойно и, как мне показалось, без тени любопытства, а назавтра ко мне началось буквально паломничество. У дверей моей палаты еще до подъема собралось все местное население, как бы все народы и языки этого мира. Господи, они шли ко мне все, больные и воспитанники прежнего интерната, нянечки и санитарки, медсестры, врачи, включая самого Кронфельда,— все-все. Иногда они буквально выстраивались ко мне в очередь, даже лежащих санитарки совершенно безропотно прикатывали к моей палате, причем всегда они были вымыты, на свежем белье, и так ухожены, как перед приходом минздравовской комиссии.

И вот один за другим они обрушивали на меня целые кули своей жизни, тут было намешано все: и болезнь, которую я должен был вычленить, и множество живых деталей, множество мелких подробностей их собственной жизни — за ними-то я и охотился. Больные очень быстро разобрались, что мне от них надо, это было как наводнение, они говорили и говорили, буквально не могли остановиться, но стоящие за ними, ждущие своей очереди, были спокойны, терпеливы, кротки, никто никого не торопил: все понимали, как это важно, чтобы каждый из них выговорился. Важно для всех, они даже помогали тому,

кто плохо себя помнил, добавляли, если он, стесняясь, говорил о себе чересчур кратко: а вот, помнишь, было еще и это с тобой, а вот тогда-то ты нам сказал это, или сделал то, или так учудил. Легко они уступали друг другу и очередь, это не касалось совсем немощных, которые всегда пропускались вперед, в сущности, они, по-моему, догадывались, кого из них конкретно я внесу в «Синодик», — разницы нет, главное, что они или все спасутся, потому что Господь вернется к ним, или все погибнут.

Когда-то в газете я долго и, как мне казалось, совершенно безуспешно учился стенографии, однако в больнице выяснилось, что основные навыки этого искусства я все же усвоил. Наиболее существенное я почти всегда успевал записать и знал, что память поможет мне восстановить остальное. То, что идет ниже, это первоначальная обработка и сведение стенограмм, отнюдь еще не «Синодик», просто попытка разобраться и вычленить общее — их болезнь — из мешанины судеб, историй, впечатлений, которая на меня свалилась. Как я теперь сам вижу, это очень холодный и очень высокомерный взгляд на больных; разумеется, я не решусь утверждать, что такими они ко мне приходили, вернее сказать, это их рассказы, пропущенные через то, какими я их видел раньше.

Взгляд этот был неправилен, теперь я все чаще и чаще думаю, что он был совершенно неправилен, возможно, именно он все погубил, на них нельзя было смотреть холодно и изучающе, вообще нельзя было. Их с самого начала надо было любить, любить и спасать, а не анализировать, только любовь могла их спасти; я должен был не знать, должен был вообще забыть, что они больные, что главное в них — болезнь, я чересчур убедил себя, что от них остались лишь лоскутки людей и дальше мне предстоит бесконечная работа по заполнению лакун, провалов и разрывов, мелкая и кропотливая работа, и вдруг, когда они предстали передо мной целыми, сумевшими даже болезнь сделать своей собственной, ни на чью другую не похожей болезнью, частью себя, я, ведомый своим планом, вдруг, как врач, снова начал разрезать и препарировать их, то есть стал снова делать их больными. Господи, я, конечно же, не должен был идти этим путем, не должен был смотреть на них, как врачи, потому что врачебный взгляд давно и однозначно приговорил их всех к смерти, я же пришел, чтобы их исцелить. Но я просто не знал, как со всем этим справиться.

Раньше всего меня поразило не то, что больные сами про себя рассказывали живое, что в них еще была жизнь, а что нянечки, как оказалось, искренне обижались на них, искренне почитали их хитрыми и лживыми, искренне их боялись и с ними боролись, — то есть считали их равными себе, знали, что они живые. Потом я записал, что, в сущности, все больные — и те, кто почти постоянно был в эйфории, и те, кого я знал мрачными и отрешенными, похожими на тени каких-то недобрых птиц, — отказались от нового, вообще отказались от новых впечатлений, отношений, людей, то есть они не хотели ни в каком виде продолжения жизни, они не видели в ней ничего хорошего, ничего достойного внимания; единственное, для чего она еще была им нужна, почему они ее длили, — происходящее вокруг напоминало, будило в них воспоминания. Нынешняя же жизнь была для них все время мелькающими, исчезающими и снова возникающими неведомо откуда огоньками. Эти огоньки ходили на светлячков в густой южной ночи, больные шли за ними, как за поводырем, пытаясь что-то понять, что-то найти в своем прошлом, теряли их, долго, натываясь друг на друга, блуждали в полной темноте, снова находили, и тогда им хватало света, чтобы увидеть, что они в больнице и жизнь кончается. В этой полной обращенности вспять, этой попытке уйти в прошлое, в сознательном отказе от будущего, признании его недостойным и ненужным, — если бы их спросили, они бы единогласно высказались за то, что жизнь человечества дальше длить нет смысла, — было какое-то страшное упорство и в то же время слабость.

Легко, как во сне, переплетая события и людей из своей жизни, они почему-то в итоге получали такой убогий мир, что мне все время было их жалко. Их вообще было жалко: они были суетливы, бестолковы, все время собирались в какую-то дальнюю дорогу, наверное, эта дорога вела в прошлое, спешили и все никак не могли упаковать вещи, чего-то путали, теряли, забывали. Особенно беспокойны они были ночью: в мире, в котором они жили, как бы гасили свет, его закрывали, и им пора было уходить, и тут, когда им надо было особенно торопиться, они обнаруживали, что их ограбили, разорили, что ущерб огромен и невозполним, все нажитое пропало и возвращаться не с чем. Лишившиеся

всего, вынужденные теперь остаться в больнице, где все: и люди, и санитарки, и врачи, и само место вызывало у них лишь отвращение, они становились упрямыми, подозрительными, доводы на них никакие не действовали, заставить их что бы то ни было сделать было невозможно. В то же время они как один были чрезвычайно легковверны, они все-таки еще продолжали верить, что не все потеряно, что еще есть надежда, может быть, это была просто шутка или воры устыдятся и вернут то, что взяли. А пока они снова принимались копить необходимое для дороги, снова готовились в путь, только теперь еще чаще, еще тщательнее пересчитывая и проверяя имущество.

В стенограммах нередко и другое свидетельство их отказа от настоящего — это, кстати, было вообще первым, что поразило меня в больнице, — все они, как и от прочего, отказались от своего лица и теперь не узнавали себя в зеркале; так же и в своих соседях по палате они видели совсем других людей, тех, кто окружал их когда-то давно, в молодости. Это был поразительный маскарад, душа в них уже отделилась от тела и ушла, тело, в которое она была заключена, стало ей омерзительно, и она легко забыла его, сбросила, как старую кожу. Но кожа эта осталась и еще была жива. Плоть, лишенная души, вывернута и обнажена; и все они, особенно старухи, были бесстыдны и грязны и все время вождели, все время хотели. Стоило случайно дотронуться до них рукой, как они начинали хотеть; им было необходимо заполнить пустоту, души не было, она ушла, и они не могли больше оставаться одни.

Душа не просто, уйдя, освободила их, уйдя от них живых, уйдя при жизни, она надругалась над ними, и вот это — то, что свобода плоти, ее радость, радость ее освобождения, а это тоже было, была связана в них с надругательством, — толкало их на самые дикие извращения. Им нужны были оргии, им надо было быть растоптанными, распятыми, брошенными, они должны были страдать, испытывать к себе омерзение, знать, что они грешны и непоправимо виновны, — это было условием их радости, той ценой, которую они за нее платили. Но и в похоти своей они были жалки: немощные и слабые, они редко могли все это довести до конца, злясь, они плакали, снова и снова терзали свою бессильную плоть, а потом их как бы прощали, они обо всем забывали и засыпали.

Вместе с душой они отказались и от этики и в этом смысле тоже вернулись к началу, в детство. Раньше этика их сглаживала и смягчала, везде вводила начала компромисса, терпимости, теперь же они как-то разом огрубели, это касалось и черт лица, и поведения, и речи — все сделалось резче и определеннее, так что они удивительно стали напоминать пародию, карикатуру на самих себя.

Вернувшись в детство, они ушли от Бога, снова сделались язычниками. В них не осталось ничего похожего на христианство, на покаяние, на сознание своей вины, не ждали они и милости. Все страдания казались им лишь ничем не заслуженной и ничем не оправданной карой, в них жило ощущение бесконечной несправедливости этого мира, несправедливости, выпавшей именно на их долю; думаю, что в Бога никто из них больше не верил. Я не сужу и не судил их, никого из них, но когда в первый день я записывал их рассказы или исповеди, не знаю, как лучше все это назвать, единственные, кто вызвал у меня настоящее сочувствие, были insultники. Обычно мрачные и злобные, часто буйные, потом, когда они уставали, это сменялось апатией и отрешенностью, они хотели исправить мир силой и действием, разбить и сломать все двери и перегородки, снова открыть его, сделать сквозным и просторным. Борьба их была неудачна, они терпели поражение и для этого мира как бы умирали. Они отказывались от него, и он тоже для них умирал и от них отказывался. Переход их от нормальной, деятельной жизни к необратимой болезни и больнице был очень скор, это и вправду был удар, мгновенная ломка жизни, и они продолжали жить, зная, что в их болезни не было последовательности и естественности, не было правильности, всего того, что в избытке имели те, кто просто впал в детство.

Часть их мозга, очевидно, и сейчас была здорова, но хотя она не пострадала при инсульте, она не могла пробиться сквозь больные ткани, никак не могла восстановить связи, найти своих, это было как во время войны: семью раскидало по стране, кто на фронте, и неизвестно, жив ли он или погиб, а может быть, ранен и лежит в госпитале или пропал без вести, и про остальных тоже ничего не известно: бомбежки, эвакуация, все для всех канули и никто никого не может найти. Никто не знает, есть ли у него еще жена, дети или он на этом свете один и все ни к чему. В этой уцелевшей части было еще много жизни, и она, как

могла, билась в наглухо закрытую дверь, она не понимала, кто посадил ее в эту камеру; как здоровый человек, неведомым путем попавший в психушку, она ничего не понимала: почему, кто, зачем, — и сходила с ума.

С первого дня, как я начал стенографировать за ними, я всегда помнил, что мысль их спасти, внеся в «Синодик», была случайна; я стал думать об этом только потому, что меня самого ударили, только потому, что я вдруг увидел, что оставлен Богом. Здесь было мало альтруизма, мало того, что могло бы меня оправдать, все это делало честь лишь моей интуиции, мне ничего за это не полагалось, ничего не должно было мне зачтется, я спасался сам, и они были кругом, за который я цеплялся, чтобы выплыть.

Я ухватился за этих людей, стал о них думать, стал хотеть их сохранить, когда понял, что в этом мире я совсем один, что я так же оставлен и Богом и людьми, как они, я просто не мог больше быть один. Только когда Бог уравнил нас в одиночестве и брошенности, только когда Он свел меня вниз, свел к ним, я увидел их и вспомнил их и сказал им, что они мои братья. Я сначала только сказал, потому что еще не чувствовал их своими братьями, только умом понимал, что они мне братья, — я все-таки считал себя выше их и долго пытался и хотел описать их сверху, хотя Господь и поставил нас вровень. Я говорил себе, что я старший среди равных, что я как старший брат: отец умер и я в семье, роде заступаю на его место. Я, конечно же, был совершенно не готов раствориться, смешаться с ними, я только хотел как поводырь повести их к свету, к Богу, чтобы Бог их увидел и вспомнил о них. То есть я думал, что я один знаю, где свет, один знаю, что Бог есть, и помню, где Он.

Собственно говоря, теперь во мне так сразу все изменилось, что я уже не понимал и не помнил, почему раньше я не видел, что описание этих людей и есть моя работа, то, для чего я сюда попал, может быть, то, ради чего я вообще существовал на этом свете. А вся моя работа над добольничным «Синодиком» — только подготовка, только репетиция, ученичество. И еще: мне как бы сразу открылось, что будет дальше, моя роль, что мне дано, вернее, позволено сделать и что из этого может произойти, я вообще вдруг очень отчетливо увидел весь путь; смогу я их исцелить или не смогу — было во всем этом единственным, чего я не знал. Но следствия того и другого были мне ясны. Я видел все очень холодно и отстраненно, это было как в поздний осенний день, когда уже нет листьев, все прозрачно и голо, ясно, что скоро зима, снег, тепла, бабье лето больше не будет, оно в прошлом, видно очень-очень далеко, нет ни иллюзий, ни надежд — только смирение, потому что ничего не изменить. Мне кажется, что то, как я тогда смотрел на мир, было близко к тому, как смотрел на него Господь, Он тоже тогда был уже очень далеко, Он до безнадежности отдалился от созданного Им человеческого рода, видел его теперь целиком, от начала до конца, и не питал больше никаких иллюзий, никаких надежд. К человеку Он охладел, ушла вся любовь, все тепло, которые долго, очень долго мешали Ему разглядеть, что же на самом деле представляет собой Его творение. Он очень нас всех любил, все мы были Его детьми, детьми Божьими, и Он очень долго нас просал, был к нам добр, нежен, главное, снисходителен, Он долго умел себя убедить, что мы все еще дети и какой же может быть спрос с детей. Теперь это ушло, Он устал от нас, понял, что мы взрослые и ничего не исправишь. Взгляд Его на нас все больше и больше повторял взгляд врачей, все мы постепенно стали для Него разновидностями болезней, мы были как бы паноптикумом, собранием самых разных отклонений, нарушений, уродств.

Если раньше каждого из нас Он считал достойным своим собеседником, ведь Он Сам сотворил не массы, не толпы, а одного человека, то есть Он сделал так, что наша мера — один человек, а все остальное мы, соединяясь в семьи, рода, классы, народы, государства и еще бог знает как, придумывали, сами придумывали потому, что боялись говорить с Ним один на один.

Он смотрел на людей, смотрел, как они прятались за спины друг друга, они все время хотели уйти в тень, стать невидимыми для Него, и это рождало всегдашнее очень медленное и осторожное коловращение, они все время двигались; впрочем, если им сразу не удавалось спрятаться, иногда все бывало довольно бурно: они толкались, ругались, могли и подражаться, они, как в нору, зарывались друг в друга и тут же, зарываясь все глубже, друг друга откапывали, — это и была их жизнь, их история. Они не были готовы говорить с Богом, и не только из-за тех грехов, которых много было на каждом; просто жизнь, которую

они уже давно, много-много поколений вели, была жизнь без Бога, и теперь, когда Он вдруг вставал перед ними, Он только всем мешал, и главное — они не знали и не помнили, как с Ним говорить, о чем с Ним говорить. Словом, они уже стали чужие Ему и Он им казался чем-то вроде соглядатая, который вдруг в эту их жизнь входил и все сразу сбивал, все нарушал, менял и цели, и смысл, и даже ритм жизни: вообще все вдруг делалось ненужным и неправильным — для чего, почему Он все это у них отбирал?

Они не понимали, зачем Он приходил, ведь они своей жизнью, вечным блаженством, которым они пожертвовали, уже сказали Ему, как хотят жить, вернее, не как хотят, а то, что иначе они жить не могут. Они уже со всем смирились, на всем поставили крест, поняли, что они ни на что не имеют права, что они слабы и не достойны никаких Его милостей, может быть, лишь некоторые из них — капли сострадания. А теперь Он являлся, чтоб с ними говорить, хотя знал, что говорить им не о чем. Вот они и прятались от Него и только злились и раздражались, что как они ни пытались от Него за другими укрыться, все-таки кто-то из них всегда оказывался прямо перед Ним; им это казалось Его, Бога, хитростью, что кто-то всегда был перед Ним, недостойной хитростью, и они его, несчастного, — не Бога, конечно, а человека, — сострадав, впускали в себя обратно, и опять кто-то оказывался на краю. Получалось, что, спасаясь сами, они все время топили друг друга, и это продолжалось столько, сколько Он стоял перед ними. Это была очень недобрая Его шутка, что всегда кто-то оказывался на краю, не в гуще, а один перед Ним.

Поздним вечером того же дня, когда мне стало ясно, что я должен начать писать «Синодик» здешних обитателей, ко мне в палату снова пришел Ифраимов и без вступления, без всякой связки продолжил рассказ о группе Эвро, Институте природной гениальности и о тех его остатках, которые оказались в нашем отделении. Во всяком случае, я так думал, что речь идет об этих предметах, пока Ифраимов, вдруг резко не повернув, к моему изумлению, сказал: «Насколько я знаю, Алеша, вам и самому хорошо известно, что на рубеже двух веков — восемнадцатого и девятнадцатого — не много было в России столь же читаемых и почитаемых писателей, как мадам де Сталь».

Дальше в тот вечер говорил он уже только о ней. Де Сталь была моей давней привязанностью, теперь, как я узнал, и его. Конечно, услышать то, что думает на сей счет Ифраимов, мне было небезынтересно, хотя, пожалуй, в том положении, в том месте, где мы тогда находились, скорее, странно. Я не вступал с ним в полемику, ни в чем ему не противоречил, насколько помню, даже вообще не сказал, что занимался тем же сюжетом, но все равно для меня это был диалог. И судя по тому, с каким напором он говорил о Сталь и тогда, и в следующие дни, он это чувствовал. Впрочем, может быть, Кронфельд и проболтался, что я собирался писать книгу о ней.

«Ее современники в один голос утверждали, — продолжал Ифраимов, сидя рядом со мной на кровати, — что роль, сыгранная ею не в литературе — в жизни, — единственная и, что еще ценнее, она получила ее не по наследству, не по праву рождения, а сама родила и выкормила эту роль, то есть воистину она была ее собственной, ее и больше ничьей. В сущности, такое восторженное отношение тех, кто совпал с мадам де Сталь во времени, не удивительно: все мы любим себя и как часть себя любим свое окружение, странно другое: почти так же относятся к Жермене де Сталь и те, кто живет сейчас.

Хотя ей не было дано управлять странами и народами, но все сходится, что без казны, без армии, без двора, словом, одна она достигла большего, куда большего, стала наставницей, властителем помыслов и тому подобное целого поколения. И может быть, не одного. Шлейф ее идей, ее уроков тянется очень-очень далеко, даже сейчас, когда де Сталь читают уже мало, в редкой книге не найдешь характеров, которые восходят к ней. А тогда те, кому Господь сулил родиться женщиной, от России до Испании и обеих Америк, не просто зачитывались ее «Дельфиной» и, еще более популярной «Коринной» — они этими романами были созданы и сформированы. Не многим из них удалось в жизни повторить судьбу персонажей Жермены де Сталь, еще меньшим это принесло счастье, здесь, впрочем, она никого не обманывала: героини ее прекрасны, но несчастны и гибнут; и все равно это был тот идеал, о котором мечтают все, и то, что никто его так и не достиг, только очистило и сохранило его. И они, те первые, кто в юности прочитал ее книги, ничего не исказив, передали его своим дочерям,

те — своим, и так, как я уже говорил, многое, очень многое дошло и до нас; весь девятнадцатый век, во всяком случае, в своей женской половине, но и не только, построен ею. Сама де Сталь несправедливо быстро отошла на второй план, но все равно помянуть это имя не грех.

У Жермены де Сталь был очень сильный, рассудочный, почти мужской ум, она скорее была мыслителем, философом или эссеистом — всего вернее последнее, — чем писателем; ее работа «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями», где она, отсекая крайности, с блеском продолжает Монтескье, была ярче и талантливее ее романов; современники это понимали ясно, ясно это и сейчас, время здесь ничего не изменило. Эта работа вполне рационалистическая и спокойная по тону, с бездной блестящих, остроумных наблюдений, с бездной ума и понимания разных и разноязыких стран, народов, отдельных представителей рода человеческого; де Сталь вообще была открыта для всего и все принимала — истинно ее, а романы — производное ее таланта. По этому поводу, конечно же, можно спорить, но в пользу сказанного здесь и то, что всего лучше она была в живой беседе, здесь знавшие ее единодушны: в разговоре она была быстра, умна, точна, весела. Там, в салоне, который стал собираться в их доме, еще когда она была ребенком, а карьера отца при французском дворе дошла до своей первой из трех вершин, де Сталь была необыкновенна. Не она создала этот институт — салон, и не ею придуман этот жанр — беседа в салоне, но то, что это было сделано «под нее», по ее мерке, — тут сомнений нет. В разговоре она действительно была хороша, говорила едва ли не афоризмами и в то же время была совершенно естественна, без намека на вычурность, без какой-либо попытки подавить собеседника. Люди ей были интересны, интересны такими, какими они были, и ты это чувствовал с первого ее слова. У нее была редкая быстрота реакции, умение предугадать ход, то есть много расчетливого, шахматного, и в то же время неожиданность, лихость, бесшабашность сравнений, так что все, что она говорила, звучало до странности по-новому и не утомляло. У всего этого, конечно, была немалая база, она получила очень хорошее образование и знала много. Она по-настоящему знала много, то есть знания были ею пропущены через себя, продуманы, сделаны своими. Но не в этом суть; ее хватило и на большее, ума в этой женщине было столько, что еще в отрочестве, девочкой, она поняла, что не ум делает нашу жизнь такой, что ее стоит жить, и это понимание она тоже сумела пропустить через себя, так пропустить, что, как я уже говорил, поколения любили, безрассудно отдавались страстям, страдали по ее книгам. И еще на одно совсем уж редкое достало у нее ума: она сумела прожить свою жизнь так же, как ее героини.

И все же Жермена де Сталь никогда не была счастлива. Да, в ее жизни было в избытке того, о чем в юности она загадывала и мечтала: она всегда была окружена замечательными людьми, влюблялась, меняла любовников, рожала детей, была в центре чуть ли не всех интриг и авантю, решавших в ту эпоху судьбы Франции и Европы, тем не менее умирала она как бы обманутой, убежденная, что Господь не дал ей того, для чего предназначил. И ее современники, и мы без малейших сомнений ставим ее выше любых титулованных особ, но сама она всю жизнь думала и хотела лишь одного — быть как они. Она мечтала об их доле, об их участии, о том, что было им дано, а ей нет, — она хотела власти, власти над другими людьми, просто власти. Более того, она всегда была уверена, что Господь ее для этого и предназначил, для этого она и была рождена. То есть ее права на власть как бы от Него, Господа, и исходят. Здесь не было безумия: то, сколько с ее умом и в ее время она сделала за жизнь, — лет за пять до смерти она сама в Коппе, своем поместье, подвела итог — справедливо представлялось ей ничтожным, несоизмеримо малым, это была бессмысленная растрата данного ей. Она писала, что была марионеткой, которую судьба вместо престола поместила в игрушечный мир парижского салона. Все, чем она обладала, конечно же, требовало соответствующих средств, соответствующего масштаба, она же так и осталась ваятелем, зодчим, вынужденным всю жизнь промышлять миниатюрами.

Действительно ли Господь искушал ее властью — это не такой уж простой вопрос даже для тех, для кого Господь Свят, Всеблаг и искушать никого не может. Для нее же, которая верила, безусловно верила, но сомневалась, многие друзья которой были вовсе агностиками, Он был еще более не прост. Родись она в другие времена, когда право на трон давалось лишь рождением, то есть редчайшим случаем, простым везением, — и все было бы понятно, но она

появилась на свет Божий перед революцией, была выращена революцией, той революцией, которая возвела в принцип равенство, равенство всех и каждого. То есть то, что говорилось раньше лишь немногими философами, при ней, на ее глазах стало основой всего права, в том числе и права на власть. И этот принцип соблюдался. После казни Людовика XVII немалое число лиц, не обладавших никакими достоинствами, кроме жажды власти, добивались до вершины, утверждая и подтверждая, что власть может получить каждый, вопрос только, сумеет ли он ее удержать.

И если мы вспомним, что одна только революция была тогда источником власти, одна она давала на нее право, потому и брат короля Филипп Орлеанский отказался от своего титула как от балласта, стал Филиппом Эгалите — Филиппом Равенство, и сын его впоследствии был посажен на французский престол под именем Луи-Филиппа, следовательно, сам Филипп Эгалите был признан правым в том, что отказался от титула и голосовал за казнь брата, — то то, что она, умнейшая из умнейших, мечтавшая о власти как никто другой, эту власть так и не получила, трудно понять. Но это лишь малая часть ее счета к Богу.

Дело в том, что ее семья, вернее, ее отец собственно и породил эту революцию, то есть все права на нее, в первую очередь право ею распоряжаться, принадлежали ему, а по наследству — ей, его любимейшей дочери. Ее отец, барон Неккер, трижды бывший государственным контролером при последнем Людовике, своими докладами о положении финансов страны создал революцию из ничего, и, конечно же, он должен был ее возглавить. Помимо того, он был честен, всеми уважаем; нет сомнений, от управлял бы страной куда лучше, чем все, кто получал власть, — от Робеспьера до Наполеона. И народ Франции хотел его власти: он был той фигурой, которая устраивала почти всех, он мог бы примирить и успокоить страну, в самом деле стать ей хорошим правителем.

Ни Неккер, ни она так никогда и не поняли, почему он был столь быстро удален, столь быстро ушел в тень, единственный ничем себя не скомпрометировавший и, в общем, по всем понятиям, светлая фигура. Революции тогда были внове, и конечно, де Сталь не могла знать, только догадывалась, что это есть почти маниакальное ускорение жизни и власть, поколения власти меняются при ней очень быстро, за считанные дни и месяцы. То есть что я хочу, Алеша, сказать: возможно, она ошибалась, возможно, ее обвинения Бога несправедливы, но факт остается фактом: она была знатью, первостатейной знатью, самой родовой знатью революции и имела все права на престол. Доводы, что я здесь изложил, свидетельствуют об одном: в ее позиции, безусловно, была логика, но сама она не считала их существенными, юристом эта женщина была меньше всего. Если бы на суде ей предложили обосновать свое право на власть, она сказала бы о совсем ином. Она начала бы с того, что в молодости ее любовниками были Талейран, впоследствии, после поражения Наполеона, спасший Францию; Баррас, входивший, а какое-то время фактически возглавлявший правящую Директорию; бывший вместе с Наполеоном консулом Бенджамен Констан и еще многие, в чьих руках в разное время были судьбы Франции, но которых по ряду соображений она назвать сейчас не может.

Известно и подтверждено, в частности, их собственными письмами, что политическая карьера каждого из этих людей, как правило молниеносная, начиналась с одного: с любви, со связи с ней, Жерменой де Сталь. Все они без исключения были ее. Все они любили ее, ласкали ее, владели ею. Она была женщина, и они входили, вступали в нее. Она принимала их всех, всех прятала в себе и укрывала, всем дала силы. Она сама так же, как Господь Бог, так же, как революция, была источником власти, он был в ней самой, в ее нутре, и все, кого она впускала в себя, получали власть. Потом она бы обратилась к присяжным: «Долгое время я пыталась обманывать себя, я не могла примириться и принять, что власть во мне самой и мне же самой недоступна. Согласитесь, — сказала бы она им, — что для меня, жаждущей власти Жермены де Сталь, были придуманы муки хуже, чем для Тантала. Я прожила жизнь, но ни разу так и не напилась, разве я не заслуживаю снисхождения?»

У Сталь был изощренный ум, и она не верила, что выхода нет. Многие-многие годы она доказывала себе, что ее любовники добывают, берут власть не из нее, все дело в салоне, он один — та лесенка, по которой они поднимаются вверх. Она обожала свой салон, холила его, лелеяла, каждого, кто приходил к ней во вторник или в пятницу — дни, когда она принимала, — она встречала как

своего единственного друга. Собственно, все это естественно и понятно, я уже говорил, что лишь в салоне она чувствовала себя по-настоящему хорошо, лишь там, среди ярких, незаурядных людей, которых она сама выбрала и пригласила, она понимала, что живет не зря. Очень рано, кажется, почти сразу после казни Робеспьера, когда возобновились ее традиционные вторники и пятницы, создала она и легенду о своем салоне; цель ее была проста: она хотела малого — чтобы источник власти был где угодно, пускай совсем близко, рядом, только не в ней. Чтобы доказать, что власти в ней нет, что изнутри она обыкновеннейшая баба, она была готова на все. В этом и суть легенды, которую она потом развила чуть ли не в целое учение.

Жермена де Сталь утверждала, что совсем небольшая, но хорошо организованная и хорошо законспирированная группа, объединенная общей целью, с умным и волевым руководителем во главе без труда может взять судьбы мира в свои руки. Необходимо для этого одно — железная дисциплина, готовность всего себя подчинить нуждам организации. Салон ее и есть «крыша» для такой группы. За ширмой светской болтовни и отвлеченных философствований здесь решается, кто и как будет править Францией. Легенда эта в свое время была очень популярна и широко распространена в немалой степени благодаря Наполеону. У Фуше, который заведовал французской тайной полицией, среди друзей мадам де Сталь было множество осведомителей, и он знал, что на самом деле представлял собой ее салон, поэтому высылку де Сталь сначала из Парижа, позже и вовсе из Франции мне объяснить нелегко; возможно, самому Фуше нужны были заговоры, чтобы укрепить свое положение.

Вообще, как мне кажется, Алеша, судьба мадам де Сталь чем-то родственна судьбе первочеловека Адама. Их жизни во многом схожи и как бы дополняют друг друга. Такое ощущение, что Жермена де Сталь была задумана совсем для другого времени, что Господь изначально предназначал ей быть Евой, Адамовой женой, праматерью и она просто опоздала родиться. Вспомните эпизод из Бытия, где Господь говорит Адаму, чтобы тот сам дал имена всему живому, что Он, Господь, создал и чем населил предназначенную человеку в удел землю. Но чтобы дать каждой твари ее истинное, единственно ей принадлежащее имя, Адаму надо было знать ее природу, надо было узнать, понять, кто на самом деле она есть. Все это знал Господь, создавший ее, но не Адам. И когда ангелы одну за другой стали подводить к нему Божьи твари, он, чтобы понять их суть, понять, кто же они, входит в них, на глазах Господа познает их как Еву, как мужчину познает женщину, познает, как Баррас познавал в Жермене де Сталь суть власти, — и только после этого нарекает их.

Если верить биографам мадам де Сталь, — продолжал Ифраимов, — в 1810 высланная из Франции, оставленная всеми близкими друзьями, она поселилась в Швейцарии, в своем родовом поместье Коппе. Первые месяцы она была очень грустна, подавлена, никого не хотела видеть, но потом судьба преподнесла ей неожиданный подарок. В нее влюбился молодой француз, офицер Жан Рокка, и хотя ему было двадцать два года, а ей к тому времени сорок четыре, они поженились. Через год она родила дочь, которую окрестили тем же именем, что и ее саму, — Жермена. Вскоре после родов мадам де Сталь тайно покинула Швейцарию и через Вену и Варшаву приехала в Россию. Она побывала в Киеве, Москве, Петербурге, была принята Александром I, войска Наполеона тогда уже форсировали Неман, и ее, имевшую славу самого опасного врага корсиканца, везде встречали восторженно. Осенью 1813 она отправилась на корабле в Лондон, где ее по тем же причинам, что и в России, ждал не менее триумфальный прием. Потом мадам де Сталь снова поселяется в Коппе, а в октябре шестнадцатого года возвращается в Париж. 21 февраля 1817 года по пути на бал, устроенный главным министром Людовика XVIII, на лестнице его особняка она упала. Падение вызвало кровоизлияние в мозг, от которого спустя пять месяцев Жермена де Сталь скончалась. День ее смерти, 14 июля, — день начала Французской революции.

Эта внешняя канва событий бесспорна и не вызывает никаких сомнений, но суть их, как это нередко бывает, осталась скрыта от всех историографов Жермены де Сталь. Чтобы понять ее, нам необходимо отступить на пять веков назад. В 1495 году, в девятый день месяца Аба, то есть в тот же день, когда были разрушены и Первый и Второй Иерусалимский Храм, испанский король Филипп Кастильский издал указ об изгнании евреев из страны. Через два года после этого

указа две знатные еврейские семьи добрались до Женева и здесь нашли приют у прапрадеда барона Неккера, Жака Неккера. С Жака, собственно, и начинается возвышение рода Неккерев.

Вторая половина пятнадцатого века была одним из самых страшных периодов в длинной истории евреев. В разных концах Европы множество их общин были полностью вырезаны или насильно крещены, в других перебиты все мужчины и только женщинам, да и то за огромный выкуп, оставлена жизнь. Некоторые из известнейших раввинов-кабалистов (среди них ученики знаменитого рабби Лурия) полагали, что недалек тот день, когда все евреи будут истреблены и труба Господня возвестит, что пришло время Страшного Суда. Поэтому в ешивах, руководимых этими раввинами, с особым рвением изучались тексты, связанные с Девятым Аба и Страшным Судом. Наибольшее внимание привлекали два вопроса: первый, вполне практический — что делать еврейкам тех общин, где ни один мужчина не уцелел, если у них нет возможности перебраться в другой город. Как им выполнить заповедь Господа — «размножайтесь», как продлить и продолжить свое племя? Второй — весьма странный комментарий Талмуда к двадцать второй главе Торы, в котором утверждалось, что когда народы предстанут перед Страшным Судом, в каждом из них найдется по несколько Коганим (они и станут заступниками этих народов), то есть прямых по мужской линии потомков Аарона, в чьих жилах не течет никакой другой крови, кроме еврейской. Причем текст можно было понять так, что ни сами они, эти Коганим, ни жены их не будут знать, что они евреи.

В конце концов после долгой работы ключ к пониманию этого комментария был найден. Буквы двадцать второй главы Торы, переставленные в определенном порядке, образовали новый текст, который не только объяснил загадку с Коганим, но и дал ответ еврейкам, оставшимся без мужей и женихов. Среди прочего он содержал рецепт некоего состава — основой его была та самая мандрагора, что в древности помогла понести Рахили, — выпив который женщина, не имевшая мужа, если обыкновенное женское у нее не прекратилось, могла забеременеть и родить дитя, которое было ею самою. Добавляя такой женщине еще целую жизнь, Господь как бы признавал ее правоту перед Ним и Свою вину и брал годы той первой ее жизни обратно. Последнее, правда, не совсем точно. В сущности, это не было новой жизнью, а именно продлением старой. Все тленное, все, подверженное старению и распаду, обновлялось в ней полностью, другое же она сохраняла. Никакие бедствия не должны были стереться из ее памяти, никто из убитых не должен был быть ею забыт. Женщине позволялось использовать это средство всего три раза, дальше вина и грех переходили на народ, так и не сумевший помочь соплеменнице.

В числе прочего, чем безавшие из Испании евреи отблагодарили Жака Неккера, оказался и этот секрет продления жизни. Насколько я знаю, первым, кто из неевреев воспользовался им, была Жермена. В семье Неккерев он был забыт, и она обнаружила его совершенно случайно (или не случайно), от скуки разбирая в Коппе родовой архив. После некоторых колебаний и сомнений в богоугодности этого шага она решила продлить себе жизнь.

Таким образом, дочь Жермена, родившаяся у Жермены де Сталь от Жана Рокка, вопреки обманчивой очевидности не имела к Рокка никакого отношения и была самой Жерменой де Сталь. Для своей второй жизни мадам де Сталь выбрала не Францию, которая столь жестоко обманула ее надежды, а полюбившуюся ей Россию. Подобрал трех надежных женщин — кормилицу, няньку и гувернантку, она перевезла годовалую девочку туда, купила на ее имя большое и очень красивое поместье южнее Оскола и, устроив дела, села в Петербурге на корабль, отправлявшийся в Англию. В России Жермена де Сталь была крещена по православному обряду и записана в дворянский список под именем Евгении Францевны Сталь, помещицы Тамбовской губернии».

Сказав мне, что де Сталь поселилась в России, Ифраимов вдруг потерял нить разговора и принялся нести странную околесицу о русско-французской войне 1812 года и о женственности России...

Потом он сказал, что жизнь Жермены де Сталь у нас продолжалась целых три поколения и он наверняка расскажет мне в свое время о наиболее примечательных событиях, здесь с ней случившихся, но не сейчас и не сегодня. Теперь же нам пора разойтись — мы и так полночи никому не даем спать, и на этом кончил. Он поднялся, я тоже встал и пошел его проводить.

Уже зная Ифраимова, я был уверен, что продолжение последует не раньше чем через неделю, но следующим вечером он без каких-либо просьб и напоминаний опять пришел ко мне, сел рядом и, по всей видимости, готов был продолжить историю жизни де Сталь. Причем держался он на этот раз необычно, у меня даже возникло ощущение, что за ночь он на что-то для себя важное решился, однако сделать то, что задумал, без моей помощи не может, посвятить же меня в свои планы не хочет. Скорее всего, речь шла о «Синодике», я даже был уверен, что именно о нем, и значит, жизнь мадам де Сталь будет рассказываться мне теперь не просто так, а потому, что Ифраимову надо, чтобы она вошла в мой «Синодик»; и он дал себе слово добиться, чтобы я это сделал. Впрочем, может быть, все это мне только померещилось.

Иногда Ифраимов не мог сразу начать говорить, я это уже знал, и тогда долго, чуть ли не полчаса, он сидел совершенно неподвижно, положив руки на колени, как по отвесу вытянув спину и полуприкрыв глаза. Собственно говоря, в такой позе он оставался все время, что был здесь вчера, только глаза его были открыты и повернуты ко мне. На этот раз пауза была особенно длинной, и я вместо того, чтобы, занявшись своими делами, спокойно ждать, стоило ему пошевелиться, сразу влез и для затравки спросил об Адаме и Древе познания. Ответил он немедленно, но как-то совсем не то, что я полагал от него услышать.

«Древо познания,— сказал он,— а с ним и многие другие деревья вслед за человеком тоже были изгнаны из Рая, но деревья оказались лучше людей, все они обращены высь, к Богу, и сейчас единственное, что соединяет твердь небесную и земную, не дает им окончательно разойтись,— это молитвы да деревья. Едва укрепившись в земле,— продолжал он,— деревья сразу же начинают тянуться вверх, один за другим они пускают в небе новые побеги-ветки, и эта корневая система более мощная, чем та, что держит дерево в земле. Поднимаясь все выше и выше, она пронизывает, прорастает воздух, небо, как пуповиной связывая его с землей. Все же дерево подобно Вавилонской башне, и хотя Господь понимает, что оно растет не из гордыни, ни одному из деревьев, как бы высоки они ни были, не суждено до Страшного Суда возвратиться в Рай. Открыт он лишь для человека.

В сущности, каждое дерево как бы повторяет судьбу всего человеческого рода. Зачатие его, как и человека, происходит на небе, там вызревают семена, там они набирают силу и соки, а потом так же сразу и отвесно, как Адам, падают вниз, на землю. Но выношены они в небе, туда же и стремятся вернуться. Растут и поднимаются деревья очень медленно, шаг за шагом, для глаза неразлично. То есть путь очищения и спасения человека постепенен, труден и не всем дано его пройти. Из тысяч упавших семян прорастут, укрепятся в земле единицы, но дальше они будут держаться, цепляться за жизнь, и пока Бог с ними, они не упадут. Есть деревья, которые живут многие сотни и даже тысячи лет, но все равно, как я уже говорил, вернуться в Рай никому из деревьев не суждено. Как человека грех, их изнутри подтачивают грибки и гниль. И все же, даже умирающее и обессиленное, в последнее лето отпущенного ему срока дерево по роду своему принесет в небо такой же чистый плод, как чисто и непорочно дитя, рожденное самой грешной женщиной.

Видите ли, Алеша,— продолжал Николай Семенович,— вы вправе у меня спросить, за что дерево было наказано? Точно я этого, конечно, не знаю и знать не могу, но одно предположение все же выскажу. На райском дереве были разные плоды, и дело не в том, что Адам слишком рано съел один из них, грех дерева в другом: сладчайшим из всего выросшего на нем был плод, который я бы назвал плодом конца, самого конца, завершения пути; плодом знания, истины, ответа, но без дороги, без какой-либо возможности пойти и самому прийти к ним и к Богу; его Адам и сорвал по малости лет. С тех пор и нам, его потомкам, ответы нравятся куда больше вопросов. Нам стало так трудно говорить с Богом, так трудно Его понимать, потому что после этого языки у нас сделались как бы разные. Мир Бога — это мир вопросов, лишь вопросы соразмерны сложности Его мира.

Вот представьте, я вас спрашиваю, что за человек наш врач Кронфельд; даже если вы его знаете как самого себя и не поленитесь мне все рассказать и растолковать, согласитесь, ваш портрет будет бесконечно проще и примитивнее этого самого Кронфельда. В Талмуде сказано, что человек, каждый человек так же дорог Богу, как весь мир, что Он создал. Человек и так же сложен, как мир,

потому что он, этот мир, — в каждом из нас. Каким бы наш Кронфельд ни был, умен или глуп, хорош или подлец, может быть, ни то и ни то, согласитесь, в моем вопросе он всегда поместится, в вашем же ответе — никогда. Ответы — чужие в Божьем мире, они искусственны и враждебны ему. Они просты и делают пространство вокруг себя таким же простым и понятным, но это иллюзия, это неточный, искаженный, приблизительный мир, мир, где все расплывчато, где границы размыты, где одно накладывается на другое, так что даже добро трудно отделить от зла. Зло ради благой цели, добро, оборачивающееся злом. Этот мир уже не тот, что был создан Господом, он другой, и мы не сможем вернуться к Богу, если не научимся спрашивать. Чем тоньше и мудрее будут наши вопросы, тем скорее мы поймем Его мир. Закон же познания, собственно, один — такт. В нас должно быть знание, про что можно спрашивать, про что вообще нельзя, потому что есть такие проклятые вопросы, которым под силу разрушить все сущее. На некоторые вопросы приблизительные ответы все-таки есть, на другие их нет и не может быть, на третьи есть, и мы вправе спрашивать, но ответа все равно никогда не добьемся и не поймем. Мир, в котором мы живем, живой: он изменчив, подвижен, мы должны помнить об этом и помнить, что наши вопросы не должны бороться и враждовать с ним, наоборот, быть ему созвучны. Должны быть признаны и приняты им.

Все это, Алеша, наверное, было бы не так уж трудно объяснить людям, беда другая: уходит или уже ушел язык, которым можно задавать вопросы. Данное Господом Пятикнижие Моисеево написано на таком языке, но только в своем изначальном древнееврейском обличье. Слова в нем многозначны, в тексте изобилие метафор, образов, сравнений. Помните, Алеша, хорошие метафоры — это не игра слов; они истинны, в них реальное подобие вещей, единство мироздания, сотворенного Единым Богом. Кроме того, слова тогда писались без огласовки, и на бумаге часто самые разные вещи выглядели одинаково или сходно. Все это позволяло тексту дышать, меняться, человеку он открывался всякий раз по-новому, по-новому им понимался и толковался. То есть он был живой, такой же живой, как и мир. Из переводов же это ушло. Переводы Библии — и Септуагинта, и Вульгата, и древнеславянская Библия — и по свойству языков, и по свойству самого перевода сузили и упростили смысл Торы. Перевод всегда есть понимание текста лишь одним человеком — переводчиком, перед каждой фразой он как бы пишет: я, такой-то, живший тогда-то и там-то, понял, что говорил Бог так. И все это, кто он и кем был, попало в Библию. Переводы Священного Писания были рубежом, после них возник канон и стало принято оставлять слову только одно значение, но такой язык годится лишь для ответов.

Было время, когда люди не писали, а рисовали слова, слова были тогда куда ближе к тому, как человек видел мир, как он думал, молился; человек был в каждом написанном им слове, в каждом из них было то, что тебе открылось или ты просто угадал, то есть когда ты писал или переписывал слово, ты рисовал, изображал свое понимание его, и так, сколько бы раз оно ни было переписано, оно всегда было новым. Когда Тора на Синае была дана человеку, век этот был на исходе. Почти все народы тогда уже писали одинаковыми и похожими друг на друга, как капли, буквами; но те, кто помнил и понимал другое написание слов, еще были живы. Египет частью возобновил, частью не дал им забыть его. Потом эти люди умерли, и с тех пор мы занимаемся странной работой: тысячи лучших умов комментируют и толкуют Священное Писание, но языка, на котором они могли бы передать то, что им открылось, нет. Слова, которыми они пишут, определены, законченны и как бы остановились. Таким же был Исава: в нем все было завершено и построено, меняться он не мог, и из-за этого Бог отнял у него первородство.

Однозначность слова — страшная болезнь, на таком языке мы можем говорить только друг с другом, он рожден ложью, страхом быть обманутым, ни доверия, ни свободы в нем нет совсем. Само слово перестало быть целым, оно все больше мельчает, дробится, превращается в термины. Дробится и язык, множество знаков отделяют слова друг от друга, рвут их связи. Этот язык хорош для юристов и чиновников, но на нем нельзя молиться. Печально и другое: слова теперь стало принято окрашивать — свой, чужой, плохой, хороший, — краска ярка, точна, контрастна, и она забивает смысл: в конце концов и не так уже важно, что значит слово, если тебе объяснили, как к нему относиться. Буквы, конечно, были

великим изобретением, письмо они упростили в несчетное число раз, но, увы, эта простая технология не может передать сложного. Кабалисты не правы: Тора открыта для нас вся, вся нам дана, закрытой сделали ее мы сами».

Здесь Николай Семенович себя оборвал, было уже очень поздно, вокруг спали. Он сидел молча, и я подумал, что он ждет, когда я встану, чтобы, как и вчера, проводить его до палаты. Я принялся нащупывать ногами тапки, но он вдруг опять заговорил.

«После первой, очень бурной жизни, проведенной мадам де Сталь по большей части во Франции, вторая жизнь, прожитая ею в России, была как бы отдыхом. Она, особенно поначалу, небогата событиями, и рассказать вам я могу, в сущности, совсем немного. Лишь одна история представляет интерес, да и то потому, что ее последствия, или даже, можно сказать, она сама, тянутся до сего дня.

Евгении Францевне Сталь следует отдать должное: кровь Неккеров сказалась и из нее получилась очень рачительная хозяйка. В середине XIX века, когда крупные помещичьи хозяйства в России были, как правило, заложены и перезаложены, почти не давали дохода, прибыль от ее имения, едва ли не единственного в губернии, постоянно росла, причем, что особенно свидетельствует в пользу Евгении Францевны, крестьяне, ей принадлежащие, считались в округе самыми зажиточными. Жила она очень замкнуто и уединенно, денег ей, в отличие от Парижа, тратить было почти не на что, и она большую часть того, что приносила земля, снова вкладывала в имение, с азартом занимаясь разного рода улучшениями. Имея в виду в будущем возить яблоки в Москву, она по берегу реки разбила два огромных сада, сажала леса, кажется, вообще первая за пределами Украины и Новороссии отдала всю барскую запашку под сахарную свеклу, выстроив рядом с полем маленький, но тоже приносящий изрядный доход сахарный завод. Барон Неккер не раз говорил своему господину Людовику XVII, что для того, чтобы подданные исправно платили подати, есть лишь одно средство — не мешать им на них зарабатывать. Евгения Францевна старательно следовала этому принципу, в числе прочих льгот давая своим крестьянам ссуды, и немалые, на развитие всяких промыслов. Сельская жизнь настолько ее увлекла, что она, вопреки первоначальным намерениям, проводила в имении и зиму, то есть жила в деревне круглый год, вовсе после того, как ей исполнилось двадцать четыре года, не бывая в столицах. Даже в Тамбов она наезжала от случая к случаю обыденкой и лишь во время ежегодных дворянских съездов проводила в городе неделю, а то и две.

До этого она выбиралась то в Москву, то в Петербург довольно часто, но всегда останавливалась в гостиницах под чужим именем, и хотя у нее случались весьма бурные романы, они остались в тайне и не скомпрометировали ее. По всем понятиям, она была чуть ли не лучшей невестой губернии: богата, молода, привлекательна, умна — и сначала сватались к ней много и настойчиво, но она всем отказывала, причем так решительно и определенно, что как бы сразу становилось ясно: она не хочет выходить не за тебя именно, а думает вообще остаться в девах. Первое время об этом немало сплетничали, но других поводов для пересудов не было, и говорить о ней скоро кончили, перестали ездить и женихи. Поскольку со всеми она была равна, уважительна, замуж в итоге так ни за кого и не вышла, отказы никого не обидели, и отношения ни с кем у нее испорчены не были. За ней лишь утвердилась репутация странной женщины, во всем прочем ее оставили в покое.

Жизнь довольно быстро подтвердила убеждение де Сталь, что если бы русские дворяне больше времени проводили в своих имениях, а не в Петербурге, земля по плодородию почвы и климату содержала бы их куда лучше, чем служба. С этой мыслью она даже дважды выступала в дворянском собрании, оба раза речи ее были встречены очень хорошо и чуть ли не всеми поддержаны, но результат это имело лишь один: за ней теперь уж окончательно утвердилась репутация женщины со странностями.

Правилу не покидать имения без крайней надобности она следовала неукоснительно, не уехала она никуда из своего Соснового Яра и во время эпидемии холеры, которая летом пятьдесят первого года охватила весь юг России, а к сентябрю докатилась и до Тамбова. Кажется, единственная из окрестных дворян. Не заперлась она и в доме, как поступили те, у кого не было денег сняться с насиженного места; довольная собственной смелостью, она продолжала ежедневно, как это и было у нее заведено, объезжать поместье, лично наблюдая за

всеми работами. Единственное, что она сделала, чтобы предохранить себя от болезни, это заказала с Осколе собственной конструкции весьма необычный портшез. Кроме деревянного низа, в котором для притока свежего воздуха просверлили множество мелких отверстий, все пять его прочих сторон, крепившиеся друг к другу на шарнирах, были изготовлены из очень красивого, травленного свинцом, богемского стекла. В этом стеклянном ящике — его носили четверо крестьян и сопровождал приказчик — она велела поставить обитую голубой тафтой кушетку, единственную вещь, которую купила еще во Франции, и теперь передвигалась, возлежа на ней в длинном кисейном платье, белой кружевной шляпке и в белых же бальных туфельках, которые она очень любила и которые ей очень шли. Чтобы уж наверняка себя обезопасить, она внутри ящика зажигала ароматические свечи. В ее деревнях и в соседних усадьбах этот удивительный паланкин стал известен всем буквально за один день и впечатление на всех, от господ до крестьян, произвел огромное, что ее очень забавляло и веселило.

Летом того же года она по другую сторону реки, уже в соседней Воронежской губернии, прикупила еще одну деревню, Соловку, вместе с деляной строевого леса и в конце сентября, когда бумаги были наконец оформлены, уже законной владелицей отправилась ее осматривать. Холера к тому времени улеглась, но она все равно решила ехать не в коляске, а в портшезе. Едва они по мосту перешли через реку, еще со спины она обратила внимание на молодого человека, который шел впереди. Она увидела его издалека и только потом сообразила, чем он привлек ее взгляд: одет он был явно по-господски, но повадкой и походкой напоминал скорее простолюдина. Это сразу бросалось в глаза. Чтобы проверить впечатление, она захотела посмотреть на его лицо, но он шел налегке и, как ее носильщики ни старались, догнать им его было трудно. В конце концов ей стало скучно гадать, кто же это, и она задремала.

Спала она сладко и, по всей видимости, долго, а потом неожиданно была разбужена шумом, бранью, но, главное, тем, что паланкин остановился. Еще не успев толком проснуться, она прямо перед собой увидела стоящего на коленях того самого юношу. Глядя на нее в упор, он попеременно то быстро-быстро крестился, то начинал яростно рыться в кошельке, успевая к тому же обороняться от приказчика, старавшегося столкнуть его с дороги. Зрелище это было до крайности забавное; на вид он был, как она и думала, совсем мальчик, и с первого взгляда было ясно, что на этой земле он себя прочно не чувствует. Лицо у него было милое и хорошее, и ей тут же пришла в голову мысль с этим мальчиком поговорить, может быть, даже взять с собой в новое имение. Но едва она открыла рот, чтобы подзвать его, он наконец нашел в своем кошельке то, что искал, и, как крестьяне ни пытались ему помешать, ловко положил на окантовку стекла копейку, после чего бросился бежать.

Увидев, что она проснулась, приказчик виноватым голосом принялся ей что-то объяснять, но она все никак не могла сообразить, что же произошло, и только потом ее вдруг осенило, что мальчик принял ее то ли за статую, то ли за живую Деву Марию. Сегодня в православных храмах как раз отмечали Богородицын день, и утром крестьяне приходили к барскому дому, чтобы поздравить ее с праздником, принесли по обычаю хлеб-соль, в ответ одарила их и она, теперь же ее саму приняли за Богородицу. Это было так невозможно смешно, что ее, Евгению Францевну Сталь, которую вся округа считала старой девой, теперь вот приняли за Деву Марию, что она, снова вспомнив, с какой решительностью и в то же время ужасом мальчик только что пожертвовал ей копейку, начала хохотать как ненормальная и все никак не могла успокоиться.

Потом крестьяне понесли портшез дальше, но ей после этой встречи хотелось сумасбродничать, делать глупости, и она не придумала ничего лучшего, чем заставить всех возвратиться обратно, искать свалившуюся монету. Утомилась она лишь тогда, когда в дорожной пыли копейка наконец была найдена и приказчик передал ей ее из рук в руки. В итоге до Соловки они добрались только в сумерках, осматривать что бы то ни было было поздно, да и надо сказать, что заниматься делами ей сегодня совсем не хотелось. Она лишь лениво отметила, что крестьянские избы плохи, многие даже покосились, службы полуразрушены, так что если бы она поехала в коляске, поставить на ночь лошадей было бы некуда, а господский дом каменный, что для здешних мест большая редкость, и, на первый взгляд, сохранился вполне сносно.

Дом был в два этажа, и она приказала постелить себе на втором, в маленькой угловой комнате, где был камин и ее легко и быстро можно было согреть; паланкин же, поскольку сарая нет, оставить на первом этаже в большой зале для приемов. Едва стало тепло, она сразу же легла. Однако доспать спокойно ей было не суждено и на этот раз. Под утро снизу послышались крики и ругань, все очень походило на ее утреннее приключение, и когда она, так никого и не дозвавшись, сама оделась и спустилась на первый этаж, еще не остывшие от схватки крестьяне сказали ей, что только что тот же самый человек дважды пытался проникнуть в дом и разбить ее портшез. Причем второй раз ему это едва не удалось, они поймали его уже в сенях, хотели связать, но он дрался как бесноватый, в конце концов вырвался и убежал. Она спросила их, не говорил ли незнакомец, чем портшез ему не угодил; они подтвердили, что да, говорил, вернее, все время кричал, что он уничтожит чары, разобьет хрустальный гроб и освободит Спящую царевну. Она знала эту сказку, и ей вдруг сделалось очень хорошо, что она теперь Спящая принцесса и он больше не принимает ее за Деву Марию. В той сказке, насколько она помнила, освободить принцессу и взять ее в жены должен был прекрасный принц, и она подумала, что такое сватовство было бы занятно, да и вообще к ней что-то уже давно никто не сватался. В последнее время она нередко жалела, что так напрочь всех отвадила. Не то чтобы она вдруг стала готова выйти замуж, просто она все больше скучала, все больше уставала от затворничества, а женихи были каким-никаким, а развлечением. Сельское хозяйство постепенно лишалось для нее новизны, становилось рутинной, и она отдавалась ему без прежнего рвения. Ей не хватало новых людей, новых впечатлений, и, пожалуй, впервые за две жизни пугали одиночество и старость.

И все же она тогда решила, что сама не сделает ничего, чтобы приваить к себе этого мальчика, который, повторяю, был мил и сразу ей понравился. Больше того, который придумал и дал ей в своей пьесе такую сказочную и романтическую роль; действие ее, к счастью, еще не завершено, в этом она была уверена и, может быть, поэтому не стала ничего предпринимать. В ней почему-то сразу было это понимание, что пьеса именно его и ей, во всяком случае в начале, не надо мешать ему, пытаться что-то изменить, а только слушаться и за ним следовать. И еще: она чувствовала, что во всей этой истории есть какой-то глубокий смысл и длиться она будет необычно, для пьесы просто несуразно долго, все время обрстая новыми линиями и поворотами, а для чего все задумано — и этому мальчику, и ей, и другим участникам станет ясно лишь в самом конце.

В своей новой деревне, назначая «дани и оброки», определяя порядок работ, которые необходимо будет сделать за осень и зиму, она раньше предполагала пробыть дней пять-шесть. Теперь же, после ночного происшествия, она подумала, что никто ее обратно в Сосновый Яр не тащит и, если надо, она может провести здесь и больший срок; словом, если этому мальчику необходимо время, она ни в коем случае его не торопит и не подгоняет. В общем, она всячески готова была ему помогать, но ничего этого не понадобилось. На следующую ночь он явился снова и на этот раз был хитрее. Зная, что вход стерегут, он попытался проникнуть в дом через окно, стал открывать ставни, но действовал неумело, шумно, крестьяне были настороже и легко его поймали. В конце концов они его отпустили, правда, сильно побив.

Наутро, узнав об этом, она накричала на старосту и строго приказала, что если набег еще раз повторится, не причинять этому человеку никакого вреда, а только поймать его, связать и, оставив в сенях, ей доложить; а потом от жалости к мальчику проплакала весь день. Три ночи прошли спокойно, он, очевидно, зализывал раны, в четвертую же попытка была повторена. Но и на этот раз все для него закончилось неудачей. К тому времени она уже знала, кто он. В здешних местах его печальная судьба была известна почти каждому. Отцом его был князь Павел Иванович Гагарин, а матерью — тоже дворянка, Елизавета Иванова, чьи родители владели по соседству совсем маленьким поместьем, вернее, просто хутором. Повенчаны Павел и Елизавета не были, и ребенок, следовательно, был незаконнорожденным. Поэтому отчество и фамилию он получил по имени своего крестного и звался Николай Федорович Федоров. Родной его отец умер очень рано, но пока были живы дед князь Иван Алексеевич, знаменитый сановник царствований Екатерины и Александра, и дядя мальчика, князь Константин Иванович, они не оставляли его своим покровительством. На их

деньги он учился в тамбовской гимназии, а потом прошел полкурса в одесском Ришельевском лицее. Теперь же, после их смерти, он остался совсем без средств и, кажется, единственное, на что может рассчитывать, это на место преподавателя в каком-нибудь уездном училище.

Когда староста ей доложил, что, как она и хотела, этот малый лежит связанным в сених, она снова отправила его к Федорову, велев убедить того, что время освобождать принцессу не пришло, чары еще чересчур сильны и, если он сейчас разобьет гроб, она неминуемо погибнет; сама она идти не решилась. Еще она сказала передать ему, что, согласись он, Федоров, кротко ждать часа, когда колдовство ослабнет, он может быть допущен к принцессе уже сегодня. Как только староста ушел, Евгения Францевна немедленно встала, надела то самое платье из кисеи, в котором он принял ее за Деву Марию, ту же шляпу и бальные туфельки и быстро спустилась вниз. По углам портшеза она зажгла четыре большие восковые свечи, еще четыре черные и тонкие ароматические свечи она зажгла внутри портшеза, словом, сделала по возможности как тогда и, убедившись, что все в порядке, легла на кушетку. Затем она опустила за собой крышку «гроба» и принялась ждать, когда староста кончит увещевать Федорова и пустит его к ней. Она знала, что и ее одежды, и свечи, изнутри и снаружи отражающиеся в хрустальном стекле, делают все очень красивым и таинственным, как и должно быть, совершенно сказочным, и радовалась, что он увидит ее именно такой и, что бы ни было дальше с ними обоими, именно такой запомнит. Наконец староста открыл перед ним двери, и он очень медленно, щурясь от ярких бликов света, подошел к ее гробу. Он опустился на колени, трижды перекрестил ее и поцеловал стекло там, где к нему ближе всего были ее глаза и губы. Потом он сел рядом.

Хотя веки Евгении Францевны были полуопущены, она все же впервые сумела его хорошо разглядеть. Конечно, он был уже не мальчик, но очень молод и чертами лица напомнил ей Рокка, с которым она была так счастлива. На мгновение она даже забыла, что перед ней не Рокка, и ей снова сделалось обидно и за него, и за себя, что она так и не родила от Рокка ребенка. В сущности, возможно, она тогда вспомнила о нем и не только из-за Федорова, в ней вообще в последние месяцы что-то стало меняться. Многое из того, что всегда представлялось ей второстепенным и малозначимым, теперь возвращалось, и всякий раз ей становилось грустно, что она в свое время это не увидела, не оценила, не поняла. Вернулось, в частности, немало людей, она привыкла слышать, что мадам де Сталь жадна до новых лиц, что она из тех, кому люди интересны, и думала, что здесь обид быть не должно, а оказалось, что невнимательна она была к очень многим. Сейчас ей было жаль и их, и себя.

И все же дело, наверное, было в этом мальчике, в Федорове, и не потому, что он был похож на Рокка или на кого-нибудь еще, тут было другое: с Федоровым, едва он появился в ее жизни, изменилось ее место, ее положение в мире, она вдруг увидела его совершенно иным. Она как бы и впрямь посмотрела на мир из гроба. Раньше в ней была бездна движения, бездна действия, она всегда была в центре каких-то интриг, авантур, заговоров, всегда была окружена людьми, которых или убеждала, или что-то им говорила, — то есть все шло от нее к ним, теперь же, когда он появился в ее жизни, она стала другой. Часами, боясь пошевелиться и испугать его, она лежала совершенно неподвижно, тело ее затекало, потом болело, но она, с детства не переносящая никакой боли, терпела все это безропотно. Она лежала и, полуприкрыв глаза, смотрела на этого мальчика; иногда, если он говорил, слушала его, правда, дикция у Федорова была плохая, да и стекло глушило голос, так что долго она почти ничего не понимала и лишь потом по его губам научилась разбирать, что же он говорит. И, конечно, она ни разу даже в ответ не сказала ему ни одного слова.

Так она лежала час за часом, не бодрствуя, однако и не засыпая, в странной полудреме. Время в ее мире было им как бы замедлено или даже вовсе остановлено. Он вообще все утишил и успокоил: ведь во время этих свиданий — и первого, когда он провел у нее целую ночь и ушел лишь под утро, она даже точно не знала, когда, потому что задремала, и дальше — не происходило вообще ничего. Едва ли не все время он сидел, просто сидел и смотрел на нее с какой-то невообразимой нежностью, часто в глазах у него она видела слезы, раза два он даже плакал, почему — она не знала. Иногда он начинал ей рассказывать про себя, даже когда она не слышала слов, она это понимала, потому что голос его

становился совсем грустным. Бывало, он просто что-то ей рассказывал, тогда он нередко увлеклся как ребенок, принимался размахивать руками, вскакивал, кричал, затем сразу осекался, словно это и впрямь было совершенно неуместно, снова садился и снова, не отрывая глаз, на нее смотрел и смотрел. К середине ночи он часто уставал и тогда ложился лицом на гроб, кладя голову там, где был ее живот, и тогда сквозь стекло через некоторое время она начинала чувствовать его тепло и тоже засыпала. Он приучил ее к неподвижности, терпению, смирению, в ней было чересчур много силы и движения, теперь это ушло, и сразу из прошлого к ней вернулись люди, которые были так же медленны, как и эти свидания, и которые раньше просто не успевали за ней. И за этих людей она тоже была ему благодарна.

В Соловке Федоров и Сталь виделись почти каждый день, потом через полмесяца, задержавшись там вдвое против того, на что рассчитывала, она вернулась обратно в Сосновый Яр и не удивилась, скорее приняла как должное, что он последовал за ней. Здесь все продолжалось снова: если он приходил, прислуга оставляла его одного, правда, теперь уже не в сенях, а в холле — в Сосновом Яре был большой настоящий господский дом, она спускалась, ложилась в гроб, и тогда его впускали к ней. Иногда, когда она чувствовала себя плохо или у нее не было желания быть с ним, ему говорили, что сейчас из-за наложенного на нее заклятья видеть ее нельзя, и он безропотно уходил. Он вообще был очень тих и послушен. Но случалось это довольно редко, он скоро, неожиданно скоро для нее стал частью ее жизни; наоборот, когда он сам по какой-то причине день или два не появлялся, она скучала, не знала, куда себя деть, к вечеру начинала за него бояться, мучила прислугу, почему его нет; когда же он наконец приходил, у нее отлегалось от сердца, сразу же становилось легко и хорошо.

Все-таки ей, наверное, в этой ее русской жизни очень не хватало любви, не хватало детей, а он был как ребенок — и в своих рассказах, и в сочувствии, которое он у нее вызывал, и слушала она его как ребенка, как свое порождение; жалела, любила его, скучала о нем она тоже как о своей части, плоть от плоти себя. Так продолжалось довольно долго, месяца два или три. До нее уже стали доходить пересуды окрестных помещиков, что вот она мучает, издевается над несчастным сумасшедшим. История эта вообще наделала в Тамбовском крае много шума, дошла даже до губернатора, возможно, именно из-за стеклянного гроба: всем это сооружение и то, что она притворяется мертвой, показалось верхом кощунства и цинизма.

По-видимому, эти разговоры на нее как-то подействовали, но вдруг она поняла, что больше не может спокойно слушать его признания в любви. Ей все труднее было видеть его только ребенком, ей уже все время приходилось уговаривать себя, что он ребенок, что он все равно что ребенок; особенно ей было тяжело, когда он ложился телом на стекло и его тепло, нагревая гроб, начинало доходить и до нее. Это была легчайшая ласка, как будто он ее едва касался, как будто он грел ее своим дыханием, дыханием своего тела; она забывала, что ее от него отделяет стекло, он как бы ложился на нее, она чувствовала, что он лежит на ней, и начинала его безумно хотеть. Она хотела его так, что тело ее уже не могло быть спокойно и двигалось под этим его теплом, он как бы растворял стекло, приближался к ней, ложился на нее, и она была готова расступиться, открыться для него, чтобы впустить его в себя.

Он засыпал, и тогда она, устав мучиться на своем ложе, приподнималась, сама прикасалась лбом к нагретому им стеклу, туда, где был его живот и его пах, где стекло было совсем горячо от его тела, и начинала тереться о него, доводя себя почти до иступления. Все в ней было теперь так обострено, что ночью, когда дом успокаивался и жизнь в нем замирала, даже горящие свечи не мешали ей различать его тепло, она умела различать его и словами, она говорила своей старой французской кормилице, что оно совсем другое, живое, очень мягкое, от него не надо держаться на расстоянии, потому что им нельзя обжечься и уколоться. Когда же свечи гасли, она чувствовала его тепло совершенно явственно, тепло шло от него волнами, и она считала их, как на море. Она знала, что Федоров тоже ее чувствует, и была благодарна ему — ночью, когда она лбом прижималась там, где у него был пах, она видела, как, отвечая ей, набухает его плоть, как она выпячивает его узкие штаны и он, пытаясь устроить ее удобнее,

начинает во сне что-то бормотать, ворочается, стонет и все никак не может успокоиться.

Довольно рано ей в голову начала приходить мысль, что для них обоих было бы хорошо, если бы она сделала его своим любовником, взяла на содержание или даже женила его на себе. Но тут было немало самого разного рода препятствий: она колебалась, не могла решиться. Она уже давно привыкла жить одна, ни от кого не завися и ни с кем не считаясь, привыкла дорожить своей репутацией, и пойти на то, что все это сразу будет разрушено, ей было нелегко. Кроме того, она ценила Федорова таким, каким он был, ей нравилось лежать под хрустальным стеклом, нравилось быть Спящей царевной, нравилось, что ее любили как Спящую царевну, она не хотела ничего из этого терять, то есть она была бы рада сделать его своим любовником, но чтобы осталось и то, что было в их отношениях раньше. Как он на нее смотрел, как с ней сидел, как она лежала под ним, лежала совсем рядом от него и все равно была для него недостижима и недоступна. Ей по-прежнему нравилось целомудрие их отношений, и как это совместить с тем, что он сделается вдруг ее любовником, она не знала. Не знала она и как он примет, что она перестала быть Спящей царевной.

Рассказывая о себе, Федоров не раз говорил ей, что он девственник, и она привыкла уважать, что у него никогда никого не было, в его понимании мира очень многое было построено на том, что он никогда не имел дела с женщинами и что она, которую он спасет и освободит от заклатья, воскресит для жизни, будет его первая женщина. Она и впрямь не знала, согласится ли он вообще стать ее любовником.

По внешности в их отношениях за эти несколько месяцев ничего, совсем ничего не изменилось, но с каждым днем, с каждой ночью она хотела его больше; он спал, а она, желая его, распалила себя до невменяемости, забыв про стекло, она билась о него, терлась, припадала к нему, дрожала, она все время была в каком-то истерическом состоянии, беспричинно плакала, даже днем не спала, почти ничего не ела. И вот, посреди этого бреда, всего боясь, — в ней никогда не было столько страха, — по-прежнему не готовая ни на что решиться, в то же время хорошо понимающая, что так продолжаться больше не может, иначе она сойдет с ума, она вдруг вспомнила, что кормилица недавно говорила ей, что в Тамбове открылась новая, очень хорошая аптека немца Шлихтинга, в которой продается какое-то редкое лекарство от простуды, сделанное на основе то ли морфия, то ли опиума.

О замечательных свойствах китайского опиума, о восточных опиумокурильных вообще, о том, что испытывает человек, принявший это снадобье, не однажды заходила речь еще в ее парижском салоне. Двое из ее знакомых тех лет, проводившие многие годы в Индии, вообще не могли без него жить; один из них, барон Орсер, печальный человек с желтым, почти китайским лицом, — он был из тех медленных людей, которых в последнее время она вспоминала все чаще, — как-то раз долго объяснял ее гостям, что счастье, полное, абсолютное счастье близко, рядом, и главное, оно легко достижимо. Нищие, голодные индусы умнее своих белых властителей и хорошо это понимают, целый день они готовы работать, но не ради еды, денег или власти; все, что им нужно, это трубка опиума, потому что, молот ты или дряхл, здоров или умираешь, достаточно одной трубки, чтобы в тело твое вошло блаженство, чтобы ты вернулся в рай, вернулся в то время, когда о грехопадении никто еще и не думал. Опиум как бы смывает со всего пыль, природа обветшала, потускнела, потеряла краски и свежесть, теперь это возвращается.

Сначала ты начинаешь различать запахи, потом в тебе обостряются и другие чувства, ты как бы снова ребенок, и Бог снова берет тебя к себе, берет в мир, каким он был в первый день творения: вокруг все цветет, все благоухает — и деревья, и травы, и цветы; ты не знаешь их имен, потому что ни у кого из них еще нет имени: тот день, когда Господь скажет тебе: «Как ты их назовешь, так и будет», — еще не пришел, но имена им и не нужны. Краски настолько яркие, выпуклы, как будто они существуют отдельно и вообще до всего, ничто ничего не забывает и ничему не мешает; ты различаешь все, из чего состоит мир, и не только вовне, но и воздух, который в твоих легких, каждую каплю крови, которая ходит по твоим жилам, каждую свою мышцу и каждый мускул, ты тоже пока еще нов и чист, тоже перворожденный и безгрешный. Но за все приходится платить: пробуждение, возвращение в наш мир настолько страшно и так быстро,

боль, — а болит каждая клетка твоего тела, каждый твой хрящик и косточка, кажется, что все в тебе растоптано, сломано, разорвано, — и огромность утраты так в тебе велики, ведь ничего еще не успело притупиться, ты ни к чему еще не привык и ни с чем не смирился, ничего не забыл; так же, наверное, чувствовал себя Адам сразу после грехопадения. Утешает одно: в этот рай нетрудно вернуться.

«Курильщик опиума, — говорил этот человек, — никогда не скажет вам, дарит ли ему трубка лишь приятные сновидения, и тогда цена, наверное, чересчур высока, или и вправду опиум делает все таким, каким оно и было создано Богом, я и сам до сих пор этого не знаю. Иногда я уверен, что это явь, назавтра же снова склоняюсь к тому, что я просто спал. Во всяком случае, когда я курю трубку и со мной заговаривают, я слышу, понимаю, отвечаю вполне впопад, но это так вплетено в сновидения, так неотделимо от них, что, очнувшись, я все помню как сон».

Таков был этот давний рассказ Орсера, после него она видела барона лишь несколько раз, скоро он уехал из Парижа в Овернь, в свое поместье, и там, по слухам, через месяц умер. Теперь вместе со Шлихтингом и его аптекой все это пришло ей на память; сначала она пожалела Орсера, что мало обращала на него внимания, а потом сразу, без перехода подумала, что можно было бы и Федорову давать небольшое количество опиума, он наверняка никогда еще не имел с ним дела, значит, привычки к нему в нем нет и этой небольшой безвредной дозы — она бы ни за что не хотела причинить Федорову зло — будет совершенно достаточно, чтобы его усыпить. Тогда так, спящим, он и станет ее любовником. Ей очень понравилось и показалось забавным, что он мечтает о ней, будет ею обладать, то есть мечта его исполнится, но он никогда об этом не узнает. Даже помимо того, что благодаря опиуму она наконец перестанет мучить и себя и его, идея сама по себе была очень хороша; она подумала, что раньше она бы с радостью, даже с вожделием написала такой роман. Сюжет, начиная с их первой встречи, был строг и странен, но в нем было скрыто очень много силы и жизни, она чувствовала эту жизнь, и соединено все тоже было на редкость естественно, а главное, она знала, что в этой истории и дальше будет мало случайного, наоборот, она сможет длиться, развиваться, расти сама, возможно, даже уже без ее и Федорова участия. Конец, чем это может кончиться, она не знала, она могла проследить сюжет довольно далеко, была уверена, что он нигде не сыплется и не разрушается, пожалуй, даже наоборот, становится все устойчивее, все прочнее, стоит на ногах, однако финала — это с ней было впервые — она не видела.

В ней всегда, что бы она ни делала, было чувство собственной правоты, ей не надо было искать никаких оправданий, и все-таки ей показалось вдруг приятным сделаться героиней какого-то загадочного русского романа, стать такой же невольницей сюжета, как и те персонажи, которых писала она сама. С недавних пор, Федоров лишь это подчеркнул, в ней было все больше фатализма; власть не только над миром, но и над своей собственной жизнью, даже над самой собой, ускользала, утекала из ее рук, но она не печалилась об этом, она вообще становилась другой, она вдруг открыла, как хорошо ни за что не бороться и ни за что не отвечать, признать наконец, что твоя судьба расписана с начала до конца и незачем, глупо пытаться свернуть в сторону; в ней появилась умиротворенность, она во всем: и в походке, и в жестах, и даже в речи стала спокойнее, она любила думать, что раз действительно все так и ничего сделать нельзя, значит, она невинна и безгрешна или виновата очень-очень мало, а это была щедрая компенсация за смирение.

На следующее утро она послала свою старую гувернантку в Тамбов, дала ей коляску, чтобы она быстрее обернулась, но, получив в руки лекарство, неизвестно почему стала медлить и ни в первый, ни во второй день так и не дала его Федорову. В ней был какой-то неясный страх, она вдруг стала бояться Федорова, бояться своей связи с ним. Дважды за неделю, в дни, когда ей было совсем невмоготу, она даже не велела кормилице его пускать, что в последнее время не случалось ни разу; вообще его визиты теперь, когда у нее появился опиум, доставляли ей куда меньше радости, она была напряжена, холодна, никак не могла заснуть, и ожидание утра, когда он уходил, превратилось в пытку. По-видимому, это было естественно; сейчас, когда их отношения должны были

совершенно измениться, она понимала, что не хочет этих изменений и даже была бы рада, если бы их роман сам собой исчерпался.

Но назавтра она снова его хотела, снова не могла без него жить и его дожидаться, говорила себе, что это ее обычная бабья тревога, обычные нервы, то, что с ней бывает всегда и перед тем, как она начинает большую работу, потому что никогда не знаешь, получится она у тебя или нет, и перед долгой связью, потому что жизнь делается совсем другой, а во благо ли это — кто скажет. И все-таки даже в дни, когда она любила Федорова, как раньше, страх не уходил; впервые ей предстояло войти в колею, которая она не знала куда ведет и из которой выйти, она чувствовала это, она уже не сможет. Она привыкла быть хозяйкой своей жизни, из-за этого она в России так и не вышла замуж, теперь же от всего этого ей предстояло отказаться. Наоборот, вступить в дело, о котором ей ничего не известно и в котором она не властна. То, что она передумала в последние годы, усталость, которой в ней было все больше, частью ее уже подготовили, и все-таки ей было очень нелегко принять и согласиться на эти условия. Недели две она колебалась, тянула, за это время дважды испробовала опиум на себе, правда, принимала его очень немного, но и такой дозы ей хватило, чтобы убедиться, что Орсер мало что преувеличивал. Потом, вроде бы уже совсем решившись, она никак не могла придумать, как сделать так, чтобы Федоров выпил опиум и это выглядело бы для всех естественно, и главное, он ничего бы не заподозрил. У нее был быстрый ум, она любила и умела изобретать, а здесь все, что ни приходило ей в голову, она сама же отвергала: то ее не устраивало одно, то другое. Наконец она сообразила, что надо просто подмешивать опиум в свечи, которые она ставит на крышку гроба, тогда пьянеть и засыпать Федоров будет медленно, почти как всегда, и ничего не заметит.

Наверное, это был действительно лучший выход. Чтобы они выглядели по-фабричному и Федоров ничего не заметил, в городе она приказала закупить разные формы для отливки свечей, все, какие есть, но когда их привезли, они ей не понравились, и в итоге она велела своему собственному столяру вырезать новые формы, почему — она и себе не могла объяснить, в виде колокольной Ивана Великого: в гостиной у нее висела гравюра с этой колокольной, так что образец у столяра был. Теперь, ожидая Федорова, она весь день плавала в глубоком блюде покупные свечи, смешивала воск с каплями опиума, заливала все это в формы, а потом садилась рядом и не отходила, пока они совсем не застывали. Часто она не выдерживала, воск твердел очень медленно, она открывала форму, он был еще теплый и как живой, когда она нажимала, немного подавался под ее пальцами. Она брала свечу в руки, гладила, ласкала; покупала она дорогие, хорошо пахнущие сорта, запах возбуждал ее, ей хотелось прикоснуться губами, поцеловать эту только что отлитую ею колокольную, но она, боясь испортить, сдерживала себя и клала заготовку обратно в форму.

Потом был день, когда она поняла, что отступать ей больше некуда, еще за несколько часов до прихода Федорова она сама в головах и в ногах укрепила на своем хрустальном ложе опиумные свечи, затем, как обычно, легла в него, сказав горничной, чтобы та зажгла их не сейчас — она хочет побыть одна в темноте, а когда Федоров будет уже в доме. Впервые она ложилась в гроб задолго до Федорова, ей надо было попрощаться с этой наивной и чистой историей, в которой все было так красиво: и свечи, и хрусталь, и сказка, которую они разыграли, и хотя она обманывала его с самого первого дня, его чистота, конечно же, оправдала и обелила их обоих. Ни за что в эти два месяца ей не было стыдно, и не было в ней ничего кроме благодарности ему. Теперь все должно было измениться, она знала, что с сегодняшней ночи она и ее грех переселят его, он делается ее игрушкой — и только. Ей было обидно, что она такая плохая, дурная женщина, что он не сумел ее исправить, хотя бы сделать лучше, что ей мало было его чистоты и невинности, мало той любви и преданности, что он ей дал, что в ней столько похоти. Это не было ни самобичеванием, ни раскаяньем, она все про себя понимала и просто просталась с тем, что было.

В тот вечер Федоров пришел в свое обычное время, часа через два после того, как стемнело, и вообще все было как обычно, так что она даже огорчилась и за него, и за себя, что в нем нет никакого беспокойства, никакого предчувствия, то есть он не слышит ее, не видит, что она сегодня совсем другая. Он сидел, рассказывал ей о своем детстве, кажется, даже то, что она уже слышала, но ей было трудно сосредоточиться; заснул он очень быстро и как-то разом, опиум

оборвал его на полуслове. Для верности она еще немножко подождала, потом осторожно выбралась наружу и вдруг, развеселившись, смеясь, как девочка, побежала в туалетную комнату, где горничная уже налила ей ванну.

Потом, когда умягченная и свежая она лежала в постели, кормилица к ней в спальню привела Федорова. Из-за опиума ноги его цеплялись друг за друга, сам он цеплялся за кормилицу и выглядел совсем по-детски — мило и неуклюже. Ей нестерпимо захотелось взять его в постель, но не как мужчину, а как ребенка, согреть, приласкать, дать грудь. Кормилица, одной рукой поддерживая его, чтобы не упал, другой начала его раздевать, де Сталь подумала, что надо встать и помочь ей, но осталась лежать. Федоров был невелик ростом, но сложен довольно изящно, и ей было приятно смотреть, как он появляется из своих грубых, сшитых по большей части деревенскими портными одежд. Наконец кормилица довела Федорова до ее постели и ушла.

Сначала де Сталь лежала с ним рядом, грела своим бедром и не трогала, потом она, будто что-то вспомнив, и вправду начала играть с ним так, как будто он был ее сыном; просунув под него руки, стала тихонько напевать, укачивать, затем дала грудь. Он в самом деле стал ее сосать, напрягся, зачмокал, но грудь была пуста, он отвернулся и обиженно заплакал. Тогда она поняла, что его детство кончилось, как и ее молоко, и больше она не должна быть ему матерью — только женой. Она захотела его, все, что скопилось в ней за два месяца воздержания, за два месяца этой пытки, когда она лежала под ним в стеклянном ящике и только ловила его тепло, все это сделало ее нетерпеливой и резкой, она теперь ласкала его плоть чересчур страстно, пугая ее. Та была неумела, не всегда отвечала ей сразу и впопад, де Сталь злилась, руки ее становились грубы, жестки; все-таки он вошел в нее.

В первую их ночь сам, без нее, он, конечно, ничего не мог, но скоро де Сталь успокоилась и сумела к нему приспособиться, как бы ни был он неуклюж, в нем было много природной силы, и в итоге она осталась им очень довольна, ни о чем больше не жалела. И на душе и в теле все в ней теперь было легко, она очень хотела есть, решила, что к завтраку прикажет подать себе бутылку шампанского, а потом поедет в коляске кататься. Под утро пришла кормилица, чтобы одеть Федорова. Де Сталь стала помогать ей, обтирать его губкой, ей было важно, чтобы на нем не осталось никаких ее следов, даже ее запаха; днем без нее он должен был быть таким же, как раньше, ему не должно было приходиться в голову, что ночь с ней — это не сон. Ей очень понравилось гладить его так, не рукой, а губкой, она возбудилась, снова его захотела, но было поздно, вот-вот он мог проснуться, и она с сожалением дала увести его вниз. В зале кормилица положила его на гроб, положила так, как он обычно засыпал, — локоть подоткнут под голову. Сама она забралась на свое обычное место и сразу же крепко заснула, даже не слышала, как он встал и ушел.

И все-таки что-то в нем оставалось, пусть не мозг, но тело его точно ее помнило, потому что с каждой ночью, что он провел у нее, он становился более умелым; если раньше, как я уже говорил, в постели он был суший ребенок и она все делала за него, всякий раз чувствовала, что совращает его, смотрела на него, как на игрушку, то теперь он как какой-то сказочный богатырь — вчера был мальчик, а сегодня обернулся мужчиной. Он научился брать ее, владеть ею, ее хотеть и ею наслаждаться, причем это произошло так быстро, что иногда ей казалось, что она притворяется, что спит и ничего не помнит. И она, которая раньше сама им владела, тоже вдруг почувствовала себя с ним женщиной, тоже научилась ему отдаваться, покоиться в его руках, быть его. Раньше он сидел рядом с гробом, храня и оберегая ее, он был на посту и падал, лишь засыпая от изнеможения. Федоров был ее рыцарь, ее жених, пришедший, чтобы разрушить злые чары, пришедший спасти. Она не была его, он не имел на нее никаких прав, он даже не мог подумать о ней, что она — его, скорее она принадлежала сейчас старухе-колдунье, и только его подвиг, только если он победит колдунью и разрушит чары, даст ему на нее права, так он и смотрел на нее.

Теперь же в его взгляде де Сталь чаще и чаще ловила, что когда-то давно он уже владел ею, но потом потерял, гроб разделил их, но придет время, и они снова будут вместе. Она видела, что он смотрит на нее не как на невесту, а как на жену. В его глазах осталось совсем мало жадности подвига, так забавлявшей ее, готовности сразу же со всеми силами тьмы, других возвышенных стремлений; с той ночи она видела, что он просто хочет ее, он, наверное, и сам замечал, что смотрит

на нее как-то не так, смущался, непрерывно краснел, и еще, когда он засыпал, плоть его поднималась сразу, то есть он все время хотел ее; она даже заметила, что он теперь засыпал вовсе не от усталости, он торопил сон, сон был его радостью, потому что во сне он соединялся с ней. Мозг с каждым днем больше и больше уступал его телу, уступал ради того, чтобы он мог владеть ею, де Сталь. Ей было очень приятно наблюдать в нем эту борьбу, теперь иногда даже наяву плоть его набухала, вздымалась, и она едва сдерживала себя, чтобы не расхохотаться, глядя, как он стесняется этого и пытается прикрыть то рукой, то полкой сюртука.

Час или два, пока он не засыпал, они по внешности проводили так же, как раньше, оба они были теперь другими, то, что было между ними, тоже было совсем другим, но они обманывали себя и друг друга, как только могли. По-прежнему он сидел рядом с ней, что-то ей рассказывал, а она лежала совершенно неподвижно, оставив в закрытых глазах лишь незаметную щелку, через которую он был ей виден. Первые дни после того, как Федоров стал ее любовником, были для нее очень счастливыми, она вдруг поняла, что до него никогда и ни с кем по-настоящему не чувствовала себя женщиной, она всегда подозревала, что и Талейрана, и Барраса, и Констанана, прочих ее любовников и мужей влекло к ней разнообразие ее талантов, ее ум, то, что ни о ком в свете не говорили больше, чем о ней, и, конечно, иметь ее любовницей было очень приятно; еще больше ее пугало старое подозрение, что в ней, в самом ее нутре, там, где она зачинала и вынашивала, находится источник власти, и люди, жаждущие власти, чуждые ее, как голодный, припадают, в сущности, к нему, а не к ней. Все это касалось даже Рокка, которого она так любила. Федоров же был чист, ему даже не надо было оправдываться, он был вне подозрений, и то, что он ее полюбил, то, что сейчас он, стесняясь и пряча свою вставшую плоть, то и дело смотрел на нее как на любовницу, как на женщину, с которой уже спал и которую хочет еще, свидетельствовало, что изнутри она самая обыкновенная баба и что она прекрасна, любима, желанна как самая обыкновенная баба.

Но дар, который он ей принес, был недолговечен, недели через три она вдруг отметила, что говорит он уже не так, как прежде, пока еще в его словах не было ничего нового, изменился лишь темп речи, немного по-другому он стал ставить акценты и ударения, но она уже знала, что это только прелюдия. Она не была этим испугана или подавлена, может быть, лишь в первый день — до этого она благословляла опиум, из-за которого мозг его, когда он был с ней, спал, — теперь же она приняла как должное, что в ней ему оказалось доступно все, не только ее плоть; она приняла это как данность, пожалуй, она даже была к этому готова и потому смирилась так быстро.

Из-за этих трех недель счастья в ней тогда было очень много готовности прощать всех и вся, в первую очередь, конечно, его, она и потом никогда не забывала, что эти недели дал ей именно он. Нового в том, что он говорил ей, с каждым днем становилось все больше, он как бы предчувствовал, что скоро она родит ему сына и он сделается отцом, говорил очень по-взрослому, иногда, как ей казалось, даже нарочито. Мысли и ощущения, которые в нем раньше были совершенно неясными и неопределенными, теперь под ее влиянием оформлялись, приобретали стройность, собственная база в нем была, здесь нет сомнений, и сначала она просто ему помогала: он брал из нее только инструментарий для огранки своих идей, для сведения их в систему — и все. Но скоро он убедился, что мир его неполон и некоторые лакуны он сам заполнить не может, и тогда легко, без тени сомнения в своем праве, стал находить и заимствовать из нее целые куски жизни. Однако надо отдать Федорову должное: в отличие от большинства ее французских любовников, свято веривших в ее гений и никогда не дерзавших что-либо менять — из-за этого они настолько грубо и, в общем, на живую нитку соединяли ее и себя, что ей всегда себя было жалко, — он все окрашивал в свой цвет. То есть он никогда не соглашался быть простым копиистом, послушным ее учеником, наоборот, беря из нее то, что ему было нужно для очень жесткой конструкции, которую возводил и в конце концов на исходе их совместной жизни, то есть через пять лет, возвел, — какие-то элементы этой конструкции были рождены ревностью, борьбой с ней и с ее миром, другие борьбой за нее, но все замешано на его собственной совершенно иступленной вере, он ей самой не оставлял и капли свободы. Обычно де Сталь было ясно, что откуда идет, в другой раз то, что он брал в ней, так странно им переплеталось, что она сама не могла разобраться и только догадывалась, что за чем стоит. В общем

ей всегда было с ним интересно, иногда она почти с восторгом следила за тем, что он с ней делает. Его ревность особенно поражала ее.

Познав ее как женщину, он одновременно познал всю ее прошлую жизнь и всю ее возненавидел. Спящая царевна, она была суждена и предназначена ему и только ему, он должен был разрушить злые чары, пробудить ее, она должна была воскреснуть и стать его. Он приходил к ней, сидел возле ее гроба, потому что она была его, он верил, что он, Федоров, не когда-нибудь, а скоро, может быть, завтра, как Христос Лазарю, скажет ей: встань и иди, и, как Лазарь за Христом, она пойдет за ним. Теперь он узнал, что раньше она уже была чья-то, то есть была ему неверна, и он проклял все то время, когда она была не его, все то, что ее совратило. То, что тогда было вокруг нее, чем она жила, что знала, ценила, любила, — все это был мир греха, и он не имел права на существование. У него был очень сильный и последовательный ум, на мир он смотрел почти математически, он не понимал компромиссов и не был склонен заниматься самообманом, но раньше, до нее, ему не хватало опыта и знания жизни, чтобы наконец найти четкий и однозначный ответ — почему?

Почему так страшен и греховен наш мир?

Путь его к этому ответу был очень медленен и занял много лет, так что я, — говорил Ифраимов, — искусственно здесь все сжимаю, но что-то он разглядел, конечно, сразу. Картина греха, которую он в ней нашел, поразила его, грех проники во все, все было им заражено, и Федоров понял, что никакое исправление жизни невозможно, это иллюзия, самообман, все должно быть вырезано, удалено, как раковая опухоль. В сущности, это было прощением ее, он понял, он впервые понял силу греха, понял, что противостоять ему она не могла. Шаг за шагом все было рассмотрено им и признано виновным, от отверг не только балы, рауты, салоны, театр, рестораны, которые она так любила, это было лишь завершение цепочки, но и модисток, портних, вообще все эти бесконечные мануфактуры, производящие шелка и батист, бархат и кисею, он отверг гобелены, фарфор, резную мебель, картины, поваров, священнодействующих на кухне, и тонкие вина, все отношения, которые связывали ее с людьми, ее первый брак с бароном де Сталь и второй, когда она вышла за Рокка, тоже были греховны, и дети, рожденные в этих браках, тоже были рождены в грехе и для греха, и он отверг семью, отверг деторождение; в первую очередь в нем, в деторождении, он увидел корень того, что грех растет и множится, этот грех, этот потоп греха во что бы то ни стало надо было остановить, положить ему предел, человек размножал не себя, а зло, человек плодил не себе подобных, а порок.

Образ Божий, по которому человек был создан, давно уже в нем стерся, он, Федоров, как ни старался, вообще больше не видел Его, а только дьявольскую гримасу. Слушая его, она часто думала, что он замечательная иллюстрация слов Христа: «Спасешься верою», — его вера и его жизнь были так равно чисты и искренни, что ей периодами приходило в голову, что он как бы считал себя совершеннее Бога, во всяком случае, он не боялся, был готов к тому, что его учение явно идет против Бога. То есть людям, когда они праведны, Бог, создавший мир, в котором есть зло и смерть и зла этого становится больше и больше, этот Бог должен казаться несовершенным, и здесь нет гордыни, такие люди не могут и не должны мочь принять никакую несправедливость, из-за этого они очень рано уходят от Господа, начинают Его не понимать. Почему мир был создан именно таким, почему, зачем было оставлено место для зла, все это кажется им результатом очень странной, очень сомнительной сделки, в отношении человека она точно нечестна, он, конечно же, ее жертва. Если Господь просто ставил опыт — что сильнее, добро или зло, человек жертва и тогда: в Его, Господнем, мире зло явно сильнее, человек был создан Им так, что противостоять злу он не в силах. Федоров был убежден и говорил это Сталь, что мир должен быть изменен разом и навсегда; для того, чтобы длить страдания дальше, не может быть никаких оправданий, мир уже завтра, а это лишь начало, следует радикально упростить, сделать ясным и определенным, большинство бед человека связано именно со сложностью мира, он все время путается, все время теряется, ничего и никак не может понять, ни в чем разобраться, зло он творит по неведению, без умысла.

Две вещи Федоров признал за особенное коварство Господа — то, что человека Он создал по Своему образу и подобию, тем самым как бы подчеркнув соразмерность человека Себе, внушив ему, что каждый, каждая живая челове-

ческая душа важна для Него так же, как весь мир, как вся Вселенная. Он внушил человеку, что в деле спасения ему нет нужды искать помощи себе подобных, зачем, когда у него есть Он, Бог, только его собственное нравственное совершенствование, только его собственный путь от зла к добру, путь к Богу воскресят его. Господь столько взвалил на слабые человеческие плечи, плечи человека, который всю жизнь, выбиваясь из сил, должен был в поте лица своего, как Сам же Господь ему предназначил, добывать хлеб насущный и даже детей своих, свою плоть и кровь, рожать в муках; человек, конечно же, не был готов, не мог вынести этого разговора с Господом на равных, он чересчур устал, жизнь его была безнадежна и беспросветна, лямку он еще как бы по привычке тянул, что же до Бога, человек был грязен, неучен, терялся, если что было не так, и, конечно, Господа, который судил ему эту жизнь, он мог только бояться. Ведь даже Моисей, чтобы не ослепнуть, должен был говорить с Богом, отвернув от Него свое лицо, — Моисей, праведный из праведных, столь часто с Богом говоривший, столь Богом любимый.

Господь говорил человеку, что тот должен и может обращаться к Нему всегда, что Он всегда его услышит и придет на помощь, если то, что хочет человек, праведно, но разве Он всегда приходил? Сколько горя, сколько смертей, сколько невинно убиенных; человек боялся обращаться к Богу, Бог был чересчур грозен, чересчур велик и страшен во гневе, Он готов был и один раз уже разорил все, что было Им Самим построено, разве отец стал бы наводить потоп на свой дом только потому, что его собственные дети выросли не такими, как он хотел? Нет, Он был им не отец, а Господин, и они всегда смотрели на Него не как на отца, их породившего, а как на своего Хозяина, который вправе пустить по миру, разметать, а то, опалившись гневом, и вовсе стереть с лица земли. Все они были дети Адама, одна кровь, братья, но Он, когда они принялись согласно и дружно строить Вавилонскую башню, не успокоился, пока не разделил их, пока не сделал их друг другу чужими, а чужих — таким его создал Он Сам — человек всегда боялся, всегда считал врагами, готов был чужого убить, растерзать. С тех пор ни один из них другого никогда уже не понимал, каждый стал себялюбцем, эгоистом, думающим лишь о себе; разве так должен был поступить отец со своими родными детьми?

Когда Федоров это ей говорил, она, отвлекшись от его слов, вдруг подумала, что он, судя по всему, до сих пор страстно верит в Бога и в то же время он уже начал ненавидеть Его, он уже перешел свою меру страданий и больше прощать был не готов, и сразу ей пришло в голову, что атеизм — это очень горькая попытка оправдания и прощения Бога, Он невиновен ни в каких страданиях человека, поэтому что Его просто нет, люди отказываются от Бога, чтобы снять с Него вину.

«О,— продолжал Федоров,— смешение языков — далеко не первая и даже не самая страшная Его хитрость. Господь шел на все, только бы не дать человеку найти дорогу в Рай, вернуться туда. Зачем,— спрашивал он ее,— мир был создан таким несообразно сложным, зачем эти мириады растений, зверей, птиц, гадов, наконец, насекомых? Какое это имеет отношение к поиску добра? Нет, все это придумано только для того, чтобы сбить человека с толку, чтобы человек, как в лабиринте, потерял путь и не смог выбраться наружу. А Каин? Ведь и он убил Авеля потому, что не знал, какая жертва угодна Богу, Господь Сам заповедал людям обрабатывать землю, а Каинову жертву, первые плоды трудов его, не принял. Но человек,— говорил Федоров,— недолго плутал и недолго был дитем неразумным, он успел вкусить от Древа познания добра и зла и успел полюбить добро, и вот, когда Господь понял, что человек все равно найдет дорогу в Рай, поколение строителей Вавилонской башни уже нашло, Он стал сокращать время жизни человека на земле; если праотцы жили по многу сотен лет, это и было нормальным сроком человеческой жизни, то мы редко когда живем по пятьдесят: не успеет кончиться детство, не успеет человек понять, разобраться, что добро, а что зло и ступить на дорогу праведных, а смерть уже тут как тут».

Федоров мечтал о совсем простой и понятной жизни, в сущности, он хотел, чтобы люди, чем бы они ни занимались — прокладкой железных дорог, производством машин или земледелием,— сделались солдатами; жизнь солдат, само устройство армии, все это казалось ему правильным, почти совершенным; во всяком случае, здесь был шанс на спасение,— это были бы обычные армии,

только назывались бы они трудовыми, а так весь механизм их жизни был бы тот же самый.

Сталь знала, что эта идея отнюдь не просто абстрактные мечтания, у Федорова был образец, в России еще до сих пор существовали созданные после победы над Наполеоном военные поселения, где крестьяне жили именно так. Подобную деревню, или, вернее, полк, она сама видела несколько лет назад под Новгородом, ее возил туда как бы на экскурсию граф Строганов, большой поклонник и ее, и этих поселений. Деревня ей тоже понравилась: все было очень чисто и ухожено, даже разбиты клумбы цветов; дети, в любом месте России оборванные, грязные, нечесанные, здесь были одеты в аккуратную, сшитую по мерке военную форму, и хотя им было всего семь-восемь лет, маршировали они с выправкой и удалью гвардейского полка. Не было тут и курных перекошенных изб, Строганов объяснил ей, что как только деревня становится военным поселением, старые избы сразу же сносятся, а на их месте вокруг большого квадратного плаца ставятся, замыкая его, бараки-«связи», разделенные на одинаковые ячейки, каждой крестьянской семье — своя.

На этом плацу, когда в полевых работах перерыв, солдаты-крестьяне маршируют, разучивают разные артикулы, словом, осваивают военную науку. В деревне нет ни пьянства, ни столь привычных для русских расхлябанности и разгильдяйства, все подтянуто, во всем порядок. В штабе полка разработаны планы учений и сельхозработ на каждый день года, так что каждый знает, что и когда он должен делать. Утром по команде офицера горнист играет зарю, они встают, затапливают печи, потом построение, и с плаца колоннами под музыку они идут в поле. Когда же работы закончены, опять колоннами — обратно, в деревню, дальше еда, оправка и по сигналу горниста — отбой. Крестьянский труд и труд воина соединены, слиты в их жизни, в итоге из военных поселян получаются едва ли не лучшие солдаты в русской армии, кроме того, это армия, которая сама себя кормит.

Страсть Строганова к военным поселениям ей тогда показалась вполне естественной, тем более, что эти деревни, как я уже говорил, и ей понравились, к тому времени она давно научилась смотреть на все, связанное с армией, глазами русских. Но она помнила, что в первый свой приезд в Петербург, это было еще в 1809 году, была поражена восторгом и вниманием, с каким русские наблюдали за парадом, и записала в дневнике, что в этой огромной бескрайней стране, где каждый сам по себе бредет по жизни, часто без цели, без смысла, и только страх затеряться, заблудиться, пропасть соединяет их всех, согласное и точное, легко послушное любой команде движение сотен и тысяч людей должно казаться верхом совершенства.

«Армия, — говорил Федоров, склонившись над ее гробом, — последний шанс сделать так, чтобы человек отказался от своей неродственности, от своего небратства, от неравенства, от убеждения, что все ему чужие и он другой; в армии, — говорил он, — все справедливо и честно, в ней нет незаконнорожденных. Сила армии в том, что она не дает поблажек себялюбию человека, и как он стоит, и как двигается, и как одет — во всем он такой же, как остальные». Если бы она видела, как счастливы новобранцы, когда после многих-многих месяцев муштры и учения из них вместе с потом выйдет все то, чем Господь разделял их; вдруг они видят, что стали как бы одним человеком, не множеством разных, не похожих друг на друга людей, а одним существом, что они сошлись так тесно, что между ними не осталось и зазора, даже не скажешь, где одного сменяет другой, тогда-то они строем, печатая шаг, пройдут наконец по плацу как надо. Каждый из них теперь взвод, рота, батальон, бригада, корпус, дивизия, армия, и каждый из них ликует, потому что ему больше никогда не придется говорить с Господом один на один, он будет говорить с Ним только так, взводом, ротой, батальоном, бригадой, корпусом, дивизией, армией. Теперь они наконец поняли, что не одиноки в мире, что никто из них ни за что больше не отвечает, ты просто должен быть как все, и тогда ты всегда будешь прав и, что бы ни сделал, вины на тебе нет.

Даже на войне, где устав разрешает им идти не парадным строем, а врассыпную, они продолжают помнить, что их жизнь — только часть общей жизни, что одна, сама по себе, что бы ни говорил Господь, она ничего не стоит; и пусть даже пуля сразила тебя, ты жив и оправдан, если твоя армия победила. И за это вновь обретенное братство они готовы умереть.

Федоров думал, что армия упрощенных и уравненных людей сама поймет, что мир таким сложным, каким он был создан Богом, даже если он и вправду прекрасен, ей не нужен, что он ей мешает, и тогда люди совместным трудом всего за несколько лет сроят горы и возвышенности, засыпят болота, впадины, низины, превратят реки в прямые, ровные каналы и повернут их течения, так что они потекут туда, куда надо человеку, а не туда, куда направил их Он. Они сделают множество дамб и искусственных прудов, и им больше не надо будет молить Бога о спасительном дожде, воды всегда будет вдоволь, а то зимой и ранней весной, когда земля спит, реки разливаются, а летом, когда земля иссыхает, губя урожай, совсем мелеют. Человек вырубит леса и превратит их в пашню, оросит пустыни и тоже сделает из них пашню, и вот, когда вся земля станет одним огромным ровным полем и уже никто не будет голодать, никто изо дня в день не будет думать лишь о хлебе насущном, человек сможет заняться главным делом — делом воскрешения своего рода, высоким делом преобразования земного, смертного по своей природе мира в мир без смерти — Царствие Небесное.

Федоров не был бесплодным мечтателем, ум его был практичен и точен, он понимал, что всего этого сразу не достигнешь, и де Сталь довольно рано начала догадываться, что орудием своих преобразований он на первом этапе предназначил стать ей. Он решил пропустить жизнь через нее как через фильтр и отсеять все, что окажется ей созвучно, все, что она пожалеет, захочет удержать. В его новом мире могло быть сохранено лишь то, что было ей безразлично, чего она не знала и на что никогда не обращала внимания: простая крестьянская, лучше домотканая одежда, такая же простая, без изысков еда, орудия труда, нужные, чтобы это произвести, и, в общем, пожалуй, все. Деревни Федоров пока был готов оставить — жизнь в них была проста, добро и зло здесь было нетрудно отделить друг от друга, — но не города. Из-за нее он возненавидел города, он кричал ей, что это отвратительные, чудовищные паутины: улицы, дворы, дома — все до края наполнено пороком и, как Содом и Гоморра, должно быть уничтожено.

Идея спасения и воскрешения человеческого рода, каждого человека, когда-либо жившего на земле, без изъятия, была самой важной в его представлении о мире, и в ней он так слил ее и себя, что, слушая его, де Сталь даже не пыталась с ним разделить. За первые три месяца их общей жизни он, с ее помощью пройдя и продумав то, что было изложено выше, обвинив и едва ли не прокляв Бога, отрезав все пути примирения с Ним, вдруг начинает медлить, топчется на одном месте, как человек, который забыл дорогу, потом и вовсе останавливается. Неожиданно он обнаруживает, что в нем нет знания, как спасти людей, и ему нечего им сказать. Хотя де Стальхватило интуиции, чтобы заметить приближение этого кризиса загодя: ночь за ночью, как бы совершенно ее опустошив, он, словно заведенный, повторял один текст, но и это не было началом; еще раньше постель для них обоих вдруг сделалась рутинной, он спал с ней как с женой, от которой давно не ждешь ничего нового, сегодня то же, что вчера, и то же самое будет завтра, — но тогда ей показалось, что это просто реакция на чересчур бурное начало их романа, он осваивал ее так страстно, что за несколько месяцев сумел в ней найти и взять больше, чем все ее прежние мужья и любовники; в ней даже появился страх перед ним, она испугалась того, насколько вся она ему нужна, насколько ничего от ей самой не оставляет; как колодец, он вычерпывал ее до дна, вычерпывал даже грязь.

Теперь, когда де Сталь вынашивала его ребенка, она была только рада, что их отношения стали более спокойными и ровными, что утишился его ни с чем не сравнимый восторг познания ее. То, как он понимал, что она должна отдаться ему вся, вся без остатка, давно вышло за пределы разумного, и она была не готова снова идти ему навстречу. Конечно, она была не права, что отнеслась ко всему этому так легко, в то же время ребенок, которого она зачала от него, который в ней сейчас рос, вытеснял из нее Федорова, и поделаться с этим ничего было нельзя. Она успокоила себя тем, что после размеренной провинциальной жизни, к которой Федоров привык и приуспокоился, которой только и мог жить, то, что случилось с ним в эти три месяца, от первой его любви к женщине, к ней, Евгении Францевне Сталь, до восстания против Бога, все это было для него слишком много, и, когда он, потеряв нить, вдруг понял, что ему нечем помочь людям, что он никогда и никого не сумеет спасти, то есть он как бы мошенник и обманщик, — шок был, конечно, очень силен. Однако что это начало душевной

болезни, ей даже в голову не приходило. В сущности, ко всей этой истории она отнеслась довольно равнодушно, конечно, она жалела его, даже плакала, когда видела, что ему особенно худо, но, в общем, занята была в основном ребенком, думала о нем, а про Федорова считала, что он сам виноват — то, что случилось с ним, Божье наказание за гордыню.

На пятом месяце беременности, когда ей уже стало трудно скрывать свой живот, она за один день собралась, после чего, никого, кроме кормилицы, не предупредив и не взяв с собой, уехала в Петербург. Здесь, занимаясь собой, отдыхая, читая книги, уже открыла рот, чтобы сказать Федорову, что у него теперь есть сын; она забыла, что он даже не знает, что жил с нею, но Федоров, не обратив на нее никакого внимания, явно вообще ее не видя, прошел мимо, и тут она поняла, что вне хрустального гроба она для него вообще не существует и, сколько бы раз он ее ни встретил, пусть даже она с ним заговорит, все равно он ее не узнает. Через день после приезда горничная, как обычно, едва стемнело, выпустила Федорова в дом, и роман их возобновился тем же порядком, что и до ее отъезда.

Задним числом то, что он ее не узнал, неприятно поразило де Сталь, она думала, что в нем больше любви и интуиции, он хотя бы должен был почувствовать, что она рядом. И то, что все у них продолжилось так, как будто на эти полгода она никуда не уезжала, не выносила его сына, тоже ее огорчало; он же настолько был занят своими мыслями, что и в самом деле без труда соединил и заполнил разрыв, кажется, даже начал с той своей фразы, на которой опиум прервал его в их последнюю ночь. Но потом она решила, что все к лучшему и так, конечно же, куда проще.

Когда он встретился ей на дороге, она уже обратила внимание, как он постарел, но тогда виделись они мельком, теперь, при свете свечей, он показался ей совсем стариком, глаза потухшие, говорит медленно и невнятно, бубнит, бубнит про какие-то свои обиды, но и это монотонно, скучно, без всякого азарта. Он жаловался ей на Бога, говорил, что Бог путает его, сбивает, так что он теперь не может додумать до конца ни одну мысль, что Бог специально делает так, что почти каждый день у него болит голова, особенно досаждают звон в ушах — то гул, как из морской раковины, а то колокольчики звенят и звенят, мелодия хорошая, но из-за нее он все забывает.

Когда он в самом деле часто сбивался: то через слово себе противоречил, то, наоборот, как сломанная игрушка, раз за разом повторял одно и то же. Изредка он вдруг начинал страшно богохульствовать, кричал, что Бог вор, что Он у него все украл, это он, Федоров, придумал, что смерти нет и люди воскреснут, и праведные, и грешные, все-все воскреснут, а Господь это присвоил себе. Так что люди должны молиться не Богу, а ему, Федорову. Но эти вспышки редко продолжались долго и гасли сами собой. Снова, пока опиум не брал свое, он занудливо перечислял обиды, все ему казались жуликами и проходимцами, он жаловался, плакал, и она была счастлива, когда он наконец засыпал. Ночи с ним доставляли ей еще меньше радости, чем лежание в гробу. Их свидания продолжались по инерции, и она знала, что была бы рада, если бы он больше вообще не приходил. Про себя же она вдруг поняла, что так к нему привыкла, что сама на разрыв не решится.

Не принося никакой радости, эти встречи, впрочем, ее время от времени забавляли. Иногда, например, он неожиданно вспоминал, где остановился, и снова, видя, что не знает, как воскресить людей без Бога, начинал метаться, бросался из крайности в крайность, какие-то совершенно второстепенные вещи вдруг представлялись ему едва ли не решающими, и он почти что с прежним пылом принимался их изничтожать. Он помнил, что сначала ему надо победить неродственность и небратство народа, соединить их в одно целое, лишь тогда, позабыв распри и войны, человечество сможет взяться за дело воскрешения, и тут он открывал, что корень и первопричина зла в жадной и мерзкой Англии —

ненависть к Англии была ее, де Сталь,— которая испокон века стравливает страны друг с другом, чтобы нажиться на крови. Но сила Англии в ее индийских владениях, и значит, России, которая отвечает за всех, надо будет послать к берегам Индии свой флот, однако Россия как мирная страна не может первая напасть даже на Англию и русским кораблям придется крейсировать бок о бок с английскими и ждать, пока нервы у тех в конце концов не выдержат и они не откроют огонь. Теперь агрессор — Англия, закон на стороне русского флота, он легко захватит английские суда, потому что русские солдаты лучшие в мире и дело их правое, после чего трофеи будут проданы, поделены честно между народами мира, Индия же присоединится к Общему Делу.

Покончив с Англией, он длинно и зло принимался ругать все прочее, что мешало народам соединиться: по очереди, одно за другим, он высмеивал мусульманство, католичество, иудаизм, протестантизм, которые тоже разделяли людей, были врагами истинной веры — православия; говорил он неумно, многое было притянуто за уши, однако подчас у него получалось очень лихо, почти как с Англией. В сущности, она понимала, что этот бред безнадежен и жалок и его обиды тоже, но она уже смирилась с тем, что он неисправим, а с таким ей было, пожалуй, веселее.

Все это продолжалось довольно долго, если считать и время, когда она уезжала в Петербург, — почти год, терпеть его ей становилось с каждым днем труднее, она удвоила, потом утроила количество свечей, чтобы он скорее засыпал, однако совсем с ним расстаться не могла. А потом в одну из ночей она отвлеклась от мыслей о ребенке — единственная ее отдушина и отрада с тех пор, как она вернулась в имение, и ей вдруг опять стало с Федоровым хорошо. Она уже забыла, когда последний раз хотела его, и теперь, почувствовав, что снова вся его, что в ней не должно и не осталось ничего, что было бы от него скрыто, что не только тела их соединились, а все сделалось одним целым, она поняла, что сегодня он очнется и пойдет дальше.

Сначала Федоров вспомнил, почему восстал против Бога. Он вспомнил, что поднялся против Господа из-за нее, де Сталь; Господь две жизни искушал ее властью, источник власти был в ней самой, но она так никогда и не получила ее, и все это, как она и он, сошло в Федорове с убеждением русских, что Господь так же всю жизнь искушал Россию и так же потом обманул ее. Он сделал русскую землю новой Святой землей, а русский народ вместо евреев новым избранным народом Божиим, поручил ему хранить истинную веру и ждать Второго пришествия Христа и торжества праведных. Россия приняла этот крест. Девять веков немислимых страданий и немислимого терпения, девять веков веры и готовности принять Христа, готовности на любые жертвы ради спасения народов земли, и все оказалось невостребованным, никому не нужным, получалось, что Он не истинный Бог, не Всеблагий Господь, а простой искуситель.

Едва Федоров это вспомнил, он сразу же увидел и тот путь воскрешения, которым он должен будет пойти и повести за собой человеческий род; в сущности, все было мгновенно: год душевной болезни, сумасшествия, ничтожности, бреда и вдруг из этого как чудо — свой путь спасения, совсем другой, нежели путь церкви.

«Истинно говорю тебе,— слышала она через стекло, он стоял над ней, и голос его почти гремел,— спасения достойны все; даже самый последний грешник, узря свои преступления, ужаснувшись им, пройдет через такие муки, через такие страдания, что искупит зло и очистится».

В Федорове теперь было очень много милости и благородства, и ему надо было и в ее, и в своих глазах оправдать Бога. Он говорил:

«Все люди — дети Божьи, все они созданы по Его образу и подобию, и значит, они не могут пасть так, чтобы их уже нельзя было спасти. Человек, весь род человеческий будет спасен, каждая его часть будет спасена, ни один не будет забыт, ни один не станет изгоем». Он вообще, уходя дальше и дальше от Бога, все настойчивее пытался Его простить и оправдать; так, в другой раз он убеждал ее, что Апокалипсис, гибель рода человеческого и венчающий эту гибель Страшный Суд и по Господу вовсе не обязательно должны предшествовать воскрешению праведных, это лишь предупреждение человеку. Стоит ему исправиться, отказаться от греха, и Господь с радостью и любовью освободит его от страданий, пощадит, как раньше Ниневию.

Он даже, чтобы она не подумала, что в нем, прощающем Господа, говорит гордыня, однажды сказал ей, что в Евангелиях все это уже есть — дело спасения человека завещано Господом самому человеку; Христос дал нам лишь начатки учения, только семя его, и если мы окажемся доброй почвой, почвой, хорошо увлажненной и взрыхленной, оно вырастет в нас, созреет и даст плоды. Он часто вспоминал слова Христа: «Дела, которые творю Я (воскрешение из мертвых), и он (пошедший за мной, то есть человек) сотворит, и больше сих сотворит...» — и другие: «Шедше научите все языки...» Так что он, уже решившись на самую безумную революцию, навечно разрывая со всем прежним миром, рвя с Богом, Который породил и этот мир, и его самого, не захотел ни в чьих глазах быть самозванцем и начал в Господе, от Которого уходил, искать санкцию и корень того, что он делал.

У Сталя было время и была любовь и терпение, чтобы понять и разобраться в Федорове. Многое, как я уже говорил, он брал из нее, она всегда была к нему близка, разве что, когда уезжала в Петербург и первые месяцы после возвращения отсюда — тогда она больше думала о ребенке (но ребенок был тоже его, зачатый им), чем о нем самом. Ночь же соединяла их в одно, и тогда ей все в нем было открыто, так же, как ему в ней, и они, сойдясь в единое существо, даже не могли разобраться, кто из них где, и брали друг из друга, как из самого себя, что хотели. Но на рассвете они расходились, она отделялась от него и снова могла смотреть на Федорова со стороны; то же и вечером: он приходил, садился у ее гроба, они любили друг друга, были друг от друга совсем рядом, но между ними была ее смерть, и пробиться сквозь нее они не могли. Лежа в гробу, она слышала его как бы издалека, и, конечно, и он сам, и то, что он говорил, казалось ей тогда другим, и она часто повторяла слова, слышанные еще от отца: смерть все расставит на свои места. Расстояние, которое тогда отделяло ее от Федорова, позволяло ей судить о нем вполне здраво и спокойно, и она уже давно поняла, что он не мог простить Богу, из-за чего восстал на Него.

Первым была смерть: Федорову казалось, что, сделав человека существом смертным, Господь не понял и не оценил того, что создал. Человек по своей природе был добр, но жизнь была так коротка и так скудна она была на радость и щедра на страдания, радости хватало очень немногим, а ждать — человеку было отпущено совсем мало времени — ждать он не мог и пытался отнять, отщипнуть у своего собрата хотя бы кусочек ее, кричал тому: у тебя вон сколько, а у меня вообще ничего. Смерть родила зависть, злобу, ненависть, из-за нее люди сделались врагами друг другу. Если бы радости было хотя бы чуть больше или больше был бы срок жизни человека на земле, чтобы он успел разобраться и осмотреться, успел отделить важное от второстепенного, выбрать добро, понять и полюбить его. Люди подходили к этому совсем близко: «Вон, — говорили они, — это добро, а это зло, и я больше не хочу зла, а хочу добро, потому что добро прекрасно, а зло отвратительно», — и они шли к добру, но дойти не успевали. А дети их — сумей они это передать детям — вообще не знали бы зла, вообще не стали бы его касаться, но Он сделал так, что дети начинали все сначала. Хотя это принадлежало всем людям, всему роду человеческому, это было то, что человек понял и выбрал сам, а Он отнимал это у человека, у его детей, и те тоже, даже если находили добро, дойти до него не успевали.

Возможно, Федоров в суете жизни об этом в конце концов бы и забыл, жил бы как другие и вспомнил бы о смерти уже только стариком, со всем смирившись, все приняв и простив, но и любовь пришла к нему через смерть, он любил ее, де Сталь, так, как только может один человек любить другого, но гроб и смерть разделили их. Он приходил к ней каждый вечер и каждый вечер видел, что она прекрасна и мертва, и не мог не ужаснуться смерти, не мог не поразиться ее силе, и поэтому никуда не ушел его еще детский страх, что жизнь так хрупка и вот-вот может прерваться.

Вторым было неравенство людей. Сначала она думала, что ненависть к Нему Федорова была рождена французской революцией и целиком взята из нее, де Сталь, но потом поняла, что ошибается: социальное, классовое неравенство, неравенство богатства — все это волновало его очень мало; самым первым впечатлением детства, потрясшим его, были слова няньки, из которых он узнал, что его отец, отец, плоть от плоти которого он был, отец, которого он страстно любил и должен был продолжить и продлить, по закону вовсе не был его отцом; он, Федоров, был его незаконнорожденным сыном и не имел права ни на имя

его, ни на любовь. У него, Федорова, как бы вообще не было отца, цепь зачатий и рождений, идущая от Адама, была прервана, все корни его были обрублены, он как бы был изгнан из рода человеческого и отрезан от Бога. Мир, где отцы допустили, а возможно, даже сами установили такой порядок, признали его справедливым, угодным Богу, не имел права на существование, и он тогда еще поклялся себе его уничтожить.

Революция, которую он задумал, должна была разрушить устройство этого мира, не оставить из него ничего. Первым шагом он признал всех отцов недостойными быть отцами, недостойными зачинать детей и продолжать род. В неуемной гордыне он хотел повести все свое поколение, поколение детей, на кладбища, чтобы там, среди могил, они, навсегда отказавшись от преходящего, начали бы великое совместное дело — дело воскрешения зачавших их. Отцы, совершив смертный грех, потеряли право зачинать детей, право это по наследству перешло к детям, и те теперь станут из себя рождать, восстанавливать, воскрешать своих отцов. И среди них не будет ни одного незаконнорожденного. А дальше отцы, уже как дети, унаследовавшие благословение своих детей-отцов, восстановят собственных отцов, и так начнется этот медленный путь воскрешения всего человеческого рода, возвращения его к Богу.

Федоров не хотел никакого продолжения жизни, он хотел повернуть ее вспять, замкнуть, погрузить в себя. Правда, как-то он сказал де Сталь, что здесь ничего не будет простым повторением: дети, восстанавливая из себя отцов, будут проживать их жизнь совсем по-новому; отцы спешили, бездумно спешили жить, дети же будут кропотливы и внимательны, ничего в той жизни не останется незамеченным и неоцененным. Путь, которым, по Федорову, человечество теперь должно было пойти, этот путь не был кругом или петлей — удаление Адама и его потомков от Бога, уклонение их от добра во зло и постепенное оставление зла, возвращение к добру — это даже не был просто поворот: поколение за поколением уходило все дальше и дальше от Бога, теперь повернули и пошли назад, нет, ноги должны были ставиться точно след в след, так, как будто назад ты идешь спиной. Жертвенность последнего поколения, отказавшегося, несмотря на свою святость, от рождения детей и начавшего воскрешать отцов, — страшный укор отцам: как вы с нами, и как с вами мы, целомудрие этого поколения, его непорочность и непорочность зачатия им отцов, рождение отцов, очищенных от первородного греха. Но женщин он воскрешать не хотел, он ненавидел их, говорил де Сталь, что именно их блуд, их податливость рождала незаконнорожденных, кажется, он считал их еще более виновными, чем отцов.

В Федорове была поразительная вера, он не сомневался, что этот его путь ведет и приведет весь род людской в Рай, что он самый прямой и короткий. Сталь так и не разгадала, натолкнуло ли его на это то, что она собой восстановила и воскресила свою мать, следовательно, это был как бы и ее путь, или лишь утвердило в том, что он правилен. Ведь он сам с того первого мгновения, как увидел ее тогда на проселочной дороге, пошел за ней, потому что знал, верил, что сможет ее воскресить. Федоров жаловался де Сталь, что здесь, на земле, им будет очень трудно воскрешать отцов, не память о них, не их души, а такими, какими они были, то есть телесно, как люди и должны воскреснуть. Другое, райское воскресение, которое предлагает праведникам Господь, неполно и ущербно, но на земле воскресить человека телесно вряд ли возможно, земля вообще не родной дом человека, земля — место его изгнания, место страдания и смерти. Человек упал на землю, был выброшен сюда из своего гнезда, из Рая, и снова пал, когда смерть подкосила его. Чтобы восстановить человека, его надо вернуть назад, в космос. Небо — вот истинный дом человека, то место, где он был зачат, выношен и рожден; там, в космосе, где нет силы тяжести, которая гнетет живое, гнетет его к земле, можно будет найти все те атомы, из которых человек состоял. Эти атомы, говорил Федоров, раз побывав частью человека, навсегда остаются живыми, они одухотворены и помнят, в них есть память, частью кого они были. Федоров вообще был убежден, что человека можно собрать заново — по кирпичику, и когда он будет собран, он встанет и пойдет, и так же по кирпичику можно сложить его душу, то есть она тоже делится и дробится, а потом собирается и вновь становится целым; он был великодушный конструктор; это был мир, состоящий из големов, но вера в Федорове была такова, что и де Сталь уверовала, что он сможет спасти и воскресить всех.

Я уже говорил, что Федоров очень боялся быть принятым за самозванца, он знал, что тогда за ним никто не пойдет. И еще: несмотря на веру в то, что он призван, его не оставлял страх перед самим собой, перед своей гордыней, перед Тем, против Кого он пошел. Федоров все время искал, кто был бы готов идти тем же путем, что и он, может быть, даже встал на эту дорогу раньше его. Он не раз с восторгом рассказывал Сталь, как строилась Башня, и всегда жалел, что не знает имени ее архитектора, имен других строителей, клялся, что они и их жизнь будут восстановлены. Еще он часто рассказывал ей о сыне праведного Ноя Хаме; из комментариев Раши и некоторых других, которые он ей цитировал, следовало, что вина Хама не в том, что он, увидев наготу отца своего, не прикрыл его, а позвал братьев смотреть, это сглаженная и смягченная версия — лишь намек на то, что было. В жизни же Хам, кажется, оскотил своего отца. Он оскотил его, узнав, что Господь обещал Ною сделать его новым Адамом, обещал, что Ной сыновьями, которых он родит уже после потопа, сыновьями, не знающими греха, начнет новый род человеческий. Господь хотел совсем заново начать человеческую жизнь, хотел, чтобы все, что было между Адамом и потопом, вся эта длинная история удаления человека от Него, Господа, отпадения его во зло была бы вычеркнута и навсегда забыта. Он говорил, что она так слита с грехом, так пронизана им, что воскресить ее значит воскресить грех. Господь говорил Ною, что память об Адаме и его потомках должна умереть, ничто из той жизни не может быть восстановлено и возвращено. Он наслал на землю воды, чтобы смыть все, все до последнего следа. Узнав, что Господь обрек всех предков Ноя на смерть, на окончательную, без воскресения, смерть, Хам восстал против Него.

По другому комментарию, Хам, якобы увидев Ноя нагим, лег рядом и совокупился с отцом. Хам не был так же чист, как Ной, грех был ему знаком, хотя до потопа он как мог старался его избегать, все же он был взят на ковчег, спасен от всеобщей гибели из-за своего отца, Ноя. Жизнь сына его, Хама, жизнь была дана Господом Ною в награду за праведность, и Хам это знал. Хам знал и то, что придет время, его черед воскресить отца, но был наивен, боялся, что не сумеет это сделать во всей полноте и целостности, потому что главное в Ное — его чистоту и святость — он восстановить не сможет, ведь в нем самом этой святости нет. И тогда, чтобы познать Ноя, познать его всего, он соединился с ним.

Если считать со дня их знакомства, де Сталь прожила с Федоровым пять с половиной лет, с 1849 года по 1854. За это время она родила ему трех сыновей; так же как и с первым ребенком; едва талия ее начинала полнеть, она уезжала из имения в Петербург, там рожала, месяц сама кормила ребенка грудью, потом передавала его кормилице, все той же датчанке, после чего возвращалась обратно в Сосновый Яр.

Все три сына Федорова были крупными, красивыми мальчишками, как ей нравилось, голубоглазыми и белокурыми, но душа не сумела оплодотворить их сердце, мозг, тело, и они продолжали жить несмышленими младенцами. Она часто думала, почему у Федорова от нее такие дети. Она знала и другие случаи, когда человек рождался уже заверренным и законченным, неспособным к развитию, правда, не всегда ребенком, или когда развитие человека останавливалось слишком рано: она думала, что судьба этих людей, возможно, поможет ей понять, какое будущее ждет и сыновей Федорова.

Первый человек, Адам, был сотворен взрослым, значит, Господь не желал его развития и сразу создал его настолько совершенным, насколько вообще мог быть человек. То есть первый человек не был первым ребенком, детство вообще не было создано Богом, и путь от рождения до того, каким человек был задуман Богом, был дан человеку в наказание. Но душа Адама была душа ребенка, это несомненно, и, может быть, здесь корень непонимания Богом человека и такого долгого удаления их друг от друга. Красноволосяный Исав, старший брат Иакова, любимый сын Исаака, тот самый, что по всем человеческим законам должен был получить первородство, Исаак уже призвал его, чтобы благословить, был все же лишен первородства Господом: Господь подставил слепому Исааку для благословения второго его сына, Иакова, потому что душа и ум Исавы были завершены и он не мог идти дальше в познании Бога. Значит, Господь признал, что путь человека к Богу, его путь от зла к добру есть благо и что человек сам должен пройти его весь. Все-таки знание Бога о человеке было не полно, и Христос, взявший на себя грехи мира, Христос, с Которого жизнь человеческого

рода была начата как бы заново, — новый Адам; до этого человек уходил дальше и дальше от Бога, теперь сделал первый шаг навстречу Ему, и шагом этим была не проповедь, не чудеса и воскресения и даже не Голгофа, а зачатие Христа Его Матерью Марией.

Вряд ли, говорила себе де Сталь, душа и мозг сыновей Федорова так и не пробудились, потому что Федоров, когда зачинал их, был усыплен опиумом, и они как бы унаследовали его сон; скорее, Господь просто боялся, боялся, что сыновья человека, поднявшегося против Него, повторят его путь. Грех гордыни Федорова был страшен и наказание очень жестоко. Федоров не мог простить отцам ни одного незаконнорожденного сына, но все трое его сыновей были рождены им незаконнорожденными. Он навсегда отказался от рождения детей, потому что знал, что страдания человеческого рода продлятся с ними еще на одно поколение, он верил, что именно с него начнется путь назад, но его сыновья продлили жизнь. Делом, предназначением сыновей было воскресение отцов, но его сыновья, ни разу в жизни его не видя и ничего о нем не зная, никогда не смогут его воскресить, и Сталь понимала, что, значит, он, Федоров, в свою очередь, тоже не сможет воскресить отца и так эта цепь будет тянуться и тянуться. И все же, спустя много лет, когда они с Федоровым уже расстались, она поняла, что Господь вовсе не проклял Федорова сыновьями, наоборот, это было благословение, ведь Он спас их от зла, сделал так, что они проживут жизнь не ведающими греха.

После того, как она прервала отношения с Федоровым, жизнь ее довольно скоро вернулась в прежнее русло, она снова занималась хозяйством, построила две большие стеклянные теплицы, но иногда все у нее вдруг начинало валиться из рук, и она, на несколько месяцев бросив имение, уезжала то в Петербург навестить сыновей, то в Москву, то в близкий Тамбов. Первое время ей это помогало; на новом месте она почти сразу приходила в себя, хорошо и крепко спала, со вкусом ела, вообще радовалась жизни, но потом это кончилось. Она вдруг поняла, что сил на жизнь у нее уже не осталось, Федоров как бы все из нее выжал, вычерпал ее до дна, и она пуста. Она и без зеркала видела, что через год-два станет совсем старухой, и знала, что ей давно пришло время решать, воспользуется ли она мандрагорой и на этот раз или просто спокойно доживет свой век в Сосновом Яре. Она тянула, тянула, с каждым днем больше и больше боясь начинать заново; в этой своей жизни, как и в прошлой, счастлива она была мало, и искушение все закончить было в ней очень сильно. И все же она продлила себя. 13 января 1862 года она в Москве родила девочку, крещенную под именем Екатерины, которая была ею самой. После смерти де Сталь, последовавшей ровно через два года после рождения ребенка, кормилица перевезла девочку в Сосновый Яр».

(Окончание следует)

От редакции. Поскольку при формировании этого номера журнала среди сотрудников редакции высказывались разные, зачастую полярные мнения о романе Владимира Шарова и целесообразности его публикации, в ближайших номерах «Нового мира» эти принципиальные разногласия будут вынесены на суд читателя.

**В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая);
АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ. Спички (повесть);
о СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Письмо духовному сыну о евразийстве;
ЭММА ГЕРШТЕЙН. Тогда, в тридцатые... (главы из воспоминаний);
Я. С. ДРУСКИН. Философские эссе. Дневники (из наследия);
ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ;
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Заколдованный створ (роман);
ДАУР ЗАНТАРИЯ. Рассказы (перевод с абхазского автора);
ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ. Эссе о литературе (из наследия);
ИГОРЬ КЛЯМКИН. Общество и реформа;
АНТОН КОЗЛОВ. Государство и коррупция;
ЕВГЕНИЙ ЛАПУТИН. Приручение арлекинов (роман);
ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВИЧ. Сашок (повесть);
А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА. К истокам «Тихого Дона» (тексто-
логическое исследование проблемы авторства романа);
В. НЕПОМНЯЩИЙ. О Пушкине и русской культуре;
ИВАН ОГАНОВ. Песнь виноградаря осенью (фрагменты эпоса);
НИКОЛАЙ ОДОЕВ (Н. Г. НИКИШИН). Рассказы (из литературного
наследия);
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. «Увлекая в дальнюю Америку...» (пьесы и другие
неизвестные материалы);
К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ. Из частной переписки;
ДИНА РУБИНА. Во вратах твоих (повесть);
ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН. Заметки из зала Конституционного суда;
С. М. СОЛОВЬЕВ. Воспоминания;
Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ. Переписка с М. К. Морозовой;
БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;
С. И. ФУДЕЛЬ. Письма из ссылки;
ДОРА ШТУРМАН. У края бездны (корниловский мятеж глазами исто-
рика и современников);
- а также новые произведения Л. БЕЖИНА, А. БИТОВА, М. БУТОВА,
П. ВАЙЛЯ и А. ГЕНИСА, Г. ВЛАДИМОВА, А. ВОЛОСА, Р. ГАЛЬЦЕВОЙ,
З. ГАРЕЕВА, Н. ИЛЬИНОЙ, А. КИМА, Н. КОРЖАВИНА, А. КРИВО-
НОВОСА, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, И. ЛИСНЯНСКОЙ, В. МАКАНИНА,
Ю. МАЛЕЦКОГО, Г. МЕДВЕДЕВА, Б. МОЖАЕВА, Е. ПОПОВА, Э. ПУ-
СТЫНИНА, В. ПЬЕЦУХА, М. РОЩИНА, Л. УЛИЦКОЙ, А. ШВЕДОВА,
Ю. ШРЕЙДЕРА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1993 ГОДА!**

ЕЛЕНА ШВАРЦ

*

МАРТОВСКИЕ МЕРТВЕЦЫ

Маленькая поэма

I

Веришь ли, знаешь ли?

Пусть церковь тоже человек
И вросший в землю микрокосм,
А нас ведь освятил Христос,
Так вознесись главой своей
Превыше каменных церквей.

Раньше я все мысли говорила,
Я тогда была как люди тоже,
На свечу ночную на могиле
Под дождем весенним я похожа.

Оглянулась, оборотилась:
Есть у церкви живот, есть и ноги,
По живот она в землю врылась,
А земля — грехи наши многи.

Есть и сердце у нее,
Через кое протекали
Поколенья на коленях,
Что кровинки — тень за тенью,
Гулкий шепот покаянья.

Из тела церкви выйдя вон,
В своем я уместилась теле,
Алмазные глаза икон
По-волчьи в ночь мою смотрели.

Темное, тайное внятно всем ли?
О, сколько раз, возвращаясь вспять,
Пяту хотела, бросаясь в землю,
Церкви в трещинах целовать.

И крестясь со страхом и любовью,
В ее грудь отверстую скользя,
Разве мне ее глухою кровью
Стать, как этим нищенкам, нельзя?

II

Черная бабочка

Звезды вживлены в крылья,
В бархат несминаемый вечный,
С лицом огромным меж нежных крыл,
Мужским и нечеловечьим.
Из винтовок она вылетает,
Впереди пули летит,
Кто видал ее — не расскажет,

Как она свое стадо клеймит.
 Называли, именовали —
 Ангел смерти трудолюбив,
 Океаны — что мысль пролетала,
 Каждый колос ревниво срезала
 Из бескрайних все новых нив.
 Закружилась она, зашептала,
 Легким взмахом сознание темня:
 Как же ты воротиться мечтала,
 Если ты видала меня?

III

Где соловей натер алмазом дробным
 Из холщевины небеса,
 Там умирала, как на месте диком, лобном,
 Оранжевая полоса.
 Звезда расколотым орехом
 К деревьям низко подплыла,
 И будто ночи этой эхо
 Духа полночь моего была.
 Там луны пестрые сияли,
 И звезды смутно голосили,
 И призраки живыми стали —
 Входили, ели, выходили
 И жадно и устало жили.
 Там звери чье-то тело ташат
 В нагроможденье скал,
 И с глазом мертвым, но горящим
 В колодце темном и кипящем
 Бог погребен стоял.

IV

Весной мертвые рядом

В мертвых холодном песке
 Стану и я песчинкой,
 На голубом виске
 Разведу лепестки и тычинки.
 Луна пролетает горя,
 Только не эта, другая,
 Мертвых холодных моря
 Без берегов и края.

Подросток только он один — он одинокость с Богом делит,
 Но уж зовет поводыря его душа, привстав над телом.
 Никогда ты не будешь уже одиноким — это верно тебе говорю,—
 Духи липнут к душе, всюду кто-нибудь будет — в аду ли, в раю.

Душ замученных промчался темный ветер,
 Черный лед блокады пронесли,
 В нем, как мухи в янтаре, лежали дети,
 Мед давали им — не ели, не могли.
 Их к столу накрытому позвали,
 Со стола у Господа у Бога
 Ничего они не брали
 И смотрели хоть без глаз, но строго.
 И ребром холодным отбивали
 По своим по животам поход-тревогу.
 И тогда багровый лед швырнули вниз
 И разбили о Дворцовую колонну.
 И тогда они построились в колонны
 И серебристым прахом унеслись...

Может, я безумна — о йес!
 Ах, покойников шумит бор сырой и лес,
 Ах, чего же вы шумите, что вы стонете?
 Не ходила на кладбище по ночам,
 Так чего ж вы стали видимы и гоните?
 И не трагтесь на меня по пустякам.
 И ты, поэт, нездешний друг!
 Но и тебя мне видеть жутко,
 Пророс ты черной незабудкой,
 Смерть капает из глаз и рук.
 Он смерть несет как будто кружку
 Воды колодезной холодной,
 Другой грызет ее, как сушку,
 И остается все голодный.

Моя душа меня настигла — ой!
 Где ты была — не важно, Бог с тобой.
 Любовь из пальцев рвется ко всему,
 К уроду, к воробью — жилищу Твоему.

А вот и кровь бредет — из крови волоса —
 Розовые закатила глаза.
 Я человек — она плачет — я жажду!
 О Маринетти-то ля вулю,
 Ну так и стражди.

И все-таки могучий Дионис,
 Обняв за икры Великий пост,
 Под лед летает к рыбам вниз
 И ниже-ниже-выше звезд.
 И в их смешенье и замесе,
 В их черно-белой долгой мессе
 Ползу и я в снегах с любовью,
 Ем серый снег вразмешку с кровью.
 И в эти дни, в Великий пост,
 Дождь черный сыплется от звезд,
 Кружком обсели мертвецы,
 Повсюду волочу их хвост.
 И Юнг со скальпелем своим
 Надрежет не колеблясь душу
 И имя тайное мое
 Горячим вдышит ветром в уши.
 Косматый мрак с чужим лицом
 Моим прикинулся отцом,
 Свою непрожитую силу
 Из жирной киевской земли
 Из провалившейся могилы
 Вливает в вену мне — возьми!
 Нет, не про вас души алтарь!
 Что надо вам, умершим всем?
 И так я, как безумный царь,
 И снег и глину, звезды ем.
 Пью кровь из правого соска,
 Такую горькую, — напрасно
 За плечи тащите меня
 В ад как в участок вы так страстно.
 Вашу цепь столкну в овраг
 Душой, не телом, в теле — тесно,
 Когда Страстной я слышу шаг,
 Гром тишины ее небесной.
 Вы, звери, крыльями шумя,
 Хотите поглотить меня,

Вы, птицы, сладкий тленный мозг
Из кости алчете — из сердцевины.
Аркольский я — пусть слабый — мост,
Толкнете — полетит в пучину
Космический Наполеон,
И мир, и свет, и блеск времен.
Стоит, меняя маски, лица
И пятки мне вдавив в глазницы.
Меча вы слышите ли звон?
Всю вашу цепь столкну в овраг
Душой, не телом, в теле — тесно,
Когда Страстной я слышу шаг,
Гром тишины ее небесной.

V

Смерть — это веселая
Прогулка налегке,
С тросточкой в руке.
Это — купанье
Младенца в молоке.
Это тебя варят,
Щекотно кипятят,
В новое платье
Одеть хотят.
Смерть — море ты рассвета голубое,
И так в тебя легко вмирать —
Как было прежде под водою
Висеть, нырять,
Разглядывая призрачные руки
И тени ног,
Так я смотрю сквозь зелень, мглу разлуки
В мир — как в песок.
Ты умер — расцветает снова
Фиалковый цветок.
Ты, смерть, пчела и ты сгустить готова
В мед алый сок.
Не бойся синей качки этой вечной,
Не говори — не тронь меня, не тронь,
Когда тебя Господь как старый жемчуг
Из левой катит в правую ладонь.

Весна 80.



МАРИНА ПАЛЕЙ

*

РЕЙС

Рассказ

В черных очках я оставалась вплоть до паспортного контроля. С волосами, я надеялась, будет проще: если пограничника и насторожит несоответствие цвета, я сошлюсь на дурное качество снимка, а если это объяснение не поможет, я, конечно, признаюсь, что на мне парик, но не сниму — только чуть сдвину его на затылок, чтобы предьявить свои темные волосы.

Если бы предусмотреть заранее, я взяла бы с собой три чемодана, — возможно, у таможенников сработал бы казенный рефлекс почтения, и все, глядишь, обошлось, — а так, сообразив, что у меня из вещей всего лишь сумочка, они молча принялись ее потрошить: вывалилась пудреница, плоская коробка с театральным гримом, флакон с жидкостью для снятия макияжа, помада в пластмассовых патронах... Это все? — спросил таможенник, уже разогретый злобой, поскольку обстоятельства требовали от него дополнительных усилий, похоже, умственных. Я ответила, что все, и тогда он сказал: не делайте, пожалуйста, из нас дураков, — и я объяснила, почему мне ничего больше не надо, но он, уже заведенный, с особой душевностью произнес: не делайте, я повторяю, из нас дураков, — и принялся развинчивать каждый патрон, и нюхал помаду, и злился, — а самолет отбывал через тридцать пять минут, а еще не был пройден паспортный контроль, и я поторопила официальное лицо, оно позвало своего шефа, и тот сказал: Вам не следует делать из нас дураков, будем держать до выяснения; вопросы, ответы, междометия, вскрики, — экзекуция затягивалась, до отлета оставалось пятнадцать минут, — и я заорала: ну гады же, гады! — и заплакала освобожденно, — было уже безразлично, что слезы смывают густую пудру с ресниц и щек, что они разрушают мой тщательно обесцвеченный образ, белесую маску, трясущимися руками только что подновленную в туалете аэропорта, под землей, среди хирургического кафеля, зеркал и могильного холода, — я уже знала, что все пропало, все кончено, — и мне стало зловеще легко, как на деревянной качели, взлетающей над оврагом, когда сердце чуть позади тела — или чуть впереди него, но напроць с ним не совпадает, — я поняла, что сейчас придушу этих двоих, как мышей, я даже рассмеялась простоте выхода, — но что-то случилось наверху, я ничего не поняла, и опять ничего, и поняла не так, и уже боялась понять правильно, и наконец поняла: наш вылет задерживался на два часа.

Разум возвращался ко мне толчками, неравномерно: сначала я заметила, что таможенники отошли, потом увидела, что они занимаются другим пассажиром, потом ощутила свои руки, вцепившиеся в сумочку, — и наконец восстановилось изображение картины, которая живет во мне годы:

Я сталкиваюсь с тобой, лицом к лицу, в этом безуданно грохочущем Вавилоне, — уже после окончательного разрыва, после глухой разлуки, — по существу, после жизни, прожитой зря, точнее было бы сказать, нас сталкивает, — уже после того, как я смирилась с пожизненной параллельностью наших существований, с нереальностью их пересечения в эвклидовом заточенье Земли, — и вот, после всего этого, наперекор здравому смыслу, научной логике, вопреки правде жизни, — и вообще, поправ теорию вероятности, — мы ненароком взламываем хрупкое устройство здешней геометрии, — была в нем, видно, тонкая закраина, — и, оступаясь куда-то вверх, взлетаем в запредельный просвет, где, увидев тебя, я ничуть не удивляюсь,

даже не вздрагиваю,— на протяжении всех этих пустых нежилых лет ты наотмашь, без отдыха, ежедневно обжигал мое сердце,— мелькал в толпе твой затылок, кто-то твоим жестом поправлял на плече сумку, некто выныривал из подворотни, чтобы навсегда уйти от меня твоей мальчишеской походкой, зарвавшиеся озорники с беззаботной жестокостью тщились подменить тебя здесь и там, я видела в толпе твой подбородок, почти твою спину, ты вздергивал плечи, еще издали я различала твой наклон головы, велосипедист — Боже мой! — так спешно провозил твои брови, подставные лица с детской простотой повторяли твою интонацию, ты опускал глаза, ты усмехался, ты протягивал руку за газетой, иногда оборотни были обтянуты твоей кожей, снаружи у них были твои скулы и даже — дьявольская сочетанность черт! — твой нос, все прочее им вмонтировали от других существ, если б ты знал, как это жутко,— но я приноровилась видеть лишь то, что неоспоримо принадлежало тебе, я выучилась влиять на независимое отделение твоих черт и скорость их прорастания, я без усталости шлифовала этот навык,— более того, я выпестовала в себе умение длить и длить это единоличное блаженство,— но, когда порой ты, в джинсах и куртке, куришь на перекрестке возле моего дома, оглушая меня грозным, неизъяснимым, присущим только тебе соотношением губ и руки,— я уже не успевала отвернуться раньше, чем чудовище, укравшее у тебя жест, точнее, одолжившее неизвестно зачем,— уже тупо предъявляло мне свое страшное несходство, так и не узнав, что я заведомо простила ему расхождение и готова заплакать чем угодно за еще один дубль,— торопясь, я продолжала мысленно повторять свое бессильное заклятье, а фантом уже сплевывал окурок и растворялся в перспективе улицы,— но теперь ты, именно ты,— ах, истинный Бог, ты, ты,— ты, собственной персоной, приближаешься ко мне, совпадая с собой все резче, все гибельней,— оказывается, цветет яркий июньский день, самое начало лета, ты одет в светлый костюм,— тот, что был на тебе, когда мы поженились,— о чудо, он выглядит почти новым,— мелькает мысль, может, мы вечны, но не отвлекает, мелькает, может, ты идешь снова жениться на ком-то, испаряется,— ты идешь мне навстречу,— нет, ты только подумай: какова была вероятность нашего пересечения в этом неисчислимом ошпаренном муравейнике, где не жил ты, не жила я? какова была возможность нашего столкновения в населенном пункте, где мы, отдельно друг от друга, бывали только проездом? каковы были шансы нашей встречи именно здесь, на самой окраине многовокзального торжища, в заброшенном месте, не представляющем ни делового, ни торгового, ни экскурсионного интереса, где, кстати сказать, ни ты, ни я не бывали до того ни разу? и наконец: какова была надежность гарантии, да и была ли такая гарантия вообще, что мы с тобой сохранимся живы, что не вылетит винтик из самолета, не сойдет с рельсов поезд, что, победив догонять шляпу, ты не будешь сбит насмерть машиной, что, наконец, нас минуют чума, мороз, шлагбаум, что не сотрется в пыль сердце от напрасного бега? а вот же, и мы, и мир оказываемся еще живы, и еще сколько угодно жизни есть в запасе,— и вот я еду себе как ни в чем не бывало в метро — и ошибаюсь станцией, а ты, как выясняется, по обыкновению просыпаешь свою,— и я, вместо того чтобы повернуть назад, не знаю почему, поднимаюсь к выходу и бреду куда глаза глядят, а ты тоже выходишь на свет и шагаешь себе, глядя в небо (как всегда),— и, может быть, я еще некоторое время иду безо всякой дороги,— когда в точке пространства, где одичалый гастроним соседствует с перелеском, как раз за ларьком, где кусты плодоносят пустыми бутылками,— я вижу тебя: ты идешь мне навстречу как ни в чем не бывало под небом моего детства,— и одновременно ты идешь по небу,— небо везде,— ты идешь, освещенный солнцем,— подумай, какова была вероятность, чтобы я шла бесцельно, одна, почему-то нарядная, словно на именины красавицы в ее заросшую сиренью усадьбу,— какова была вероятность, чтоб и ты шел один,— каковы были у нас шансы, чтобы у тебя была с собой целая сумка вина,— чтоб у меня была в запасе целая вечность,— и, знаешь, не сводя с тебя глаз, я вдруг поняла, что шансов у нас было как раз невероятно много, потому что совпадения — это, видимо, рифмы на Божьих скрижалях, а Создатель, судя по всему, любит стройные тексты,— так что я с силой хватаю тебя за плечо,

и ты не исчезаешь,— ты хватаешь меня за руку, и я не просыпаюсь,— ты больно хватаешь, а я не просыпаюсь,— в голубом океане медленно поводят плавниками молодые ели, нежно струятся светло-зеленые водоросли, чего-то там шепелявят, играя на травке, новорожденные кусты,— лето, благословенное русское лето с ясной улыбкой распахивает сказочные свои терема,— и я чувствую такую прочность мира, такую несокрушимость, а может быть, благодать,— что хочется немедленно взлезть на самое острие телебашни — да и сигануть башкой в банно-прачечные облака, а лучше мчаться (отстреливаясь) по скользкой крыше курьерского поезда (волосы, ветер, надсадный визг паровоза), а лучше всего отплясывать чарльстон на крыле горящего аэроплана, под золотой фейерверк и канонаду духового оркестра, взрывающего сердца, как цирковые шары (а ты бы поправил очки и улыбнулся),— а куда мы садимся с тобой под грибок на детской площадке,— и уже через пятнадцать минут молодые мамы хотят сдать нас в милицию, потому что мы очень целуемся на глазах у малышей с ведерками и, обливаясь красным, пьем из горлышка,— и тогда мы пересаживаемся в какой-то ржавый, поросший травой автобус, а он вдруг заводится и везет нас неизвестно куда, совсем прочь из города,— ты замолкаешь, ты это умеешь, веселье слетает с тебя в один миг,— беззвучный автобус идет плавно, словно плывет, словно парит,— а за окном — у окна, грустный, сидишь ты,— за окном — до самых небес — расстилаются ласковые поля юного лета,— июнь густо заткал их маленькими мягкими золотыми цветами,— живые глотком дождевой влаги, цветы улыбаются так, будто не было зимы, не будет осени, как будто здесь они ждут нас всегда,— но мы сначала еще не родились, потом еще не встретились (а только сильно тосковали друг по другу,— и я до тебя обозналась бесчисленное число раз, и ты до меня тоже),— поля, по-прежнему отдельно от нас, цвели безмятежно тогда, во время нашей краткой и страшной земной связи,— они так же безмятежно и щедро цвели, когда ты ушел,— и вот они продолжают цвести с таким таинственным терпеливым постоянством, что я понимаю: это солнце проливается через края и плещет вниз,— небо повсюду, потому что рядом ты, и я чувствую это особенно сильно сейчас, стоя в очереди на паспортный контроль.

Я быстро продвигаюсь к началу этой опасной очереди. Надо сосредоточиться. Необходимо примерить, заучить и отрепетировать подходящее лицо — к моменту, когда подойдет черед протянуть паспорт. Я судорожно перебираю ситуации, способные придать моему лицу выражение несуетной сосредоточенности. Идеально зрелище собственных похорон, это дисциплинирует,— как раз настолько, чтобы немного размыть запекшуюся в глазах тревогу, эту опаснейшую против меня улику,— и, слава Богу, не настолько это трагично, чтобы, вконец перекосив лицо, сделать его сверхподозрительным. Важней всего кое-как закрепить это благоприятное (смотрюсь в зеркальце) выражение и донести его до чиновника в сохранности. Чиновник нырнет в мой паспорт — вынырнет — и с привычной grimасой тяжелого отчуждения приостановит меня сквозь цейсовские очки. Я, свои черные очки уже сняв (дабы не пробуждать в нем рискованной инициативы), буду, допустим, покусывать пластмассовую дужку,— авось нервозность сойдет за рассеянность и беззаботность.

Он мгновенно сделает профессионально точный отпечаток моих глаз: зрак в зрак.

На миг мы станем отчетливо двухвалентны.

Готово.

Возможно, затем он снова опустит глаза в мои бумаги — и снова вскинет их, придерживая пальцем какое-то слово. Но синие декоративные линзы по-прежнему будут скрывать темную сущность моих глаз. И я уже знаю: остановить меня не удастся никому, я вырвусь, я выкручусь, я что-то придумаю.

Ты, на протяжении всего этого времени, стоишь возле валютного магазинчика «Duty free». Насилу сдерживаясь, чтобы не повернуться, я цепко фиксирую боковым зрением живое сияние, твои волосы цвета русских степных ковылей. Ты стоишь словно бы вдалеке — и все-таки катастрофически близко, настолько, что я уже боюсь, ты вот-вот уловишь это особое, выдающее меня с головой излучение тревоги, от которого дрожат стены аэропорта. Ты не можешь не узнать

это излученье, — его не скрыть ни париком, ни гримом, ни очками, не замаскировать, не спрятать, его можно только немного унять, — успокойся, велью я себе, — слышишь, успокойся, не то рухнет весь замысел, успокойся, ну! Щадя сердце, медленно, очень медленно, я ползу зрачком к твоим ногам, замираю на миг у кроссовок, — затем, шурясь, то и дело моргая (как бы не глядя, не в счет), карабкаюсь по отвесным склонам твоих джинсов, по джемперу цвета речного песка... твоя мальчишеская сутулость! твой профиль ученого грача! Я жадно смотрю на тебя в упор. (Слава Богу, ты, как всегда, читаешь.) Дразня опасное, мысленно прошу тебя: посмотри — нет, не сейчас, только не сейчас! Я снова отворачиваюсь, хотя ты продолжаешь читать. Но я чувствую тебя спиной — куда мне укрыться от жалящего твоего присутствия! Я вижу: ты разглядываешь красное электронное табло (ты ужасно любишь все, что пульсирует, скачет, сверкает, подмигивает) и опять возвращаешь глаза в книгу, причем тоже отворачиваешься. Знаешь, это напоминает дурной с натяжками водевиль, комичность которого заключается как бы в том, что главные персонажи, стоя друг к другу спиной, ищут друг друга всю жизнь.

Красивое преувеличение! Ты и не думал искать меня, а я нашла тебя все равно. Сейчас мы снова стоим лицом друг к другу, и я смотрю на тебя открыто. Ты продолжаешь читать. И, возможно, ты читаешь о том, как некий мужчина читает книгу в зале международного аэропорта, а за ним следит загримированная женщина, — а читает мужчина про то, как в зале международного аэропорта мужчина читает книгу, а за ним следит загримированная женщина, — ты очень любишь эти латиноамериканские штучки, но не замечаешь при этом, что зеркальная анфилада бесконечна на обе стороны строки, — взгляни на меня, нет, не надо!

Читай. Ты устроен именно так: лежа на берегу моря, взалбб рассуждаешь о французской живописи начала века, моря перед носом не видя, помня о нем только через чужие картинки, — зато сидя в четырех стенах, когда море уже не заслоняет собой себя, ты чувствуешь его во всем планетарном объеме, — и весь морской мир пронизан твоими словами, — стихии всех морю соприродных миров освоены, заселены и обжиты именно тобой, — ты, как Бог, даешь имя всему, что живет внутри и снаружи моего сердца, — право первородства принадлежит тебе, — я называю мир твоими словами.

И вот сейчас именно ты не чувствуешь моего присутствия. Разве не странно? Да, это входит в мои планы. Но все же: неужели какой-то парик, пудра, очки — способны скрыть камнепроломную силу моего к тебе пожизненного притяжения?

А знаешь, даже если б ты сделал пластическую операцию, я бы узнала тебя. Я бы узнала тебя, даже если б ты изменил свой рост, запах, голос, — даже если б ты, заметая следы, изменил свою расу (зачернил кожу), — даже если б ты, чтобы уж наверняка сбить меня с толку, подмешал к себе что-нибудь и от желтой расы — тоненькую бороденку, под стать ей косичку, неотвязное желание писать танки и есть палочками пресный вареный рис... Когда ты оставишь оболочку человека, мне только легче будет узнать тебя. Безверье Фомы в сравнение с моим — расхожее требование зримых и осязательных доказательств, — тем не менее существует одно, во что я верую непрестанно: я угадаю тебя и на небе, — и там, несомненно, острей.

Мы не виделись девять лет, две войны по российскому летосчислению.

При взгляде с Земли твоя частная жизнь, как оборотная сторона Луны, скрыта от меня навсегда. Можно сделать однократный блиц-снимок, но увы, это все.

Что можно различить, глядя на этот снимок?

Ты живешь в городе, где снег всех цветов, кроме белого. А в городе, где живу я, — точнее, за окном моей комнаты, в узком, как пробирка, просвете тяжелых лиловых штор, оседают по ночам в красивой химической реакции белые хлопья. Они белы, как эталон белого цвета для образцово-показательной зимней белизны, они даже чуть избыточно белоснежны. Ты мог бы поставить столбик чистого снега на свой письменный стол — или подвесить его к потолку, — но мне отказано подарить тебе снег.

Ты живешь далеко. Иногда я откладываю на глобусе расстояние от меня до тебя на все стороны света. На севере я упираюсь в точку арктического полюса (это трудно представить), в самую что ни на есть земную макушку, — на юге меня бросает в жар на берегах священных Нила, точнее, я попадаю в излучину Нила, к развалинам старинного города Фивы, что напротив города Луксор в Аравийской пустыне, — на западе я приземляюсь в распластанной, словно ластовица, голубой Гренландии, в городке Ангмагсалик, — мысленно отмеряя это же расстояние в глубь Земли, я приближаюсь к ее юному страшному ядру, — но зато вверх это значительно ближе, чем до Луны.

Мне часто снится ночь, поезд, я спрыгиваю на ходу, быстро иду по шпалам, рельсы разбегаются, как черные вены, и вот я вижу себя в густой металлической дельте, горизонт перекрыт цистернами, товарняками, маневровыми паровозами, — все говорит о приближении города, — я знаю, это твой город, я уже собираюсь (это невероятно) в него войти, но какая-то учительница, похожая на палку с гутающе правильной дикцией, разьясняет мне, что я поступаю сугубо неправильно. И я почему-то соглашаюсь.

Ты живешь на востоке. Всякий раз, замечая время, я мысленно прибавляю столько-то, получая, сколько там у тебя. Я представляю, хотя бы смутно, чем ты сейчас можешь быть занят, и мне достаточно этого скупого знания, чтобы ощущать постоянство слияния с твоим существом.

Сквозь стекло, не приближаясь к окну, гляжу я на Солнце. По стеклу ползает муха, — она елозит брюшком прямо по золотым губам Солнца, — но разве она обладает Солнцем больше, чем я? Обладать тобой полней невозможно. Я не перестаю удивляться моему могуществу, — и тому, что — как все самое главное в жизни — оно дано даром.

Да ты понимаешь ли, какое непостижимое для меня везенье — встретиться с тобой именно в этой галактике, совпасть — точь-в-точь — в этом тысячелетии! Разминовенье на несколько часов в пределах одного космического тела — можно ли Бога гневить!

Да, всякий час мы обратны друг другу — именно это дарит мне радость рифмованного времени, жизнь в удвоенном сердцебиении нерасторжимых любовных объятий.

Солнце и Луна обречены к не встрече, но не встреча и есть жесточайшая связь.

Я совпала с тобой — еще до рожденья — и в ритме. Вся музыка мира играет для нас, о нас, в нас — нам ли не танцевать вместе!

Нет. Вполне бегло, без нот, я помню все части этих инструментальных сочинений. Как там? — оживленье, раздраженье, отвращенье, или — умильность, усталость, угрюмость, или так, без перехода, — нежность, ненависть — да ты и сам знаешь назубок эти пиесы (аллегро кон брио), где, сколь ни меняй пластинку, финал одинаков: хрип, треск, сухое шипенье граммофонной иглы. Сердце гибнет в скачке за настроенными, в этом беге взагон, — сердце с каждым ударом забивается в землю, все глубже в землю, где горлом будет земля, улыбка размажется в глине, — там, во тьме, сердце не имеет привилегий, — помнишь девчонку на раскопках некрополя? помнишь, как зачерпнула она горсть из грудной клетки первых открытых останков? помнишь, как, не поверив, сказала: здесь было сердце? и повторила: это все, что осталось от сердца?

Но мы полетим. Мы воспарим к небесам в плотно задренной металлической капсуле: этакий экспонат материализованного слияния душ в их естественной среде обитания.

Ты думаешь, размежевался со мной меридианами, отгородился горизонтом? Ты небось вообразил, что можно так запросто выйти из моего состава!

А разве хоть что-нибудь в нашей воле? К примеру, разве я сама прибавляю часы к часам? Мое сердце, запущенное на автоматический режим, самостоятельно корректирует разницу. Так что всякий раз, когда я вижу циферблат, или время объявят по радио, или мелькнет обычный уличный вопрос, или за окном, со dna двора, в полной тишине внезапно и отчетливо спросят: который час? — и ответом будет таинственное: седьмой (и почувствуешь себя единственным зрителем всемирного действия), — или даже когда время долго не называется вслух, и оно безмолвствует в усыпившей себя крови, — а все равно

вынырнет, чтобы напомнить о неизбежной плате за зрение, слух, работу сердца, — во все такие мгновения, где бы я ни была, чем бы ни заполняла жизнь, — это интимное арифметическое сложение производится во мне произвольно и четко, можно сказать, рефлекторно: так поскользнувшийся мгновенно — до мысли — вскидывает руки.

И кое-как сохраняет равновесие.

Возможно, это сравнение покажется тебе отвлеченным. Возможно, мой скромный сакральный ритуал ты все равно расценишь как беззаконное вторжение в твою жизнь. И потом, — скажешь ты, — к чему эти иносказания?

К тому, — скажу я, — что у тебя нет времени меня слушать. Раньше было, теперь нет, это ведь так естественно. Поэтому я вынуждена говорить много, — ты приговорил меня наполнять бочку без дна: говорить.

Если бы можно было обольстить диспетчера местных расписаний — обморочить, подмазать — выкрасть время из прошлого, — я отдала бы его старухе, пропахшей подполом и грибницей, — в обмен на заговоренный флакон. Ты выпил бы из него, уснул, а проснувшись, уже не помнил бы, что успел разлюбить меня раньше: частичная ретроградная амнезия, ничего опасного для твоей жизни. Но старуха, получив от меня время, отделилась бы от могилы не насовсем, а только на время, и, в соответствии с обменом, ты забыл бы тоже не насовсем.

Насовсем невозможно, а на сколько позволено? Если подойти трезво, сколько удалось бы украсть? Пять минут? Но эта величина неопределенная, как «стакан чая». Может быть, полчаса? (Ох, нормативные полчаса в русской классической литературе! Тебя не озадачивает эта, как поговору, жестко закрепленная дозировка интимных воздаяний? Густое отточие — и: «Когда через полчаса все было кончено...» Словно текст из уголовного дела, где двойное самоубийство любовников иллюстрировано фотографией трупов и подписью: *Omnia animal post coitus terstia est.*) Нет, эти все кончающие полчаса с их подспудным несмываемым постельным клеймом мне выкрадывать неохота.

Я, пожалуй, нарву тайно букет минут-незабудок на скромном нашем лугу, — ведь были же мы иногда счастливы бездумным счастьем цветов, — я нарву этих минут по кромке луга, — там это будет почти незаметно, там не убудет, а здесь, из обрывков, я, может, сплету цветочный коврик, я буду согреться им в лютую ночь, я укурюсь...

Брунда. Я не сплю по ночам.

По ночам мы не спим вместе. Это не значит, что мы спим врозь. Это значит только именно то, что по ночам мы действуем совместно, даже коллегиально: не спим.

У меня полночь, у тебя утро.

Я не ложусь, ты не ложился.

Как сладостно думать, что ты еще долго не ляжешь — как раз все то время, что не лягу я!

Мы не спим вместе.

Я вижу тебя за твоим письменным столом.

Я чувствую запах пасты в твоей шариковой ручке.

Я даже позволяю себе вообразить, что и ты, может быть, думаешь иногда о моем одновременном с тобой бдении.

Сообща мы разбойничаем в райских садах.

Все спящее отдает нам безропотно и задаром свои драгоценные сны.

А все, что не спит, яростно сопротивляется и ускользает.

След в след мы идем горячей тропой охоты.

О, не спать вместе — это куда серьезней, чем вместе спать.

Это страшней.

Мне виден твой затылок: в свете настольной лампы волосы мерцают, как песок на плоском лапландском взморье (где — помнишь Финский залив — ты сказал: мы с тобой лежим, по сути, на берегу Атлантики...).

Ты за линзой сильных очков: почтенный кавалер бессонницы, аргонавт, астронавт, огнепоклонник-шаман — пожизненный данник стихий.

Я гляжу в твой затылок, и балтийские воды начинают капать из моих глаз.

Тогда я хватаю бумагу и принимаюсь быстро-быстро рисовать — битвы Римской империи, будни средневековой инквизиции, — лется карминная кровь, дымит черным смядом крупно нарубленная, очень неприглядная человечина, на периферии картины автора пытаются каленым железом — о, это больновато, — балтийская вода уже вовсю хлещет из темных пробоин, я иду ко дну, — милый мой, какое благодеяние Вы для меня сделали, — и там, на чугунной глубине, вся тяжесть Атлантики, наваясь, расплющивает меня заживо, — рвутся, лопаются, капилляры, — больно, слава Богу, отчаянно больно! Это — чтобы не рубить себе палец, руку, голову.

Если бы я заранее знала, что ты приснишься мне этой ночью, я бы легла не в четыре, а по крайней мере в час.

Ты близко — за деревом, за углом, за стеной, за дверью. Ты вот-вот появишься. И ты появляешься! Или я вхожу туда, где (я чувствую точно) ты уже есть. Иногда мне так и не удается увидеть тебя, и все же реальность твоего близкого присутствия сияет мне из глубин сна; промытая проточной водой от ила, песка и слизи будней, — она так ослепительна, что, еще не до конца проснувшись, я шалею от этого неколебимого, словно введенного в регламент каждого сна, счастья. Возможно, в каждом сне я не только чувствую, но обязательно вижу тебя, просто я не всегда помню об этом, как не могу помнить все свои прежние жизни с тобой.

Кто дал право человеку будить человека?

Все настоящее происходит во сне.

Проснувшись, я долго не могу определить час. Одно лишь я помню: что бы ни случилось, Солнце, отработав положенную часть суток на тебя, летит ко мне, а от меня полетит к тебе, мы играем в мяч (это разрешено), — на моем закате я праздную твой восход, на твоём закате пытаюсь уснуть, и, знаешь, я как-то спокойно отношусь к тому, что мне будет столько-то лет, и столько, и столько, но мне невыносимо думать, что столько же может стукнуть тебе. Я хочу, чтобы и после моей смерти ты всегда оставался таким, как я вижу тебя сейчас, — а если истина живет сама по себе на ледяных вершинах, не снисходя до чувства, то пусть рухнут эти вершины и небо в придачу.

«Оно нелетно сейчас, это небо, по-прежнему не пускает в свою легкую твердь. Ты в нетерпении поглядываешь на табло — наше общее табло, — а я не перестаю удивляться, что мы наконец совместились в точке времени, мы уже окончательно современники, — а что до пространства (я вдыхаю сейчас воздух твоих легких, я жадно соединяю его со своей кровью), то оно в течение нескольких дней неукоснительно сокращалось, — мы отправились, как в школьной задачке, навстречу друг другу, из пункта А и пункта Б в общий пункт М с суммарной скоростью поездов, видимо, 240 км/час, причем в моем случае — задача повышенной сложности — время вело себя милосердно лишь вначале, то есть не противоречило своей изученной природе: день и ночь — сутки прочь, прикорнешь — три часа долой, перекинешься с тобой словом — ночи как не бывало, его еще можно было без хлопот убить чаем с кроссвордом, — но ровно за два часа до прибытия в пункт М стрелка, обессилев, застряла.

Меж пунктом А и пунктом Б проходит жизнь внутри вагона, и дым выходит из трубы. А в Гавриловой трубе басы фальшивят на полтона, кривя проекцию судьбы. Морзянку клацают стоп-краном, в такт со стаканом шестигранным, с похмелья проводник суров. И ничего нам не известно: ни час прибытия на место, ни расписание катастроф.

Тем не менее исполинская дорога — я изгрызла ее глазами — съежилась до размеров этого зала ожидания, — а еще через некоторое время, уже скоро, нашим общим жилищем станет салон самолета «ИЛ-62», уже вполне соразмерный с человеческим телом, единственно возможный общий наш дом, — даже очень уютный, маленький, — бесконечно малый, если уж на то, в сравнении с размахом хаоса за пределами ручного околосемного пространства — и в самих нас.

Ты стоишь совсем близко. Ты подошел, не заметив, что подошел ко мне. Я вжимаюсь в стену за газетным киоском.

Ты стоишь так близко, что мне видны мельчайшие подробности твоей кисти.

Паспортный контроль позади. Чиновник пролистнул меня не читая, — я просто думала о тебе, и все обошлось. Бог хранит меня, когда я думаю о тебе, а думаю я о тебе всегда.

Знаешь, какие со мной бывали случаи? Меня, например, в упор не видели контролеры, когда я шла между ними в недосыгаемые для смертных чертоги. Меня не замечали милиционеры, преграждавшие путь к хлебу и зрелищам, Меня почему-то игнорировали часовые Кремля, когда я, вздора ради, лазала там везде, где нельзя. Насквозь пропахнув адюльтером, я медленно выныривала из супружеских спален, а законные жены прозрачно смотрели сквозь меня телевизор. Другие? — спросишь ты. — У тебя были потом другие? (Конечно, не спросишь. Если б ты был из тех, кто может такое спрашивать!)

Только другие и были, — скажу я. — О, насколько они все другие!

Бывало, я пописывала другим открытки, — знаешь, такие, где нарастание восклицательных знаков как бы возмещает убывание искренности. В повседневности я без конца путала, кто из них любит чай покрепче, без сахара, кто послаще и не очень горячий, а кто пожиже («Я же тебе говорил!») и обязательно полный стакан. Когда другие, хлопнув дверью, уходили, я с наслаждением зевала, — в шлепанцах не догнать, а башмаки обувать лень. Когда они возвращались (другие всегда возвращаются), меня дома уже не было. То есть я была, но их почему-то постигал приступ незрячести, — тот самый, что с хранителями порядка и женами. Поискав меня в самых невероятных местах, другие, плюнув, уходили надолго. Как я бывала тогда счастлива!

Вот теперь и ты, стоя на расстоянии вытянутой руки, не замечаешь меня. Попросту говоря, ты и не смотришь в мою сторону. Это входит в мой замысел. И все-таки согласишься, странно, что ты с таким непритворным интересом разглядываешь обложки журналов, когда я стою слева от тебя, там, где сердце! И к лучшему. Воспользуюсь преимуществом незримой души.

Меня нет.

Я придаю зрачка, в злом азарте охоты спрессованный до бестелесности, — у! как я голодна! как жадно подстерегаю каждый твой жест, — я знаю их все (вот! ребром указательного пальца ты резко поправил очки), — я бездомный глаз, подставленный голышом хлещущему потоку — о, как мощен этот напор в узком створе зрачка! — я, по сути, микроскопический кадр фотопленки, — бесконечной, как лента Мёбиуса, — хранимой в тайне и тьме, — мне принадлежит одна мгновенная вспышка света, но, прежде чем захлопнется шторка, в этот единственный световой миг, я зачем-то назначена уловить мириады слепых, бесцельных, безостановочных мельканий, которые мне не дано запомнить, снимки с которых мне все равно не узнать, — нет, я меньше, я и есть зрачок, — пробоина глаза, дыра, пустота, голое зрение, — отчего же я плачу, как человек, глядя сейчас на твои руки?

Я помню все их жесты. Я знаю все их гримасы, позы, оттенки выражений. В мире, где ничто не принадлежит никому, это — я смею надеяться — моя неколебимая единоличная собственность.

Ты протягиваешь продавцу бумажные деньги. Они всегда были так непрочны в твоих ладонях, как ноябрьская листва. Я наперечет знаю все рожицы и корчи твоих пальцев во время их вынужденного общения с деньгами. Я, случайное существо в цепи случайных существ, — я не понимаю, за какую такую доблесть перед лицом Господа я избрана видеть, как ты покупаешь газету?

Если бы руки твои мог разглядеть торговец, он сейчас же кинулся бы определять подлинность купюр: а не нарисованы ли эти знаки на фантиках от конфет? Ты кладешь деньги на прилавок так, словно играешь в магазин, но дети продельвают это куда серьезней, они вовсю стараются походить на взрослых, — впрочем, ты тоже. Безрезультатно: деньги в твоих руках мгновенно превращаются в клочок бумажки, — даже странно, что в обмен на этот клочок дают книгу, хлеб, самолетный билет, — ты протягиваешь руку с деньгами, словно пустую: не покупаешь, а просишь.

Ах, я бы надарила тебе горы всех этих престижных и гордых мужских игрушек, которыми курят, пьют, убивают, ласкают женщин, обучают собак и укрощают коней, покоряют моря, пустыни, скалы и гладко заасфальтированные

дороги. Кому же еще все эти штучки как не тебе! Я завалила бы тебя пригоршнями безделушек, недешевых и редких, которые тем и хороши, что не применимы к пользе,— я притащила бы тебе всякой вкусной всячины,— и, конечно, красивых сверкающих вин,— все, какие ты выбрал бы сам,— чтобы ты мог пить их из рюмочек на тонких витых ножках. Шатаясь от счастья, с тобой в обнимку, я ввалилась бы в один из тех магазинов, где грохочет, крутятся, сумасшедшая музыка: покупайте! покупайте! покупайте! — где изливает благоуханье медовый свет: ах, господа, пожалуйста, покупайте!.. Я обвела бы всех медленным взглядом, заменяющим кольт. Я бы тихо сказала: «Всё. Беру всё. Заверните»,— и меня услышала бы даже маленькая статуя Артемиды, выполненная, судя по всему, из чистого золота,— а может быть, покрытая золотой фольгой,— но внутри уж точно из чистого шоколада.

Однако я не хочу глядеть дальше это феерическое кино. Его финал мне известен, какими бы режиссерскими ухищрениями он ни был бы украшен.

Мне не унять твоей тоски. Ее можно лишь слегка усыпить, на очень короткое время, но она от природы дикая,— она всегда помнит, что она дикая и не будет иной. Твоя тоска питается сырой кровью.

Что, зажил ноготок? Ноготок-то хоть зажил? Вот этот, на большом пальце правой руки. Я забыла — и вспомнила: зажил?

Ты всегда первоклассно играл в бильярд, ты вообще обожал азартные игры,— помнишь, однажды ты ушиб этот палец кием,— проступил кровоподтек,— сначала он чернел под белой ногтевой лункой, а ноготь рос, и черное пятно лезло вверх, и тогда я сказала: когда это пятно доберется до края ногтя, ты меня бросишь. Ты усмехнулся. Любовь-с-ноготок не входила тогда в твои планы. Но, видишь, планировать нам удастся разве что длину ногтей, и то не всегда,— они ломаются, гнутся,— а чаще ломается человек.

Несчастье стряслось оттого, что дни пошли на убыль. Ты уже привык спать, отвернувшись к стене, горестно отгородившись спиной, заведомо отгораживая затылком мой взгляд,— даже зародыш взгляда под оболочкой испуганно сомкнутых век (как бы рано я ни проснулась — камень в груди просыпался раньше),— и твоя рука, как ни широка была постель (а она была широка,— потому что я, чувствуя перед тобой ответственность за погоду, за эти неисправимо пасмурные утра,— чувствуя перед тобой вину за все: за то, что есть на свете однолетние растения, а хуже, двулетние, которых еще жалче, потому что только они зацепятся как следует корнем, только дадут цвет, только они наладятся из земли, а уж пора в землю; за то, что у нас в доме завелась мышь, по столу бежала, яичко упало и разбилось, а есть и так нечего; за то, что очередной навуходоносор положил в пустыне сорок тысяч солдат, и так было всегда; что следом идущий навуходоносор уложит в пустыне следом идущих сорок тысяч, и семья их, перемешанное с кровью, бесцельно уйдет в холодный песок, и снова их вдовы, обреченные к бесплодию, будут рыдать и яростно мастурбировать по ночам, и так будет всегда; за то, что рано умер прекрасный русский прозаик Николай Гоголь,— что неминуе, сраженный своим же пророчеством, погиб Николай Гумилев,— а Чехов! Боже, как жалко Чехова! за то, что нам не семнадцать, а за окном ругается дворник; за то, что мы слабы, глупы, ленивы, однообразны, наконец, смертны,— за то, что, может, бессмертны,— чувствуя вину перед тобой за все, я была на самом краю),— твоя рука, вытесненная твоим телом за пределы постели, смуглела, прижатая вертикально к стене, и кисть была беззащитно распластана, как у щенка,— и на этой кисти, на большом пальце, на самом кончике уже отросшего ногтя,— ты все не стриг его по забывчивости, а может, из благородства,— отчетливо чернело пятно. Я ошиблась: ты разлюбил меня раньше.

Когда я впервые увидела тебя, ты сидел в застекленном кафе,— точнее сказать, ты примостился на искалеченном стульчике у стола, заваленного грязным,— кафе это было обычной забегаловкой с сырыми пирожками, серым кофе, невытравимым запахом помоев,— все там было обыкновенно, темно, осклизло, холодно, из сортира несло в лучшем случае хлоркой,— ты сидел, поставив локти прямо во что-то липкое,— я стояла снаружи, по шиколотку в майском газоне, и не могла оторвать взгляд от твоих рук: ты перелистывал газету.

Это сбилось в городе, где не жил ты, не жила я. Стоя по ту сторону стекла, я видела,— мне даже казалось, слышала,— все, что внутри: старуха хлюпала туда-сюда тряпкой на швабре, заезжая по ногам стульям, столам, посетителям,— ребенок ел бессмысленно и нечисто,— сутулая посудомойщица, собирая со столов, неловко смахнула на пол стакан и сказала отчетливо: «Несчастливая я. У меня даже стакан не бьется».

Ты сидел, словно в маленьком кафе Монмартра. Я даже поискала глазами рогалик и чашечку кофе,— они не просматривались, но это не меняло впечатления: вокруг тебя цвел Париж, ты был его центром, ты сидел в компании французских художников начала века, и я уже ревновала тебя к их традиционно русским женам. А ты продолжал листать газетку — точно, сухо, насмешливо,— ни в малой мере не присваивая, и уж, конечно, не соотнося с собой, а только вынужденно терпя материальность предмета. Было видно, что твои руки в любой миг стяхнут его и забудут.

Если бы я даже очень захотела, если бы ты стал меня слушать, если бы ты услышал то, что я говорю тебе,— я и тогда не смогла бы объяснить толком про это переключение чувства. Я вижу мир в крови и руинах, в травах, в слепых влажных побегах, это перемешано безо всякого смысла, картина недвижна, как вечность, нещадна, мертва. Но стоит мне увидеть тебя,— скажи, может, как раз ты откроешь мне эту тайну,— почему, стоит мне увидеть тебя,— словно мгновенно нажимают во мне особую кнопку,— явь тут же вывертывает пейзаж: жизнь пригодна для жизни, она даже как-то не по заслугам приятна, я рвусь брататься с миропорядком, реальность невероятно пластична, изящна, по-кошачьи увертлива,— я отчетливо вижу ее блистательный, бесконечно многообразный артистизм,— он буквально осязаем, и воздух пахнет озоном,— скажи, черт возьми, ты как это делаешь? как умудряешься ты посылать в мое сердце такой чудовищной силы разряд? сколь всевластен и мощен этот общий — земной, мой, небесный — совместный, как высоковольтный провод, голый нерв красоты!

Увидев тебя, я почувствовала запах дождя. Давно я не чувствовала этот запах, я вообще уже мало что чувствовала. А тут вспомнила: мне пятнадцать лет, я иду из школы, во дворах жгут прошлогодние листья, и такой терпкий, как разотрешь в пальцах, молодой лист смородины,— и еще не задумываешься о том, откуда это земля берет силы и милосердие, чтоб возрождаться каждый год,— и накрапывает русоловый дождик, даже сердце щемит, такой он нежный, и грустный, и немного тревожный, ведь он всегда новорожденный, а жизнь его совсем коротка; и он по-разному пахнет на тропинке, на траве, на корнях сосны, уютных и толстых, и потихоньку ослабевает, а так и не найти слов, чтобы определить, как же он все-таки пахнет, но в пятнадцать лет это еще не беда,— а впереди сверкает громадное, как аэропорт, здание мечты, за ним летное поле, простор — и такое уже безграничное сиянье, что даже стыдно — но как-то сладостно стыдно — принять это все даром.

Потом я кое-что уточнила. Я поняла, ничего не дается даром, только в обмен. Я поняла однажды, что все у меня будет, понимаешь, все,— все игрушки взрослых, все их игры,— мне даже Большую Австралийскую государственную премию дадут,— а только как пахнет дождь, мне уж больше никогда не узнать.

Но стоило мне понять, что передо мной ты,— дождь, предтеча потопа, обрушился на меня прямо с неба!

А запах его был и вовсе уж младенческий, чтобы найти определение, надо уметь лепетать на языке младенцев.

...Кошка, ловко огибая потоки, тащила в зубах толстого своего котенка.

Скромный кордебалет прохожих грациозно скакал — и при этом вертел разноцветными зонтами.

Дождь колошматил джаз!

И, легко сбросив кору, я шагнула к тебе за стекло.

Ты поднял глаза.

И увидел меня.

И, как мне кажется, увидел Бог, что это хорошо.

Нынче, как я задумала, сошлись: изменчивые твои руки, французская газета. Ты сидишь в зале ожидания,— кожаменитель кресла, цвета кофе со сливками, почти не отличим от натуральной кожи. А еще через какое-то время ты наконец

окажешься посреди красот французского языка, под сенью кленов Канады и мягких абажуров чужого быта.

Я любуюсь долгожданным соответствием твоей мальчишеской элегантно-сти — и обстановки этого предстартового комфорта со множеством кнопок, лампочек, с этим слегка возбужденным, отлично вымуштрованным штатом. О, как улыбчив продавец зажигалок и сахарной ваты! Как стерилен аптечный киоск, — как сверкает фарфором и никелем киоскерша! Как сверхкрупно большое, как микроскопично маленькое, как бесшумно то, чему предписано быть неслышным, как все четко отлажено, рьяно и великолепно, — плюнуть невозможно, чтоб не попасть в кондиционер, калорифер, унитаза с дистанционным управлением! Еще один пересыльный пункт для арестантов Земли.

Но дай же мне хоть недолго порадоваться, если тебе сухо, светло, если, слава Богу, ты не болен, не голоден и можешь немного передохнуть в чистоте и тепле! Дай же мне обмануться, дай хоть на миг передышку моему сердцу, — ты же не знаешь, как разит меня твоя беззащитность! Как непереносимо мне твое виноватое обаяние, чуждое этим скудным равнинам, где некуда приткнуться глазу! И как непросто мне знать, что ты навсегда повенчан с ними, — это даже кровосмесительный брак, потому что вы прямая родня. О, какая загадка!

Кому пришло бы в голову, что твое неизъяснимое изящество самородно, что оно — скандальный подкидыш к порогу растерянных бедняков? Твоей безрассудный шарм кажется отшлифованным консервативнейшими ювелирами Европы, — за ним чудится упорная генеалогическая работа длинной череды строгих и взыскательных предков — суховатых, с милой придурью университетских профессоров, очаровательных выпускниц привилегированных пансионатов, этих чаровниц с фиалковыми глазами, талией в рюмочку и клавиатурами, — возможно, я вижу, как в зеркале, не корни твои, но ветви, твои неизбежно прекрасные побеги, — но скажи мне, как, каким образом — на лысых отвалах поселка, изуродованного каменноугольными шахтами, где порода людей и животных выбрана до самого дна, где ночь каторжно увековечена подземной жизнью отцов, узаконена, передана в потомство вместе с водкой, беспамятством, отравленным небом, — как сумела там откликнуться твоя бесприютная кровь ярким виноградником в Арле, как разглядела она оттуда пейзаж в Овере после дождя? О, гадкий утенок!

Только небо под стать твоей таинственной высокородности, — тебе назначено беспредельное небо, что с грохотом рвется в двери аэропорта.

И, может быть, ощутив его особенно сильно, ты глубоко и освобожденно вздыхаешь.

Складываешь газету.

Подымаешь глаза.

И вдруг я хочу, чтоб ты увидел меня сейчас, сейчас же, — к чертовой матери мои планы, планы...

Посмотри на меня, это же я стою перед тобой!

Посмотри, ради всего святого!

Ты смотришь мне прямо в лицо.

Не видишь.

* * *

Мы летим на высоте тридцати трех тысяч футов.

Собственно, если я сейчас проснусь, ровным счетом ничего не произойдет. Кроме того, можно спать дальше.

Мы вместе. Мы сейчас настолько вместе, что если эта машина рухнет в океан, или ее похитят инопланетяне, или она совершит вынужденную посадку на остров, размером с пятак, с одиноко торчащей пальмой, — это будет нашей с тобой общей судьбой.

Ты сидишь впереди, чуть наискосок от меня, — у иллюминатора, рядом с негром в ярко-зеленой рубашке. Его завитки — непролазные джунгли, твои волосы — солнечный дождь...

Сейчас подойду к тебе, и, если сердце лопнет, значит, такова мне судьба — шагнуть к тебе — и умереть. Может быть, не худшая из судеб. Это очень сильно — знать, что сейчас шагну. Дай выпить воды... Пойми, у меня только одна пуля, как у того мальчишка! Какая пуля? А был такой мальчик, он очень любил стрелять, он больше всего на свете любил стрелять, но денег у него было лишь на одну пулю, и вот он каждый день ходил в тир и все целился, целился...

Подожди, у меня дрожат руки... Кстати сказать, ноги тоже.

Подходя к аэропорту, я думала: как же увижу тебя — огромный зал, толчея... Но тебя увидела, конечно, первым.

Сердце грохнуло в горло, взорвалось, ударной волной перекрыло дыхание. Я вцепилась в какой-то угол. Все мое тело сотрясалось от медленных сильных ударов, — чугунное ядро, раскачиваясь внутри, равнодушно крушило постройку...

Я снова, как и впервые, видела тебя сквозь стекло, но на этот раз стекло было толще. (Ты скажешь: а так ли верно я вижу тебя — стекло, очки, линзы, слезы... Но ты же знаешь, ты, к несчастью, понимаешь это: я вижу тебя минуя оптические законы.)

Я стояла за стеклом, а в зале пассажиры пили пепси-колу, капризничали нарядные дети в костюмчиках, мягко проплывали поломоечные машины, — ты стоял в толпе чернолицых, желтокожих, невообразимо пестрых, — и мне передался твой ликующий восторг одиночества — ты и толпа иностранцев — о, апофеоз!

И я подумала: как это странно, что тебя можно физически обнаружить в пространстве, — то есть реально существует определенная точка координат, столько-то долготы, столько-то широты, вполне конкретные цифры, и вот, значит, можно сесть в трамвай, потом в метро, потом в поезд дальнего следования, потом снова в метро, потом в автобус, потом будет тротуар, останется пройти еще несколько шагов, повернуть налево и — ты действительно материально присутствуешь там. Разве это не странно?

И мне стало стыдно своей жадности, потому что, собственно говоря, я тебя повидала, уже повидала, а все, что сверх того, — алчба и обжорство, душа может не выдержать.

И я было поворотила назад, но хитрая Земля подкосила мне ноги, — я хлопнулась на мокрый поребрик.

...Она коварна, эта Земля, — ласкает и отталкивает одновременно, гонит и удерживает, — и в небо не отпускает, ревнива, — так хоть бы к себе забрала, но и с этим не сразу. Ей-то самой хорошо. Она прочна, потому что твердо держится на трех словах: я тебя люблю. Но только небо их воплощает.

Мы летим над Атлантическим океаном.

Ты, трехлетний ребенок, берешь из рук стюардессы хрустящие пакетики, бутылочки, фрукты, буклеты. Кушай хорошо, моя гордость. Посмотри картинки. Мама хочет, чтобы ты поиграл. Скажи мадемуазель несколько слов по-французски. Молодец. Мадемуазель, правда он у меня ужасно симпатичный? Стюардесса улыбается. Ты у меня ужасно симпатичный.

Сейчас скажу тебе это громко и внятно. Уже не так страшно. Надо только выбрать предлог. Я заготовила их два. Значит, так. Я посылаю тебе розу с запиской. Или — бутылку шампанского. (Этот ход мне нравится больше.) Хотя, собственно, почему не послать их вместе?

Но роза уже не молода. В киоске аэропорта она была крепенькой, как морковка. Она мерцала в самой сердцевине дрожащей целлофановой дымки. Дышала, молчала. Но за несколько часов ожидания в бутылке из-под боржома она стремительно прошла все стадии легких женских возрастов, был в ней, видно, какой-то изъян нетерпения, и вот ей сорок, дарить себя уже поздно.

А просто послать записку? Набросать что-нибудь из твоих словечек. Ты прочтешь, станешь вертеть головой, представляю... Но какие слова выбрать? Их было так много, и все — превосходные...

Даже если меня контузят, они остались на магнитофоне. Правда, он у меня старый, катушечный, весь переломан, — горит глазок, как в такси, но лента не едет. Я сама вращаю пальцем катушку, — слышен безначальный гул, — еще быстрее, еще, — из пьяных и неряшливых завываний мне наконец удается выделить тебя, — с твоими умопомрачительными обертонами, — а попробуй удержи его пальцем, когда швыряет его, как и тебя, то к карликам, то к великанам, то снова к писклявым, оскорбительно мелким существам. И нельзя отвлечься, убрать палец, шататься по квартире, занимаясь то тем, то другим, — и всюду слышать тебя, будто ты дома... Только сейчас, единственный раз, можно услышать твой голос вживую, — трудно себе представить, что это осуществимо. И надо торопиться — судя по всему, мы уже в другом полушарии.

Но в облаках пахнет человеческим духом. Мы таскаем его с собой повсюду, и, может быть, именно из-за нас облака так грубо вещественны, так откровенно, так бесстыже грудасты, — они прут, как опара из широкой квашни, неприкрыто

телесны и потому скорее всего безбожны. Серебряный крестик самолета в их ложбинке — только модное украшение, он ничего не меняет.

Но если мы все-таки на небе, то все должно произойти само. Твой голос за бутылку шампанского! На небе — да мыслимы ли такие счета!

Не спорю, во сне я совокуплялась с самим чертом, — все было при нем — рога, хвост, смрад, невыразимая мерзость, — я совокуплялась с чертом прямо посреди проезжей дороги, — лишь бы ты посмотрел, лишь бы ты обратил на меня внимание. «Смотри, — кричала я тебе, — чем я занимаюсь!» И ты смотрел.

Но небо выше снов.

Если ты не заметишь меня сам, то в небе нет смысла.

От меня зависит только привести в порядок свое лицо, то есть восстановить исходность.

В сияющей кабинке прохладно, укромно. С наслаждением сбрасываю парик, линзы, очки.

Оставляю на полочке постарелую розу. Краем глаза замечаю: изображение цветка в зеркале идеально.

Умываюсь, преображаюсь.

Смотрю на себя в зеркало.

Мои глаза.

...Мальчик задавал взрослым загадку: когда, в каких случаях пуля, выпущенная в зеркало из пистолета, попадает в свое же отражение? Правильный ответ: всегда. Во всех случаях.

Я знаю: будут маскарады, приемы, балы, — фейерверки, банкеты, задравные тосты. Но я обнаружу вдруг маленькую дверь, зайду, затворю.

Будет тихо и холодно. Шум карнавала, неизменный и ровный, как травы английских газонов, не пробьется в это беззвучие.

И я пойму, что это будет повторяться всегда.

После длинных дорог, после всех площадей мира, после театров и цирков я вернусь к себе.

Будет тихо и холодно.

Я шагну к зеркалу.

Упрусь зрачками в свои же зрачки.

Допустим, я возвращаюсь в салон. Сажусь на свое место с твердой готовностью смотреть в твой затылок до конца. Допустим, пассажир справа с открытым любопытством принимается сверять мое лицо и мое платье. *You are more lovely than ever* (Вы еще привлекательней, чем прежде), — говорит он с ужасным акцентом, и я понимаю, что это одна из немногих английских фраз, которые он знает. Допустим, я вежливо улыбаюсь, а он не отстает, — может, поэтому и не отстает, — он принимается говорить что-то много и быстро на кипящем и булькающем языке, — никогда прежде я не слышала этот язык, — и при этом еще жестикулирует, как глухонемой, — он говорит как заведенный, смеется, размахивает руками и совершенно не обращает внимания на мой демонстративно отсутствующий вид, — я понимаю, что отвязаться теперь трудно, вот наказание, — да откуда он взялся, этот индивид, его вроде бы здесь не было, — встаю, — он хватает меня за руку, продолжая яростно что-то объяснять и доказывать, — я пытаюсь вырваться, — он свободной рукой достает из сумки плеер, кладет его на колени и, все больше раскаляя свою тарбарщину, тычет пальцем в меня, в плеер, — я выдергиваю руку, он нажимает кнопку, — и летит музыка, та самая, — помнишь, когда мы... помнишь...

И ты оборачиваешься.

Если бы я была Господь Бог, я бы держала в поле зрения не только галактики разом, но иногда пристраивала бы глаза к потолку комнаты, где безмолвствуют двое и так отчетливо тикают, проклюнувшись, часики.

Пахнет смертью и вечностью, и влажным истекшим семенем, и, жадно дыша, молчит гранатовое соцветье Вселенной, прекрасное и нерасторжимое во всех частях.

К потолку такой комнаты надо бы пристраивать иногда глаза Господу Богу, потому что светлый взгляд женщины, напоенный обоем, и смыслом, и невыразимой благодарностью, послан именно Ему, и до обидного глупо, если взгляд этот, рассеялся в пространстве, не в силах Его достичь.

У меня больше не будет такого взгляда. Получается, что мне нечем отблагодарить Господа Бога. Получается, что, даже простым соглядатаем пристроив глаза свои к потолку своей комнаты, мне не увидеть оттуда своих лучших глаз.

Но, может, лучшие — те, что невозможно даже предсказать? Те, что непредставимы мне самой? Те, что у меня сейчас, когда я вижу, что ты видишь меня, и при этом — о Господи! — рад, я же вижу, ты рад, рад,— ты, честное слово, рад!!

Мы поели, поспали. Точней, ты вздремнул, я глядела. Потом мы еще съели пополам бутерброд и выпили из стаканчиков. Я сама собрала крошки, обертки и вынесла в туалет — вполне семейная жизнь.

Потом, когда мы пристегивали ремни, тебе что-то попало в глаз, ты попросил посмотреть, ты всегда доверял мне в таких делах, мы принялись вместе орудовать зеркальцем и платочком, и тут стюардесса сказала: Монреаль, аэропорт Мирабель интернасьональ.

Уже приземлились? — по-детски обиженно спросил ты, и судорога изуродовала твой прекрасный рот. Я знаю эту судорогу, такая была у тебя, когда ты в первый раз меня раздевал, я думала тогда, это отвращение, а это не отвращение, ты просто нервный такой, я потом видела эту судорогу часто, ты очень нервный, тебе нельзя расстраиваться, — я сейчас, — говорю я тебе.

Я спокойно иду по проходу хвостового салона, я изо всех сил стараюсь идти спокойно, ноги дрожат, проход еще свободен, сейчас бы рвануть, но ты смотришь в спину, я нащупываю в кармане обратный билет, все в порядке, вхожу в бизнес-класс, в проходе люди, пожалуйста, пропустите, ради Бога, скорей, скорей, пропустите, носовой салон, пропустите меня, пропустите, дайте дорогу, пропустите, тоннель к аэропорту, я бегу, скорей, скорей, пропустите, падаю, меня перешагивают, мы часто лежали с тобой, обнявшись, на полу, на снегу, на обочине ночного шоссе, это неправильно, что по нашим теням ходят, надо обвести контуры мертвых тел, случилось убийство, я бегу, дайте дорогу, сейчас только бы скрыться и на обратный рейс, а ты так и не поймешь, что только для встречи с тобой я устроила этот полет, подгадала предлог, заменила лицо, вымолила нелетную, а потом летную погоду, знаешь, мне даже кажется, только чтобы увидеть тебя, я сотворила эту Северную Америку, а заодно и Южную, и нашу с тобой Евразию, и все остальные материки этой большой и скудной планеты, где нам не судьба быть вместе, а сила притяжения которой так велика, что падающий из разжатых пальцев стакан, со мной всегда так, еще не успев долететь, разбивается вдребезги.

Санкт-Петербург.



ЕВГЕНИЯ КУНИНА

*

ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ

Лирическая трагедия

В «Новый мир»

Знаю и ценю стихи Евгении Куниной, негодую, что ее книга годы лежит, ожидая печати. Но ее «Франческа да Римини» вещь исключительная, и ее необходимо напечатать. Вы, прочтя, согласитесь со мной.

А лежит она чуть ли не полвека — по совершенной инертности и пассивности автора. Помогите это исправить!

Москва, 26.XI.92.

Анастасия Цветаева.

I

ФРАНЧЕСКА —
СВОЕМУ СУПРУГУ ДЖОВАННИ МАЛАТЕСТЕ
В ЛАГЕРЬ ПОД ЧЕЗЕНОЙ

Супруг мой! Потому я Вам пишу,
Что до конца тропы своей дошла,
И ждет меня безумье, или смерть,
Иль чудо — знает лишь Господь единый,
Я — знать не в силах...

Ты посеял семя,
Оно ж плоды наутро принесло
И с той поры на каждый новый день
Все новым ядом наполняет сердце.
Такой отравы горькой я полна,
Что кажется — та горечь сушит слезы,
Что мне польнь была бы слаще меда
В сравненьи с горькой мукою моей!
Ты петлю мне на горле завязал
И так, полузадушенной, повлек
Вслед за собой. Покорно я влачилась,
Пока могла, — но дальше нет пути.
Та петля — твой обман. Обман — отравы
И семя неминуемой беды.

.....
Я девочкой росла в моей Равенне,
И сосны мне шумели, навевая
Мечты о том, о чем жонглеры пели,
Когда, случалось, заходили в дом, —
О рыцарях отважнейших, о славе
Мужской, о женской доблести — любви.
Я о любви мечтала. Что такое
Любовь? Горячий золотой поток
Из сердца в сердце — словно солнца свет,
Что зажигает волны в час восхода!

Придет мой рыцарь, глянет мне в глаза,
 И я забуду все: отца и мать,
 Сестру и братьев, — и женою стану.
 Я дам ему блаженство — так поется,
 И сладкою тоскою полнят кровь
 Напевы лютни. Я в глазах его
 Сияющих свое преображенье
 В подругу, в гордость, в женщину найду.
 Кто ж будет муж мой? Воин и герой —
 Защитник славной родины и чести!
 Вокруг война кипела, словно море:
 Родной Равенны улицы несли
 Приливы и отливы бранных стычек,
 И стрел и дротиков протяжный свист
 Мне был привычен, словно лёт стрижа.
 Я знала, что красу мою отдаст
 Достойному союзнику отец мой,
 И тем гордилась: словно знаменосец,
 Я приведу защитникам Равенны
 Отряд друзей на помощь.

...И пришла

Весна, и день настал — отец мой молвил:
 «Тебя я Малатесте обещал.
 Он Римини владелец. Знаменитый
 Герой и вождь — твой будущий синьор.
 Мы ждем его сюда — он за тобою
 Приедет сам»... Как я тебя ждала,
 Супруг мой суженный! Как сердце билось!
 Ты знаешь, кто за мной тогда пришел,
 Ты знаешь, чьи — как два весенних неба —
 Внезапно засияли мне глаза,
 С моими встретившись. И с той минуты
 Я Паоло люблю — на жизнь и смерть.
 Тем пламенной люблю, что ненавижу,
 Тем горше ненавижу, что люблю.
 Нас повенчали — с ним, кому я душу
 Доверчиво вручила навсегда!
 Но он — не муж мне! Он рабом твоим,
 А мне — предателем пришел в наш дом.
 Зачем не ты в глаза мои взглянул!
 Ведь ты глядеть умеешь так приветно
 Из-под сурово сросшихся бровей!
 Тебя б я полюбила! Ты отважный,
 Бесстрашный воин с гордою осанкой,
 И резкий голос твой, в раскатах битвы
 Звонящий, словно медная труба,
 Смягчается, произнося «Франческа!».
 Зачем не ты тогда за мной пришел!
 Меня ты любишь — а другому отдал
 Любовь мою, и мне твою сносить
 Мучительнее, чем терзанья Ада...
 Ты, верно, думал заманить меня,
 Как птицу в клетку: Паоло красив...
 О, лучше бы мне быть навек слепою,
 Чем раз увидеть эту красоту!
 Ведь с той поры все сходства и различья
 Меж вами вновь и вновь меня казнят,
 Затем что ты — не он, а он — не ты...
 И я живу, одной и той же болью
 Терзаясь без конца: любовь — мой грех,
 И стыд, и страх, и пытка, и безумье,
 И — ненависть.

...О, золотой поток

Из сердца в сердце! Лавой раскаленной
 Струишься ты по жилам день и ночь!

И нет мне мира. Нет исхода муке.
 Одно лишь чудо — да простит Господь! —
 Спасеньем стало б: разорвать самой
 Ту петлю зла — изменою. Обнять
 Любимого, сказать ему: «Люблю!»
 В глазах его увидеть вновь сиянье,
 Что в них зажглось тогда. Его уста
 Прижать к своим. В едином поцелуе
 Вернуться вместе в тот весенний день,
 Когда мы встретились и обручились,—
 И умереть, не разнимая рук...

.....
 Я все сказала Вам, мой господин!

II

ПАОЛО МАЛАТЕСТА — ФРАНЧЕСКЕ

Я в Римини вернулся и сейчас
 Молю Вас, госпожа моя Франческа,
 Позвольте мне открыть Вам нынче ж нечто,
 Чего не в силах больше я таить.

III

Комната в замке Малатесты. Франческа стоит у окна.
 Входит Паоло. Он подходит к Франческе и, глубоко
 поклонившись, садится чуть поодаль на скамеечку.

Франческа

Добро пожаловать, синьор мой деверь.
 Вы прибыли сегодня? Вы устали
 С дороги, верно?

Паоло

Но усталость эта
 Намного легче той тоски бессонной,
 Что погнала меня в далекий путь
 Домой — сюда — к словам, что я сказать
 Давно Вам должен.

Франческа

Истинно ль должны Вы
 Мне именно поведать Вашу тайну?

Паоло

Мою — и Вашу, госпожа моя.
 Она — о Вас и обо мне, Франческа.
 Она живет, и бьется, и трепещет,
 И дышит, и дышать мешают мне
 С тех самых пор, с того святого дня,
 Когда я Вас увидел. С той проклятой
 Ночи, когда я предал Вас!

Франческа

О, Паоло!
 Ведь с тем пришли Вы, чтоб меня предать!

Паоло

Не к Вам я шел тогда. Невесту брату
Мне поручили привезти. Какое
Мне было дело до нее? Возьмусь —
Так привезу. Придусь по вкусу — что ж,
А там и брат придется.

...Но увидел
Я Вас — и, словно два весенних солнца,
Мне засияли ясные глаза
(Теперь они, печальные, похожи
На лебедей поникших). И забыл
Я сразу все — и ты одна осталась
В моей душе, Франческа... В этот день
Я жил тобой одной, забыв, зачем
Пришел в твой дом, и только к ночи понял
Свой черный грех. Увидел в западне
Тебя, погубленную — мной, кто душу
Готов отдать за твой приветный взгляд!
И смертное свое мученье понял
На целый век вперед. А дальше — знаешь
Сама. Старался я тебя не видеть...
Я уезжал из Римини надолго,
Я воевал — но ты была со мной
Везде, как тень моя. Как призрак горя,
Как счастье первой свежести весенней,
Загубленное мною навсегда!
Нет мне прощенья! Оправданья нет
И муке нет конца...

Франческа (*чуть слышно*)

Но почему же
Теперь Вы это говорите, Паоло?

Паоло

О, потому, что более не в силах
Молчать, и если бы уста принудил
Безмолвствовать — глаза мои кричали б
«Люблю тебя!» с такою страстной силой,
Что люди озирались бы на крик.

(*Садится снова у ее ног.*)

Послушай только, как вернулся я.
Когда меня Флоренция призвала
К себе защитником и капитаном,
Я принял то избранье от души.
Флоренция мне с юности была
Приманкой драгоценной. Там звучат
Канцоны, там обычаи учтивы,
Там нравы мягче, чем в Романье нашей,
Я поклялся служить ей до конца:
Мир охранять, чтобы цвела свободно,
Как повелел Господь, — но ты была
Так далеко... За эти годы злые
Я в первый раз уехал столь надолго,
Что каждый день мой начинался мукой
Тебя не видеть — и кончался ей,
Она же не кончалась... И однажды
При мне мой лучник Пьетро для забавы
Спустил стрелу и ласточку подбил.
Она легко к моим ногам упала,
Затрепетала вся — и умерла.

Но что-то было в ней, что мне тебя
 Напомнило — и тот весенний день,
 Когда мы встретились и обручились...
 Полет, внезапно прерванный стрелой...
 Изгибы крыл, как брови у тебя,
 Пушистых... трепет их в тоске предсмертной...
 Как будто ты упала мертвой птичкой
 К моим ногам. И я, кто столько раз
 Спокойно убивал своей рукою
 И столько раз беспечно видел смерть
 Со всех сторон, над ласточкой твоей
 Почувствовал такую боль в груди,
 Что застонал. Я повернул назад,
 Сошел с коня у здания Синьории,
 Вбежал, составил наспех свой отказ
 От должности, собрал моих людей —
 И в путь: обратно в Римини, сюда,
 К тебе, любимая. Взглянуть в глаза —
 И все сказать.

Франческа

Скажи, что ты не сон!
 Что голос твой сейчас не перервется
 Проклятьем пробуждения. Что ты —
 Мой Паоло, как я — твоя Франческа!

(Объятие.)

IV

ДЖОВАННИ МАЛАТЕСТА — СВОЕМУ ТЕСТЮ ГВИДО ДА ПОЛЕНТЕ В РАВЕННУ

Мессере Гвидо! Скрыть от Вас нельзя
 Того, что принесет мое посланье:
 Ведь слухи долетят быстрее гонцов
 И омрачат Ваш дом чернейшей тучей...
 Да и ответ держать пред Вами — мне,
 Виновнику беды моей и Вашей!
 Случилось так, что Ваша дочь Франческа,
 Жена моя пред Богом и людьми,
 Погибла от руки моей.

Того

Я не хотел — Мадонною клянусь.
 Но вот как это было.

Я Франческу

Любил как мог. Не мастер я вздыхать
 И ублажать красавиц — это дело
 Красавцу брату было по душе,
 Хоть он и воин был! (Теперь и он
 Убит и схоронен...)

За десять лет

Ни в чем ее не мог я упрекнуть:
 Была она и кроткой и послушной,
 Хозяйка добрая, во всем разумна.
 Молчать любила, правда, неохоча
 На слово — и на ласку. Но причин
 Я не искал: что ж, такова повадка.
 И вот на той неделе получаю
 Письмо ее в Чезене, где стоял
 Осадой... Сразу словно кто повязку
 Прочь с глаз сорвал мне. Словно я прозрел.
 Ей, пишет, больше жить немоготу:

Она с того злосчастнейшего дня,
 Как Паоло за нею к Вам приехал,
 Его забыть не в силах — потому
 Что сразу полюбила и обмана
 Простить не может ни ему, ни мне.
 Я как постиг письмо, решился мигом:
 Осаду Гвардиано поручил,
 Вскочил в седло — и поспешил домой.
 Что я скажу? Коня пуская вскачь,
 Я вслух твердил: «Франческа, выбирай!
 Неужто взгляд, простое впечатленье
 От синих глаз, красивого лица,
 Походки легкой перевесит годы,
 Со мною проведенные? Ведь я
 Всегда берег тебя. Ведь ты не знала
 Ни в чем отказа: хочешь ли чего,
 О ком ли просишь — все твои желанья
 Охотно исполнял. Из дальних стран
 Товары ль приходили — выбирала,
 Что нравилось. А сколь тебя люблю —
 Не ведала? Да я и сам не знал,
 Пока не понял, что женой моею
 Ты не была. Но пленницей тебя
 Я не хочу, и пусть Святой престол
 Нам узы разрешит, когда не любишь...
 Обман... но что за грех такой обман!
 Ведь я тебя не знал — а говорили:
 «Балованная дочь синьора Гвидо
 Откажет из каприза жениху —
 Хромому, неискусному в речах...»
 Ну, Паоло привез тебя. Но мужем...
 Какой он муж тебе? Он верхогляд,
 Он человек минутного желанья
 И быстрых чувств, он ветер молодой,
 А не мужчина! Мало ль слез лила
 Жена его, пока не притерпелась...»
 Вот так вот вслух себе я толковал,
 Пока свистел в ушах вечерний ветер
 Да стук копыт поспешный в тишине,
 Как сердце, колотился...

Показались

И стены Римини. Взошла луна,
 Дорогу облегчая. Захрапел
 Мой конь... Я второпях поводья бросил
 Привратнику — и наверх.

Ни души!

По лестнице, по залам... Дверь у ней
 Не приперта, и лунная дорожка
 Бежит оттуда. Я вошел.

...Они

Вдвоем сидели в лунной полутьме,
 Обнявшись так, как будто самый Ад
 Их не разнимет...

Паоло! Предатель!

Все, для чего я так спешил сюда,
 Заранее разбил ты... Значит, поздно
 Я прибыл: он меня опередил.
 Я крикнул: «Вор проклятый! Защищайся!»
 И на него с мечом. Но тут Франческа
 Наперерез, как ласточка орлу,
 Меж нами кинулась, и меч пронзил
 Ее... Тогда...

Тогда вторым ударом
 Я Паоло сразил. Они успели

Обняться вновь, уста прижать к устам —
 И умерли, не размыкая рук.
 На следующий день я под Чезену
 Был должен Паоло отряд отправить:
 Не следовало в Римини держать
 Его людей — да и мои глядеть
 В лицо мне избегали...

Я сидел,
 Отдав распоряженья, у себя
 На башне оружейной.

Хоронили
 В тот день обоих. Смутно долетал
 Звон колокольный, пение хорала
 И гул рыданий.

После погребенья,
 Когда я вышел, в сумерках, — весь город
 Пустым и диким показался мне.
 Закрыты ставни, черные знамена
 Над каждой кровлей, в каждом доме — плач.
 Навстречу мне попалась лишь одна
 Седая нищая. Всегда она робела
 Передо мной, а тут, наоборот,
 Вцепилась в мой рукав и устремила
 С безумным горем взгляд в мои глаза.
 И мне глубоким голосом: «Джанчотто! —
 Сказала. — Ты у нас убил святую!
 Нам всем она в несчастье помогала!
 Такой еще не видывал народ
 И не увидит... Страшен ты, Джанчотто,
 Всего ж страшнее — самому себе.
 Господь тебя прости, коль то возможно!»
 Вот суд людской над дочерью твоей...

.....
 Еще одно осталось досказать.
 Когда их выносили, на Франческу
 В последний раз взглянул я... Нет, ни боль,
 Ни ужас, ни тоска, ни укоризна
 Не исказили черт! Она сияла
 Таким восторгом счастья, словно солнце
 Сигнало вдруг мучительную ночь.
 И никогда за целых десять лет
 Я в ней не знал того расцвета жизни,
 Какой с собою в смерть она взяла.

1945.

От автора. Моя лирическая трагедия, написанная в необычной форме писем, с одной сценой посередине, возникла внезапно и почти чудом. Включив радио, я услышала две заключительные фразы оперного диалога между мужем Франчески и ею самой. На требование мужа, чтобы она была не только послушной, но и любящей женой, Франческа отвечает:

Простите мне, но лгать я не умею.

И меня пронзило такое горячее, такое абсолютное понимание всей ее сути, что явилась настоятельная необходимость написать ее письмо ее мужу. Я почувствовала себя ею, и слова выливались сами собой, а когда письмо было написано, встала потребность в свидании Франчески с Паоло, чтобы она поняла, что и он страдает не меньше ее. Дальнейшее, понятно, появилось примерно так же.

Когда меня кто-то спросил, зачем я избрала сюжет, на который уже столько написано, я ответила: «Не я выбрала сюжет, а сюжет выбрал меня».

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ОРГАН РЕТРАНСЛЯЦИИ

По страницам «Северо-Востока»

«С» «Северо-Восток» — сибирская литературно-публицистическая газета (индекс 50262). Она выходит с 1991 года на 16 полосах формата «Недели» или «Московских новостей» один раз в месяц в качестве приложения к «Сибирской газете» (Новосибирск), но несомненно имеет самостоятельное значение. Вот как формулирует редакция, возглавляемая И. Ю. Аристовым, свое направление:

«Редакция «Северо-Востока» ставит своей целью способствовать возрождению культуры, самосознания и исторической памяти русского народа, переживающего в XX веке национальную катастрофу, воссозданию в России, и прежде всего в Сибири, слоя национально мыслящей интеллигенции, находящейся на высоте задач, стоящих перед нашим Отечеством.

Дальнейшее существование России имеет своими условиями восстановление в ней утраченной после 1917 года национальной власти и русское христианское возрождение. Но в конечном итоге все русское будущее находится в зависимости от того, как сумеет новая Россия распорядиться своим главным богатством — земельными пространствами Сибири и Севера. Перед лицом глобального кризиса мировой цивилизации «наш выход один: чем быстрее, тем спасительнее — перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодежи) с далеких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны — на ее Северо-Восток» (А. И. Солженицын).

Программа эта выполняется на страницах «С.-В.» с последовательностью, оставляющей, впрочем, некоторый зазор для полемики. Интересно иное: «С.-В.», как мне кажется, это менее всего газета, поскольку газетой (любого рода) называется регулярная порция новых материалов — новостей. Но новостей в «С.-В.» как раз нет. Или почти нет. Судите сами. Вот № 1 за 1992 год (он же — № 5 от основания газеты). Читаем: Г. П. Федотов, «Будет ли существовать Россия?». Это сокращенная перепечатка из «Вестника РСХД» № 1-2 за 1929 год. Далее еще одна перепечатка из «Вестника РХД» № 161 (1991): С. Булгаков, «Социализм»; В. Зеньковский, «Деньги»; М. Назаров, «О религиозном оправдании частной собственности». В этом же номере — две статьи 1927 года Павла Павловича Муратова, одна из которых была перепечатана в «Русской мысли» в 1990 году. (Кстати, мысли П. П. Муратова именно сегодня звучат удивительно проблемно: «...смена советского государства рядом национально-этнических государств (включающих и русское государство) означала бы окончательную гибель того, что было всего дороже в России, — ее имперской культуры, ее мирового духа».) И в том же номере — письмо Л. Г. Корнилова Г. Н. Потанину 1918 года, тоже опубликованное в 1919 году в «Сибирской жизни». Может быть, это случайность? Посмотрим следующие номера. Вот № 2(6) за 1992 год. «Плач церкви московских» — перепечатка из бартевевского «Русского архива». Е. С. Полищук, «Патриарх Сергей и его декларация» — перепечатано из «Вестника РХД» № 161. Юрий Иваск, «Письмо об эмиграции» — перепечатано из сборника «Мосты» (Мюнхен, 1967). Из журнала «Россия» № 2 за 1924 год перепечатана статья Михаила Столярова «Могила Пушкина»¹. Смотрим № 3(7). Прот. Иоанн Мейендорф, «Святейший патриарх Тихон, служитель единства церкви» — перепечатка из «Вестника РХД» № 158. А. Солженицын, «По донскому разбору» — известное эссе о шолоховской «Поднятой целине». Д. В. Филатьев, «Катастрофа Белого движения в Сибири. Впечатления очевидца» (с продолжением в последующих номерах «С.-В.») — это ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1985 год. В № 4(8) — Г. Воробьев, «Благотворительность в Древней Руси» (из «Русского архива», 1892). Н. Пунин, «Андрей Рублев» — из «Аполлона» 1915 года. В. Лепяхин, «Иконное и иконическое в романе „Мастер и Маргарита“» — из «Вестника РХД» № 161. Еще одно известное

¹ Кстати, редакция «С.-В.» обращается к читателям с просьбой сообщить любые сведения о судьбе Михаила Столярова, печатавшегося в 20-е годы в СССР: 630099 Новосибирск, ул. М. Горького, 77-а, «Сибирская газета» («Северо-Восток»).

эссе Александра Солженицына, «Фильм о Рублеве», с резкой критикой известного фильма Андрея Тарковского. И в № 5(9) В. Вейдле, «Религия и культура» — из «Вестника РСХД» № 79. А. В. Карташев, «Церковь в ее историческом исполнении» — из № 58-59 того же «Вестника...». Я привожу не все примеры, но тенденция понятна.

Все это нельзя назвать републикацией, поскольку многие материалы даются в сокращении, в отрывках. Это не годится как подспорье в профессиональной работе, поскольку газету неудобно долго хранить в личной библиотеке, не то что книги того же «Вестника РСХД», с которыми заинтересованные читатели так или иначе знакомы и в прежние неласковые времена. Очевидно, что все эти перепечатки предназначены, во-первых, для сегодняшнего насущного чтения и, во-вторых, имеют в виду массового читателя, для которого старые материалы суть новые. «С.-В.» является, таким образом, газетой (журналом) — р е т р а н с л я т о р о м. Как для того, чтобы передать на большое расстояние теле- и радиосигнал из центральной студии, строили промежуточные передающие станции, так и «С.-В.» транслирует сибирским читателям то, что уже было сказано (сделано) ранее другими людьми. Миссия важная, но временная. Запущенный в космос спутник связи делает ненужными массу местных ретрансляторов.

Но кроме многочисленных перепечаток было бы несправедливо не заметить одну из немногих *первопубликаций* (1992, № 5), но такую, которая составила бы честь любому органу (в том числе и «Новому миру»). Парижанин Николай Росс предоставил «С.-В.» письмо генерала Врангеля генералу Краснову от 16 января 1922 года, копия которого хранится в Архиве Гуверовского института. Организатор Русского Общевоинского союза (РОВС), П. Н. Врангель придерживался, как пишет публикатор, национальной, но аполитичной и непредрешенческой позиции, что позволило сохранить идейное единство большинства белых воинов за границей в течение десятилетий. Не могу удержаться, чтобы не процитировать некоторые фрагменты письма:

«Глубокоуважаемый Петр Николаевич, <...> Вы не можете сомневаться в том, что по убеждениям своим я являюсь монархистом и что столь же монархично, притом сознательно, большинство Русской Армии. Я останавливаюсь на слове «сознательно», так как этим хотел подчеркнуть, что нынешняя Русская Армия, в отличие от старой, Императорской, стала сознательной, но, конечно, не в дурном, опошленном революцией смысле этого слова, а в лучшем его значении.

Тяжелые испытания последних годов, а в особенности пребывание на чужбине, научили многому каждого из чинов армии, до простого солдата включительно.

Патриотизм, любовь к отечеству, преданность престолу стали понятиями осознанными, продуманными и прочувствованными, отнюдь не механически воспринятыми на «звонитях словесности» и поверхностно усвоенными. Вместе с тем на первое место выдвигается понятие о «родине», и яркое сознание необходимости посвятить себя служению родине является той мощной нравственной силой, которая связывает всех чинов Армии в единое стройное целое и которая позволила ей выйти победительницей из перепетий ею испытаний.

В Императорской России понятие «монархизма» отождествлялось с понятием «родины». Революция разорвала эти два исторически неразрывных понятия <...>

Так как по условиям существующей обстановки понятие «монархизма» обусловлено принадлежностью к определенной политической партии, то преждевременное навязывание Армии лозунга «За Веру, Царя и Отечество» внесет лишь смятение в ряды Армии, которая увидела бы в этом попытку втянуть ее в борьбу политических партий. Такое же впечатление произвело бы на Армию и провозглашение республиканских лозунгов. Я не говорю уже о международной обстановке, которая совершенно исключает возможность в данных условиях начертать на наших знаменах яркий монархический лозунг. <...>

Идея служения родине сама по себе так велика, диктуемые ею задачи так многообразны, что в ней, в этой всем понятной идее <...> надо искать то начало, которое должно объединить Армию, народ и все государственно мыслящие и любящие родину элементы».

«С.-В.» печатает также и поэзию (разного уровня, имена авторов, за исключением Юрия Кублановского, мало что говорят читателю) и художественную прозу — рассказы Юрия Купрюхина «Отставший» (№ 2), Бориса Сосновского «Солиданкин — баптист из незаконных...» (№ 1), рассказы Владимира Сапожникова (№ 4), а также беседу с Виктором Астафьевым (№ 5) и отрывки из его нового военного романа «Прокляты и убиты» (№ 8, 9), вскоре напечатанного в «Новом мире».

Актуальная (новая) публицистика занимает в «С.-В.» гораздо меньше места, чем перепечатки, которые и читаются зачастую с большим интересом. Тем не менее стоит отметить ряд серьезных и принципиальных для направления газеты статей. Это выступление редактора «С.-В.» Игоря Аристова, в одном из которых он высказывает мысль, что нынешняя российская власть, хотя и вернула подлинное имя стране и

запретила КПСС, «не является правопреемником русской государственности, прямо продолжая наследовать незаконной и преступной советской власти», поэтому, считает автор, выполнение задач, стоящих сейчас перед Россией, было бы чудом для власти, имеющей такое (советское) происхождение, — «в лице Б. Ельцина мы вправе видеть начальный этап формирования национальной власти в России...» (№ 1). Примечательны статьи И. А. Есаулова «Тоталитарность и соборность: два лика русской культуры» (№ 5) и Олега Мраморнова «Удержанные глаза» (№ 3), последний резко полемизирует со статьями Сергея Лёзова в центральной печати. Оба материала меньше всего газетные и по объему, и по обстоятельности философско-религиозной полемики. Особый местный колорит придают газете многочисленные краеведческие, как бы раньше сказали, материалы об истории и культуре Сибири прошлой и нынешней, а также хроника общественно-политической сибирской (и не только) жизни. В № 9 публикуются отчет Н. Маслова о сибирском съезде НТС (август 1992 года, Бердск) и о фактическом разрыве сибирских организаций со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне и намерении создать независимую Российскую партию солидаристов. Не будучи специалистом в делах НТС, не берусь судить, прав ли Н. Маслов, считающий, что «организация, просуществовавшая вне России свыше 60 лет и сделавшая массу полезных для родины вещей, оказалась в решающий момент идейным и духовным банкротом» и что «дальнейшие попытки НТС (имеется в виду его зарубежное руководство.— А. В.) «исчислить» Россию в понятиях западной демократии приведут, безусловно, к исчезновению этой некогда славной организации с политической сцены». Но в любом случае все это имеет далеко не областническое значение и могло бы обсуждаться центральной прессой, прочел же я об этом разрыве только в «С.-В.».

В № 2 за 1992 год обращает на себя внимание доклад Ренаты Гальцевой «Христианизация культуры и задача церкви», читанный ею на симпозиуме «Христианство и культура в Европе» (Ватикан, 1991). Это, пожалуй, самое яркое публицистическое выступление в «С.-В.». Позволю себе несколько наиболее выразительных цитат:

«Сегодня христианская церковь — и это относится ко всем ее деноминациям — стоит перед новым «вызовом времени», как раньше она стояла перед вызовом марксизма. <...>

Речь идет уже не о «социальном», а о «культурном вопросе» (который завтра станет вопросом самого существования социума, ибо в культуре развиваются силы, способные потрясти основы общественного бытия). <...>

Тип человека, который внедряется в наше сознание современной культурой, оказывается абсолютно недостойным потребителем плодов и достижений разумного, гуманного и тонкого общественного устройства, ибо человек этот неразумен, жесток и brutalен. И глядя на подобное несоответствие между богатством, изяществом и предупредительностью западной социально-технической цивилизации и, с другой стороны, образом ее насельника (на экране, на сцене и в литературе), так и кажется, что мы находимся на земле, оставленной высоко и тонко организованным людским племенем и занятой одичавшими пришельцами невесть откуда. Перед нами обратная шпенглерiana: не старая цивилизация «мертвит» новую, нарождающуюся культуру, а напротив — новая культура, недостойная старой цивилизации, цепенит и разлагает ее. <...>

Герой нашего времени, каким он внедряется в современное сознание культурой, — это существо с животными инстинктами и с извращенной плотской душой, иначе говоря, это — антипод традиционному герою. Весть, с которой явился новый пришелец в мир, — вызов всем десяти заповедям, которые не всякий смельчак возьмется сегодня защищать в искусстве. Не солги, не убий, не пожелай чужого, уважай отца и мать, возлюби Бога, возлюби ближнего, не сотвори себе кумира и т. д. — все они до единой заменены здесь на обратные, а из поспрапия седьмой сотворен гигантский кумир. <...> Современный культурный персонаж — это ходячая инструкция по безбожной антропологии. <...> И этот образ, который является не столько списанным с действительности, сколько насаждаемым в ней, выставляется как норма человека. <...>

Предстоит небывалая борьба, потому что Князь лжи на сей раз выступает под прикрытием близких для сердца каждого секулярного человека — а это значит большинства человечества — лозунгов: свободы и прав личности. (Попробуйте возмутиться какой-нибудь непристойностью, всенародно демонстрируемой в печати или по телевидению, и вас тут же обвинят в нетолерантности, а заодно и в авторитарных замашках.) К армии вдохновенных служителей Аримана, захвативших рычаги масс-медиа, присоединяется, «страха ради либеральна», т. е. из боязни прослыть «запретителями» (это у нас самое страшное слово), и большинство интеллигенции.

И надо быть готовым к тому, что процесс экзорцизма культуры, если он будет предпринят, встретит невиданное сопротивление со стороны нынешнего

общественного мнения я уже вкусивших сладость распада больших масс людей. Схватка с культурным истеблишментом — это совсем не то, что обличение тоталитарных режимов, находившее отклик в сердцах большинства поработенных людей и поддержку у всей свободной половины мира. Теперь же речь пойдет не о том, чтобы давать права и свободы, но о том, чтобы их ограничивать».

Остановившись на том, что церковь, конечно, делает «за своей оградой» большое духовное дело, но «не борется с эпидемией, а только принимает на дому или при доме некоторых, не самых тяжелых больных», Р. Гальцева завершает статью таким предостережением:

«...в конце второго тысячелетия, несмотря на оживление церковной жизни в новые времена, Россия стоит перед лицом события столь же решающего, как крещение князем святым Владимиром Руси в конце I тысячелетия, но имеющего прямо противоположный смысл: ей грозит подлинное раскрещивание антихристовой культурой. Ведь Россия — особая страна: то, что сходит с рук другим, вызывает здесь апокалиптические потрясения. И сейчас она опять становится полигоном для испытания новых, аримановых трихин».

Вот эта живая тревога авторов и редакторов по поводу «аримановых трихин» и является, на мой взгляд, источником тенденциозности «С.-В.» независимо от того, что понимать под такой тенденциозностью — духовную силу или мировоззренческую узость.

На страницах «С.-В.» можно обнаружить примеры и того и другого. Сумеет ли его редакция найти свое самобытное место в газетно-журнальном мире, или «С.-В.» превратится в провинциального двойника более известных изданий на правом фланге? Время покажет.

А. В.

PS. С момента написания обзора позиции «С.-В.» более определились. В № 11(15) за 1992 год опубликованы материалы Конгресса национального спасения и аналитические заметки редактора «С.-В.» Игоря Аристова, оказавшегося его участником. Несмотря на оговорки, что конгресс «не был выражением подлинного здоровья», политическая поддержка ФНС «в его борьбе с болезнью более страшной и роковой по своим последствиям» все-таки заявлена и тем, к сожалению, определено место «С.-В.» в политическом спектре нашей периодики. Впрочем, еще большее сожаление вызывает в том же номере заметка редакции, предупреждающая читателей, что последняя из-за отсутствия материальных средств не гарантирует выхода «С.-В.». Не хотелось бы, чтобы поддержка ФНС оказалась последним словом так интересно начинавшегося издания.

Декабрь 1992.

В 1993 году
«Новый мир» предполагает опубликовать:

ДОРА ШТУРМАН

У края бездны

Корниловский мятеж глазами историка и современников

«Среди множества стереотипов советского исторического мышления, которые бессознательно воспринимались нами еще в детстве и затем сопровождали нас всю жизнь, представление о генерале Лавре Георгиевиче Корнилове как о белогвардейце-монархисте, реакционере и потенциальном диктаторе было одним из самых устойчивых. Оно долго не вызывало у большей части моего поколения никаких сомнений (разумеется, я говорю о тех, кого знала). Мелкий эпизод эпохи керенщины, одно из доказательств правоты Ленина и большевиков, свергнувших Временное правительство, не более. Между тем не только за рубежом с начала 20-х годов выходили объемистые тома недоступных для нас материалов и документов, но даже в СССР конца 20-х и начала 30-х годов еще публиковались документы и материалы, опровергавшие стереотипные советские представления о так называемой корниловщине, октябрьском перевороте и гражданской войне...»

*Не забудьте вовремя продлить
Вашу подписку на вторую половину 1993 года!*

ПУБЛИЦИСТИКА

Россия, которую мы обретаем...

ВИКТОР ЯРОШЕНКО

*

ПОПЫТКА ГАЙДАРА

*Помесячные записки историографа
«правительства реформ»*

Так получилось, что правительство Гайдара было мне не чужим. Со многими людьми, занимавшими в нем ключевые посты, я был знаком прежде — в их частной и научной жизни. С некоторыми — близко и коротко, другие были моими авторами в разные годы. Приходили, приносили статьи с новым видением экономики, экологии, политики; иногда эти статьи удавалось печатать, иногда и нет, о чем они до сих пор помнят.

Весь последний год я был рядом с ними, не занимая никаких постов на государственной службе, я был допущен наблюдать. Никогда прежде мне не доводилось видеть власть изнутри. Надо сказать, что многие вещи я теперь вижу иначе, чем прежде. Кое-что я записывал, думая, что когда-нибудь, не скоро, расскажу о первом посткоммунистическом правительстве России и о том, как оно начинало реформы...

Ноябрь 1992.

* * *

Для того чтобы писать о событиях последних месяцев и о ролях, которые пришлось играть моим друзьям, и прежде всего Егору Гайдару, начинать надо издали. Может быть, с того времени, как мы познакомились весной 1987 года в редакции журнала «Коммунист», слывшего тогда либеральным и перестроечным. Заместитель главного редактора Отто Лацис пригласил после короткой беседы заведующего экономическим отделом. Пришел Егор Гайдар, молодой, румяный, круглолицый, улыбочивый, радушный, излучающий доброжелательный интерес, и сразу увел за собой на свой этаж, увел, увлек.

Первой акцией экономического отдела в новом составе был «круглый стол» в Сумах, на Украине, на заводе имени Фрунзе. Изучали опыт блистательного внедрения очередной формы хозрасчета предприятия. На «круглый стол» редакция «Коммуниста» двинула крупные силы. Поехали Лацис, Гайдар, ну и мы из отдела, а также приглашенные эксперты — профессора Бунич, Ясин, Стародубровский. Никто не подозревал тогда, что в клубе заводского КБ видят завтрашних героев политической сцены.

«Круглый стол» прошел довольно ровно, выступали производственники, рассказывали о своих трудностях, теперь о них смешно вспоминать.

Позднее Гайдар обобщил этот период в статье «О благих намерениях». «Правда» опубликовала ее в июле 1990 года под трусливой рубрикой «Дискуссионная трибуна».

От редакции. В статье Виктора Ярошенко речь идет о минувших полутора годах, которые в наше стремительное время едва ли не в день их завершения уже стали историей. Эта статья не столько исчерпывающий обзор минувшего периода, сколько попытка проследить путь первого посткоммунистического правительства России, к которому был близок и автор. «Новый мир», будучи журналом прежде всего литературным, не может ставить перед собой задачу не только систематически, но и периодически, через год, полтора, два, публиковать обзоры (статьи, впечатления, дневники, заметки) такого рода, но в то же время он этой задаче и не чужд, мы будем признательны тем авторам, которые возьмут на себя труд выступить на наших страницах в том же плане, безусловно интересном и необходимом для современного читателя.

«Когда готовили массовый перевод предприятий на полный хозрасчет, не раз и не два на разных уровнях собирали директоров крупных заводов, советовались с ними. Если отбросить личные черты, отраслевую специфику, общий тон таких выступлений, заданный объективными интересами трудовых коллективов, известен: дать свободу в реализации своей продукции, но жестко спросить с поставщиков, если задумают своеволичить, развязать руки в расходовании заработанной прибыли, но гарантировать, при нужде, финансовую помощь государства. Влияние такого подхода, желания сделать экономическую реформу «дамой, приятной во всех отношениях», на начавшиеся в 1988 году преобразования в системе хозяйствования было очевидным».

Потом мы с Гайдаром написали «Нулевой цикл», довольно заметная была публикация по тем временам. Нулевым циклом мы назвали всю нашу экономику, тяготеющую к простым технологиям, к землеройным работам, к бесконечным государственным вливаниям. Я и еще писал в этом духе о гидроэнергетике, против Гидропроекта. Гайдар делал свои годовые обзоры экономической жизни, заметные в экономической публицистике того короткого периода поздней перестройки.

Для него все это было как-то не всерьез. Настоящая жизнь начиналась вечерами, когда к нему в кабинет собирались молодые экономисты: Григорьев, Вавилов, Васильев, Чубайс, Авен, Лопухин, Машиц, Нечаев, люди теперь известные.

Так же, урывками, писал докторскую, в отпуске — книгу. Пафоса в этом не было никакого. Всерьез было, пожалуй, вот что: борьба против топливно-энергетического лобби, против западносибирского нефтехимического проекта, лоббируемого шестью министрами и Рыжковым; всерьез была экспертиза Тенгиза и все усложняющиеся дела в аналитических группах, писавших бесконечные проекты, программы и записки.

Я скоро ушел в «Новый мир». Уход стал довольно мучительным: и уйти хотелось, я мечтал о «Новом мире», он был живым и авторитетным, к нему я привык с юности, и хотелось прикоснуться к этой его материковой солидности. Было очень трудно уйти от друзей, мы все как-то очень сблизились. Но осенью 1988-го я все-таки ушел, а в начале девяностого в «Правду» ушел и Гайдар. Ушел он без иллюзий, в жесткую мясорубку, там уже не было ни команды, ни друзей, но там ковался, как теперь я понимаю, боец, которого нельзя сдвинуть. Его статьи в «Правде» резко отличались по тону и смыслу от курса газеты, да и от публикаций его собственного экономического отдела. Все та же трезвая конкретность, та же борьба с гигантоманией, разбазариванием госинвестиций, проеданием бюджета, против хищничества ведомств.

В октябре 1990-го в Верховном Совете он был в очередной экономической группе, созданной Горбачевым. Сказал, что готов уйти из «Правды» на улицу, «надеть шинель Грушицкого». Шинель надевать не пришлось, потому что уже через пару недель он начал создавать Институт экономической политики и как-то сразу сумел привлечь туда самых блестящих и перспективных экономистов. Заместителями стали Машиц, Нечаев и Головнин (по оргвопросам). Весной 1991-го, когда я попал в больницу, друзья приезжали ко мне, рассказывали не столько об институте, сколько о проекте Тенгиза, независимую научную экспертизу которого возглавил Гайдар.

Война шла страшная. Министерства, в общем-то, играли с фирмой на одну лапу. Егор был убежден, что проект невыгоден для страны. Михаил Гуртовой из «Московских новостей» напечатал статью, потом другую. Выступили и «Независимая» с двусмысленной заметкой, и «Коммерсантъ», подвергая сомнению добросовестность экспертизы. И правда, экспертов послали в Америку на съедение «Шеврона», на согласование. Гайдар поставил тогда категорическое условие: он поедет, но на деньги правительства, а не «Шеврона», поедет один, вперед, и будет располагать свободой рук. Он приехал немного раньше, еще из Москвы договорился по телефону с юридической фирмой «Клири и Готлиб» об отстаивании ими российских интересов при экспертизе проекта. Юристы вцепились в «Шеврон» мертвой хваткой. Затрещал контракт, которому протезировали Буш и Горбачев. Получился страшный скандал, стоивший больших потерь главному лоббисту, кормившемуся от советских властей и Америки, господину Гиффену.

Был уже июль 1991-го. Я улетел на семинар в Кембридж обсуждать деятельность групп давления и партий интересов. Гайдара в Англии так и не дождался. Он застрял в Америке. Я не знал, сказал он по приезде оттуда, что во мне проснется такой жесткий патриот. У них там полно наших вояжеров, поливающих собственную страну. Цену великому, улыбчивому, англоязычному и несговорчивому директору института быстро узнали в Мировом банке и Валютном фонде.

Шел уже август 1991-го. Катилось к закату лето, а вместе с ним и Союз. Началась пора отпусков...

Был понедельник, 19 августа. Конец всему. Мы были уверены, что Горбачева больше не увидим, что пришли черные дни диктатуры на долгие годы. Ни Горбачева, ни Ельцина.

В «Новом мире» тоже все были растеряны. Редакция собралась в понедельник, решила бороться с хунтой. Решили что-то писать, что-то размножать, благо есть ксерокс, подаренный Солженицыным. Брали в «Московских новостях» тексты, размножали...

6 Понедельник. Полдень. День был сумрачный, тревожный. Пошли к Моссовету. Внутри нас не пустили. Никто ничего не знает. Начался дождь. Пошли на Манежную площадь. Там стояла колонна танков, остановленная пикетчиками. Солдаты не смотрели в глаза. Офицеры препирались с нами жестко и угрожающе. Они все говорили, что боекомплектов у них нет. Студенты живой цепью сидели на асфальте, не пуская танки. У Манежа разворачивали троллейбусы, ставили заграждения. Гаишники стояли чуть в стороне равнодушно, ни во что не вмешивались. Пошли по Герцена к Белому дому узнать, что происходит там, жив ли Ельцин. У Белого дома было уже довольно много людей. Тащили кто арматуру, кто скамейку, кто трубу. Гайдар привел свой институт, они утром провели собрание, вышли из КПСС. У первого подъезда толпа ловила листовки, брошенные из окон второго этажа, с указами Ельцина. Люди прибывали. Дождь усилился. Мы с женой ходили от подъезда к подъезду. Спрашивали, видел ли кто Ельцина, здесь ли он. Говорили: здесь, видели. Потом и мы увидели Ельцина в окне. Услышали Руккого, Силаева, Бурбулиса.

Народ прибывал. Начали появляться и ладные ребята с армейской статью. Запомнился один — в офицерской форме без погон, с саперной лопаткой на поясе. Рассказывал, что был в Афгане, потом в Баку. Я знаю, как это делается, говорил он. Я не хочу больше убивать. Я не хочу назад к тому маразму, что был здесь. Военных становилось больше. Формировались какие-то команды, у подъездов сотни. Шла запись. На глазах возникала структура сопротивления. Вечером, когда начался митинг со стороны сквера Павлика Морозова, людей было уже много. Зажгли костры. Приходили семьи, люди стояли взявшись за руки. К ночи шли и шли.

Гайдар 19-го приехал с утра в институт, сказал, что едет к Белому дому. Сотрудники пошли с ним. За несколько дней до того его приглашали к Бурбулису, звали советником по экономике. Теперь он позвонил, сказал, что согласен. Поехал в Белый дом. Вышел Алексей Головков, забрал с собой Гайдара. 22-го Гайдар рассказывал мне о позавчерашней ночи. Да и сам я кое-что видел в ту страшную ночь, бродя вокруг Белого дома с Пашей Пэнэжко, спецкором «Труда» и новоявленным очеркистом. Шел дождь почти всю ночь, до утра, казалось, вечность, и было довольно страшно. Утром, когда мы возвращались домой по Ленинградскому проспекту, навстречу шли танки.

Без этих дней в августе не было бы ни реформы, ни нового правительства, ни новой жизни — трудной, но совсем другой, какая она есть сейчас.

В сентябре они уже засели в Архангельском, на пятнадцатой даче. Она считалась счастливой — начинания, задуманные там, имели продолжение. Они стали «рабочей группой» и больше месяца день и ночь готовили концепцию, программные документы, разрабатывали шаги для первого посткоммунистического правительства России. 6 ноября и в последующие дни Ельцин подписал указы о назначении Егора Гайдара вице-премьером и министром экономики и финансов, Александра Шохина — вице-премьером и министром труда, Владимира Лопухина — министром топлива и энергетики, Петра Авена — председателем Комитета внешних экономических связей, Владимира Машица — министром по экономическим связям России и республик, Андрея Козырева — министром иностранных дел.

Ноябрь 1991 года

6 Рано утром 7 ноября, красный день календаря. Прямо с дачи поехали брать власть. Вся власть России тогда была в Белом доме. Приехали к подъезду, у которого они стояли два месяца назад. Гайдар показал бумажку за подписью Ельцина о назначении на должность вице-преьера, милиционер с автоматом пропустил внутрь. Поднялись на лифте, прошли пустыми коридорами, еще одному с автоматом показали мандат, кто-то принес ключи, открыли этаж, потом приемную; у входа висела табличка: «Председатель Совета Министров РСФСР И. С. Силаев» (через несколько часов ее сняли). Так случилось, что я был с ними в те часы. Гайдар зашел в огромный силаевский кабинет, постоял у стола, рядом с которым на полках выселись ряды белых гербастых телефонов. Отдельно стояли два аппарата с красными пластмассовыми наклейками: «ГОРБАЧЕВ», «ЕЛЬЦИН». Открыл еще одну дверь, зашел, осмотрелся. Комната отдыха. Аскетизм власти. Стол. Жесткий диван. Сейф. Опять телефоны. Зачем-то велотренажер. Гайдар поставил кейс на стол, открыл, вынул толстую кипу документов, подготовленных в Архангельском. Приемную в эти минуты осваивал Николай Головнин: ему, вчерашнему экономическому журналисту,

предстояло в считанные часы создать работающий секретариат вице-преьера. Приехал другой, назначенный вице-премьером, — друг Гайдара Александр Шохин. Начали подъезжать смущенные и раскрасневшиеся от свалившейся на них задачи свежейиспеченные министры. К вечеру из Вены прилетел Петр Авен. Кабинетов не было, не было автомашин, не было телефонных аппаратов. Но правительство уже было. Через несколько дней оно переехало на Старую площадь, туда, где совсем недавно была святая святых КПСС.

Декабрь 1991 года

Русская политика

В «Очерках политических обстоятельств 1989—1990 годов» («Новый мир», 1991, № 3) я пытался показать, как владычество партийных интересов привело к гибели государственную систему Союза. Союзный парламент и вся система власти пришли к патовой ситуации к сентябрю 1990 года. Дальше ситуация в предложенных формах развиваться не смогла. Начал разворачиваться российский сюжет, который я, как и многие другие, считал тогда побочным. Мы еще верили в потенциал Горбачева, ... 4-м союзном съезде уже проигравшего. Российский сюжет набирал силу по мере развития союзного кризиса. К 28 марта 1991 года, ко дню открытия российского съезда народных депутатов, ситуация обострилась. Вспомните этот день, когда власти первый раз вывели солдат против демонстрантов и не посмели стрелять. Съезд начался с протестов, и дальше все пошло уже в русле российской политики. Суверенитет России заработал. Сначала решение о референдуме, потом референдум, потом всенародные выборы президента, потом и президент Ельцин с 12 июня 1991 года.

Горбачев продолжал по инерции ново-огаревский процесс, но все яснее становилось, что союзного договора в горбачевской транскрипции не будет. Российскому президенту и возникающей российской государственности Горбачев уже не смог противопоставить ничего. Даже на аппаратном уровне начались драматические столкновения. Ельцин вырвал себе кремлевскую резиденцию, стал принимать гостей в Кремле. По Союзу покатила волна референдумов, президентских выборов, инаугураций. Странные, фантомные реальности, ничего не меняющие на карте пространств, ни на грош не увеличивающие богатство, но, как выяснилось впоследствии, перераспределяющие собственность государства и необратимо меняющие судьбы народов.

И вот Беловежская пуша...

Январь 1992 года

Ну а дальше? Насколько страна примет все это, окажется способной к переменам? К напряжениям? К падению уровня жизни? Росту цен? Безработице? Дезинтеграции всего и вся? Кто знал это заранее? Всю осень газеты печатали панические заголовки о предстоящем голоде и лютой зиме.

Первым делом предстояло отпустить цены, хотя бы часть цен, потому что товары исчезли все, самая неприятная из возможных форм инфляции в виде тотального дефицита. Ничего нового, теоретически хорошо отработанная модель, есть апробированные решения. Новое правительство действовало не по книжкам, которых прочитало много, а по здравому смыслу. Впервые в жизни допущенные к операционному столу, государственные люди новой формации вели операцию по самоучителю с твердостью и неуклонностью неофитов. (Гайдар сам как-то в одном из телеинтервью первых месяцев сравнил правительство с бригадой хирургов и просил не толкать их под руку.) Оппоненты, а ими стали почти все, что тоже ожидаемо было заранее, но очень трудно переносимо — от Верховного Совета до «патриотов» в подземных переходах — подвергали сомнению их «хирургическую» квалификацию и призывали страну бежать с операционного стола. Страна трепетала, великая и почти покорная, но не бежала. Очередной раз она отдавалась чужим рукам с удивительным простодушием и легким вздохом покорности судьбе. Отставки только что назначенного правительства требовали всюду и везде — и белые, и красные, и черные, и коричневые.

Самым недостойным и циничным образом повели себя многие из вчерашних коллег-экономистов. Обиженные тем, что их не позвали, оскорбленные тем, что позвали этих, тридцатипяти-сорокалетних, что перечеркивало надежды целых поколений, а это не прощается, они в разных обозрениях и «Итогах» уже с первых дней начали obstruction.

Кто из них не понимал, что демонополизация возможна тогда, когда возникнет конкуренция, когда в страчу хлынет заграничный товар и зашатается наша промыш-

ленность, привыкшая к хорошо изолированному парнику на государственной теплой подушке. Когда радиоприемники, магнитофоны, велосипеды, сковородки и многое другое, что нужно людям, можно будет выбирать из множества вариантов. Уже сейчас это почти так, и коммерческие магазины с их ценами реально влияют на уровень цен в промышленности. Нельзя продать наш телевизор дороже, если рядом продается южнокорейский, а южнокорейский, в свою очередь, нельзя продать дороже, чем на мировом рынке (пусть в рублевом эквиваленте). Монополиста можно усмирить не строгими декретами и не строительством еще ста заводов, а открытием экономики, допуском на наш рынок тысяч производителей со всего мира, когда и ботинки и карбюраторы люди будут выбирать в необозримом мировом супермаркете. Но это, увы, сопряжено с падением производства, с драматическими напряжениями, которые страна может и не перенести.

Предстоят очень большие, долгие и мучительные перемены, хронической станет безработица, исчисляемая миллионами людей, а на этом фоне не могут не обостриться этнические и региональные конфликты, не оживиться социалистическая и коммунистическая деятельность, не окрепнуть профсоюзы, в борьбе за интересы рабочих набирающие силу и авторитет. Трагически не правы те, кто хоронит до времени идею социализма: ведь идея социальной справедливости, «родного государства», которое заботится обо мне от рождения до смерти, защищает, воспитывает, карает (но отечески), эта идея глубоко сидит в народном сознании, и равной по крепости и цельности ей пока на замену нет. Вот в чем надежда тех, кто взыскует власти. Они рассчитывают, что уставшие и потерявшие надежду люди принесут ее им, обещающим блага за так. Механизм этот понятен, хорошо отработан в нашем веке на самом разном национальном материале и у нас.

За право быть главным демагогом и народным трибуном, а потом и вождем настоящая битва еще не развернулась, она впереди — в 1993-м, 1994-м... Так много конкурентов, что у правительства, которое называли даже не временным, а «зимним», появился шанс устоять. Ясно одно: отечественная промышленность сможет выздороветь, только когда переболеет после опасной прививки к мировой конкуренции. Не раньше. Именно поэтому главные проблемы долговременные, структурные, макроэкономические. Структурная перестройка всей нашей экономики — долговременная историческая задача. Чтобы решить ее, множеству миллионов людей придется переменить занятия, навыки, профессии, образ мыслей. Конечно, можно выразить желание ничего не менять и нежелание меняться самому. Можно даже попытаться вернуть прошлое. Возродить КПСС и каким-то неясным мне, но явно насильственным образом воссоздать Советский Союз. Это ли не цель желанная? Братский союз братских народов, живущих в мире и дружбе, — это ли не мечта для людей, теряющих детей в межрайонных и межгородских войнах, множестве локальных войн, грозящих слиться в одну, всеобщую. Думаю, что эту цель и преследуют те, кто, нагнетая насилие, хотел бы вернуться к власти.

Но я полагаю, что события, происходящие на гигантских пространствах Евразии, необратимы. Никто не равен самому себе трехлетней давности. Ту страну уже нельзя склеить, мы стали другими. Лыдина раскололась и начала таять, никакой мороз не вернет ее обломки в прежнее состояние. Одни, оплакивая трагический распад великой империи, предрекают разрушение и России. А я вижу другое, светлое. Строительство России, строительство совсем новой страны, на верных, естественных и справедливых основаниях. Строительство снизу, от регионов, из народной каждодневной самодеятельности. Строительство новой империи, если понимать под империей сообщество мирно живущих общин и народов на огромной территории, объединенное общим промышленным, продовольственным, топливно-энергетическим рынками, рынком ценных бумаг, труда, общей системой экологической и технологической безопасности, крепкой валютой и демократическими законами. И хорошо защищенное.

4 февраля 1992 года

Поздний вечер, позже 22-х. Раньше тут не принимают. Все работают еще вокруг министра. Министерство экономики, бывший Госплан. Огромные пустые коридоры, дух неустроенности, какой-то системной неприкаянности; люди, не сумевшие устроить контору, устраивали страну. Бесконечный ряд дверей с одинаковыми табличками — и у министра и у клерка таблички тут одинаковые. Госплан — стиль. Конец шестого этажа, выгородка, неудобная пыльная приемная, неснужные, забытые книги на полках — Ленин, 2-е издание Энциклопедии... Здесь сидели Вознесенский, Байбаков...

Андрей Нечаев усталый, но держится хорошо, шутит.

— Что нового? Вот видишь, сводка — цены начали ползти вниз: на мясо, на масло (это начало февраля, самые первые шаги реформы). Падение цен на мясо говорит о том, что режут скот, нет кормов.

Пока ехали в машине, Нечаев сказал, что сейчас самое узкое место — кокс, пока шахтеры выясняют отношения с металлургами, вся промышленность может обрушиться.

А потом он сказал, что, кажется, реформа кончилась, — и голос у него дрогнул, уверенный, вальяжный голос.

— Почему? На днях подписан Указ о трехкратном повышении зарплаты шахтерам. И свободных цен на уголь не будет. А что будет? Будет то, что потребуются дотация в сто сорок миллиардов и начнется гонка зарплат, драка за льготы, а там и гиперинфляция — приехали. Я тут армии руки выкручиваю, каждые десять миллионов со скрипом уступаем, а они сто сорок миллиардов одним махом дали.

Возвращались молча. Алексей Морозов, помощник Гайдара, сказал: «Я не верю, что Гайдар сдался. Он, наверное, что-то придумал, какую-то штуку, чтобы все это сбалансировать».

16 февраля. Из блокнота

Сегодня должна была бы завершиться программа «500 дней», если бы ее приняли тогда, в сентябре 1990 года. Сегодня же отметило сто дней «правительство реформ». Да, сто дней. И что же сделано?

Две недели назад Гайдар сказал мне, что меморандум, или политическая программа правительства, которую он писал еще в августе—сентябре, уже наполовину выполнена.

Чуть ощутимо, но ощутимо, поползло вверх настроение общества. Или мне бы хотелось, чтобы оно пошло вверх?

Уже почти половина населения готова поддержать реформы, если верить опросам, о которых сообщают газеты. Уже меньше 40 процентов людей считают, что повышения цен выдержать нельзя. Уже в магазинах можно спокойно купить продукты, которые мы забыли, как выглядят. Я купил на днях — без очереди — на двести рублей: мойву, селедку, двух цыплят, муку, хлеб, еще чего-то... Были бы деньги, а товары уже появились. А как боялись, как злорадствовали, что товаров не будет! Похоже, что самый страшный период, декабрь—январь, уже позади.

И голодом перестало пугать телевидение, которое сменило тон, особенно российское. Нет уже такого наглого перевираания сути происходящего.

7 февраля в кинотеатре «Россия» был конгресс «патриотических сил». Я был там, слушал очень внимательно. Казачество — это слой, с которым можно искать контакт. В центре событий был там Аксютин. Идет консолидация самых разных сил. Общее у них то, что все они ненавидят происходящее, ненавидят реформы, ненавидят людей, их проводящих.

Война, которую повели с самых первых дней против «правительства мальчишек» и Хасбулатов, и Руцкой, и множество других людей, в том числе академики-экономисты, понятна. Эта война партий интересов, всех этих совсем еще не лишившихся власти магнатов промышленности, директоров гигантских заводов, генконструкторов, генералов в штатском и военном. И тех, увы, миллионов людей, которые действительно стоят за ними, кого они, эти генералы, кормят и поят. Корпоративное общество...

Правительство реформ могло прийти к власти без их согласия, практически с улицы, только в результате глубокой революции; ни при каких иных обстоятельствах им бы не удалось взять и удержать власть. Горбачев прекрасно знал Гайдара, гораздо раньше, чем его узнал Ельцин. Но он даже и на Явлинского не решился...

Геннадий Бурбулис рассказывал, что он не был до путча знаком с Гайдаром, лишь летом 1990 года читал его статью «О благих намерениях» в «Правде», которая произвела на него тогда большое впечатление. Они и познакомились в дни путча, а в страшную ночь на 21 августа обсуждали общую стратегию необходимых реформ.

Егор Гайдар и его друзья пришли в правительство без каких-либо иллюзий. Шли ненадолго, на несколько месяцев, каждый знал, что им предстоит лишь самый неприятный и неблагоприятный участок исторической работы.

Года два назад Гайдар сказал как-то, что согласился бы стать министром финансов, но «кабинетов через пять». Тогда было правительство Рыжкова. Потом Рыжкова—Абалкина, потом Горбачева—Петракова, Горбачева—Шаталина, Горбачева—Павлова, Силаева—Явлинского, Силаева—Сабурова... Явлинский, Скоков, Лобов, Гаврилов — многие промелькнули на российском правительственном небосклоне.

Теперь пришел их черед сделать то, что все другие оставляли делать своим последователям, зная, что не удержат страну и падут, как только осуществят

либерализацию цен, начнут приватизацию, примут на себя первый удар структурной катастрофы.

Никто не взялся сделать то, что без колебаний делает Гайдар, заслоняясь до поры, как щитом, авторитетом Ельцина, зная, что его и команду постараются смести, как только станет очевидной победа, как только наметится перелом, желающих будет много: и гэнгачеписты старого и нового образца, и ВПК.

И Андрей Алексеевич Нечаев, и Владимир Михайлович Машиц, и Владимир Михайлович Лопухин в разное время говорили мне: «Ну кто еще возьмется, кто еще имеет программу реальных последовательных действий, да они просить будут, чтобы остались!» (Первого — и вполне неожиданно — Ельцин снял Владимира Лопухина, министра топлива и энергетики. Его программа преобразования топливных отраслей провисла; не думаю, что Черномырдин будет ее реализовывать.)

Гайдар в ответ на такие самоуспокоительные эскапады улыбался, проводил ладонью по усталому лицу: а почему вы решили, что наши оппоненты будут поступать рационально? Найдутся, непременно найдутся желающие поруководить этой страной.

Но вообще-то на эту тему в правительстве говорить не принято, если только не в видах стратегического анализа.

Сейчас нами правит удивительно откровенное правительство. Оно ведет практически открытую политику. Гайдар много раз писал в своих статьях о том, что сейчас пытается реализовать. Он поставил на финансовое выздоровление, прежде всего на крепкий рубль, на сокращение раздутого госбюджета, на прагматическое и каждодневное реагирование на меняющиеся обстоятельства, за что его обвиняют в беспринципности многие советники и эксперты. Финансовое выздоровление (и это в ситуации, когда правительство не правит банком, а банк — эмиссией в рублевом пространстве), отпуск цен, а значит, их какое-то установление, пусть и не вполне свободное, приватизация, пусть сначала и мелкая, непоследовательная. Концептуальные документы группы абитуриентов, претендующих на то, чтобы стать правительством, были написаны Гайдаром, Нечаевым, Машицем, Вавиловым, Григорьевым, Чубайсом, Кагаловским и всеми, кто входил в эту команду еще в сентябрьское сидение 1991 года на пятнадцатой даче в Архангельском.

Украина и Россия

Киевские власти ведут сейчас очень трудную, национальным чувством гордости поддерживаемую игру, крайне неблагоприятную для украинской самобытности. Но реальность состоит в том, что на этом историческом повороте Украине предоставили выплывать в одиночку, а это не может не сказаться и на будущих взаимоотношениях. Украине трудно с ее изношенной, скученной и энергоемкой промышленностью, с ее недостаточными фондами, сверхраспаханной землей, теряющей плодородие, неблагоприятной производственной структурой, истощенными ресурсами, тяжелой экологической ситуацией.

На Украине сейчас любой рассчитывающий на популярность политик должен играть в самостийную игру, как, впрочем, и на Дальнем Востоке и в Татарии. Никакой иной игры общество, обозленное «происками центра», не примет. Правда, встречи в Дагомые дали надежду, в которую трудно даже поверить, настолько далеко зашло размежевание и противостояние. Дележ армии, авиации и флота. Народ мягкий, прагматичный, сентиментальный и предприимчивый, обольщенный очередными политиками, превратился в форпост антимосковских сил. Но никаких московских сил нет, а есть и в Москве опасное противостояние правительства и противоправительственных сил. И чем безнадежней будут дела на предприятиях, в отраслях, регионах, чем трудней с реализацией продукции по вздутым ценам, чем больше взаимные долги и неплатежи, тем с большим ожесточением будут делить корабли и самолеты, танки и ракеты. А разделенное оружие, мы уже знаем, начинает стрелять.

Историки еще скажут, что в тот момент, когда откололась Украина, стала возможной российская реформа и строительство России. С Украинной, с ее заживевшим истеблишментом, замороженным народом, национально озбоченным просвещенным классом, никакой реформы бы не вышло, невозможно провести ее и с байско-партийным Узбекистаном, клановым и нищим Таджикистаном, раздираемой распрями Молдавией. Нужно было отцепить караван, чтобы совершить маневр, как ни обидно это сравнение. Как писали еще в горбачевскую эпоху, эскадра выбирает скорость по самому тихоходному кораблю. Россия ушла в отрыв, бросив конвой. Никакой союзный парламент никогда не ратифицировал бы, не санкционировал бы и десятой доли тех законов, которые принял российский, не такой уж и демократический и прогрессивистский. И тем не менее российский, не верящий правительству, спорящий с президентом, простоватый (в сравнении с недавним союзным!), именно этот парламент реформу санкционировал и важнейшие законодательные акты принял.

Ни за что на свете союзный Верховный Совет не принял бы это, никогда союзному правительству не удалось бы сбалансировать бюджет, потому что против стали бы среднеазиатские республики, Украина, аграрии, ВПК — куда уж тут.

21 августа прошлого года должен был быть подписан Союзный договор, по мнению Крючкова и Язова, уничтожающий Союз. В некотором смысле, конечно, да. Помню пресс-конференцию Рыжкова 18 сентября 1990 года, после того как Горбачев сказал на Верховном Совете, что предпочитает программу Шаталина—Явлинского. Рыжков сказал тогда прямо: «Эта программа уничтожает Союз потому, что отменяет федеральные налоги». Союз был обречен, потому что слишком разный уровень задач у стран, его составляющих, слишком несходные экономики, демография и прочее...

Шлюзование экономики

Россия должна была уйти после спасения сибирских рек от азиатского плена. Наша эскадра никогда бы не развернулась в узком шлюзе, отделяющем нас от мировой экономики. Потому что исторический процесс, который мы переживаем, это процесс шлюзования экономики, да и всей жизни, перевод ее на иной уровень, на другие, нормальные принципы, на непродуманную физику. Просто так наш собственный котлован нельзя соединить с мировым океаном — уровни разные. Мы, как Каспийское море, находимся в глубокой депрессионной воронке. Я думаю, главное, что делает сейчас правительство реформ,— оно шлюзует эту экономику. Через отмену, а попросту уничтожение монополии внешней торговли, льгот, квот, лицензий, а значит, и базы для подкупа и коррупции. Через уничтожение высоких экспортных тарифов и почти снятие импортных (защищая только некоторые производства и отрасли), через либерализацию таможенного закона, через сложную валютную рекомбинацию, через гигантские займы, через концессии, через привлечение мировых инвестиций, прежде всего частных, к нам. Мало кто заметил, а не похвалил никто, пришлось самому Гайдару сказать об этом в телеинтервью, но доллар за первые месяцы сильно подешевел на наших просторах, и даже абсолютный курс доллара упал. Потом он поднялся, но относительно прошлого года — упал и продолжает падать. На доллар сейчас можно купить меньше наших продуктов, чем осенью прошлого года, меньше угля, нефти, газа, икры, древесины, чем в декабре 1991-го.

Шлюзование экономики — это ключевое понятие, именно оно должно войти в наши головы, а не «обвальная приватизация», бессмыслица «женского разума». Нам всем надо бы стать спокойнее и строже, соответствовать трудному историческому моменту, пришедшему на наши дни. Но ведь и повезло, неужто было бы лучше загнивать в сумерках застоя, при девяностолетнем Черненко?

Происходящее — не развал империи, ни к чему истерика. Не распад и не гибель, а ответственный в веках исторический поворот, который мы просто обязаны произвести. И если получится у России, у Белоруссии, наступит, хочу надеяться, просветление и в украинских горячих головах. Никто никуда не денется, взаимосвязь сохранится навеки, определяемая географией, экологией и экономикой, а этого и достаточно, не говоря уж о более спорных духовных факторах. Направлениями ветров, рек, уклонами равнин мы соединены надежнее, чем направлениями партий.

Отдельная страна? Да ради Бога, пусть и отдельная. Это вопрос соглашения и языка. Страна или республика. Штаты, «стейты» переводятся как «государство». И «земля», по-немецки «ланд», тоже государство со своим ландтагом и правительством; и на шоссе, пересекающем всю Германию, стоит щит: «Вы покинули германскую землю и въехали на территорию свободной Баварии». Пересекли и въехали — вот в чем дело, не вползли, не проскочили под обстрелом. Спокойно и свободно, по хорошей дороге, на хорошей машине.

Но как достичь этого, если страны состоят из нас, обозленных, неверчивых, нетерпимых, упрямых и просто злых? Думаю, что нервозность политического процесса в ряде новых стран, его антироссийская доминанта объяснима тем, что особость, самобытность мало провозгласить, ее нужно создать, обеспечить, исторически, культурно и экономически обосновать, оправдать и защитить. А это труднее. Пусть стоит самостийно процветающая Украина, и нет в том никакой трагедии для России, если не столкнут нас между собой в гибельном противостоянии. А столкнуть есть кому, и силы, заинтересованные в том, не спят, их все больше и они все наглее. И все-таки не должны одуреть люди, и верится мне в предсказанный А. Солженицыным грядущий бело-русско-украинско-казахстанский союз. Но решение это может прийти не через правительство, а через народы, через свободных производителей на открытом воздухе рынка.

У каждого района, сельсовета, каждого села, каждого двора есть свои особые интересы, противоречащие порой друг другу, примирить которые может Закон и Власть. Власть на деньги не меняют. Людям при власти всегда платили немного, знали, что сами возьмут. Теперь это называется коррупцией, прежде именовалось лихоимством, от которого стонал народ и бил челом государю.

Теперь, когда укрепилась местная власть, она плюет на высшую, самоуправничают, как глуховский градоначальник, не боится ни губернатора, ни представителя президента. Укоротить местную власть могут только гражданственные люди, избиратели. И Закон. Никто больше.

Март 1992 года

Смысл и цель реформ просты и понятны каждому: дать естественное обоснование жизни страны. Из сумеречного зазеркалья вернуться в реальный мир.

Старые партии интересов все сохранились и ждут не дожидаясь реванша. Ждут своего. Еще нет обещанной правительством безработицы, все директора держат кадры, отечески повышают зарплату, даже если давно сидят на картотеке. Сворачивают производство, но не сокращают доплаты на питание, не продают дома отдыха, не выставляют на аукционы многомиллионные дворцы культуры. Ни один из крупных заводов не продал свои профилактории и санатории, подсобные хозяйства. Никто не сбросил непосильную для производства ношу. Напротив, стоят, изнемогая. Бомбардируют правительство. Платят дотации и дотаций ждут.

Бывшие министерства обударились пластом о землю, обернулись кто серым волком, а кто лебедем. И все — концернами, акционерными обществами. Контролируют как сырье, так и продукцию, назвали холдинговыми компаниями и малых своих из-под руки не отпускают. Свободы не дают. Этнократы из автономий спешно отпечатали новые визитки с золотым обрезом — кто президент, кто премьер, кто министр. Эти тоже спешат сыграть, их игра возможна сейчас в ослабшей от неустойчивости России.

И все играют на понижение.

Депутатство всероссийское и местное, земское, тоже удручено: серьезного места в реформах им не нашлось. Будучи избранными от народа, они принародный гвалт и поднимают. Зависимые от избирателей, потакают им обещаниями, в которых реальности ни на грош, зато критика зубодробительная, наотмашку. Набрал довольно бесцеремонно привилегий, окладов, льгот, дач, машин, квартир больше, чем предшественники, не забывают и о народном горе: требуют пенсий, роста зарплат, льгот, инвестиций, при этом и налоги требуют снизить.

Депутаты реформ не понимают, и внутренне реформы им чужды. Во-первых, они их боятся, во-вторых, реально они давно уже представляют не народ, а конкретные группы интересов, от которых абстрагироваться не могут и не хотят. Депутатский век короткий, все надо успеть. И чем дольше сидят депутаты, тем прочнее образуют собственную, новую партию интересов, собственных депутатских интересов, интересов советской власти. О собственных привилегиях они пекутся особенно. Рядовой депутат Верховного Совета приравнен к первому заместителю министра: и по окладу и по всяким льготам — телефонам-вертушкам, зарплате, поликлинике, даче, машине, обслуживанию, питанию. Все теперь научно, по табели о рангах. А зам парламентского подкомитета не хуже министра упакован. Но министров-то мало, их можно снять, их можно потребовать к ответу, они на острие огня, каждый проклянет министра, чуть что не так, на дуэль вызовет, а парламентариям хорошо — неприкосновенность...

Депутаты всегда, особенно в переломное, переходное время, будут раздерганы, крикливы, непоследовательны, вздорно-самолюбивы, представляя как минимум два интереса — депутатской касты и своей партии интересов: аграрной ли, энергетической ли, военной ли, директорской или нефтяной. Есть у них, конечно, и квазиполитические фракции — «новая политика», «старая политика», но на самом деле они блокируются по существенным своим интересам. К недостаткам их высокого статуса относится его непостоянство. Судьба «союзных» братьев не дает им покоя.

Не забудем, как избирались нынешние российские депутаты по лукьяновской хитрой формуле: съезд — Верховный Совет.

Съезд. Огромный, громоздкий, недопущенный ни к столу, ни к принятию решений. Не способный ни на что, кроме как на обиженное «нет».

То, что 90 процентов депутатов были членами КПСС, это не украшает, но и не страшно. А вот то, что большая часть съезда — боевитая, организационно оформленная фракция противников реформ, то, что совхозно-колхозный блок, директорский, рабочий и профсоюзный составляет большинство — хуже. Никакого квалифицированного большинства президент на этом съезде не получит, не заработает аплодисментов ни по одному вопросу. Это в российском парламенте. Похоже обстоят дела и в украинском и в белорусском. В азиатских советах — там проще, там до поры до времени единство и согласие с властью. Пока власть крепка.

Парламент и все, что вокруг него, сейчас малоинтересен, потому что составлен из людей, занятых не самым главным для страны делом. Хотя парламент нужен, необходим, слишком дорого за него заплачено. С чего еще можно было начать перестройку если не с депутатства, парламента и съездов?

Сегодня главным для страны делом заняты президент Ельцин и его правительство. Правителей на Руси не любят, их принято ругать, особенно в «культурном обществе». Интеллигенция у нас традиционно находится в оппозиции к власти. Оппозиционность — это родовое свойство российской интеллигенции.

Правительство не любят и в народе, «не за что». Но и ненависти в народе нет, народ ждет скорее горьких лекарств, чем сладких конфет. Ненавидят правительство многие — тенивики, биржевики, спекулянты валютой, оружием и нефтью, эти знают за что: каждый успешный шаг правительства отбирает у них деньги, силу, пространство. У нефтяных генералов, внешнеторговой рати, вчерашних госнабов, быстрых на наживу приватизаторов народного добра, ловких торговцев якобы ценными бумагами (за отсутствием бумаг действительно ценных)...

Им не нравится это правительство. Оно не продажное — и это опасно. Оно патриотичное, а этого нельзя вытерпеть, потому что каждый видит патриотом только себя, называя всех инакомыслящих врагами отечества. И военно-промышленный комплекс, этот взлелеянный партией и народом богатырь, лучшее, что у нас есть, — и лучшие заводы, и лучшие КБ, и лучшие кадры, и космодромы, и летчики-испытатели, они тоже недовольны. Они требуют своего от любого правительства, поигрывая бицепсами, твердо зная, что истинные хозяева страны — они. Но похоже, что «зимнее», а теперь уже и «летнее» правительство этого не знает, похоже, что оно всерьез собирается править и — что самое странное — не уходит в отставку.

За девять труднейших месяцев ни один из министров команды Гайдара не устроил истерику и никого не обвинили в казнокрадстве. Может быть, передают из города в город страшную весть, — они вообще не берут?

И Явлинский, и Петраков, и Емельянов в самое трудное время бросили свои «пять копеек» против правительства, а иные и побольше не пожалели. Понятно почему. Одних не позвали. Другого позвали, да недостаточно настойчиво. Третьего позвали, а духу не хватило. Четвертому не приглянулась предложенная роль — дело житейское. Пятый решил — подожду, не время, пропущу кон — и теперь рвется за стол, а там все места заняты.

Самая страшная мысль для элитной оппозиции — а вдруг у них получится?! Этим я не верю. А верю тем «ребятам» (как выражается некто из Верховного Совета), которые взяли на себя ответственность за страну поздней осенью 1991 года. В пору самых длинных сумерек и самого короткого дня...

Апрель 1992 года

Правительство и парламент

Умерший в марте 1992 года нобелевский лауреат Фридрих Хайек — экономист, социолог и философ — написал книгу «The political order of a free people», в которой обобщил свои размышления о политической организации свободного общества. В 1990 году эта книга издана в Лондоне на русском под названием «Общество свободных».

Хайек пишет, имея в виду классические страны парламентской демократии, Великобританию прежде всего, уж никак не нас. Но наш процесс политического развития сделал его размышления актуальными и для нашего общества.

Хайек описывает прохождение бюджета через нижнюю палату парламента в буре страстей и противодействии лоббирующих групп.

«Все это делает парламентариев агентами голосующих за них групп, а не представителями общественного мнения», — к такому выводу приходит Ф. Хайек.

Хайек предупреждает: «Депутат будет склонен сказать «да» в ответ на требования привилегий даже в тех случаях, когда в роли подлинного законодателя он должен говорить «нет» и напоминать своим избирателям, что есть... вещи, попросту... недопустимые...»

Хайек видит все недостатки демократического общества, все его кризисные узлы, где гнездятся привилегии, коррупция, несправедливость. И все-таки: «Подлинная ценность демократии состоит в том, что она должна защищать нас от злоупотреблений властью. Демократическая система позволяет нам избавиться от одного правительства и выбрать себе другое, которое, как мы надеемся, будет лучше. Иными словами, это пока единственная известная конвенция, обеспечивающая нам мирную смену власти».

В Грузии эту конвенцию не пожелали соблюдать и получили гражданскую войну. Но ведь ничто не кончается, все продолжается. Люди пришли к каким-то формам

только потому, что черед поколений уже опробовала все мыслимые способы свержения нежелательной власти.

«Корень зла заключается в том, что неограниченная демократия, располагая неограниченной полномочной властью, вынуждена использовать ее (хочет она этого или нет) для ублажения отдельных групп, от голосов которых она зависит. Это относится и к правительству, и к таким демократически организованным институтам, как профсоюзы».

Задача правительства

Задача правительства — создать условия, в которых индивиды и группы могут успешно преследовать свои интересы. Всякое давление на правительство с целью заставить его использовать свое право на принуждение в пользу какой-либо группы наносит ущерб обществу в целом.

В феврале 1992 года я был во Владимирской области, маленьком городке Собинка, в котором всей-то промышленности — текстильная фабричка, выпускающая накручивала себе зарплату, не слишком-то раздумывая, будут ли покупать ее продукцию. Тогда еще не начался кризис неплатежей, тогда еще Гайдар объяснял по телевизору, что цены, которые мы увидели перед собой, это еще не настоящие цены, а цены претензий продавца, что они должны столкнуться с реальным покупательским спросом, скорее всего уменьшиться и стабилизироваться на каком-то уровне. Но претензии продавца так и не падают, всюду неплатежи, всюду заводы сидят на картотеке, а цены не сбрасывают. Требуют от правительства погашения долгов, как бы все это простить, списать, начать снова и опять так же. (В сентябре Собинка грозила забастовкой: мешки не шли!)

Между тем уже в феврале стало ясно, что если бюджетную сферу можно индексировать, повышая зарплату, то дотировать всю промышленность невозможно и бессмысленно. Неизбежным стал отпуск цен на энергоносители, прежде всего на нефть, впрочем, это было ясно с самого начала, да как подступиться, не вызвать катастрофы в народном хозяйстве? Уже весной аграрные бонзы предупредили власти: только попробуй отпустить цены на нефть — и мы не станем сеять. Сеять стали, попробуй не посеи, себе дороже, когда пшеница в несколько раз дороже даже дорогой нефти. Некоторые люди делают вид, что не понимают, что «отпуск цен» не прихоть экспериментаторов, не злая воля правителей: это всего лишь признание факта неуправляемости этой сферы, неспособности властей обеспечить ее существование за счет дотаций, перераспределения богатства. Отпуская цены, правительство перестает контролировать их, отдает все, кроме налогов, то есть отдает власть. Р. Хасбулатов говорит о колоссальной власти, которая сосредоточена в правительстве. Думаю, что сейчас у правительства значительно меньше власти, значительно меньше возможностей распределять, давать, отбирать, чем тогда, когда оно пришло. У нас сейчас гораздо меньше правительства, чем в начале года. Сколько власти уже отдано на места? Республикам, областям, местным Советам? С началом приватизации, с каждым новым акционированным предприятием у нас будет все меньше государства и все больше общества.

Хозяйственные заботы всегда были главной и основной функцией правительства. Подготовка к севу, битва за урожай, подготовка к зиме. План — закон, выполнение — долг. Госзаказ сто процентов, обо всем пусть думает правительство. А теперь — не то, совсем не то. Предприятия почувствовали себя неуверенно, потому что выяснилось, что о своем будущем они должны думать сами. Встревожены депутаты, не принимают закон о банкротстве, провалили продажу земли. Все брошено в бой — и пикеты, и демонстрации, и угрозы, и забастовки, и требования преференций, процентов от производимого другими, лицензий, валюты, льготного налогообложения, льготного кредитования... Нет, это не голод, это жлобство, как сказали бы в Одессе. Ведь требования льгот (в конечном счете — просто денег) для одних означают только одно: отнять их у других, у тех, у кого можно отнять, то есть у самых слабых, самых незащищенных, не способных шантажировать государство.

Ф. Хайек предупреждает: «Система, при которой политики полагают своей обязанностью, а значит, и своим правом устранять любое возникающее в обществе недовольство, превращает народ в объект политической игры и манипуляций». Ну когда мы поймем это!

Власть, не важно чья, президента, премьера или парламента, если она неограниченна, непременно будет работать для удовлетворения частных интересов. Если от нее чего-то можно добиться, что-то вырвать, люди будут делать все, чтобы вырвать у нее желаемое.

А вот постулат Хайека, который следовало бы написать на табличке в каждом правительственном кабинете:

«От... давления правительство может защититься только одним способом: ссылкой на установленный и неизменяемый принцип, запрещающий уступать давлению».

Об этом же говорил мне профессор Марек Домбровский, экономический консультант нашего правительства, опытный польский экономист и политолог:

«Правительство должно быть как честная девушка с абсолютно безупречной репутацией. Если она не флиртует ни с кем, к ней не пристают. Почему у Гайдара в приемной очередь до двух часов ночи? Значит, надеются, что здесь что-то можно получить, что-то вырвать, в чем-то убедить. А если я убедил, то и у тебя есть шанс убедить. Но высшие люди государства не могут мгновенно и быстро решить вопрос. Значит, набирает силу аппарат, у них снова власть, снова влияние — кого допустить, какие визы подготовить. Нет, запомните: единственный честный принцип для министра финансов — не уступать никому».

Наша страна семьдесят лет прожила в условиях невиданного в истории тоталитаризма только потому, что правящий слой создал такой режим, который устраивал главные для функционирования системы партии интересы. Они поддерживали режим, а он осуществлял распределение между ними национального богатства. И не надо думать, что к пирогу были причастны только партаппаратчики, номенклатура. Такой режим не прожил бы и двух лет! А он прожил десятилетия и все пытается вернуться, приспособившись, переодевшись в демократические одежды. Приходилось уже писать несколько лет назад, что правит не КПСС, а партии интересов, «из-под руки». Теперь они пытаются править из-под рук Верховного Совета, президента, президентской администрации, правительства. Пытаются диктовать, как диктовали всегда.

Режим устраивал многих, не только номенклатуру: привилегированные предприятия, номерные города, миллионы людей. И зарплата повыше, и снабжение получше. Закрытые города — Челябинск-40, Челябинск-65, Челябинск-70 — режимные, несвободные. Думаешь, они хотят свободы? Да они письма пишут в правительство, меморандумы шлют, требуют оставить их за колючей проволокой. Так-то оно спокойнее. В отдельном мире. Снабжение лучше, преступность меньше. Мы все, глядишь, еще немного — и попросим вернуть нас в зону. На «архипелаг». В чем-то плохо, а в остальном — гарантированный завтрашний день, путевки, пионерлагеря, бесплатной или грошовый детсад и завод-втуз... Все свое — и квартира в заводском доме, и антрекоты за тридцать семь копеек из заводской кулинарии.

«Клуб директоров», созданный еще Абелом Гезевичем Аганбегяном при журнале «ЭКО», превратился в партию директоров Вольского—Тизякова. Я бывал на заседаниях этого клуба в 80-х годах. Они собирались (не знаю, собираются ли сейчас) раз в полугодие в очередном городе у очередного магната.

Набирает, чувствует силу «Союз промышленников и предпринимателей» Вольского и Владиславлева.

Неудачно явившийся на авансцене директор и вице-президент Тизяков сидит в тюрьме, но его коллеги времени даром не теряют. Не сходит со страниц мировой печати имя Аркадия Вольского — в недавнем прошлом заведующего промышленным отделом ЦК КПСС.

Какая разница, как это называлось тогда, как называется сейчас? Важно, что он был и остался реальным координатором, вполне доверенным человеком у сильных и ответственных людей, облеченных огромной властью, — генеральных директоров, генералов нашей промышленности. Раньше его ВПК посадил в цеховский кабинет, теперь нет ЦК, а кабинет остался, потому что остались реальные функции, реальные структуры, реальная ответственность и реальная сила.

Партии интересов говорят с правительством в жестком тоне, поигрывая желваками. Читаем тассовку от 16 марта:

«„Российское правительство должно развязать руки руководителям предприятий и прекратить вмешиваться в дела заводов... Тогда они сами найдут способы, как и чем рассчитаться с зарубежными партнерами”, — сказал президент РСРП. Он сообщил прессе, что направил в правительство России записку, в которой предложил „определяться” по сохраняющимся барьерам».

Читаешь и думаешь: ну вот, еще один государственный человек требует «минимального правительства», зовет «не вмешиваться в дела заводов».

Но, оказывается, прямо наоборот. Не вмешиваться означает все давать, но ничего не забирать. Давать льготы, как давали их прежде... От экономики требуют, чтобы она снова стала «дамой, приятной во всех отношениях», не меньше...

Апрель 1992 года

В узел завязалась ситуация в Кузбассе, где стачкомы так натянули одеяло, что оно затрещало по швам. Есть там разумные люди, в стачкомах, разговаривал я с ними. Понимают все, но и они, как депутаты: «Что мы скажем людям? Мы не можем

вернуться с пустыми руками. Дайте». А тут еще подоспел кризис наличности, ситуация попросту бессмысленная, способная довести до ярости любого человека, когда тебе не дают зарплату только потому, что в банке нет денег!

Потребовали правительственную комиссию, поехала во главе с зампредом. Не устроило. Строго заявили стачечники: «Чтобы принимать подобные решения, не надо было ехать в Кузбасс. Комиссия была создана для того, чтобы выпустить пар...»

Думаю, что наши профсоюзы славные еще не сказали своего слова, а у них оно в запасе есть. Влияния на народ нет, но есть и структуры, и права, и деньги. Короче говоря, у них есть власть, и они ею пользуются для того, чтобы вырвать у общества что-то для себя.

Еще идет 6-й съезд российских депутатов. «Больше половины москвичей оценивают съезд как говорильню», — передает ИТАР-ТАСС.

По сравнению с мартом рейтинг Ельцина вырос. Празднует успех после первой напряженной недели съезда команда Гайдара. Они еще вместе, еще никого не отстранили, не убрали в тень.

После противостояния, оскорблений, хамовато-ласкового «растерялись ребята», после неискренних телеизвинений, похожих на издевательство, положение правительства окрепло, несмотря на явное оскудение жизни, неторопливый, но неостановимый рост цен, на отсутствие наличности за пределами Московской кольцевой.

Ельцин выиграл съезд не за так: пообещал реорганизовать правительство, ввести в него опытных практиков, депутатскому корпусу этого только и надо — «своих».

27 апреля в Вашингтоне Гайдар встречался уже с семью министрами крупнейших стран Запада, убеждая их со всем красноречием и доказательностью, что реформы в России пошли.

«Я вижу, что в России очень многое может замедлить реформы», — сказал Мишель Камdessus, директор-распорядитель Международного валютного фонда.

Словом, Гайдар услышал то, что, собственно, и ожидал услышать: от политики самой России будет зависеть, когда помощь начнет поступать и будет ли она оказана вообще.

Договориться с Валютным фондом можно только на условиях существования этого Фонда, а условия эти просты и даже стандартны: либерализация цен, стабилизация бюджета, ликвидация бюджетного дефицита или хотя бы установление над ним эффективного контроля, торможение роста денежной массы.

Доброта и щедрость, а точнее безответственность парламента, заставляющего правительство поднять пенсии, стипендии, зарплаты, льготы, не повышая налогов и цен, щедро предоставлять льготные кредиты, явно не нашли понимания у банкиров. Однако убежденность Гайдара понравилась одному из самых влиятельных людей Америки, Полу Волкеру, бывшему председателю Совета управляющих федеральной резервной системы, и тот даже сказал журналистам, что, возможно, станет экономическим советником председателя российского правительства.

«Как только начнет осуществляться программа МВФ, Всемирный банк включится в прямую помощь сельскому хозяйству и энергетике России», — сказал президент Всемирного банка Льюис Престон.

Всемирный банк считает, что нефтяной промышленности есть что продать. Как минимум 33 месторождения ждут, когда к ним отнесутся по-хозяйски, но никто не знает, кто их хозяин. Всемирный банк дал понять, что в остальные отрасли вложения будут минимальными, а рассчитывать на них просто глупо. Всемирный банк всячески подчеркивает жесткость своей позиции и строгость неумолимого учителя, понимая, что требований смягчить условия, растянуть переходный период будет предостаточно. Выстраивая жесткую стену, твердую и прочную, он пытается заставить и российских реформаторов быть жесткими.

Тогда же, сразу после вашингтонской лекции Гайдара, представители семерки сделали заявление для печати. Главным в этом дипломатично составленном документе было объявленное намерение «поддерживать усилия России по проведению реформ путем реализации объявленной многосторонней комплексной финансовой помощи в размере 24 миллиардов долларов, на основе согласованной с МВФ программы».

Последние слова были ключевые в договоренности, однако их в российских кругах многие предпочли не заметить.

Короче говоря, помощь обещалась на конкретных и жестких условиях согласованной с Фондом программы, программы, которую никак не принимали и не готовы принять ни российский парламент, ни партии интересов.

Программа давно объявленная, декларируемая в меморандуме правительства, о ней Гайдар много раз рассказывал устно и письменно:

сокращение дефицита бюджета с целью стабилизации экономики и уменьшения роли правительства;

ограничение роста денежной массы, что поставит под контроль инфляцию;

прекращение кредитования нерентабельных предприятий.

Программа включает и создание юридических основ для рыночной экономики, отсутствующих сейчас, введение контрактных прав, включая приватизацию и гарантированную частную собственность, а в народном хозяйстве немедленную реформу двух приоритетных секторов экономики — аграрного и энергетического, что позволит обеспечить рост национального дохода, сокращение продовольственного кризиса и получение стабильного источника конвертируемой валюты.

Жак Делор, председатель комиссии Европейского сообщества, встретившись утром 30 мая с Гайдаром, вечером не забыл посетить Вольского. Даже по тассовке видно, что Вольский не темнил. «Союз промышленников и предпринимателей» поддерживает реформы, однако не скрывает отрицательного отношения к механизмам, с помощью которых они осуществляются. Главным недостатком реформы, по мнению Вольского, является то, что правительство не стимулирует сохранения объемов промышленного производства, а увлеклось макроэкономикой — явный упрек в адрес Гайдара.

Лидер «Союза обновления» требовал усиления государственного влияния на экономику (читай — субсидий, преференций, льгот). «Обновленцы» провозгласили своей задачей прекращение падения уровня жизни, стабилизацию экономического положения, восстановление внутреннего рынка. Гайдара они назвали солистом без оркестра, явно имея в виду, что у них-то как раз есть сводный тысячетрубный оркестр — крупнейшие предприятия ВПК, базовые отрасли, депутатские фракции Верховного Совета, боссы местных администраций.

Гайдар на встрече с Делором просил снять ограничения КОКОМ (уже отмененные для Венгрии) и ввести длительную отсрочку платежей России на выплату процентов по займам.

На эту тему с финансистами разговаривать трудно...

Прогноз «Марко Поло»

Японский журнал «Марко Поло» опубликовал в майском номере прогноз развития событий в бывшем СССР и карту, составленную на основании этих прогнозов. Интересна эта публикация не столько как прогноз, сколько как своего рода «чаяния». Реальные вполне, если мы в своей стране не одумаемся и не остановимся в огораживании уделов.

На этой карте нет России. Есть Западная Россия со столицей в Петербурге, есть Восточная Россия, или, как больше нравится называть японцам, Дальневосточная Республика со столицей в Хабаровске. Есть маловлиятельный Союз мусульманских стран из бывших республик Средней Азии. Украина и Беларусь, по замыслу авторов сценария, ролей не получили и прозябают сами по себе.

Сейчас только ленивый не делает прогнозов один мрачнее другого. Прогнозы эти интересны тем, что помимо воли самих экспертов выдают их установку и некоторое даже желаемое основное направление, в сторону которого, вероятно, и будут подталкивать гурьбу потерявших строй.

Это направление проскальзывает в аналитических комментариях, широкоэшелонных профессорских эссе на страницах престижных изданий, на международных семинарах, конгрессах и конференциях. Речь идет о строительстве нового мирового порядка, нового PAX AMERICANA. О новой глобальной расстановке сил, в которой нам еще нужно доказать свое право на достойное место. Вот что писал Томас Фридман в «Нью-Йорк таймс» после визита президента Ельцина:

«Положение Ельцина парадоксально в том смысле, что чем меньшую угрозу будет представлять в результате его политики Россия — т. е. чем больше ракет она сократит, — тем в большей степени конгресс будет считать, что он может тянуть с оказанием помощи».

Парадокс, конечно, с американской точки зрения есть. Зачем вообще помогать потенциальному противнику и конкуренту, попавшему в трудное положение? Зачем способствовать созданию эффективной экономики и динамичного управления в стране, которая одним своим местонахождением не может не играть стратегической и глобальной роли?

Можно ли вообще всерьез говорить о значении и важнейшей роли иностранной помощи, если в конечном счете все обещанные нам доллары останутся на Западе и создадут там рабочие места и снимут сельскохозяйственный кризис. Не надо быть

ни наивными, ни максималистами. Мы занимаем, чтобы «перекрутиться до полочки», а не на строительство дома. На дом нам придется откладывать самим. Но ведь и до полочки перекрутиться надо. В этом-то, кстати, и есть одна из проблем: солидный банк охотнее даст в долг надежному заемщику крупную сумму и не даст совсем ничего легкомысленному транжиру, не любящему вспоминать о долгах.

Между тем для реализации крупных проектов в нашей стране нужны десятки и сотни миллиардов долларов.

Май 1992 года

Когда в конце мая Ельцин пришел на заседание правительства красный и злой, он начал с того, что сказал: «Я подписал указ об отстранении Лопухина». Отставка Лопухина, министра топлива и энергетики, одной из ключевых фигур кабинета, была неожиданностью для всех, даже для Гайдара. Назначение Черномырдина также было неожиданностью, вице-премьерство Шумейко не было неожиданностью ни для кого. Но все трое новоназначенные — Хижа, Черномырдин и Шумейко, фигуры видные, — явно придавали кабинету новую стать, что немедленно заметили газеты, поспешив объявить конец реформ. Люди, стоявшие поближе к авансцене, выводов остерегались, хотя оптимизма новые назначения им не прибавили. Занервничали и другие видные молодые министры: кто из них следующий?

Я брал у Владимира Михайловича Лопухина интервью 8 марта, в воскресенье 1992 года, за восемьдесят дней до его отставки. Он принял меня в огромном кабинете министра энергетики.

Интервью было долгое, сидели мы часов пять.

«Какой качественно новый опыт я приобрел, спрашиваешь? Пришли люди без административного опыта, но с представлением, как управлять экономически. Много думавшие над этими проблемами и кое-что в них понимающие. Я здесь никого не ломал через колено, но самое страшное — зиму 1991/92-го — страна пережила спокойно, энергетика работала, и это главное. Даже эти месяцы дали уже что-то необратимое. Мы многое успели сделать. Дадут еще несколько месяцев — сделаем еще. Но знаю, что уйду я, а здесь все будет работать. Потому что мы показали людям, что есть и другая работа — осмысленная. Знаешь, пришли люди не слабые. Чему научился? Самое главное... (пауза) — совершенно иная мера ответственности. И неотвратимость принятия решений. Самые неприятные решения нельзя откладывать на завтра, на потом. Их надо принимать. Это жесткая проверка на человеческую состоятельность. Словом, о нашем периоде скажут, что это была попытка осмысленной, честной и открытой политики. Уверен, что это сейчас самая интересная работа в мире».

Партии интересов, ВПК и реформы

13 мая Ельцин принимал в Кремле магнатов оборонного комплекса. Генералы были жестки и пугали непредсказуемыми последствиями. Еще в марте прошла объединенная профсоюзная конференция предприятий оборонного комплекса, выдвинувшая, по существу, ультимативные требования к правительству. И в апреле, и в мае, и в июне напряжение с оборонкой только нарастало, и тактического искусства уже явно не хватало. Резко снизились госзаказы, практически не стало работы, банки не давали денег, но крупнейшие «предприятия войны» до последнего момента не верили, как не поверили и по сей день, что начались новые времена, что придется идти на большие увольнения, полную смену производственной программы, может быть — на раздел предприятий на множество мелких, частных.

(Правительство уступило только в сентябре. Гайдар подписал постановление, дающее оборонным отраслям 13 миллиардов рублей. «Уступить ровно столько, сколько нельзя не уступить». Но и это промышленность восприняла как победу.)

17—18 июня в Москве прошла профсоюзная конференция оборонных отраслей, авиационной и судостроительной промышленности. В те же дни в Доме союзов состоялась учредительная конференция новой партии «Гражданский союз». В него объединились лидеры со всесоюзной известностью, за каждым из которых вполне реальные силы: два «Союза» Вольского и Владислава (Союз «Обновление» и «Российский союз промышленников и предпринимателей») да плюс еще так называемый экспертный институт, его «внутренняя партия» интеллектуальной элиты во главе с профессором Ясиным (по совместительству — полномочным представителем российского правительства по связям с парламентом), «Демократическая партия России» с Травкиным во главе, «Народная партия „Свободная Россия“» Руцкого и Липицкого. А еще — депутатская фракция «Смена» и разные бывшие комсомольские лидеры. Эта группа, которую поддержит многомиллионный ВПК, преданный своим

генеральным директорам, по миллиметру, как в переполненном автобусе, проталкивается к передней площадке. А тут и КПСС объявила о самовозрождении, и «Трудовая Россия» встала пикетами, и «Национальный собор» проклял «оккупационное правительство». Многие сошлось к 22 июня, ко дню летнего равноденствия и очередной годовщине начала войны. Политическая подоплека тут проста, искать ее недолго, социальная тоже на поверхности — обостряющийся кризис, спад, о котором предупреждали экономисты, пришедшие в правительство. Спад расширяется, захватывая все новые сферы.

Все шире забастовки, все безоглядней речи. Учителя забастовали, наши учителя, из нашей, отбивающей все творческие задатки у детей, школы. И как-то умело забастовали, в тени забастовки медицинских работников. Но медики наши, худо-бедно, лечат, а учителя калечат. И вместе с ними не стоило бы бастовать врачам. Разные у них истории и ответственность разная. Школе нашей еще предстоит пройти свою конверсию, освободиться от духа детоненавистничества, нетерпимости, стукачества, наушничества, мертвечины. В школе и сейчас изучают «Поднятую целину», пишут сочинения про образ Давыдова, учат про уничтожение кулачества как класса. Не верите? Спросите детей, полистайте их мертвые книги. В школе по-прежнему явный перебор так называемых обществоведов, людей случайных и недобрых к детям, военруков, ленивых физруков, отбивающих охоту к спорту и движению.

Школа уже и не ждет внимания. А ведь там граждане страны; которые все и решат в ближайшие десятилетия. Вот где наша стратегическая линия обороны — не на замшелых ракетных шахтах, даже не в шахтах угольных. Не в шахтах, а в школах все решится. А пока что лучше бы учителям не бастовать, хоть и тяжело, потерпеть, а то ведь можно остаться и без школьников совсем; не ровен час — они не придут после забастовок в их пыльные и скучные классы слушать нечто, ни к чему не имеющее отношения. Просто не придут. Школа может вообще умереть как социальный институт, и это будет уже национальной трагедией...

Июнь 1992 года

Саммит в Минске

Российская делегация прилетела в Минск вечером 25 июня. Руководители разместились в резиденции «Заславль», эксперты и другие участники встречи — в гостиницах.

Официальная часть началась с торжественной процедуры установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией, между Белой Русью и Русью, как не без горечи сказал наутро кто-то из белорусских участников. Мы с Николоаеом Дмитриевичем Головнинным, одним из экспертов российской делегации, воспользовавшись паузой, пошли прогуляться по городу.

Я много лет не был в Минске. С Минском у меня многое связано. Сюда мы с отцом изредка приезжали в далеком моем детстве, в 50-х годах. Огромный и прекрасный город производил на меня, пионера из маленького райцентра Западной Белоруссии, ошеломляющее впечатление на целый год. Стадион! Парк челюскинцев! Цирк! Дом правительства! Сюда привозил я уже смертельно больного отца, здесь его оперировали, в Боровлянах. Здесь живут родственники и школьные друзья. Теперь мы шли по знакомому городу, который был уже «столицей другого государства». В центре мало что изменилось, хотя вокруг него выстроили большой современный город, который, если верить социологам, один из самых динамично развивающихся городов Европы. Вывески какие были, такие и остались — по-русски и по-белорусски, люди вокруг на улицах говорили по-русски, хотя белорусская речь слышалась, пожалуй, чаще, чем прежде.

Ровно год назад меня, тогда еще заведующего отделом публицистики в «Новом мире», пригласили в Витебскую область. Возили по разным городам, я рассказывал о журнале, отвечал на вопросы читателей. Если бы кто-нибудь сказал мне или им тогда, что через год мы будем жить в разных странах, мы бы все подняли его на смех.

Минская встреча премьеров впервые дала чувство некоторого избавления от сиротства, дала надежду, что катастрофы нет, что, напротив, рождается что-то куда более здоровое, естественное и перспективное, чем псевдосоюз из псевдостран, стыдливо называвшихся республиками. Из гордого слова «республика» сделали чисто советский эвфемизм, обозначающий подневольную, невзправдашнюю, не имеющую самостоятельной воли страну. Помню, редактор всегда вычеркивал из моих текстов слово «страна», если я писал о Белоруссии, Украине или Таджикистане. Понятие «страна» дозволялось в единственном смысле.

Упорная война республик с центром создала Содружество Независимых Государств, такую неожиданную конструкцию, что все мировые обозреватели принялись писать о ее бесперспективности. Между тем что экзотического? Ведь не Новая Земля соединилась с Гренландией. Союз-то ведь был, и теснейшие структурные взаимосвязи были и есть.

Сейчас ясно, что скептики поспешили. Содружество на евразийских пространствах не могло не возникнуть хотя бы потому, что слишком слетена в один жгут экономика, потоки вещества, энергии, комплекующих и составляющих. Потоки денег, информации, людей, идей. Горбачев был прав, когда указывал на это. Но он был не прав, не допуская и не представляя себе возможности иных, более эффективных форм существования этого огромного геосоциума, форм, которых уже требовала жизнь.

Я смотрел на них, лидеров новых стран, и мне становилось стыдно за те слова о «параде суверенитетов», которые и я писал. Парады кончились, начались суверенитеты, то есть полнота ответственности, над которой иронизировать не приходится.

За полгода эти люди стали другими. Не в том дело, что им нравится (а я думаю, что им нравится) быть настоящими лидерами настоящих стран и прилетать на лужайку к Бушу или Колю, ступать по ковровой дорожке, слушать гимн и вдыхать горький запах пороха, когда гремит салют наций. Они стали, кто в большей, кто в меньшей степени, людьми, принимающими исторические решения, они перестали быть сатрапами, а ведь некоторые из них и не были сатрапами никогда. Ничто не проходит даром, и протокольные почести отдаются лидерам потому, что на них лежит груз истории, а не почему-либо иначе. Поэтому я думаю, что нынешний переходный период напряжений, конфронтаций, а кое-где (там, где удалось спровоцировать, стравить людей) и войны, протянется не слишком долго, как бы ни хотелось этого некоторым деятелям. Такого просто не допустят ответственные лидеры, осуществляющие власть. Другое дело, что в некоторых новых странах власть их лишь номинальна, а то и вовсе не признается значительной частью населения, игнорируется, вырывается из рук, как в Грузии или Таджикистане.

Вопреки всем футурологам я хочу сделать оптимистический прогноз. Ничего страшного не будет. Сейчас самый трудный период из всех, выпавших Союзу за последние десятки лет. В чем-то труднее, может быть, войны с фашизмом. Тогда от народа требовался подвиг — выдержать, выстоять, не склониться. Теперь иной подвиг — духовного самопознания, восстановления и осознания ценностей и целей, формирования исторической задачи на череду поколений.

Речь идет о Большом Строительстве Стран и Содружества Новых Стран. Каждый будет строить свою страну и свой дом.

* * *

Неприятие неработающей союзной власти было таково, что, разогнав ее, нечто основательное поставить остереглись, ограничились минимальными средствами («рабочей группой») СНГ, которая, конечно, не способна организовать эффективное экономическое взаимодействие. Начался разрыв хозяйственных связей, затрещало и зашаталось все.

Но на июньской минской встрече премьеры договорились о создании Объединенного экономического комитета, как выразился Владислав Францевич Кебич, «прошлогодного МЭК, но в урезанном виде».

«Рабочая группа» Содружества, занимающая бывший минский обком КПБ, просто вынуждена будет расширяться. Будут в ближайшее время созданы и новые структуры, вероятно, в первую очередь такие, как Совет министров обороны, Совет министров энергетики, Совет министров иностранных дел, Совет министров финансов, может быть, транспорта. Вероятно, не все эти структуры будут размещаться в Минске, не все и вернутся в Москву. Какие-то будут легкими — то здесь, то там. Центробежные тенденции ослабевают, начинается эпоха давления центростремительных сил. Если удастся договориться о взаимной котировке ценных бумаг (а я надеюсь, что такое соглашение скоро будет подписано), то на биржах России будут котироваться и продаваться акции украинских или узбекских предприятий и наоборот. Акции эти можно будет покупать и продавать. В результате предприятия одних стран Содружества будут переходить в собственность других, или общую, или смешанную, или акционироваться с участием третьих стран. Введение собственной валюты, после того как пройдет суета переустройства, поможет точнее и справедливее вести взаиморасчеты — без обиженных и благодетельствованных, — организовать и не контролируемый государством поток денег и ресурсов. Норвегия только в 1905 го

ду отсоединилась от Швеции мирно, по правовым процедурам. У одних крона шведская, у других норвежская. В магазинах Швеции на норвежские деньги товаров не купишь, но в любом банке, на каждом углу можно обменять. Люди ездят туда и обратно, имеют предприятия, дома, нанимаются на работу, заводят бизнес, торгуют. Система соглашений защищает их права, как и особые права всех северных стран.

Я бывал в Норвегии, Швеции и Финляндии. Неплохо живут. Вроде бы порознь, но и не запирая друг от друга двери. Подтрунивают, рассказывают анекдоты друг про друга, впрочем, шутят и над собой.

Июль 1992 года

3 июля 1992 года. Утром Гайдар третий день подряд выступал перед Верховным Советом. В четверг его заставили говорить и отвечать по бюджетному посланию, которое отложили на второе чтение, отправили по комитетам и комиссиям, где оно обязательно обрстет требованиями преференций. Сегодня Гайдар докладывал долгожданную «Программу углубления экономических реформ». Программа эта передо мной. Это пухлый том с приложениями, около 400 страниц. Программа вызвала острое неприятие парламентского большинства. Фракция «Смена — Новая политика», вошедшая в «Гражданский союз» (Вольского—Травкина—Руцкого), призвала все фракции голосовать против «любых попыток немедленного утверждения Программы без ее обсуждения в комитетах». Они выпустили листовку: фракция считает — «перед нами не программа правительства страны в кризисе на грани краха, а абстрактная программа экономического института. Неужели правительству не ясно, что и реализация поставленных целей как приоритетных, и выбранные средства ведут к катастрофе?».

Гайдар так не считал и отвечал с академической вежливостью, полной сарказма и иногда прорывавшейся скрытой ярости: «Стабилизации и подъема невозможно добиться быстро. В 1992—1993 годах можно добиться падения темпов инфляции до 3 процентов в месяц; поднять уровень жизни до уровня, сравнимого со странами Восточной Европы; приватизировать до 30 процентов госпредприятий. В 1994—1995 годах довести уровень приватизации предприятий до 60 процентов, ввести пенсионные облигации в 1996 году, когда уже изменятся поведенческие стереотипы, станет возможным обеспечение начала устойчивого экономического роста на национальной основе. Я понимаю, что народ устал от обещаний. Но обещать больше — быть обманщиками, обещать меньше — не принять ответственность, вызов времени». (Так я запомнил, цитирую неточно, по смыслу.) Представленная программа — это открытый документ, с которым правительство выходит к парламенту и народу...

В целом парламент продемонстрировал смятение, отсутствие политической воли и нежелание отвечать за дальнейший ход событий. Но правительству эту ответственность он передать не согласен. Парламентское вибрирование поставило под удар все достигнутые победы на мировом политическом уровне. Все договоренности — накануне встречи в Мюнхене — повисли. Сегодня вечером приезжает председатель Международного валютного фонда Мишель Камdessus. Парламентарии потребовали, чтобы он выступил перед ними. Гайдар удивленно сказал, что попросит об этом, хотя подобное не в правилах Фонда. В тот же день он сказал мне: если Камdessus не удастся уговорить здесь, в Мюнхен можно не ехать.

— А какие советы дают ему его люди здесь?

— А какие бы ты давал?

— Повременить, пока ситуация не прояснится, погода не установится.

— Ну конечно! Они и так-то не торопились, а теперь и вовсе не спешат. Нас удушает наш собственный парламент, который падет следом. Если страна не готова к реформам, ей никто не в силах помочь. Пусть думает, ошибается, страдает, расплачивается за свои ошибки. США расположены нам помочь, Буш расположен, а конгресс колеблется; Мейджор, французы и немцы отчасти, немцы подустали, у них своих проблем немало. Итальянцы, канадцы готовы помочь. Японцы — нет, те сторонники жесткой политики, рассчитывая почему-то на то, что в безвыходной ситуации Россия станет сговорчивее в переговорах об островах. Хотя каждому понятно, что для любого политика острова отдавать невозможно, когда страна в таком положении. Словом, проблематика России жестко задана набором макроэкономических обстоятельств.

Еще запомнились ответы на вопросы депутатов. К несчастью, 99 процентов иностранных инвесторов, которые пытаются завязать с нами дела, — заведомые проходимцы. Нужно опереться на один процент порядочных и перспективных партнеров.

Вопрос денежной наличности — вопрос краткосрочный и не является программным для правительства. Смешное это было бы правительство, если бы своей задачей считало печатать как можно больше денег.

Геннадий Матюхин, грозивший отставкой перед парламентскими слушаниями, тихо ушел «по состоянию здоровья» после серии скандалов, связанных с обналичкой миллиардных сумм банками Чечни и других территорий, кризисов неплатежей и жалобами предприятий на провальную работу Банка. Матюхина отпустили с миром под шутки, что он «болен 30 миллионами».

В конце июля Центральный банк России неожиданно для многих возглавил «гэкачепист» Геращенко (вспомним его меморандум, опубликованный накануне путча!). Многие члены команды хотели бы видеть на этом посту Бориса Федорова, и он прилетел из Лондона в ожидании предложений. Но предложений не последовало. Федорову дали понять, что он пока может располагать собой.

«Вашингтон пост» писала, что в эру Горбачева внешняя задолженность СССР выросла в четыре раза, достигнув более 67 миллиардов долларов. Запасы золота за время Горбачева сократились с 2 тысяч тонн до 240 тонн. Куда исчезли деньги и золото? «В течение нескольких лет, до попытки переворота в августе 1991 года, высокопоставленные сотрудники Центрального банка Советского Союза вывозили деньги из страны, чтобы застраховаться на случай еще более трудных времен» (цитирую по сообщению ИТАР-ТАСС, 1 сентября).

Мировая печать писала о недоумении, которое вызвало новое назначение в деловых кругах. «Геращенко в эпоху Горбачева был главным банкиром Советского Союза, и он открыто критиковал реформы Ельцина».

Геращенко получил назначение и вернулся на свой пост совсем не с побитым видом. С первых же дней сделал несколько заявлений, вызвавших панику на валютном рынке, издал телеграмму (есть и такой жанр) о погашении взаимных неплатежей предприятий, сокращении платежей странам СНГ, потребовал увеличения денежной массы и сумм на кредитование, сказал, что правительство не должно вести себя как зритель на корриде, жаждущий крови, все равно — матадора или быка. Он скептически отозвался о будущей конвертируемости рубля (и его скепсис вызвал резкое падение курса рубля, панику на валютном рынке). Презрительно отозвался он и о ваучерах («Несерьезная затея, напоминающая бумажную игру „монополия“»).

Впрочем, он не устал повторять, что не собирается ссорить Россию с МВФ, а разногласия его с правительством сильно преувеличены.

В Америке задавались вопросом, «не является ли такое назначение Ельциным бывшего коммуниста преднамеренной попыткой обхаживать человека, который знает, где искать миллиарды КПСС». Впрочем, наблюдатели сошлись на том, что скорее речь идет о чем-то большем, чем финансы, — о попытке диалога и консенсуса с влиятельнейшими в России силами в целях стабильности и продвижения реформ.

Август 1992 года

28 августа закончился очередной (их было много в этом году) Всемирный конгресс Международной экономической ассоциации. Обсуждали, естественно, российские реформы. Выступил и Гайдар.

Самая серьезная из долгосрочных проблем развития России, заметил он, это дефицит сбережений, необходимых для устойчивого и нормального финансирования экономического роста. Нам нужно найти решение, как перейти от экономики, кормившейся с ложки госинвестиций, гарантированного питания, базировавшейся на постоянных и крупных налоговых изъятиях государства, к экономике, которая растет и развивается, питаясь инвестициями банков, состоящих из частных сбережений населения, как перераспределить эти ресурсы через рыночные институты, как добиться, чтобы они шли на долгосрочные и высокоэффективные проекты.

О начавшейся приватизации Гайдар сказал, что программа еще довольно противоречива, как противоречивы интересы, которые она должна примирить, — трудовых коллективов, директоров, государства, частных инвесторов.

И все-таки, судя по тому, что акционирование предприятий пошло уже в массовом масштабе, какой-то баланс интересов существует.

14 августа президент Б. Ельцин подписал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации». Мирная экономическая революция собственности началась.

В конце августа министр финансов непреклонный (ничего никому не давать!) Василий Барчук со вздохом сказал, что нужно удержать дефицит российского бюджета в пределах одного триллиона рублей и уж никак не перевалить за два триллиона. Бюджет, о котором так долго мечтал Минфин, наконец-то утвержден Верховным Советом, сказал он. Правда, Минфину парламентские эксперты строгонастроено предложили увеличить доходы бюджета на триллион, снизив налоги и введя множество льгот, чем поверглись в панику правительство.

Только льготы по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость вымывают из бюджета около 300 миллиардов рублей. Эти потери покрыть нечем, если учесть, что неплатежи по НДС (возникшие и из-за всеобщего кризиса неплатежей в народном хозяйстве) составляют еще 300 миллиардов рублей.

В конце августа снова возник вопрос о наших долгах Западу. Потребовали заплатить проценты по долгу Австралия и Канада. Канада останавливала отгрузку зерна в нашу страну. Зерновозы застряли на реке Св. Лаврентия.

Россия настойчиво просила отсрочки по краткосрочным платежам, с чем и ездил раз за разом в Париж Петр Авен.

24 августа Гайдар провел совещание с повесткой «О ходе экономической реформы на местах».

«После того как правительство России вышло из периода кризисного управления (осень, зима и весна до съезда. — В. Я.), оно может ставить перед собой задачу широкого системного осуществления реформ по всему фронту. Приватизация, а точнее изменение отношений собственности, — не та проблема, которая может решиться просто, быстро и без конфликтов, — повторил Гайдар. — Эта проблема в принципе не имеет универсального простого решения. Неизбежно будут трудности и напряжения».

Гайдар снова предупредил местных руководителей о серьезности надвигающейся проблемы безработицы, грядущей следом за переменой собственника предприятиями. Рост цен он назвал неизбежным злом, неизбежным, потому что правительство вынуждено закупать зерно по новым ценам. В бюджете нет средств, чтобы компенсировать этот колоссальный рост расходов.

После семи вечера собрались за столом все бывшие на то время в Москве члены команды.

«Давайте не будем забывать, от чего мы ушли, к чему пришли, — сказал Гайдар, — что нам удалось сделать за это время».

«Мы сохранили финансовую систему, что предотвратило распад России, спасло от продотрядов и войны», — сказал Андрей Вавилов.

«Теперь центральная историческая задача, стоящая перед нами, — приватизация, — сказал Чубайс, — задача, как и масштабы огосударствления всего и вся, не имеет аналогов в мире».

В конце августа снова начал падать и продолжал падать курс рубля по отношению к доллару, до этого менявшийся все-таки довольно плавно: 1:120, 1:130, 150, 180... Потом понеслось — 200, 210, 241, 301... И это в обстановке, когда на мировых валютных рынках курс доллара «находится в состоянии свободного падения».

Летом 1990 года Гайдар писал:

«Еще в начале тридцатых годов блестящий английский экономист Дж. Хикс показал роль традиции, исторически складывающихся стереотипов в оплате труда. Продемонстрировал он и то, что резкие изменения в относительном уровне доходов разных групп занятых неизбежно порождают инфляционные тенденции. Если им не противопоставить жесткую финансовую политику, формируется спираль: зарплата — цены — зарплата, которую нелегко разорвать».

Но вот Госкомстат России (подконтрольный, как и Центральный банк, парламенту) свидетельствует: увеличивается разрыв в оплате труда в промышленности (не приватизированной и несколько не улучшившей свою работу) и социальной сфере. Растет и пропасть между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми, не говорю уж — между богатыми и бедными, те всегда были на разных берегах реки счастья. Интересно, что в негосударственном секторе зарплата растет медленнее, чем в некоторых щедрых государственных предприятиях.

И напрасно стараются записные публицисты, отдавшие свои перья на службу разным партиям интересов; напрасно разоблачают погрязшую в коррупции и некомпетентности демократию. Мы все еще в начале длинного и трудного переходного периода от тоталитаризма к свободе...

Евразийская хроника

Из множества экологических проблем меня в последнее время по-настоящему тревожит одна. Экология сосуществования. Та катастрофическая политическая и этническая сукцессия, которую мы переживаем. Мне приходилось уже как-то писать о политической сукцессии, но повторюсь. Сукцессия — одно из центральных понятий экологии. Определений ему дано много, нам здесь не нужна строгость, скорее наоборот — образный потенциал понятия, способность его вбирать в себя множество смыслов. Так вот, сукцессия — это процесс смены одной экосистемы другой, замещения одной другой, проникновения одной в другую. Это динамика развития системы. Например, сукцессия леса — процесс смены пород, когда после буреломов или сплошных рубок идет восстановление леса, но иными породами:

лиственным после хвойных. Или сукцессия озера, когда в результате долгого (или не очень) процесса эвтрофикации, поступления в водоем избытка питательных веществ, в нем идет интенсивное развитие сине-зеленых водорослей, простейших — это важно для нашей аналогии; водоросли эти отмирают, разлагаясь, окисляясь, потребляют кислород, и водоем гниет, потом заиливается, превращается в болото, и так столетиями. И все это называется сукцессией. Меня интересует сукцессия общества, а точнее даже обществ, из которых, оказалось, состоит наша бывшая страна, сукцессия политической системы, политический систем, в которые они, эти общества, укладываются. Сукцессия этническая, когда различные народы, анклавы, племена начинают осознавать себя собою, отдельностью от иных, а иных чужими, враждебными... Некогда, на пороге катастрофической сукцессии 1914—1929 годов, в Российской империи существовала некоторая политико-этническая система, противоречивая, чреватая грандиозными катаклизмами и конфликтами, но до поры устойчивая. Война, революция и дальнейшие уже плановые операции резко и катастрофически изменили эту социознотическую систему, как лесной пожар меняет экосистему леса, который никогда уже не станет прежним, вчерашним могучим и прекрасным бором. Катастрофическая сукцессия всегда имеет одну особенность: она резко упрощает систему. Из нее выпадают самые продуктивные, самые роскошные виды, зато расцветают примитивные и жизнестойкие, пусть короткоживущие, но плодovитые. Об этом много написано на примере растительных и животных сообществ классиками экологии. Я не пытаюсь перенести их методологию на ниву политики и социальности. Моя задача скромнее: использовать скорее образы экологии, чем их строгий научный смысл; я пишу политическую публицистику в формах экологического сознания, а не трактат. Чтобы не повторяться, отсылаю любознательного читателя к сборнику «Экологическая альтернатива» (М. 1990). Скажу только, что простая система непременно усложняется, но происходит это долго.

Кого выбирать? Люди, если бы их действительно спросили, если бы им действительно принадлежало право выбора, выбрали бы прежде всего мир, жизнь, безопасность детей и стариков своих. Но выбирают не они, не простые люди, выбирают другие, те, кто грызет, как в сыре мыши, ходы для себя, ходы, которые станут потом коридорами власти. Автобус, расстрелянный в Грузии, не дает мне покоя. Души убитых детей. И убитых в Ходжалы. И в Сумгаите. И в молдавских кодрах. Такую экологию не выбирали для себя люди.

Мир естественнее для человечества, чем война. Мир «живет» сам, а войну нужно организовывать, обеспечивать, непрерывно бросать в ее жерло средства, технику, людей. Это неправда, что войны возникают сами, это очень сложные процессы, которые нужно лелеять, поддерживать, постоянно накачивая в обществе дух вражды и отчаяния, во всяком обществе, иначе оно никогда не согласится посылать своих детей убивать и умирать. С ужасом смотрю я, как и в каком направлении развивают экологию русско-украинских отношений. Сколько уже сделано кропотливых усилий на ниве вражды. Сколько голов одурено, окопачено, наполнено злобой и гневом. Но ведь сюжет этот настолько жизненно важен, настолько серьезен для будущего, для жизни обоих и многих других народов, что не знаю, какой цены было бы много за снятие напряжений — отдал бы оба парламента плюс крымский, не говоря уж о персонах, власть предержавших, в придачу. Карабах и Приднестровье показали — катастрофы, войны не делаются за день, для этого должна быть создана обстановка и атмосфера. С огромным сожалением читал я громогласные заявления президента Ельцина о Черноморском флоте, с не меньшим — заявления и высказывания президента Кравчука, не говоря уж о менее официальных, но куда более воинственных высказываниях их приближенных, хотя бы российского вице-президента. Ручкой никак не освободится от привычек фронтового штурмовика, человека отважного, но, на нашу беду, лишённого ответственности и рефлексии. Рискую вызвать неудовольствие на обоих берегах Керченского пролива, скажу так: не надо ссориться, братья! В этой ссоре, той войне, куда вас толкают, и кровь и грех великий. Будет выдержанно и ответственно вести себя Россия, не случится непоправимого. Охолодеют и южане. Не будет повода для драки — и драки не будет. Раз уж так вышло — развод, то разводиться по-людски. Не забывать, что общих детей нажили многие миллионы, что и там и там десятки миллионов людей остались, и живут, и будут жить, и чувствуют себя вполне даже дома. Признать, что и то и другое государство останется русско-украинским и украинско-русским. А значит, дележа-то до конца, до последней доски не может быть, ведь и миллионы русских на Украине на что-то из наследства имеют право. Я очень боюсь, что в нынешних печальных экономических обстоятельствах, в длительной стагнации экономики, кризисе военно-промышленного комплекса, вот-вот начинающейся массовой безработице, о чем с зимы предупреждал Гайдар, у многих будет соблазн устроить маленькую победоносную экспедицию, поиграть на таком громкоголосом инструменте, как национальное чувство.

Только инструмент этот опасный и никому еще из тех, кто его приводил в действие, не помогал. Бряцают оружием, пугают друг друга. Разговаривают, как в подворотне при разборках. Да разве так можно? И кто знает, как обернется эта тлеющая в некоторых умах война, куда пойдет, на какие крыши перекинется. «Думал — виктория, а оказалась — конфузия».

* * *

19 августа 1992 года в «Известиях» почти целую полосу заняла статья Егора Гайдара «Россия и реформы».

В этот день бывший Институт экономической политики, те, кто год назад пошел с ним к Белому дому, снова были там. На двух «рафиках» подъехали к метро «Баррикадная» и на глазах изумленной публики пошли пешком с Гайдаром во главе к Белому дому.

Хотели выпить по маленькой там, у восьмого подъезда, где стояли год назад. Но не получилось, увидели, съемщики, зажали. Навалила толпа, доброжелательная, впрочем: держись, Егор, не уходи в отставку! Чуть не раздавили Гайдара, оставшегося тем не менее невозмутимым. Ретировались во внутренний двор Белого дома. Потом ходили по парламентским коридорам. Но кабинеты, в которых начинало это правительство 7 ноября 1991 года, были заняты.

Наконец нашли какую-то комнату, кажется, в ней год назад Алексей Головков конструировал «правительство реформ».

Гайдаровскую статью, которую написал он в недельный отпуск в конце июля, я прочитал только 21-го. Это первая статья Гайдара за год. (Перед этим летом 1991 года написал он не опубликованную до сих пор «Трудную дорогу к капитализму».) Сжатая и концентрированная, вызывающая волну новых вопросов.

«Как смотрятся базовые постулаты современной экономической теории на фоне накапливаемого нетривиального опыта?»

Главное, с чем не могу согласиться, — с мифом о возможности выйти из кризиса, спасти Россию без радикальных экономических реформ».

Думаю, тут водораздел проходит со многими бывшими друзьями-демократами.

«Есть две группы регуляторов, способных обеспечить жизнедеятельность общества, — пишет Гайдар, отягощенный десятью месяцами тяжелейшей ответственности, — эффективные деньги и эффективные приказы».

Когда они пришли, ни то, ни другое не работало.

Диагноз:

«Летом 1991 года экономика Советского Союза была неуправляемой, находилась в состоянии свободного падения, без каких бы то ни было надежд на стабилизацию».

Задача: «Круг экономической безысходности надо было разорвать во что бы то ни стало. Речь шла о более важном, чем реформы, — выживании страны, ее граждан».

Гайдар честно признает: у российского правительства (той поры, когда пришел он с друзьями) не оставалось выбора. Оно обязано было выступить инициатором старта преобразований, предложить другим следовать параллельным курсом, принять на себя бремя ответственности.

Гайдар понял главное: «В демократической стране правительство имеет лишь ограниченную свободу маневра, вынуждено считаться с мощными интересами, стоящими за тем или иным решением».

Плоской модели мира, состоящей из демократов и консерваторов (ну, еще аппаратчиков-реформаторов), Гайдар противопоставляет реальный, объемный, противоречивый мир интересов.

«Военно-промышленный комплекс, аграрное лобби, объединения отраслей, требующих субсидий и таможенной защиты, вкладывают слишком много усилий, денег, времени в обеспечение своей доли средств налогоплательщиков, чтобы их можно было так просто оттеснить от государственного пирога».

Гайдар мог бы сказать больше, об этом он не раз говорил в парламенте, терпеливо объясняя депутатам раз за разом, что добрыми и щедрыми они могут быть только за чей-то счет, что, поощряя погашения неплатежей, развертывание субсидий, льготных кредитов, широкую денежную эмиссию, они ведут страну к гиперинфляции и обнищанию.

Авторы альтернативной экономической программы «Гражданского союза» считают, что реализация правительственной программы реформ чревата возникновением в России «эффекта сжимающейся экономики» с «ярко выраженным интересом топливно-сырьевых производств и прогрессирующим ухудшением материальной базы потребительского и инвестиционного сектора». Люди, всю жизнь занимавшиеся имитацией бурной деятельности, взяли за альтернативную программу. Не дай Бог им ее реализовывать.

Гайдар терпеливо показывает, уже который год (только слышен он стал для всех недавно), одну закономерность.

Скажу, как думаю: вся революция 1991—1992 годов, может быть, и была нужна для того, чтобы сломать структуру власти партий интересов, прежде руководивших из-под руки КПСС, а теперь желающих, как Вольский с его промпартией, непосредственно распределять национальное богатство. Может быть, весь сюжет раскрутился для того, чтобы президент Ельцин смог поставить у руля страны людей достаточно молодых, чтобы жить ее долговременными интересами, достаточно смелых, чтобы взяться за это, достаточно свободных от связей и предыдущего хозяйственного опыта, чтобы смочь сделать главное — прекратить всевластие партий интересов, ненасытного и не способного накормить страну аграрного лобби, ВПК, завалившего полимира оружием и настолько не верящего в возможность перемен, что абсолютно к ним не подготовился.

Все это было невозможно в прежних аппаратно-административно-демократических рамках. Никакие аппарат-реформаторы или реформат-аппаратчики не способны сделать главное — жестко перераспределить бюджет, сократить на 67 процентов расходы на оборонный комплекс, открыть внешнюю торговлю, снять барьеры и квоты... Не самоубийцы, они знают, какие имущественные интересы задевают.

Это правительство следовало бы сохранить на четыре-пять лет, но, вероятнее всего, его бросят в жертву политической игре, выставят на арену других. Каких? Найдутся ли другие, способные столь же бесстрашно делать свое дело профессионалов, то есть продолжающие курс реформ? Или придут дешевые популисты, жонглеры слов, программ? Этих хватит совсем уж ненадолго. На самом деле выбор если есть, то между жизнью и нежизнью, свободой и рабством, загнать в которое людей будет теперь трудно: появились новые мощные интересы, самые мобильные граждане страны работают сегодня на невозвратные прошлого.

Приватизация, акционирование, ценные бумаги, дивиденды, пенсионные и страховые фонды, ваучеры, земельные наделы — все это реальные и серьезные вещи, и трудно будет людей убедить в том, что с ними пошутили и что всего этого больше не существует.

Выступая 3 июля 1991 года на Верховном Совете, защищая программу второго этапа экономических реформ, Егор Гайдар говорил: «Нас упрекают в том, что мы западники, теоретики прозападной ориентации. Это так. Но мы патриоты своей страны, убежденные, что эта политика отвечает ее долгосрочным интересам».

Мне приходилось уже писать (в «Партиях интересов» — «Новый мир», 1990, № 2; «Энергии распада» — «Новый мир», 1991, № 3), что основы, или «базовые структуры тоталитаризма», во многом относятся к области технологии и менеджмента.

Мы были несвободны не только из-за КПСС, КГБ и милиции, но и потому, что отдали свою свободу в руки разных ведомств и служб, отдали на чужое усмотрение самое главное мужское дело — благополучие и безопасность своих близких. Мало кто из сегодняшних горожан может гарантировать своим семьям хлеб, тепло, электричество, на это есть гигантские и тоталитарные структуры. Централизация жизнеобеспечения, теплоснабжения, электричества, транспорта, связи, образования, торговли, тоталитарность и монопольность основных структур жизнеобеспечения общества, — вот с чем нужно бороться людям.

Сверхгосударство, где «все едино» — единая энерго-информ-топливно-транспортная система, единая система заготовки и хранения хлеба и продовольствия... Каждую зиму страна замирает в ужасе: не умертвят ли ее морозом энергетики и тепловики, обогреют ли? Любое правительство в этой стране львиную долю времени посвящает (не может не посвящать!) не макроэкономике и другим глобальным вещам, а аварийным ситуациям, прорывам теплоснабжения, авариям трубопроводов и энергосетей, заторам на железных дорогах и забастовкам угольщиков. А теперь еще и взрывам мостов и блокадам трубопроводов. Какой-нибудь автобусный трест держит миллионный город за горло надежнее, чем банда рэкетиров.

Государство все еще — левиафан, и как мы боимся выйти из-под его власти! Все еще наш главный и единственный работодатель, поилец и кормилец, пастырь и учитель. Значит, к нему все претензии.

Единственная разумная стратегия для России, которая вырисовывается в тумане неопределенностей, это стратегия на умаление правительства, государства, а значит, усиление групп, сословий, предприятий, предпринимателей. Чем меньше правительства, тем больше общества...

И все-таки, что бы ни говорили, в 1991—1992 годах произошла настоящая революция, передача власти не от одного поколения к следующему, а через поколение, лишившая власти и наследства поколение шестидесятников, тех, кто дышал ей в затылок. Вот в чем революция, в чем дерзость ельцинского маневра. В этом его и

рискованность, потому что теперь, чтобы закрепить победу, нужно в свое время передать эстафету власти еще более молодым, тем, кто только и способен вытащить Россию из исторического тупика, куда ее загнала одряхлевшая диктатура...

За неделю до открытия осенней сессии Верховного Совета 1992 года «Российская газета» начала печатать книгу председателя Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатова, члена-корреспондента Российской Академии наук.

Собственно, нам представлена не книга, а отрывки из нее в четырех номерах газеты, листа два с половиной печатных; вероятно, книга получилась объемистая, и скорее всего отрывки не могут дать полного представления о ее содержании; вероятно, Р. И. Хасбулатов отдал в газету страницы, которые счел наиболее актуальными.

В свое время А. Собчак назвал свою книгу «Хождение во власть». Претенциозно и длинно. У Р. И. Хасбулатова коротко: «Власть». И подзаголовок: «Размышления спикера».

В телеинтервью 21 сентября 1992 года Р. И. Хасбулатов отрекся от спикерства: «Я не спикер. Я председатель Верховного Совета. И я вкладываю в это понятие следующий смысл. Президент руководит исполнительной властью в стране... А я, как председатель Верховного Совета, руковожу всей системой законодательной и исполнительной власти... Давайте в конце концов поймем, что в нашем отечестве персонально несут ответственность два высших должностных лица. Это Президент Российской Федерации и Председатель Верховного Совета».

Двоевластие.

Эти уточнения важны, потому что далее в статье Р. И. Хасбулатова будет все время вибрировать смысл из-за широко публицистических, метафорических размашистых формулировок. Вибрация смысла, а иногда и полная потеря понимания — вещь нежелательная, когда речь идет о сокровенных и глубинных размышлениях председателя Верховного Совета, еще недавно сподвижника президента, а сегодня — человека, пытавшегося создать вокруг себя широкую базу-поддержки совершенно по-особенному понимаемой им демократической власти.

Мне кажется, что Р. И. Хасбулатов власть в представленных текстах понимает в очень глубинном, каком-то мифологическом смысле, как судьбу, а судьбу — как рок, полное всевластие избранника судьбы. Демократическое, правда.

Р. И. Хасбулатов пишет не всегда ясно, не вполне убедительно, но почти откровенно: «Размышляя о власти, думаю о необходимости подчинения общества единой воле, о регулировании отношений между людьми, связанными жизнью в обществе».

Размышления Р. И. Хасбулатова, безусловно, интересны и содержат в себе глубокую основу для серьезной дискуссии. Думаю, что он опубликовал взгляды выстроенные, позиции продуманные и тем самым интересные. В своих публикациях он предстал сторонником реформ, федеративного, хотя и смутно очерченного демократического государства с парламентом из профессиональных политиков и экспертов-специалистов во главе.

Не могу не согласиться со страстно и убедительно высказанной главной мыслью: «В переходный период чаяния общества отвечает формирование сильной власти. Но означает ли это уничтожение парламента, представительной власти? Некоторым кажется, что означает. На самом же деле, конечно, такое однозначное «да» приводит к созданию условий для нового тоталитарного режима».

И я так думаю.

Как не приветствовать такую мысль:

«...власть всегда должна быть готова уйти. Она должна создавать все условия, чтобы ее могли устранить, но именно в этих условиях она и должна обретать устойчивость».

Но читаешь дальше столбец за столбцом, номер за номером, и накапливаются сначала мелкие недоумения, потом неясности, а потом формируется стойкое и протестующее несогласие.

Р. И. Хасбулатов продолжает:

«Как спикеру парламента мне видится проблема слияния парламентской власти с избирателями: это — приемы избирателей, встречи во время поездок в регионы, письма от избирателей, народа; это — решение вопросов в обход (кого? — В. Я.) самого сильного наследия партаппарата, которое сосредоточилось во всех эшелонах исполнительной и частично представительной власти». (Схема, близкая скорее к просвещенному абсолютизму, — монарх едет, принимает челобитные, казнит, милует, жалует в обход всех, кто не оградил от жалобщиков.)

По всему пространному тексту бродит одна заветная мысль — о единой, полной и эффективной власти.

«Тревогу, и постоянную, внушает проявление значительного числа систем управления, не подчиненных единому федеральному центру и способных осуществлять собственную, в ряде случаев взаимоисключающую, конфронтационную по отношению друг к другу и к государственной власти (так в тексте.— *В. Я.*)... не обладающим необходимыми информационными и организационными ресурсами, да и полномочиями, ведет к общему ослаблению государственного механизма как целостной системы».

И даже:

«Для новой, рыночной экономики потребовалась и новая форма политической организации общества. Но, как и прежде, власть остается ключом к экономике (то есть по-прежнему никакой экономики, власть отбирает, перераспределяет, дает льготы и накладывает непосильное тягло.— *В. Я.*)».

Р. И. Хасбулатов, впрочем, не какой-нибудь философ тоталитаризма, он теоретик вполне новой и, может быть, даже по-своему прогрессивной системы. Он, разумеется, понимает, что «только собственность выступает реальной властью — властью над производством». Добавим, над финансами и информацией. Правда, мучительная противоречивость нашей жизни заставляет и автора быть противоречивым: с одной стороны, передача собственности в частные руки, руки трудовых коллективов, с другой стороны, тревога из-за «отчуждения производителя от собственности», растущего расслоения общества, призыв «не допустить люмпенизации неимущих и малолетних».

Гневно обрушиваясь на новых буржуа, на разбогатевших коммерсантов, спекулянтов, перекупщиков, банкиров, жиреющих на гигантских процентах, Р. И. Хасбулатов видит опору в тех, «кто ближе к производству, кто производит, делает дело. Мы ориентируемся и на тех, кто говорит: сила в профсоюзах. И мы чувствуем — сегодня надо заниматься не только и не столько партиями и движениями, а профсоюзами, производством, кооперацией, теми проблемами, решение которых дает устойчивость власти».

Такую речь мог бы произнести и генеральный секретарь КПСС в эпоху ее высшей власти.

Похоже, что под лозунгом «абсолютной демократии», всевластия закона и высшей власти депутатского корпуса нам предлагается новая модель властвования старых партий интересов (ну, может, для стабильности допустят кое-кого из новых).

Р. И. Хасбулатов, считая, что правительственная программа развития реформ никуда не годится, бросает концептуальный вызов: «Придется самому парламенту основательно улучшить ее, привлечь все позитивные силы общества к работе над этой программой». Какие это силы — ясно. Во всяком случае, «большую роль в этом деле» он предрекает «Гражданскому союзу».

Думаю, что принципиальное расхождение, и, вероятно, непреодолимое, между позициями Р. И. Хасбулатова и Егора Гайдара состоит, в частности, в том, что Хасбулатов думает: где та сила власти и кредитов, что экономическими нитями свяжет их и оживит производство? А Гайдар, вполне трезво понимающий полезность и приятность для колхоза или фермера льготного кредита, не считает льготы и преференции «экономическими нитями», а считает их все теми же старыми раздачами привилегий одним за счет других. Вот и все.

Но ясно, что борьба разгорается. Хасбулатов, это видно по лексике, по значимым образам, по паролным словам («национальный», «русский», «идея патриотизма», «Столыпин», «вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия», «народ», «спекулянты», «перекупщики», «обнищание», «унижение», «внутренние силы», «курс на долларовые вливания опасен» (никто не торопится нам их вливать, к чему такая тревога? — *В. Я.*) и даже: «Россия... находится в преимущественном положении по сравнению со многими другими государствами, так как обладает собственными природными, людскими и интеллектуальными ресурсами, превосходящими во много раз (замечательно это все-таки — «во много раз», вселяет оптимизм.— *В. Я.*) возможности крупнейших держав»), пытается собрать вокруг себя широкую коалицию патриотических сил. Это было бы замечательно, если бы не было так тревожно. Слишком пространный текст. Слишком знакомые рецепты.

Руслан Хасбулатов — странная и по-своему трагическая фигура.

Он интересно начинал, его заслуги на первом этапе борьбы за российский суверенитет неоспоримы, их не забудут ни строители новой России, ни плакальщики о старом Союзе. Лишенный возможности встретиться со своими избирателями, отвергнутый как их представитель, он ищет опору в конструировании сложного механизма власти над парламентом, в создании базы среди местных представительных органов, колесит по России, выступает, дает интервью, пишет... Но чем более публичной личностью становится он, тем с большей очевидностью становится ясен

истинный масштаб личности, недостаточность «весовой категории» и, что самое печальное,— одиночество...

Сентябрь 1992 года

Президент внезапно, за три дня до отлета, отменил визит в Японию. Не буду касаться международных последствий этой резкой политики. Но внутри, конечно, последствия будут благоприятные. Люди, которые столько сил, времени и денег потратили на создание курильского вопроса, наготовили столько зажигательных речей, сценарные планы утвердили для предстоящей сессии и съезда, а тут пауза. И придется переключаться на скучные, невидные внутренние дела, на ваучеры, тяжелое положение заводов (а общество уже научилось задаваться вопросом: отчего-то вы такие бедные, может, не раскрутились, не расстарались, может, и продукция ваша не нужна вовсе народу?).

Опять начали считать, сколько осталось жить гайдаровскому кабинету, и многие опять подмигивают с телеэкранов — нам, нам скоро власть дадут, мы вас и вытасчим, и субсидии дадим и субвенции, и зарплату повысим... А люди уже не верят.

Что-то важное сдвинулось в общественном сознании, и правительство, которое честили полгода назад за жесткость и безжалостность, теперь, когда оно уступает, костерят за соглашательство и движение к гиперинфляции.

Люди не забыли декабрь 1991-го и не хотят к нему вернуться — с полными сумками ничего не стоящих денег...

25 октября 1992 года. Тольятти

Очередное воскресенье провели в Тольятти. Генеральный директор АвтоВАЗа Владимир Каданников пригласил правительство на встречу с крупнейшими директорами промышленности. Ехали не без опаски, опять усилился накат депутатов, «Гражданского союза», прессы, назначен уже день нового съезда — 1 декабря. На тольяттинскую встречу Ельцин выставил сильнейший состав: Гайдар и первая пятерка — ближайшие единомышленники: Шохин, Чубайс, Авен, Барчук, Нечаев. Первые кандидаты на отставку при любых изменениях в правительстве.

День был пасмурный, ранний снег забелил черноту полей и пустоту лесов. Машины быстро пронеслись трактором, соединяющим Самару с Тольятти (не то что неделю назад, когда пробивались сквозь метель из Норильска в аэропорт). В новеньком, финнами построенном здании научно-технического центра ВАЗа собрались 65 генеральных директоров крупнейших предприятий России. Не утверждаю, что здесь были все промышленные генералы, нет, конечно; но собрались люди серьезные. КамАЗ, ВАЗ, АЗЛК, КРАЗ, ЛОМО, воронежская «Электроника», Самарский авиационный, Новолипецкий металлургический, Череповец, нефтепереработчики, станкостроители.

Сначала собрание пошло по вполне традиционной схеме: выступали директора один за другим, начиная с хозяина, директора ВАЗа, который заявил: «Что хорошо для ВАЗа — хорошо для России», лозунг, о котором Гайдар сказал, что поостерегся бы безоговорочно его принимать. Впрочем, Каданников признался, что ВАЗ сейчас не лучшее место для вложения денег. Правительству досталось за то, что не поддерживает отечественное автомобилестроение (металлургию, станкостроение, авиацию, нефтехимию), за то, что не проводит эффективной структурной политики. Ее каждый понимал по-своему: автомобилестроители считали, что правительство должно давать льготные кредиты, разрешить использовать государственную долю акций на переоборудование, должно таможенными пошлинами защищать их от зарубежного конкурента (на что Петр Авен заметил, что ВАЗ и «Вольво» живут в разных экологических нишах). Директор завода авиационных двигателей убедительно показал, что необходимо сохранять и развивать потенциал отечественного самолетостроения, прежде всего двигателей, основу нашей независимости; она нелегко далась, начиналась с лицензионных закупок в 30-х годах, стоила огромных денег и будет стоить многие миллиарды долларов, если мы загубим созданный потенциал.

Но чем дольше выступали директора, чем подробнее и убедительнее рассказывали о своих болях и проблемах, тем все яснее становилась для всех очевидная истина, что правительство дать им все требуемое не может, как бы ни старалось, а может быть, и не должно. Постепенно и требования становились все взвешеннее и реалистичнее, они касались уже не простой раздачи денег и дефицита, а возможных льгот на инвестиции, вкладываемые в развитие производства; при этом не Барчук, а они потребовали, чтобы кредиты шли не прямо от Минфина, а от коммерческих банков, специальных правительственных агентов, которые были бы уполномочены распределять эти инвестиционные кредиты. Говорили о борьбе за сохранение рабочих мест через

ставку коммерческого кредита, о необходимости экономической поддержки реальных структурных сдвигов, о стимулировании экспорта продуктов переработки, а не сырья.

Ни один не выступил в идеологии «Гражданского союза», никто не требовал оставить его директором государственного предприятия, все они увлеченно обсуждали варианты приватизации, модели акционирования, страстно боролись с «чубайсьятами» за каждый пункт уставов акционерных обществ, в которые превращались их заводы и объединения. Все они явно уже выбрали вариант судьбы и судьбу крупного промышленного менеджера предпочли варианту ненадежного существования обкомовского номенклатурщика, которого в конце жизни ждет если не инфаркт, то тощая персональная пенсия и садовый домик.

Общество пугают «красными директорами», но они давно не красные, а вполне трезвые и прагматичные и, как правило, знающие люди. Находящиеся в самом критическом периоде отечественной индустрии (вряд ли на встрече был хоть один директор с долгами меньше миллиарда, и ему должны, как правило, не меньше), жалующиеся на неплатежи и срывы поставок, на неизбежный и расширяющийся спад, они выглядят более самостоятельными и ответственными людьми, чем во времена дугото благополучия: им не нужно теперь ездить в главк и в ЦК, согласовывать назначения, утрясать зарплату, выпрашивать фонды и униЗИтельно выклянчивать заграникомандировки. Теперь все оказалось в их руках, и они почувствовали вкус к такой жизни.

Обнадеживает, заметил Гайдар, что даже такое сложнейшее производство, как ВАЗ, всего на 5 процентов сократило выпуск автомобилей. И это при том, что рухнул Союз и половина поставщиков оказалась в дальнем и ближнем зарубежье, что не стало СЭВа и сэвовской кооперации. И все равно завод, у которого сотни смежников, выпускает две тысячи автомобилей каждую смену. Выпускает, пусть страшным напряжением снабженческих служб, отдавая за детали готовые автомобили, доставляя всякие салники и резинки самолетами прямо к конвейеру бог знает за какие деньги, вздувая цены так, что самим уж и не купить свою машину (в 1989-м за машину нужно было работать два с половиной года, теперь — четыре с половиной как минимум), но выпускает!

Спад начался с шахтеров и нефтедобытчиков, прокатился по всей цепи народного хозяйства, докатился до машиностроения. Рост цен виток за витком, сокращение производства, все всем должны, и никто никому не платит. А уж тем более за границу — в Россию, на Украину, в Казахстан... Постсоциалистическая страна по дороге к рынку с удовольствием играет в эту игру: все дорого, но все бесплатно, потому что денег у нас нет, а погибнуть ну кто же нам даст?! Снова дадут кредит под 10 процентов, спишут долги, потому что они достигли цифр бессмысленно астрономических. Новолипецкому металлургическому комбинату, жаловался генеральный директор Иван Васильевич Франценюк, должны 22 миллиарда рублей, так ведь и он должен 12 миллиардов, которые тоже люди ждут как манны небесной.

Жаловались не все. Блистательный и победный Николай Иванович Бех, председатель акционерного общества «КамАЗ» («Мы акционировались три года назад, — сказал он, — когда слово «дивиденд» было таким же ругательным, как нынче ваучер»), не просил ничего. Разве что равных условий, единых критериев исчисления прибыли, а значит, и налогов. Это Бех предложил создать при правительстве Комитет промышленников, идея, которая была поддержана всеми. Промышленники получают в правительстве свое законное представительство (хотя и с неясными возможностями реального влияния). Сенсацией стало обращение, принятое собранием в поддержку правительства и проводимого им курса.

Когда летели обратно, Гайдар сказал о прошедшей встрече, что она была полезной. Стало очевидным нежелание большей части директорского корпуса выступать молчаливыми статистами при группе политиков. Директора уже адаптировались к новым условиям и не хотят поворачивать назад. Они научились играть по новым правилам и приняли эти правила. Они могут быть очень недовольны правительством, но когда встает реальная угроза возврата к старому, выясняется, что в этой ситуации они наши союзники.

Шохин добавил: мы долго занимались чисто профессиональными делами, надеясь, что результаты скажут сами за себя, но оказалось, что невозможно быть просто правительством профессионалов, принимающих, как им кажется, оптимальные решения, без социальной базы. Мы поняли, что должны найти эту базу, а для этого надо становиться реальными политиками.

Сентябрь—октябрь 1992 года

Весь октябрь Гайдар провел в поездках, полетах. Чебоксары, Новгород, Смоленск, Тула, Баку и Ереван, Бишкек и оттуда неожиданная и опасная поездка в

Душанбе, поиск соглашения, полет над разоренной страной, над горящим Курган-Тюбе в пограничный Пяндж; официальный визит в Польшу, переговоры с Ханной Сухоцкой, президентом Валенсой, протоколно необязательные, но очень поучительные в смысле проекции польских обстоятельств на наши, встречи с маршалами сейма и сената; поездка в Киев и труднейшие переговоры с правительством, отставленным через неделю; визиты в Якутию, Магадан и Норильск, смысл которых, если высказать его в нескольких словах, состоял в том, что регионам и территориям на самом деле отдавали права, деньги, долю валюты, алмазов, золота, платины, отдавали ответственность. После каждого такого короткого, на день-два, визита правительства становилось все меньше, оно отдавало свои функции или часть их регионам. Политика, как я понял их, простая и открытая: свободные границы, жесткий контроль за эмиссией рубля, по существу русский рубль, контролируемый российским Центральным банком. А к ближним и более дальним новым странам подход тоже универсальный, хотя и существенно разный, конечно. Свободная торговля, если вы хотите, взаимные корреспондентские счета банков друг у друга. Для того чтобы открыть такие счета в России, надо что-то поставить в Россию. Чтобы открыть такие счета в Киргизии или Польше, надо что-то поставить в Киргизию или Польшу.

Вначале побывали в Чебоксарах, где с президентом и Хасбулатовым пытались примирить представительскую и исполнительную власть. Президент Ельцин, открывая встречу, сказал об ее историческом значении: впервые собрались вместе руководители исполнительной и представительской власти всей России. Он заявил, что центр тяжести реформ переносится на региональный уровень, на местах решится успех или поражение исторического дела. На этом совещании Гайдар заявил, что экономика становится управляемой. Начинает работать механизм реформ.

Побывали на предприятиях. Понравилось, что люди ничего не просят, обходятся сами, ищут, что бы такое производить, что имеет спрос. Президент сказал: катастрофы мы избежали, теперь можно проводить реформы.

Перед отлетом Гайдар на вопрос об успехе совещания сказал репортерам:

— Любое совещание, которое прошло не в историческом тоне, я считаю крупным успехом.

Если принять эти слова всерьез, то сентябрьские и октябрьские встречи были успешными. Истории на них не было. Даже во фронтовом городе Душанбе, под дулами автоматов, то ли охраняющих, то ли угрожающих делегации России.

* * *

22 сентября открылась осенняя сессия Верховного Совета России, и сразу политический градусник залихорадило. Депутатские коалиции к сессии оказались хорошо подготовленными и немедленно бросились в атаку. Их намерения были, в общем, ожидаемыми, разве что недооценили способность мобилизоваться с первых же минут. В связи с новой сессией, новым этапом политической жизни все газеты выступили с аналитическими статьями, в прогнозах недостатка не было. Бунич в «Вечерке» сообщил, что правительство уже повзрослело, не прошлогодние мальчишки-фундаменталисты, но, во-первых, напрасно отпускает вожжи финансовой стабилизации, а во-вторых, зря их не отпустило раньше. Депутат Румянцев, известный конституционер, заявил, что правительство свою роль, по его мнению, выполнило, запустило рыночные механизмы «по рыночному методу». Сейчас нужно уже стабилизационное правительство.

23 сентября в «Известиях» первополосная шапка: «ОСЛАБЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРУШИЛО НАЧАВШУЮСЯ СТАБИЛИЗАЦИЮ». А то оно этого не знает! Интересно процитировать подборку только первополосных шапок только двух газет, скажем «Известий» и «Российской газеты», с самых первых дней реформы. Выяснится, к сожалению, что обе не совсем в курсе дела.

— Промышленный спад ускорился, — сказал Гайдар, выступая на открытии 5-й сессии Верховного Совета. — В январе—июне производство сокращалось в среднем на десять процентов, в июле — уже на пятнадцать, а в августе — на двадцать семь процентов (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). В целом за год падение производства может дойти до двадцати процентов.

В середине года цены начали стабилизироваться. Появились какие-то товары. Установился курс рубля к доллару. Но в июле, после повышения цен на энергоносители, цены снова выросли: в июле — на 6 процентов, в августе — на 13. На полях началась уборка, и сельские производители вырвали повышение закупочных цен на хлеб.

Предприятия к концу полугодия оказались в драматическом положении банкротств: их нужно было либо закрывать, выбрасывая людей на улицу, либо давать кредиты и списывать долги.

Тем временем все бывшие республики Союза продолжали оперировать на рублевом пространстве, накачивая его несуществующими безналичными рублями, поддерживая свою промышленность, давая социальные льготы.

Интересно, что на этот раз и левые, и правые, и «Российская газета», верный орган Руслана Хасбулатова, принялись распекал правительство за ослабление кредитно-финансовой политики. Теперь уже дошло до всех, что щедрость к банкротам, должникам, плохо работающим предприятиям, дотации и льготы отрицательно сказываются на всей стране, а в первую очередь на тех, кто работает хорошо.

Не могу избавиться от ощущения, что профилактический, воспитательный, второй план в действиях правительства был. Вы хотели щедрых вливаний, вы не верили нашим прогнозам, нашим оценкам. — проверьте, что получается на практике, если правительство послушно действует по рекомендациям Верховного Совета. То ли еще будет!

После выступления перед Верховным Советом я спросил Гайдара о его ощущениях ситуации.

— Мы недооценили консолидированность наших оппонентов. Их ярость. Я думаю, они никогда не согласятся с нашим правительством. Оно нужно им, но как бы не вполне легальное, против их воли, а значит, и не на их ответственности, временное, нелегитимное. Им наплевать, что это беспринципное поведение наносит страшный ущерб России и внутри и за ее пределами, кто же даст денег, кто принесет инвестиции в гигантскую страну с непредсказуемым настоящим?

Курс доллара в эти дни вырос до 248; я спросил, почему он растет, а Гайдар развел руками: зато у людей много денег, зато нет безработных.

(На пресс-конференции в Варшаве 2 октября Гайдар сказал, отвечая на вопрос, почему падает курс рубля к доллару: мы предупреждали, что получится, если будете накачивать экономику рублями. Но, к сожалению, пришлось показывать, что лишние деньги ведут лишь к инфляции и падению курса национальной валюты.)

1—2 октября 1992 года. Варшава

Перед Бишкеком и Душанбе были Варшава и Киев. Сначала Варшава, вполне уже европейский, respectable город, с магазинами, экипированными по-европейски. Кортёж черных «вольво» и «ляничий», вышколенные агенты безопасности, хорошо налаженный протокол, безукоризненный, как мазурка, когда каждый танцор прекрасно знает свою партию.

Встреча Гайдара с премьер-министром Ханной Сухоцкой, президентом Валенсой, маршалом сейма В. Хшановским и маршалом сената Республики Польша А. Хелковским.

Здесь, как и в более близких столицах, Гайдар выступал с неких единых принципиальных позиций: мы хотим наконец оздоровить, нормализовать наши отношения, сделать их цивилизованными и разумными, избавиться от груза взаимных претензий и обид. Для урегулирования взаимных претензий есть два пути. Первый длительный, спокойный — заморозить проблему, годами вести переговоры, летать друг к другу в гости, пить водку, говорить о дружбе и ничего не решать. Есть второй путь — признать, что проблему надо решить, что это надо обеим сторонам, что дорогу надо расчистить и каждый должен пройти свой участок пути. Мы предлагаем объединить все взаимные претензии во взаимоувязке, всю проблему долгов, их структуру, включая задолженность в переводных рублях по государственным и негосударственным поставкам, задолженность в СКВ и в процентах по долгу, по спецпоставкам, проблему имущества СЭВа и проблему имущества Советской Армии в Польше, компенсационные соглашения по поставкам газа от Оренбурга и Ямбурга, — собрать все эти претензии, оценить и принять «нулевой вариант», начав 1993 год с нового листа.

В сущности, похожие пакеты предложений выдвигала Россия в переговорах и с Азербайджаном, и с Киргизией, и с Украиной. Предложения об отношениях честных и ясных, не опутанных паутиной непостижимых внеэкономических решений, загадочных поставок, немислимых платежей и бессовестных неплатежей.

На встрече с крупнейшими польскими частными бизнесменами Гайдар рассказывал о ситуации, с которой столкнулось правительство, придя в прошлом ноябре. Гибель Союза была предreshена, когда Верховный Совет России в июне 1990 года принял декларацию о суверенитете, когда вслед за ним другие Верховные Советы провозгласили себя суверенными странами, когда российский Центробанк арестовал счета союзных министерств и предприятий. Декабрьское решение в Беловежской пуще оказалось вынужденной импровизацией накануне катастрофы, на краю бездны. Ситуация в России была не в пример сложнее, чем в Польше. Россия не имела (и до сих пор не имеет) таможенной границы. Больше того, существовало 15 эмиссионных банков республик, каждый из которых имел неограниченные возможности и существенные стимулы для проведения инфляционной политики.

Теперь, когда Россия путем медленных и напряженных усилий, переговоров устанавливает с каждой новой страной цивилизованные отношения, договаривается о взаимном открытии корреспондентских счетов в центробанках друг друга (это означает, что бесконтрольной эмиссии будет положен конец), ситуация меняется. Она вообще стала другой, значительно лучше, чем год назад, хотя многие в обществе этого не понимают.

И о приватизации Гайдар тогда сказал: крупную приватизацию невозможно навязать обществу, невозможно заставить акционироваться завод, на котором работают сто тысяч человек, если они этого не хотят. Приватизация должна пойти сама, опираясь на реальные интересы людей — дирекции, инженеров, рабочих. И здесь нет стандартной процедуры и стандартных решений, они всегда разные, потому что всегда — результат сложнейшего социального компромисса.

— Когда мы начали преобразовывать крупные предприятия в акционерные общества, а по указу президента приватизации подлежали четыре с половиной тысячи крупнейших предприятий, газеты писали — «распродажа», «прихватизация», «обман народа». Но на предприятиях, на совещаниях, на заводах истерики не было, и давление не пошло по линии: избавьте нас от приватизации, мы хотим остаться государственными, — а наоборот: почему нас не включили в приватизационный план! Просьб исключить предприятие из приватизации нет. А к четырем с половиной тысячам добавились еще полторы тысячи заявок.

2 октября. Варшава. Пресс-конференция

Гайдар заявил: вчера в России началась раздача приватизационных чеков, начался новый этап глубинных структурных реформ, преобразований собственности. Начался мирным, контролируемым процессом. Через полгода ситуация станет необратимой, страна станет другой, страной собственников. Именно с этим связана активизация борьбы против президента и правительства. Реформы, если их не остановят сегодня, не остановят уже никогда.

* * *

Было уже ясно: нет другого способа раздробить, ослабить партии интересов, пронизывающие всю страну структуры ведомственного управления и подчинения, солидарности и саботажа как акционирование, приватизация, включение мощного частного интереса, прежде всего интереса самих руководителей. Слова «наше», «мое» начали приобретать свой первоначальный смысл. Не было ясности с другим: сколько отпущено времени, успеют ли сделать самое главное — пройти «точку возврата», как говорят летчики и туристы.

6 октября в Верховном Совете выступил президент Ельцин. Подвергнув критику правительство и дистанцировавшись от него, он заявил тем не менее, что любое другое правительство в этих обстоятельствах сработало бы хуже.

Выступая сразу за президентом, Гайдар отказался от своего правила не ввязываться в дискуссии, а держаться отстраненным экспертом-технократом. Он дал уничтожающую критику альтернативных предложений, с которыми выступает «Гражданский союз» и другие:

— Почему Россия не Китай? Почему мы не можем принять модель двухсекторного управления экономикой? Путь в китайскую модель лежал совсем через другие ворота. Чтобы идти по китайскому пути, надо было выбирать совсем другую политическую стратегию. Тогда, когда именно этот парламент проголосовал в 1990 году за Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, именно тогда он сделал выбор, который закрыл для нашего общества возможность трансформации по китайскому пути.

Весь ноябрь через газеты и телевидение напоминали о себе лидеры «Гражданского союза», обещали вот-вот представить свою, альтернативную программу спасения России. Программу эту общественность так и не увидела, не смогла оценить по достоинству. А жаль.

Цельное в своем роде произведение «И. Дискина и К^о» растащили на клочки по съездовским закоулочкам. В сущности, требования оппозиции было трудно опровергнуть: поддержать промышленность, особенно наукоемкие и передовые в технологическом отношении предприятия, спасти науку и культуру, развивать образование, медицину, не забыть про детей, наше будущее, и стариков, наше прошлое. Против этих целей возражать не приходилось, Гайдар и не возражал. А как добиться желаемого, о том критики умалчивали, возлагая всю тяжесть решения на власть предрержащих: вы у власти — вы и думайте.

В попытке привлечь на свою сторону обедневшую и озлившуюся без госприкормки интеллигенцию был проведен интеллигентский конгресс. Он канул в Лету без большого

успеха. Перед самим уже съездом прошел «форум сторонников реформ». На нем заявлено было о создании нового политического блока «Демократический выбор». Президент Ельцин заявил, что нужна организационная структура, сила, партия, движение и он, президент, должен быть с ней и в ней. Газеты заговорили о Г. Бурбулисе как о будущем генсеке президентской партии. Однако времени для создания структуры не оставалось, через пару дней открывался Седьмой депутатский съезд.

26 ноября на совместном заседании палат Верховного Совета России Егор Гайдар выступил с докладом о правительственной программе неотложных мер по выходу из кризиса. Тоненькую брошюрку читать не стали.

Программа эта, которую парламентарии отвергли, как и предыдущую, среднесрочную, не пожелав даже «принять к сведению» (Гайдар уже только поэтому имел моральное право уйти в отставку), была уже компромиссной и поэтому потенциально инфляционной. Под давлением «Гражданского союза» была создана общая рабочая группа, готовившая «Неотложные меры». Но игры правительства с «Гражданским союзом» нисколько не помогли, потому что «гражданские» сделали вид, что они с правительством незнакомы. Вместе с «комми» они принялись добивать Гайдара. Возможно, Гайдару не простили слов, сказанных в Верховном Совете накануне съезда (это после стольких-то тонких и вязких переговоров!): «Мы не готовы к безыдейному соединению принципиально несовместимых подходов». Есть принципиальные положения, по поводу которых невозможно вступать в дискуссию. На этот раз поступать по принципам не пожелал Гайдар. И конкретизировал, какими именно:

во-первых, неконструктивно и опасно пытаться решить острые экономические проблемы на основе реставрации госзаказа, планов прикрепления;

во-вторых, правительство категорически против идеи оживления экономики путем массивированной инфляционной накачки. Это может вызвать лишь срыв в гиперинфляцию и бешеный рост цен;

в-третьих, правительство принципиально против попыток достичь экономической и социальной стабилизации путем замораживания цен и зарплаты; введения принудительного валютного курса для экспортеров.

После этого выступления Гайдар был приговорен. Николай Травкин, который часто говорит больше, чем хочет, призвал посадить на власть «монстра с рыночным нюхом».

Партии интересов жаждут получить от государства свои сотни миллиардов: только получив их, они хотят выйти на акционирование и приватизацию (как подчеркивали на съезде, у нас все за реформы). Они получают их обязательно. Первое, что сделал, придя к власти, ставленник ведущей топливно-энергетической партии интересов Черномырдин, — распорядился о двухсотмиллиардном льготном кредите для своей отрасли, и похоже, это только начало. Аппетиты партий интересов принципиально неутолимы. Они не насыщаются, потому что не переваривают проглоченное. Гайдар пытался сманеврировать, обойтись минимумом, тем, что «нельзя не дать», — не получилось. Уже с весны усиливалось и усиливалось давление, к осени оно достигло значений сверхкритических.

Мало кто знает о том, что в последнюю неделю октября Гайдар решил на крайний шаг: он написал президенту письмо. Выражая благодарность за высокое доверие и поддержку, он тем не менее не согласился с предложенными изменениями курса и закончил свое письмо вежливо, но непреклонно: для проведения такого курса вам понадобится другой премьер. Президент заверил его в своей поддержке.

30 ноября Конституционный суд огласил свое «соломоново» решение о результатах рассмотрения вопроса о конституционности указов президента относительно КПСС и РКП. Коммунисты восприняли решение как победу и, воодушевленные, рванулись на съезд.

1—14 декабря 1992 года

Седьмой съезд народных депутатов РФ

Съезд был посвящен борьбе с президентом из-за Гайдара. Он так и войдет в историю как антигайдаровский съезд. Двухнедельный съезд разделился в памяти на два акта, два тайма.

Первый тайм выиграли президент и его штаб, когда при поименном голосовании 4 декабря поправок к конституции (при тайном голосовании!) не прошли важнейшие, определяющие порядок формирования правительства. Поправки, которые, как сказал депутат А. П. Сурков, меняют форму государственного правления. Тогда победу праздновали реформаторы.

Второе короткое выступление Гайдара 3 декабря:

«Я рад, что теперь у нас, оказывается, нет противников реформ. Я рад, что теперь все за реформы. Это серьезное продвижение вперед. Ведь еще год тому назад противников у рыночных реформ хватало, но если посмотреть, какие реформы нам предлагают, проинвентаризировать их, то получается интересная картина.

Нам предлагают (в рамках развития реформ!) отказаться от частной собственности на землю. Нам предлагают остановить процесс приватизации. Нам предлагают заморозить цены и заработную плату. Нам предлагают восстановить Госплан, призвать к порядку много возомнившие о себе бывшие союзные республики, а потом, наверное, построить лагеря для агентов мирового империализма... Такие реформы, право слово, не нужны нашему народу. Спасибо».

3 декабря 1992 года, 17.30. Пять минут назад внизу, у президиума, драка. Устроили ее, кажется, демократы.

Демократы требовали не тайного, но, наоборот, поименного голосования по важнейшим конституционным поправкам, меняющим основу государственного режима. Проигнорировали, не заметили и ограничения регламента, бросились голосовать по кабинам, — страшно.

На балконе рядом со мной казаки. Объясняют доброжелательно:

— Видишь, из-за чего скандал-то? Ведь чего они хотят, демократы эти? Чтоб было известно, кто как голосовал.

— Ну так что?

— Как ты не поймешь! Ведь узнают, кто как голосовал, — с должности снимут. Они же все начальники. Главы! Как им голосовать-то открыто, главам этим, ну никак нельзя!

5 декабря была суббота, и правительство вечером радовалось победе: как же, важнейшие поправки, делающие правительство ручным котом при ВС, не прошли. Было ощущение большой политической победы. Но не зря сказал Хасбулатов о пирровой победе правительства.

И оппозиция не отдыхала в воскресенье — 7-го, в понедельник, с первых же минут снова ринулись в бой. Били теперь не по Гайдару — по президенту, по конституции, принимали поправки за поправками, отклоняя громадным большинством одну за другой поправки президента, даже носящие чисто редакционный характер.

8-го утром, во вторник, Ельцин предложил съезду кандидатуру премьера...

«Как президент, со всей ответственностью заявляю, что в этот крайне сложный момент в жизни России вижу на посту председателя правительства России Егора Тимуровича Гайдара... Правительство реформ обречено принимать непопулярные решения. Оно неизбежно обречено работать в режиме перенапряжения.

Все это требует от главы кабинета министров, особенно кабинета министров России, просто уникальных способностей и человеческих качеств.

Прежде всего речь идет о компетентности. Убежден: рыночную реформу в России не провести, если ее главой будет комиссар, представитель какой-либо партии или течения. Нужен специалист, досконально знающий экономику и ее болезни... Это человек мужественный, преданный своему делу и просто умный. (Смех в зале.)¹

9 декабря, в среду, с самого утра началось обсуждение кандидатуры Гайдара.

Начало третьей речи Гайдара я слышал в машине, подъезжая к Кремлю... Теперь, когда сюжет завершен и ясна цена каждому поступку и каждому слову, я высоко оцениваю третью речь Гайдара. Она стоит того, чтобы к ней вернуться.

Сначала он сказал о том, чего реально можно добиться в ближайшее время. «Я был всегда достаточно осторожен в своих обещаниях». Итак, напомним, что пообещал Гайдар в своей предвыборной речи:

«В 1993 году можно существенно сократить темпы падения производства и создать предпосылки выхода страны из кризиса и для начала экономического оздоровления к 1994 году.

...уже в 1993 году придать кризису ярко выраженный структурный характер, уже в первом полугодии сформировать выраженные очаги экономического роста...

...остановить дальнейшее падение уровня жизни...

...к весне свести темпы инфляции до уровня 1—2 процентов в неделю...»

Гайдар сказал, что в правительстве будут серьезные кадровые изменения. Показал и зубы: «Правительство в значительной степени оказалось растворенным в структурах президентской власти, размытым в его компетенции и реальной ответственности... Теперь, когда на первый план выдвигаются созидательные задачи, будет правильно, если правительство вновь обретет свою естественную самостоятельную

¹ «Седьмой съезд народных депутатов Российской Федерации». Бюллетень № 13, стр. 9.

меру ответственности, свою естественную самостоятельную меру компетенции и свои естественные, полагающиеся ему права». Вспомнил о Столыпине, который просил десять лет спокойствия для построения великой России. Гайдар не просил ничего, кроме «понимания сложности и критичности нынешней ситуации в России», говорил о «самоубийственности конфронтационной политики, необходимости сохранения политической стабильности».

Голосование, как помнит читатель, опять было тайное, «под одеялом», в кабинках. Р. З. Чеботаревский прочел протокол № 5:

«Для голосования народным депутатам было выдано 979 бюллетеней. При вскрытии избирательных урн обнаружено 975 бюллетеней. Признаны действительными 953 бюллетеня, недействительных бюллетеней — 22. Поданные голоса распределены следующим образом: «за» 467, «против» 486. Кворум для принятия решения 521. Таким образом, кандидатура Егора Тимуровича Гайдара не набрала требуемого для утверждения числа голосов»².

На следующее утро на трибуну решительным шагом вышел президент Ельцин:

«Виню себя сегодня в том, что ради достижения политического согласия неоднократно шел на неоправданные уступки... Съезд отверг мой предложения по обеспечению стабилизационного периода, не заметил даже этих предложений, не избрал председателя правительства, отклонил, по существу, без рассмотрения подавляющее большинство поправок к закону об изменениях и добавлениях конституции... Одни и те же лица у микрофонов, одни и те же слова звучат с трибуны, вплоть до призывов к свержению. Стены этого зала покраснели от оскорблений, площадной брани в адрес конкретных людей, от злости, грубости и развязности, от грязи, которая переполняет съезд, от болезненных амбиций несостоявшихся политиков.

Конституция, или то, что с нею стало, превращает Верховный Совет, его руководство и председателя в единовластных правителей России, они встают над всеми органами исполнительной власти и по-прежнему не отвечают ни за что. Они стремятся окончательно повязать парламентариев круговой порукой безответственности и страхом потерять свои кресла...»³

Как помнит читатель, президент призвал народ начать сбор подписей, чтобы набрать необходимое число голосов для проведения референдума. Президент призвал всех народных депутатов, поддерживающих его, собраться в Грановитой палате. Тут-то и наступил кризисный момент: вышли-то из зала далеко не все, на кого президент мог рассчитывать.

В зале остались 715 человек. За полчаса до этого их было 886. С президентом ушли 171. Вскоре вернулись и многие из них. Мы видели на экранах телевизоров знакомые «демократические лица» и даже ближайших советников... Этого не ожидала и оппозиция. Бабурин счел нужным сказать: «Надо выразить признательность тем членам «Демократической России», которые остались в зале и за столом президиума и остаются верными принципам парламентаризма, не поддаваясь на провокации».

А между тем, писали уже после съезда газеты, «если бы с президентом вышли человек триста, те, кто голосовал, как правило, за президента, его косяк, его корпус, съезд бы лишили кворума, а значит, и силы, и ситуация могла сложиться тогда иная, куда более благоприятная, чем та, что сложилась на встревоженном, взволнованном, разъяренном и полномочном съезде».

Дальнейшее хорошо известно. Консолидация съезда. Примиряющая роль Зорькина. Постановление о стабилизации конституционного строя. Трудный компромисс. Множество кандидатов в премьеры, и президент выбирает из них тех, кого он представит съезду для «мягкого рейтингового голосования». Он представил: Гайдар, Скоков, Черномырдин, Каданников, Шумейко. С нажимом рассказал об одном, Каданникове, генеральном директоре АвтоВАЗа. (Я с ним познакомился недавно, когда летали в Тольятти.)

14-е. Утро. Звонят друзья со Старой площади, говорят: что-то не то, приезжай. Приезжаю. Они вещи собирают. «Егор решил не выставлять свою кандидатуру». Захожу к Гайдару. Он взволнован, ходит по огромному кабинету. Он уже принял решение. Вчера, в воскресенье, 13-го, я видел его поздно вечером. Он приехал от президента, который давал обед правительству, демонстрируя свое с ним единство. Он ничего не сказал тогда, вечером, а я ничего особенного не заметил...

Взбужденный Кремлевский дворец. Подхожу к одной, другой группе, поднимаюсь в пресс-центр. Прогнозы. Все убеждены, что Ельцин будет по-прежнему ставить на Гайдара. Он не проходит и тогда остается исполняющим обязанности.

² Там же. Бюллетень № 16, стр. 22.

³ Там же. Бюллетень № 17, стр. 5.

И вот оно — результаты «мягкого рейтинга»: Скоков — за 637, против 254, воздержалось 25, всего проголосовало 916; Черномырдин — за 621, против 280, воздержалось 24, всего проголосовало 916; Гайдар — за 400, против 492, воздержалось 46, всего проголосовало 938, не голосовало 4; Каданников — за 399, против 470, воздержалось 33; Шумейко — за 283, против 578, воздержалось 41, всего голосовало 902.

Снова перерыв на сорок минут. В напряжении все. И журналисты, и депутаты, и люди у телевизоров. Через сорок минут снова — на набитый прессой и гостями балкон.

Выходит президент. Ропшут сидящие рядом коммунисты. А мы с Морозовым сидим тихо, мы знаем, что президент скажет. И от этого знания тоска в груди.

Ельцин: «Конечно, я был и остаюсь приверженцем (и не могу этого перед вами скрыть) Егора Тимуровича Гайдара; именно его кандидатура в этот период могла бы быть самой удачной, самым лучшим вариантом. При разговоре с ним он напрямую не снял свою кандидатуру, но дал понять...»

Вечером Гайдар сказал мне, что он свою кандидатуру не снял, просто не мог снять при такой расстановке сил.

Ну вот и все. Все кончилось слишком быстро, даже депутаты ошалели от своей неожиданной и ненужной победы. Какой-то журналист прижал к стене депутата и яростно попытался: «Что ж вы у своего премьера не спросили его программу? Отчего же у вас вопросов-то не было, хотя бы — как он сделает дешевым хлеб и дешевым бензин?»

День первый, день последний... Пошли на Старую площадь.

В гайдаровской приемной было тихо. Начали подходить люди. Депутаты, зачем-то Исправников. Пришла телекомментатор Наташа Чернышева, последние месяцы аккредитованная при правительстве, грустно улыбнулась гайдаровским помощникам и пошла со своими операторами в кабинет Черномырдина.

Гайдар пригласил в кабинет свой аппарат. Самые близкие, те, что звались командой Гайдара, не пришли. Пришли другие — прежде отставленный Лопухин, Грушевенко, Шахрай.

Жена Гайдара Маша и вся семья были счастливы.

А он? Не думаю. Человек, всем своим существом вошедший в историческую битву за новую Россию, не может уйти из борьбы без сожаления. Да он и не уйдет из борьбы. Начнет ли заниматься большой политикой (реальность состоит в том, что за год на наших глазах вырос политик общенационального масштаба), большой ли наукой, публицистикой (а скорее и тем, и другим, и третьим одновременно)? Вернется ли в премьерский кабинет на Старой площади? Не знаю, но не думаю. Он теперь всегда будет под прицелом. Однако думаю, что отныне его роль заключается не в том, чтобы сменить Виктора Черномырдина. Ничто не повторится. (Впрочем, Шахраю удалось в течение одного года дважды побыть вице-премьером.)

Мне кажется, 14 декабря для Гайдара определилась новая, куда более сложная и опасная роль, чем та, что была у него прежде. Может быть, не столько политическая, сколько моральная. Людям все-таки нужен человек, который говорил бы им правду. Он не был понят, поэтому и ушел. Но жизнь «довольно длинная», как он любит говорить.

Новое правительство, сохранив ядро прежнего, очевидно, будет носить не менее реформаторский характер. А может быть, оно будет даже более решительным, получив из рук съезда желаемую долю самостоятельности. Там остались Нечаев, Вавилов, Машиц, Чубайс, Шохин, Федоров, Элла Памфилова и Татьяна Регент, много умных и хороших людей. Но без Гайдара это уже не гайдаровская команда. Другая. Дай Бог, чтобы она оказалась на уровне задачи...

* * *

Когда мы говорим об эволюции, преобразовании, строительстве общества, возникает вопрос — какого общества? Так называемого гражданского? Но у нас его нет как нет, если понимать под гражданским обществом большинство населения, ответственно разделяющее общие ценности, уважение к установленным общественным институтам, таким, как государство, собственность, образование, культура, религия, труд. Тоталитаризм, сковав всех «одной цепью и одной целью», неизбежно вызвал в людях и ответное стойкое чувство отвращения, неприятие всякого рода публичной, общественной деятельности как чужого и навязанного, постыдного. Смущенно и отчаянно отказываются простые люди от вдруг свалившегося предложения стать депутатом или бригадиром как от стыдного и позорного дела. Руководить, командовать, принимать на себя ответственность — это для других, для них, чужих.

Трудно найти более разделенное общество, чем наше, более равнодушное к чужим болям и бедам, более оглохшее и ослепшее. Нас уже ни крик, ни кровь, ни плач не приводят в нормальное чувство сострадания и всечеловеческого участия. Уже в порядке вещей, когда умерший от инфаркта человек часами лежит в метро, никто

не подойдет. И чем дальше, чем труднее и страшнее наша жизнь, тем разобщеннее и покинутее люди. Без Бога, без дружбы, без надежды — что в их душах варится из уныния и обреченности? Дальше — больше: чурающиеся, бегущие всякой общественной энергии, всякой коллективности. Таково большинство, это очень опасно, потому что крайние радикалы пусть малочисленны, но агрессивны и сплочены, как стая волков. А простые люди заражены какой-то социальной анемией, делающей невозможным самое простое общее дело — засыпать не засыхающую лужу на дороге, ввернуть лампочку в лифте или наладить дежурство по подъезду, чтобы охранить детей своих.

* * *

Это, может быть, самая главная тревога, зальгинский вопрос: «а общество ли мы вообще?», народ ли мы, способны ли еще к общему и трудному историческому делу по возведению собственной страны? Есть ли в нас гражданство, не умерло ли, не разменялось ли на семьи, кланы, землячества, меньшинства, ошестинившиеся против всех?

Ведь не экономику предстоит преобразовывать нам и строить, разбирая руины, над которыми еще не осела пыль тоталитаризма, не экономику оздоравливать, экономика — всего лишь материализация человеческих целей, ценностей, воли, действий, совместных и согласованных, производимых по признанным всеми правилам.

У нас не станет больше общества от больших (или меньших) цен, от больших или меньших зарплат. Даже, пожалуй, изобилие, достаток, этот интегральный и желанный результат многолетних общих усилий, не так уж прямо связан с глубиной и плотностью общественной ткани, внутренним единством народа, согласием по самым существенным вопросам между его важнейшими группами.

Я очень боюсь, что «классовая война», «классовая борьба», «классовая вражда», будучи однажды легализованы, выпущены из закоулков подсознания на улицы, очень трудно уступают место согласию и миру. Особенно если их старательно соединяют с еще более иррациональным и темным понятием, именуемым национальным чувством. Думаю, что именно эти туманные материи, трудно формулируемые, не измеряемые цифрами, не поддающиеся прогнозам, тревожат и Гайдара более, чем точные экономические индексы, дефицит бюджета, размер внешнего долга или число безработных. Среди цифр и индексов он — эксперт, кланокровный профессионал, аналитик. Думаю о народе, о русском обществе, для которого и ради которого идет реформа, о высоких целях и непомерной цене, которую народ — как всегда, народ, больше некому — должен заплатить, он, как и все мы, — колеблющийся и сомневающийся человек. Впрочем, он не любит неясностей, неопределенностей, смысловых вибраций, иначе он не был бы экономистом — человеком, изучающим реальность. Он не считает наш народ чем-то уж совсем особенным во вселенной, обделенным, приговоренным или, напротив, выделенным, что почти одно и то же (от чувства национальной исключительности недалеко и до чувства национальной отверженности). Он не видит причин, по которым нашему народу было бы заказано зажить по-человечески... Люди как люди, нисколько не хуже других. Во всяком случае, Россия не скатилась, слава Богу, к гражданской войне, к погромам инородцев, в Россию растет поток беженцев с пылающих границ Союза, на нее надеются миллионы людей.

* * *

В огромном служебном кабинете Гайдара на Старой площади, помнящем и Брежнева и Горбачева, висели на стене рядком три картины, которых тут не было прежде. Триптих «Утро» моего друга художника Андрея Волкова, три картины, написанные еще в 1978-м: «Утро. Крыши», «Утро. Троллейбус», «Утро. Проходная».

Серый свинцовый колорит. Мокрые московские крыши. Пустынная, наполненная сизым рассветным холодом заводская проходная и надпись на ней: «...ава труду!» Ранняя очередь к троллейбусу, вялая, сонная толпа, люди без лиц, только встревоженное лицо художника через стекло смотрит на вас. Что-то, видно, зацепило Гайдара, если он, увидав эти картины в мастерской Волкова, попросил, если можно, чтобы повисели у него в кабинете «какое-то время». Так с марта и висели.

Многие, попадающие в его кабинет, спрашивали, что это за картины и почему они здесь, такие холодные и мрачные. Однажды Гайдар в какой-то телепередаче сказал, что для него означают эти картины. Они как наша жизнь. Это те самые наши благодные 70-е годы. Картины напоминают, откуда и куда идем. Для кого и ради чего все это делаем.

Критик написал об этих картинах в свое время: «И заводская проходная и крыши домов выглядят так, будто мы смотрим на них сто лет спустя, из будущего».

Из пореформенной страны, почти забывшей, что с нею когда-то приключилось.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ПАВЕЛ ПЭНЭЖКО

*

КОНВЕРСИЯ ПО-НИЖЕГОРОДСКИ

1

Рассказывают, что Николай I, увидев впервые Нижний Новгород, воскликнул: «Природа сделала тут все, что могла, а люди все испортили!» О справедливости этих слов самодержца можно судить даже после беглого взгляда с проплывающего парохода на Кремлевский холм, где из всей прежней застройки виднеется лишь сиротливая маковка Архангельского собора, зато рядом с Георгиевской башней установлен одной с ней высоты памятник Чкалову, от подножья которого спускается грандиозная и аляповатая лестница. Видимо, она предназначалась для особо пышных советских торжеств, призванных затмить своим великолепием выходы царской семьи по большим праздникам. Ныне, правда, редкому пешеходу придет в голову ею воспользоваться. Слишком уж велик риск свернуть себе шею или сердце надорвать. Сооружение ветшает без хозяйского глаза...

Впрочем, не стоит злопыхательствовать по поводу наших нынешних неприятностей. Россия в отличие, по-видимому, от всех прочих стран имеет ту исключительную особенность, что в ней не бывает абсолютных ухудшений или (уж давно!) улучшений, а все колеблется циклически в каких-то исторически определенных, позволяющих кое-как выжить параметрах.

Чем мир держится? Протестанты утверждают, что ежедневным кропотливым трудом маленького человека. У православных говорят: не стоит село без праведника. А село — тот же мир. Из этого делают вывод, что протестанты обожествляют труд, который всем дает хлеб, а православные — созерцательную, молитвенную праздность. Отсюда, мол, и весь наш глад, хлад и смрад, столь мало способствующие общественному прогрессу. Но как тогда объяснить возникновение и процветание монастырей на Руси?

Не беда, если вы собираетесь к Макарьевскому монастырю пасмурным сентябрьским утром. Пока «метеор» спустится вниз по Волге, у вас есть шанс, что облака разойдутся, и тогда Макарьев — Желтоводский — Троицкий монастырь предстанет во всей красе, будто сказочный Китеж перенесли сюда из озера Светлояр, что неподалеку.

Между тем монастырю действительно грозит судьба Китежа, если только чебоксарцы поднимут уровень своего водохранилища, ссылаясь на нехватку энергии. Любопытно, что затопление монастыря было заложено в проекте. Об этом свидетельствует архитектурная достопримечательность — на противоположном берегу вдали от воды высится лысковский речной вокзал, одно из самых богатых в городе современных сооружений. Безмозглость проектирования волжского каскада ГЭС потомками будет приравнена к монгольскому разорению. Под стенами монастыря будто Батый погулял. Некогда оживленный и почти полностью деревянный городишко стерт с лица земли. О том, каким он был, еще можно судить по некоторым почернелым от времени двухэтажным хороминам, да старой школе над живописным прудом, да изящной церкви Казанской Божьей Матери, построенной в конце царствования Екатерины Великой и в последний раз обворованной прошлым летом.

Кстати, предание гласит, что императрица, заинтригованная молвой о сладкозвучии макарьевских колоколов, послала эмиссаров, дабы проверить их на месте и, буде окажется верно, забрать колокола в столицу. Но накануне какой-то безымянный монашек смазал салом все колокола. Комиссия покинул Макарьев, лишний раз убедясь, сколь мало заслуживает доверия народная молва.

Молчаливые фигуры неопределенного возраста подпирали похожий на большой скворечник и тоже недавно ограбленный магазин сельпо. А за запертыми воротами монастыря царили тишь и глушь...

Но вот за глухими досками слышались женские голоса...

Оказаться впервые в стенах женского монастыря — согласитесь, момент волнующий. Нас встретили сорокалетняя краснощекая веселая толстушка монахиня, совсем юная и очень строгая послушница и благообразный старец, еще крепкий и свежий лицом, с острым взглядом серых глаз. Сразу стало ясно, что на нем и охрана, и всякая мужская работа, которой тут даже при самом беглом взгляде невпроворот. Буквально все обветшало, прогнило, отсырело, обрушилось, и просто даже страшно, сколько придется принять трудов этим женщинам «в возрасте от восемнадцати до девяноста лет». Всего с десяток монахинь вот уже год обживают эту холодную каменную громаду. Послушница Фатинья, которая повела нас показывать монастырь, жаловалась, что сколько они в кельях ни топят, согреться не могут. Сыро.

Еще бы не сыро. Мудрые наши гидростроители обвели монастырь дамбой, и он оказался как бы в бассейне, собирающем все осадки и паводки. Иными словами, не мытьем, так катаньем решили покончить с древней обителью. Не век же, в самом деле, поражать приезжих сухопутными причалами лысковского речного вокзала.

В истории монастыря меня больше всего поразило то обстоятельство, что из мужского его превращали в женский именно тогда, когда становилось неблагоприятно — после того как рухнул купол в Троицком соборе сто с лишним лет назад или же вот теперь, когда он становится наиболее вероятным кандидатом в Китеж-2.

С игуменьей матушкой Михайлой встретиться не довелось. После многих навязанных вопросов удалось выяснить, что по трудам праведным она так утомилась, что спит как убитая.

Что за труды? Да вот, предводительствуемые почтенным старцем Алексеем Андреевичем Кабаковым, с первой зорькой прочесывали окрестные леса в грибной охоте. Потом чистили, варили, готовили. Ведь сестрам кроме как с огорода и кормиться, считайте, нечем. Они тут совсем как первые христианки...

Этот секрет мне вполголоса поведал сам Алексей Андреевич, который отечески относится ко всем своим подопечным независимо от возраста и сана. Тоже человек незаурядный. Полвека отдал машиностроительному заводу. Только за войну — к станку стал тринадцатилетним мальчонкой — отшлифовал тысяч 25 клиньев к затвору знаменитой 76-миллиметровой пушки. Пудовыми заготовками спину посадил, падал от истощения. После больницы приняли в техникум. Вышел оттуда мастером, стал рационализатором, уважаемым на заводе человеком. Женился, пошли дети...

Теперь ему скоро седьмой десяток. Жену похоронил. Дети устроены и благополучны. Пора подумать о Боге.

— Мне бы с полсотни мужиков, — тоскует Алексей Андреевич, — я бы за лето тут все поправил.

Ничего нет у монахинь, ни гвоздя ржавого. Все достает Кабаков. В приемных у больших начальников не высиживает. Знает, что без толку. А идет прямо в цех к своему брату, рассказывает о нужде, в которой оказались божьи люди. И представьте, помогают.

И чего ему надо? Квартира обставленная, пенсия приличная, сбережения, да еще подработать может, потому что на все руки мастер. А вот нужно рабочему человеку в неделю по несколько раз мотаться между Нижним и Макарьевом то водой, а то в переполненном автобусе.

Можно упрекать историческое православие, что не выработало оно научного богословия, что нет у него своего Фомы Аквинского, в десяти книгах разрабатывавшего проблему божьего промысла и свободы воли. Что полутрамотные попы не учили неграмотный народ, а духовные иерархи не просвещали власти, не имели на них сильного нравственного влияния. Можно и современную церковь костерить, что склонилась перед властью...

Но вот красивая, стройная девочка в черном платке, с правильной литературной речью и натруженными руками. Явно все-то у нее в семье было хорошо, еще не успели ее коснуться житейские невзгоды. Но что же тогда привело из уютного семейного гнезда в Нижнем сюда, в жуткую неустроенность и тяжкий каждодневный труд?

Да то же, наверное, что побудило сына нижегородского посадника Макария двенадцати лет бежать из отчего дома в Печерский монастырь и, назвавшись игумену безродным странником, просить у него монашеского пострига. Когда через три года отец все-таки узнал, куда сын пропал, и пришел в монастырь убеждать его вернуться, пятнадцатилетний пацан, сверстник нынешних трудных подростков, уже успевших опуститься в такие нижегородские бездны, в сравнении с которыми хрестоматийная ночлежка Коростылева выглядит институтом благородных девиц, — этот самый пятнадцатилетний монашек отвечает родителю: «Один у меня отец — Бог». И удаляется подальше от соблазна в глухомань, на берег Желтого озера, чтобы обратиться в христианство чувашей и мордву.

Чуваши с мордвой крестились, обитель процветала, но нагрянули казанские татары. Монахов перебили, а восьмидесятилетнего Макария из уважения к сединам и сану пощадили. И сказал тогда старец казанскому хану Улу-Мехмету, чтобы отпустил его братию отпеть и похоронить. Хана тронула такая забота о мертвых, и он освободил Макария, но строжайше запретил возобновлять монастырь. И тогда неумный игумен удалился на северо-запад, в глухие леса на реку Унжу. Вскоре и там закипела жизнь. И вот думаю я, что, конечно же, безусловно важно разрабатывать в теоретическом богословии проблемы соотношения божьего промысла и свободы воли, но своим топором цивилизовать дичь и глушь, заложить два процветавших впоследствии города, обратить язычников, научить их молиться и самому молиться за них — для культурной жизни России XV века это было наверное не менее важно, чем для европейца XIII века рассуждения святого доминиканца о душе, которая не просто «двигатель» тела, но и его «субстанциональная форма», и что личность — «самое благородное во всей разумной природе».

Вполне возможно, что послушнице Фатинье больше пристало где-нибудь в Сорбонне изучать богословие, а не колоть дрова, топить печь и копать грядки, латать крышу и сушить грибы на зиму. Разве можно представить эти тонкие пальцы, молитвенно прижатые к груди, сжимающими топориче?! Только войдя вслед за послушницей под своды Троицкого монастыря, где через варварскую побелку кое-где все же чудом проступает старинная роспись, понимаешь, что только у нас такое может быть. Только у нас через два столетия другой мальчишка из другого села, Вольдеманово, повторит поступок Макария, убежит из дома в монастырь, им основанный, чтобы приобщиться к церковной премудрости. Имя его потом прогремело и отозвалось многими слезами — шестой патриарх всея Руси Никон, избранный духовник царя Алексея Михайловича...

Послушница Фатинья ничего о себе не рассказывает. Из какой семьи, почему выбрала этот путь — мягко, но решительно отводит все вопросы. Прошлого, то есть теперешнего нашего мира для нее уже нет. Отныне ее жизнь — это вечная молитва за всех нас, грешных.

Вот еще один повод для интеллектуальной иронии над православием. Мол, спасение души — дело сугубо личное. Как можно перепоручать его кому-то, пусть даже самому святому старцу? А так. Вот я не умею молиться. Не знаю, как спасти свою душу, а узнав, все равно, может быть, так и не сумею ее спасти. Но когда я думаю, что где-то далеко за Волгой за холодными монастырскими стенами чья-то теплая душа молится обо всех нас, очерствелых и закоснелых, мне становится лучше. А может, это я становлюсь лучше?

Во всяком случае, когда в 1816 году то ли от грозы, то ли от других причин ярмарка под стенами монастыря запылала и сгорела дотла, нам сегодня видится в этом пожаре мудрость провидения, перенесшего таким образом великое торжище из-под стен храма, где ему явно не место, туда, где и по сей день бьется могучее сердце коммерции. Хотя и пережило вместе со всей страной инфаркт семнадцатого года.

2

«Лучшими людьми» с XVII века, а может и ранее, величали на нижегородской земле людей купеческого сословия. И в этом отнюдь не подобострастие бедняка перед богачом. Народ знал: склотившееся состояние на торговле — а вплоть до прошлого столетия это был, пожалуй, единственный законный способ разбогатеть — дело крайне непростое и дается не каждому. Здесь нужен незаурядный ум, хватка, сметка, отвага, особое чутье... И еще одно качество, стоившее в народном мнении едва ли не всех вышеперечисленных, — умение держать слово. Ведь все договоры и сделки, долговые и заемные обязательства под огромные суммы в купечестве совершались без посредников-нотариусов. Именно под честное купеческое слово. И горе тому, кто его нарушал. Так что «лучшие люди» — имя отнюдь не нарицательное, а самое что ни на есть существительное.

В XVII веке нижегородцы среди своих насчитывали всего-то 48 «лучших людей». В конце прошлого столетия на 80 с лишним тысяч горожан почетных граждан и купцов было 4 тысячи. То есть лишь каждый двадцатый мог считаться «лучшим».

За последние четыре столетия это сословие дало отечеству блестящую плеяду деятелей, начиная с Кузьмы Минина. В середине позапрошлого века здесь начинали банковское дело Строгановы. Вся Россия знала капиталистов-мукомолов Башкировых и Бугровых. Последние славились еще и своей благотворительностью. С бугровской ночлежки великий пролетарский писатель списал свою бессмертную пьесу «На дне». Непререкаемым авторитетом пользовались купцы-промышленники Переплетчиков, Пятаков, Богуславский. Все это были порядочные благотворители-жертвова-

тели на богадельни, приюты, больницы, школы, училища, общежития. Скажем, если госпожа Болгина пожертвовала дом для размещения в нем «сиротопитательного заведения», то Блиновы, Бугровы и Курбатов подарили городу водопровод для бесплатного (!) пользования. Только на содержание начальных училищ (дело, казалось бы, вполне казенное) город давал в два раза больше, чем казна. А это все те же «лучшие люди». Коммерческое ссудо-сберегательное товарищество, ремесленное общество потребителей, общества вспоможения частному служебному труду — чего только не изобретало прихотливое воображение делового человека, чтобы породнить коммерцию с общественной пользой. Земля Кулибина и героев Мельникова-Печерского и Горького. Место ссылки Андрея Сахарова. Все здесь как-то одно к одному. Земля великих противоречий и конфликтных душ. И может быть, не случайно именно Нижегородская ярмарка превосходила самое прихотливое воображение даже выдавших виды иностранцев.

Побывав здесь в зените царствования Николая I, французский путешественник, дипломат и шпион маркиз Астольф де Кюстин так ее описывал: «Нижегородская ярмарка, ставшая ныне самой значительной на земном шаре, является местом встречи народов, наиболее чуждых друг другу... не имеющих ничего общего между собой по виду, по одежде, по языку, религии и нравам. Жители Тибета и Бухары — стран, сопредельных Китаю, — сталкиваются здесь с финнами, персами, греками, англичанами и французами. Это настоящий судный день для купцов. Во время ярмарки число приезжих, одновременно живущих на ее территории, равняется двумстам тысячам... а в дни особенно оживленной торговли доходит даже до трехсот тысяч. По окончании этих коммерческих сатурналий город умирает. В Нижнем насчитывается не более двадцати тысяч постоянных жителей, теряющихся на его голых площадях, а территория ярмарки пустует в течение девяти месяцев в году. Такое огромное скопление людей происходит, однако, без особого беспорядка. Последний в России вещь неизвестная. Здесь беспорядок был бы прогрессом, потому что он — сын свободы» (Ну да! То-то у нас сегодня так голова болит от этого сукиного сына!)

Пусть меня, ежели что не так, поправят, но даже наши сегодняшние будни, озаренные неясным светом реформы, мне чем-то напоминают начало царствования Николая I. Потому и напрашиваются рассуждения его неглупых современников, как отечественных, так и иностранных. Но если так, то о каком реформаторстве, да еще в сторону капитализма, может идти речь? В лучшем случае самое бодрое, под флейту и барабан историческое коловращение вокруг все тех же для нас незыблемых принципов самодержавного централизма. Независимо от того, кто нынче на троне: монарх, генсек или президент.

В свое время обласканный здесь губернатором Бутурлиным маркиз де Кюстин много ехидствовал по поводу того, что «мания смотров, парадов и маневров имеет в России характер повальной болезни. Губернаторы, подобно государю, проводят жизнь за игрой в солдатики». То-то обрадовался бы маркиз при виде сегодняшней панорамы, которая открылась бы перед ним возле главного ярмарочного павильона, выдержанного в некогда шельмовавшемся, а теперь восхваляемом «псевдорусском» стиле. Целое звено «МИГов» от 21-го до 29-го, к небу задрала огромный ствол самоходная гаубица (то ли «пион», то ли «гиацинт» — убей бог, не помню), Любимый «афганцами» колесный «БТР-80», в котором больше шансов выжить, подорвавшись на минах, чем в его гусеничном собрате, противотанковые, зенитные и прочие ракеты и системы, гранатометы, снаряды летающие, самонаводящиеся, броне- и бетонобойные, пулеметы и автоматы, автоматическая корабельная 76-миллиметровка, чей ствол грозно развернут на противоположный берег Волги, где заседает власть. На фоне всего этого с особой вескостью прозвучали слова директора В. Бессараба, что в развитии Нижегородской ярмарки наступил новый этап: «Ее узнал мир, с ней стали считаться».

(После этого много было разговоров о том, что, например, в коридорах сормовского заводоуправления обнаружили лондонского коммерсанта, который приехал оцениваться к подводным лодкам.)

Я ткнулся в дверь с табличкой «Оборонэкспорт» — правопреемника главного инженерного управления МВС СССР — с простецким вопросом: много ли гаубиц-ракет наторговали? Трое представителей в штатском наперебой стали заверять, что ни одного патрона они не могут продать без высочайшего на то дозволения Москвы, а получить его так и не сумели. А вся эта выставка — как бы урок миру. Вот, дескать, чего делаем, а продать вот не хотим. Или не можем — все одно. Поэтому ситуация на сегодня складывается по-своему любопытная и даже некоторым образом бредовая: турки продают азербайджанцам оружие, которое мы еще недавно поставляли ГДР!

Вот уж подлинно — в результате реформ мы оказались в невиданной и несообразной ситуации, когда наше оружие здесь сеет смерть и разорение, а там приносит невиданные и незаслуженные барыши. Конечно, понятия «здесь» и «там» сегодня

потеряли прежнюю четкость очертаний. И так же спорен вопрос, каким оружием лучше быть убитым на пороге собственного дома — «своим» или «чужим». Бесспорно одно — в подобном абсурдном положении Россия еще не оказывалась за всю тысячелетнюю историю. В этом мы всех своих предков несомненно превзошли.

Так что пусть лучше эти грозные «МИГи» стоят на берегу Волги ярмарочными балаганами. Тем более что продавать их за рубеж выйдет себе дороже. Это ж изволь обеспечить их полным сервисом, аэродромами-ангарами, бесперебойными поставками всего и вся, гарантиями безотказной работы. Да у нас такого и дома-то не бывает, а что б за тридевять земель?!

В общем, хорошая ярмарка на этот раз получилась. С большим философским подтекстом. Даже гигантский Ленин, который высится тут же бетонной глыбищей и указывает всему этому арсеналу на московскую дорогу, выглядел бы совсем жутко, если бы капризный гений скульптора не расположил за ним некую странную группу. Сбоку и с отдаления они выглядят подвыпившей компанией, утачившей что-то, по-видимости большое и ценное, с ярмарки. Но вблизи начинаешь различать в них революционеров под красным знаменем. Это же просто монументальное озарение! Вот такой мы, значит, народ. То так, то эдак выглядим — в зависимости от ракурса истории и близости к вождю.

И все же самым поразившим и запомнившимся была чудесная вездеходная плавающая инженерная машина, на глухой броне которой мужики разложили явно ворованные дверные петли и замки. Товар шел нарасхват. Вот они, две параллельных экономики некогда великой державы!

Коммерческая жизнь Нижнего нынче бьет ключом. К примеру, фирма «Хиала» может продать вам прорву полезного товара от питьевого спирта за 155 целковых до «МАЗов» и «КамаЗов» за полтора миллиона. (Любопытно, составит ли ей конкуренцию затеянная городом приватизация грузовиков.) А купит «Хиала» не что-нибудь: медь и никель. Видно, все еще, мерзавка, надеется на «прозрачные» границы с Прибалтикой.

Или же вот фонд имущества распродает с аукциона кафе «Прибой» за 400 тысяч в собственность, а также хлебный магазин с правом на аренду за 140 тысяч.

На фондовой бирже акции Инкомбанка идут за 22 тысячи. Газеты пестрят объявлениями предприимчивых людей. Человек переоборудовал однокомнатную квартиру в двухкомнатную и продает ее за полмиллиона. За дом в Толоконцеве просят 5 миллионов. Всего 2 тысячи хотят за пылесос «Циклон» и 10 за портативную пишмашинку. Человек готов купить или выменять квартиру на новый «рафик». Какие-то подозрительные Вова и Вадик продадут керамическую плитку по умеренной цене (где же вы ее, черти, сперли?). Некая Ирина обменяет наличные деньги на... безналичные (с ума можно сойти, как это ей удастся?).

И еще сюжетец прямо из классики: «Пишу гениальные рассказы под именем заказчика, тайна авторства гарантируется. Заявки-сюжеты направлять письменно». Грех не заняться таким промыслом на родине великого пролетарского писателя.

А вообще-то даже в периоды наибольшего напыля народа на самую оживленную в городе Большую Покровку (бывшая Свердловка) здесь не чувствуешь той ожесточенной нервозности, которая пронизывает, скажем, улицы Москвы. Исконные доброжелательность и степенность, отличавшие вообще волжан, еще не утрачены даже на этом бурном ежедневном торжище. Хотя подъезды старых домов загажены не меньше, чем в столице, и телефоны-автоматы поуродованы, и улицы грязны, и в коммунальный транспорт в часы пик народ набивается так, как это было в 30-х и 50-х годах. И все же пиво здесь по-прежнему варят самое лучшее в России. И помногу. И что характерно: продавщица в самом захудалом ларьке не опускается до того, чтобы его разбавлять...

3

Нижегородский житель Михаил Гершевич выгодно отличался от остальных стоящих в очереди бравым видом и роскошными усами. Люди стояли в свой родной магазин за продуктами для ветеранов и инвалидов войны. И хотя у многих, как и у Гершевича, на груди красовались орденские планки, они отнюдь не производили впечатление лелеемых обществом за свои многочисленные заслуги.

Гершевич прошел с автоматом от Керчи до Венны, но таких чудес, как теперь, встречать не приходилось. К примеру, вот стоят они, люди одной судьбы — ветераны и инвалиды, — в одной очереди за двумя пачками индийского чая на брата. Так «участнику» почему-то отпускают по 45 рублей, а «инвалиду» по 64. Даже в такой мелочи пошло какое-то расслоение. Что же дальше-то будет?

Расставшись с одинаково грустной, но уже социально расслоившейся очередью, я почти слово в слово услышал тот же вопрос от главного редактора «Нижегородской

правды» Анатолия Сметанина: «Что же дальше?» У них огромное и одно из лучших среди областных издательство, газета ему год за годом давала миллионную прибыль, а теперь издательство же свою прошлую кормилицу прижало такой арендой и всеми прочими расценками, что хоть совсем закрывайся. А чуть что — «нет бумаги вас печатать», вы, дескать, нам невыгодны. А сами гонят какие-то нелепые газетенки, низкопробный ширпотреб. А газету жалко. У нее и подписчиков больше, чем у тех, вместе взятых. И история солидная. Ее начинали в семнадцатом году рабочие «Красного Сормова» в складчину. Были тогда рабочие, которые могли позволить себе такую роскошь, как собственная газета.

А в это самое время на древней улице Малая Покровка в подвальчике одряхлевшего за многие годы домишка сидела некая Антонина Ивановна Кузнецова и испытывала самое полное удовольствие, на какое только способна женщина в ее положении и возрасте. Но и «подвальчик», я вам доложу, — дворец, пещера Али-бабы, с рестораном, баром, сауной, бассейном, оздоровительным комплексом. Отделка, как в семизвездочном европейском отеле. У нас так нигде не работают. А здесь вот «учудили» свои же нижегородские умельцы. Не для себя старались, а для хозяина «пещеры» Владимира Ивановича Седова, который входит в десятку богатейших людей города, а может, и республики.

Антонина Ивановна имеет честь у него служить кем-то вроде секретаря по связям с общественностью. О жалованье своем она скромно умалчивает. Но внешность Кузнецовой приподнимает завесу над этой «коммерческой» тайной. Впрочем, есть и у нее маленькое огорчение — супруг, который продолжает бедовать в НИИ, где они когда-то вместе двигали науку. Теперь об этом вспоминается с легким сожалением. Потому что вот на самом деле где наука всех наук — под этими великолепными и не совсем еще просохшими после отделочных работ сводами.

Но увы, их хозяина нельзя отнести к людям, безусловно довольным жизнью. Вот его страстный монолог: «Всевозможные госслужбы на каждом шагу чинят нам препятствия, зачастую занимают самым настоящим вымогательством. Примеров море. Пожарные постоянно предъявляют нам претензии по поводу мнимых нарушений и параллельно с этим предлагают внести деньги на свой счет. А сколько чиновников вымогают прямые взятки! В этих условиях труднее всего тем коммерсантам, которые занимаются производством и услугами. Предпринимателей как будто толкают на то, чтобы они ограничивались только оптовой торговлей. Пока руководители города и области не смогут обуздать чиновничий произвол, ни о каких серьезных реформах не может быть и речи. Ведь чиновники бьют не только по нас. Они торпедируют все прогрессивные начинания губернатора и мэра. По их вине захлебнулась, например, кампания по приватизации».

Вот так-то! И у нас богатые плачут. Фирма Седова — это строительство, фермерство, автосервис, индустрия развлечений. Свое издательство и газета. Владимир Иванович — сорокалетний коренной нижегородец, по образованию юрист, и по «официальной легенде» он свой первый миллион сколотил, наладив из типографских отходов производство охотничьих пыжей, игрой на Московской бирже и на выгодной сделке в Юго-Восточной Азии. Подкармливает пенсионеров, инвалидов и школьников, жертвует на бюст Пушкина в парке, на соборную мечеть, послал преподавателя консерватории на стажировку в Австрию, содержит камерный хор и капеллу мальчиков, а также маленькую частную армию. Журналистов, если они не у него на службе, терпеть не может. В домике-развалюшке у него контора, где люди сидят друг на друге, но не ропщут, потому как хорошо и много всего получают, а наискосок через улицу, я уже говорил, в заброшенном подвале дворец, где можно хорошо развлечься. А можно установить выгодные деловые контакты с цветом нижегородского бизнеса... А можно и то и другое. В зависимости чего душа пожелает. Кроме того, есть еще ресторан «Охотник» в городском саду имени Пушкина, на бюст которого Владимир Иванович не моргнув глазом отстегнул 50 тысяч. Поистине надо быть великим поэтом прошлого столетия, чтобы только постичь умом меню этого ресторана: пуле «шефру» с гарниром шу-фри и пом-де-тер «Анна», беф а-ля мод, коquilla осетровый...

Все это к тому, что по некоторым приметам для кое-кого капитализм на Нижегородчине уже построен. Поэтому остановка за малым: его закрепить. Впрочем, седовский опыт первоначального накопления усваивается с каждым днем все большим количеством нижегородцев. И если далеко не каждому доступно найти свое эльдорадо в чем-то вроде производства пыжей или игрой на бирже, то гораздо доступнее стали поездки на Дальний Восток, и если не во Вьетнам, то в Китай. Горами вывозятся оттуда дешевые, а здесь пока еще дорогие и редкие шмотье и бытовая электроника. Все это тут же, на центральной улице Большая Покровка (в «большевистский» период имени Свердлова), обращается в мешки рублей, те в свою очередь в увесистые пачки валюты, а с ними опять в Китай, куда еще далекие предки нынешних нижегородцев проложили караванные тропы по воде и посуху.

Принято думать, что август 1991 года провел некую черту не только в истории, развалив Советский Союз, но и в сознании людей, сокрушив монополию компартии на власть и административное всеисие центра. Наверное, это не совсем правильно. Компартия развалилась не столько от августовского удара, сколько сама собой, одряхлев умственно, нравственно и физически. А с администрацией еще того сложнее. Вспомним, что от царской бюрократии не смогли в одночасье отказаться даже большевики. И даже когда они полностью обновили кадры, принцип самодержавной централизации оставался незыблем вплоть до самого последнего времени. Принцип до обидного простой, который еще Николай I восхвалял в своей беседе с маркизом де Кюстином, утверждая, что «иначе при огромных расстояниях, являющихся серьезным для всего препятствием, и при более сложной форме управления головы одного человека оказалось бы недостаточно». И вплоть до сегодняшнего дня все стекалось в столицу, где «одна голова» перераспределяла, во-первых, по своему усмотрению и, во-вторых, кому сколько удастся у нее выпросить. В конечном итоге судьба автогиганта-долгостроя в Елабуге и какого-нибудь моршанского клуба в равной степени зависела от центра.

Сознанием этого проникалась вся бюрократическая пирамида, все кабинетные люди, посвятившие жизнь проталкиванию наверх и нажиму на низ. Выработалась особая порода людей, глаза которых смотрят лишь либо снизу вверх, либо сверху вниз, но абсолютно лишены возможности видеть, что происходит вокруг, какие заманчивые или, наоборот, ужасные перспективы открываются. А это, согласитесь, как-то противостоит для наших необозримых просторов. Только у нас такое могло случиться и только в компартии, чтобы присланный в союзную республику второй секретарь не знал и не считал нужным изучать местный язык, обычаи, культуру, историю. Человек понимал лишь одно — надо пробиваться выше и прижимать тех, кто ниже. В этих направлениях десятилетиями развивалась творчески бесплодная активность и менталитет власти. Об него, как о скалу, разбивались все реформы и добрые начинания.

Изменить такое положение могли лишь два условия: во властные кабинеты должны были прийти новые люди, свободные от мировоззренческих пут и традиционного мышления, и чтобы никто им не мешал разрабатывать иные, отличные от предшествующих принципы обустройства России.

Но найдутся ли у нас такие люди? — спрашивали мы себя и друг друга после августа 1991-го. И только к августу — сентябрю 1992-го начали думать, что, похоже, такие люди нашлись...

В отличие от большинства российских областей, краев и автономий в нижегородских кабинетах власти за прошедший год произошла не просто смена вывесок, а замена состава. Кресла взлелеянных системой аппаратчиков заполнила довольно пестрая публика — от интеллектуалов до милиционеров. Возглавил их молодой физик Борис Немцов. Научную карьеру он сделал в двадцать четыре года, защитив кандидатскую и написав с полсотни работ. Политическую — в рядах «зеленых» в борьбе против атомной теплоцентрали. Административную — на баррикадах у Белого дома, попав в поле зрения Бориса Ельцина. Молодой красавец кавалергардского роста, острый на язык, с большим самообладанием — ему не баррикадой, вторю батарею Раевского командовать. Чем не представитель президента в этом центре военно-промышленного комплекса — Нижегородчине. Что ж, представитель — титул вроде бы солидный. Но какой-то бессодержательный. В старину все же лучше чувствовали слово «губернатор», то есть непосредственный начальник вверенной ему губернии (или области), первый в ней блюститель неприкосновенности прав верховной власти, пользы государства и повсеместного точного исполнения законов, уставов, высочайших повелений, указов и предписаний.

Ну а как если по жизни и на перспективу? При государях и генсеках было просто: делай от сих и до сих. А теперь из столицы никакой ясности, а чуть что неблагоприятное происходит по ее милости, сразу: вы нас неправильно поняли. А как тут поймешь, когда сегодня одно, а завтра другое. Так и до беды недалеко. Поэтому нужна своя «губернская» программа, жестко ориентированная логикой выживания. Очевидно, что лучше автора «500 дней» для ее разработки в данный момент не найти.

В конце весны Григорий Явлинский приехал в Нижний и констатировал, что возможности центра проводить свою политику посредством жесткой аппаратно-чиновничьей вертикали сузились до предела. Страна начнет теперь строиться вопреки традицией: снизу вверх.

— Я, — объяснял нижегородцам Григорий Алексеевич, — за единую Россию, но собранную иначе, не так, как она собиралась веками. Вы заметили, как всегда у нас? Царь ли отрекся, генсек ли попался неудачный, тут же все приходит в невозможное

состояние и начинает распадаться. Возникает смута, выход из которой только один: в добровольности и заинтересованности.

Потом, когда в Нижний Новгород собрались правители областей и автономий на «Большую Волгу», Явлинский битых три часа растолковывал им, что он понимает под интеграцией России на новой основе и по всей продуманной им системе мер. И первым его поддержал, как ни странно, премьер Татарстана. Разумеется, не исключено, что какие-то вещи они понимали по-разному. Но главное — принцип заинтересованности — разделяли все.

Взять того же вице-губернатора Ивана Склярова. Его карьера в 80-х годах: секретарь и первый секретарь Арзамасского ГК КПСС, председатель горисполкома и горсовета. В 1990 году его вместе с Немцовым избрали народным депутатом РСФСР. А в ноябре позапрошлого года, когда того и другого рассматривали в качестве претендентов на пост губернатора, Иван Петрович внезапно ушел в тень, заявив, что полностью поддерживает программу Бориса Ефимовича и готов работать с ним рука об руку.

И вот теперь Скляров тянет на себе село и земельную реформу, внешнюю и внутреннюю торговлю, транспорт, дороги, связь, энергетику, науку, здравоохранение, снабжение, полиграфию... Вдобавок всех служителей муз, безработных, пенсионеров, инвалидов, детей. Причем такие вопросы, как: где взять денег на благотворительный суп или на обветшалый троллейбус? — по сложности не уступают проблеме изыскания средств, чтобы помочь заводу «Сокол» переделать свои «МИГи» во всевозможные «дельфины», «грачи» и «гжели»; призванные сменить старикашку «АН-2», которому давно пора на пенсию.

Вообще нынешние нижегородские лидеры — Немцов, Бедняков, Крестьянинов, Скляров (одни фамилии чего стоят!) — при всем своем демократизме и рыночной убежденности, если надо, очень даже умеют «показать зубы». Когда в правительстве России возник вопрос о приоритетных ассигнованиях на конверсию, нижегородцы буквально «выгрызли» себе кусок в первую очередь для «Красного Сормова», ЦНИИ «Буревестник», Арзамасского приборостроительного завода (кстати, Скляров отсюда «родом») и для других. Но когда те же гиганты ВПК надумали в целях экономии позакрывать свои садики-ясли, мэр Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков издал грозный запрет. И хотя кое-кому из руководителей предприятий в этом почудился привкус прежних волевых нажимов, бесцеремонного вмешательства в их внутреннюю жизнь, пришлось покориться.

Прошлым летом в стране разразился кризис наличности и падение нравов переросло из массового в региональные масштабы. Приморский край решил сделать свой маленький бизнес на несчастье нижегородцев и предложил им миллиард наличности под возврат 1,35 миллиарда. В Кремле прикинули: нет, кормить ростовщиков не будем. Вместо этого опять прибегли (увы!) к испытанному «волонтаризму». Перекрыли каналы возможной утечки денег из области. Только аэропорт дал сразу более миллиона рублей, которые предприимчивые люди собирались вывезти в Литву и Армению. Банк, милиция и прокуратура принялись трясти торговлю и коммерцию. Каждую неделю это давало до 1,5 миллиона «утаенных» рублей, которые тут же возвращались в нормальный оборот. И последняя мера — разговор на повышенных тонах с правительством и с многоуважаемым банкиром всех банкиров Герашенко.

Но если без шуршащего рубля еще как-то можно вывернуться (на заводе Фрунзе принялись даже собственную «деньгу» выпускать), то без хлеба насущного наступит то самое, о чем писал побывавший здесь сто лет назад писатель Короленко: «Нужно, наконец, научиться признавать и видеть народное горе и бедствие там, где ни одна мать не съела еще своего ребенка...»

Дело в том, что взбесившиеся цены взяли за горло нижегородского земледельца, и ему ничего другого не оставалось как проделать то же самое с городом. В июне на сессии облсовета аграриям кинули кость — несколько миллиардов из областного бюджета на дотации животноводству, компенсации по банковским кредитам и строительству. Но жизнь дорожает быстрее, чем чиновники выполняют решения депутатов, и когда подоспела пора ссыпать хлеб в амбары, колхозы-совхозы опять победоносно зартачились: по 8 тысяч за тонну хлеба — ни в какую. Не меньше 15! В Кремле вытянулись лица: это значит буханка потянет на полста рублей?! В конце июля собрались во Дворце труда и долго орали друг на друга и топтали ногами. Сельские «бароны» грозились обычным, что «не выживет село, не выживет и город!» Однако принявшие на себя главный удар вице-губернатор Иван Скляров и председатель облсовета Евгений Крестьянинов понимали, что весь этот напор стимулируется главным образом некоей публикой с очень большими деньгами, которая закупит хлеб хоть себе в убыток, зато потом с лихвой его наверстает, прокрутив несколько раз на бирже.

Но хлеб не должен «крутиться», его не растяг, чтобы набивать карманы всякой дряни рода человеческого. Хлеб должен кормить. Кстати, это и аграрии прекрасно

понимали. И для них не было секретом, что пятидесятирублевая буханка в конечном итоге им же встанет дороже. Крестьяниныов говорил долго, и в конце концов ему удалось отстоять свой компромиссный вариант: цена от 9 до 12 тысяч за тонну, а затем ежемесячная индексация, чтобы хозяйства не разоряла инфляция. Что ж, победа? Складирование безнадежно махнул рукой: мол, не может быть победы у города над селом или наоборот. Просто наступил небольшой антракт в написанной не нами песне абсурда. Можно перевести дух перед началом следующего акта...

И все же не за эти «бои местного значения» я бы воздал должное политическому мужеству нижегородского губернатора и его окружения. Главное — никакие события не могут отвлечь Бориса Немцова от видения перспектив, от продолжения реформ. Для этого он в начале лета завлек на нижегородскую землю Григория Явлинского со всем его Центром экономических и политических исследований и отпустил только в сентябре, получив от него программную разработку «Экономика и политика в России. Нижегородский пролог».

5

Два года назад в программе «500 дней» госсоветник Явлинский предостерегал президента Горбачева, что если продолжать идти избранным им курсом («Самая большая ошибка семи лет перестройки — это отказ от реализации программы „500 дней“» — академик С. Шаталин), то неминуемы в конечном итоге дезинтеграция политической системы, повальная суверенизация всех и каждого, вытеснение бартером окончательно захиревшего рубля. В результате придется выбирать между гиперинфляцией и прямым изъятием денег у населения и предприятий. Здесь, правда, Явлинский ошибся: выбирать не стали, а просто разом прибегли к тому и другому. Отсюда спад производства, остановка крупных заводов из-за разрыва связей с поставщиками, безуспешные попытки покрыть дефицит за счет импорта, упадок городского и сельского хозяйства, нормирование и разгул черного рынка, отсутствие единой программы и попытка каждого выбраться самостоятельно. И как апофеоз — окончательный распад Союза, международные конфликты и всеобщее пренебрежение законом.

Не послушался тогда Михаил Сергеевич своего советника, и через год столица имела удовольствие брататься с танкистами, сам Горбачев прощаться с президентством, а все мы — с СССР.

И опять Явлинский со своими прозрениями-предостережениями. Мол, режьте хоть одеяла на суверенные флаги, но зачем по нефтегазопроводам, по рельсам как по живому? Это все надо по тщательно разработанной программе бережно разводить-разъединять. Хотя лучше бы и вовсе такими глупостями не заниматься.

Но такая пошла кругом суверенизация, что народ совсем голову потерял. На правителей нашло озарение. Мол, хватит программ, люди устали от них. Надо дело делать! И засучили рукава: бросились стабилизировать валюту не существующего государства, балансировать на разгромленном бюджете, удерживать расплывшуюся, как кисель по полу, денежную массу. Помимо прочего рубль довели до такого состояния, что за него, продолжая мысль великого сатирика, впору было не только давать полтину или в морду, оставалось просто плевать в глаза. Все это навело Явлинского на мысль о создании совершенно новой программы для страны — программы выживания.

— Я считал и считаю,— заявлял он,— что реформы начались без какой-либо четкой программы. Поэтому каждые три дня приносили новые сюрпризы. Все решалось с ходу, как будто дело касалось не огромной страны и сотен миллионов граждан, а собственного подворья, на котором перестраивается курятник. То так, то эдак, да еще с подобающей фразеологией! «Народ устал от программ, надо действовать! Лучше что-то делать, чем ничего!» Сделали!!! И даже программу написали. Но, к сожалению, вся она о том, что опять-таки уже сделано. И по заявлению правительства, все получилось правильно. Всем остается только еще как следует потерпеть, и будет еще лучше...

Тут как раз к Григорию Алексеичу и обратились нижегородцы со словами, что дальше терпеть уже мочи нет, а нужно срочно приноравливаться к диким условиям существования и все-таки продолжать реформы. Иначе не выбраться из этого чертова тупика. То есть они как бы прочли мысли главы ЭПИЦентра, и тот с радостью пошел на сотрудничество.

6

К началу прошлой осени нижегородцы утешались тем, что в других регионах спад производства вдвое-втрое больше. Но и они почувствовали весьма болезненно сокращение «оборонки» на 20 процентов в сравнении с предыдущим годом. Когда

12 тысяч квалифицированных рабочих увольняются или на грани увольнения — для области это серьезный «фактор дестабилизации». Правда, на гражданке дела получше. Здесь спад составил что-то около 8 процентов. Но зато они бьют по всем, потому что касаются в первую очередь товаров народного потребления. А тут еще обвал по мясу и молоку (50 и 70 процентов потребности), зерна собрали меньше половины, картофеля и овощей лишь 85 процентов от прошлогоднего урожая. Как уже говорилось, хозяйства области сидят по уши в долгах у государства и своих поставщиков и со своими тружениками они скоро будут расплачиваться, как при Сталине, натуроплатой. Тем не менее сельские «бароны» фермеров встречают по-прежнему в штаны, и администрации области еле-еле удалось вырвать у них какой-то процент с хвостиком посевных площадей для своих новых «кулаков» постсоциалистической формации.

Это 42 тысячи гектаров, на которых пытаются закрепиться около 2 тысяч фермерских хозяйств, испытывая при этом невероятные трудности. 40 из них уже сдались. Так что 164 колхоза и совхоза области продолжают безнаказанно морить голодом горожан, которые против прошлого года стали почти в половину меньше есть мяса, молочных продуктов и фруктов, на треть меньше сахара. Объем торговли практически сократился на треть, зато цены выросли раз в шесть по сравнению с 1991 годом, из чего можно смело сделать вывод, что ни колхоз, ни торг не пострадали. Работают меньше, получают больше. И чтобы уж совсем быть в русле реформ, все 164 колхоза-совхоза переименовались в акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью.

Как ни странно, но в этом сумраке экономики вполне уютно чувствуют себя нижегородские банкиры. В области трясут мощной 23 коммерческих банка. Рентабельность их с одного процента до двух с половиной, а процентная ставка за первое полугодие 1992 года не превышала вполне сносных по нынешним временам 28 процентов. Правда, потом она стремительно поползла вверх, но все равно целые шесть месяцев нарождающемуся предпринимателю можно было кредитоваться на сравнительно благоприятных условиях. Однако запуганный инфляцией, прижатый налогами и депрессией народ брал мало: всего каких-то 56 миллиардов, из которых 233 миллиона рублей отважились взять фермеры. И последнее утешение: к середине прошлого лета не оправдались устрашающие прогнозы по безработице. Все-таки 8 тысяч безработных по отношению к 2 миллионам занятых в народном хозяйстве нижегородцев — цифра по теперешним временам еще более или менее приемлемая.

Куда больше отцов города и области заботят, например, грузовые перевозки, которые снизились на четверть от объема 1991 года, а парк автомобилей сократился с 9 до 7 тысяч. Чтобы справиться с этой бедой, решили раскулачить монополистов — Нижегородавтотранс. Продав с молотка каждый пятый его грузовик.

Это не было актом отчаяния или разновидностью экспроприации в духе 1917 года. Машины пошли на аукцион вслед за магазинами и прочим бытовым сервисом. Так был сделан первый шаг воплощения программы «выживания через приватизацию», или «Нижегородский пролог». Программу, как уже говорилось, разработали совместными усилиями координационный совет области во главе с губернатором Б. Немцовым и сотрудники Центра экономических и политических исследований Г. Явлинского.

Сразу же возникает вопрос — почему именно «Пролог»? Потому что по замыслу создателей программы все, что они сегодня проделывают для возрождения области, завтра должно лечь в основу программы возрождения России. Что для этого нужно? В первой части предлагается заключить «пакт социального мира против разрухи» со стороны промышленников, аграрников и других «групп давления» на правительство, индексировать статьи бюджетных расходов, шкалы подоходного налога и процентов по банковским кредитам в соответствии с динамикой инфляции, опереться на межрегиональные экономические ассоциации волжан, сибиряков, дальневосточников и южан. Переместить основные функции жизнеобеспечения населения на уровень регионов. Вторая часть — нижегородская сверхзадача — сформировать слой собственников как опору стабилизации. Для этого: приватизировать жилье и все для повседневных нужд — от магазина до сапожной мастерской; на селе — наделы и продажа земли, свободная регистрация частных предприятий, система защиты частной собственности. Дальше идут меры технического порядка: индексация бюджетных расходов, подоходного налога, банковского процента в соответствии с динамикой инфляции. Отныне рост цен и удешевление рубля принимаются как некая данность, среда сегодняшнего экономического обитания, в которой необходимо отыскать свои точки опоры. Первая — областной займ, зарегистрированный в Минфине. Благодаря ему происходит автоматическая индексация денежных вкладов нижегородцев. Затем в расчете на то, что парламент все-таки разродится Законом о собственности на землю,

учреждается Межрегиональный земельный банк. Пусть кредиты сторожат появление нового землевладельца.

Кое-что приходится наверстывать. Например, создание конверсионного банка с уставным капиталом 600 миллионов рублей. Оказалось, что переделать самоходную гаубицу «гиацинт» на установку для комплексной переработки мясных туш стоит немалых денег. Поэтому строителям малых предприятий для мясо-молочной промышленности предоставляются льготные кредиты.

Чтобы нижегородец не просыпался каждое утро с чувством, что его обокрали, в газетах теперь публикуются показатели инфляции, цены, вакансии, данные о запасах продовольствия в области.

Впрочем, все это меры чисто административные, успех которых во многом зависит от эффективности работы аппарата. Но ведь, как мы уже говорили, у «Пролога» есть еще сверхзадача — сформировать слой собственников, опору стабилизации. А это безмерно сложнее. Людям можно предложить в собственность или в право владения магазин или сапожную мастерскую, грузовик или землю. Но согласятся ли они взять — сие, как говорится, от аппарата не зависит.

— Любое наше действие, — поясняет губернатор Немцов, — поскольку оно новаторское, не проходит гладко. Вот наделяли фермеров землей, каждый пятый или четвертый не смог ее получить. Пресса нас за это ругала. Что ж, правильно. Сделаем так, что получат в конце концов все.

— Вы верите, что саботаж чиновников удастся преодолеть?

— Я не люблю таких слов. Для меня они лишены позитивного смысла. А он в том, что директора и председатели, как и все остальные прочие, должны увидеть свой интерес в приватизации. Конечно, никакими благими усилиями администрации не сделать в одночасье имущими неимущих. Но она может упростить формальную сторону дела, что тоже немаловажно. Теперь нижегородец, открывающий свое дело, вместо бесконечных бумаг и беганья от одного чиновника к другому не спеша идет на почту и посылает администрации уведомление. Уплатил пошлину, и все дела...

7

Вообще-то собственник тем и хорош, что формирует себя сам. Если, конечно, его не душат в зародыше. Татьяна и Михаил Тимофеевы, правда, еще не успели осознать своего сословного интереса. Зато у них полная ясность с интересом экономическим, так как получили они 30 гектаров в «бессрочное и бесплатное пользование». Неподалеку от поселка Чугуны посреди леса поле, а посреди поля Тимофеевы построились со всем хозяйством. Торгуют мясом, маслом, колбасой собственного изготовления, ранним картофелем. Все везут в Нижний. Прошлой осенью получили неплохой урожай свеклы. Свезли на завод и обменяли на сахар. А начинал заводской электрик Тимофеев на селе с обыкновенной шабашки.

Глядя на них, три молодые семьи в Чугунах вышли «на отруба» из колхоза и что придумали! Как бы арендовали землю у двух десятков одиноких чугуновских старух, пообщав расплачиваться выращенной картошкой и зерном. Получилось солидно, две с лишним сотни гектаров. Решили создать питомник элитных семян для фермеров района, потому что многие сегодня занялись зерном. Дальше — больше. Уже планируют оборудовать молокозавод в заброшенном здании, а потом и комплексную мясопереработку. В перспективе звероферма, выделка кож, производство костной муки. Скооперировались, берут кредиты, строятся... Жизнь идет.

Сельская шабашка на Нижегородчине неожиданно стала колыбелью мелкого и среднего предпринимательства. Основатель товарищества с ограниченной ответственностью «Нижегородец» Владимир Шангов, когда вместе с товарищами занимался строительством на селе, заодно составил себе неплохой круг знакомств с председателями-директорами. И они навели его на мысль, что сегодня переработка сельхозпродукции — клондайк для того, кто первый ее застолбит. Товарищи взяли кредит и превратились в товарищество с ограниченной ответственностью, закупив сразу 15 молокоперерабатывающих цехов. В Нижнем на аукционе купили право на аренду четырех фирменных магазинов «Молоко».

Три завода у Шангова уже на полном ходу. Делают крестьянское масло и мягкий нижегородский сыр. В перспективе — производство твердых сыров и запуск колбасных цехов. В планах — завалить сырами и колбасой родную Нижегородчину.

В этой приватизационной ситуации, пожалуй, хуже всего себя почувствовали продавцы магазинов. Недаром с начала года только в Нижнем Новгороде приватизирован лишь каждый пятый магазин. Точнее, даже не приватизирован, а желающие лишь получили право на его аренду. Известны примеры, когда продовольственный

магазин при начальной стоимости меньше миллиона уходил в чьи-то неведомые руки за 200 миллионов! Работникам точек общепита было куда проще отстоять на аукционе свое владение. Слишком хлопотное это предприятие — кормить людей.

И действительно: зашел перекусить в кафе «Огонек» (собственник — товарищество) и поразился хорошей кухне. Заместитель директора Нина Дементьева объяснила, что они самоснабжаются, что стоит это колоссальных усилий и, как расплатятся с долгами по аукциону, обязательно купят грузовик.

Кстати, совершенно неожиданной идеей, что «хлеб не должен крутиться на бирже — хлеб должен кормить», проникся не кто-нибудь, а управляющий по торгам биржи «Нижний Новгород» Юрий Евтеев. Оставив свое прежнее почтенное занятие, он возглавил новое акционерное общество Нижегородагротрест. Это неудобоуваримое название — дань крупному соучредителю и партнеру из Гамбурга, владельцу фирмы «Победа» Клаусу Маттиссену. Его акционерный вклад почти в три раза больше, чем у пятерых отечественных пайщиков, — 17,5 миллиона рублей. Общество кредитует и обстраивает нижегородских фермеров, одновременно превращая их в своих акционеров. Любой горожанин, решивший последовать примеру тех же Тимофеевых, имеет теперь шанс через восемь месяцев получить двухэтажный коттедж с полностью обустроенным подворьем и необходимой для работы техникой. Только вот где взять сто тысяч на приобретение акций?

Впрочем, возможности получить ссуду для нижегородских предпринимателей расширяются день ото дня. На волжские просторы вышел в плавание новый финансовый дредноут «Нижегородский банкирский дом», уставной капитал которого превышает все прочие авуары областных коммерческих банков. Среди учредителей завод «Красное Сормово», авиационный и телевизионный заводы, предприятия Арзамаса, Дзержинска, Павлова, Кулебяк... Набирается до шестидесяти! Операции будут вестись как в рублях, так и в валюте. Кстати, повивальной бабкой новорожденного богатыря был все тот же Григорий Явлинский. Так что «Нижегородский пролог» даже сквозь густой туман гиперинфляции приобретает все более зримые очертания.

— Оставьте вы эти штампы — капитализм, социализм, — просвещал меня Явлинский по дороге на «Красное Сормово», — считайте, что здесь строится то, что не пишывается ни в какие идеологические трюизмы... А если в масштабах страны, то дела обстоят примерно так. Сначала замахнулись на дворец. Потом оказалось, что возможностей хватает лишь на «хрущобу». А теперь выходит, что получится в лучшем случае избушка на курьих ножках. Жалко, но жить все равно где-то надо. Реформы жизни не заменяют.

Интересно, думаю, как это он объяснит самим сормовчанам, этим гражданам государства в государстве. Все-то им под силу: подводные лодки и суда на подводных крыльях, теплоходы класса «река—море», манипуляторы, трактора, подводные рестораны... На Западе такая фирма гремела бы по всему свету. А мы их тихо разорили. Говорят, теперь они свои лодки на металл режут. А могли бы в Иран продавать...

До октября оставалось всего ничего, и государство поставило вопрос ребром: если сами не определитесь, как вам приватизироваться, не выработаете устав и все такое прочее, будете приватизированы насильно.

Что же многотысячному коллективу делать? Начальство темнит и уклоняется. Заказов нет, зарплату не платят, сбережения проедены. Начались увольнения. Профсоюз смотрит в рот администрации, и потому на заводе зародилось альтернативное рабочее движение — Свободный профсоюз судостроителей. Возглавил его слесарь Анатолий Маков, ознаменовав рождение пока еще крохотной организации (в сентябре 1992-го в ней было 120 человек) громкой войной с директором завода Н. Жарковым по поводу увольнения художника Олега Киселева. Администрация уволила его под предлогом, что человек такой профессии в наше трудное время — невелика потеря. А Маков считает, что Олег пострадал за правду, за карикатуры на администрацию.

Но не станем здесь углубляться в этот вопрос. Интересно сейчас другое: что не профком завода, а именно Маков пригласил Явлинского, чтобы тот объяснил людям, как им жить.

Кстати, здесь я получил ответ на свой вопрос, почему Григорий Алексеевич народа не боится. Как вы думаете, много ли людей не из высших эшелонов власти, разумеется, хотя бы держали в руках брошюрку «500 дней»? Так вот из 300 собравшихся сормовчан нашелся, во всяком случае, один, который и держал, и задавал вопросы, ссылаясь на ее содержание, а закончил тем, что попросил автограф.

Разговор получился долгим, и, как потом выяснилось, народ не пожалел, что ради него пренебрег поездкой за город выкапывать на зиму картошку и прочими неотложными делами.

Во-первых, люди наконец-то узнали, что такое приватизация: «Государство говорит, что это его предприятия (46 тысяч всех крупных в стране!), но оно ими больше заниматься не будет. Поэтому их должны забрать либо те, кто там работает, либо какие-то другие люди. Но забрать г р а м о т н о. То есть сохранив рабочие места, обеспечив доход и перспективу...»

Вроде просто, но как к этому подойти на гигантском «Сормове»? В чем главная причина отказа государства от него?

— Государство больше не даст вам денег. Ни на зарплату, ни на развитие, ни на станки, ни на машины, ни на заказы — ничего. Значит, надо так произвести акционирование, чтобы привлечь средства, способные стабилизировать вашу ситуацию на долгое время. Второе — изменить управление. Раньше вами управляло министерство через директора, теперь этого не будет. Собственники сами нанимают управляющего, и он учитывается только перед ними.

Теперь акционирование. Есть две схемы.

Первая: часть акций рабочим передается бесплатно, часть выкупается ими по льготной цене, третья часть отдается администрации. Все три составляют 40 процентов акций, а оставшиеся 60 передаются Фонду имущества. Из них 20 он оставляет себе, а 40 процентов продает.

Вторая проще, за нее обычно ратуют директора, суля коллективу золотые горы и сохранение рабочих мест. Это когда завод выкупает 51 процент акций. В этом случае завод становится практически собственностью директора.

Вроде бы и вся премудрость. Но тут сразу становится ясно: директора столько туману напустили вокруг этой проблемы. Далеко не многие из них уверены, что их рабочие согласятся на второй вариант, а приняв первый, не попросят их освободить кресло для более достойного преемника.

Впрочем, уже сейчас можно быть уверенным, что ни один потерявший кресло руководитель на пособие по безработице не сядет. Он давно уже состоит в директорах. едва ли не дюжины малых и совместных предприятий, которые взрастил на своем заводе, как шампиньоны в грибнице. Уж кто-кто, а он-то врос в рынок одним из первых. И директорское жалование в его доходах играет роль чисто символическую.

Главная задача, когда все сормовчане станут добропорядочными акционерами, — привлечь солидного инвестора. Беда, и не только этого коллектива, что в мире широко деловым кругам завод попросту неизвестен. А сормовчанам есть что показать, есть чем удивить (одно титановое производство чего стоит!) и есть чем привлечь. В первую очередь своей квалификацией и работоспособностью. Но есть и чем испугать. Это огромная социальная доля в балансе. Дома, школы, больницы, садики, ясельки, пансионаты... Нигде в мире такого нет. Поэтому любой инвестор им скажет: «Не считайте меня за осла! Я вам миллионы, а вы их в канализацию спускать?!»

Кстати, у судостроителей «Оки» в Навашине 85 процентов прибыли съедает жилье. Каким же буржуйам нужны такие самоеды?

Выход один. Параллельно с акционированием на заводе — приватизация всех бытовых и обслуживающих структур. А деньги на их содержание — из бюджета в зарплату.

Успокоив народ таким образом, Явлинский отвечал на вопросы. Начал с большого: откуда взялись эти ваучеры?

А очень просто. Собирает глава правительства своих советчиков и говорит: что будем делать? Одни говорят — все раздать. Другие — все продать. Третьи — оставить все как было. И вот если у главы есть свой взгляд на предмет, он всех благодарит и делает по-своему. А когда нет, то появляется такой вот... ваучер.

И понеслась душа в рай. Еще непонятно, что с ним делать, но уже печатают на всю катушку. Еще не раздали, а уже уважаемый и. о. премьера предупреждает по телевизору всех бабушек, что к каждой обязательно нагрянет по четыре коммерсанта и за бесценок его купят. А МВД предупреждает, что не четыре коммерсанта, а по два бандита ворвутся к бабушкам и отнимут у них дорогие и любимые ваучеры...

Но дальше хуже. Положим, одна какая-то самая хитрая бабушка свой ваучер все-таки сохранила и приковыляла с ним к сормовской проходной, чтобы обменять его на акцию. Но тут навстречу ей выскакивает любой заводской алкаш и в самых непристойных выражениях объясняет, что за этот листок бумаги он так и перетак вкалывает, чтобы такой и перетакой бабке вот такуший дивиденд получать не намерен, так его перетак вместе со всеми.

Кстати, недобрую услугу оказал людям наш прославленный экономист Павел Бунич, который неизвестно почему возвел стоимость ваучера до 200 тысяч. Поскольку некоторых людей это сообщение ввергло в состояние панического беспокойства. Явлинский посоветовал народу сейчас не волноваться и подождать до истечения

указанного срока. А потом спросить у Бунича, сколько эта бумага на самом деле стоит и кто сколько за нее получил дивидендов.

В общем, упаси бог Павла Григорьевича от разгневанных бабушек. Все учитывают наши реформаторы. Коэффициенты изобретают — голову сломаешь. Одного не хотят принять в расчет: что народ-то у нас в финансовом отношении совершенно несамостоятельный. И если он всю сознательную жизнь клепал эту самую атомную субмарину, то, значит, прирос к ней как моллюск. И разъединять их надо бережно, постепенно, с опаской.

Между прочим, в «500 днях» была трехлетняя программа конверсии ВПК. Многие об этом не знают, потому что ее засекретили (закрытое приложение), где по плану, в увязке со смежными секторами, предлагался поэтапный сброс военного производства, перевод его на мирные рельсы. И люди не страдали бы от увольнений, безденежья, неуверенности в завтрашнем дне.

— Не бойтесь,— спрашиваю автора «500 дней»,— что, предлагая людям избушку вместо ожидаемого дворца, вы становитесь демократическим козлом отпущения?

— Слушайте, да у нас весь народ, включая меня,— козел отпущения. Посмотрите сами, как люди относятся к тому, что мы здесь делаем...

До беседы с Явлинским я побывал на пресс-конференции, на которой отцы города и области объяснялись с журналистами по поводу грядущей распродажи грузовиков Нижегородавтотранса. Она шла непосредственно за аукционом общепита и соцкультбыта. Таким образом, можно было сказать, что с поезда я попал к самому началу постановки драмы Явлинского «Нижегородский пролог» на сцене губернаторского театра.

Надо сказать, актеры играли неплохо. Каждая реплика свидетельствовала о серьезном знании предмета. А публика — пресса — опасалась, что оципаный на каждую пятую машину и оскорбленный этим Нижегородавтотранс вообще оставит народ без жизнеобеспечения. А новоявленные частники, вместо того чтобы выполнять свой гражданский долг, бросятся калымить куда-нибудь в другие области. Радетелей за народ успокаивал мэр города Д. Бедняков:

— Нам уже говорили, что нельзя приватизировать магазины и быт, потому что мы тут же все оголодаем, завшищем, пойдем голые и босые. Как видите, этого не произошло. В принципе рынок все ставит на свои места...

Действительно, можно набить свои прилавки сумасшедше дорогими кожами, тряпками, спиртным и сигаретами и сидеть на них до посинения, потому что конкурентов у тебя — полгорода. А можно ежедневно крутиться с овощами, молочными продуктами и хлебом и получать небольшой, зато стабильный доход. И быть уверенным в будущем своей коммерции, потому как эти продукты нужны людям в любой момент и всегда. Потому что покупатель у тебя сложится постоянный, отношения с ним будут превосходные. И еще немаловажно — работать тебе куда безопаснее. Для рэкета ты особого интереса не представляешь.

Ладно, но грузовик не магазин и не прачечная. А что, если все машины скупят вездесущие кавказцы, чтобы возить на них мандарины, патроны и наркотики?

— Не скупят,— уверенно парировал губернатор,— продажа будет сопровождаться рядом условий.

Причем интересно: если аукционные цены окажутся людям не по карману, Немцов готов пустить машины в закрытую продажу по символической стоимости.

В перерыве я подошел к губернатору и вкрадчиво спросил:

— А если директор Нижегородавтотранса и в самом деле обидится и найдет способ саботировать приватизацию?

— Тогда я его уволю,— с любезной улыбкой отвечал «первый блюститель неприкосновенности прав верховной власти, пользы государства и повсеместного точного исполнения законов».

— Не имеете права. Он не вам подчиняется.

— А я Борису Николаевичу пожалуюсь,— понизил доверительно голос Борис Ефимович,— и он его уволит. Чтобы другим nepовадно было мешать государственному делу.

Немцова попытались было обойти с другой стороны: вмешался Минобороны, у которого есть свои права на грузовики на случай мобилизации. И хотя во всем мире у частных владельцев грузовиков есть мобилизационные предписания, военные уперлись... У нас-де особая страна.

Не знаю, тем ли, другими ли способами, но Немцов своего добился: в конце октября — начале ноября на Нижегородской ярмарке прошел аукцион двух сотен грузовиков, как весьма подержанных, так и почти новых «ГАЗов», «ЗИЛов», «МАЗов», «КрАЗов» по стартовой цене от тысячи и до пяти. Эта сенсация затмила в глазах западных журналистов даже выставку вооружений, состоявшуюся месяц назад.

Но была здесь и другая сенсация, которую могли оценить лишь соотечественники: половину стоимости грузовика удачливый покупатель мог выплатить (хотел бы я в этот момент видеть выражение лица Явлинского) ваучерами. Машины шли в руки счастливых хозяев по ценам от 130 тысяч до миллиона, за который уступили «КамАЗ» прошлогоднего выпуска. Только в первый день частники — первое поколение нижегородских буржуа — закупили самосвалов, бензовозов и бортовых машин на 17 миллионов рублей. Значит, не так страшен черт гиперинфляции, как его малюют, раз у народа все еще есть такие деньги.

А ведь цены назначали люди по преимуществу молодые, вроде симпатичного уроженца Арзамаса-16 Сергея Дьякова, ставшего первым покупателем аукциона, о котором узнал лишь накануне. Вот так! А Невзоров все ахал по телевизору, что нищает и тощает без могучей государственной подпитки одна из первых атомных колыбелей отечества — Арзамас-16. Как же, спрашивается, нищает, когда там по улицам гуляет молодежь, которой за ночь раз плюнуть три—пять сотен тысконок собрать и махнуть в Нижний за грузовиком.

Как писали газеты, повгоря слова Немцова на все той же пресс-конференции, приватизация машин проводится в полном соответствии закону, по второму варианту льгот, когда коллективы выкупают 51 процент акций по закрытой подписке и балансовой стоимости имущества в старых ценах.

Кстати, идея расплатиться на аукционе ваучером принадлежит не Немцову и даже не Явлинскому. Она родилась в голове жизнерадостного молодого американца Билла Банкера, эксперта Международной финансовой корпорации, приехавшего на американские и английские деньги учить нижегородцев продавать и покупать грузовики. К моменту нашей встречи он уже шестой месяц трудился в поте лица над созданием на нижегородской земле шофера — собственника грузовика, вникал в проблемы автопредприятий Нижегородавтотранса, рисовал перед начальниками лучезарные перспективы.

Билл Банкер быстро понял, что в России деньги на дорогах не валяются, поэтому держал наготове два варианта: выдача долгосрочных кредитов и, представьте, все тот же заклейменный Явлинским ваучер.

— Для кого все же ваша приватизация, — спрашиваю Билла, — для водителей или их начальников?

Билл, глазом не моргнув, отвечал совершенно серьезно:

— Сейчас трудно сказать, для кого именно. Но верю, что в ходе приватизации рабочие и начальники как-нибудь меж собой договорятся. И те и другие понимают, что в конечном итоге все это делается, чтобы поднять эффективность их предприятий, чтобы люди работали и зарабатывали по-новому. А водители-собственники смогут организовать свои малые предприятия, чтобы конкурировать с подразделениями Нижегородавтотранса.

Когда я попросил Явлинского прокомментировать это выдающееся событие на нижегородской земле, Григорий Алексеевич был предельно лаконичен:

— Все решит, смогут ли водители переварить цены на энергоносители, запчасти и прочее...

Прямо, что называется, в точку. И в который раз я тоскливо подумал: ну почему надо было начинать реформу, ставя все с ног на голову? Ну кто мешал сначала опустить цены на эти чертовы энергоносители, которые диктуют всем нам все остальное? А потом постепенно «раскрепощать» колбасу и прочее...

8

В идеале всей бы России перейти на программу конверсии. Это слово я бы употребил в более широком смысле. Не только как перестройку ВПК. И не только как революцию в сознании правительства, которое, в согласии со словами Явлинского, наконец поймет, что оно «правительство инфляции, а не стабилизации» и соотнесет с этим свои дальнейшие действия.

В наших словарях одно из значений конверсии — явление, при котором возбужденное атомное ядро передает избыточную энергию электронам, вследствие чего происходит вылет одного из них за пределы атома.

Вот что нам надо. Эти «возбужденные атомы», или, как лучше их называет Явлинский, «ядра кристаллизации», — российские земли, которые подобно Нижегородчине грудью встречают обрушившиеся на них трудности. Зная немощь центра, не кланчат у него помощи, а пытаются собственными силами решать свои проблемы. Находят средства поддержать свои предприятия, находят деньги платить зарплату, находят продовольствие на зиму и помощь старикам. То есть каждый день доказывают способность разрабатывать и проводить собственную экономическую и соци-

альную политику. Из них-то, из этих самых «ядер», и сложится новая пореформенная Россия. Хватило бы только центру ума им не мешать.

Покидая полтора столетия назад николаевскую Россию, маркиз де Кюстин оставил всем нам предостережение: «Когда солнце гласности взойдет наконец над Россией, оно осветит столько несправедливостей, столько чудовищных жестокостей, что весь мир содрогнется. Впрочем, содрогнется он несильно, ибо таков удел правды на земле. Когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда наконец истина до них доходит, она никого уже не интересует, ибо злоупотребления поверженного режима вызывают к себе равнодушное отношение».

Все это мы сегодня испытали на собственной шкуре, но, кажется, так и не прониклись до конца сознанием того, что если сами себе не поможем, то рассчитывать больше не на кого. Никакие международные валютные, гуманитарные и бог его знает какие еще фонды не вытащат нас из сегодняшней трясины.

Всякая аналогия хромает, повторяем мы вслед за кем-то и потому беззастенчиво хромаем сами из столетия в столетие, волоча за собой груз недоделанных реформ, разочарования и страданий. К осени нынешнего года «реформаторство сверху» исчерпало себя, точно так же как в свое время программа Александра II, который говаривал, что «дал бы конституцию, да она приведет к автономизму». Неужели в такие же страхи упрутся и нынешние реформы?

Наверно, с подобными мыслями Немцов собирался в Чебоксары, на встречу «земства» с Ельциным, Гайдаром и Хасбулатовым, поэтому выглядел, может быть, несколько воинственнее, чем обычно. Он ждал большого разговора о том, как взаимодействуют и в чем расходятся центр и местная власть, вез свою концепцию этих взаимоотношений, которую они разработали вместе с Явлинским.

Вернулся из Чебоксар Борис Ефимович в хорошем настроении и сразу же поделился своими мыслями:

— Очень обрадовало (хотя не знаю, как глубоко президент это держит в себе), что, похоже, центр тяжести смещается в регионы.

— Значит, вы становитесь главным ответчиком за реформы?

— Но я отвечаю не только за реформы. А, например, еще и за то, что народ нищает. А раз так, то нам нужно больше прав. Когда я с этим ехал на встречу, то думал, что буду говорить в пику президенту, а оказалось, что лишь добавил соображения к его речи о властном переустройстве России. Думаю, это было его лучшее выступление за последнее время...

(Заметим в скобках, что Чебоксары дали еще один немаловажный повод для улучшения настроения местной администрации — президент отсрочил перевыборы, чем у многих снял мучительную неуверенность в завтрашнем дне.)

С чем же нижегородский губернатор решил предстать пред властными очами президента?

— Я говорил о концепции нового федерализма. События поставили нас перед выбором: либо политика жесткой централизации и как следствие дальнейший развал страны, либо перераспределение прав и полномочий от центра к регионам, реформа налоговой политики, которые привели бы к полной самостоятельности на местах в деле дальнейших преобразований. И тогда в конечном итоге можно будет создать новую федерацию. Но уже бессильным методом, на основе взаимной заинтересованности. Мы подпишем новый федеративный договор, но уже не какую-то кабинетную абстракцию, а документ, продиктованный самой жизнью.

— Который и Татарстан подпишет?

— Кстати, у нас был хороший разговор с Шаймиевым. Он сказал, что ему понравилось мое выступление, хотя, по-моему, его взгляды на новый федерализм несколько отличаются от моих.

Как бы там ни было, но у чебоксарских «федералов» прозвучало достаточно серьезно, что они больше не будут просителями на Старой площади, однако, с другой стороны, они понимают, что правительство не может в одночасье передать все полномочия регионам...

— Но оно могло бы начинать с тех, которые уже проявили самостоятельность, самостоятельность и приверженность преобразованиям.

— С нижегородского, например?

— Не только. Я могу около десятка назвать... Но главное в том, что процесс передачи таких полномочий вызовет политическую зависть у соседей. То есть люди поймут, что права можно заработать не высиживанием и выклянчиванием в приемных на Старой площади, а конкретными делами, демонстрацией своих способностей. Те же директора предприятий, как и все остальные прочие, должны увидеть свой интерес в приватизации. И тогда она пойдет без окриков и принуждений. Мы говорим: вы становитесь совладельцами предприятий, десять процентов

акций ваши. И большинство это устраивает. Другое дело — не всех рабочих именно эта личность директора устраивает. Первая причина — предприятие производит то, что не пользуется спросом. Надо перепрофилировать его на другую продукцию, а это невозможно без крупного инвестора. Если такого найти, автоматически возникает вопрос о реорганизации управления... Вторая причина — в руководящих креслах много людей, органически не способных к жизни в свободном рынке. И понимая, что им не избежать ухода, они делают сейчас все, чтобы этот процесс затянуть. Например, оборотные средства вкладывают не в модернизацию производства, а тратят на зарплату, чтобы завоевать симпатии своих рабочих. Но пройдет какое-то время, и им же придется объявить о массовых увольнениях...

— Они и скажут: вот, демократы довели...

— Да, но посмотрите, на одном заводе цехи закрывают и людей выбрасывают на улицу, а на другом наоборот — полным ходом идет модернизация, создаются новые рабочие места. Выходит, что демократы здесь ни при чем.

— У вас не все горят желанием выполнять указы президента в срок. Я слышал, что работники авиаобъединения «Сокол» решили перенести акционирование на следующий год и вроде получили согласие Москвы?

— По-моему, приватизация предприятий за четыре месяца — вещь абсолютно неприемлемая для нашей страны. Я говорил об этом Ельцину во время наших столичных встреч. Торопливая приватизация может закончиться большим крахом, чем-то вроде югославского варианта. Там она так и не была доведена до ума. И все, что теперь происходит в этой стране, во многом начиналось из-за тех половинчатых реформ. Поэтому к приватизации я отношусь как настоящий консерватор. Лучше уж одно предприятие по-хорошему акционировать и доказать жизнеспособность реформы, чем второпях на каждом устроить своего рода колхоз. Мы и без этого колхозами сыты по горло.

— А та приватизация, что уже провели, дала ли что-нибудь областной казне?

— Что-то около миллиарда рублей. Да не в этом суть. Зачем мы приватизируем промышленность? Чтобы она заработала по-новому. Чтобы привлечь крупные инвестиции и модернизировать производство, дать ему эффективное управление в новых условиях рынка. Возьмите то же объединение «Красное Сормово» — это государство в государстве... Теперь им самим придется следить за конъюнктурой мирового рынка и смотреть, что выгоднее делать в данный момент. Кого брать в партнеры. Но для этого их управленческая структура должна в корне отличаться от той, что сейчас. И нам надо помочь им найти богатого инвестора, а тот ничего не станет вкладывать, пока сормовчане не выведут из своего бюджета жилье и быт, потому что никому не интересно вкладывать свои доллары или марки без отдачи. Значит, приватизацией одного производства не обойтись.

Словом, работы непочатый край. При нынешней жизни положение хуже губернаторского быть не может. А тут еще «безобразная работа чиновников правительства, которые даже жесткие директивы президента не хотят выполнять». Не зря дело доходило до Конституционного суда. Чиновники отступали, однако взлелеяли «нежные» чувства по отношению к «первому блюстителю неприкосновенности прав верховной власти, пользы государства и повсеместного точного исполнения законов». Ну что ж, это только укрепляет губернатора и всех его нижегородских единомышленников в убеждении, что избранный ими путь «нового федерализма» сегодня единственно правильный.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АРИАДНА ЭФРОН

*

«А ДУША НЕ ТОНЕТ...»

I

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

<Попытка записей о маме>* >

Первые мои воспоминания о маме, о ее внешности похожи на рисунки сюрреалистов. Целостности образа нет, потому что глаза еще не умеют охватить его, а разум — собрать воедино все составные части единства.

Все окружающее и все окружающие громоздки, необъятны, непостижимы и непропорциональны мне. У людей огромные башмаки, уходящие в высоту длинные ноги, громадные всемогущие руки.

Лиц не видно — они где-то там, наверху, разглядеть их можно, только когда они наклоняются ко мне или кто-то берет меня на руки; тогда только вижу — и пальцем трогаю — большое ухо, большую бровь, большой глаз, который захлопывается при приближении моего пальца, и большой рот, который то целует меня, то говорит «ам» и пытается поймать мою руку; это и смешно, и опасно.

Понятия возраста, пола, красоты, степени родства для меня не существуют, да и собственное мое «я» еще не определилось, «я» это — сплошная зависимость от всех этих глаз, губ и, главное, — рук. Все остальное — туман. Чаще всего этот туман разрывают именно мамыны руки — они гладят по голове, кормят с ложки, шлепают, успокаивают, застегивают, укладывают спать, вертят тобой как хотят. Они — первая реальность и первая действующая, движущая сила в моей жизни. Тонкие в запястьях, смутлые, беспокойные, они лучше всех, потому что полны блеска серебряных перстней и браслетов, блеска, который приходит и уходит вместе с ней и от нее неотделим.

Блестящие руки, блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос — вот мама самых ранних моих лет. Впервые же я увидела ее и осознала всю целиком, когда она, исчезнув на несколько дней из моей жизни, вернулась из больницы после операции. Больницу и операцию я поняла много времени спустя, а тут просто открылась дверь в детскую, вошла мама, и как-то сразу, молниеносно, все то разрозненное, чем она была для меня до сих пор, слилось воедино. Я увидела ее всю, с ног до головы, и бросилась к ней, захлебываясь от счастья.

Мама была среднего, скорее невысокого роста, с правильными, четко вырезанными, но не резкими чертами лица. Нос у нее был прямой, с небольшой горбинкой и красивыми, выразительными ноздрями, именно выразительными, особенно хорошо выразившими и гнев, и презрение. Впрочем, все в ее лице было выразительным и все — лукавым, и губы, и их улыбка, и разлет бровей, и даже ушки, маленькие, почти без мочек, чуткие и настороженные, как у фавна. Глаза ее были того редчайшего, светло-ярко-зеленого, цвета, который называется русалочьим и который не изменился, не потускнел и не выцвел у нее до самой смерти. В овале лица долго сохранялось что-то детское, какая-то очень юная округлость. Светло-русые волосы вились мягко и небрежно — все в ней было без прикрас и в прикрасах не нуждалось. Мама была широка в плечах, узка в бедрах и в талии, подтянута и на всю жизнь сохранила и фигуру, и гибкость подростка. Руки ее были не женственные, а мальчишеские, небольшие, но отнюдь не миниатюрные, крепкие, твердые в рукопожатье, с хорошо развитыми пальцами, чуть квадратными к концам, с широковатыми,

Публикация, подготовка текста и комментарий Р. Б. ВАЛБЕЕ.

* Оригинал воспоминаний хранится в РГАЛИ, в фонде М. И. Цветаевой. Это тетрадь, на обложке которой А. Эфрон написала — «О маме», на первой странице — «Попытка записей о маме». (Прим. публикатора.)

но красивой формы ногтями. Кольца и браслеты составляли неотъемлемую часть этих рук, срослись с ними — так раньше крестьянки сережки носили, вдев их в уши раз и навсегда. Такими — раз и навсегда — были два старинных серебряных браслета, оба литые, выпуклые, один с вкрапленной в него бирюзой, другой гладкий, с вырезанной на нем изумительной летящей птицей, крылья ее простирались от края и до края браслета и обнимали собой все запястье. Три кольца — обручальное, «уцелевшее на скрижальях»¹, гемма в серебряной оправе — вырезанная на агате голова Гермеса в крылатом шлеме, и тяжелый, серебряный же, перстень-печатка с выгравированным на нем трехмачтовым корабликом и вокруг кораблика надписью — тебѣ моя синпатія — очевидно, подарок давно исчезнувшего моряка давно исчезнувшей невесте. На моей памяти надпись почти совсем стерлась, да и кораблик стал еле различим.

Были еще кольца, много, они приходили и уходили, но эти три никогда не покидали ее пальцев и ушли только вместе с ней.

В тот вечер, когда мама воплотилась для меня в единое целое, на ней было широкое, шумное шелковое платье с узким лифом, коричневое, а рука, забинтованная после операции, была на перевязи, и даже перевязь эту я запомнила — темный кашемировый платок с восточным узором.

Самое мое первое воспоминание о ней — да и о себе самой: несколько ступеней — на верхней из них я стою — ведут вниз, в большую, чужую комнату. Все мне кажется смещенным, потому что — полуподвал. Лампочка высоко под потолком, а потолок — низко, раз я стою на лесенке. Не пойму, что ко мне ближе — пол или потолок. Мама там, внизу, под самой лампочкой, то стоит, то медленно поворачивается, слегка расставив руки, и смотрит вовсе не на меня, а себя оглядывает. Возле нее, на коленях, — женщина, что-то на маме трогаёт, приглаживает, одергивает, и в воздухе носятся, все повторяясь и повторяясь, незнакомые слова «юбка-клевш, юбка-клевш». В углу еще одна женщина, та вовсе без головы, рук у нее тоже нет и вместо ног — черная лакированная подставка, но платье на ней — живое и настоящее. Мне велено стоять тихо, а я стою тихо, но скоро зареву, потому что на меня никто не обращает внимания, а я ведь маленькая и могу упасть с лестницы. Это, мама говорила, было в Крыму, и пошел мне тогда третий год.

Из того лета не осталось в памяти ни людей, ни вещей, ни комнат, где мы жили. Впервые возник в сознании папа — он был такого высокого роста, что дольше, чем мама, не умещался в поле моего зрения, и первое мое о нем воспоминание то, как я его не узнала. Мама несет меня на руках, навстречу идет человек в белом, мама спрашивает меня — кто это, а я не узнаю. Только когда он наклоняется надо мной, узнаю и кричу — Сережа, Сережа! (В раннем детстве я родителей называла так, как они называли друг друга, — Сережа, Марина, а еще чаще — Сереженька, Мариночка!)

Еще помнятся мамины шлепки, за то, что я с крутого берега бросила свой новый башмачок прямо в море. Шлепки помню, а море — нет, оно было такое огромное, что я его не замечала.

Следующее лето в Крыму уже заполняется людьми, событиями, оттенками, звуками, запахами. Уже врзается в память белая, нестерпимо белая от солнца стена дома, красные розы, их сильный, почти осязаемый запах и их колючки. Уже различаю море и вижу горизонт, но чувства пространства еще нет: море для меня, когда стою на берегу, — высокая сизая стена. Я — ниже его уровня. Понимаю, что море хорошо только с берега. Купаться в нем — ужасно. Когда меня, крепко держа под мышки, окунают в шипящую волну, я заливаюсь слезами и визжу, потом мама вытирает меня мохнатой простыней и стыдит, но мне все равно, главное, что я — на суше. Чтобы приучить меня к купанью, моя крестная, Пра, мать Макса Волошина, бросается в море и плывет — прямо одетая. Когда она выходит на берег, с ее белого татарского халата, расшитого серебром, с шаровар и цветных кожаных сапожков ручьями льет вода. Но мне не смешно и неинтересно глядеть на нее. Пра мне помнится очень большой, очень седой, шумной, вернее — громкой.

Временами рядом со мной возникает мой двоюродный брат Андрюша. Он — хороший мальчик, он — не боится купаться, у него, чаще, чем у меня, сухие штаны, он хорошо ест манную кашу и даже глотает ее, он «слушается маму». Несмотря на то, что он так хорош, я все же люблю его на свой лад, мне нравится полосатый

колпачок с кисточкой у него на голове, мне весело качаться с ним на доске, положенной поперек другой доски. Пусть мы с ним часто деремся, чего-то там не поделив, но я тянусь к нему, потому что чувствую в нем человека одной со мной породы: он так же мал и так же зависим, как я. Его так же, как и меня, куда-то уносят на руках в самый разгар игры, так же неожиданно, как меня, вдруг укладывают спать, или начинают кормить, или шлепают и ставят в угол. Он — мой единоплеменник и единственный настоящий человек в окружающем нас сонме небожителей.

Правда, первое наше знакомство вызвало у меня чувство настоящей ненависти. Это было, видимо, предыдущей зимой в Москве. В моей детской появился маленький белоголовый мальчик в платьице и в красных башмачках. Это — говорит мама — твой брат Андрюша. «Мой брат Андрюша» неуверенно протягивает мне ручку, но я обе свои прячу за спину и начинаю больно наступать своими черными на его красные башмачки. Давлю изо всех сил, молча, сопя от зависти и гнева. У него — у него, у «брата Андрюши», а не у меня такие красивые красные башмачки! Мне нужно уничтожить их и раздавить, раз они не мои.

Андрюша отступает, я наступаю — и все ему на ноги. Андрюша вцепляется мне в волосы, я с наслаждением — ему в лицо. Нас разнимают мамы — моя и его, нас хлопают по рукам, я воплю от досады, от неумения выразить бушевавшие меня страсти — у меня еще нет слов, и я не могу объяснить, что красные башмачки должны быть моими, или пусть их вовсе не будет!

Именно этим крымским летом выясняется, во-первых, что я труслива — Пра подарила мне ежика, но страх и удивление мое перед его колючками сильнее умиления перед тем, что он не в пример мне умеет пить молоко из блюдечка. Все глядят ежа — и мама, и Пра, Андрюша даже вперед забегает, — а я не могу заставить себя протянуть руку к этому сгустку колючек — сам воздух вокруг них, кажется мне, колется!

Во-вторых, выясняется, что я совсем не умею есть. Я способна только жевать, жевать до бесконечности, но проглотить эту жвачку не в состоянии и старательно выплевываю ее. С борьбы с этими моими двумя первыми недостатками и начинает мама свою «воспитательную работу» — и на долгие годы. Она борется с моей трусостью увещеваниями, наказаниями, а с водобоязнью — просто купаньем, но обе мы стойки и не сдаем позиций.

— Ты боялась погладить ежика? Бог тебя наказал — теперь ежик сдох, понимаешь? Умер, ну, уснул и никогда не проснется. Нет, разбудить его нельзя. Теперь ты хотела бы его погладить, а уж поздно. Бедный, бедный ежик! А все потому, что ты — трусиха!

Я горько плачу, долго, долго помню — да и то по сей день не забыла, — как ежик, подаренный мне Пра, сдох, умер, уснул навсегда из-за того, что я побоялась погладить его. Но все же не уверена, что заставила бы себя к нему прикоснуться, даже если бы наказавший меня Бог воскресил его тогда, снизойдя к моему горю.

А ела я в детстве действительно ужасно. Жевала, рассеянно глаза по сторонам или боязливо вперяя в маму, уже рассерженную, жевала, цепenea от сознания, что все это нужно проглотить, — и не глотала. Жевала до последнего предела — а потом выплевывала. Плевалась, зная, что кара неизбежна, шла на нее с ослиным упрямством и христианским смирением.

Плевалась до того, что мама раздевала меня догола, вешала мне на шею салфетку с вышитой красными нитками кошачьей головой и надписью «Bon appetit» — подарок маминой сестры Аси — и, сама надев фартук, садилась напротив моего высокого стульчика с тарелкой манной каши и ложкой в руках. В кормлении моем принимали участие многие, каждый говорил, что в жизни не видывал такого случая, но тем не менее советы давали все. Пра, которую мама уважала и слушалась, посоветовала не кормить меня вовсе, пока я сама, проголодавшись, не попрошу есть. Мама согласилась. Лето было жаркое, я все пила молоко — три дня только молоко пила, а есть так и не попросила, так и не проголодавшись. На четвертый день мама сказала, что не согласна быть свидетелем гибели собственного ребенка, и вновь я сидела голая с салфеткой под подбородком и не могла проглотить ничего, кроме собственных слез.

(Много, много лет спустя, двадцатитрехлетней девушкой вернувшись в Советский Союз, я работала в журналовской редакции журнала «Ревю де Москву». Телефонный звонок. «Ариадна Сергеевна, пожалуйста!» — Это я. — С вами говорит Елена Усиевич. Вы помните меня? — Нет. — Да, правда, вы тогда были совсем маленькая... Как вы живете, как устроились? — Хорошо, спасибо! — А как едите? — Да я, собственно, достаточно зарабатываю, чтобы нормально питаться, — отвечаю я, озабоченная такой заботливостью. — Ах, я вовсе не про то, — перебивает меня Усиевич, — е д и т е как? Глотаете? Вы ведь в детстве совсем не глотали... Я до сих пор не могу забыть, как вы сидели голышом, с головки до ног перемазанная кашей, которой вас

кормила МЦ! И вот теперь узнала, что вы приехали, и решила вам позвонить, узнать...»)

Дом, в котором проходили мамы молодые и мои детские годы, уцелел и поныне. Это двухэтажный с улицы и трехэтажный со двора старый дом номер 6 по Борисоглебскому переулку, недалеко от Арбата, от бывшей Поварской и бывшей Собачьей площадки. Тогда напротив дома росли два дерева — мама посвятила им стихи «Два дерева хотят друг к другу», — теперь осталось одно, осиротевшее. В квартиру № 5 этого дома мы переехали из Замоскворечья, где я родилась.

Квартира была настоящая старинная московская, неудобная, путаная, нескладная, полуторазтажная и очень уютная. Две двери из передней вели — левая в какую-то ничью комнату, с которой у меня не связано никаких ранних воспоминаний, правая — в большую темную проходную столовую. Днем <она> скудно и странно освещалась большим окном-фонарем в потолке. Зимой фонарь этот постепенно заваливало снегом, дворник лазил на крышу и выгребал его. В столовой был большой круглый стол — прямо под фонарем; камин, на котором стояли два лисьих чучела, о которых еще речь впереди, бронзовый верблюд — часы — и бюст Пушкина. У одной из стен — длинный неудобный черный — клеенчатый или кожаный, — с высокой спинкой диван и темный большой буфет с посудой.

Вторая дверь из столовой узким и темным коридором вела в маленькую мамину комнату и в мою большую детскую. В детской, самой светлой комнате в квартире, — три окна, окна эти в памяти моей остались огромными, с пола до потолка, такими блестящими от чистоты, света, мелькавшего за ними снега! Недавно, войдя во двор нашего бывшего дома, убедилась в том, что на самом деле это три подслеповатых и тусклых оконца. Такие они маленькие и такие незрячие, что не удалось им победить, затмить в моей памяти тех, созданных детским восприятием и дополненных детским воображением!

Налево от двери стояла черная чугунная печка-колонка, отапливавшаяся углем, за ней большой и высокий, до потолка, книжный шкаф, в котором стояли детские книги моей бабушки, М. А. Мейн, мамыны и мои. В самом нижнем отделении шкафа жили мои игрушки, их я могла доставать сама, а книги мне всегда доставала и давала мама. К шкафу примыкала изножьем моя кровать с сеткой, а изголовьем — к сундуку очередной няни. Ни больших столов, ни взрослых стульев в этой комнате не помню — однако они должны были быть. Помню мягкий диван между крайним окном и дверью. Помню картины в круглых рамах — копии Греза, одна из них — девушка с птичкой. Над моей кроватью был печальный мальчик в бархатной рамке. Какие-то из этих картин — а может быть, и все они — были работы бабушки Марии Александровны. Детская была просторна, ничем не загромождена.

Выйдя из детской все в тот же узкий темный коридорчик, проводя рукой по левой его стенке, можно было нащупать дверь в мамину комнату. Это была единственная на моей памяти настоящая мамина комната — не навязанный судьбой угол, не кратковременное убежище, за которое скоро нечем будет платить и которое придется сменить на другое, почти такое же, только рангом ниже и этажом выше...

Комната была небольшая, продолговатая, неправильной формы, в виде буквы «Г», темноватая, так как окно было прорезано почти в углу короткой ее стороны — мешала смежная стена детской. Почти весь свет этого окна поглощался большим письменным столом. Справа на столе, вдоль короткой стенки закоулка, в котором помещался стол, стояли рядком книги, лежали тетради, бумаги. Среди безделушек (впрочем, «безделушки» самое неподходящее для маминого письменного стола слово! то были не безделушки, а вещи с душой и историей, далеко не случайные и не всегда красивые), — среди вещей, за которыми я, маленькая, жадно и бесполезно тянулась, была высокая, круглая, черного лака коробочка с перьями и карандашами, называвшаяся «Тучков-четвертый», потому что на ней был прелестный миниатюрный портрет этого двадцатидвухлетнего генерала, героя 1812 года, — в алом мундире и сером плаще через плечо. Очень соблазнительным было пресс-папье бабушки Марии Александровны — две маленьких металлических руки, выглядывавших из кружевных манжет, скрывавших пружину, две темных руки, цепко сжимавших пачку писем. Боязнь и любопытство вызывала странная черная фигурка Богоматери, когда-то привезенная делом Иваном Владимировичем Цв. из Италии. Это была средневековая Мадонна с лобастым личиком и широким разрезом невидящих глаз, величиной с ладонь, тяжелая, то ли чугунная, то ли железная. В животе фигурки открывалась двустворчатая дверка — богоматерь оказывалась внутри поляя и вся утыканная острыми шипами. В средние века, рассказывала мама, в Италии была такая статуя — выше человеческого роста. В нее запирали еретиков — закрывали дверцу, и шипы пронзали их насквозь. Средние века, Италия и еретики были для меня понятиями

весьма туманными, но, глядя на шипы и трогая их пальцем, я всей душой восставала против средневековой Италии и т а к о й божьей матери — за еретиков!

Между столом и дверью находилось углубление вроде ниши, задергивавшееся синей занавеской. На одной из полок лежала, завернутая в шелковый платок, белая гипсовая маска, снятая с папиного умершего от туберкулеза брата Пети. Прекрасное спящее это лицо, такое измученное и такое спокойное, похожее на папино, всегда вызывало у меня нежность и жалость. Я часто просила маму «показать мне Петю» и целовала сомкнутые прохладные губы и закрытые большие-большие прохладные глаза. «Он тебя знал,— говорила мама,— а ты его не помнишь. Он тебя любил — у него была маленькая дочка, которая умерла. У него была жена-танцовщица, которая его не любила...»

Дочка, которая умерла? Танцовщица, которая не любила? Как это все непонятно! Как можно умирать? Как можно не любить?

На полках было много всяких интересных вещей — морские звезды, раковины, панцирь черепахи,— и стереоскоп, и множество двойных фотографий к нему — Крым, мама, папа, Макс, Пра, мы с Андрюшей, еще всякие знакомые и просто виды. В стереоскопе все выглядело настоящим, совсем живым, хоть и неподвижным.

Стена по правую сторону двери была свободна, возле нее ничего не стояло кроме старого вольтеровского кресла, к ней можно было подходить вплотную и водить пальцем по розам светлых обоев.

Можно было погладить висевшую на ней красиво выделанную серо-голубую шкурку, подбитую красным сукном и отороченную суконными же зубчиками. Это шкурка маминного любимого кота Кусаки, которого она привезла крохотным котенком из Крыма, везла трое суток, за пазухой блузки-матроски. Кусака был умный, все понимал, как собака, и даже лучше. Он был настолько умен, что даже понимал назначение моего ночного горшочка лучше, чем я сама, и с превеликим трудом и старанием пользовался им, цепляясь всеми четырьмя лапами за скользкие эмалированные его края. Вороватая кухарка, которую мама уволила, в отместку отравила Кусаку. Издыхающий Кусака, весь в пене, с всклокоченной, потускневшей шерстью, приполз через всю квартиру к маме — прощаться — и так и умер у нее на руках. Мама плакала навзрыд, я тоже голосила, а потом мы сели на извозчика и повезли дохлого Кусаку к скорняку. Тот предложил увековечить кота «как живого» — чтобы он вроде как бы крался за птичкой по ветке вроде как бы настоящего дерева! Несмотря на то, что птичку скорняк предлагал совершенно даром, в виде премии, мама не согласилась уродовать нашего Кусаку — и вот он превратился в эту самую шкурку, висющую на стене.

(Помню, еще до всякого кухаркиного вмешательства Кусака как-то раз заболел — ветеринар выписал рецепт, который мама долго хранила как образец непрофессионального стихотворства. Рецепт кошачьей микстуры гласил:

«Каждый час по чайной ложке
Кошке —
Госпожи Эфрон».)

Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукции Врубеля — помню «Пана», «Царевну-Лебедь».

На противоположной стене был большой папин портрет, написанный приятельницей моих родителей, художницей Магдой², во время папиной болезни. Папа полулежал в кресле с книгой в руке, ноги его были закутаны пледом. Фон портрета был ярко-оранжевым, то ли занавес, то ли условный закат...

Висел портрет над широкой и низкой тахтой, покрытой куском восточного в лиловато-зеленую расплывчатую полосу шелка, такого, из которого в Узбекистане и до сих пор шьют халаты. С потолка спускалась синяя хрустальная люстра с тихо звеневшими длинными гранеными подвесками, очень старинная и красивая. На полу прямо под люстрой лежала волчья шкура, казавшаяся мне по ее и моей величине медвежьей. Приятно было совать кулачок в разинутую волчью пасть и знать, что волк тебя не укусит, хоть клыки у него и настоящие!

От изголовья тахты до стены с Кусачьей шкуркой все пространство занимал огромный старинный секретер, из которого мама иногда доставала музыкальную шкатулку, довольно тяжелую, темного дерева, с инкрустациями. Она играла несколько грустных, медленных песенок, отчетливо выговаривая мелодию. Крутились медные валики с шипами, задевавшими за зубья металлического гребешка, весь механизм добывания музыки из валиков и нотных картонок с прорезями был очевиден, но шкатулка оставалась таинственной и волшебной. Помимо музыкальной шкатулки у мамы была еще и настоящая старая шарманка, купленная у настоящего старого шарманщика. И мама, и папа, и их молодые гости с увлечением крутили ручку шарманки, игравшей с хрипом и неожиданными синкопами «Разлуку».

Для того чтобы попасть на второй этаж квартиры, нужно было проделать весь путь обратно, через темный коридор в столовую, оттуда в переднюю, и, попав в другой коридор, подняться по довольно высокой и крутой лесенке. Лесенка оканчивалась площадкой, хорошо освещенной окном; на нее выходили двери большой кухни, куда мне, маленькой, ход был запрещен, ванной, чулана и уборной. Еще один, последний, коридорчик вел мимо маленькой комнаты (где всего только и умещалось что кровать с ничем не покрытым матрасом, стол, стул и бельевой шкаф) в папину большую и не очень светлую, так как часть ее тоже кончалась каким-то закоулком; папину комнату я помню не очень отчетливо, так как в ней я бывала редко — из детской легко можно было забраться к маме или в столовую, а тут нужно было преодолевать лестницу, миновать запретную кухню, и вообще это было целое путешествие, на которое я отваживалась только после специального приглашения.

В папиной комнате была тахта у левой от двери стены, справа, у окна, стол письменный, в глубине — круглый, буфет, в котором жило печенье «Альберт» и «Мария» и еще какао в жестянке с голландской девочкой, неразрывно связанное в моей памяти с О. Э. Мандельштамом — но об этом позже...

Когда я бывала в гостях у папы, меня сажали за круглый стол, «угощали» печеньем, и оттого что оно, такое знакомое и невкусное в детской, было «угошеньем», я с удовольствием и даже торжественностью ела его. Здесь как-то на Пасху подарили мне настоящую игрушечную Троице-Сергиеву лавру — целый ящик розовых домиков и церквушек, одноглавых и многоглавых, — до этого у меня были только кубики, и, помнится, я была совершенно потрясена этим игрушечным городком, который можно было видоизменять по своему желанию. Лавра эта была у меня до самого отъезда за границу, когда мама уговорила меня подарить ее маленькому Саше Когану, потому что решила, что Саша — сын Блока (Блок, как говорили, был увлечен женой Петра Семеновича)... Я, очень легко дарившая игрушки, легко подарившая и эту и вообще ничуть не жадная, долго потом жалела свою лавру и вспоминала о ней. К тому же Саша оказался всего-навсего сыном своего законного отца...

По нашей борисоглебской квартире долго еще будет плутать моя память, цепляясь, как шипы валика музыкальной шкатулки, за многое, происходившее в тех комнатах, но с маленькой комнаткой, расположенной рядом с папиной, у меня связано только три ранних воспоминания, о которых и расскажу сейчас, чтобы больше в нее не возвращаться. Мы с моей тетей, папиной сестрой Верой, почему-то сидим на полосатом матрасе нежилой кровати и разговариваем. Вера спрашивает: «Ты меня любишь?» «Ужасно люблю», — отвечаю я. «Ужасно люблю — не говорят, — поправляет меня Вера, — ужасно — значит, очень плохо, а очень плохо — не любят. Надо сказать — очень люблю!» «Ужасно люблю», — упрямо повторяю я. «Очень!» — говорит Вера. «Ужжжасно люблю», — уже со злобой повторяю я. Входит мама. Бросаюсь к ней: «Мариночка, Вера сказала, что ужасно любить нельзя, что ужасно люблю — не говорят, что можно только — очень люблю!» Мама берет меня на руки. «Можно, Алечка, ужасно любить — лучше и больше, чем просто любить или любить очень!» — говорит мама и раздувает ноздри — значит, сердится на Веру.

Почему я так запомнила этот полосатый матрас? Потому что однажды нашла на нем настоящую конфетку! Никого, кроме меня и матраса, в тот миг в комнате не было, значит, в чуде повинен матрас, значит, на каждом матрасе бывают конфеты! И не раз я, к удивлению няни, перекапывала свою постельку в детской и сердилась, ничего не найдя! Найденная конфета была моей тайной, о ней я даже маме не сказала и, может быть, именно поэтому другой конфеты никогда не находила.

Третье воспоминание — за столом в маленькой комнатке сидит молоденькая, румяная, приветливая женщина, которую зовут «домашней портнихой». На ручной машинке она подрубаает простыни и рассказывает маме, как она, девочкой, заснула и не могла проснуться, слышала, как приходил доктор и сказал, что она умерла, чувствовала, как ее положили в гроб, слышала и плач матери, и заупокойную службу, а проснуться все не могла. «Летаргический сон! — говорит мама. — Ведь вас же могли заживо похоронить!» Я цепенею от ужаса: похоронить — значит, закопать в землю! Закопать в землю живую спящую домашнюю портниху! «А что было дальше?» — с трепетом спрашиваю я. Мама вспоминает обо мне: «Эта сказка не для тебя!» — и уводит меня из комнаты. «Мариночка, ее заживо похоронили?» — «Да нет же, она проснулась и, видишь, сидит и шьет...» — «Мариночка, а куда гроб девали?» «Не знаю, — говорит мама. — Наверное, подарили кому-нибудь». Я успокаиваюсь. Что такое гроб и похороны, я хорошо знаю, одна из моих недолго у нас заживавшихся нянь, та самая, у которой «сын на позиции», из-за чего она почему-то иногда плачет, часто тайком вместо прогулки водит меня в церковь на похороны и заставляет прикладываться к чужим покойникам. Это, в общем, интереснее прогулки, так как Собачья площадка всегда одна и та же, а покойники — разные. К тому же они для меня нечто вроде церковной утвари, такая же непонятная и, видимо, необходимая

для церкви принадлежности! Мне всегда очень хочется рассказать об этом маме, поделиться удовольствием, но детская память коротка, на обратном пути я все забываю. Тот единственный раз, что не забыла, оказался для няни роковым — мама немедленно рассталась с ней...

Сколько комнат было в нашей квартире — столько и миров, и разделявшие их границы легко и по собственной воле перешагивали только взрослые. От меня эти миры были ограждены многочисленными «нельзя», и первым из этих запретов был запрет вторгаться в жизнь старших. Но даже тогда, когда меня в нее допускали, «нельзя» продолжали преследовать меня — и только меня одну. Бывали дни, когда меня сажали за общий стол: взрослые — а их немало собралось за нашим круглым столом — разговаривали, спорили, смеялись — движения их были свободны и голоса громки; на тарелках взрослых была какая-то другая, особенная еда. Они чокались красивым вином в красивых бокалах. А я должна была есть ненавистный шпинат или гречневую кашу, голубую от молока, причем есть, «помогая себе корочкой», а не пальцами. Мне нельзя было «перебивать старших» и вмешиваться в их разговор, болтать ногами или опускать руку под стол, чтобы погладить дежурившего там пуделя Джека, а участие мое в застольной беседе обычно сводилось к словам «спасибо» и «пожалуйста». Такое положение вещей ничуть меня не тяготило, и несмотря на то, что в детской я обретала полную свободу грубить няне, бегать, вопить и озорничать, свобода эта меня не привлекала: слишком пленительна была жизнь взрослых, и чтобы прикоснуться к ней, я готова была вся, целиком, с головой, влезть в китайскую туфельку «хорошего поведения».

«Хорошим поведением» ведала мама, и нельзя было даже помышлять о том, чтобы девочка, которая себя плохо вела, осмелилась проникнуть в ее комнату.

Мамина комната была праздником моего детства, и этот праздник нужно было заслужить. Он начинался, как только я переступала порог: для меня заводилась музыкальная шкатулка, мне давали покрутить ручку шарманки, мне позволяли поиграть с черепашиным панцирем, поваляться на волчьей шкуре и заглянуть в стереоскоп. Папа брал меня на колени и рассказывал такие сказки, каких никто больше не знал. Особенно я любила сказку про разбойников, но ее почему-то папа никогда не рассказывал в мамином присутствии. Сказка была такая: «Вот как-то раз девочка Аля осталась дома совсем одна... Папа ушел, и мама ушла, и няня ушла, и Джек ушел... Узнали про это разбойники. Вот вошли разбойники в дом. Вот они идут по лестнице. Вот они открыли дверь — смотрят: а где тут девочка Аля? Вот они вошли в переднюю — пошли сперва на кухню, а из кухни в ванную, а в руках у них ножи... («Булатные?» — дрожа, спрашиваю я. «Булатные», — эпическим тоном подтверждает папа.) Ищут они девочку Алю... Вот они вошли в папину комнату... Смотрят под диваном — нет девочки Али! Смотрят в буфете — нет девочки Али! Смотрят в шкафу — нет девочки Али! Тогда выходят они из папиной комнаты... («Нет! Нет! — в ужасе кричу я, так как мне необходимо во что бы то ни стало подольше задержать разбойников на верхнем этаже. — Еще не выходят! Они еще под роялем не смотрели!») Смотрят под роялем — нет там девочки Али! Тогда они идут в столовую... («Нет, нет, не в столовую! Они еще в уборной не были!») Ах да, — невозмутимо продолжает папа. — Смотрят они в уборной — нет там девочки Али...»

Мучительное путешествие разбойников продолжалось долго. С каждым шагом неотвратно приближались они к детской, где пряталась девочка Аля. Напряжение и страх все нарастали — но папу это ничуть не волновало. Он не боялся: его-то ведь дома не было и не его искали разбойники!.. «Вот они идут по коридору... все ближе... ближе... вот разбойник берет за ручку двери... вот — он — открывает дверь...» Не выдержав, я визжу, и папа, сам почему-то оглядываясь на дверь, успокоительной, бодрой скороговоркой подводит сказку к счастливому, хоть и кровопролитному концу: «Но в это время как раз вернулся домой папа... («И убил всех разбойников!» — в восторге завершаю я.) И убил всех разбойников», — подтверждает он. Какое счастье, какое освобождение! Я — спасена!

За исключением этой все папины сказки были добрые и уютные. И сам папа был такой добрый и такой «лучше всех», что я решила выйти замуж только за него, когда вырасту.

На одной из полок с мамиными сокровищами лежали три бабушкины детские книги — очевидно, самые любимые ею или по каким-то иным признакам самые ценные, так как мама их хранила у себя, отдельно от тех, которые находились в книжном шкафу, стоящем в детской. Это были «Сказки Перро» и «Священная история» с иллюстрациями Гюстава Дорэ и однотомник Гоголя, все три большого формата и в тяжелых переплетах. Еще не умея читать — я уже умела — на всю жизнь! — обращаться с книгами, ибо «нельзя» маминого воспитания в первую очередь отно-

силось к ним. Нельзя было братья к книгу, не вымыв предварительно руки, нельзя было перелистывать страницы, берясь за нижний угол — только за верхний правый! — и уж конечно нельзя было слюнявить пальцы, и заворачивать углы, и — самое для меня трудное — ни в коем случае ничего не добавлять к иллюстрациям!

Сказки Перро, упрощая их, рассказывала мне мама, а показывал Дорэ. До сих пор вижу, как бредет Мальчик-с-пальчик в темном лесу среди деревьев с неохватными стволами и кудрявыми вершинами, вижу спящих, с коронами на голове дочерей Людоеда, пир в замке принца Хохлика, куда-то далеко едущую при свете месяца красавицу Ослиную Кожу.

Впрочем, рассказывали не только мне, рассказывать должна была и я сама — уметь передать своими словами услышанную сказку или объяснить то, что было изображено на картинках. Очень привлекали меня иллюстрации к Гоголю — по несколько подробных, мелких картинок на одной странице. О смысле и содержании их я должна была догадываться сама — Гоголя мне еще не рассказывали, он был недоступен моим трем-четырем годам. «А это что? А это кто? А что он делает?» — спрашивает мама, а же, подыскивая сходство с чем-нибудь уже мне знакомым, отвечаю. Так, картинке, на которой были изображены Хома Брут, читающий над панночкой, сама панночка, бесы и летающая над ними крышка гроба, я дала следующее прозаическое толкование: «А это барышня просит у кухарки жареных обезьян». (Барышня — панночка, кухарка — Хома, крышка гроба — плита, бесы — жареные обезьяны.)

Один раз елку устроили в маминой комнате, и тогда, именно в тот раз, я впервые почувствовала, что радость где-то граничит с печалью; так хорошо, что почти грустно — почему? Та елочка была не такая уж большая — хоть и до потолка, но стояла не на полу, а на низеньком столике, покрытом голубым с серебряными звездами покрывалом; на серебряные звезды тихо капал разноцветный воск. Над каждой витой свечой дрожало и чуть колебалось золотое сердечко огня. И вся елка в сиянии своем казалась увеличенным язычком пламени невидимой свечи. Запах хвой и мандариновой шкурки; тепло, свет, множась и отражающийся в глазах взрослых. Было много глаз в тот сочельник, много гостей, но из глаз мне запомнились все те же самые любимые — ярко-зеленые мамины, огромные серые папины; а из гостей помню одну Пра и из всех подарков — привезенную ею из Крыма самодельную шкатулочку из мелких ракушек.

То была не первая елка, оставшаяся в памяти. Первая была... первая еще не граничила с грустью! Дверь в детскую, куда меня в тот день не пускали, вдруг открылась, и предо мною предстала огромная пирамида блеска, света, сверкающих мелочей, связанных в единое целое переливающимся серебром нитей и гирлянд. «Что это?» — спросила я. «Елка!» — сказала Марина. «Где елка?» — спросила я, за всем этим блеском не разглядев дерева. И так и окаменела на пороге. Мама за руку подвела меня к елке, сняла с нее шоколадный шар в станиоловой обертке и подала мне — но елка от этого не стала мне ближе, и шоколаду не хотелось. Я была ошеломлена и даже подавлена. «Пойди к гостям, поздоровайся», — сказала мама, и только тут, осмотревшись, я увидела, что вдоль стен на стульях сидели гости — много, и все взрослые, и все знакомые. Я покорно пошла здороваться с каждым за ручку и каждого угощала своей шоколадкой, и все почему-то смеялись, глядя на меня.

Все это было непонятно, и я не могла сбросить с себя оцепенения, вызванного непривычным. И вдруг все изменилось, чудо стало реальностью, обрело смысл, получив свое подтверждение в еще одном чуде. Дверь открылась, и в нее со словами «опоздал, опоздал!» вошел веселый, необычайно милый старик с длинной седой бородой. Папа и мама поспешили к нему навстречу, поспешила, вдруг расколдованная, и я. Старик взял меня на руки, весело расцеловал, борода у него была мягкая, от нее еще веяло уличным холодом. «Здравствуй, здравствуй. — сказал он мне, — а ты меня помнишь?» «Помню, — твердо сказала я. — Вы — дед Мороз!» И опять все засмеялись, а громче всех — «Дед».

Это был пришедший к нам в гости старый друг нашей семьи, друг еще бабушки моей Елизаветы Петровны Дурново³ — П. А. Кропоткин.

Что было на следующий день? Что бывает на следующий после праздника день? Не помню, стоит в памяти одинокая елка — без вчере и без завтра, и держит меня на руках веселый дед Мороз, и стоят возле нас и смеются веселые, счастливые папа и мама, Сережа и Марина... И всё.

Сидим в столовой, обедаем за круглым нашим столом, собственно, только начинаем обедать — только что подали суп. Вдруг треск, короткий грохот, за ним

дрезбег, разверзается небо, и на стол, на самую его середину, падает наш черный пудель Джек. Все как по команде вскакивают, а Джек, разбрасывая лапами приборы и куски хлеба, в звоне битой посуды и катящихся по полу салфетных колец спрыгивает со стола и с поджатым хвостом убегает в детскую. За ним тянется след вермишели и бульона. Секунда всеобщего молчания, потом говор, хохот, смятение...

Где-то на чердаке Джек нашел лазейку, через которую выбрался на крышу, и, бега там, угодил в потолочное окно нашей столовой. Рама подалась под его тяжестью, и Джек рухнул прямо на стол, к счастью, ничего себе не повредив и перебив сравнительно немного посуды.

Мама рассказывала, что я выучилась ходить, держась за хвост Джека — он терпеливо водил меня за собой по всей детской. Джек был угольно-черный, конечно, стриженный по пуделиной моде, умница и добряк. Загубила его все та же крыша — как-то он опять залез на нее, заметили его мальчишки, стали дразнить. Джек бросился на них прямо с крыши и разбился.

Я болею. Я лежу в кровати среди бела дня, и мне не разрешено вставать. Мама привела в детскую рыжего с проседью доктора Ярхо, который еще ее лечил, когда она была маленькая. Это ничуть не мешает мне вопить не своим голосом, когда он выслушивает меня и стучит по спине холодными пальцами. У меня воспаление легких. Это очень хорошо — папа и мама все время играют со мной, меряют мне температуру и рассказывают сказки. Вечером, когда они думают, что я заснула, они ходят. Но я не сплю, это няня спит, я только на минутку закрыла глаза.

Из запечного сумрака вылезает медведь. Он там живет. Он подходит к моей кровати и начинает меня катать лапами, как кушарка — тесто. Я кричу, но напрасно. Няня спит, и в детской все по-прежнему, все вещи на своих местах, горит лампа в углу, няня спит, — а меня катает медведь. Но вот скрипнула дверь, медведь мгновенно скрывается за печкой. «Что ты? Что с тобой? — спрашивает мама. — Что тебе приснилось?»

Какое там приснилось! Я вся в поту и долго не могу из валика, в который меня скатал медведь, опять превратиться в девочку.

Вообще-то я тихий и хорошо воспитанный ребенок, но иногда — кажется, довольно редко — на меня находит злоба и буйство, я что-то требую, о чем-то спорю, топая ногами. «Э,— говорит папа,— да это к тебе каприз пришел! Сейчас мы его выгоним!» Он достает из моего кричащего рта «каприз», такой маленький, что я не могу даже рассмотреть его, разжимает пальцы, дует на них, и каприз улетает под потолок или в открытую форточку. Я успокаиваюсь и рада, что от него избавилась. А мама не всегда помнит, что виноват каприз, и иногда вместо него почему-то наказывает меня — ставит в угол, и тогда каприз еще долго бушует во мне, пока я о нем сама как-то не забуду.

У мамы есть знакомая, Соня Парнок,— она тоже пишет стихи, и мы с мамой иногда ходим к ней в гости. Мама читает стихи Соне, та ей свои, а я сижу на стуле и жду, когда мне покажут обезьянку. Потому что у Сони Парнок есть настоящая живая обезьянка, которая сидит в другой комнате на цепочке. Обезьянка темно-коричневая, почти черная, у нее четыре руки с настоящими ладошками. Личико у нее подвижное, почти человеческое, и в этом «почти» самое привлекательное и страшное. Соня говорит, что обезьянка очень умная,— однажды забыли спрятать ключ от замка, на который запирается цепочка, мартышка схватила его, открыла замок, освободилась от цепочки, поймала кошку, которую ненавидела за то, что та не сидела на привязи, и маникюрными ножницами остригла ей все когти, а потом выкупала ее в помойном ведре. Этими же ножницами обезьянка проколола глаза на всех портретах в комнате — может быть, для того, чтобы они не видели расправы с кошкой? Но почему все это называется «умная обезьяна»?

Я — первый раз в цирке. Нехорошо пахнет и очень много народа. Сижу притихшая и не свожу глаз с лож, ложки висят в воздухе — как люди влезают туда и, главное, как они вылезают? Неужели — прыгают? Ведь нигде никаких лестниц. Боже, как хорошо, что мы сидим совсем в другом месте, а ведь могли попасть и туда, как те несчастные, и как бы мы дальше жили, папа, мама и я? Ведь уйти-то нельзя? Перед моим носом что-то происходит, какие-то лошади бегают, какие-то люди кувьрка-

ются, но все это — на земле, я за них не беспокоюсь; вот те, что в ложах, что с ними будет? Где они будут спать и что есть? Как им помочь? Я пытаюсь посоветоваться с папой и с мамой, но, оказывается, здесь вдобавок и разговаривать нельзя... Только однажды сочувственное мое внимание отвлекается от лож — когда молодые люди в темных тужурках с блестящими пуговицами выводят на арену каких-то зверей. Я сейчас же узнаю и тех и других. «Студенты со львами! — кричу я в восторге. — Студенты на львах катаются!» Львов я очень хорошо знаю по картинкам в книжках, и мне ли не узнать студентов, если и мой папа и его товарищи ходят в таких же тужурках с такими же пуговицами!

«Аля, ешь курицу!» — «Я не могу, Мариночка!» — «Аля, ешь курицу!» — «Мариночка, она противная!» — «Это не она противная, а ты противная. Жуешь, жуешь... глотай сейчас же!» — «Я не могу, Мариночка!» — «Не можешь? Слушай, что я тебе скажу. Если ты сейчас же, вот сию же минуту не проглотишь, у тебя вырастет куриная голова! Слышишь?» — «Слышу, Мариночка!»

Но кто-то отзывает маму, я быстро выплевываю куриную жвачку в кулак и отдаю кошке, которая давно ходит вокруг моего стула и со стуком трется о него головой. Мама возвращается. «Ну что, проглотила?» — «Проглотила, Мариночка! Честное слово!» — «Ну, смотри! А то вырастет куриная голова...»

Я мрачно возвращаюсь в детскую и щупаю свою голову. Кажется, начинается. Ну конечно, уже затылок какой-то не такой. Интересно, какая вырастет, вареная или сырая? Куриная-то голова, в общем, ничего, если дома сидеть. Ведь дома все будут знать, что это я. Может быть, даже любить будут. И вдруг обжигающая стыдом мысль: «А как же, если я поеду на извозчике?!»

На несколько дней в детскую поместили большое зеркало. «Пусть пока постоит у Али», — сказала Марина. Из зеркала на меня смотрит другая девочка, и эта девочка — я сама. Но так не бывает. Когда рядом с той, другой, в зеркале, появляется моя Марина, в этом нет ничего удивительного. Марину я всегда вижу со стороны — снаружи, а я — это я, и чувствую себя изнутри. Чувствовать себя изнутри и в то же время видеть со стороны — нельзя. Словом, я была одна, а потом «меня» стало две, и это раздражает. Где живу другая я? В зеркале жить нельзя, оно гладкое, а для жизни нужен простор, пространство. За зеркалом никого нет. Может быть, между зеркалом и задней его шершавой, неполированной стенкой? Нет, я слишком большая девочка. Что это, что это и зачем? Вторая я не дает мне покоя, притягивает меня. Она угадывает мои намерения, она предвосхищает мои действия. Только собираюсь показать ей язык, а она его высунула. Только собираюсь поразить ее затейливой гримасой, а она уже корчит такую рожу, что мне и не придумать.

И все же тайна разгадана, и помогла в этом Марина. Дело в том, что и она и Сережа всегда и безошибочно узнают, когда я говорю правду и когда неправду. Стоит мне соврать, как Марина смотрит мне в лицо и говорит: «А ведь ты неправду сказала. У тебя на лбу написано». Сережа тоже читает то, что у меня написано на лбу, и мне остается только рассказать, как все произошло на самом деле. Именно это качество моего лба и позволило разоблачить девочку в зеркале. В следующий же раз как меня при помощи все той же надписи признали виновной в очередном вранье, я бросилась к зеркалу. Вторая я уже была там. Пристально, хмурясь, как Марина, я стала рассматривать лицо девочки, лобик ее был совершенно чист, без единой буквы, без единой каракули — просто удивительно чист. Итак, в зеркале была не я, а совсем чужая! У меня-то ведь подписи на лбу — Марина и Сережа только что читали, а у этой — ничего! Не я, не я, не я! Только платье такое же! Убедившись в этом и поторжествовав вокруг зеркала, я успокоилась. Мало ли чужих девочек на свете, и что мне до них! К тому же зеркало вскоре унесли из детской, а вместе с ним и обманщицу с чистым лобиком.

От няnek и только от них вся беда со штанами. Марина всегда знает, когда нужно их на мне расстегнуть. Даже если она разговаривает со взрослыми и совсем забывает обо мне, тихо играющей в уголке, Марина вдруг срывается с места, молниеносно отстегивает на мне три задних петельки от пуговиц лифчика и раздельным шепотом говорит на ухо: «Сейчас же — марш — на горшок!»

С няньками же не так. Няньки совсем не знают, когда мне нужно, а я тем более, потому что заигрываюсь и забываю. Мне часто бывает просто некогда вспомнить о штанах. Особенно на прогулке. Чаще всего это случается на Собачьей площадке, где няня, сунув мне в руки ведро и совочек, спешит к другим няням и кормилицам. Иногда я играю одна, иногда с другими девочками, но так или иначе — всегда увлеченно. Бывает, что вспоминаю о необходимости уединиться только тогда, когда

необходимость эта уже миновала. Но случается, что успеваю добежать до няни и, приплясывая, жду, пока она распутает и расстегнет меня. Няня же не торопится. Она увлечена рассказом великолепной кормилицы в таком ярком наряде и с такими бусами, что каждой «девочке из порядочной семьи» — а я именно такая и есть — хочется поскорее вырасти большой, чтобы тоже стать такой кормилицей. Кормилица говорит о чем-то для няни очень интересном, о взрослом, в рассказе ее то и дело слышно: «а барин», «а барыня». Няня рассеянно блуждает пальцами под моим пальцем и платьем, нащупывая петли и пуговицы, но — уже поздно. Домой я возвращаюсь подавленная предстоящим неизбежным разоблачением и наказанием. «Няня, не говори Марине», — прошу я, чувствуя собственную низость. «А к чему говорить, — равнодушно отвечает няня, щелкая кедровые орешки, которыми ее угостила кормилица, — она и сама узнает».

Когда наконец открывается дверь в нашу квартиру, я уже с порога отчаянно кричу: «Сухаха, сухаха!» «Ах сухаха?!» — отзывается Марина издалека, и голос ее не сулит ничего хорошего. Вот она подходит, вот она стремительно наклоняется надо мной и, не обращая к пламенеющим на моем лбу письменам, всегда зная все заранее, выдает мне надлежащую порцию шлепков. И это еще не все. Потом я сижу в столовой у камина, зимой ли, летом ли, все равно, и держу в руках уже выполосканные и отжатые няней штаны. И каждый, кто проходит мимо, лицемерно-участливым голосом спрашивает: «Это ты, Алечка? А что ты тут делаешь?» «Штаны шушу», — всхлипывая, отвечаю я.

То, что я действительно ребенок из порядочной семьи, совсем недавно все на той же Собачьей площадке и все по тому же поводу подтвердил один господин, судя по его виду, тоже из порядочной семьи. Он сидел на скамейке совсем один, далеко от няnek и детей, и читал «Русские ведомости». На лице у него блестели и пенсне, и седая бородка клинышком. А на ногах были тоже блестящие штилеты — черные штилеты с резиночками и с ушками. Я очень хорошо разглядела их, потому что, ища уединения, нашла его у самых ног господина и с интересом наблюдала, как мой ручеек подбирается к его штилетам. Заметил ручеек и господин. Он вскочил, с треском сложил газету, прошипел «а еще ребенок из порядочной семьи» и удалился. Спина у него была прямая и почему-то негодующая.

Марина подарила мне чашку с Наполеоном, чтобы мне было интереснее пить молоко. Из обыкновенной чашки оно очень плохо пьется. Эта чашка — вся золотая внутри, и чем больше выпиваешь молока, тем больше появляется золота. Снаружи она ярко-синяя, а Наполеон нарисован в белом кружочке — у него прямой нос, черные волосы, он смотрит вдаль. Он герой, он полководец, он император. И фокусничать, когда пьешь из такой чашки, стыдно.

Няня поставила Наполеона на печку, чтобы немного подогреть молоко. Она так делала каждый день, и молоко и чашка обычно чуть теплые. А на этот раз Наполеон перегрелся, я обожглась, выпустила чашку из рук, и она разбилась на мелкие осколки.

В ужасе и горе, заливаясь слезами, я кинулась к Марине: «Мариночка, я разбила Наполеона! Мариночка, я разбила Наполеона!» Марина не рассердилась, она взяла меня на руки, утешала, говорила, что я не виновата. «Виновата! — кричала я, не унимаясь. — Виновата! Я разбила Наполеона!»

Тогда Марина достала из шкафчика другую ярко-синюю снаружи и золотую внутри чашку. На ней в белом кружочке была нарисована красивая женщина с голыми руками и плечами, на которые спускались завитки черных волос. «Видишь, это императрица Жозефина, жена Наполеона. Он ее очень любил. И я тебе подарю эту чашку — взамен той — когда ты немножко подрастешь!» Но мне становится еще более жалко разбитого Наполеона. Оказывается, у него была жена! жена-императрица! которой я разбила мужа...

Сереза может очень хорошо нарисовать все, что захочешь, все, что ни попросишь. Особенно ему удаются львы. Про львов он рассказывает сказки, самые мои любимые, и тут же рисует их на бумаге. Еще он умеет «показывать льва» — делает лицо, как у настоящего льва, и этого папу-льва я люблю еще больше, чем просто папу. Марина же умеет «показывать рысь». У меня же ничего не получается. Когда я тоже хочу показать льва и рысь, мне говорят «не гримасничай». Папа и мама иногда называют друг друга шутя «лев» и «рысь».

Когда мы с Мариной ходим гулять, то всегда подаем нищим. Нищих очень много — это старые, сгорбленные, бедные, больные люди. Некоторые говорят

«подайте Христа ради», другие молчат, но мы подаем всем. Обычно нищие сидят на скамейке или прямо на земле и держат перед собой шапку, в которую надо класть копейки. У некоторых нищих бывает очень много копеек в шапке, эти, видно, богатые, а есть и такие, у которых шапка совсем пустая. Марина очень близорука, и поэтому я всегда показываю ей: «Мариночка, вон нищий сидит!» Марина дает мне монетку, и я бегу опустить ее в шапку нищего. Вот и на этот раз — Марина еще ничего не видит, а я уже обнаружила нищего, сидящего на лавочке с фуражкой в руках. Бегу к нему с зажатой в кулаке копеечкой, опускаю ее в фуражку — этот нищий очень бедный, на дне его фуражки ни грошика. Зато одет он очень красиво, штаны у него с лампасами и фуражка с околышем. И борода у него красивая, расчесанная на две стороны. Но зато он неблагодарный и невежливый — вместо того чтобы сказать «спаси тебя Господь, деточка», он вскакивает и начинает так кричать на меня и на подошедшую Марину, что мы обе пугаемся. Марина достает лорнет и смотрит на нищего, а тот топает ногами, обутыми в блестящие штиблеты, и выкрикивает глупые слова: «Издевательство! Насмешка!» Марина складывает лорнет, хватая меня за руку, и мы убегаем за угол. «Он сумасшедший, Мариночка?» — спрашиваю я в испуге. «Это ты сумасшедшая, — отвечает Марина, сердясь и смеясь. — Подать копейку генералу! Генералу, сидящему на собственной лавочке возле собственного особняка! Как ты могла принять его за нищего?» «Но ведь он старик, Мариночка!» Раз старик — значит, нищий. Разве непонятно?

Я никак не могу научиться, во-первых, спускаться с лестницы, как взрослые, мне непременно нужно ставить обе ноги на каждую ступеньку, и, во-вторых, отличать правую руку от левой, правую сторону от левой. В правой и левой сторонах нет ничего достоверного, ничего раз и навсегда, к чему можно было бы привыкнуть.

Такие прочные и незыблемые вещи, как, скажем, церкви и дома, по непонятным для меня причинам оказываются то справа, то слева, не сходя притом с места. Стоит мне, маленькой девочке, повернуться, как весь мир перемещается, здания и деревья, собаки и люди словно перебегают за моей спиной с одного тротуара на другой. Марина говорит, что все очень просто, что правая сторона всегда там, где моя правая рука. Но которая же из рук — правая? Та, которой я крещусь. Крещусь я одинаково и той и другой. По одной из них иногда шлепают, говоря, что это не та, но я забываю, по которой. Обе руки у меня совсем одинаковые, обе умеют держать и ложку, и карандаш. Ноги у меня тоже одинаковые, но башмаки для них — разные. Когда я обуваюсь сама, мне говорят «не на ту ногу». Я переобуваюсь, и опять оказывается «не на ту ногу». Какая же нога — та? Какая же рука — та? Какая сторона — та?

Пока я ничего не знала про правое и левое, все было хорошо и ясно. Теперь все перепуталось и усложнилось, и в этой путанице не на что опереться, чтобы не ошибаться. Вот пришел гость — чаще всего это Володечка Алексеев, который всегда мне приносит подарки. Он, здороваясь, протягивает мне руку. Ага, вот, значит, с какой стороны у него правая рука! С этой же стороны должна быть и моя. Протягиваю свою — и конечно моя оказывается левой. Но почему же, почему? Марина, потеряв надежду объяснить мне, в чем тут дело, говорит папе: «Вот увидите, Сереженька, она так же, как и я, будет абсолютной неспособна к точным наукам!»

Наши с Мариной прогулки в храм Христа Спасителя всегда для меня отравлены лестницей. Подниматься по ней легко и весело, но ведь я заранее знаю, что с этих же ступенек придется спускаться, а я не умею спускаться с лестницы, как все люди, как все дети, и Марина будет опять учить меня и сердиться. Так оно и есть. Уже позади огромные, гулкие, торжественные, раззолоченные глубины и высоты храма, такого большого, что внутри его стоит часовня, большая, как целая церковь. Уже позади стоящие вблизи от алтаря, обитые красным бархатом кресла, отгороженные от людей золотым шнуром. Это царские кресла, на них сам царь сидит, на любом, на котором только захочет, во время службы.

Все приятное и красивое позади — впереди же бесконечная, вниз уходящая серая лестница, по которой я должна спускаться, как все люди.

¹ В последних строках стихотворения М. Цветаевой «Писала я на аспидной доске...» (1920) говорится о выгравированном на внутренней стороне обручального кольца имени мужа: «Не проданное мной! внутри кольца! / Ты — уцелеешь на скрижалях».

² Художница Магда Максимилиановна Нахман в 1913 г. написала портрет не только С. Я. Эфрона, но и М. И. Цветаевой.

³ Дурново-Эфрон Е. П. (1855—1910) — мать С. Я. Эфрона. О роли П. А. Кропоткина в ее жизни А. С. пишет в «Страницах воспоминаний» (глава «Ее муж, его семья»).

<Таруса*>

Вспоминаю, как мама, бесконечно читая и перечитывая одну из своих любимых книг, «Детские годы Багрова-внука», восхищалась образом матери Аксакова и говорила, что она напоминает ей ее собственную мать.

Женщина с сильным и своеобразным характером, не нашедшая применения своим духовным силам ни в семье, ни в хозяйстве, Мария Александровна не могла ни дать счастья другим, ни быть счастливой. Мужа она уважала, но и только, большой любви, которая была бы ей по плечу, она в своей жизни не встретила.

Музыка в ее жизни была только для себя, ведь в то время не было принято, чтобы семейная женщина, мать четверых детей, выступала с публичными концертами. Муж музыки не понимал, да и был поглощен своим любимым делом; дети, с младенчества перекормленные музыкой, хоть и были в меру музыкальны, но этой материнской страсти не унаследовали...

Мария Александровна мечтала создать детей абсолютно по своему образу и подобию — это не удалось, а большого внутреннего сходства своего, скажем, с той же Мариной она не уловила, ибо это было сходством более тонким, нежели то абсолютное тождество, которого она требовала и желала.

Между прочим, в какой-то мере так же было и с моей мамой, Мариной. В детские годы она властно лепила меня по-своему, создавала меня как-то наперекор моей сущности, и когда я, подрастая, становилась самой собой, а не точным ее повторением, была горько во мне разочарована. Впрочем, все это было в гораздо меньшей степени между моей матерью и мной, чем между нею самой и ее матерью. Интересно, что это родство душ, это внутреннее сходство между матерью и дочерью понимала именно не Мария Александровна, а сама Марина, понимала и чувяла это с самого детства, и любила она свою мать именно как человек одной с ней породы. Причем любовь эта возрастала, и углублялась, и осознавалась моей мамой все больше по мере ее собственного душевного роста. О матери своей она писала, сравнившись с ней в возрасте и превзойдя ее в понимании — и матери, и самой себя.

Таруса <1956?>

II

ПИСЬМА. 1956—1975

1. И. Г. Эренбургу¹

28 августа 1955

Дорогой друг Илья Григорьевич! Нежно и бережно передаю Вам эти письма², сбереженные мамой через всю жизнь — и всю смерть! Сами подлинники хранятся где-то там — где? она не успела сказать мне, а я тогда не успела спросить толком, как всегда думая, что все — впереди. Я не могу отдать Вам их, переписанные ее рукой, т. к. в той тетрадке³ еще несколько писем не Ваших — очень немногих и не очень верных друзей.

И вот возвращается в Ваши руки кусочек той жизни и той дружбы, то бывшее в движении и теперь окаменевшее — не знаю, то ли я говорю, но у меня такое чувство, что уцелевшее письмо — та же Самофракийская победа, сохранившая в складках своей одежды то стремление и тот ветер — и во всей каменности своей и сохранности такая же беззащитная, как эти письма на бумаге.

Почему все прошлое, сбывшееся — все равно беззащитно перед будущим?

Отчего-то в моей памяти весь тот Берлин⁴ пропах апельсинами, и всю жизнь этот грустный запах воскрешает все то не грустное, всех вас, молодых и сильных творчеством, — и через все войны — весь строгий город, залитый солнцем.

И еще: с тех пор я Вас всю жизнь помню поэтом — не писателем, не публицистом и не несомненным борцом за гадательный мир — только поэтом!

Спасибо Вам большое за то, что так отозвались на мою просьбу, — сейчас иду к Вам за машинкой, а в субботу буду Вам звонить.

Целую Вас и Любу⁵!

Ваша Аля

Архив И. И. Эренбурга.

¹ Знакомство М. Цветаевой с И. Эренбургом (1891—1967) завязалось в 1917 г., тесное общение и переписка относятся к 1921—1922 гг.

* Тетрадь с карандашной надписью А. С. «Таруса» находится в РГАЛИ, ф. 1190 (М. И. Цветаевой).

² У нас нет сведений о том, какие именно письма И. Эренбурга Цветаевой были пересланы ему А. С. В печати известны три его письма 1922 г., опубликованные Б. Сарновым в журнале «Вопросы литературы» (1973, № 9).

³ Тетрадь находится в РГАЛИ, в той части фонда М. Цветаевой, которая закрыта по воле дочери поэта до 2000 года.

⁴ М. Цветаева с дочерью приехали в Берлин 15 мая 1922 г. и поселились в пансионе на Прагерплац, в комнате, которую им уступил И. Эренбург.

⁵ Эренбург-Козинцева Любовь Михайловна (1890—1971) — жена И. Г. Эренбурга, художница.

2. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич¹

1 августа 1956

Дорогие мои, пишу вам вечером, уже лежа, поэтому заранее извиняюсь (т. е. прошу извинения) за то, что коряво получится. Все очень хорошо — занятный старый дом (3 комнаты, из к-ых 1 очень большая, кухня, обитаемый чердак, 2 террасы), великолепный запущенный сад, густо заросший розами, флоксами, лилиями, настурциями, причем среди «культурных» цветов на равных правах растут и полевые, <...> из деревьев липы, дубы, березы, ивы, орешник. Заросли сирени и жасмина, уже отцветших, и в самом саду и овраги, и лужайки, и все это над своевольно и вместе с тем мягко вьющейся и льющейся Окой. Чудесные виды — холмы и долины, поля и пойменные дуга, еще не выкошенные, по обилию и разнообразию цветов и красок напоминающие альпийские дуга моего детства (вернее — отрочества). Постепенно входит в меня вся эта красота, постепенно и тихо проникаюсь сознанием, что она, красота эта, выросла, вскормила и вспоила маму и что крепче, чем все Италии и Франции, вошла в ее творчество именно эта, русская, тарусская, сила и прелесть. Вот она, ее бузина, и вот они, ее деревья, и облака, и ее глаза, зеленые и ясные, как отражение ив в серебряной Оке.

Жила маленькая мама² совсем неподалеку от теперешнего домика В. И.³ и ходила по воскресеньям в церковку, где теперь пекарня.

Городок маленький и разлтый, провинциальный до умиления и весь не только «до», но и совершенно «вне» революционный. Большая-пребольшая мощенная розовыми булыжниками площадь, окруженная двухэтажными купеческими домиками с каменным фундаментом и деревянным верхом, лабазами и «домами с мезонином». В окнах необычайно цветут белые «невесты» и домовитая герань. Собор, в котором служил дядя И. В. Цветаева, Добротворский, хоть и превращен в клуб, но все равно упорствует, и сквозь все наслоения облупленных стен проглядывают неувыдаемые богородицы и чудотворцы. Уцелел и двухэтажный деревянный домик Добротворских⁴ и серебряное от старости жильё хлыстовок⁵. Людей везде немного; это так успокаивает после московских полчищ и столпотворений. В самом дедушкином имении, где теперь дом отдыха, еще не была, пойду туда с В. И., к-ая обещает все показать и рассказать. <...>

Ваша Аля

РГАЛИ, ф. 2962 (Е. Я. Эфрон).

¹ Эфрон Елизавета Яковлевна (1885—1976) — сестра отца А. С.; Ширкевич Зинаида Митрофановна (1895—1977) — ее многолетний друг.

² Цветаевы снимали дачу под Тарусой с 1892 по 1910 г.

³ В. И. — Валерия Ивановна Цветаева (1882—1966), сводная сестра М. И. Цветаевой, от брака ее отца с В. Д. Иловайской.

⁴ Дом Ивана Зиновьевича Добротворского, служившего земским и городским врачом в Тарусе, и его жены Елены Александровны, урожденной Цветаевой.

⁵ См. о «хлыстовском гнезде» в автобиографической прозе М. Цветаевой «Хлыстовки. Кусочек моего раннего детства в гор-«оде» Тарусе». Впервые опубликовано в журнале «Встречи» (Париж, 1934, № 6), в СССР — под названием «Кирилловны», в альманахе «Тарусские страницы» (Калуга, 1961).

3. И. Г. Эренбургу

2 сентября 1956

Дорогой Илья Григорьевич! Очень большое спасибо Вам за Валерию Ивановну — Ваше письмо в Тарусский горсовет помогло, она получила от них бумажку, в которой говорится, что они не посягают на ее владения — и слава Богу. Уж очень хороши там цветы и хорош простор и покой, в котором старятся эти странные и милые люди — он¹ над составлением латинского словаря, она над разведением парковых роз и какой-то французской ремонтантной малины. Спасибо Вам за то, что Вы

помогли им сохранить все эти богатства. Валерия Ивановна — дочь моего деда от первого брака, и через всю жизнь она пронесла — и с юной силой и непосредственностью — ненависть к мачехе (матери моей мамы) и желание не походить на сестер от второго брака. Так, она абсолютно не понимает стихов и считает, что мама моя всю жизнь занималась ерундой, в то время как могла бы делать что-нибудь полезное. Свое отличие от Цветаевых она подчеркивает, скажем, тем, что «держит» козу, на что, конечно, никто из наших не был бы способен. Коза отвратительная, бодучая, молока с нее, как с козла, и все с ней *aux petits soins**, но зато она — живая реальность, скотина, ничего общего не имеющая с поэзией и прочими цветаевскими фантазиями. <...>

Мамина книга тихо продвигается по гослитовским дорожкам, оформление уже готово, видимо, скоро сдадут в печать². 31-го августа было 15 лет со дня маминой смерти. Этот день, верно, помним только мы с Асей (кстати, она переехала в г. Салават, к сыну Андрею, к-ый недавно освобождился). В альманахе московских поэтов³, к-ый должен выйти в сентябре, тоже будут мамины стихи <...>.

Целую Вас и Л. М.

Ваша Аля

Архив И. И. Эренбург.

¹ Муж В. И. Цветаевой Сергей Иасонович Шевлягин (1882—1965), преподаватель латыни.

² Книга была доведена до стадии верстки. Однако после публикации во втором сборнике «Литературной Москвы» (М. 1956) подборки стихотворений М. Цветаевой с предисловием И. Эренбурга в прессе появился ряд статей, объявлявших поэзию Цветаевой чуждой советскому читателю. «Крокодил» (1957, № 5) поместил посвященный этой публикации пасквиль И. Рыбова «Про смертяшкиных». Письмо в защиту Цветаевой от этой позорной попытки загрязнить ее имя, направленное в «Литературную газету» С. Маршаком, К. Чуковским, М. Исаковским, А. Твардовским и другими крупными писателями, не было опубликовано. Книга Цветаевой была направлена на повторное рецензирование, и работа над ней была прекращена.

³ «День поэзии 1956».

4. В. Ф. Пановой

22 октября 1956

Дорогая Вера Федоровна! Разве это недоразумения? да еще и «многочисленные!» Единственное, малюсенькое, это то, что я решила, что Вы доверили свое письмо ко мне какому-то равнодушному товарищу, который и носит, и носит его в кармане, вместо того чтобы опустить его в ящик, — но все очень скоро выяснилось! А вот то, что не удалось встретиться с Давидом Яковлевичем¹, — очень и очень жаль. Будем надеяться, что у нас всех все еще впереди, в том числе и встречи.

Кстати, о письме и ящике.

Когда я была молода и действительно все было впереди (в том числе и все репрессии и катастрофы!), ехала я как-то в поезде в Одессу², и все писала письма мужу, и на каждой станции отправляла их. А тут — полустанок и до привокзальной почты — полкилометра рысю. Не рискую, только озираюсь из окна с конвертом в руках. Вижу — мальчик стоит, так лет семи, хороший ребенок вполне дореформенного вида — белобрысенький, в ситцевой рубашонке навывпуск и в бёмовских³ порточках, босой. Я говорю: «Мальчик, а мальчик!» Он подходит, от смущенья не торопясь и потупившись. Сую ему письмо, а плюс к письму еще рупь за беспокойство, и говорю: «Будь добренький, брось его в ящик!» Он берет конверт, поезд трогается, мальчик вдруг оживает и кричит вслед вагону: «Тетенька, а тетенька, а в какой ящик?» Мой ответ теряется, как и я сама, в грохоте и в скорости.

Письмо так и не дошло. Честный ребенок явно бросил его в мусорный ящик, вполне оправдав мои расходы «за беспокойство».

С тех пор мальчик вырос. Вот я и думала — не ему ли, выросшему, Вы доверили то свое письмо?

Когда я жила в Туруханске и работала в качестве клубного художника, среди прочего приходилось делать фотомонтажи. Фотографий и иллюстрированных журналов было так мало, что картинки приходилось переклеивать с одного монтажа на другой. И так немало лет кочевали Вы у меня с монтажа «Лауреаты Сталинских премий»⁴ на монтаж о дне 8 Марта, а оттуда — на «день Конституции» (все права предоставлены трудящимся, в том числе и право книжки писать), и на «день окончания войны» («Спутники»), и т. д., и т. д. Особенно запомнилась мне выставка, организованная районной библиотекой на тему: «Наши любимые советские авторы». Вы, взятая у меня напрокат библиотекарейшей, оказались в компании лежащего под

* И все с ней носятся (франц.).

дубом Льва Толстого, Короленко и почему-то Ким Ир Сена, не считая других звезд меньшей величины. Библиотека была не ахти, но тем не менее благодаря полнейшей политической невинности ее работников это была, пожалуй, единственная в те годы открытая публичная библиотека в нашей стране, где можно было читать Киришона, Мальро, Жида и других. А портрет Ваш был огоньковский, в полосатом ярком платице, и я его помню, пожалуй, еще лучше, чем Вы сами.

Забавно все это и далеко — восемь тысяч километров отсюда, Приполярье, 60 километров от Полярного круга. Кстати, одна из библиотечарш была внучатой племянницей ссыльного Джугашвили.

Напишите мне, когда у Вас там прояснится с альманахом. Не прояснится — тоже напишите!

Всего Вам самого хорошего!

Ваша А. Эфрон

РГАЛИ, ф. 2223 (В. Ф. Пановой).

¹ Рывкин (Дар) Д. Я. (1910—1979?) — писатель, муж В. Ф. Пановой.

² В 1938 г. А. С. приезжала в санаторий под Одессой (Аркадия), где лечился ее отец.

³ Бём Елизавета Меркурьевна (1843—1913) — художница. Альбомы и открытки ее работы, изображавшие детей в русских костюмах, пользовались большой популярностью.

⁴ В. Ф. Панова получила Сталинскую премию в 1946 г. за повесть «Спутники».

5. А. А. Ахматовой

29 мая 1959

Дорогая Анна Андреевна! Большое, большое спасибо за книгу, которая только вчера дошла до меня. Это ничего, что обломки¹, — Венера Милосская и та без рук; вся история — осколки; все прекрасное, прежде бывшее, дошло до нас в виде черепков — и все равно встало во весь рост, стоит и стоять будет. Так и эта книжечка, как и любая поэта, — лишь скорлупки яйца, давно уже не вмещающего размаха крыльев птицы.

Теперь у меня две Ваших книжечки, одна ранняя, подаренная мне маленькой², и вот эта, и между ними — целая жизнь, которую прожить — не поле перейти.

Получила на днях письмо от одного давнего знакомого из Чехословакии, а там, т. е. в письме: «Петр Николаевич (Савицкий³) получил томик стихов Анны Андреевны с дарственной надписью: „Человек я не завистливый и к земным благам равнодушный, а тут позавидовал...“». Я ему пошлю Вашу книгу, п. ч. у меня есть один экземпляр, к-рый я выменяла на двух Стивенсонов, одного Шейнина и «Женщину в белом» Коллинза. Пусть завидуют «только» дарственной надписи.

Вообще же не встретила ни одного человека, который книгу бы просто купил. Каждый или выменял, или отнял, или украл, одним словом, «достал».

Некоторое время тому назад мы наконец познакомились с женой О. Э.⁴, и все получилось совсем неожиданно: четыре часа ехали вместе в машине и тихо, вежливо и ядовито ругались всю дорогу. «Не сошлись характерами» буквально с первого взгляда, как обычно влюбляются. Она сидела — шерсть дыбом — в одном углу, со своим Мандельштамом, а я в другом — тоже шерсть дыбом, со своей Цветаевой, и обе шипели и плевались. Мне кажется, что Вам бы понравилось, но вместе с тем боюсь, что нет. А в общем — все суета сует.

У Б. Л.⁵ все как-то утихло; слава Богу. Получил какие-то деньги за переводы и что-то будет переводить. Чувствует себя и выглядит, тьфу-тьфу, не сглазить, хорошо. Пишет письма и стихи.

Целую Вас и еще раз благодарю. Главное, будьте здоровы в эту холодную весну.

Ваша АЭ

ОР РНБ (Санкт-Петербург), бывш. ГПБ, ф. 1073 (А. А. Ахматовой).

¹ А. Ахматова прислала А. Эфрон свою первую после постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» книжечку — «Анна Ахматова. Стихотворения» (М. 1958) с дарственной надписью: «Ариадне Сергеевне Эфрон не без смущения эти обломки Ахматова 4 янв. 1959 Ленинград».

² Весной 1921 г. А. Ахматова подарила Але свою книгу «Подорожник».

³ Савицкий Петр Николаевич (1895—1968) — географ, один из руководителей евразийского движения.

⁴ Речь идет о Надежде Яковлевне Мандельштам, вдове поэта (1901—1980).

⁵ Б. Л. — Борис Леонидович Пастернак.

6. И. Г. Эренбург

6 марта 1960

Дорогой Илья Григорьевич! <...> На днях буду в Москве, пойду узнавать, в план какого столетия включена — если включена — книга. Здание издательства у меня на втором месте, после Лубянки. Коридоры, лестницы, запах бумаги, расправ, клозетов. Навстречу и с тыла — «сотрудники». Конечно, в подобных ассоциациях повинна больше Лубянка, нежели Гослит, с 39 года меня мутит от одного вида самого мирного учреждения столичного, а не сельского типа. И всегда кажется — даже уверена, — что не туда попала, и душа уже с порога втайне вызывает о реабилитации, о, Господи! <...>

Живу я как-то не по-настоящему, все перевожу стихи, которые никто — единственное утешение! — и читать не станет. Сейчас из-под моего пера высквакают, например, вьетнамцы, похорошевшие, как после визита премьера. Но меня, увы, это хорошесть не заставляет. Несмотря на что крепко Вас целую, всегда люблю. Правда! Есть за что.

Ваша Аля

Целую Любовь Михайловну.

Архив И. И. Эренбург.

7. В. Н. Орлову¹

28 марта 1961

Милый Владимир Николаевич, <...> Не огорчайтесь, если не все сказалось так, как сказалось бы, если бы, и т. д.; ибо сейчас сказать «все» означало бы не сказать ничего, да и книжка не вышла бы...

Предисловие к первой Цветаевской книжке — сплошная эквилибристика; впрочем, Вы это знаете лучше, чем я, — писали-то Вы! Так или иначе, я очень рада и что Вы взяли — и сделали, и верю, что все пойдет хорошо. Бесконечно Вам благодарна не столько за Цветаеву, сколько за маму — всю жизнь всеми обижаемую, непрактичную, гордую, одинокую в одаренности, в мужестве, в благородстве. Стихи говорят об этом стихами, а я-то знаю, как это все было в жизни и какова была ж и з н ь.

Всю жизнь мама была окружена людьми, любящими — в кавычках и без — стихи, ее стихи. Но о ней забывали. И после смерти — сколько любителей стихов! сколько разговоров! дискуссий! частных собраний! и все — вокруг до около. А Вы взяли и сделали то, что давно нужно было сделать. Вот потому-то и кажется мне, что я с Вами давно знакома.

Надеюсь, разберетесь во всей этой несурянице и поймете, что я хотела сказать и за что — спасибо.

Конечно, я счастлива была бы составить «Ваш» сборник², если его утвердят и т. п. Это очень нелегкая работа, что касается второй (после России) половины творчества особенно! Множество вариантов, различней, стихи с пропусками в беловых тетрадах — надо отыскивать и устанавливать последние черновые варианты; часть приходится выцарапывать из-за границы — из-за границ разных! Очевидно, параллельно надо бы — если будут настоящие комментарии — извлекать из черновигов и записных книжек мысли и записи о каждом отдельном стихе, чтобы раскрывать и породившее, и осуществление. Многие строфы имеют подтекст, к-ый помню теперь, пожалуй, только я одна и к-ый надо бы закрепитъ, пока не поздно. <...> Очень, очень я хотела бы этим заняться. Это — моя единственная возможность сделать что-то для памяти матери — и еще записать, что помню. Записываю.

Когда мама умерла, в Елабуге было немало эвакуированных из Москвы литераторов, а в Чистополе и того больше. (Этой группой — Чистополь — Елабуга — руководил Асеев.) Все эти люди — (кто больше, кто меньше, кто в кавычках, кто без) — «любили и понимали» стихи. И не нашлось ни одного — слышите, Владимир Николаевич, — ни одного человека, который хоть бы камнем отметил безмяннущую могилу Марины Цветаевой. Я в это время была «далеко», как деликатно пишет Эренбург³, отец погиб в том же августе того же 41-го года⁴, брат вскоре погиб на фронте⁵. От могилы нет и следа. Это ли не преступление «любителей поэзии»?

«Так край меня не уберег — мой...»⁶ — писала мама.

И действительно — так не уберег, что, кажется, хуже не бывает.

К чему это я? К тому, что остается единственная возможность памятника — беречь и по возможности — издавать живые стихи, записать и сберечь живую ж и з н ь. И конечно, тут мне хотелось бы сделать все, что только возможно.

У меня сохранилась одна из маминых книг с надписью «Але — моему а б с о л ю т н о м у читателю»⁷. И, пожалуй, единственное, чем я в жизни богата, — так этим самым качеством «абсолютного читателя». Во всех прочих качествах совершенно не уверена... <...>

Ваша АЭ

РГАЛИ, ф. 2833 (В. Н. Орлова).

¹ 3 января 1961 г. А. С. обратилась к известному литературоведу В. Н. Орлову, в то время главному редактору «Библиотеки поэта», с просьбой помочь в издании книги Цветаевой, которая «уже пятый год путешествует из плана в план в гослитиздатовских недрах», и написать к ней предисловие.

² Речь идет об издании книги М. Цветаевой в Большой серии «Библиотеки поэта».

³ В журнальном варианте воспоминаний И. Эренбурга сказано: «Муж погиб, Аля была далеко» («Новый мир», 1961, № 1).

⁴ С. Я. Эфрон расстрелян 16 октября 1941 г.

⁵ В июле 1944 г.

⁶ Строка из стихотворения «Тоска по родине! Давно...» (1934).

⁷ Эту надпись на своей книге «Молодец» (Прага, 1924) М. Цветаева сделала 7 мая 1925 г. и через десять лет приписала: «1925 г. — 1935 г.».

8. Е. Я. Эфрон

11 апреля 1961. Таруса

Дорогая Лиленька, пишу страшно наспех, т. ч. заранее прошу простить за последующую невнятицу. Вчера получила Ваше письмо, написанное в стр<астную> пятницу, рада была ему и конечно все поняла и увидела. Когда читала о спешке и взаимных обидах, предстала квинтэссенция всего этого — наша <...>. Бесконечные послания <...> с жалобами, обидами и суетой, и не просто всечеловеческой суетой, а именно с библейской, с «суетой сует и всяческой суетой». Иеремиады по поводу резинок в трусах; глистов; каких-то втулок и штепселей и т. д. Будто и нет неба над головой, почек на деревьях, ледохода, птиц, собак — а о людях уж и не говорю. Где душа, где ум, сердце, талант? Где совесть, наконец, ибо всю жизнь совестить других, не глядя внутрь себя, может только человек, лишенный совести!..

<...> Почему пишу об <...>? П. ч. она, слава Богу, и с к л ю ч е н и е. Всех нас загрызает суета, но есть минуты, часы, дни, когда каждый из нас расправляется, счастливый великим в малом и малым в великом. Потому что нарушения нашего «я» — не внутри нас, а в не — нарушение, ускорение бега времени, нарушение каких-то норм поведения, быта и т. д. И вот мы устаем, отстаем, сами себя догоняем, но это м ы, все те же мы, к-ые до самой смерти не утратим эластичности внутренней пружины: то сплосшимся, то развернемся! А вот когда суета проникла внутрь — это гибель, распад. Так вот у <...>. А с нами н и ч е г о не случится, что бы ни случилось!

Я вот думаю о чем: детство — это о т к р ы т и е м и р а. Юность — открытие с е б я в м и р е. Зрелые годы — открытие того, что ты — не для мира, а мир — не для тебя. И установив это (или то, что ты — для него, а он — для тебя — что, м. б., даже чаще бывает) — успокаиваешься. Когда ты внутренне с п о к о е н — суета тебя охватывает, одолевает — ф и з и ч е с к и, а душа не тонет...

Простите за философию в телеграфном стиле. Надеюсь, что Ада¹ будет у Вас на Святой и притащит Вам для развлечения моего Арагона. У меня на Пасху был и кулич, и яйца, и кусочек пасочки, и в гостях была. В церковь не пошла — грязь невылазная, 15 километров в оба конца, уходят вечером, приходят утром, всю ночь на ногах — в пути и в церкви... Ближнюю церковь на том берегу закрыли — «поп пил, с бабами пугался», а дальняя существует, ибо «поп только пьет» (по старости!).

Обнимаю обеих.

Ваша Аля

РГАЛИ, ф. 2962 (Е. Я. Эфрон).

¹ Подруга А. С. Ада Александровна Федерольф-Шкодина.

9. И. Г. Эренбургу

8 ноября 1961

Дорогой Илья Григорьевич, очень рада книге¹, очень благодарна за дополнительные строки о папе², несколько — насколько сейчас можно — уравновешивающие все Хорошо издана книга, хорошо и веско ложится в ладонь; нравится и размер, и

обложка, и шрифт. Прекрасно. Сама книга — событие, Вы об этом знаете. Многие, многие — уже безмолвные, равно как и огромное племя безмолвных, лишь чувствующих — немо — читателей, благодарны Вам — Вы знаете и это. Вы сумели этой книгой сказать «солнце — остановись!» — и оно остановилось, солнце прошедших дней, ушедших людей. Спасибо Вам, дорогой друг, за всех, за все — за себя самое тоже.

О Глиноедском³: имени-отчества его я не помню, мы все звали его товарищ Глиноедский. Не знала и его жены. Человек он был замечательный и очень мне запомнился. Офицер белой армии, а до того — участник первой империалистической; попал в немецкий плен раненый. Бежал из госпиталя, спрятавшись в корзине с грязным, окровавленным бельем, ежедневно вывозившимся в прачечную. Познакомилась с ним в «Союзе Возвращения»; вел он там какой-то кружок — политграмоты ли, политэкономии — не помню. Неприятно выделялся среди прочих преувеличенной подтянутостью, вытуженностью, выбритостью; был холодноват в обращении, distant, distingué*. Говорил литературнейшим языком, без малейшей примеси французских, обрусевших словечек и оборотов, хоть фр. яз. знал отлично. Так и вижу его — выше среднего роста, худощавый, даже худой, гладко причесанные, светлые, негустые волосы, лицо «с волчинкой», жесткое и, как бывает, прелестная, какая-то стыдливая улыбка. Черный костюм, безукоризненно отглаженный белоснежный воротничок, начищенные башмаки. А кругом — шоферы, рабочие в плохонькой, но какой-то ж и в о й одежонке, лица чаще всего небритые, руки — немые, табачный дым, гам. Устроили в Союзе дешевую столовую, кормили по себестоимости, за гроши — щи да каша. Длинные столы, скамьи, алюминиевые миски, ложки — серый хлеб большими ломтями — вкусно было и весело, ели да похваливали — шутили, шумели. А Глиноедский не ел, а кушал, и хлеб отламывал кусочками, а не хватал от ломтя. Мы — тогда молодежь — втайне подтрунивали над ним, над разутюженностью его и отчужденностью, но на занятиях сидели смиренно: человек он был эрудированный — и с т р о г и й по существу своему. Один раз опоздал он на занятия, я сбегала за ним, жил он в этом же здании на rue de Bucis⁴ (странный громадный престарелый черный грязный дом) — в мансарде. Постучала. Не отвечают. Толкнула дверь — открылась. Никого — и — н и ч е г о. Крохотная клетушка, по диагонали срезанная крышей, где-то там мерцает тюремное окошечко размером в печную дверцу. Страшная железная — какая-то с м е р т н а я койка с матрасиком-блином, а из-под матраса видны те самые черные «безукоризненные» брюки — так вот и отглаживаются. На спинке кровати — та самая — единственная — белая рубашка. На косой табуретке в изголовье — к е р о с и н о в а я лампа, два тома Ленина. Все. Нищета к р о м е ш н а я; уж ко всяческим эмигрантским интерьерам привыкла, а эта в сердце саданула, по сей день помню. Я в с е п о н я л а. Поняла, какой страшной ценой нищий человек сохранял свое человеческое достоинство. Поняла, что для него значил белый воротничок, и начищенная обувь, и железная складка на брюках, чистые руки и бритые щеки. Поняла его худобу и сдержанность в еде (кормили один раз в день). У меня даже кровь от сердца отхлынула и ударила в пятки («душа в пятки» ушла!). Я (все это уже к делу не относится) заплакала так, как в детстве от сильного ушиба, — слезы вдруг хлынут без предупреждения, и пошла тихонечко вниз — вдруг прозрев и увидев с т р а ш н о т у этого дома, липкие сырые пузатые стены, корытообразные стоптанные ступени, бесцветность света, еле пробивающегося сквозь от века грязные стекла.

Помню, рассказала папе — оказалось, что Глиноедский давно уж был без работы, пробавлялся случайным и редким, голодал. Ему помогли — с той деликатностью, с какой папа умел. Кормежку стали «отпускать в долг», какой-то заработок устроили, все пошло лучше.

А когда началась Испания, Глиноедский первым попросил его отправить туда. Тот разговор его с папой, при котором я случайно присутствовала, размалевывая в «кабинете» секретаря стенгазету, тоже запомнился, не сам, в общем, разговор, а Глиноедский — совсем другой, оживленный, помолодевший, распахнутый, о ж и в - ш и й, а не оживленный! Стесняясь высокопарности слов, он говорил о том, что, согрешив оружием, оружием же и искупит, но не так великопостно это звучало, как у меня сейчас. Искупил-то он жизнью. Говорят, что в Испании он проявил себя великолепным организатором, что было тогда так важно. Что был он отчаянно храбр и более того — мужествен.

Да, был он полковником царской армии. Так мы иной раз звали его в шутку «полковник Глиноедский», он очень обижался. <...>

* Не допускающий фамильярности, благовоспитанный (франц.).

Но того, что Вы хотели узнать — имя-отчество Глиноедского, историю его женитьбы я просто не знаю. <...>

Вот и все, как всегда, на скорую руку.
Обнимаю Вас.

Ваша Аля

Любовь Михайловну крепко целую.

Архив И. И. Эренбург.

¹ Имеется в виду отдельное издание воспоминаний И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (кн. 1—2. М. 1961).

² И. Эренбург внес следующие добавления: «Сергей Яковлевич был человек обостренной совести» (кн. 2, гл. 3, стр. 372) и «С. Я. Эфрон стал одним из организаторов «Союза возвращения на родину». Он показал себя мужественным» (там же, стр. 377).

³ Глиноедский (в некрологе журнала «Наш Союз» — Париж, 1937, № 3-4 (87-88) — он назван Глиноецким) Владимир Константинович — полковник-артиллерист, во время гражданской войны в Испании под именем Юлия Хименеса возглавлял ударный батальон и погиб 27 декабря 1936 г. в бою под Бельчитой на Арагонском фронте. Сведения о Глиноедском А. С. сообщала по просьбе Эренбурга, впоследствии написавшего о нем в книге «Люди, годы, жизнь» (т. 2, кн. 4, гл. 19).

⁴ На улице Бюсси в Париже размещались «Союз возвращения на родину» и редакция журнала «Наш Союз».

10. В. Н. Орлову*

17 ноября 1961

Милый Владимир Николаевич — «Идешь, на меня похожий» случилось с окончательным текстом, причем и для «Верстки», и для этой книги. Думаю, что строфа «Я вечности не приемлю» ушла из окончательного текста из-за повтора рифмы «погребли — земли», «пыли — земли»¹, да еще на близком расстоянии. Когда буду в Москве, еще раз посмотрю подлинник (там поздняя мамина правка), тут у меня только копия — это единств<енный> экз<емпляр> с авторской правкой и ранней — исправление опечаток машиноп<иси>, — и с поздней. <...>

Я альманах тарусский² прочла далеко не весь: мне понравилось о Мейерхольде, о Полеёнове³, кое-что из стихов, хотя должна признаться, что в нынешних плохо разбираюсь: общий уровень мастерства настолько вырос, что не всегда угадаешь (я по крайней мере) — стоит ли за этим поэзия. Заинтересовала меня повесть Окуджавы⁴ (к<отор>го я по беспамятству на имена всегда зову «Окиनावой») — если бы он — по отсутствию писательского опыта (жизненный — есть) не сделал своего героя на несколько лет младше, чем следовало. Это — повесть о мальчике, а не о юноше, без остроты юношеских прозрений. Написала — и вспомнила Сэлинджера «Над пропастью во ржи» — вот там чудесно дан возраст героя, и через именно этот возраст — восприятие мира. А у Окуджавы смещен возраст — с ним и восприятие: не «мира» — войны. Паустовского прочла только о Бунине — в ужас пришла! Прочла не в «Страницах»⁵, а в виде предисловия к самому Бунину (вышел толстый некрасивый том с «Деревней», «Жизнью Арсеньева», неск<ольки-ми> рассказами⁶). Манная каша! Манная каша, голубоватая — ибо не на чистом молоке, а с водичкой, и не на сахаре, а с сахаринцем! А Бунина читаю — и за голову хватаюсь, и вскакиваю с места и бегаю по комнате, и потрясаюсь до слез, и опять хватаюсь за голову, ай-ай-ай, что за чертовский талант! И когда бы ни встречалась, и сколько бы ни перечитывала — то же самое; то же самое, как и хлебом не наестся на всю жизнь, и водой не напиться.

С Буниным — живым — я простилась в 1936 г., на Лазурном побережье, в нестерпимо жаркий июльский день, в белом от зноя дворике маленького, похожего на саклю и так же прилепившегося к горе домика, купленного на «нобелевские» деньги. Под пальмой — от которой тени было не больше, чем от дюжины ножей. Невысокий, мускулистый, жилистый, сухощавый старик (сколько ему тогда лет было? Не так уж много...) с серебряной, коротко стриженной головой, крупным носом, брезгливой губой, светлыми, острыми глазами, — поразительными, добела раскаленными! одетый в холщовую белую рубаху, парусиновые белые штаны, обутый в «эспадрильи»⁷ на босу ногу (а оставался шеголеватым и в этой одежке!), говорил мне: «Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия? А ты знаешь Россию? Куда тебя несёт? Дура, будешь работать на макаронной фабрике... («Почему именно на макаронной, Иван А<лексеевич>?!») — на ма-ка-ро-н-ной. Да. Потом тебя

* Отрывок из письма был опубликован в «Известиях» (14.5.92).

посадят... («Меня? за что?») — а вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь себе верблюжьих пятки!.. («Я?! верблюжьих?!»)... Да. Знаешь, что надо? Знаешь? Знаешь? Знаешь? Выйти замуж за хорошего — только чтобы не молодой! не сопляк! — человека и... поехать с ним в Венецию, а? В Венецию». И потом долго и безнадежно говорил про Венецию — я отвечала, а он не слушал, а смотрел сквозь меня, в свое прошлое и в мое будущее; потом встал с каменной скамейки, легко вздохнул, сказал — «ну что ж, Христос с тобой!» и перекрестил, крепко вжимая этот крест в лоб мне, и в грудь, и в плечи. Поцеловал горько и сухо, блеснул глазами, улыбнулся: «Если бы мне — было — столько — лет, сколько тебе, — пешком бы пошел в Россию, не то что поехал бы — и пропади оно все пропадом!» Это «все пропадом» — была «неповторимая панорама» сказочного городка Канны там, внизу, — и эмалевое Средиземное море, и сердоликовые горы вдаль, и потрясающей чистоты и пустынности небо, и воздух, душный от запаха цветов (неподалеку были громаднейшие цветочные плантации фирмы «Коти»).

Да, да. И пошла я, и поехала, — и все было, кроме «макаронной фабрики», если не считать мою работу в «Жургазобъединении»⁸ под руководством Кольцова именно выпускаяем в свет макаронных изделий? — и кроме Венеции. Были и «верблюжьих пятки», и голова, стриженная под машинку в тифу, — и даже муж был — такой, какой даруется единожды в жизни, да и то не во всякой! Его расстреляли в последние дни бериевского царствования, накануне падения всех этих колоссов на глиняных ногах...

Простите меня за неожиданное отклонение от альманаха! Итак: поэма Корнилова сохранилась, ибо в последний момент какие-то строки оттуда выкинулись. <...> — рассказы Казакова⁹ мне не понравились, ибо самого Казакова я там не усмотрела: увидела лишь очень умелое овладение «жестким» Чеховым и тем же, м. б., Буниным; это само по себе не мало, но нового, собственного я не увидела, не говоря уж о том, что датировать (особенно первые два рассказа) можно бы и девятидесятыми годами, и самым началом века... Сильно, но не свое. А Паустовский — свое, да слабо...

Мамин раздел¹⁰ до того пестр и лоскутен, что злит, но, верно, только меня одну, так что с этим нечего считать. Да и ивановское вступление¹¹ не шедевр — с этим, по-моему, все согласны!

Всего Вам самого доброго!

Ваша АЭ

РГАЛИ, ф. 2833 (В. Н. Орлова).

¹ Повтор рифм «погребли — земли», «пыли — земли» — в первой публикации стихотворения («Северные записки», 1915, № 5—6), где после четвертой строфы следовали строки: «Я вечности не приемлю. / Зачем меня погребли? / Я так не хотела в землю / С любимой моей земли!»

² «Тарусские странички» — литературно-художественный иллюстрированный сборник (сост. Н. Оттен; Калуга, 1961).

³ А. К. Гладков, «Воспоминания, заметки, записи о В. Э. Мейерхольде»; мемуарные очерки дочерей В. Д. Поленова: Е. В. Сахаровой — «Народный театр семьи В. Д. Поленова» и О. В. Поленовой — «Поленовские рисовальные вечера».

⁴ Булат Окуджава, «Будь здоров, школяр!».

⁵ В «Тарусских страничках» напечатана глава «Иван Бунин» из книги К. Г. Паустовского «Золотая роза».

⁶ И. А. Бунин. Повести. Рассказы. Воспоминания. Вступительная статья К. Г. Паустовского. М. 1961.

⁷ Эспадрильи (фр. espadrilles) — холщовые туфли на веревочной подошве.

⁸ После возвращения в Советский Союз А. С. работала в редакции журнала «Ревю де Моску», издававшемся Жургазобъединением.

⁹ Поэма В. Н. Корнилова «Шофер» и три рассказа Ю. П. Казакова: «Запах неба», «В город», «Ни стуку, ни грюку».

¹⁰ В «Тарусских страничках» было опубликовано 43 стихотворения Цветаевой (1909—1934), отрывок из поэмы «Лестница» и мемуарная проза, озаглавленная в сборнике «Кирилловны».

¹¹ Публикацию стихов Цветаевой предворяла вступительная заметка В. В. Иванова «Поэзия Марины Цветаевой».

11. Э. Г. Казакевичу

17 января 1962

Милый Эммануил Генрихович, спасибо за весточку! 5-го я была в Союзе по поводу комиссии¹ — она все в том же виде, т. е. на бумажке — Паустовский, Орлов, еще какой-то критик (забыла, Воронков возвел очи горе и сказал, что критик уж так любит Цветаеву — и фамилия у меня тут же вылетела из головы, Макаров кажется). Я попросила «себе» Гвардовского и Эренбурга и Анно Саакянц (ред. маминой гослитовской книжки, хорошая девочка, хорошо, по-настоящему знает мамино

творчество и работать будет); Аню мне тут же очень охотно пообещали, а тех, недостижимых товарищей, просить будут. Вышла из Союза, огляделась, загрустила. Вот в этом флигеле жил Луначарский со своей Розенелью и с двумя сыновьями, а в том — художник Миллиотти, сын мариниста, с женой, дочкой и керосинкой. Он реставрировал иконы почему-то. В подвале главного здания была громадная темная кухня с котлами какими-то и своды, как у Гюстава Дорэ. В полуподвальной комнате жила слепая старушка, бывшая крепостная бывших владельцев особняка. Комнатенка была заставлена и завалена всякими интереснейшими вещами, а на стене висела картина — сказочный король пил из кубка и глядел на старушку такими же светлыми, как у нее, глазами... В другой комнатенке жила тетя Катя — она все мастерила туфли на веревочной подошве и очень хорошо пела слезные мещанские песни. Над головой крепостной старушки топотала молодая советская литература, молодые советские искусства, сосуществовавшие со старыми, дореволюционными, — всегда было шумно и многолюдно во «Дворце искусств», и юбилеи, и диспуты, и поэтические вечера — чего-чего и кого-кого только не было в поразительных атласных гостиных, под сенью мраморных Психей! На весь этот милый, пестрый, голодный Вавилон была одна-распространенная машинка, где-то там далеко-глубоко и робко-робко она стучала, исподтишка порождая огромный, железобетонный, неукоснительный и неистребимый бюрократизм — и вот он, батюшка, во всей красе. Голые, чистые коридоры, как на Лубянке, двери, двери, как в Новинской тюрьме, а за дверями — машинки, машинки, машинки, а во дворе — машины, машины, машины — тью... твою мать!

Это очень здорово, если можно будет раздобыть мамину «прозу». Это что, Вы мне почитать дадите или совсем подарите? Вопрос первостепенной важности!.. <...>

Ваша АЭ

РГАЛИ, ф. 2285 (Э. Г. Казакевича).

¹ Речь идет о Комиссии по литературному наследию М. И. Цветаевой.

12. П. Г. Антокольскому¹

18 марта 1963

Милый Павел Григорьевич, да, конечно же, Вы совершенно правы, именно Германия — высокого романтического лада — ключ к высокому Романтическому Ладу маминого творчества, сути ее, да и всей ее жизни. Родина маминого творчества. Именно Германский Романтизм — французский был ей чужд многословием страстей, об английском же и говорить нечего, он вовсе не был ей с р о д н и. Очевидно, еще тут важна гибкая лаконичность самого языка — лаконичность от богатства языкового — то же, что и в русском, что и русскому свойственно.

Если хотите, подвиг ее пересказа Пушкина на французский — тем и подвиг, что — на французский, а не на немецкий...

Мама перевела не то 14, не то 18 пушкинских стихов²; простите за «не то», но у меня в голове сейчас такая мешанина из подготавливаемой книги, что обо всем прочем могу говорить (наспех) лишь весьма приблизительно. «Песню» из «Пира» и «К няне» я назвала Вам как единственно опубликованные из всего количества. Есть и «Стихи, сочиненные во время бессонницы», и «Герой», и «Что в имени тебе моем», и «Поэт! не дорожи любовью народной...», кажется, и «Приметы», и «Для берегов...», и «Анчар», и «Заклинание», и конечно же «К морю». Оно действительно начинается «Adieu, espace des espaces»³, но flots qui passent, по-моему, нет. И переведено оно было не в 1928, а году в 1934—35; надо будет посмотреть в черновиках точную дату (даты).

По-моему, по пушкинским переводам уцелели все черновики, т. е. видна вся последовательность работы, то, чего и как она добивалась. А вот беловая тетрадь — с пропусками некоторых строк, к-ми она осталась недовольна... Говорят, в Ленинграде у кого-то есть машинописная копия всех пушкинских переводов в окончательном варианте; если это точно, постараюсь достать (вернее, А. А. Саакянц достанет, ибо это идет — слух об этом — от знакомых ее знакомых). Если раздобудем и если машинопись без маминой правки, надо будет сверить с черновыми вариантами (их много по каждой строфе, а то и каждой строке). Конечно, я была бы очень, очень рада, если бы Вы занялись этой (пушкинской) темой <...>

Вам я помогу, само собой разумеется, всем, чем смогу. Есть интереснейший черновик письма к Жиду — конечно же не удостоившему ответом — по поводу Пушкина. Там мысли по поводу того, как нужно — и как нельзя — переводить поэтов... Обнимаю Вас сердечно.

Ваша Аля

РО Библиотеки АН Литовской Республики (Вильнюс), ф. П. Г. Антокольского.

¹ Письмо это частично опубликовано в книге: А р и а д н а Э ф р о н. О Марине Цветаевой. М. 1989, стр. 275—276.

² Ю. П. Клюкин в статье «Иноязычные произведения Марины Цветаевой» («Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1986, № 4/154/) называет 20 стихотворений Пушкина, переведенных Цветаевой.

³ Так перевела М. Цветаева пушкинское обращение к морю: «Прощай, свободная стихия!..» В работе «Пушкин по-французски» П. Антокольский комментирует этот перевод: «По-французски нет прямого эквивалента русскому слову «стихия»: l'élément, les éléments — то и другое не соответствует нашему образу первоначально-первозданной антично-языческой стихии. У Марины Цветаевой это звучит так:

Adieu, l'espace des espaces!

То есть:

Прощай, пространство пространств»

(П. Г. Антокольский. Путевой журнал поэта. М., стр. 137).

13. Е. Я. Эфрон

23 февраля 1963

Дорогая Лиленька, сегодня утром вспомнились Ваши слова о том, что мама не поняла (или тогда не понимала) Ю<рия> З<авадского>¹. И подумала о том, что мама за всю свою жизнь правильно поняла одного-единственного человека — папу, т. е. понимала, любила и уважала всю жизнь. Во всех прочих очарованиях человеческих (мужских) она разочаровывалась; очарование могло длиться, только если человек оставался за пределами досягаемости жизненной (скажем, Пастернак) или за пределами жизни (зримой!) — т. е. умирал, а умирая — вновь воскресал для нее. Именно в этом, пожалуй, разгадка ее творчества, в котором не признавала она сегодняшнего дня, которое всегда было над и вне, в котором она видела заочно. Именно в этом (уже в человеческом плане) разгадка ее «непонимания» Зав<адского> (если оно было, о чем не могу судить, не зная Зав<адского>). Ибо Ю. А. был человеком театра, области, наиболее чуждой маминой сущности, области зримого мира. В этом, пожалуй, разгадка той отчужденности, которая у нее к нему всегда была: во-первых, в душу он проник «через зрение» (красоту), во-вторых, призванием его был мир зримый, т. е. театр, зримый мир для зрителя... Театр — пусть самый «заочный», т. е. не и анти-реалистичный (особенно в те годы) — все же зрелище, т. е. нечто чуждое маминой сущности человеческой и творческой. Все остальные члены того студийного кружка были дороги ей как раз не приверженностью к «зримому», т. е. театру: Павлик — поэт, собрат; Володя Алексеев — бросил «зримое» и ушел в армию, на смерть, ушел в «незримое»; Сонечка Голлидей², по отзыву Мчделова, могла играть только себя, т. е. свою душу живу, т. е. не была актрисой при всем своем таланте; да никто из тех, кто тогда маме был близок, не связал своей жизни с театром впоследствии. (Сонечка была чтицей, т. е. и для нее слово стало сильнее зримости, было отделено ею от зримости театра) <...>

В театре уцелел только З<авадский> (не будем говорить, как уцелел, в этом не он виноват!). Все дело в том, что в маме и в Ю. З. встретились по-своему «материя с анти-материей», мир зримый, мир через зрительность, с миром невидимым, незримым, подспудным. И встретившись (через слово, через стихию слова, роднящую оба этих мира) — взаимоуничтожились друг для друга и друг в друге. Ю. З. ведь тоже не понял маму, как чуждое, как «антимир».

Не знаю, разберетесь ли Вы в этом, для меня самой недостаточно продуманном... надеюсь, что голова не разболится от моих каракуль. Забыла (все что-нб. забываю!) захватить виноградный сок для Вас; в следующий раз привезу. Крепко целую обеих.

Ваша Аля

РГАЛИ, ф. 2962 (Е. Я. Эфрон).

¹ Завадский Юрий Александрович (1894—1977) — режиссер, актер, педагог. Цветаева посвятила ему цикл стихов «Комедиант» (1918); для него написаны главные роли в пьесах 1918—1919 гг. «Метель», «Фортуна» и «Каменный Ангел». Он один из главных героев «Повести о Сонечке».

² ...члены... студийного кружка... — актеры, ученики Е. Вахтангова: Павлик — Павел Григорьевич Антокольский (1896—1978), Владимир Васильевич Алексеев (1892—1919) и Софья Евгеньевна Голлидей (1894—1935). Все они персонажи «Повести о Сонечке».

14—16. В. Н. Орлову

3 апреля 1963

Милый Владимир Николаевич, отвечаю наспех, хочу, чтобы письмо застало Вас в Ленинграде, который Вы, по-видимому, в апреле покидаете. <...>

Самый интересный не только для биографа и исследователя творчества Цветаевой, а следовательно, и для читателей момент, это внезапный, казалось бы, ни из чего предшествующего не вытекающий переход из открытости поэтических русел в их «послероссийскую» запечатленность. Это начинается буквально с Берлина. Как же обьяснить этот период скрытого реализма, как сорвать с него маскировочный балахон, игнорируя 1923 г., выбрасывая почти все стихи, как если бы ни года, ни стихов и не бывало? Как все обосновать и чем доказать немедленное, с первых же шагов по ту сторону границы отрицание поэтом чужеродности чужбины и чуждого эмиграции, обособление себя от них, превращение поэта, только что широкообщительного и звонкоголосого, в одинокого духа? О скрытом реализме я говорю не случайно — помимо самих стихов, вопиющих в той пустыне, есть немало материалов, которыми я и собиралась поделиться с Вами, когда Вы приметесь за статью¹. Мне представляется, что с этими материалами и по этому сборнику ей, статье, не так трудно будет рождаться, как той, первой.

Конечно, составить книгу можно и из отдельных гладкопроходимых и «выигрышных» произведений, связанных лишь видимостью хронологии и общей крышей переплета; и такая книга будет событием, ибо — Цветаева.

Можно составить довольно полный сборник одних лишь ранних произведений, от ставив сложности, пока суд да дело.

Но уж коли взялись за попытку серьезного всерьез, то, думается, не следует отметать и ряда ранних вещей, и 1923 г. (конечно, речь далеко не обо всем, что сейчас в рукописи. — Вы это понимаете!). Важно ведь, чтобы книга была этапом не только качественно-количественным, но и познавательным: еще одним шагом к правильному пониманию творчества. Жаль, что мы не смогли прислать Вам состав книги с комментариями; жаль, что Вы не успели расшифровать и Ваших соображений кое по каким вещам!.. Если я согласна — с болью в сердце — пожертвовать из *parдон*, цензурных соображений дивным рублевского письма и вполне не политическим «Георгием»² во имя того, чтобы кто-то чего-то не продумал и к чему-то не «пришил», то увя, не понимаю — зачем вводить такие откровенные «Руан», «Если душа», «Целовалась с нищими», «Слезы на лице», «Променивши на стремя»³ — уж тут любому «гусю» ясно будет, в чем дело! Непонятно мне, скажем, зачем обеднять образ Марины Мнишек, дважды осмысленный автором: исторически (образ авантюристки) и поэтически (любящей и верной вплоть до смерти за) — и дать одно стихотворение, тем самым аннулировав и тему, и ее трактовку?⁴ Не понимаю, как можно отбросить великолепный «плач» по Маяковскому⁵, стих, с первой строки до последней полемизирующий с эмигрантской трактовкой Маяковского — поэта и гражданина, стих, грудью защищающий его от мешанства злобствующего, от «белых» врагов — от тех, кого еще недавно она сама воспевала и превращала в легенду? Это ли не козырное стихотворение? Его ли отдавать «гусям», да еще когда Орел есть?! Ну и т. д. и т. п. Повторяю: со многими из Ваших предложений согласны — об этом, а также о том, что выйдет, что выйдет, что оставим в книге, напишем подробно, сообщите, куда писать. Я здесь буду числа до 12-го <...> Неясно, как быть с двойными датами... Во всяком случае, в таком случае, как «Автобус», хорошо бы по последней, ибо до последней вещь фактически не была завершена, т. е. не существовала как цельная. «Автобус» законченная вещь (хотя пробелы белого варианта пришлось восстановить по беловым отрывкам черновой тетради); однако мама, судя по записи, собиралась еще раз к ней вернуться, чтобы развить среднюю часть; об этом говорим в примечаниях. Мне кажется, что вещь очень своеобразна, в первую очередь по ироническому сюжету (во всех прочих поэмах любовь — всерьез)... но об этом как-нибудь в другой раз. Пока же простите за возможную невнятицу спешки... Желаю вам обоим доброго здоровья, остальное приложится! Отдыхайте хорошо. Ада Александровна шлет привет.

Ваша АЭ

¹ Речь идет о вступительной статье к «Избранным произведениям» М. Цветаевой и составе этой книги, подготовленном А. Эфрон и А. Саакянц для Большой серии «Библиотеки поэта».

² А. С. пишет о цикле из семи стихотворений «Георгий» (1921).

³ Из перечисленных А. С. в книгу было включено только стихотворение «Если душа родилась крылатой...» (1918).

⁴ Цикл «Марина» (1921) не был включен в книгу.

⁵ В «Избранные произведения» вошло только стихотворение 1924 г. «Маяковскому» («Превыше крестов и труб...»). Одноименный цикл 1930 г. из семи стихотворений включен в книгу не был.

20 октября 1963

Милый Владимир Николаевич, как досадно, что не удастся повидаться — «так разминовываемся мы!»¹ <...>

На днях у меня была прелестная встреча с женой героя поэм «Горы» и «Конца»², прибывшей на отдых к родственникам; не видались мы с ней лет тридцать — немалый срок. Она давным-давно замужем за другим, у нее дети и внуки (а вообще — по существу она женщина — куриной породы) — и как-то трогательно было слышать ревнивые нотки в ее голосе, когда она вспоминала маму. От нее я впервые узнала, что мама подарила ей — на ее свадьбу с «героем» — от руки переписанную «Поэму Горы». Ну не ужас ли? И не прелесть ли? Вся мама — в этом ядовитом даре...

«Мне кажется,— сказала милая, старая, хорошо сохранившаяся курица,— что твоя мама почему-то никогда меня не любила»... «Ну что вы,— ласково возразила я,— просто мама не всегда умела показать свое отношение...» и т. д.

Мой самый сердечный привет Елене Владимировне³. Пусть все у вас будет хорошо!

Ваша АЭ

¹ Заключительная строка стихотворения Цветаевой «Не суждено, чтобы сильный с сильным...» (из цикла «Двое»).

² Герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» — Константин Болеславович Родзевич (1895—1988). В письме говорится о Марии Сергеевне Степуржинской, урожденной Булгаковой (1898—1979), его первой жене.

³ Ю н г е р Елена Владимировна — близкий друг В. Н. Орлова, артистка Ленинградского театра комедии.

7 сентября 1964

Милый Владимир Николаевич, не успела отправить Вам открытку, как получила письмо — спасибо, что и на отдыхе не забываете, когда всё и вся обязательно должно с глаз долой и из сердца вон, иначе — не отдых, а морока. Радио вещает хорошую погоду в Прибалтике, радуюсь за вас обоих и за всю солнцем не избалованную Прибалтику. О грибах же, даже «балтийских», и слышать не хочу: свои, тарусские, надоели. Собрать их, правда, увлекательно, но чистить, готовить и, главное, есть — совсем-совсем не хочется. После отвратительного похолодания погода смилостивилась, и над нами, нас взял в объятия какой-то добрый антициклон, правда, туманный и пасмурноватый и не сулящий постоянства; но в сентябре — каждое даяние благо, и каждый день благословен есть, особенно когда разъехались дачники и школьники, что сейчас же вызвало на тарусской земле мир и в небесах благоволение и категоричное понижение цен на рынке: то, бывало, и «курочки ня нясуцца», и «коровки ня дояцца», а с 1-го сентября все сразу занеслось и задоилось, как при коммунизме. А вообще-то надоел допетровский быт, хоть и радуют допетровские пейзажи. Если в Ваших краях пойдет фильм «Звонок почтальона» (англ.) — обязательно посмотрите. Это так же смешно, как немые фильмы нашего детства, и чудесно проветривает голову. Я уже годы как не смотрю ничего проблемного и ничего военного. Читать — читаю; так, на днях Мандельштам¹, под страшным секретом, дала мне читать свои воспоминания. Сплошной мрак, всё — под знаком смерти; а когда так пишут, то и ж и з н ь не встает. Как бы ни была глубоко трагична жизнь О. Э., но ведь она была ж и з н ь ю — до последнего вздоха. В ее же воспоминаниях (Надежды Яковлевны), в ее трактовке основное — обстоятельство пути человека, а не сам этот путь, как бы он ни был сродни Голгофе. А ведь в жизни истинного поэта «обстоятельств» нет, есть Рок, под них поддельвающийся. Воспоминания же — обстоятельно-обстоятельны, и от этого — мутит. Впрочем, написано неплохо, она умна и владеет пером, но... «чему это учит?».

Письмецо это будет отправлено из Москвы и авось скоро до Вас дойдет, застанет Вас — и, даст Бог, в солнечные дни!

Всего вам обоим самого лучшего и самого доброго. До свидания!

Ваша АЭ

РГАЛИ, ф. 2833 (В. Н. Орлова).

¹ Н. Я. Мандельштам.

17. Е. Я. Эфрон

24 сентября 1964

Дорогая Лиленька, получила Ваше письмо с описанием протяженных именин.

Насчет маминой «Истории одного посвящения»: думаю, что начало Вам показалось растянутым, потому что у вещи нет конца, таким образом, утрачено равновесие и соотношение частей. Я, кажется, говорила Вам, что экземпляр долгожданного зарубежного журнала, в к-ом это опубликовано, и с к-го Аня¹ в Лен. библиотеке сначала переписывала от руки, а потом перепечатывала, оказался дефектным, при брошюровке выпало 8 страниц, т. е. конец маминой прозы. Конец — это Коктебель — Макс и Пра, и, конечно же, Мандельштам; именно в конце рассматривается с у т ь вещи — защита Мандельштама (и Коктебеля) от домыслов некоего Георгия Иванова, эмигр. поэта, опубликовавшего в 30-е годы в Париже пошлые и абсолютно недостоверные воспоминания о Мандельштаме². «Приятельница, уехавшая за море» (начало вещи), — Елена Александровна Извольская³, действительно мамина приятельница по Медону; женщина конского роста и наружности, впрочем, милая, порядочная; дочь русского посла в Германии «в окрестностях» первой мировой войны; литератор-переводчик, написала (по-фр.) книгу о Бакунине⁴. Было ей в ту пору за сорок, была она не замужем, жила со старой изящной мамой-француженкой и собачкой Маруфом. И вдруг получает письмо из Японии, из Нагасаки, от некоего не без причин эмигрировавшего барона, с которым на заре туманной юности танцевала на посольских балах. Барон не женат, он одинок, он тоскует на чужбине без родной души, он помнит и хранит в сердце своем ту юную девушку — короче говоря, он предлагает ей это самое сердце и руку, оплачивает проезд в Нагасаки ей и маме (но не собачке Маруфу...)... и безумная дает согласие и едет в Японию, и становится женой отвратительного типа, и клянет все на свете, и разводится с ним, и возвращается в Медон, к разбитому корыту. И вот перед отъездом в Японию она жгла бумаги, а мама отбирала белые листы, тетради и альбомы... часть из них, послуживших ей для черновиков и беловиков, уцелели в ее архиве, который Вы сохранили <...>

Ваша Аля

РГАЛИ, ф. 2962 (Е. Я. Эфрон).

¹ Аня — Анна Александровна Саакянц, сотрудничала с А. С. в подготовке к изданию книг М. Цветаевой и журнальных публикаций ее произведений. Автор первой на родине книги о поэте «Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества. 1910—1922» (М. 1986).

² Речь идет о воспоминаниях Г. В. Иванова (1894—1958) «Китайские тени» («Последние новости», 22.2.30).

³ Извольская Елена Александровна (1897—1974) — поэт, переводчик. О ней М. Цветаева пишет А. Тесковой: «Единственный человек, которого я здесь полюбила, который меня во Франции по-настоящему любил, была Елена Александровна Извольская...» (М. Цветаева. Письма к А. Тесковой. Прага. 1969, стр. 96). Ею написаны воспоминания о Цветаевой «Тень на стенах» (журнал «Опыт», Нью-Йорк, 1954, стр. 152—160) и «Поэт обреченности» (альманах «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1963, № 3).

⁴ Helene Jsvolsky. La vie de Bakounine. Paris. 1930.

18. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич

18 июля 1965, вечером

Дорогие Лиленька и Зинуша, пишу вам в конце первого нашего красноярского дня, коротко, так как несколько одурела от обилия впечатлений и количества «покоренных» нашим поездом километров — более четырех тысяч! Мало сказать, что «интересно» было глядеть в окна, и трудно описать странное и радостное чувство, охватывающее тебя, когда, под быстрый и ровный перестук колес, расстилается перед тобой и проносится неимоверная Россия; чем дальше — тем неимовернее, неогляднее и несказаннее она; сперва шло знакомое, как бы подмосковное, чередование рощиц, поселков, полей, лугов, узеньких, тихих речек под громкими мостами, потом все это как бы расширилось, растягивалось, становилось все пространнее и протяженнее — и все длиннее перегоны от села до села — и все реже «черты современности»; иногда даже до слезы ударяло в глаза прошлое и вечное в виде древнего городка, усыпанного церковными главами, огороженного от всепожирающего времени и всеразрушающих людей зубчатой кремлевской стеной со сторожевыми башенками по углам... А то вдруг — на какой-то неувольно-значительной точке пейзажа — стройная церковка или приземистый монастырь, и понимаешь, как бессмысленна Россия именно без э т о й красоты...

Дальше — все гуще леса и шире поля и богаче, богаче и щедрее природа, уже с неуловимой, а потом и с уловимой примесью азиатчины. Где-то на горизонте возникали и исчезали громадные, дымные, разлтые индустриальные города, такие странные видения среди всех этих просторов — отделенные друг от друга такими огромными расстояниями... Как красив был кусочек Урала около Кунгура — пастернаковские (из детства Люверс) кручи, покрытые хвоей, поднимающиеся до небес и отражающиеся вместе с ними в лениво текущей вдоль железной дороги реке, а по реке — плоты, и берега усеяны оторвавшимися от плотов бревнами, шоколадными в зелено-голубой (хвоя и небо) реке... Потом — удивительные Барабинские целинные края — представьте себе бескрайние степи с разбросанными по ним российскими березовыми перелесками; желтая пшеница; голубой овес; ковыль; луга — моря цветов; исчезают перелески — и «степь да степь кругом» без малейшей возвышенности, без пятнышка тени; сквозь шум поезда стрекот кузнечиков. И вдруг — горы: откуда взялись? Плоскогорья — все в мягчайших складках зелени, будто ткань на них наброшена; за ними — округленные лиловые очертания настоящих гор; поезд врезается в настоящую тайгу с узкими, готическими вершинами елей; гроза; судорожные молнии; дождь; прохлада. Утром прибыли в Красноярск. Адины знакомые чудесно встретили, устроились в новой гостинице; были у них в гостях; ели целый день вкусные вещи — чуть не лопнули. Красноярск очень изменился к лучшему: масса зелени, дождливо, свежо... (продолжение на «рисунке»)

Это вид из моего номера: Енисей, новый мост, на фоне гор. Конечно, набросок бездарный этот ничего решительно не передает, но дополните воображением сизость гор, сизость неба и поднимающегося к нему дыма из труб на том берегу, свет, как бы излучаемый рекой, сумрак, постепенно переходящий во мрак, и фонари.

Внизу гостиницы — приветливого вида ресторан, из которого приглушенно доносятся звуки очень вегетарианской — по сравнению с московской — танцевальной музыки; но тем не менее местные прожигатели жизни — с татуировкой и без — слетаются на огонек (ресторан, как и гостиница, зовется «Огни Енисея»); сомнительные «дамы» бродят по панели; все как «у больших». Ох уж эти дамы! Славные коренастые толстож...е земледельческие фигуры, толстенные ножищи на утлых каблучках, соломенные патлы и плащи «болонья». Увы, все «веселье» кончается в 11 ч. вечера (по местному времени — по московскому это всего 7 часов!) — каким пуританством отдаст наш скромный «разврат»... Только что по радио услышала, что в Москве опять прохладно и дождливо. Здесь — тоже, но мы решили мириться с любимыми «погодными» условиями, ибо другого выхода нет! Тут пробудем еще 3 дня, потом — пароход, и на Север! Крепко целуем все трое,

Ваша Аля

19—20. В. Н. Орлову

15 сентября 1965

Милый Владимир Николаевич! <...>

Отец мой был реабилитирован в 1956 г. — «в силу вновь открывшихся обстоятельств и за отсутствием состава преступления». В 1955 г., вернувшись из Туруханской ссылки, я взялась за хлопоты о маминой первой (несостоявшейся) книге и о папиной реабилитации; для последней требовалось разыскать оставшихся в живых «однодельцев», к-рые могли бы свидетельствовать о его невинности; увы, живых не было, мертвые же молчали; связаться же с заграницей в те годы не было возможности; все же сыскала кое-кого из числа «ни живых, ни мертвых», и истина восторжествовала, как всегда — посмертно.

Отец мой был человеком совершенно поразительной чело веч н о с т и, мужества и благородства. Я до сих пор просыпаюсь ночами в отчаянье и ужасе от его гибели, от т а к о й его гибели, оттого, что он погиб в такое беспросветное время, в лубянском кровавом застенке. Маме хоть была предоставлена «свобода» у м е р е т ь с а м о й.

Я думаю, что о д н о к о л ы б е л ь н и к и, вместе умершие, и воскресать должны вместе в памяти человеческой, и буду Вам бесконечно благодарна, если Вы — в меру возможностей сегодняшнего дня — измените сколько-нибудь «белогвардейский» штамп — жестокий и нелепый. Если бы Вы знали, как мне хочется дожить до пенсии, развязаться с переводами (с теми, что не для души!) и записать все, что помню и знаю о матери, об отце, о Времени. Дай Бог!

Да, надо начать хлопотать о книге пьес; и вообще о многом подумать, многое подготовить и т. д. Не хватает рук, головы, времени, сил — на все необходимое <...>

Ваша АЭ

21 октября 1965

Дорогой Владимир Николаевич! <...>

Что я хотела сказать еще давным-давно, когда Вы писали о том, что все «члены жюри» не в восторге от «Царь-Девы»: во-первых — хотелось, чтобы в сборнике по возможности были представлены все жанры (за исключением Лебединого!) — в том числе и псевдобылинная ветвь: «Федра» уж слишком перевесила бы. Во-вторых и в главных: не так проста «Царь-Девыца», как это кажется читающим, но не глубоко вникающим (от них же первый — И. Г. Эркенбург); именно в ней, этой «русской», «сказочной» вещи, — ключ ко всей последующей Цветаевой; недаром она сама, уже в поздние годы, писала кому-то о том, что Царь-Девыца — та же Федра, а Царевич — тот же Ипполит, только в другие одежды ряженные¹. Так оно и есть. Господи! Да именно в этой вещи впервые сосредоточены цветаевские герои: стихов, поэм, пьес; и главный герой — Р а з м и н о в е н и е: Кафтаны ли, хитоны ли, брэнная ли одежда XX века — второстепенные атрибуты Вечного. По-моему — хорошо, что в этом сборнике — Царь-Девыца, Праматерь цветаевских образов, — согласитесь со мной хоть раз! Впрочем, обожаю Вас без памяти именно за то, что Вы вечно не соглашаетесь и часто злитесь!

Теперь хочу сказать, что блоковские дневники, записные книжки, вернее², — замечательно интересны; вряд ли за последние годы встречала что-либо подобное и вряд ли встречу впредь. Поразительно встает Эпоха (с маленькой буквы ее и захочешь — не напишешь!). Поразительно встает Блок-Человек (о поэте знаем по созданному им). И поразительно — слияние и не-слияние, совпадение и разминовение их — Эпохи и Человека.

На какой же высшей точке — жизни, творчества, времени — умер Блок! Ведь вскоре после эры «Двенадцати» пошла эра «Двенадцати стульев»; не блоковские времена... куда там! Хорошо! Хорошо Вы сделали книгу; с громадным тактом. Спасибо Вам!

Вышел десятый номер казахстанского «Простора» с очень милыми маминскими записями об отце и прелестным, на мой взгляд, предисловием Паустовского³. У меня тут только один-разъединственный экз. Если пришлют еще хоть сколько-нб. — непременно пошлем Вам; не знаю, можно ли этот журнал купить в киоске или в магазине — в Тарусе-то уж во всяком случае нет!

Осень тут отнюдь не золотая, а бурая. Слава Богу, хоть гулять не манит от перевода. Сижу не сходя с места, как Островский у Малого театра; только что голуби не ... на голову, а так сходство полное <...>

Всего самого распробного вам обоим!

Ваша АЭ

РГАЛИ, ф. 2833 (В. Н. Орлова).

¹ Вероятно, А. С. излагает письмо матери 1923 г., где М. Ц. пишет о герое поэмы — Царевиче: «...он брат Давиду, и еще больше Ипполиту (вместо гуслей — кони!). Вы думаете — я также не могла написать «Федру»? Но и Греция, и Россия — одежда... Сдерите ее и увидите суть» (цит. по кн.: А. Саакянц. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910—1922). М. 1986, стр. 246).

² А. Блок. Записные книжки. 1901—1920. М. 1965; составитель и комментатор В. Н. Орлов.

³ В «Просторе» (Алма-Ата, 1965, № 10) была напечатана мемуарная проза М. Цветаевой «Отец и его музей» с предисловием К. Паустовского «Лавровый венок».

21. Е. Я. Эфрон

30 апреля 1966

Дорогая Лиленька, пишу несколько строк перед сном, чтобы поприветствовать Вас — когда? с утра? Когда к Вам придет это очередное письмо? Когда бы Вы его ни получили, знайте, что я мысленно с Вами — и всегда думаю о Вас, и чувствую Вас, и со-чувствую с Вами!¹

Вы знаете, в тот раз, что мы были у Вас с Адой, мы решили «кутнуть» и доехали до центра на такси. Было очень интересно ехать, т. к. обе совершенно не знаем этого района Москвы, а он сохранился почти неприкосновенным — «Застава Ильича» и еще какие-то длинные-длинные улицы, теперь переименованные, а прежних названий я не знаю — кроме Владимирки. Как-то особенно почувствовала до боли в сердце, как мне дорога та Москва, безвозвратно ушедшая, та Москва, которая единственно и была Москвой... Все смотрела и смотрела на ряды нетронутых двух- и трехэтажных домов с подворотнями (а в глубине — зеленая травка, собачьи будки, белье сушится, какие-то сарайчики греются на солнце...) — на неожиданно возникающие, такие разные, синие, розовые церкви (да, да, и церкви сохранились, по крайней мере видимость их!), на изредка попадающиеся особнячки с колоннами

и многозначительными аллегорическими фризами вдоль фронтонов... От безлико-бедных окраинных домиков, постепенно крепчающих в ремесленные, торговые, потом и вовсе купеческие обиталища, до коммерческой — прошлого века — Солянки и старого делового района города целая цепь, целый путь развития города и его истории. Ужасно интересно было видеть это все и ловить на лету — и красный трамвайчик, заворачивающий за угол с характерным и милым уху скрипом и скрежетом, и палисадник с сиренью, и магазинчики Чичкина и Бландова, облицованные кремовой плиткой снаружи — только вывески переменялись, а вид все тот же! — и не хватало лишь булыжной мостовой моего детства, горящей разноцветными круглыми камнями, из к-ых каждый как-то особенно искрился под моими детскими на худеньких ножках, стоптанными сандалиями...

Сколько же мы с мамой ходили по Москве, когда я была маленькой! И как же мама, такая физически близорукая, а душевно — далеко- и глубокозоркая, — научила меня всматриваться, вглядываться и вдумываться в Москву — любить ее, знать ей цену, знать цену ее единственности и ни на какой другой город непохожести! Да, этому всему уже полвека — шутка сказать! И какое пятидесятилетие прошло! — а теперь оглядываешься, как чужестранка, на безнадежный, казенный, бездушный стандарт новостроек и разумом понимаешь насушность этих квартир — с ваннами и «совмещенными сануздами», а душе до всего этого как-то нет дела... Да, не хлебом единым жив человек — да и хл е б ли этот железобетонный стандарт человеческих жилищ?

А теперь, погуляв с Вами мысленно на недобитом кусочку Москвы, ложусь спать... Звонила Эмма Григорьевна², справлялась о Вас; я сказала, чтобы она не ездила из Переделкина, как мы договорились с Вами...

Крепко, крепко целую и люблю!

Ваша Аля

РГАЛИ, ф. 2962 (Е. Я. Эфрон).

¹ Е. Я. Эфрон в это время находилась в больнице.

² Герштейн Эмма Григорьевна — друг Е. Я. Эфрон, литературовед.

22—23. В. Н. Орлову

18 августа 1966

Милый Владимир Николаевич, вот только когда собралась Вам ответить на милое Ваше письмо; да полно, «собралась» ли? Просто, как всегда, несколько слов наспех перед сном, притом самым «неуважительным» почерком! Мама говорила всегда, что «неразборчивый» почерк — неуважение к адресату, и не признавала никаких, кроме разве что боли в руке, отговорок. И сама писала ч е т к о...

Вчера скончалась Валерия Ивановна Цветаева, последний (насколько мне известно!) отпрыск Иловайских; последняя глава «Дома у Старого Пимена». Удивительно! Потрясающе! Какая-то заколдованная — или колдовская? — семья! Все у меня стоит перед глазами семейный Валериин альбом, где она в институтской пелеринке, само очарование: окаймленные темными (румынскими) веками светлейшие глаза, горделивый и изящный (орлиный) носик, ангельский ротик; красавица, богатая невеста, распродворянка, все впереди!

Вышла замуж по тем временам немолодой (за тридцать) — за любимого ученика деда И. В. Цв<е>таева — человека трудоспособного и трудолюбивого, порядочного, звезд с неба не хватающего, Сергея Иасоновича Шевлягина, тоже священнического рода, как и дед. Женялся на красивой, но с диким, чертовским характером Валерии, Сергей Иасонович в основном «бракосочетался» с ее отцом — «сделал карьеру», надеялся унаследовать деловы должности — но не тут-то было! Дед умер в 1913 г., не успев поставить зятя как следует на ноги; великая же октябрьская социалистическая отняла все на свете, кроме трудной супруги. С. И. кротко и мужественно нес этот крест вплоть до прошлого года, когда, поскользнувшись на тарусской гололеде, упал и ушиб голову, отчего и скончался через месяц-полтора, восьмидесяти с лишним лет от роду. Оставшись одна, Валерия поняла, что не умеет отличить советских денег от царских, поняла, что все на свете делал для нее и за нее неприметный и долготерпеливый муж, и впервые в жизни растерялась под напором б ы т а, к которому так и не успела приспособиться. Ндравная, недобрая, столь же темнодушная, сколь и светлоглазая, несказанно ведьминской наружности и всем этим п р и в л е к а т е л ь н а я старуха стала угасать — угасать по-своему, на свой иловайский «жестоковыйный» лад, рассорившись со всеми, всех невлюбля, а многих и возненавидя, угасать, того не зная и не сознавая, н е п р и з н а в а я болезнь и смерти, считая, что не про нее они писаны; путаясь мыслями и теряя рассудок, она

все уходила и уходила туда, к Старому Пимену, к не согбенному деду одна, одна, одна; прислуживал ей старый хитрый сторож — умывал, одевал в рваные хламидки, кормил картошкой и желтыми огурцами; вчера он прибежал ко мне, говорит: «Как заснула вчерась, так и не проснулась, все хрипит чегой-то, верно, кончается...» Вызвали «скорую помощь» — поздно.

Маму она — ненавидела; со мной рассорилась после нескольких месяцев знакомства, да так люто, что, будучи еще в уме и в памяти, запретила прийти на ее похороны, когда она умрет! Придется мне не хоронить и этого члена моей (?) семьи. <...>

Всего, всего Вам самого доброго и радостного! И простите за «похоронную» цидулку.

Ваша АЭ

2 сентября 1966

Милый Владимир Николаевич, <...>

Я глубоко задумалась над Вашими словами о том, что Валерия Ивановна — личность; и решила, что — нет! Личность — это всегда то, что претворяется в дело, каково бы оно ни было; личность — это всегда труд и призвание. А «личность» без рула труда и призвания — только характер, «ндра», и чаще всего — дурной. И Валерия, несомненно, была характером: сильным, своеобразным — и только. Вот она умерла, и многое осталось о ней; но ничего от нее. Родившись камнем, камнем и ушла в землю, высвободительное призвание не коснулось ее ни резцом, ни молотом...

Остались после нее воспоминания; к сожалению, начала писать их поздно, убедившись в том, что не только Марина, но и Ася, Ася!!! — тоже пишет! и включилась в сестринское соревнование слишком поздно, а жаль: память у нее была поразительная, а стиль — без всплесков и расточительства; написано сухо, вечно, и мне после Асиного бурления особенно — понравилось. В частности, то, как совсем юная, 15 или 16-летняя Марина из чистого хулиганства дала объявление в брачную газету и дворник выпроваживал «женихов» из профессорского дома; или как она же, нуждаясь в каких-то деньгах не медленнo, заложила в ломбард Валерину... постель! — чистую, невинную, девичью, институтскую, дворянскую Лёрину постель! Кстати, именно на таких пустяках и подорвалось ее отношение к сестре: еще одно доказательство тому, что — не личность, а лишь характер: личность — всегда в развитии, характер же — статичен...

В ночь на 27 августа, мамину годовщину, вдруг ударил мороз; в одну ночь все завяло — кроме сильной листвы сильных деревьев и стойких, подсолнечником пахнущих, осенних астр. А день наступил чудесный, торжественный и тихий. Я провела его в дальнем лесу, кафедральном, хвойном, напоминающем так любимую мамой Чехию; и вместе с тем — Россию над Окой — вся она! <...>

Ваша АЭ

РГАЛИ, ф. 2833 (В. Н. Орлова).

24. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич

7 августа 1967

Дорогие Лиленька и Зинуша, эту записку отправит в Москве Аня, которая приехала вслед за друзьями из Парижа¹, так что наша гостиница работает без перерыва, и мы, обслуживающий персонал, тоже... Устала от парижан без памяти — не столько от них самих, сколько от груза прошедших лет и ушедших людей, груза, который надо было поднять в считанные дни и часы, между хозяйственными заботами и прочими будничностями и ежедневностями. Трудным оказалось и многое другое, в частности, как ни парадоксально, то, что — он оказался таким хорошим, более того — прекрасным, высокого строя человеком; это заставило еще раз понять и почувствовать непоправимое бедствие: истребление целого поколения таких людей — стойких, верных, мужественных и добрых. Ну, обо всем этом при встрече, всего не напишешь, да и времени, как всегда, в обрез!

В 20-х числах авг., вероятно, буду по делам в Москве, тогда приеду, но ближе к делу, конечно, напишу, а пока ничего еще толком не соображаю и голова кругом...

Крепко обнимаем и целуем!

Ваши А. и А.

РГАЛИ, ф. 2962 (Е. Я. Эфрон).

¹ Речь идет о приезде К. Б. Родзевича и его жены.

25—26. В. Н. Орлова

10 сентября 1967

Дорогой Владимир Николаевич!

<...> Большое горе — смерть Эренбурга. Аня была на похоронах — говорит, было г р а н д и о з н о е, небывалое количество народа и — полицейские рогатки у кладбища. Она Вам рассказывала много интересного об этом.

О «Герое» я Вам и расскажу, и напишу, и вообще з а п и ш у его приезд сюда и то, о чем мы говорили, вернее — то, что говорил он. О б а я н и е этого человека велико и теперь, но поразила меня его углубленность человеческая, чего раньше не было и в помине, его дорастание до поэм и до самой Марины и — вечный закон разминовения, ибо этого он ей сказать не может и не сможет.

Он приехал сказать об этом мне. И наша встреча, встреча двух дорастающих, доросших до глубочайшего понимания того, что у них отнято, того, что нам дано слишком поздно, — была, пожалуй, одним из сильнейших потрясений моей жизни...

Кончаю. С Богом. По домам.¹

Получили ли «Моего Пушкина»² с надписью составителей, скрепленной цветаской печатью, привезенной «Героем» из Франции по моей просьбе? Откликнитесь! Всего, всего, всего самого доброго вам обоим.

Ваша АЭ

Еще раз простите каракульность и невнятность.

¹ Перефразированное начало стихотворения А. Блока «Седое утро» («Утрет. С Богом! По домам!»).² М. Цветаева. Мой Пушкин. Подготовка текста, комментарии А. Эфрон и А. Саакянц. М. 1967.

25 декабря 1967

Милый Владимир Николаевич, пишу Вам в волшебный день «всемирного» — кроме нас, православных, — Рождества — и чувствую этот день праздником, всю жизнь! Тут и воспоминания о чешском моем детстве — в каждом доме пекли «ваночки» (от слова «Ваноце» — Рождество) — такие сдобные плетенки; по домам ходили кукольники и «представляли» Великую Ночь; дети пообедали святыми Николаями — из пряничного теста с цветной глазурью; из уважения к святости прославленного чудотворца начинали с ног. И елки, елки... А потом Франция — уже без пряников, но с театрализованными витринами «больших магазинов», с рекламными дедами Морозами у подъездов — дядями в сказочных одеяниях, в комфортабельных ватных бровях, усах, бородах, но с голодным безработным блеском в глазах; детский писк, марципаны, хлопушки, подарки всем от всех (много бумаги, много бантов, одним словом — много упаковки, а «толку» — чуть!). А сегодня перед моим 55-летним носом, украшенным очками, но по-прежнему сохранившим д е т с к о е чутье ко всему праздничному, — торчат корпуса писательских казарм и ничего, ничего больше! К таким домам не подъезжает Снежная Королева на белых оленях, в таких домах не живут Кай и Герда — или я уже не различаю их в синтетических детях, топчущихся у подъездов? Вернее всего — последнее! <...>

Как я рада, что кончается этот год: уж до чего был труден, грузен — сил нет!

Всего, всего вам обоим самого доброго. Главное — не болейте!

Ваша АЭ

РГАЛИ, ф. 2833 (В. Н. Орлова).

27. Р. Б. Вальбе

11 апреля 1969

Руфь, деточка, что с тобой, почему молчишь? Жизнь и так трудна и горька, а еще и эта тревога... Напиши, милая, хоть совсем коротко. Я ведь скоро уеду; если вспомнишь обо мне слишком поздно, то не получу твоего письма.

9-го апреля похоронила последнего, кажется, человека, которому здесь, в России, могла говорить: «а помнишь?» — мужа моей давней приятельницы Нины Гордон¹: не знаю, знаешь ли ты ее. Мы с ним дружили еще во Франции, а с ней с первых дней моего приезда в СССР. Всю свою молодость они маялись сперва по разлукам (он был, естественно, «репрессирован») — потом по чужим углам (она, поехав к нему в Красноярск, потеряла свою московскую «площадь»), теперь обзавелись — совсем-совсем недавно — жильем неподалеку от меня. Теперь оба вышли на пенсию — можно бы «начать жить». Не тут-то было.

Помимо невосполнимости потери физическое чувство, что смерть коснулась и меня. По-человечески я готова, то есть «сама я», а на самом деле еще нелзя — еще ничего мною не сделано для мамы, а я все продолжаю растрачиваться по мелочам, мелочи эти жадны и требовательны, а сил уже нет, не то что мало их, они просто на исходе.

Милый мой малыш, напиши, «дюжишь» ли ты еще в этой жизни? Как твои силы, как твое дыхание? <...>

Прости за бессвязность и безысходность письма — сама жизнь такова. Я жду твоей весточки, я в горе, что не умею, да и некогда сказать тебе все то, о чем говорю с тобой не вслух и не на бумаге. Будь здорова, целую.

Твоя АЭ

Архив публикатора.

¹ Гордон Иосиф Давыдович (1907—1969) — режиссер-монтажер кино. В 1937 г. был арестован. Отбыв наказание на Колыме, в 1945 г. получил паспорт с ограничением мест проживания и поселился в Рязани. Освободившись из лагеря 27 августа 1947 г., туда приехала А. С. и жила в одной комнате вместе с ним и его матерью до своего повторного ареста 22 февраля 1949 г. И. Д. Гордон также был повторно сослан в 1951 г. в Красноярск. Реабилитирован в 1954 г.

28. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич

19 июля 1969

Дорогие Лиленька и Зинуша, мы едем и едем (?) вдоль аграмадной реки, хоть и северной, но совсем иной, чем Енисей; Северная Двина как-то женственнее Енисея! спокойнее, мягче, что ли, хотя и тут суровости хоть отбавляй! Небывалая жара покинула нас в Архангельске, погода все время прохладная, скорее пасмурная, но с яркими просветами, по берегам необыкновенной протяженности редко разбросаны сёла, из которых почти каждое — старше Москвы. Избы и не назовешь избыми — настоящие дома, очень просторные и многооконные, под одной крышей и дом, и двор; садов нет; края лесные — со всех сторон леса подпирают небо. Лес кормит, река поит — жить можно, вот и живут издавна — крепко, обстоятельно живут, неспешно — не связанные с земледелием, изнуряющим и редко кормящим досыта. Проехали родину Ломоносова, ничем не отличную от других здешних сёл и берегов. Воздух не столь речной, сколь морской — все время чувствуется дыхание Белого моря. Старых деревянных церквей мало и в плохой сохранности. Стараюсь что-то зарисовывать — и на остановках, и даже на ходу. Небо здесь, как всюду на Севере, — очень высокое и необычайно просторное; еще стоят белые ночи, дневной свет чуть меркнет часа на два в сутки. Все время чувствую, что под этим вот небом, за этой лесной кромкой горизонта были сплошные лагеря; в сплошных лесах — сплошные лагеря! Скоро прибудем в Котлас, с которого началось когда-то мое странствие по Коми АССР. Сколько ни валили мы там лес — много его осталось и для грядущих поколений!

За парходом все время следуют чайки — штатные! От самого Архангельска кормятся остатками с «барского стола». Стол, впрочем, не ахти, но терпеть можно, тем более, что иного выхода нет.

Посылаю вам соловецкие открытки — Соловки недалеко, но мы туда не поедem, не хочется студеного моря и прочих неустройств! Крепко обнимаем вас! До скорой — уже — встречи!

Ваши А. А. и А.¹

Воображаю, как долго будет идти письмо.

РГАЛИ, ф. 2962 (Е. Я. Эфрон).

¹ Вместе с А. С. путешествовали А. А. Федерольф-Шкодина и А. А. Саакянц.

29. Р. Б. Вальбе

27 июня 1971

Очень все грустно, дорогая моя Руфинька! Сколько мук и страданий¹ — за что, за что! — людям, и так уже исстрадавшимся и измученным! И сколько же тягот и тяжестей неподъемных вновь навалилось на тебя; впрочем, они никогда с тебя и не сваливаются, ты всегда под грузом — тем или иным — и всегда непереносимым! Бедная Дilia, бедная Зина — за что им все эти испытания на старости лет и за что — тебе, в твои самые яркие годы! На все это нет слов, одни невыразимые болевые чувства и сочувствия, которые ни к чему, когда надо дело делать и помогать; а не «сочувствовать» издалека. Но я сама стала — за такой короткий срок — такой старой рухлядью, так разваливаюсь на составные части, что оторопь берет; уж и нос увяз, и хвост увяз — одновременно... И как-то уже

больше ничего не нужно в жизни, кроме покоя, передышки, которых негде взять, ибо не стало покоя и равновесия внутри себя, а ведь и з в н е они, по сути дела, никогда не приходили и не придут... С твоим письмом о том, что Лилина болезнь протекает так тяжело, померкло и обесмыслилось и то, что еще как-то скрашивало жизнь, — кусочек природы, видимый мне. Как все печально, Боже мой... <...>

Для того чтобы работать самой так, как «спланировала» на это лето, надо на что-то надежное опереться внутри себя, хочу верить, что удастся, что это самое «надежное» не раскрошилось по мелочам; оно ведь тратится, не лежит неприкосновенным запасом до востребования...

Крепко обнимаю тебя, малыш мой дорогой, наш верный друг, наш последний верблюд в этой жизни, становящейся такой пустыней, такой-такой Сахарой!

Главное, что нельзя, недопустимо тебе быть верблюдом, никогда не доделывать своих дел во имя чужих, потому что, поверь мне, — в жизни остается лишь то, что ты совершил своего, тебе заданного; чужие дела рассыпаются в прах...

Надеюсь все же, что Лиле стало полегче, а с ней — и всем вам, всем нам!
Целую.

Твоя АЭ

Архив публикатора.

¹ Тяжело заболела Е. Я. Эфрон.

30—34. В. Н. Орлову

26 августа 1971

Милый Владимир Николаевич, даже не могу сказать, что рада — наконец состоявшейся встрече Вашей с поэмой¹ — грустно подумать, сколько времени прошло, прежде чем она попала в Ваши руки! Радость же — чувство непосредственное и внезапное, типа «сказано — сделано», и даже без «сказано»! — ничего не имеющее общего с этим грузовым и подъяремным «слава Богу», которое мы выдыхаем, чего-то добившись, чего-то дождавшись. Что говорить — самые наипростейшие радости и те — в наши годы — чересчур уж медленно спешают нам навстречу! Зато мимо — быстро!

Тем не менее, однако, — хорошо, что Вы с ней (поэмой) встретились еще в относительном покое «дачи» — еще не в суете сует города — хотя город Ваш строг и строен и, вероятно, в какой-то степени организует на свой лад жизнь обитающих в нем. Конечно, в поэму, как и во все цветаевское, что после России, надо вчитываться, просто прочесть нельзя; вчитываться и даже вживаться. Что особенно затрудняет и даже искажает читательское понимание цветаевского творчества — это его абсолютная автобиографичность — или биографичность, если речь не о себе (нет, по сути, всегда автобиографичность!) — в то время как биография МЦ — абсолютная, и надолго — terra incognita для читателя. (Это я, конечно, не о Вас, Вы-то многое знаете и ч у е т е!) Данная поэма и биографична (по фактам), и автобиографична по светлому, романтическому восприятию авторскому этих фактов. Также и биографична, и автобиографична мнимая незавершенность поэмы: на Перекопе происходит настоящий и окончательный разрыв (внутренний) героя поэмы с делом, которому он служил (с л у ж и т еще — по долгу службы!) — нарастание этого разрыва, нарастание чувства правоты «врага» великолепно дано в поэме, хотя и в четверть голоса, почти неслышно, как оно и бывает в душе, когда — назревает! Герой выходит из образа Георгия Победоносца, из «Лебединого стана», разромантизируется (хотя последующее его служение тоже может быть названо романтическим, но — не должно! Тут — шаг из романтики в героику...) — а поэма посвящена именно Георгию в образе человеческом, вернее — земном. «Сочинять» Георгия дальше — МЦ не могла, писать то, для чего сама внутренне не созрела, — не хотела. Поэма эта — прощание автора с «Лебединым станом», последняя утрата последних «лебединых» иллюзий. Именно в этот период С<ергей> Э<фрон>² стал тем, кем он и погиб. Что же можно по-настоящему п о н я т ь в «Перекопе», не зная всего этого и многого-многого другого? Да ничего вглубь, только по поверхности, и лишь по поверхности поэма выглядит незавершенной. На самом деле это — точка, поставленная не только автором — самой судьбой. Дальше — все иное, фактически — все наоборот <...>

Ваша АЭ

¹ В. Н. Орлову была послана поэма М. Цветаевой «Перекоп», вышедшая в журнале «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1967, № 5).

² Посвящение поэмы «Моему дорогому и вечному добровольцу» адресовано С. Эфрону.

17 февраля 1972

Милый друг Владимир Николаевич, и тут такое же низкое, давящее небо, превращающее тоску душевную в чисто физическое и совершенно нестерпимое состояние. Впрочем, в последнее время никакое небо нам не помогает — потому что мы вошли в душевный возраст утрат невосполнимых; и себя утрачиваем — тоже.

В книге Анастасии Ивановны¹ главный недостаток тот, что пишет она о сестре в физическом, а не в духовном измерении; а Марина вся, всегда, с пеленок и до конца, была поэтом. Особость ее, отличность от других, в этом и заключалась, иначе она была бы просто «тяжелым характером» среди иных тяжелых характеров.

В книге воспоминаний Ася все время незримо, подспудно, и может быть, неосознанно, соревнуется с Мариной, выправляет ее — собою, ее непримиримость, единственность, ее творческую и человеческую личность, наконец — собственной всеядностью и легкорастворимостью во всем и вся (есть такой сахар, быстрорастворимый). В книге смещены и засахарены линии: Марина — ее мать; Марина и Валерия; и вообще — Марина — и все остальные; роковое начало в семье — каким-то шеридановским; нет! — на грани с Чарской! Если бы все это было написано в те годы, о которых речь, то еще туда-сюда; но сейчас, когда жизнь прожита и этим самым дана возможность широкого охвата, глубокого подхода, писать без проекции Марины состоявшейся на Марину в процессе становления, пожалуй, не стоило бы. «Ребенок, обреченный быть поэтом»² — так звала себя, маленькую, Марина. А у Аси получился поэт, автором обреченный быть последовательно — только ребенком, подростком и т. д. Творчество — пристяжное. Что до Асиной изобразительности, вначале обрадовавшей меня, то вскоре она начала раздражать, ибо превратилась в уравниловку изображаемого.

Но что говорить: написать про Марину мог бы никто ей равнозначный — такого пока (или уже) — нет; или — гётевский секретарь (фамилия мгновенно выскочила из головы! — вспомнила: Эккерман!), то есть бесстрастно записывающий «с натуры» без выпирающего собственного «я». Причем чем ничтожнее это «я» (пишущего), тем, как ни парадоксально, — больше затеняет, искажает, подменяет собою того, о к<отор>ом пишет. (Это я уже не об Асе...)

То, что я сейчас пишу «в журнальном варианте»³, — плохо: а) я не умею писать; б) не справляюсь с материалом, не умею его организовать, соблюсти соотношение между Мариной и окружающим, окружением, обстоятельствами и т. д. Материала у меня слишком много! А меня самой — слишком мало...

Заедает быт, заботы, болезни. И то, что от обоих родителей я унаследовала только недостаток — ни одного качества.

Не досадуйте на невнятицу и абракадабру; Вы во всем разберетесь... Сил, здоровья и высшего неба над головой Вам и Елене Владимировне! Обнимаю обоих.

Ваша АЭ

¹ А. И. Цветаева. Воспоминания. М. 1971.

² В стихотворении 1935 г. «Отцам» («Поколение с сиренью...») есть строки: «Вы, ребенку — поэтом / Обреченному быть...»

³ А. С. готовила для журнала «Звезда» «Страницы воспоминаний». Они были опубликованы в № 3 за 1973 г.

1 июля 1972

Милый Владимир Николаевич, <...>

Достигаю свою «звездную»¹ рукопись, согнувшись пополам, с грелкой на животе, глуша дикие дозы антибиотиков и, главное, все время сознавая неосуществимость своей рукописной затеи, свое лилипутство перед заданным, лилипутство плюс цензурный намордник на нем!

Вы очень добры, через край! — что так захвалили меня; но дело-то не в достоинствах данной, углой, рукописи (за исключением детских записей, которые действительны хороши, точны, первозданны!), а в низком уровне большинства того (опубликованного), что приходится читать в последние годы. По сравнению с этим однообразно бессмысленно и безязыко бормочущим потоком и мой скорбный труд неплох; а по большому, высокому, глубокому счету, по правде, которую только одну писать и надлежит, тем более в 60 лет! — это лишь бесталанные крохи «с барского стола» этой самой правды...

Что делать, что делать! <...>

Обнимаю вас обоих. Дай вам Бог и человеки сил, отдыха, покоя, радостного лета. А. А. шлет сердечный привет. Пишите!

Ваша АЭ

¹ «Страницы воспоминаний», предназначавшиеся для «Звезды».

6 февраля 1973

Милый друг Владимир Николаевич, опять я безобразно опаздываю с ответом на Ваше письмо — и хоть бы были к тому веские оправдания, а то — ничего, кроме раздробленности времени и тем самым своей собственной, когда не наоборот...

<...> Задумалась: сколько же времен (времен?) было в жизни — а по сути, в р е м е н и как такового не было и уже определенно не будет! Вероятно, время еще — и свойство человеческого характера? Хорошо мне, что я такой невежественный и первозданно-необразованный человек — могу иной раз и пофилософствовать, не боясь течений и ересей, о которых просто не подозреваю.

Кстати, о временах: а помните ли Вы, что 5 марта с. г. стукнет 20 лет со дня кончины Вождя и Учителя? Кого ни спрошу — все забыли. Воистину коротка наша память! И все лишь оттого, что так привыкли к напоминаниям, да и к умолчаниям. У меня сохранился траурный № «Огонька», привезенный еще из Туруханска; томов премногих тяжелее этот жиденький, глянцево-журнальчик! Какой был удивительный заупокойный митинг в том удивительном приполярном селе! Белое небо над снегами, как мраморы, самодеятельный духовой оркестр с промерзающим на лету звуком помятых труб (на каждую т р у б у выдавалось по четвертинке спирта, чтобы не затягивало льдом!) — шаткая трибуна, на которую громоздились районные мастодонты; салют из шести винтовок Тульского оружейного завода, произведенный шестью районными милиционерами, и над понурой толпой «местных» и ссыльных — срывающийся голос сибирского поэта Казимира Лисовского, прилетевшего из Красноярска на самолете, на котором и сочинил подходящие к событию стихи. Увы, поэт картавил не хуже Симонова и поэтому, возглашая нечто вроде «и рыдают над ним рыбаки Туруханска», произнес вместо «рыбаки» — «баки»,ardon. Что несколько приободрило скорбящие массы.

На этом сообщении двадцатилетней давности и покидаю Вас пока — авось до скорой встречи, письменной или устной. За окном опять слякоть, тает с трудом накопленный снежок, а с ним вместе, боюсь, и урожай будущего лета. Плохая зима!

Всего Вам и Madame самого доброго-предоброго, здоровья в первую очередь!

Ваша АЭ

РГАЛИ, ф. 2833 (В. Н. Орлова).

28 августа 1974

Милый Владимир Николаевич, какая жалость, что глаза подводят, что время подводит, что здоровье подводит — и что вообще и в частности столько подвохов вокруг нас и внутри — первейший же из них — этот самый «возраст» на седьмом десятке! Сколько, оказывается, козырей в его игре — игре с нами, в нас и против нас! «Кабы знать» — мы бы больше ценили просто молодость, просто здоровье, когда были богаты ими <...> Надеюсь, когда эти корявые строчки доберутся до Вас, Вы уже будете смотреть во все глаза «в корень» очередной работы и опять докажете фениксово свое начало и фениксову свою суть. Прошу Вас, если и когда Вам вновь, не дай Бог, станет нудно на душе, оглянитесь в мою сторону мысленно, мысленно же заберитесь, хотя бы на несколько мгновений, в мою не греющую шкуру — и Вы сейчас же ощутите, какой Вы молодец, и какое счастье, что поблизости Елена Владимировна (даже когда в турне — все равно поблизости!), и какое счастье, когда каждое горе — пополам. А мне уже давно некому сказать: «а помнишь?» — хотя бы это сказать! И иной раз трудно превозмочь то, что принято называть одиночеством. Я говорю «то, что принято называть», потому что, несмотря ни на что, одиночества своего не ощущаю в полной мере; но ведь на самом-то деле происходит это только благодаря памяти и воображению — ценностям бесплотным, а у бесталанных еще и бесплодным...

Так что Вы еще вполне — кум королю, и да будет так, и тьфу, тьфу, не сплзнуть, и храни Вас Бог, Елена Владимировна и... обстоятельства!

Сегодня — первый день на тридцать шестой год с того 27-го августа¹, когда я в последний раз видела своих близких; на заре того дня мы расстались навсегда; утро было такое ясное и солнечное — два приятных молодых человека в одинаковых «кустюмах» и с одинаково голубыми жандармскими глазами увозили меня в сугубо гражданского вида «эмке» из Болшева в Москву; все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, не позже, что все моментально выяснится, а вместе с тем не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группка людей, теснившаяся на крыльчке дачи, неотвратно отплывает назад — поворот машины и — всё. Слезы мои пересохла за 35 лет, всплакивать случалось только от злости; та беда терзает меня всухую и — кому повем?

Нынче зимой решила «вплотную» заняться маминым архивом, начать по частям передачу его в ЦГАЛИ; не ровен час помрешь — чего хитрого? — и оставишь все эти сокровища беспризорными. Нельзя. Так что пожелайте мне сил на это. Легко ли отдавать все это — живое! — «в казенный дом»? Но иного выхода нет...

Всего вам обоим самого доброго! Обнимаем вас сердечно: сил вам, удач вам! А. А. шлет привет.

Ваша АЭ

Отрывок из письма был опубликован в «Известиях» (14.5.92).

¹ 27 августа 1939 г. А. С. была арестована.

35. Н. В. Канель

26 декабря 1974

Милая моя Дина¹, вот и еще один Новый год на пороге — всегда в это время оборачиваешься к тому, нашему с тобой, удивительному по обстоятельствам (которым теперь собственная память не хочет верить!) и по душевной нашей с тобой близости — новогоднему Сочельнику²; и звон курантов с кремлевской башни (до сих пор до меня доносится); и полная грудь веры, надежды, любви — несмотря ни на что, поверх всего. Ты глубоко во мне живешь, хоть, верно, и не догадываешься об этом, да и трудно догадаться; но это так, и теперь уже можно сказать «навсегда», потому что мы действительно знаем цену всем «всегда», всем «никогда», измерив высоту вершин и глубину бездн. Что принесет этот новый год — увидим; но лишь бы ничего не унес из того, что у нас уже (еще) есть... Обнимаю вас обоих³, желаю вам и вашим близким всего радостного и светлого.

Твоя Аля

Архив Н. В. Канель.

¹ Дина — Надежда Вениаминовна Канель (р. 1903). В одной камере с нею во внутренней тюрьме на Лубянке А. С. в 1939—1940 гг. провела первые шесть месяцев — время допросов. В августе 1940 г. она оказалась в одной камере с Юлией Вениаминовной Канель (1904—1941) и смогла рассказать ей о сестре. На следующий день после того как в августе 1953 г. в газетах появилось сообщение о разоблачении Берии, А. С. отправила в Прокуратуру СССР письмо, в котором сообщала все то, что было ей известно об истязаниях, которым подвергались сестры Канель.

² Новогодний сочельник и новый, 1940 год А. С. встречала вместе с Диной Канель во внутренней тюрьме на Лубянке.

³ ...о б о и х... — Н. В. Канель и ее мужа Адольфа Вениаминовича Сломьянского (1901—1985). Он ждал ее все годы, когда она была в тюрьме, и вырастил оставшихся у него на руках племянников, сыновей погибшей Юлии Вениаминовны.

36. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич

21 июля 1975

Дорогие мои, наконец получила сразу 3 открытки и узнала, что вам только недавно удалось перебраться на дачу, куда я вам все время писала и посылала телеграммы, вы же еще находились в Москве. Из больницы выписалась на днях, там было тяжело из-за жары, безвоздушия, запахов (нет канализации) — и изобилия тяж<елых> больных — что поделаешь! Зато были и санитарки, и сестры — причем «на высоте», как еще водится в провинции. От позвоночных болей спасали массажем и инъекциями, от сильно и впервые в жизни разыгравшейся бронх<иальной> астмы — внутривенным эуфиллином. Дома легкие приступы преодолеваю сама, при тяжелых приходится вызывать «скорую». Трудна астма с ее предсмертными задыханиями, особенно ночными... Оказывается — просто дыхание — настоящее счастье! Целуем вас всех!

А. и А.

У нас сегодня первый дождь за много времени. Была настоящая засуха. Говорят, вышла моя «Звезда» с кусочками воспоминаний о родителях¹...

РГАЛИ, ф. 2962 (Е. Я. Эфрон).

¹ № 6 «Звезды» за 1975 г., в котором были опубликованы мемуары А. С. «Страницы былого».

Утром 26 июля 1975 года Ариадна Сергеевна Эфрон скончалась в тарусской больнице от множественных инфарктов.

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

*

ГЕББЕЛЬС. ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ДНЕВНИКА

«Я не могу больше беспредельно верить в Гитлера»

В марте 1925-го Гитлер объявил о воссоздании своей партии, распущенной после путча. В феврале он созвал на конференцию в Бамберг партийный актив. Как обычно, Геббельс записывает то, что происходило накануне.

15 февраля 1926. Гитлер выступает. Два часа. Я пришиблен. Что за Гитлер? Реакционер? Удивительно неточно и неуверенно. Русский вопрос: абсолютно неудачно. Италия и Англия наши естественные союзники! Ужасно! Наша задача уничтожение большевизма. Большевизм — еврейская сила! Мы унаследуем Россию! 180 миллионов!!! Компенсация императорскому дому! Право должно оставаться правом! Также и для властителей. Частную собственность не подрывать (sic!). Ужас! Хватит программ! Довольно этого. Федер кивает. Лей кивает. Штрейхер кивает. Эссер кивает... Короткая дискуссия. Говорит Штрассер. Заикаясь, дрожа, неумело, славный, честный Штрассер, ах господи, как мало мы соответствуем этим свиньям! Полчаса дискуссия после четырехчасовой речи. Бессмыслица, ты победила! Я не могу произнести ни слова. Меня словно по голове стукнули. На машине на вокзал. Так болит сердце!.. Я хочу плакать!.. Ужасная ночь! Величайшее разочарование моей жизни. Я не могу больше беспредельно верить в Гитлера.

Только что казалось, «западный блок» Штрассера, в котором стремится выделиться Геббельс, «триумфирует» в движении, «мы победили по всем линиям». И программа блока, в которой социальное предшествует национальному, встретит одобрение Гитлера. Но пришел Гитлер. Выступил. И все разлетелось в прах. Все, что изрек Гитлер, в полном противоречии с политическими прикидками «западного блока». Все наоборот. Чьим же апостолом быть Геббельсу?

Состоялся обмен мнениями руководителей партийных групп земли Рейнской. «Мы социалисты. Мы не хотим быть ими напрасно». Но и спешные телеграммы с мест: «Никакой опрометчивости». Наконец Гитлер. Предложение: «Кауфман, Штрассер и я идем к Гитлеру, чтобы настоятельно с ним поговорить. Он не должен опускаться до этих негодяев. Итак, завтра снова на вокзал. В бой! Я отчаиваюсь! Спать! Спать! Спать!»

Но буря в стакане воды улеглась. Демарш не состоялся. Гитлер остался в стороне. Все разрешилось лишь склоками между национал-социалистами, жалобами, науськиванием.

22 февраля. Штрейхер болтал. Меня назвал опасным... Бутман ругал меня. Я-де еврей и иезуит... Письмо Гитлеру! Жалоба на Штрейхера. Письмо Штрейхеру.

24 февраля. Заметка против бесстыдных демократов, которые нападают на уничтожителя масонства Муссолини. Из Мюнхена ничего нового. Гитлер еще не ответил на мое письмо против Штрейхера. Тамошня камарилья уже будет прилежно науськивать. Сегодня допрашивали в полиции. Меня снова хотели схватить.

«Верность и пиво»

13 марта. Шеф! Он снова разрушил некоторые мои сомнения.

21 марта. В Нюрнберг... Там на авто в кафе. Юлиус Штрейхер ждет меня. Долгий разговор. Примирение.

27 марта. Меня ругали. Оклеветан! Черт знает что за сволочь! Дерьмо! Берегитесь. Собаки вы. Если мой дьявол будет спущен мной, вы его больше не удержите.

Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

29 марта. *Сегодня утром письмо от Гитлера. Я должен выступить в Мюнхене. Хорошо!*

31 марта. *Выступал в четверг в Мюнхене. Один день у Гитлера.*

6 апреля. *Бедная Эльзельян! Выше голову, дитя. Мы все несем вину отцов! Несем без жалоб!*

18 апреля. *Вечером прибытие в Мюнхен. Автомобиль Гитлера тут. Котелю. Какой знатный прием... Вечером на автомобиле к городской пивной. Гитлер уже здесь. Мое сердце стучит, готовое разорваться. В зале. Неистовое приветствие. Человек на человеке. Голова на голове. Штрейхер открывает. И затем я говорю 2 1/2 часа. Я выдаю все. Неистовствуют и шумят. В конце меня обнимает Гитлер. Слезы стоят в глазах. Я счастлив... Гитлер ждет меня в отеле. Затем мы вместе едим... Пфедфер и Кауфман упрекают меня. Моя речь нехорошая... — Ведь Геббельс переметнулся на сторону Гитлера. — Где твоё жало, смерть? Почему меня затем изругали? И потом целая неразбериха обвинений... Каждое опрометчивое слово будет раздуто. О, боже, эти свиньи! В завершение следует единение. Гитлер велик. Он всем нам сердечно подает руку. Оставим это!.. После обеда продолжение. Приходит Гитлер. Принципиальные вопросы: восточная политика. Социальные вопросы... Он говорит 3 часа. Блестяще. Может свести с ума. Италия и Англия наши союзники. Россия готова нас сожрать. Все это есть в его брошюре и во втором томе его «Кампф»... Мы спрашиваем. Он отвечает блестяще. Я люблю его. Социальный вопрос. Совсем новое представление. Он все продумал. Его идеал: смесь коллективизма и индивидуализма. Земля целиком народу. Производство индивидуальное. Концерны, тресты, крупное производство, транспорт и т. п. социализировать... Он все это продумал. Я совершенно им успокоен. Он — человек, он воспринимает все во всем. Такая голова может быть моим вождем.*

Те же положения, высказанные Гитлером, которые два месяца назад ошарашили Геббельса, теперь не только безоговорочно принимаются им, но — с ликованием, с восторгом и восхищением. Все дело в том, что надо «вжиться» в новую идею, внушал он себе ранее, когда только примкнул к национал-социалистам. К этому же способу самовнушения успешно прибегнул он и на этот раз, и конечно же в страхе отторгнутости и потери веры в вождя, в жажде отдаться во власть Гитлера над собой. «Я склоняюсь перед большим меня, перед политическим гением» — насушенная для него формула. Лишь опираясь на нее, видя перед собой сильного человека, фюрера, он может внутренне собраться, преодолеть расхристанность, страх перед жизнью.

В заключение этого вечера Геббельс едет с Гиммлером в какой-то город. «Там я выступаю. Перед порядочными парнями. Это Бавария. Верность и пиво».

«Никакой сентиментальности во внешней политике»

К событиям в пореволюционной России у Геббельса повышенный интерес. Похоже, к универсальности идеи, хотя он так не формулирует. Он то поругивает большевиков, то восклицает: «Я немецкий большевик!» — видимо, потому, что считает себя поборником классово-борьбы. Россия тоже пострадавшая страна и к Версальскому договору никакого отношения не имеет. И в выборе, с кем смыкаться, Геббельс явно тяготеет к России. Против Англии.

Ранее, когда еще он не обслуживает формирующуюся национал-социалистическую политику, он может записать с сентиментальным чувством нечто схожее с тем, что в это время курсирует в либеральной немецкой прессе, гадающей о судьбах загадочной России: «Россия найдет новую христианскую веру со всем юношеским пылом и всей детской верой, с религиозной скорбью и фанатизмом». А Гитлер выделил в «Майн кампф»: «Никакой сентиментальности во внешней политике». Это о завоевании «Lebensraum» («жизненного пространства») для немцев на Востоке. И теперь, выступая, со всей брутальностью заявил: против России. В союзе с Англией и Италией. «Россия готова нас сожрать». Мы сами присвоим ее.

Через три дня после выступления Гитлера Геббельс завозит ему цветы. За этим не высказанное в дневнике признание Гитлера победителем в противостоянии Гитлер — Штрассер, в их соперничестве за влияние в партии. Он выслушивает соображения Гитлера о восточной и западной политике. Записывает: «Его доказательства вынужденные. Мне кажется, он не до конца осознает проблему России. Но и я должен кое-что продумать». Последнее сказано с превеликим. Не продумать — всего лишь принять сказанное. И это не просто подчинение. Это культ повинности своему демону честолюбия в его новой огненной ипостаси — Гитлеру. Тут и надежда — Гитлер отблагодарит: «Я думаю, он полюбил меня как никого другого».

В угоду Гитлеру он будет еще и еще отступаться от всего, что считал своим, пока оно не иссякнет за ненадобностью и он не останется лишь эхом Гитлера в дневнике и рупором его во внешней среде.

«Потрясающая духовная личность. Никогда не знаешь, что ждать от его своенравия.— Не одному лишь Геббельсу импонирует своенравие Гитлера, оно тоже входит в набор представлений его окружения о диктаторе, который должен быть непознаваем.— Как оратор — удивительное триединство жеста, мимики и слова. Прирожденный разжигатель. С ним можно завоевать мир. Дать ему волю, и он разрушит коррумпированную республику... Он знает все, гений... Такой малый может переделывать мир».

Что касается отношения к России, то Геббельс отступится, но в дневнике еще будут слышны арьергардные вздохи: «Дочитал «Распутина». Вечная загадка Россия. Сможем ли мы в Европе когда-нибудь понять ее и сориентироваться? Вряд ли». «Сегодня вечером буду смотреть большевистский фильм «Броненосец «Потемкин». Кауфман считает его блестящим».

«Через меня переступят...»

«Какой путь наверх! За два года! Я родился под доброй звездой».

С того дня, когда Геббельс попал в Веймар на смотр националистических сил, он пристал к Штрассеру, одному из самых влиятельных лидеров национал-социалистического движения. Он восхищался им, стал его помощником, сотрудничал в его изданиях и — это было огромным успехом по его первоначальным меркам — стал редактором еженедельной газеты в Эльберфельде.

Стремясь выделиться — «Я сам сотворю свою славу», — он до изнеможения носится по городам с агитационными выступлениями. За год «я выступал 189 раз». «Я вешу 100 фунтов» — так поиздержался он.

Но на политической сцене, где со своим мюнхенским окружением Гитлер, где ярый Штрейхер по одну сторону от них, Штрассер по другую, где маячат Геринг, Гесс, Лей и другие заметные персонажи, Геббельс при всех своих стараниях пока что на второстепенных ролях, тогда как метит уже в «первые любовники».

При содействии Штрассера он протиснулся к Гитлеру и от малейшей того благосклонности, как и от собственных успехов («Какой путь наверх!»), готов воспарить, но также готов и сникнуть от несоответствия представлений о своем «жертвенном» вкладе в движение и реального своего положения в партийной иерархии. Его положение недостаточно закреплено организационно, и вовсе скудно поддерживается он материально. Решив: «Гитлер любит меня как никого другого», — он уже оплакивает себя: «Через меня переступят и пойдут дальше. Одним трупом больше на поле битвы веков».

«Люмпен-пролетариат... надо силой сделать счастливым»

19 апреля. Гитлер еще говорит. В экстазе. Гром одобрения.

30 апреля. Шлюхи стоят у дверей и заывают. Полураздетые. Ужасно!. Торговля телом! Я готов заплакать! Неужто мужчина пойдет? За деньги! Страсть превратилась в бесстыдство. Вот оно, общество!. На улицах блондинки обнимают ухмыляющихся китайцев! Полиция смеется. Вот буржуазное государство! Все — лишь страсть или гешефт.

1 мая. На улице демонстрируют красные.

13 мая. Людендорф — Гитлер. Мучительный вопрос. Наступит разрыв... Людендорф не государственный человек.

15 мая. Мы должны победить: тем самым мы станем непобедимы!

24 мая. Вечером боевое мероприятие в Феербахе. Рабочие не поддержали его и в конце собрания зашли «Интернационал». — И Геббельс со всей решимостью заносит в дневник: «Люмпен-пролетариат не хочет быть обращенным. Его надо силой сделать счастливым».

«Все каналы, включая меня»

«О, господи, дай мне в друзья Кауфмана. Он для меня все и я для него все», «Он укрепляет меня в моей вере и радикализме» и т. д. Однако похоже, что именно «мой добрый друг», «замечательный парень» намечен на вакантный пост гауляйтера в Эльберфельде. И тут уж он подвергается на все корки разносу. Да к тому же он прислал Геббельсу «бессовестное письмо»: «Тебе не хватает необходимой стойкости», — после того как Геббельс, выступив на конференции партийных руководителей, предав договоренность отстаивать программу «западного блока», подыграл Гитлеру.

30 мая. *С Кауфманом много спори. О гауляйтерстве. Так не пойдет. Один должен быть королем.*

А это тем не менее уже проецируется им на руководителя округа гитлеровская идея фюрерства. Гитлер объявлял себя единовластным руководителем движения. По такому же образцу собирались осуществлять свое руководство гауляйтеры в пределах своего гау, разумеется соблюдая полную подчиненность Гитлеру.

7 июня. *Вчера дебаты вокруг вопроса о новом гауляйтере... Обо мне речи вообще нет. Будто я ничего не сделал. Вот такова благодарность.*

Весь этот эльберфельдский период его задачей было поосновательнее войти в структуру партии. Упущен шанс. Но Геббельс не бездействует и обойдет своих соперников и недругов. «Штрассер подозревает, что я пойду на компромисс с Мюнхеном. Я разубеждаю его в этих глупых выдумках... Д-р Штрассер эмоциональный, симпатичный человек. Пока еще наполовину марксист. Но фанатик. Это уже кое-что... добродушный, нуждающийся в поддержке... Я его порой очень люблю» — это 10 июня. А уже 12 июня: «Я хотел бы уже, чтобы Гитлер призвал меня в Мюнхен... Все каналы, включая меня. Спать, спать! Если б больше и не просыпаться!»

«Хайль Гитлер!»

17 июня. *Вчера с Гитлером в Кёльне... Он знает все, он гений.*

21 июня. *Мы говорили о Вагнере. Он очень любит Вагнера.*

6 июля. *Гитлер говорит о политике, идее и организации. Глубоко и мистично. Почти как Евангелие. 15 000 СА (штурмовиков) маршируют мимо нас. Начинается третий рейх. Грудь полна верой. Германия пробуждается.*

12 июля. *Теперь я ищю тебя, красивая черная Дама!*

15 июля. *Красивая дама неприступна, а я глупый осел. Бегаю кругами, как мальчишки. Эрос напоминает о себе, как только останавливается моя бешеная гонка. Жизнь моя неестественна. Работа, борьба, неистовство. Все это теперь сказывается.*

Гитлер пригласил его к себе в Оберзальцберг. Вблизи этого горного селения, в Берхтесгадене, вскоре возникнет резиденция Гитлера в Баварских Альпах.

24 июля. *Шеф говорит о расовых проблемах. Ему невозможно возразить. Это бьет в самую точку. Он гений. Очевидно: он творящее орудие божественной судьбы. Я потрясен им... После ужина мы еще долго сидели в саду, и он проповедовал о новом государстве и как мы его завоюем. Это звучало как пророчество. Там в небе сиял свет, какой не даст ни одна звезда. Знак судьбы?.. Я еще долго не мог заснуть!.. Блондинка не подает никакого знака!*

25 июля. *Шеф продувная бестия... Он балует меня, как ребенка. Добрый друг и наставник! Вечером: он говорит о будущей архитектурной картине страны совершенно как архитектор. Он рисует картину новой немецкой конституции — совершенно как художник—творец государства. До свидания, мой Оберзальцберг. Эти дни указали мне путь! Из глубокой тьмы воссияла звезда! Я связан с ним до конца. Исчезли последние сомнения. Германия будет жить! Хайль Гитлер!*

3 августа. *Дождь цветов на Гитлера и на меня.*

20 августа. *В М. Гладбахе выступал. Хорошо. После того в Рейдте стычка с несколькими еврейскими мальчишками.*

21 августа. *Я подозреваю, что приятель Грегор Штрассер завидует мне. Этого недоставило. Если между нами начнется ссора, то все прахом.*

Ссора началась. Перешла в смертельную вражду.

21 августа. *Я сегодня так подавлен. Сколько я потерял — и что на что выменял?!*

Реальным соперником Гитлера за верховенство в партии был Грегор Штрассер. Пока Гитлер содержался в тюрьме, Штрассер локализовал распад партии, запрещенной в связи с путчем 1923 года, насаждая вопреки запрету местные партийные группы, стаянул под свое начало округа, находившиеся также на полулегальном положении, блокировался с другими националистическими организациями. В качестве видного политического лидера Штрассер и предстал перед глазами Геббельса на смотре националистических сил в Веймаре. И Геббельс устремился к нему. И обрел его поддержку.

К моменту выхода Гитлера из тюрьмы Штрассер был влиятельнейшей фигурой в партии, в придачу депутатом рейхстага. Химик по специальности, защитивший диссертацию, материально обеспеченный, семейный человек, Штрассер по сравнению с Гитлером был, можно сказать, респектабельным, да и более определенным, более просматриваемым и рациональным. Но эти названные последними черты, как мне видится, отнюдь не давали Штрассеру преимуществ. Толпа, которую завоевывали национал-социалисты, жаждала веры — это подмечали герои Ремарка,—

о вере стенает Геббельс в дневнике. Толпа жаждет внушения, а не ясности, чего-то иррационального, мистического, фатального и в то же время — решительного. Самое время явиться харизматическому лидеру.

Инфернальный, впадающий в экстаз, экспансивный игрок, Гитлер при сходных призывах и обещаниях больше, чем Штрассер, отвечал запросам толпы, овладевал ею. «Как женщина, которая... из-за иррациональной, чисто эмоциональной тоски по дополняющей ее силе охотнее склонится перед сильным, чем будет господствовать над слабым, так и масса предпочитает господина, а не просителя»¹. К этой массе принадлежит и Геббельс.

Мне рассказывал директор берлинского городского архива г-н Шмидт. Он был подростком в гитлеровское время. Ему запомнилось впечатление, которое производил голос Гитлера. Он говорил со странным акцентом, словно пришелец с баварских гор. И эта окраска голоса сообщала какую-то горную отдаленность фюрера от привычного, обыденного, будто он обращался из какого-то иного мира, внушала нечто мистическое. «Так поддаться немцы могли только человеку из Ниоткуда», — пишет Голо Манн, историк, сын Томаса Манна. Я подумала: и нам есть что вспомнить о соотношении нашего горца, усиливавшем дистанцию непознаваемого, которая нужна диктатору.

Что касается Геббельса, то он предал своего покровителя Штрассера, смекнув, что за Гитлером большая политическая сила, и переметнулся к нему. Гитлер, стремясь ослабить влияние Штрассера в партии, переманивал его сторонников. Геббельс из команды Штрассера был обласкан Гитлером. Так Геббельс, сначала близостью к Штрассеру, а потом предательством его, обеспечил себе продвижение в партии.

«Я умер и давно погребен»

3 сентября. *Вчера среди дня внезапно явилась Эльзе. Я так был рад этому. Румяная и загорелая, она выглядела такой свежей и здоровой. Мы пережили прекрасные, а порой и болезненные часы. Каждый несет свой крест. Вечером она уехала. Расставание далось мне тяжело. Ведь она милое, радостное дитя.*

23 сентября. *Воскресенье. В Кёльне с Эльзе. В споре разлетелись. Я очень рассержен. В зале ожидания я встретил юного фанатика... Германия не умрет!.. В понедельник вечером речь в Штутгарте... Во вторник выступал в Ульме. Блестяще!*

25 сентября. *Вчера вечером в Эльберфельд. Я говорил хорошо и успешно. Сейчас в Рейдт. Эльзе написала прощальное письмо. С богом!*

27 сентября. (Разрыв с Эльзе.) *Я распрощался с жизнью других! Сердце разорвалось!*

Это последний всплеск, в нем при обычной выпренности можно еще различить и что-то человеческое. Похоже, в последний раз.

Он не раскрывает, что произошло. Может, не так уж бесчувственна Эльзе к его антисемитизму. Или разумная Эльзе, пусть и заплаканная, как он описывает, решила опередить события, ведь их отношения обречены. Может, и Геббельс подталкивал к разрыву. Для него, возлюбившего превыше всего карьеру, славу, женитьба на ней, полукровке, катастрофична. И ему уже дан сигнал: на Берлин! Так что как раз и подоспело с разрывом.

Более пяти лет Эльзе была возлюбленной, невестой. Ее присутствием или ожиданием ее прошиты чуть ли не все записи этих лет. Ее легкость, нетребовательность, отзывчивость на его призывы, их встречи и расставания на перронах разных городов, ссоры и любовные примирения, ее жизнелюбие, естественность своей живительностью вторгались в его выморочное, придуманное, надрывное существование.

«Рука в руке и спускаемся вниз к Рейну. Нет денег на обед. И все же как безгранично я счастлив и рад. Ты милая, любимая! Спасибо тебе!.. Милая, хорошая Эльзе! Я люблю тебя!» (11.1.26).

Теперь с этим покончено.

На следующий день после состоявшегося разрыва он записывает: «Я умер и давно погребен. Как тяжело на сердце».

Он останется в своей органике: во внутрипартийной сваре, кознях, подсиживании, соперничестве — в этом он «как рыба в воде».

«Эльбрехтер в Веймаре всех натравливает против меня... Разоблачительный материал против Эльбрехтера». «Я получил уничтожающий материал на Эльбрехтера. Конец света. Преступник в маске порядочного». «Эльбрехтер негодай. Вон!»

Останется накал пропагандистских выступлений: мелькание городов, массовые собрания. «Вчера в Бохуме... После обеда в Бланкештейн. Вечером Гёттинген».

¹ A. Hitler. Mein Kampf. München. 1934, S. 27.

Предстоит: «Лейпциг, Дрезден, Лимбах, Берлин, Потсдам, Бреслау etc.». «Гигантский успех... Меня несли на руках». (Нелишне напомнить: он весит всего сто фунтов.) «Сегодня вечером в Гёттинген... бить социал-демократов!»

Тетрадь подходит к концу. Встречаются строки, не поддающиеся прочтению — неразборчивы, небрежны. Ключья фраз, многоточия, указывающие на выпадение здесь текста,— облик сохранившихся страниц будто доносит всклокоченность самого автора.

Но вот: «1 ноября состоится окончательно — в Берлин (гауляйгером)... Берлин ведь — Центр. И для нас. Мировой город».

И последняя запись в тетради:

«Письмо от Гитлера, Берлин окончательно. Ур-ра! Теперь через неделю в имперскую столицу. Прощай, Эльберфельд!.. Мой день рождения... полно поздравительных цветов. От Эльзе ни слова... Жизнь так мрачна!» (30.10.26).

На этом тетрадь обрывается — провал,— дальнейшие последовательные записи не обнаружены. Мы встретимся вновь с автором дневника только через полтора года, и это будет уже другой Геббельс, в его новой фазе.

Часть вторая

«...забвения не дал Бог»

Воспользуемся полуторогодичной паузой, остановившей поток записей, из которых я старалась вычленить наиболее характерное, и задумаемся, что же собой представляет автор дневника.

В выступлении британского обвинителя на Нюрнбергском процессе звучат в адрес Гитлера и его ближайших сообщников-преступников, каким был Геббельс, слова «безумец», «безумный», «психопатическая личность».

На этот счет у В. Ходасевича есть интересное заключение о том, что вообще для истории сумасшедший персонаж, пусть и носитель наивысшей власти, неинтересен. Для нее «он — ничто, нуль. История считается лишь с последствиями его безумных действий; с ним самим ей делать нечего. Она не предаст его память забвению лишь потому, что ей, как лермонтовскому Демону, „забвенья не дал Бог“».

Хотя наплывы психической ущербности в дневнике налицо, применительно к Геббельсу речь не идет о том виде сумасшествия, когда и спросить не с кого. Он-то вменяем. Это лишь ставится на нем клеймо истории.

Но и Геббельс как раз тот случай, когда и вообще-то о личности говорить не приходится. Геббельс — «ничто, нуль». Кажется, ведь тем самым упрощается о нем представление. Но не так. Сложнее обрести его. Не за что зацепиться — фантом. Но Геббельс и все, что с ним связано, это еще не сдано на поруки истории, все еще слишком живо для нас, актуально и угрожающе.

При социальных, психологических и экономических невзгодах Германии молодая, незрелая, не укрепившаяся демократия — Веймарская республика, «нежный росток без глубоких корней» (У. Авнери²), — не выстояла против вырвавшегося внутри нее фашизма. От этого исторического прецедента нельзя отмахнуться нашей стране, делающей первые шаги к демократии. К тому же имея за спиной у себя тоталитарный строй, устоявший в толще народной жизни.

К тем наблюдениям, которые возникали по ходу чтения дневника, пожалуй, не так уж много есть что добавить о его авторе. Да и в ранних записях было все же шевеление неблагополучия, эмоциональные всплески. Когда же теперь становление д-ра Геббельса-нациста окончательно завершилось, он уплощается, превращается в типично нацистского функционера. Выхолощен, циничен. Он становится одной из самых зловещих фигур гитлеровского времени.

Он — пуст. И может, одно из самых угнетающих представлений, вынесенных из знакомства с дневником, это то, как успешно Геббельс втягивал в свою агрессивную, зловещую пустоту миллионы немцев.

И еще одно существенное и печальное наблюдение в связи с Геббельсом: высшее образование, даже гуманитарное, не дает иммунитета к фашизму, но может быть использовано на службе у него.

Впрочем, сколько-нибудь серьезной образованности, которая может дать устойчивость человеку, в Геббельсе не обнаруживается. Он успешно сдавал экзамены, но не слишком усердствовал в годы учения, что следует из дневника. Поверхностная нахватанность, минимум обязательной классики, модные книги и те, что на злобу дня, оснащавшие его переимчивость декадентскими ужимками.

² Авнери Ури — публицист, мальчишкой переживший свержение республики в Германии.

Спустя полтора года

1928 год. Уже продолжительное время Геббельс возглавляет национал-социалистическую организацию Берлина. Гауляйтер Берлина. Ключевой, номенклатурный пост. Его и при наличии в дальнейшем других высоких должностей Геббельс не уступит до самого конца.

14 апреля 1928. *Вчера в переполненном зале заново основана партия. Великий праздничный миг. Организация начинается заново.* — После периода запрета НСДАП³ вновь разрешена. — *Все чувствовали величие исторического момента. Потом мы видели, как в длинной процессии маршировали по городу наши коричневые парни.*

Но капитан Штеннес, возглавляющий в округе военизированные штурмовые отряды, и его «коричневые парни» «доставляют нам серьезные заботы, — записывает следом Геббельс. — Эти парни, которые еще не пользуются у нас доверием, слишком вмешиваются во внутренние дела политического руководства, пытаются воздействовать на списки кандидатов (в рейхстаг) и более того. Но я возьму верх над этим». Таков был наказ Гитлера ему.

16 апреля. *Нам непременно нужно еще 3000 марок для выборов. Я позабочусь. Кроме этого все до мелочей подготовлено.*

22 апреля. *Я написал вчера вечером еще три передовицы. Так и текло с пера... Завтра я выступаю в Кёльне, послезавтра в Висбадене, в среду в Фриденау. Бешеная магия предвыборной кампании... в Бельциг. Сквозь угрожающую красную толпу. Там говорил... Я ехал в поезде с красивой русской.*

25 апреля. *Берлин! Работа! Темп! Бешеная энергия! Служба! Сегодня вечером я выступаю в Фриденау!*

26 апреля. *Вечером еще целый ряд нападений. В Мюнхене наши парни сорвали собрание Штреземана. Героический штрих.*

28 апреля. *Вчера вечером дважды выступал в переполненных залах... При отъезде на улице черные массы людей. Долой! Хайль! Красный бежал за нашим экипажем и кричал из глубины души: «Ты дерьмо!» — и плевал в нас. За это получил хороший удар кнутом по лицу.*

Вице-президент берлинской полиции д-р Бернгардт Вайс возбудил процесс против газеты Геббельса «Ангрифф» («Наступление»).

28 апреля. *Я предстал перед германскими судьями. Смехотворный фарс... Против всякой логики получили мы оба 3 недели тюрьмы.*

Но Геббельс, рьяно действующий в дни предвыборной кампании, рассчитывает стать депутатом рейхстага и тем самым получить статус неприкосновенности.

5 мая. *Наша предвыборная пропаганда действует замечательно.*

12 мая. *В центре предвыборной борьбы. Служебное помещение переполнено листовками и пропагандистским материалом. Работа кипит.*

Полная легализация партии национал-социалистов предоставила ей возможность вступить в борьбу за депутатские места в рейхстаге, развернуться в предвыборной пропагандистской кампании, когда возрастает политическая активность в народе. И Геббельс непрерывно выступает на массовых сборищах на улицах и в залах, на предприятиях и в кабаках — вербует сторонников партии, завоевывает и сам определенную популярность. Совершает со «своими» — берлинскими — вооруженными отрядами штурмовиков «триумфальные» марши, призванные демонстрировать силу и победительность национал-социализма. «Господство над улицей — ключ к власти в государстве».

17 мая. *Вчера вечером замечательное собрание в Нойкёльне. Я был в великолепной форме и, полагаю, очень хорошо выступал... Сегодня... Я еду со штурмовыми отрядами по стране... Великолепный марш! Все улицы заполнены красными. Уши гложут от крика и свиста, но наши люди без замешательства, не отступая, маршируют. С этими парнями мы когда-нибудь завоеваем мир.*

А между тем: «Господа военные причиняют мне много беспокойства, более всех Штеннес. Солдат должен оставаться вне практической политики. Военные должны точить меч. Когда пустить его в ход, решать политикам».

Геббельс теперь другой. Карьера в партии осуществляется. Прозябая, он апеллировал к чуду, что вызволит его из крошечной нужды и ему не придется искать работы для заработка и тем самым стать как все, что было бы для него, нестерпимо. Чудо свершилось. Он призван был Гитлером возглавить столичную организацию национал-социалистов. Партия содержит его материально. Геббельс упрочился. Его не узнать. Нет прежней лихорадочности, какой в особенности отмечен затянувшийся «инкубационный период», когда эйфория продуманного риска соседствовала с

³ НСДАП — национал-социалистическая рабочая партия Германии.

подавленностью, страхом перед жизнью. И такое непереносимое прежде в записях слово «отчаяние» исчезло. Иная теперь психологическая окраска. Поубавилось патологичности, или она отчасти камуфлирована внешней деятельностью, успехами.

Если он и сообщает: «устал», «нервы», — то это, так сказать, рабочая усталость, а не причитания, как было прежде. Национал-социализм вменяет теперь своим функционерам и приверженцам натиск и успех в борьбе.

В Берлине 1945-го, среди руин еще можно было кое-где встретить распространенное издавна напутствие Гитлера: «Надежные нервы и железное упорство суть лучшие гарантии успеха на этом свете». А Геббельс, как мы уже знаем, быстро «вживается» в требования и установки Гитлера. Он набирается самоуверенности, наглости, довольства собой. Расширяет сферы своего внимания и вмешательства. Словом, он компенсирован. Окончательно сложившийся нацист, Геббельс теперь лишь функционален. Нет больше «вечного сомнения, вечного вопроса» (1924). Нет своего внутреннего мира. Его энергия больше не отягощена болезненными комплексами, ущербностью. Ему надо слиться с партийной элитой, не обремененной никакими гуманитарными познаниями, мерихлюндиями, к которым Геббельс и сам уже давно питает воинственное отвращение.

Еще в 1925-м Геббельс записал: «Интеллигенция: самое худшее... Когда я встречаю «старого друга студенческих лет», меня бросает в жар и холод». Ненависть к интеллигенции, несовместимость с ней будут только возрастать.

«Итак, я депутат рейхстага»

22 мая. *Итак, я депутат рейхстага. Неприкосновенность — это главное.*

23 мая. *Телеграмма от Гитлера: он желает счастья.*

Газета Геббельса «Ангрифф» провозгласила: «Как волк приходит в овечье стадо, так приходим мы. Мы вступаем в рейхстаг, чтобы в оружейном арсенале демократии обеспечить себя ее собственным оружием». В просторечии же это фразерство сводится к более узкой задаче. Геббельс исправно является на сессию рейхстага, чтобы улюлюкать, «затопывать», как он пишет в дневнике, «отважно усаживать выкриками» неугодных ораторов, срывать заседания. «Что нам за дело до рейхстага, — цинично пишет он в своей газете спустя месяц. — Мы не хотим ничего общего иметь с парламентом... Я вовсе не член рейхстага. Я лишь обладатель иммунитета, я обладатель бесплатного проездного билета, я тот, который поносит «систему» и получает за это благодарность республики в виде 750 марок ежемесячно»⁴.

15 июня. *Выборы президиума. Бесконечное, нервное ожидание. Вот что такое парламент! Оплаченное безделье! Все это занятие низменно, но так сладко и увлекательно, что лишь немногие могут его превозмочь.*

До ареста Гитлер признавал в политической борьбе только завоевание улицы, массовость организации, насильственный захват власти. Он решился на путч в 1923 году — в год самых тяжелых невзгод и потрясений в Германии. К моменту его выхода из тюрьмы обстановка в стране заметно менялась. Была остановлена и преодолена инфляция, марка укреплялась. В трудных все еще условиях республиканское правительство стремилось к улучшению экономического состояния страны. И добились существенных успехов. Получены иностранные займы. Объем промышленной продукции превзошел довоенный уровень. В 1923 году он упал до 55 процентов уровня 1913 года, а к 1927 году поднялся до 122 процентов.

В эти годы Берлин был очень притягателен для людей искусства, литераторов, журналистов своей яркой художественной и интеллектуальной жизнью.

Путч не удался, и по выходе из тюрьмы Гитлер изменил тактику. Не военным переворотом достичь власти, а легальным путем. «Мы проникнем в рейхстаг и там развернем борьбу с католическими и марксистскими депутатами, — наставлял он сообщников. — Конечно, перестрелять противников быстрее, чем победить на выборах, зато гарантом нашей власти станет их же конституция».

Но пока на выборах в рейхстаг 1928 года нацисты получили всего с десяток мандатов. Укрепившаяся влиятельная социал-демократическая партия — 153.

Стабилизация, экономический подъем, рост уровня жизни в стране смертоносны для партии Гитлера.

Но в этот все еще трудный для Германии период легко подстрекать против правительства и нелегко правительству быть стойким, не балансировать между теми и другими оппонентами, избегать ошибок. Но при всех своих слабостях рейхстаг стоит на пути национал-социалистов к власти. Дезорганизовать работу рейхстага,

⁴ «Der Angriff», 22.4.28, 28.5.28.

дискредитировать его — с этими намерениями принимается за дело Геббельс, как и вся нацистская фракция рейхстага.

Тактика нацистов в борьбе с веймарскими партиями не ограничивается рейхстагом. Борьба носит также внепарламентские формы. Шествия штурмовиков, массовые сборища, крикливые лозунги, угрозы, стычки, нередко кровавые, — улица призвана оказывать давление на работу рейхстага, устрашать, расслаивать депутатов, раскачивать, дестабилизировать обстановку, постоянно требует отставки правительства и новых выборов, всякий раз открывающих нацистской пропаганде широкий простор.

В этот период у НСДАП пока что всего несколько газет. Но помимо них с травлей Веймарской республики, ее правительства выступает постоянно популярная, массовая пресса немецко-национальной партии, родственная национал-социалистической. И хотя Гитлер то порывал, то вновь блокировался с этой партией, то обрушивался на нее, именно ее националистическая профашистская печать, в которой выделялась газета «Таг» («День»), «подготовила крушение веймарского строя и расчистила нацистам путь к власти», отмечает историк И. Биск.

21 июня. *Поздно вечером у Крель-опер... Факельное шествие. Наши мальчишки играют и веселятся. Эти юноши всюду пройдут. Они подлинные завоеватели жизни.*

Эти мальчишки предназначены для кровавых схваток на улицах и на собраниях, куда их будет посылать д-р Геббельс, гауляйтер Берлина. Теперь, когда нацистская партия разрешена, а он сам пользуется депутатским иммунитетом, Геббельсу безопасно призывать к любым крайностям.

19 июня. *Теперь я неприкосновенен и могу говорить в открытую, так что будет весело.*

«Убийство!.. Семья крови, из которого взойдет новый рейх!»

Еще издавек Геббельс призывал хаос, крах — после чего якобы начнется новый отсчет времени, угодный «нам, юным», нам, «соли земли». Теперь он уже по-деловому, не покладая рук участвует в подталкивании страны к краху. Прилагает все усилия, чтобы возбудить недовольство масс. Главное лишь — внушать! — как и наставляет Гитлер в «Майн кампф»: учиться даже у враждебной ему католической церкви внушать учение, понимая, что имеет значение все — и обстановка и ритуал, «даже время дня, в которое произносится речь». Предпочтительнее вечер, поскольку утром человек бодрее, энергичнее, а «речь идет об ослаблении свободной воли людей», которых нужно подчинить «властительной силе сильнейшей воли».

Но скажем проще: каждое время выдвигает таких, а не иных площадных ораторов, способных возбуждать толпу и без этих витиеватых заготовок. Геббельс был одним из них. Немецкий национал-социализм имел в его лице своего глашатая-растлителя.

«Воистину все демоны, гнездящиеся в больном человеческом подсознании, вырываются на свободу, когда господствует «дух толпы», — писал протоиерей Александр Мень, вскоре зверски убитый. — Толпе чужды диалог, анализ, даже полемика. Она склонна к рабоблесту и насилию, капризна и инфантильна. «Исступление масс» топит в примитивных мифах человеческий разум и совесть, взрывает вековые этические устои».

Нацистам же именно и нужно безрассудство толпы, взрывающей «вековые этические устои». «Кровь, насилие» — оглашена или нет, эта формула колотится в каждом активном приспешнике Гитлера.

«Кто спасет Германию? — тестирует Геббельс своего собеседника. — Только Гитлер. Что произойдет после общего краха? Основание нового рейха». Геббельс возбужден этим предсказанием: «здесь господствуют силы духа, которые мы еще не знаем», хотя это всего лишь плоды его пропаганды. Он посещает отбывающего уже семь лет тюремное заключение убийцу министра иностранных дел Ратенау, восхищен им, называет его «победителем Ратенау». «Мы с ним получили возможность общаться более двух часов». И можно не сомневаться, что это общение с убийцей питало страсть Геббельса к насилию. «Всего наилучшего, мой дорогой!»

Другого убийцу Геббельс поспешил встретить, когда тот выходил из тюрьмы. «Я взял с собой Пфейффера, политического убийцу... после четырех лет его мучений».

«Лишь духом, а не рассудком» побеждать, утверждал Геббельс. А дух нацизма все больше облекается плотью насилия.

1 октября. *15 000 человек. Музыка и речи... На улице драка с коммунистами. 23 ранено, 3 тяжело, — ликует Геббельс. — Летят камни. Любовь и ненависть... Все на нашей стороне, кто не еврей.*

4 ноября. *Днем SA маршируют в красных кварталах. Пролетает кровь, — предвкушает Геббельс. — Я буду там.*

Его причастность к беспорядкам, кровопролитию вызывает протест в рейхстаге. «Рейхстаг хочет лишить меня иммунитета. Еще чего!»

10 ноября. *Мы этих пролетов (пролетариев) раздавим,* — записывает он в связи с выпущенной одним из бывших гауляйтеров брошюрой против нацистов «Долой маски».

Насилие нарастает с обеих сторон. Все чаще кровавые столкновения.

17 ноября. *Как я счастлива! Я боюсь зависти богов. За работу! Великоленина суббота. Наш Кютемайер был ночью избит марксистами и брошен в канаву. Там он захлебнулся. Мы все в глубоком трауре по верному товарищу,* — бодро сообщает он.

Провоцируемые нацистами жертвы необходимы им для сплочения движения негодованием и мстью. «Движение растет из жертв, которые приносит каждый из нас. Мы стоим на заре нового времени». Но вот:

«Ужасное сообщение: в Шлезвиг-Голштинии два СА зарезаны коммунистами. Убийство! Первый признак бури! Семя крови, из которого взойдет новый рейх!»

«Только бы женщину!»

Комплекс неполноценности существования, ущербности. Честолюбие. Жажда раствориться, обретая тем уверенность и власть. И топтать безвластных. Такая вот четырехступенчатость — это классика нациста — предстает выразительнейше в Геббельсе.

Подавленность, растерянность прошлых лет копили в нем тягу к насилию. Насилие связано с ненавистью. Теперь к этому прибавились садистические ухватки — дочерний комплекс насилия.

«Большинство людей свиньи. Лишь немногие люди. Гофманн все еще сидит в либералистской скорлупе. Его идеал — человечество, счастье, довольство. Я разрушу его идеал беспощадно».

Эти ухватки откровенно проступают в его отношениях с женщинами. «Ксени должна склониться или сломаться». «Наконец она капитулировала».

У гауляйтера появились условия для сексуальных утех. Запестрели женские имена и то и дело встречаются без заминки, без паузы в гущу деловой информации о прожитом дне. Если приглянулась девушка, а это случается постоянно, то, не расходуясь на разнообразие характеристик, метит подряд: «это дитя», «невинное дитя», «милое дитя», «она доверчива, как ребенок», «милая крошечка». Ведь: «Мы, немцы, чувствительно сентиментальны». Давно ссылаясь он на этот расхожий домисел. Впрочем: «Цинизм сродни сентиментальности» (Честертон). Это как раз тот случай. Геббельс же и в отношениях с женщинами устойчиво циничен, пошел, со склонностью к жестокости, объясняя свою грубость с женщиной: «Я всегда уступаю демону». Условия для него — наибольшего благоприятствования. Ох уж этот демон! Не ютится ли он в неблагополучной ноге? Другой давно бы превозмог и отринул чувство ущербности. Но такой победы духа Геббельсу не дано. Не тот состав натуры.

Так что каждый шаг по земле должен тиранить его жадной компенсаций, жертвоприношений ему. Очередную «подругу на час» привести к присяге в любви, подчинить себе, самому же с хладнокровной грубостью отринуть: «Короткий разговор. Я не могу ее больше любить. Она слишком забывается, в этом ее несчастье. У меня больше нет для нее сострадания». Или другой вариант: «Я позвонил Анжелике Хегерт. Цыганочка. Она робко пришла... Я не могу жениться, потому что я люблю слишком много женщин», — доложил он очередной подруге. Он тасует девиц, сталкивает их в ревности. «Бедная, милая Ютта. Ксени теперь прочно держит первое место». Вызвать страдание или по крайней мере полагать, что вызвал, — это ли не садистская отрада самоутверждения.

Возрождается из прошлого все тот же нарциссизм подросткового свойства, когда он увидел в портрете Шиллера полное сходство с собой. В легкую теперь для него доступность женщин он глядится словно в свое привлекательное отражение в воде. И возникает прежняя стилистика интимных сцен, как это было, когда еще студентом он пускался в неизведанное. Теперь же ему уже тридцать один — тридцать два. Его интимная жизнь безэмоциональна, бесцветна. «Слава или любовь? Надо выбирать» (8.10.28). Он уже сделал выбор в пользу славы. Но нерасторжимы его отношения с эросом, хотя и сублимирующимся в политическую активность, но не оставляющим его в покое.

Его тешит смена девиц. Тешит их одновременное присутствие в зале на его выступлении. А успех его как оратора вербует ему новых поклонниц. Между тем: «Я так часто страдаю от женщин и тем не менее не нахожу наполнения». Но он всегда полон любви к своим страданиям.

«Тоска по женщине!», «Мечтаю о красивой женщине» — рефрен его записей, его сексомания.

«Женщины нужны мне как хлеб». Но почему-то этот хлеб не дает ему насыщения. «Они вечно работающий мотор нашей жизни и работы». Однако этот перпетуум-мобиле бездействует. И даже бурная встреча и вновь возникший роман с женщиной его мечты Анкой, его первой любовью, оставившей его в свое время, ничего не меняет. Все так же: «Я жажду женщину» — или того натуральнее: «Я алчу женщину!» «Я так устал от напрасной тоски. Женщина запустит мотор моей жизни». «Только бы женщину!»

Сексуальный дискомфорт, ненасыщаемость и насилие в политической борьбе. Есть к чему присмотреться психоаналитикам, не игнорирующим Фрейда.

Когда события складываются так, что сфера применения его агрессивной энергии сужается, Геббельс сникает, хиреет. Это предстоит еще наблюдать в дневнике. Да и в этот период он на спаде.

«Миф Гитлера должен остаться неколебимым как бронза»

7 июня 1928. Муссолини уже прочнее, чем Гитлер, — сетует Геббельс. — *То есть он уже государственный деятель, а Гитлер еще революционер. Муссолини не любит сниматься с улыбкой. Почему? Политику нужны инстинкт, осмотрительность, дар организатора и оратора. Политик — художник. Народ — его материал.* — Это вновь повторенная без ссылки на Гитлера его установка в «Майн кампф». — 9 ноября (день мюнхенского путча) было днем нашей судьбы. Из мелкобуржуазного пивного бунта явилась подлинная немецкая революция. Гитлер с этим не согласен. Он еще держится за свою тогдашнюю политическую величину.

Гитлер желает считать «пивной путч» революцией, и Геббельс иронизирует: «Шеф крупный путчист».

Существует стереотип: Геббельс, мол, неизменно боготворил Гитлера. Так это представлялось и мне. Но дневник передает отношение Геббельса к Гитлеру несколько разнообразнее. Для него Гитлер пока что «шеф», как он его называет в дневнике. Фюрером он станет для Геббельса лишь тогда, когда будет олицетворять собой всю власть в Германии. Геббельс всячески стремится приблизить этот момент, ни на минуту не оставляя при этом своих притязаний на место рядом с Гитлером, и не спускает глаз со своих врагов и соперников в партии.

Прежде всего разгорается его борьба со Штрассером, бывшим его покровителем и еще недавно так им почитаемым, которого он предал. И тут он большой гитлеровец, чем сам Гитлер, не порывающий со своим соперником.

22 июня. Д-р Штрассер должен быть уничтожен, чего бы это ни стоило. Этот человек сатана всего движения... Теперь Гитлер должен сказать решающее слово.

Склочничает Геббельс и с рутинным в его представлении мюнхенским окружением Гитлера. «Пфеффер рассказывает мне о Мюнхене. Как распределятся мандаты. Подтасовка! Если б не было Гитлера, сожрали бы один другого».

13 июля. Я люблю его (Гитлера) как отца. Он универсален. Он прекрасно рассказывает. — И тем больше любит Гитлера, чем определеннее тот настроен против Штрассера.

24 августа. Я преклоняюсь перед шефом. Иногда даже против своего убеждения... но я должен так поступать, чтобы спасти партию... У меня много врагов в Мюнхене. Это доказывает, что я кое-что могу. Гитлер всецело на моей стороне.

Эта коленопреклоненная поза со временем будет стабильной, это — фигура его веры. Он и сейчас готов не подыматься с колен, но сам Гитлер мешает этому, вызывая время от времени досаду то своей нерешительностью, то своими склонностями.

На отрезке 1928—1929—1930 образ Гитлера как фюрера снижен в дневнике.

Геббельс по-прежнему восхищен, когда, выступая, Гитлер имеет бурный успех, тем более если Геббельс сам отвечает за подготовку такой встречи с ним в Берлине, и удача поднимает его акции.

17 ноября. В 8 часов спортпалас огражден полицейскими. 16 000 человек. Переполнено. В 8.20 появляется Гитлер. Бесконечный восторг. Музыка. Вступают знамена. Затем говорит Гитлер. 1½ часа. Потрясающая речь. Все время прерывается аплодисментами. Под конец ураган. Все встают. «Германия превыше всего»... Величайший успех за все время моей работы... Как я счастлив! Я боюсь зависти богов!

Но вступают и другие интонации. Это и терпимость к критике Гитлера, вялое отстаивание его: «Пфеффер считает, что шеф лично принимает слишком ответственные решения. Возможно, он прав, но для Гитлера это единственная возможность удержать буйных жваков». И несокрушимость, когда поступают компрометирующие сведения о Гитлере: «Пришел Кауфман. Он рассказывает нелепые вещи о

Гитлере. Он и его племянница Гели и Морис (шофер Гитлера). Женщина — это трагедия. Надо ли отчаиваться? Почему мы все должны так страдать от женщины? Я понимаю все. Правду и неправду» (18.10.28). Это глухо обронено в записи что-то связанное с ревностью Гитлера к Морису. О романе Гитлера со своей юной племянницей Гели Раубал было известно в узком кругу нацистской элиты. Через три года Гели покончит жизнь самоубийством.

Геббельс, однако, подточен, ему явно «отсвечивает» Муссолини, Гитлер не выдерживает сопоставления с ним, тот уже шесть лет диктатор, в то время как Гитлер не может навести порядок в своей партии. «У нас слишком много обывателей в партии. Мюнхенский курс иногда непереносим. Я не готов участвовать в гнилом компромиссе. Я иногда отчаиваюсь в Гитлере. Почему он молчит?» (5.4.29)

Но это отчаяние локально. Геббельс в отличие от прежних лет не драматизирует нерешительность Гитлера и другие его непригодные качества. Не обескуражен. Дело уже в значительной степени сделано. Под оглушающей, непрерывной пропагандой мифа о Гитлере, мессии, ниспосланном вожде и спасителе нации, неприкаянные массы, духовно люмпенизированные, все большим числом прельщены Гитлером, воспламенены надеждой на него. Надо удержать и развивать этот успех, в который внес свою немалую лепту Геббельс. «Я сам сотворю свою славу», — поручался он. Творя славу Гитлера, он творил и свою подле него.

«Сколько дурного слышал я о Гитлере. Но я верю в него... Я всегда спорю с такими слухами и буду впредь. Миф Гитлера должен остаться неколебимым как бронза» (22.11.29).

(Пропаганда внушала: Гитлер анахорет, живет только мыслями о благе народа, отказывая себе в личной жизни, во всех житейских благах. Этот миф, упорно насаждаемый, прочно уместился в народном сознании и был живуч. Сужу об этом из общения с немцами в дни поражения Германии.)

Геббельс вполне прагматично, неуклонно отстаивает Гитлера. Если будет нанесен урон мифу — зашатается Гитлер, — рухнет все.

«Национал-социализм должен стать государственной религией немцев»

Как бы там ни было, ни о каком другом фюрере не может быть речи, Гитлер остается знаменем партии, гарантом ее победы. И мешая досаду с признанием, Геббельс встраивается во взгляды Гитлера. Вполне беспринципно. И в меньшем и в большем.

Вот он с братом Конрадом смотрел фильм «Верден»: «Фильм без тенденции. Ни военный, ни пацифистский. Ни за французов, ни за немцев. Хочет всех оправдать и ко всем несправедлив. Слишком много шума. Слишком много гранат. Все это утомительно».

Но дней через десять он снова смотрит этот фильм, но уже с Гитлером, и тому фильм весьма понравился. «Вечером с шефом. «Верден» в кино. Смотрел его во второй раз и все же потрясен. Великий военный фильм». Такой вот примитивный оборотень.

Но речь идет и о коренных установках.

1 сентября. *Шеф говорил два часа. О невозможности осложнять движение религиозными вопросами.*

И в развитие его установок Геббельс начинает подкоп под религию.

16 сентября. *Лютер сегодня нам мало что дает. А если мерить полной мерой, он половинчат. Ему следовало или вообще не приходиться, или прийти революционером. А так предстает перед нами малый, который ничего иного после себя не оставил как только разделенный религиозно народ. Так мне думается, что католицизм и протестантизм одинаково ленивы. Лютер был первый религиозный либерал. — А «либерал» — это худшее ругательство у Геббельса.*

Он давно не пускался в рассуждения о религии и вере. Это первый шаг в заданном антирелигиозном направлении. Оттачивание красноречия, «домашние заготовки», чтобы в тот момент, когда окажется возможным, «не осложняя движения», приступить к «религиозным вопросам», быть наготове. Геббельс быстр и всегда на подхвате, чтобы подтверждать, опережая других, свой приоритет в пропаганде — изготавливать формулировки на заданную тему. Это старт. А ровно через месяц он с новым кодексом уже выходит на прямую.

16 октября. *Что такое для нас христианство? Национал-социализм — это религия. Нам не хватает только религиозного гения, который отверг бы старые, изжитые формулы и построил бы новые. Нам не хватает ритуала. Национал-социализм должен стать государственной религией немцев... Моя партия — моя церковь.*

«Политический вождь должен быть выше религиозных учений своего народа» (Гитлер, «Майн кампф»).

Это еще один виток национал-социализма. Среди всего, что Гитлер намерен, придя к власти, узурпировать, важное место отводится религии. Начнется гонение на церковь, преследование священнослужителей, а само понятие «христианство» будет за ненадобностью отброшено. Мы-то это все сами проходили.

Геббельс — полный. И все установки Гитлера вступают в него без порога. И безо всякого торможения и следа куда-то разом подевались заклинания, мольбы Геббельса к Богу. «Помоги мне, Господи, силы мои на исходе», «Мы должны искать Бога. Для этого мы приходим в мир!» — все это являлось из пустоты и в пустоту кануло.

«Новости вкратце» —

как обозначает иной раз Геббельс.

31 мая 1928. *Вечером я встретил господина Шт. из русских эмигрантов вместе с казачьим полковником, который до войны руководил русским шпионажем. Что я узнал! Мы все еще очень беззаботны. Управление полиции всеми средствами работает против нас. Мы должны изощреннее действовать. В каждой немецкой партии и в органах власти у большевиков есть шпионы. Они сторожат нас, как черт грешную душу. Вместе с полицией они устроили настоящую охоту на НСДАП. Надо быть настороже... Русские будут держать меня в курсе дел, но надо следить, чтобы они не облапошили.*

22 июня. *Я узнал, что Кох тогда написал против меня бесстыдную статью, я всегда чувствовал это моим верным инстинктом, все его вонючее, лживое... (неразб.). С такими людьми мы стоим в одних рядах. Я б бросил все...*

С этой записью связан эпизод, который Геббельс не раскрывает. Кох, в то время гауляйтер Восточной Пруссии, опубликовал в газете «Национал-социалист» памфлет под названием «Последствия расового смешения». И хотя герой памфлета назван не был, партийная верхушка легко узнала в нем Геббельса: «Физическая гармония нарушена... уродливыми, неуклюжими отдельными частями тела. Я хотел бы в этой связи сослаться на нижнесаксонскую поговорку: „Остерегайся меченого!“»

Геббельс грозил отставкой. Прибегнув к поддержке Гитлера, выдвигал обвинения против подозреваемого им в авторстве Коха. Но памфлет был анонимным, и Геббельс, ничего не добившись, выступил с унижительным опровержением. Ведь не было ничего сокрушительнее для карьеры, чем прослыть расовонеполноценным, плодом смешанного брака. Он объяснял, вероятно, измышляя, как считают его биографы, что неблагополучна его нога не от рождения, а от несчастного случая, когда ему было тринадцать-четырнадцать лет. «Так что с расовой позиции никоим образом не могут быть обусловлены неблагоприятные заключения, — писал он. — В противном же случае (т. е. будь он калекой от рождения) на это имелось бы право».

Такие вот жалкие, к тому же и страшные слова. Геббельс следует фашистской расовой догме и только ищет в ней лазейку для себя. И в свою очередь желает подцепить продвинувшегося в партии Лея, будущего фюрера «трудового фронта». Пусть тот не увечный, можно поискать и что-либо другое: «Д-р Лей странный тип. Может, он переукрашенный Леви?»

Легко представить себе, уже зная об этом, как пришедший к власти нацизм обрушится для начала на саму Германию расовой идеологией. Растопчет человеческое достоинство, наделит одних чувством неполноценности, страхом перед угрозой жизни. Других растлит чувством расового превосходства по составу своей крови. Из расового же высокомерия и культа «белокурой бестии» спешит физические и иные изъяны у немца на гены «расового смешения» с вытекающими для испытуемого последствиями.

«Так же, как я различаю народы на основе их расовой принадлежности, так же различаются и отдельные люди внутри народа». И внутри «избранного народа» — немцев надлежит провести проверку на сортность и племенную пригодность. «Есть одно только священное человеческое право, оно же священнейшая обязанность: позаботиться, чтобы кровь сохранялась чистой». «Выделить внутри народа наиболее расово ценные элементы и особо позаботиться об их умножении». Планируется жесткая селекция среди немцев. Человек нездоровый или подозреваемый в недостаточной физической надежности наследственности «должен быть объявлен негодным для спаривания, и это должно быть осуществлено на практике»⁵. Это «Майн кампф», год 1924 и 1925. В те времена, да и позднее, это не могло показаться ничем иным как бредом. Но все это осуществилось в Германии, вплоть до принудительной стерилизации тех, кому не положено было «спариваться». Геббельсу даже пришлось

⁵ «Mein Kampf», S.S. 492, 444, 493, 452.

вызволить из беды сотрудника своего министерства, приговоренного, как он посчитал, зазря к этой операции.

Мне на дороге войны зимой 1945-го встретила немка. Она росла в детдоме, а когда пришел срок покинуть детдом, стать самостоятельной, ее подвергли тестированию. На вопросы о родителях Гитлера она сбилась, неправильно ответила. Была переэкзаменовка. От волнения она снова что-то напутала, и ее сочли неполноценной, обрекли на стерилизацию. Мужчина до сорока пяти лет не имел права на ней жениться. Пришибленность, позор, одиночество и нищета вытолкнули эту несчастную женщину на панель. Война подобрала ее и определила в публичный дом в Бромберге — перевалочном пункте солдат-отпускников, едущих с фронта на родину.

Все, что казалось невероятным, воплощалось на практике в нацистской Германии. Начало было положено в клиниках в Бухе, на северо-востоке Берлина. Здесь подверглись унижайшему обследованию поголовно все жители района. В картотеке результатов обследования было заложено право человека на профессию, карьеру, брак, службу в армии и в конечном счете — на жизнь. У меня сохранилась брошюра с инструкциями этой «медицинской службы». На расовой шкале в самом низу — цыгане, строчкой выше — евреи, следом — русские и другие славянские народы.

История распорядилась так: когда наша армия вошла в Берлин, именно сюда, в Бух, в клинику, были доставлены обгорелые трупы Гитлера и Геббельса, и специально назначенная комиссия 1-го Белорусского фронта приступила к судебно-медицинскому исследованию на этот раз самих главарей нацизма. Возглавлял эту комиссию главный судебно-медицинский эксперт фронта подполковник Шкаравский. Его имя — Фауст. Гитлера и Геббельса анатомировал доктор Фауст!

«СА получили слишком много самостоятельности...»

21 июня. *Я тоскую по благосклонной женщине.*

30 июня. *Вечером смотрели «Потемкина». Надо сказать, замечательно сделано. Прекрасные массовки. Пейзажные и технические съемки точного воздействия. Лозунги сформулированы так точно, что не найдешь возразить. В этом опасность фильма. Хорошо бы у нас был такой. Слушали русский концерт.*

24 июля. *Еврейская сатирическая газета уже нарисовала карикатуру на меня в Боркуме. Оно и видно, они и здесь меня не забывают!*

27 июля. *Вчера курортники устроили собрание с требованием предоставить зал, чтобы я произнес речь.*

7 августа. *Гитлерюгенд присоединяется, также и студенческий союз, с фюрером которого фон Ширахом я вчера долго беседовал. Отличный человек. Дворянин. Умный, способный. Сегодня опять целый день конференция. К тому же сильная тоска по женщине.*

8 августа. *Я потратил весь день, объясняя солдатам из СА, что марш на Берлин уже в августе безумие... СА получили слишком много самостоятельности, а когда вояки начинают делать политику, выходит глупость. Пора дать им по рукам.*

4 сентября. *В воскресенье окончание конференции. В заключение выступает шеф. Как всегда, феноменально... Берлин, Берлин! Тетро! Тетро! Слышу от Марии (сестры), что отец очень болен.*

Это известие, уже не впервые, тщетно призывает его в Рейдт, где в родительском доме он до самых последних лет скрывался от нужды и одиночества в тепле и заботах о нем любящих близких.

8 октября. *Люди хотят видеть в фюрере идеал. Уже хорошо!*

14 октября. *Партсъезд состоится 3, 4 и 5 августа в Нюрнберге или Мюнхене. Будет большой исторический праздник. Это будет единый аккорд ликования... В 6 часов пришла Ханна... Я поцеловал ее полный красный ротик.*

16 октября. *«Граф Цеппелин» приземлился после 112-часового полета. Удивительное достижение немцев. Можно гордиться принадлежностью к этому народу... Вновь безграничное уважение к немецкому прилежанию и гениальности. Этот народ, так рабски сейчас приниженный, все же первый и самый творческий на земном шаре... Как примитивны против нас Россия и эти новые маленькие наглые государственники.*

В тот же день, расправившись в дневнике с христианством, подменяя его новым «вероучением» — национал-социализмом, он направляется, однако, в церковь: «Я крестный маленького Фолькнера Хартманна... он должен стать настоящим немцем». Зачастили приглашения на крестины, они теперь входят в его обиход.

Его крестников, этих новорожденных гансов, к тому времени шестнадцатилетних, я видела в дни штурма Берлина злодейски брошенными комиссаром обороны столицы Геббельсом вместе со школьниками (от пятнадцати- и до двенадцатилетних)

сражаться на улицах в смертельном пекле проигранной войны и погибать, чтобы на час-другой оттянуть смерть обреченных Геббельса и Гитлера.

В Берлинском государственном архиве сохраняются свидетельства этих подростков; вернувшись в мае 1945-го в школы, они писали сочинения о том, что пережили.

«Ужасно затравленные бомбардировщиками, штурмовой авиацией и артиллерией, без еды и питья и без всяких указаний, мы отступали. В Эберсвальде мы тут же попали «в действие» — в команду, которая состояла из ребят 12—17 лет. Плохое вооружение и приказ «непоколебимо держаться». — Это пишет четырнадцатилетний Герберт Нейбер. — Снова ад бомб, гранат, ружейных пуль... бегущие офицеры, которые перед своим бегством заставили повесить как «изменников отечества» рассуждающих солдат, стонущие раненые, которым никто не оказывает помощи. Потом в последний момент отступление на грузовиках. Но уже через три километра нас снова стащил вниз капитан — он орал и размахивал пистолетом. Но скоро опять сдали и эту позицию и опять отступали, затравленные криком ужаса: „Русские идут!“».

«Гитлер над Германией!»

22 октября. *Сегодня шеф испробует во дворце спорта громкоговоритель.*

Ранее Геббельс сетовал, что радио войдет в каждый дом и окончательно превратит немцев в обывателей. Но оказалось, что «апробированная» новая техника эффективно служит небывалой по массивности пропаганде фашистов, обрушенной на немцев. И если прочие нацистские главари в наземном транспорте мотались по всей Германии, и среди них самый энергичный пропагандист — Геббельс, то для Гитлера был приспособлен еще и самолет, что и вовсе было в диковинку, ошеломляло. Стремительные перемещения Гитлера по воздуху, с внезапным или объявленным появлением то тут, то там на митингах и собраниях в разных частях Германии, способствовали его популярности. «Гитлер над Германией!» — кликушествовал Геббельс.

«...нашей творческой деятельности не хватает демона»

29 октября. *...день рождения... Я не прошу богатства, счастья, жратвы. Только жить для славы и действовать, чтобы оставить пример потомству... Вчера был дома. Посещение какой-то истерической особы. Слишком неуклюжа, чтобы меня соблазнить... Всей нашей творческой деятельности не хватает демона.* — Но сам-то Геббельс накоротке с демоном и на этом основании выставляет себя революционером. Тут кстати припомнить Честертона. Для него злой дух, демоны и дьявол вместе с ними скучны донельзя. По нему, вся эта бесовщина — не романтизм восстания и не черный романтизм разрушения, а всего лишь дорога к посредственности.

30 октября. *Я познакомился с безмянным, самоотверженным голландским целителем. Не один из шарлатанов, а высокообразованный блестящий человек, который в первый момент немного отталкивает, но затем очень привлекает... надо использовать его собственное слово, с которым он делает свое дело... Надо не терять его из виду.*

Это начало новой линии в пропаганде Геббельса — привлечение лиц, воздействующих на публику не традиционными методами, а мистическим, гипнотическим внушением и всяческим чудом, в которое сам Геббельс не очень-то верит. Когда предсказания астрологов, ясновидцев в пору второй мировой войны станут неблагоприятными, Геббельс будет преследовать их, загонять в тюрьмы. А покуда он готов поощрять их. И ему поставляют новые интригующие сведения о таких «могучих» лицах.

13 ноября. *Рейхстаг хочет лишить меня иммунитета.*

21 ноября. *У меня слишком мало возможностей для отдыха. Я едва вижу самого себя. Мое личное «я» блекнет. Все притязают на меня, только я не могу ни на кого притязать. Вершины одиноки!.. Я должен давать и ничего не могу взять. От этого я медленно сгораю.* — Это рецидив плача по себе, но с неуемным теперь самовосхвалением. Прежде раздирала не востребованность: «Я пока — ничто». Точила в душевном подполье мания величия. Теперь-то, похоже, с ней все в порядке, она самоутверждается.

23 ноября. *Дело Кютемайера: мы вышли на след убийц и надеемся их скоро поймать. Полиция преступно безразлична. В эту ночь я осматривал место преступления. Ужасно! Боже, избави меня от смерти от руки соотечественника!*

9 декабря. *Этот номер «А» («Ангрифф») прекрасен. Но его, наверно, арестуют.*

16 декабря. Разговор с казачьим полковником. Они хотят помощи в борьбе с большевизмом. Хорошо. Но я не слишком связываюсь с эмигрантами. Они распущенны и ждут *Deus ex machina*⁶. Каждый день у них новые планы, а сами ничего не делают.

3 января 1929. Прекрасный фильм, борьба любви и долга. Стенька Разин закаляет возлюбленную, чтоб остаться мужчиной и вождем. Этический пыл, который действует потрясающе. Русская музыка, моя старая забываемая привязанность. — В начале войны против Советского Союза министр пропаганды Геббельс издал приказ, запрещающий исполнение классической и современной русской музыки. Приказ был спущен в действующие немецкие войска (цитирую по сохранившемуся в моем архиве трофейному документу): «В развитие приказа № 121 от 2.8.1941 запрещается петь русские песни «Катюша», «Полюшко», «Три танкиста» и другие».

Но «Катюшу» немецкие солдаты все же пели.

11 января. На улице сибирская зима. 19 градусов ниже нуля.

12 января. Эти Борджиа были настоящие молодцы. Великие грешники, но все же великие. Если б у нас в республике были хотя бы такие люди. Но все ничтожны и в добре и в зле.

14 января. Вчера утром был в национальной галерее... Мы сегодня видим совсем иначе. Более сжато, социалистично во всем. Мы больше не видим части, только целое. Этим XX век отличается от XIX.

16 января. Ряд фильмов времен войны.. Это была Германия! Как низко мы пали.

«...децентрализация от лукавого»

19 января. Небывалая кампания в прессе против нас.

20 января. Воскресенье утром. Конференция руководства... Тема: парламент, ближайшие задачи. — Стоит вопрос о том, что гауляйтер не должен быть одновременно депутатом рейхстага — одним в двух лицах. — Я резко выступаю против. Для Берлина это было бы катастрофой. Гитлер настойчиво опроверг меня, но добавил, что в отношении Берлина я прав. «С вас я никогда не сниму ношу Берлина. Я никогда не смогу никого другого представить себе руководителем Берлина!» Сильное признание из его уст моей работы в Берлине... После обеда борьба против Пфедфера⁷. Высшие штабы СА должны быть устранены. Все гауляйтеры в этом категоричны.

Это загодя ведется борьба с руководством СА, чтобы военизированные боевики, обеспечивающие нацистам приход к власти, не превратились в самостоятельную, не управляемую партийным центром силу. В этой записи предстает, можно сказать, биография этой борьбы, окончившаяся резней в «Ночь длинных ножей».

20 января (продолжение). Я говорю конструктивно и, полагаю, притом эффективно. СА не должны существовать сами по себе. Это звено партии (подчиненное гауляйтеру). Вся эта децентрализация от лукавого. Пфедфер жестко осажжен. Иной раз несправедливо. Но он защищается неумело, резко. Тем самым доводит до белого каления всех и самого Гитлера. Поскольку он намеками прибегает к угрозе мятежа, он проигрывает последнюю карту. Гитлер затем подытоживает. Приговор произнесен. Опасности для партии не существует. Где Гитлер, там победа, даже во внутренних столкновениях. Теперь мы ждем решения. Пфедфер сам себя похоронил. Утром Гитлер очертил еще следующие задачи. Предупредительность в отношении органов власти. Умная тактика, но всегда не сводя глаз с цели. Правильно. Мы внутренне так сильны и прочны, что можем объединиться хоть с чертом, даже и с баварской народной партией. Конец. Хайль, до свидания, Адольф Гитлер.

«Где Гитлер, там победа» — станет расхожим лозунгом, гипнотически действовавшим в дни военных побед.

«Единство партии превыше всего»

21 января. Результат вчерашнего: СА будут твердо включены в систему политического руководства... Другие вспомогательные организации тоже должны быть строже централизованы. Единство партии превыше всего. Предупредительность по отношению к органам власти. Легальность — это козырь... (Заметь себе это, Берлин!) Политическое положение для нас благоприятнее, чем когда-либо. Потому спокойствие и нервы... Партия действует. СА. С кризисом в две недели покончено. Оружие заточить! Вперед на врага!

Все это дела «партийного строительства». В партии обостряется борьба против посягательств на децентрализацию, борьба за незыблемость структуры партии,

⁶ Бог из машины (лат.).

⁷ Ф. Пфедфер с 1926 года возглавлял штаб СА.

неукоснительное подчинение центру. Это ставится теперь во главу угла также в связи с тем, что партия вышла из полулегального состояния, сдерживавшего бескрайность ее пропагандистского размаха. Теперь препоны нет. Приток новых членов в партию. Но надо предусмотреть и меры против размывания структур.

Появляется и совсем новая установка Гитлера. «Умная тактика», — отмечает Геббельс. Осмотрительно, аккуратно вести себя по отношению к правящим веймарским партиям, чтобы вновь не навлечь на нацистскую партию запрет. «Легальность — это козырь». Не задиаться. Партии насилия вменено под натиском «небывалой кампании в прессе против нас» присмиреть, казаться лояльной. А пока что заточить оружие, изготовиться к прыжку на врага.

Политическое чутье и предприимчивость национал-социалистов, маневрирующих и маскирующихся на тех или иных этапах борьбы за власть, оказались сильнее, чем у их противников.

«Фарс»?

От немцев, переживших в Германии 20-е годы, я не раз слышала: Гитлер с его командой, сборища национал-социалистов, их лозунги, их политические оргии, факельные шествия, их ряженные-коричневорубашечники — все это воспринималось как фарс. Именно этим словом «фарс», будто сговорившись, определяют свое до поры отношение к нарастающим тогда непонятым событиям люди разного социального и образовательного уровня.

Еще в конце 30-х годов английский публицист сказал: «Возможно, решающее преимущество Гитлера было в том, что никто не верил в реальность его целей».

В просвещенной Германии люди, из тех, что покуда не лишились рассудка в угаре шовинизма, не впали в националистическую истерию, не могли тогда вообразить, что взбалмошные, бредовые наставления Гитлера в «Майн кампф», весь этот абсурд станет для них повседневными подробностями жизни. Страна не устоит перед племенным психозом (пользуюсь обозначением Гасана Гусейнова). И начнется катастрофический процесс п р и о б щ е н и я.

«Авось мы скоро перейдем к действию»

Хотя все еще не была преодолена безработица, но в Германии второй половины 20-х годов росло промышленное производство, оживала торговля, шло бурное строительство. Успехи немцев в науке и технике получали признание в мире. Расцветала театральная жизнь.

Но наступил 1929 год. Грянул мировой кризис, он катастрофически приближался к Германии.

«Мы музицировали и заклинали духов. Очень занятно».

22 января 1929. *Какое преступление перед будущим Германии, что Лютер стал на сторону князей. Если бы крестьяне восстали и создали немецкий народ и национальное государство, Германия сейчас правила бы миром.*

У немцев были трудности с понятием «власть», они были склонны путать власть и жадность господства (Л. Феррарис). Гитлер упростил эту проблему в пользу господства.

1 февраля. *В рейхстаге коалиционные переговоры. Не сформировывается никакое правительство. Никто не хочет нести ответственность.*

2 февраля. *Кризис усиливается. Господа парламентарии не видят выхода. Это хорошо. Надо только поджарить их на их собственном жире.*

6 февраля. *Вчера в рейхстаге дебаты о безработных. Соци (социал-демократы) худшие мерзавцы, каких я когда-либо видел. Коммунисты нанесли им тяжелый удар.*

9 февраля. *Гигантский крах с безработными. Сумасшедший театр! Когда выходишь из этого здания, то будто побывал в мертвецкой... Собачий холод. 18° ниже нуля. В политике — полная растерянность. Мы стоим с прижкнутой к ноге винтовкой.*

10 февраля. *Политическое положение отчаянное. Авось мы скоро перейдем к действию.*

23 февраля. *В рейхе откровенный кризис власти. Нужно либо распускать рейхстаг, либо вводить диктатуру. Нам этот театр на пользу. Так или иначе мы — наследники.*

«Майн кампф»

С чем же собирается прийти к власти национал-социализм? Тут уж приходится обратиться к «Майн кампф» и в многословном потоке в 250 убористых страниц постараться вычленить кое-что существенное для уяснения взглядов, предписаний, тактических приемов Гитлера и общей стратегии с ее ближними и дальними целями.

Итак: мир разделен на расы и каждая раса «четко определена наружно и внутренне, соответственно своей природе». «Лиса — всегда лиса, гусь — гусь, тигр — тигр». И сильный пожирает слабого: «Нет лисы, которая по внутреннему убеждению решила бы быть гуманнее с гусями». Это же проецируется на расы людей. Человек низведен. Будто не ему, единственному в животворном мире, дана одухотворенность. Будто не по образу и подобию Божию сотворен...

«Каждое животное спаривается только с товарищем по виду. Синица идет к синице, заяблик к заяблику, аист к аисту, полевая мышь к полевой, домашняя к домашней, волк к волчице».

Люди уподобляются Гитлером животным и должны пребывать в тех же рамках, строго отведенных природой. Выход человека за эти рамки — тягчайший, наказуемый грех. Кровь и раса превыше всего. «Грех против крови и расы — наследственный грех этого мира и конец предающегося ему человечества».

«Франция же обнегривается (смешивается с неграми). назло немцам».

Воспитание немца с ранних лет «должно быть направлено на то, чтобы внушить ему убеждение в неизменном превосходстве над другими».

«Основатели и носители культуры — только арийцы». Все достижения науки и искусства, техники и открытий «принадлежат только арийцам».

Государство, которое намерен основать национал-социализм, «должно позаботиться, чтобы наконец была написана мировая история, в которой расовый вопрос будет поднят на доминирующую высоту». «Брак должен быть превращен в институт, призванный явить образцы господ, а не помесь человека с обезьяной».

«Все люди должны быть обучены новому мировоззрению, а позже, если будет необходимо, и принуждены к нему».

«Широкие массы покоряются только мощи речи», только «колдовской силе устного слова». И талант оратора, пишет Гитлер, он обнаружил у себя еще в школьные годы. Но в дни молодости, слоняясь по Вене в поисках заработка, пристав к строительным рабочим, он ввязывался на городских митингах в дискуссии, попытался держать речь против социал-демократов, и рабочие пригрозили сбросить его со строительных лесов, прогнать со стройки, рассказывает он. Не поддались, выходит, его ораторскому дару. Так было. Но теперь иначе.

Само время со своей социальной и политической окраской, время отчаяния, страха, кровавых уличных междоусобиц, стачек, ненависти, недоверия к власти и жажды надежд, могло породить — я уже писала об этом — угодных массе ораторов и героев крайнего толка. Гитлер становится самым популярным оратором в Германии.

До сих пор западные ученые и публицисты обсуждают феномен массового психоза, в который впадала слушающая Гитлера многотысячная аудитория. «Магнетизм», «животный магнетизм», «массовый оргазм» и «оргастическое чувство общности», «экстатическое объединение» и прочее, о чем пишут в связи с Гитлером, все больше из области иррационального. В «Майн кампф» же Гитлер все время кругами возвращается к методике завоевания политической власти путем завоевания власти над толпой. Это вполне прагматическое руководство. Пишется оно с определенной проницательностью в психологию массы и с цинизмом, с упором на «примитивность восприятия широкой массы». «Масса предпочитает господина, а не просителя и в глубине души охотнее принимает учение, которое не терпит рядом с собой никакого другого, чем дозволенность либеральной свободы, с которой она не знает, что делать, и легко теряется. Бесстыдство такого духовного террора масса так же мало сознает, как и возмутительное нарушение своих человеческих свобод... Она чувствует только безоглядную силу и брутальность целеустремленных высказываний и в конце концов непременно склоняется перед ними»⁸.

Но достигается этот успех только при наличии самой действенной силы — в р а г а. И тут на сцену вызывается «еврейский вопрос».

«„Еврейский вопрос“ — это вопрос всех вопросов», — записывает в дневнике уже зрелый нацист Геббельс (15.2.29).

Гитлер, когда он люмпеном безотрадно колготился в Вене в годы цветения в австрийской столице антисемитизма, впервые увидел еврея с пейсами и в лапсердаке, и тот ему не понравился. «Еврей — не немец» — было для него отрадным, ключевым открытием. Однако евреи активно присутствуют в культурной жизни, в прессе, что стало весьма задевать его. «Я принялся тщательнее проверять имена», вести подсчет евреев в этих областях деятельности. Картина была неутешительной, тем паче что евреи составляли незначительный процент населения страны. И вообще многонациональная Вена и славянский ее элемент были нестерпимы для него. «Мне становилось дурно, когда я вспоминал об этом расовом Вавилоне». Во время русско-японской

⁸ «Mein Kampf», S.S. 312, 311, 272, 456, 468, 454.

войны он был на стороне японцев, «видя в поражении России и поражение австрийского славянства».

В своей ксенофобии Гитлер, как он пишет, покуда шел «скучным путем к антисемитизму». С анемичными, расплывчатыми формулировками: «еврей не обладает никакой культурно-созидательной силой», «его интеллект никогда не будет созидателен»... Так что нелегко стерпеть несообразность, что среди снискавших Германию мировое признание нобелевских лауреатов немало лиц еврейского происхождения.

Ксенофобия Гитлера могла остаться его личным уделом. Но тут «кулак судьбы открыл мне глаза», и его осенило: «Я решил стать политиком». (Билет члена НСДАП № 7, сообщает он.) В своей клокочущей ненависти к социал-демократии он связал их учение с «существованием некоего народа». «Разочарованный» антисемитскими брошюрами из-за «поверхностной и крайне ненаучной аргументации их утверждений», он берется за дело серьезнее и круче в свете своего собственного «научного» озарения: «Искусство действительно великого народного вождя состоит в первую очередь в том, чтобы не распылять внимание народа, но постоянно концентрировать его на единственном противнике».

«Единственным противником» на постоянной, так сказать, основе, олицетворяющим, «чтобы не распылять внимание народа», все противостоящие фашизму силы, провозглашаются евреи. «Гениальность великого вождя должна даже противоположных друг другу врагов представлять только как принадлежащих к одной категории... В сознании наших приверженцев борьба должна вестись только против одного врага. Это усиливает веру в собственную правоту и озлобленность против тех, кто на нее покушается». Кто бы ни был и на сей раз врагом, он должен иметь единый псевдоним — еврей. «Еврейский вопрос», сообщает Гитлер, надо было «превратить в движущий мотив» всего немецкого националистического движения. «Антисемитизм, — сказал Геррих Манн, — оказался в конечном счете единственной — да, единственной — идейной основой попытки мирового господства».

Без врага наши ряды не могут быть сплоченными — этот постулат подтвердит, исходя уже из практики, Геббельс.

Но евреи в Германии за столетия прижились и заметно ассимилировались благодаря законам, уравнившим их в правах с немцами. Уже в конце прошлого столетия в Берлине более трети евреев вступали в брак с немцами (по Брокгаузу). Надо было разрушить сближение, национальную терпимость, отторгнуть немцев от евреев. Разжигаются темные страсти, страх мистического противника растревается призраком повсеместной германофобии как средством, призванным сплотить осажденную страхом и ненавистью нацию, а покуда что издерганную толпу и улицу. И начинается беспредел. «Еврей сегодня величайший подстрекатель полного уничтожения Германии». Не важно, что это написано в 1925 году (во второй книге «Майн кампф»), когда немецкие евреи отождествляли себя с немцами. Чем абсурднее, тем лучше и не нуждается в доказательствах. Евреи хотя уничтожения Японии (!) «до установления собственной диктатуры» (!). «Еврейская мировая опасность».

И наконец: евреи посягают на «мировое господство», на «создание тысячелетнего рейха» — это рвется из подкорки тот самый бред, что Гитлер провозгласит своей силовой целью и бросит Германию в кровавую бойню мировой войны.

«Земля и почва — цель нашей внешней политики».

«Отточенным мечом и кровавой борьбой» вернуть территории. Но «границы 1914 для будущего немецкой нации — ничто». Ее будущее «будет основано победоносным мечом господствующего народа, ставящего весь мир на службу своей культуре».

«Землю на будущее и тем самым жизнь нашему народу обеспечит не милость народов, а победоносный меч. «Когда мы сегодня говорим о новой земле и почве в Европе, мы можем в первую очередь думать только о России и о подчиненных ей окраинных государствах».

«Время работает на нас и мы на него»

13 марта. Политика: бесплодно. Но мы продвигаемся.

15 марта. Долгий разговор со студентом Хорстом Весселем о реакции, революции и тактике... Время работает на нас и мы на него.

21 марта. Вечером читал Троцкого «Действительное положение в России». Очень интересная книга, тем более поучительная, что здесь отставленный тщеславный еврей говорит истину намеками... Проблема Ленин — Троцкий мне еще не совсем ясна. Полагаю, что Ленин держал этого еврея, поскольку у него не было другого. Троцкий недавно сказал журналистам: «Сталин национален, я интернационален». В этом суть.

3 апреля. Я не могу согласиться с Гитлером в вопросе о Троцком. Он не верит в противостояние Сталин — Троцкий и считает, это все еврейский заговор, чтобы перетащить Троцкого в Германию и поставить во главе КПГ.

16 апреля. *Вчера вечером смотрел... «Фрейлейн Эльзе». Милое еврейское дитя! Ого!..* (Конец записи отсутствует, отмечает составитель. Возможно, фильм навеял воспоминания об Эльзе.)

24 апреля. *Гибель республики, возможно, ближе, чем все мы думаем.*

30 апреля. *Без кровопролития не обойдется. Это ползучая гражданская война.*

2 мая. *1 мая было спокойнее, чем думалось... Ночью произошли кровавые события. Баррикады в Веддинге и Нойкёльне. 9 убитых, 100 тяжело раненных, 1000 арестованных. Уличная битва, открытая гражданская война. В рейхстаге сильное смятение, КПГ требует обсуждения этих событий... В конце коммунисты запыли «Интернационал»... В Веддинге снова начались уличные столкновения. Вот их укрепленная республика. Конец! Лучше не будет, пока этой сволочи не покажут зубы. Когда придет наш день?*

Но перевес сил оказался на стороне красных, и национал-социалисты вступают в сговор с полицией. «Я должен прекратить борьбу против полиции безопасности... нам обещана полицейская защита» (20.9.29). Знаменательная запись. Вице-президент полиции Берлина д-р Вайс, поносимый в нацистской прессе тем рьянее, что он к тому же еврей, гарантирует нацистам защиту в обмен на прекращение ими борьбы против полиции безопасности. Сговор на этом этапе состоялся. «Да, пролилась кровь», — с удовлетворением отмечает Геббельс, когда под защитой полиции стало возможно безнаказанно орудовать в красных кварталах (23.9.29). «Полиция безопасности очень расположена к нам, особенно офицеры» (29.9.29).

«Надо готовиться... Тогда мы победим»

27 июня. *Бурная сцена с Герингом, который все более склоняется к фракционности. Глуп, как солома, ленив, как крот. Со всеми обращается как каналья, пытался и со мной. Не на того напал.*

29 июня. *Выступал Штрейхер. По моим понятиям, разрушительно. Этот голый антисемитизм слишком примитивен. Он упускает почти все проблемы. Еврей не во всем виноват. Мы тоже несем вину, и если мы это не признаем, мы не найдем никакого пути. Но Штрейхер все же молодец.*

28 июля. *Читал «На западном фронте без перемен». Ничего особенного. Воспоминания мобилизованного о войне. Вот и все. Через два года о книге никто и не вспомнит. Но она повликала на миллионы сердец. Книга хорошо сделана. Поэтою так опасна.*

2 августа. (Партийный съезд.) *Все единодушны, потому что никто не решается говорить. Суматоха и ликование. Гели Раубал. Красивое дитя. Провели вечер с ней, ее матерью и шефом. Мы много смеялись.*

Гитлер появлялся повсюду, даже на столь торжественном партийном мероприятии, в обществе своей племянницы, что вызывало скрытый ропот в партийных верхах.

3 августа. *...великий день Нюрнберга. Вчера: в 11 ч. утра праздничное открытие съезда... Вагнер оглашает манифест Гитлера... Блестяще написано. Только одна идея чрезмерна (!). Затем обеденный перерыв. По городу. Коричневые рубашки доминируют повсюду... Вечером. Фейерверк на стадионе и массовый концерт. 40 000 человек. Исключительное впечатление... Вечером разговор с Б. Он открыл комплот. Д-р Штрассер... и компания против Гитлера... Теперь я проник в суть... Я остаюсь на своем месте. При Гитлере. Мы этой змее голову растопчем.*

В Нюрнберг прибывают поезда с манифестантами из Берлина и других округов.

4 августа. *После обеда специальный поезд из Пфальца. (Округ земли Рейнланд-Пфальц, оккупированный французами.) Юноши пришли в белых рубашках, французы запретили коричневые. Гитлер крикнул им навстречу: «Придет день, и мы сорвем с французов их мундиры»... На улице уже гремят барабаны. Факельное шествие. Бесконечно долго.*

8 августа. *Надо готовиться духовно, душевно, организационно и, главное, физически. Тогда мы победим.*

Но имеются помехи.

10 августа. *Есть с чего отчаяться. Женщины! Женщины почти во всем виноваты.—* И добавит через несколько дней: «Женщины причиняют много страданий».

11 августа. *У Бранденбургских ворот отвратительный памятник «Всем жертвам мировой войны». Надо бы добавить: за исключением немцев!*

Стремление веймарской Германии быть частью мира, воля к примирению, выраженные в этой надписи, ненавистны нацистам.

«Я не Сталин, я им стану»

6 октября. *Муссолини. Эти итальяшки не заслуживают великого человека.—* Со слов Геринга, знавшего Муссолини в Риме, записывает: «Римлянин масштаба Цезаря. Он začínает историю».

«Ксени подарила мне хороший портрет Муссолини».

7 октября. Мужчины обабались. Мы, немногие мужчины, можем поэтому принести немало пользы.

Гитлер в представлении Геббельса выпал из числа надежных мужчин. «Иногда я в отчаянии от Гитлера. Почему он молчит?»

И снова: «Вперед. Беречь нервы. Только не оглядываться назад!»

5 ноября. Штеннес говорит, что я Сталин движения, который оберегает чистоту идеи. Я не Сталин, я им стану. Идея должна быть чиста и бескомпромиссна.

Геббельс — тайный поклонник Сталина. А в этой вырвавшейся у него формулировке еще и несогласие с курсом Гитлера, снова сближающегося с национал-народной партией спустя несколько лет после состоявшегося разрыва, за который так ратовал Геббельс, поборник социализма. «Многие не могут отделаться от мысли: социализм — отнимание собственности. Какое заблуждение!». «Немецкая национал-народная партия нам больше не нужна — долей ее. Мы стоим на собственных ногах». Но об этом несогласии Геббельс мог поведать скорее всего лишь дневнику, как и о досаде на Гитлера. Впрочем, отступающей всякий раз, как только Гитлер проявит к нему благосклонность.

Но Геббельс лишен активного участия в политической жизни, центр которой в Мюнхене, в штабе Гитлера. Это питает его претензии к Гитлеру, сосредоточенность на своих врагах в партии.

14 ноября. Я так часто слышу среди наших ужасное выражение — «реальная политика». Оно мне ненавистно.

Политика — невозможного, будет впоследствии шеголять Геббельс этой установкой Гитлера.

«Наш день все ближе»

18 ноября. Убедительная победа на выборах, особенно в Берлине. С 39 000 в мае 1928 мы поднялись до 130 000.

19 ноября. Особенности прирост у нас в пролетарских районах. Отняли у марксизма 50 000 голосов.

20 ноября. Посетил русскую семью Потемпа. Старая госпожа пожертвовала нам 5000 марок.

7 декабря. Я получил известие из дому, что отец умер сегодня в 6 утра. Прощай! Как тяжела ему смерть! Один, без детей ушел он в пустоту нирваны...

10 декабря. То, что было в тебе бессмертно: твой ум, прилежность, ответственность и верность долгу, любовь к людям, особенно к родным, преданность тому, что ты любишь, бережливость, строгость, спартаковский образ жизни и прусская прямота, — все это останется жить во мне... так что след твоего земного бытия не потеряется в веках. — Тем самым настаивает он на безмерности своей славы.

Панегирический поток неостановим. Тот, кого он костил «мещанином», «мелким, скучным человеком», этот бедный отец вознесен на прусский престол.

11 декабря. Похороны... Он был настоящий человек!.. Если бы он занимал трон Пруссии, его бы ставили рядом с Фридрихом Вильгельмом I...

Но неожиданно после картины похорон запись: «Я встретил Эльзе Янке и Альму (ее сестру)... Эльзе попеременно то багровеет, то бледнеет как мел. Потом она спрашивает, думаю ли я еще иногда о ней. Что я должен на это ответить бедному дитяти? Я говорю «да» и лгу при этом изрядно. Она совсем не изменилась. Все так же красива и приятна, как тогда. Свыше трех лет мы не виделись».

В рождественские праздники он побывал у матери. «Сегодня отбываю. Эльзе Янке пишет еще одно грустное письмо... Прощай, прощай! Всю дорогу читал».

В дальнейшем на протяжении бесконечных страниц дневника еще только раз встречается упоминание Эльзе: «У матери... Я уладил с мамой проблему Эльзе». Что за этим — глухо, неизвестно. Но дата записи — 27.6.1933: уже полгода нацисты у власти. Не за горами нюрнбергские законы, отсекающие Эльзе и ее сестер от Германии, а там и желтая звезда — изобретение Геббельса, — которую должны будут Эльзе и ее сестры надеть на грудь, чтобы издали отличались от немцев. След Эльзе с этим подарком жениха на груди затерялся.

17 декабря. Берлин не может расплатиться с долгами. Отказались от американского займа. Рост налогов... Очень хорошо. Наш день все ближе.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

*

«ТЫ ОПОЗДАЛ НА МНОГО ЛЕТ...»

Кто герой «Поэмы без героя»?

*Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей,
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?*

А. Ахматова, ПБГ, I, 3.

У «Поэмы без героя» сложилась репутация «темной» вещи, вроде «пророческих поэм» Блейка, в которых трудно разобраться без комментария. Это привлекает исследователей, но смущает обыкновенного читателя: трудно увлечься стихами, если приходится, заложив пальцем страницы примечаний, все время перескакивать «туда и обратно».

Да и сами ахматоведы ненароком внесли вклад в отчуждение поэмы от публики. Они настолько заплутали в подробностях, в деталях, настолько, как Сусанин, завели читателя в глухомань, что смысл поэмы как бы испарился, исчез.

Корень зла, как мне кажется, в преувеличении эпического элемента в поэме. Получается, что главное в ней — то, что случилось в 1913 году, смерть юноши-поэта, не пережившего измены своей возлюбленной; жизнь петербургской богемы начала века

Но ведь Ахматова — не летописец Пимен, чтобы посвятить главный труд своей жизни преданьям старины глубокой. Она — лирик, и только лирической могла быть поэма, преследовавшая ее все поздние годы. Только исповедью и «разгадкой жизни».

I

Не боюсь ни смерти, ни срама,
Это тайнопись, криптограмма,
Запрещенный это прием.

ПБГ, II, «Решка», XVI.

Для чего существуют шифры и криптограммы? Для того, чтобы скрыть? Нет, для этого есть молчание; наконец, огонь. Шифруют для того, чтобы прочли. Но — когда нужно и те, кто нужно. Вот почему — «не боюсь ни смерти, ни срама». Расшифрованная исповедь будет оправданием. Но есть вещи, о которых нельзя говорить впрямую. Впрочем, к этому мы потом вернемся.

А сперва еще раз полюбуемся той прелестной суматохой, которую затеяла сама Ахматова вокруг смысла «Поэмы». Уже в предисловии (точнее, разделе «Вместо предисловия») она пишет, что до нее «доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях» и что кто-то даже советует «сделать поэму более понятной». Но — «воздержусь от этого», — с меланхолической важностью заявляет автор. Объяснять она ничего не собирается. «Еже писахъ — писахъ».

В «Прозе о поэме» Ахматова продолжает ту же игру: дразнит, интригует, с видимым удовольствием коллекционирует различные интерпретации поэмы и наконец подытоживает:

«Еще одно интересное: я заметила, что чем больше я ее объясняю, тем она загадочнее и непонятнее. Что всякому ясно, что до дна объяснить ее я

не могу и не хочу (не смею) и все мои объяснения (при всей их узорности и изобретательности) только запутывают дело...» (Здесь и далее разрядка в цитатах моя. — Г. К.)

Еще бы! Разве можно забыть усвоенное в юности: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении... Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине» (Вяч. Иванов, «Поэт и чернь», 1904).

Азбука символизма!

Ясно, что «темное в последней глубине» «до дна объяснить» было бы просто кошунственно. Однако Анне Ахматовой явно хотелось, чтобы кто-нибудь приблизился к разгадке, — иначе бы она так не радовалась неудачным попыткам объяснить поэму.

«Она кажется всем другой:

- Поэма совести (Шкловский)
- Танец (Берковский)
- Музыка (почти все)
- Исполненная мечта символистов (Жирмунский)
- Поэма Канунов, Сочельников (Б. Филиппов)
- Поэма — моя биография
- Историческая картина, летопись эпохи (Чуковский)
- Почему произошла Революция (Шток)
- Одна из фигур русской пляски (раскинув руки и вперед) (Пастернак). Лирика, отступая и закрываясь платочком...»

А между прочим, Пастернак уловил нечто существенное — за и г р ы ш, «не хочу (не смею)» — хочу, но не смею. Это универсальный психологический закон: когда так интригуют, обязательно хотят, чтобы утаенное было в конце концов раскрыто.

В дни ахматовской молодости без «ключей тайны» не обходилась ни одна лекция о поэзии. Где-то она оставила ключик к разгадке. По законам детективного жанра он должен найтись в самой Поэме. Вот только где?

II

А ведь сон — это тоже вешница,
Soft embalmer, Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет.

ПБГ, II, «Решка», V.

Мне кажется, что ключик в этих строках.

Речь идет о театре. Более того, о символистском театре. Ведь строка о «Гамлете»: «Эльсинорских террас парапет» — не случайно содержит два архитектурных термина — террасы и парапет; это не просто о «Гамлете», а о гедон-крэговской постановке «Гамлета» с раздвижными ширмами — знаменитой постановке МХТ 1911 года, где пьеса Шекспира трактовалась в символическом плане. В цитате соединены сон и театр, это чисто символистская идея (подробней об этом в статьях М. Волошина: «Театр как сновидение» и «„Гамлет“ на сцене Художественного театра»¹).

«Поэма без героя» тоже построена как сон — и как пьеса. Сценические ремарки — декорации; эпиграфы — маленькие музыкальные увертюры; лирические отступления — интермедии. Это, по существу, монодрама; как, например, беккетовская «Последняя лента Крэппа», — в том же духе, хотя, конечно, совершенно в другом жанре.

И, наконец, во второй строке главное — Метерлинк, «Синяя птица». Это уж совсем горячо.

Итак, легендарный спектакль Станиславского, любимая пьеса взрослых и детворы до- и послереволюционных лет. Помните начало первой сцены?

«<...>Лампа на столе зажигается сама собой. Дети просыпаются и садятся на своих кроватках.

Тиль тиль. Митиль!

Митиль. Тиль тиль!

Тиль тиль. Ты спишь?

Митиль. А ты?..

Тиль тиль. Значит, не сплю, если говорю с тобой...»

¹ Максимилиан Волошин. Лики творчества. Л. 1988.

М и т и л ь. Сегодня Рождество, да?

Т и л ь т и л ь. Нет, не сегодня, а завтра. Только в нынешнем году святочный дед ничего нам не принесет...

М и т и л ь. Почему?..»

С этого обиженного «почему» все и начинается. Канун Рождества. Однако на сей раз дети не дождутся подарка. И праздник они могут наблюдать только в окне, отделенные от него далью и холодом стекла. Но взамен скупой реальности к ним является сказка-фея, оживают молчащие души вещей и начинается фантазмагория, исход, поиски Синей птицы счастья. Они навещают Страну Воспоминаний, Дворец Ночи, Кладбище, Царство Будущего... И когда возвращаются назад, оказывается, что все было сном.

Вот схема, на которую ложится «Поэма без героя».

Разве что ночь не рождественская, а новогодняя. И не сама собой загорается лампа, а рука автора зажигает «заветные свечи». И не с милым братом он встречает канун праздника, а с «тобой, ко мне не пришедшим». И фантазмагория далеко не такая светлая, а, наоборот, подсвеченная inferнальными огнями. Но Страна Воспоминаний есть. И ожившие вещи². И даже Гость из будущего. И та же роковая невстреча на Земле, предсказанная Метерлинком.

Предсказанная в той сцене, когда в Царство Будущего, в Лазоревый Дворец, где обитают Дети, которым еще только предстоит родиться, является Время, «высокий бородатый старик с косой и песочными часами», чтобы забрать с собой на корабль тех, кому выпал черед жить.

«В р е м я. <...> Ну как, все готовы? Все на своих местах?.. (Окидывает взглядом Детей, собравшихся на пристани и занявших места на корабле.) Одного не хватает... Не прячься, не прячься, я все равно тебя вижу!.. Меня не проведешь... Ну, так называемый Влюбленный, прощайся со своей красоткой!..

Двое Детей, которых зовут Влюбленными, с помертвевшими от горя лицами, нежно обнявшись, подходят к Времени и бросаются ему в ноги.

Первый Ребенок. Дедушка Время, позволь мне остаться с ней!..

Второй Ребенок. Дедушка Время, позволь мне уйти с ним!..

В р е м я. Нельзя!.. В вашем распоряжении всего триста девяносто четыре секунды...

Первый Ребенок. Лучше бы мне вовсе не родиться!..

В р е м я. Это не от тебя зависит...

Второй Ребенок (умоляюще). Дедушка Время, я приду слишком поздно!..

Первый Ребенок. Когда она спустится на Землю, меня уже не будет!..

Второй Ребенок. Я его там не увижу!..

Первый Ребенок. Мы будем так одиноки!..

В р е м я. Это меня не касается... Обращайтесь к Жизни... Я соединяю и разлучаю, как мне приказано... (Хватает Первого Ребенка.) Ступай!.. <...>

Второй Ребенок (в отчаянии простирает руки к Первому). Поддай мне знак!.. Хоть какой-нибудь знак!.. Скажи, как тебя найти!..

Первый Ребенок. Я всегда буду любить тебя!..

Второй Ребенок. А я буду печальнее всех!.. Так ты меня и узнаешь!..»

И вот вам, пожалуйста, разгадка — или гипотеза, как хотите. Герой и героиня ахматовской поэмы — они и есть те самые Влюбленные Дети, осужденные на то, чтобы не встретиться на Земле. А если и встретиться, то не узнать друг друга (как у Лермонтова: «Но в мире новом друг друга они не узнали»). Вот так и расшифровываются загадочные строки:

Что ж вы все убегаете вместе,

Словно каждый нашел по невесте,

Оставляя с глазу на глаз

Меня в сумраке с черной рамой,

Из которой глядит тот самый,

Ставший наигорчайшей драмой

И еще не оплаканный час?

² «Эта поэма — своеобразный бунт вещей. (Ольгины) вещи, среди которых я долго жила, вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем» (А. Ахматова, «Проза о поэме»)

«И еще не оплаканный час» — оттуда же. Ведь все разлуки на Земле уже давно оплаканы ею сполна, и не оплакана лишь та, главная, бывшая еще до жизни разлука. Когда безжалостный перевозчик Время явился в Лазоревый Дворец, чтобы исполнить волю Судьбы:

«Время (на пороге). Те, чей пробил час, готовы?..»

III

И тогда из грядущего века
Незнакомому человека
Пусть посмотрят дерзко глаза,
Чтобы он отлетающей тени
Дал охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.

«Решка», XXII.

Этот метерлинковский образ объясняет многое — и в частности, и в целом, и в стихах, и в жизни. Поэма сразу обретает один-единственный, цельный смысл («Никаких третьих, седьмых и двадцать девярых смыслов поэма не содержит». — Из предисловия).

Объясняется и строчка: «Так и знай: обвинят в плагиате...», которую относили на счет заимствованной у М. Кузьмина формы строфы; но никогда использование «чужой» строфы или размера не считалось в русской поэзии плагиатом. А вот сюжетная схема, образ Возлюбленного из будущего — другое дело.

Все объясняется с самого начала. Вся тревога, вся мучительная музыка — музыка ожидания или музыка оплакивания, ведь Героиня не знает, где ее Герой, тот единственный, обрученный с нею до жизни: может быть, он еще не родился, а может быть... И вот она в ужасе представляет его умершим — жильцом могилы, который может явиться к ней в облике загробной тени и позвать за собой — туда...

Шутки ль месяца молодого,
Или вправду там кто-то снова
Между печкой и шкафом стоит?
Бледен лоб, и глаза открыты...
Значит, хрупки могильные плиты,
Значит, мягче воска гранит...
Вздор, вздор, вздор! — От такого вздора
Я сядою сделаюсь скоро
Или стану совсем другой,
Что ты манишь меня рукою?!

*За одну минуту покоя
Я посмертный отдам покой.*

Совершенно другое толкование, чем раньше, получает образ Гостя из будущего. В. М. Жирмунский (а вслед за ним и другие) считал: «„Гость из будущего“ назван так потому, что он не современник описываемых событий, принадлежит к более позднему временному плану, чем остальные герои поэмы, он является до известной степени живым свидетелем происходящего действия и слушателем рассказа героини».

Но зачем раскаленной исповеди Ахматовой какие-то абстрактные «слушатели» и «до известной степени живые свидетели»? Нет, природа этого Гостя таинственней; обратим внимание — он способен проходить через зеркало: оттого героине и кажется невероятным, что он может прийти так прозаически, «повернув налево с моста».

Б *Звук шагов, тех, которых нету,*
Е *По сияющему паркету*
 И сигары синий дымок.
Л *И во всех зеркалах отразился*
Ы *Человек, что не появился*
Й *И проникнуть в тот зал не мог.*
 Он не лучше других и не хуже,
 Но не веет летейской стужей,
З *И в руке его теплота.*
А *Гость из Будущего! — Неужели*
Л *Он придет ко мне в самом деле,*
 Повернув налево с моста?

(ПБГ, I, 1)

Нет, не потому он назван Гостем из Будущего, что «не современник описываемых событий» (да и не описывает Ахматова никаких событий!), а потому, что он — из Царства Будущего, где Влюбленные дети ждали рождения и мечтали быть вместе, но были разлучены равнодушным Временем. И он, как и Героиня, обречен искать на земле свою судьбу, и на какой-то момент ей показалось даже, что это он и есть — Герой:

Я его приняла случайно
За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено.

(ПБГ, Третье и последнее посвящение)

Горчайшее — это понять, что случайность рождения разделила их непоправимо.

Теперь объясняется и абсолютно загадочный прежде пассаж из «Прозы о поэме»: «Того же, кто упомянут в ее заглавии и кого так жадно искала сталинская охранка, в Поэме действительно нет, но многое основано на его отсутствии». Всех ее любимых — от Н. Гумилева до Н. Пунина — с какой-то фатальной яростью преследовал, уничтожал, изгонял режим, но до ее единственного Возлюбленного, суженого охранка добраться не могла, его не было с ней на Земле.

Где же он был? В Стране Будущего. Или на воздушных путях. Вот почему она слышит дальний отголосок своей темы в образах Демона и Тамары, которым не суждено быть вместе, ибо это существа разной природы — эфирной и земной.

ВСЕ В ПОРЯДКЕ: ЛЕЖИТ ПОЭМА
И, КАК СВОЙСТВЕННО ЕЙ, МОЛЧИТ.
НУ, А ВДРУГ КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА,
КУЛАКОМ В ОКНО ЗАСТУЧИТ,—
И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЗДАЛЕКА
НА ПРИЗЫВ ЭТОТ СТРАШНЫЙ ЗВУК —
КЛОКОТАНИЕ, СТОН И КЛЕКОТ
И ВИДЕНЬЕ СКРЕЩЕННЫХ РУК?..

(ПБГ, I, Послесловие)

Если так, то спадает всякая непонятность, герметичность Поэмы, и ее замысел и структура делаются вполне ясными и стройными. Не случайно в центр петербургской повести поставлена история Ольги Судейкиной и Всеволода Князева. Это — пара вторых любовников, оттеняющих драму Героя и Героини. Здесь, на первом плане, Невстреча; там, на втором плане, — может быть, Встреча, но неузнавание.

Почему я говорю о Встрече? Потому что образ Метерлинка, по сути, идет от Платона. Влюбленные дети, расставшиеся еще до рождения, — те же самые платоновские «половинки», которым суждено искать друг друга. А если так, то столь сильное тяготение, которому жертвуют жизнью, есть почти верная примета узнавания «своей» половинки. В таком случае, Оля Судейкина, возможно, виновата в тягчайшем — в неузнавании. Потому автор и кладет ей на край подоконника эту «сожженную повесть» как вечную улику — жестоко, но справедливо.

Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою...—

говорит погибший юноша-поэт у Ахматовой. Она и сама чувствует себя вдовою — но не ушедшего, а не пришедшего. Есть законы драматургической перспективы. Нарисовав так крупно фигуры второго плана и их драму, Ахматова тем самым еще более укрупнила то, что происходит на первом плане, не прибегая к прямому рассказу, оставив все в области намека, интонации, страстной и мощной музыки.

Важную роль играют и маскарадные гости — гофманиана фраз, личин и поз. Все эти «краснобаи и лжепророки» — лишь мороки, болотные огоньки, уводящие и отманявающие, пособники одной-единственной невестрицы.

IV

И, ты знаешь, что нас разлученней
В этом мире никто не бывал.

А. Ахматова, 1962.

Все это проливает свет не только на «Поэму без героя», но и на многое в поздних стихах и в самой жизни Ахматовой. Прежде всего — на смысл ее необыкновенной дружбы с англичанином Исасей Берлиным.

Этот тридцатилетний дипломат (а по образованию философ и литературовед) появился в доме Ахматовой осенью 1945 года, и разговор их, начавшийся с недоразумения, продолжался много часов подряд, до позднего утра следующего дня. Это кажется странным и даже таинственным — что за внезапная близость, что за токи прошли между этими незнакомыми людьми.

Одна многозначительная деталь: в ту ночь она прочла ему свою «Поэму без героя» дважды!

Казалось бы, ничем нельзя объяснить это внезапное доверие, этот «легкий блеск перекрестных радуг», в который превратился ночной разговор. Но если ей почудилось, если по многим жадно ловимым черточкам и намекам она начала прозревать, что этот молодой англичанин — тот самый Лазоревый Ребенок из Страны Будущего, тогда объясняется все: и то, как она, не стыдясь, рассказывала ему самое сокровенное в своей жизни, и как жадно выпрашивала его о личном, «как если бы у нее было абсолютное право знать об этом», и то, что он сделался адресатом ее лучших лирических циклов «Cinque» и «Шиповник цветет», а также Третьего посвящения «Поэмы без героя».

По каким деталям, по каким жадно ловимым черточкам и намекам ей показалось, что он — тот самый, мы можем только гадать. Быть может, то, что он десятилетним мальчиком переехал на корабле из Риги в Лондон и, погрузившись в новую жизнь и в новый язык, не забыл и не разлюбил русский, может быть, это отражало как в зеркале судьбу метерлинковского Ребенка, увезенного Временем в Гавань Зари для новой жизни, но помнящего и тоскующего по своей дожитой любви?

Так или не так, но эта встреча и последовавшая через десять лет невстреча в Москве³ породили многие ахматовские стихи о любви; на мой взгляд, они не менее прекрасны, чем шедевры ее молодости, и стоят на одном уровне с поздней лирикой Пастернака и Заболоцкого.

V

Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.

Б. Пастернак, 1928.

В воспоминаниях И. Берлина есть и рассказ об их встрече в Англии в 1965 году, куда А. Ахматова приехала за присужденной ей докторской мантией Оксфордского университета, а в этом рассказе — такое место:

«Я спросил, будет ли она когда-нибудь растолковывать «Поэму без героя»: намеки могут быть непонятны тем, кто не знал жизни, которой она касалась. Или она хочет оставить их в неведении? Она ответила, что когда те, кто знал мир, о котором она говорит, будут достигнуты дряхлостью или смертью, умрет и поэма. Она будет похоронена вместе с ней и ее веком, она не писалась для вечности и даже не для потомства».

В этом есть часть печальной правды. Время унесло ауру эпохи, те трепещущие токи, которыми была пронизана жизнь поколения, воспитанного символизмом. Они разговаривали на особом языке намеков, аллюзий, знаков, понимаемых с полуслова. Разве мы можем представить, что значил, например, Метерлинк для жизни той среды? Когда мы читаем у Осипа Мандельштама:

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной! —

многим ли из нас понятно, что здесь прямая (и знаменитая)⁴ цитата из Метерлинка?

В безнадежно ернических строках Георгия Иванова (из сборника «Rayone de rayone») —

Все всегда, когда-то где-то
Время глупое ползет.
Мне шестериком карета
Ничего не привезет —

³ А. А. опасалась, что встреча с нежелательным иностранцем может навлечь беду на ее сына Л. Гумилева, только что вышедшего из своего второго многолетнего заключения в ГУЛАГ.

⁴ В переводе Н. Минского и Л. Вилькиной — «положение человека во Вселенной» («Сокровище смиренных»). IX. Трагедия каждого дня. В кн.: М. Метерлинк. Полное собрание сочинений. Т. 2. Пг. Приложение к журналу «Нива» на 1915 год, стр. 71).

разве мы видим — так, как видел он, — ту же «Синюю птицу» и обделенных праздником детей, жадно глядящих в окно на богатые дома, куда съезжаются гости с рождественскими подарками? —

«Тиль тиль. Снег идет!.. Вон две кареты шестериком!..»

В конце сороковых в Париже — отблеск отблеска (*rayone de rayone*) волшебного спектакля молодости...

И даже в ахматовском стихотворении «*In memotiam*» («А вы, мои друзья последнего призыва!..») из цикла «Ветер войны» последние строки —

Рядами стройными проходят ленинградцы,
Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет,—

перекликаясь с евангельским текстом, вместе с тем звучат эхом сцены на Кладбище, когда Дети с трепетом ждут, что в полночь могилы растворятся и из них выйдут покойники, и вдруг — в момент наивысшего ужаса — из всех разверзнувшихся могил поднимаются сонмы белых пышных цветов.

«Митиль (*ищет в траве*). Где же мертвые?..
Тиль тиль (*тоже ищет*). Мертвых нет...

Занавес».

VI

«*Silence and Secrecy!*» — восклицает Карлейль — им следовало бы воздвигнуть алтари всеобщего поклонения (если только алтари воздвигаются еще в наши дни)... Истинная жизнь, единственная, оставляющая какой-либо след, соткана из молчания.

М. Метерлинк, «Сокровище смиренных».

Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.

А. Ахматова, «Читатель».

Теперь объясняется и самое главное — зашифрованность поэмы. Есть вещи, которые нельзя сказать прямо даже близкому другу: необходимо, чтобы он сам догадался.

Можно ли представить себе, чтобы А. Ахматова сама выговорила то, что осмеливаемся выговаривать мы? Скажи она прямо: «Смысл поэмы в том, что всю жизнь я ждала одного-единственного возлюбленного, сужденного мне еще до рождения, в Стране Будущего, где играют Лазоревые Дети, и от этого все муки и все ошибки, вся трагедия моей жизни», — скажи она так, это было бы невыносимой пошлостью.

Вот уж чего вообразить невозможно.

«Молчание и Тайна!» — с этих слов начинается книга Метерлинка «Сокровище смиренных» (1896), которую можно назвать воистину Евангелием от символизма. (Йейтс тоже относил ее к числу своих «священных книг».)

Вот почему она в стихах подводила вплотную, а в прозе отводила, как куропатка от гнезда, от смысла Поэмы. Всякую ерунду объясняла (например, к фразе «...где все девять мне будут рады» делает очевидную сноску: «Музы»), а главного не могла (и не смела) объяснить.

Но она надеялась на читателя, верила в «незнакомые очи», которые будут говорить с нею до света, в «блаженнейший зной» беседы с неведомым другом. Она знала, что ее «немая исповедь» внятна разумеющему, и не боялась «позорного пламени» лирического откровения.

Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытым. О нет!
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта холодное пламя
Его застыло чело.

Удивительное стихотворение, которое начинается тем же самым, подмеченным Пастернаком, движением русской пляски «раскинув руки и вперед» («весь настезь распахнут поэт»); а кончается уединенной комнатой, где один на один происходит скрытный и «блаженнейший» диалог с читателем:

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят,

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной...

Не так ли она сама говорила с Метерлинком?

«...у нас всех есть общая родина, куда мы уносимся, где находим друг друга и откуда без труда возвращаемся», — читала и соглашалась: «Верно».

«В этой же общей отчизне мы выбираем своих возлюбленных, и вот почему мы не ошибаемся, и почему наши возлюбленные также никогда не ошибаются», — и горько улыбалась: «O soft embalmer! Нежный утешитель!»

Кстати, «embalmer» по-английски вовсе не утешитель, как говорится в сноске к поэме, а «бальзамирщик» или «бальзам»; и только во втором смысле: «то, что предохраняет от распада или забвения». Большой Оксфордский словарь приводит цитату из Эмерсона: «Религиозное чувство — это высокогорный воздух; то, что хранит мир от распада (the embalmer of the world)». И в сонете Китса «К сну», откуда Ахматова взяла эту фразу, первая строка —

O soft embalmer of the still midnight
(О, нежно бальзамирующий застывшую (мертвую) полночь) —

образ тревожный, проникнутый трепетом смерти и одновременно упоительно-сладкого благоухания.

Думаю, что Ахматова вполне ощущала эти обертоны, иначе незачем было и огород городить, то есть незачем было брать английское многозначное слово, достаточно было сказать: «А ведь сон — это тоже вещьца, / Утешитель, Синяя птица, / Эльсинорских террас парапет».

Впрочем, оставим эти вещи за кадром. Пусть даже будет просто «утешитель».

Проследим снова логику этого трехстишия. Почему вслед за Синей птицей сразу идет «эльсинорских террас парапет»? Да потому, что та реальность, из которой уносит, «восхищает» героиню сон-утешитель, есть Эльсинор — обитель злодейства и наихудшее подземелье в мировой тюрьме (как Гамлет называл свою Данию). Тогда становится понятно лирическое развитие этих строк, тот слышный в них (иронически охлажденный) вздох: «О Сон, о нежный утешитель! О сказка Метерлинка! О одиночество и ужас Эльсинора!»

Этот ужас Эльсинора все время присутствует в Поэме как драматический контраст к лирике сердца, к мечте.

Впрочем, мы совсем не касаемся здесь эпических мотивов, играющих важную, необходимую, но не первостепенную роль в «Поэме без героя».

Сравнение первого, ташкентского варианта Поэмы с последним показывает, что на протяжении многих лет доработка шла в основном по линии усиления лирического, музыкального, а также театрального начала. Были введены Второе и Третье посвящения, добавлены строфы в первую главу: «Веселиться — так веселиться...», «Смерти нет — это всем известно...», отрывок о Госте из Будущего и это — «Я оставлю тебя живою, / Но ты будешь моей вдовою...», а также интермедия «Через площадку». Работа продолжалась в записных книжках последних лет, готовились новые строфы, ждали своего часа.

В черновиках Поэмы мы находим еще одно подтверждение нашей гипотезы — строфу, которая не может быть ничем иным, как прямой ссылкой на Страну Будущего из «Синей птицы»:

И тогда, как страшное действо,
Возникают следы злодейства,
Пестро кружится карусель,
И какие-то новые дети
Из еще не бывших столетий
Украшают в Сочельник ель.

⁵ М. Метерлинк. Сокровище смиренных, стр. 44.

Обратим внимание, что здесь тоже контрастно поставлены рядом следы злодейства и дети («из еще не бывших столетий») — «эльсинорских террас парапет» и «Синяя птица».

Кстати, вот слова Ахматовой (в передаче И. Берлина): «Для поэтов имеет значение только прошлое, и детство — более всего остального».

Образ из «Синей птицы» — важный ключ к поздней лирике Анны Ахматовой. И не только к поздней. Опыт больших поэтов показывает: то, что ясно осознается на зрелом этапе, возникает намного раньше — обмолвкой, догадкой, предвосхищением. Этот мотив присутствует уже в «Белой стае», в стихах 1915 года. В том стихотворении, что начинается так:

Я не знаю, ты жив или умер,—
На земле тебя можно искать
Или только в вечерней думе
По усопшем светло горевать.

И в соседнем («Широк и желт осенний свет...»), где нежный упрек возлюбленному («Ты опоздал на много лет...») слит с печальным прозрением и покаянием:

Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.

POST SCRIPTUM

По м р е ж. Да она не то говорит. Всех нас погубит.
Д и р е к т о р (*испуганно*). Политическое?..
По м р е ж. Нет, нет... бред какой-то любовный, и
все стихами...

«Энума Элиш» (набросок, 1964⁶).

Вижу, что кое-что надо уточнить и добавить.

То, что Поэма вся пропитана тоской по отсутствующему, вернее, по присутствующему лишь как воспоминание, тень или сон и что именно поэтому она названа «Поэмой без героя», — настолько очевидно, что никакого открытия в этом, конечно, нет.

Существенно другое — не отмеченная прежде переключка с «Синей птицей» Метерлинка. Она — в сюжетной схеме, в экспозиции, в наборе мотивов; но главное — в образе Возлюбленного, разлучение с которым произошло в Царстве Будущего еще до рождения Героя и Героини.

Сказать ли? — для опытного исследователя такое никуда не годится, но для дилетанта вроде меня, думаю, простительно — статья была написана в таком запале, что я не успел перечитать поздних незаконченных вещей Ахматовой и, главное, «Энума Элиш».

Перечитал лишь теперь, поставив последнюю точку, — и буквально поражен. В этой драме (написанной в Ташкенте в 1943 году и сожженной в Ленинграде в 1945-м), над восстановлением которой Ахматова работала последние четыре года своей жизни, — множество подтверждений нашей версии.

Так детектив, построивший доказательства с помощью тонкой системы заключений, внезапно обнаруживает дневник подозреваемого, где все пружины преступления обнажены как на ладони, и чувство, охватывающее его, — странная смесь удовлетворения и разочарования.

Прежде всего мы имеем прямые текстуальные совпадения со сценой разлучения Влюбленных Детей в Царстве Будущего, которая уже приводилась.

«Второй Ребенок (*в отчаянье простирая руку к первому*). Поддай мне знак!.. Хоть какой-нибудь знак! Скажи, как тебя найти!..»

Это место трижды откликается в набросках драмы Ахматовой.

«Г о л о с. Дай мне сейчас талисман, по которому я узнаю тебя на земле. <...>

⁶ Здесь и далее «Энума Элиш» цитируется по книге: Анна Ахматова. Сочинения в двух томах. Т. 2. М. «Правда». 1990. Под общей редакцией Н. Н. Скатова. Составление и подготовка текста М. М. Кралина.

И к с. <...> По каким приметам я узнаю тебя?»

И в другом наброске:

«Голос. <...> Дай мне талисман, чтобы я нашел тебя».

И в третьем:

«И к с. (*встает, протягивает руки*). Что я дам тебе, чтобы ты узнал меня? Розу, яблоко, кольцо?
Голос. Нет».

И он просит лишь слезу с ее ресницы («...я буду печальнее всех!.. Так ты меня и узнаешь» — у Метерлинка).

По сравнению с «Поэмой без героя» в «Прологе» — второй части драмы «Энума Элиш» — образ героя раздваивается на *Гостя из Будущего* и *Голос*, первый из которых оказывается лишь предвестником второго, настоящего: он «возвращается в стену и меркнет», когда слышится Голос. Как сказано в третьем посвящении к «Поэме без героя»: «Я его приняла случайно / За того, кто дарован тайной...»

Разговоры с Голосом выходят в «Прологе» на первый план. Из-под прежнего мотива — «трагедия не встречи» — проступает диалектическое: «встреча» и есть истинная встреча, «несчастье» и есть счастье, ибо боль не встречи претворена в творчество, «стон» — в «песню».

«И к с. Мне нечего прощать. Ты был, есть и будешь тем, чего я больше всего боялась в жизни и без чего я не могла жить. Ты был — вдохновеньем. В чистом, единственном и беспримесном виде».

Обнажается и другой важнейший для Ахматовой мотив: любви-гибели. Гость из будущего еще и потому не настоящий «Он», что, хотя его приход открывает дверь «таким бедам, о которых не имеешь представления», это все-таки еще переносимые беды. На них можно глядеть «холодными глазами».

Встреча с тем, настоящим, наступит, когда придет Последняя беда — та, что «за последним поворотом».

Вот почему вспоминаются Демон и Тамара.

Если Он и сможет признать Ее на земле, то лишь по вкусу слез.

«Скорбь — главная пища любви. Любовь, которую не питают чистой скорбью, умирает...» (М. Метерлинк, «Сокровище смиренных»).

Подсознательно или нет, но Ахматова смолоду делала все, чтобы ее узнал Возлюбленный («...буду печальнее всех»).

Ю. Анненков зорким взглядом художника отмечает: «Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже — когда она улыбалась». Это есть и в посвященных ей стихах, например у Мандельштама:

Влоборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.

Она и сама сказала про себя:

Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетя.

(«Майский снег», 1916)

Восстановление сожженной драмы, затеянное Ахматовой, превратилось, по существу, в писание новой вещи. Как жаль, что ей не хватило времени и сил закончить свой труд. Сохранившиеся куски и наброски показывают, что мы лишились новой Ахматовой, способной по-шекспировски соединить трагедию и комедию.

И дело не только в третьей части, в блестяще написанной сцене суда над героиней — в конце концов, это лишь сатира, образцы для которой нетрудно указать. Куда интересней великолепная самоирония и всплески чистой фантазии, оттеняющие самое драматическое. До чего хорош орел Федя, которому Икс (героиня) диктует свои детские воспоминания:

«...в последний раз предупреждаю, что стихи записывать не стану. От них только горе. Знаешь, что с М. из-за стихов случилось! Просто перо жалко для такого вырвать...»

Или такой «обэриутский» текст:

«И к с. Федя, это ты Петербург основал?
Ф е д я. Я. — Я тогда был ручной. Это я в шутку.
И к с. Люблю твои шутки».

Великолепен автошарж, намеченный в «Рукописи, найденной в бутылке» (своеобразном комментарии к драме):

«Женских ролей там, как известно, было две. Одна из них (амплуа комическая старуха) в возрасте 61 года была зарезана из ревности матросом в загородном парке города N».

Мне кажется, что Ахматова мечтала о вещи характера (и масштаба) «Фауста». «Поэма без героя» долгое время была для нее таким итоговым трудом. Переключку с гётевской поэмой я вижу не только в мотивах шабаша, «чертовни», «ночного Брокена».

Дело в самой драматической пружине. Раз центральный конфликт — несовпадение во времени Героя и Героини, раз Он может явиться молодым, когда Она, увы, уже в фаустовском возрасте, то для счастливого соединения Влюбленных должен понадобится не кто иной, как сам Мефистофель. Конечно, ни о какой сделке с чертом и речи быть не может; но нельзя не заметить, что сама эта сверхтрудная задача — по его, так сказать, профилю.

Вот он и мелькает, и блазнит в стороне:

Хвост запрягал под фалды фрака...
Как он хром и изящен...

Однако
Я надеюсь, Владыку Мрака
Вы не смели сюда ввести?

Так что не случайно Ахматова в Ташкенте подговаривала Пастернака написать «нового Фауста» (от чего тот изящно уклонился, переведя «Фауста» старого) — ей казалось интересным; что в русской литературе будут существовать два «Фауста» — мужской (пастернаковский) и женский («Поэма без героя»).

«Энума Элиш» была второй попыткой в этом роде...



**В 1993 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ
ОПУБЛИКОВАТЬ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК А. АНДРЕЕВОЙ
«ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ»**

Не забудьте продлить Вашу подписку
на вторую половину 1993 года!

Литература и искусство

ДАР ЧЕРНОГО ДНЯ

Средь других имен. Составитель В. Б. Муравьев. М. «Московский рабочий». 1990. 525 стр. Поэты — узники ГУЛАГа. Малая серия. М. «Возвращение». 1991—1992. 12 выпусков, в каждом выпуске 36 стр. 1. Елена Ильзен (Грин). Стихи; 2. Соловецкая муза. Стихи и песни заключенных СЛОНа; 3. Ольга Адамова-Слизберг. Путь; 4. Сергей Бондарин. Тебе дается день; 5. Юрий Стрижевский. Колочие снега; 6. Анна Баркова. Герои нашего времени; 7. Александр Чижевский. Бесконечности; 8. Михаил Фроловский. Северная весна; 9. Нина Гаген-Торн. Отраженья; 10. Владимир Муравьев. Элегии и баллады; 11. Семен Виленский. Каретный ряд; 12. Кольымский этап.¹

Немецкий философ Теодор Адорно утверждал, что после Освенцима невозможно написать стихотворение. Впоследствии Адорно конкретизировал свою мысль, признавшись: мысль высказывалась в надежде на опровержение.

Стихи, однако, писались — наверняка и в самом Освенциме, и в его окрестностях (а когда в стране имеются концентрационные лагеря, вся страна превращается в их окрестность).

Современники любят утверждать, будто они ничего не знали про концентрационные лагеря. Они кривят душой. Для того чтобы не знать о лагерях, надо было не попадать туда, а для того, чтобы не попадать туда, надо было себя определенным образом вести. И каждый знал, как надо вести себя. Можно ли не знать о лагерях, когда туда приводит и неосторожно сказанное слово? Среднестатистический простой человек обладает более глубоким знанием о репрессиях, чем поставщики дешевых сенсационных разоблачений.

Персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984» О'Брайен ссылается именно на это: «Вы спросили меня однажды, — сказал О'Брайен, — что в комнате 101? Я ответил вам, что вы сами знаете. Каждый знает это. Дело в том, что в комнате 101 происходят вещи, худшие в мире». Кто утверждает, будто ничего не знал, тот обнаруживает подлинное знание худшего в мире.

Стихи, написанные в тюрьме и вне тюрьмы, в лагерях и вне лагерей, непрерывно взаимодействовали между собой, что представляет определенный интерес. В 1951 году Павел Антокольский написал стихи, казавшиеся в свое время образцом поэтического мастерства. У него выступала «муза грозной правоты». «Она мне диктовала все стихи любимые...» Броской рифмой врезались в память строки:

Она внесла мой ранний ямб
На сцену, в блеск вечерних ламп.

Запоминающимся строками стихотворение и заканчивалось:

Я ей отдам на сотни лет
Бережь партийный мой билет.

А в том же 1951-м неизвестный заключенный Даниил Андреев создал такие стихи (не знаю, была ли у него возможность сразу записать их):

Нет,
Втиснуть нельзя этот стон, этот крик
В ямб:

Над
Лицами спящих — негаснущий лик
Ламп...

Стихотворение Даниила Андреева называется «Тюрьма на Лубянке». Едва ли в русской поэзии двадцатого века найдется другое стихотворение, столь своеобразное в своей страдальческой музыке. Такие ритмические «пороги» самому Маяковскому не снились:

Здесь
Пышные лестницы; каждый их марш
Прям.

Здесь
Вдоль коридоров — шелка секретарш —
Дам.

Рифма «ямб — ламп» вовлекает Антокольского в скрытые, но тем более цепкие связи. Торжественный «блеск вечерних ламп» и «негаснущий лик ламп» сближаются, причем вечерние лампы сходят на нет, затмеваются тюремными лампами, светом которых пытаются. Крик Даниила Андреева не втискивается в ямб ламп, который напоминает зловещую стихотворческую оргию из романа Евгения Замятина «Мы»: «И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств».

Упомянутое взаимодействие тюремной и кабинетной поэзии не является лишь прихотливой игрой цитат и ассоциаций. Оно

¹ В сборник вошли только стихи, написанные в заключении; малая же серия представляет творчество репрессированных поэтов как до ареста, так и после освобождения (если поэт до него дожил). Редактор-составитель этой серии Заира Веселая работает над ее продолжением.

бросает свет на литературный процесс при тоталитарных режимах. Владимир Муравьев написал стихотворение, вскрывающее обыденную основу тюремно-лагерной системы:

...Прошли года. На дальних перегонах
С солдатом снова встретился солдат:
Чекист был первый в золотых погонах,
А на втором был зековский бушлат.

Система строилась на том, что один мог всегда оказаться на месте другого. Это и означало: «У нас нет незаменимых». В духе своего стихотворения В. Б. Муравьев составил и сборник лагерной поэзии. Среди удач составителя я бы выделил и то, что он позволил себе не затушевывать эту жуткую взаимозаменяемость советских поэтов. В книге представлены стихи из «Библиотеки строителя БАМа» (название одного из разделов книги) с пометкой «не подлежит распространению за пределами лагеря». Все стихи датированы 1936 годом. Многие из них достойны были бы войти во все хрестоматии и антологии того времени. Вот, например, стихи Л. Дмитриева:

Все же солнце светит и смеется,
все же сердце бьется и поет,—
оттого, что радость остается,
никуда из сердца не уйдет

В этих стихах настораживает «все же». Оно весомее, чем кажется на первый взгляд, оно намекает на то, где стихотворение написано. Неподдельное страдание порой выдает себя вымученным сопреалистическим кичем: «Рубцы покроем прошлых ран стальной позолотой» (Алексей Волгарь). И за всеми этими бамовскими строками маячит незабываемое:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек

Складывается впечатление, что такая песня могла быть написана лишь в стране ГУЛАГа. В ней неподдельная радость оттого, что ты не попал в ГУЛАГ, неподдельное желание не попадать туда (любой ценой) и неподдельный ужас перед худшим в мире. перед тем, что знают все. Из этих трех элементов складывается истерический энтузиазм тех лет, по которому кое-кто еще тоскует. О многом говорит пометка составителя, предшествующая в книге стихам бамовских поэтов: «Никаких сведений об авторах обнаружить не удалось»

Самым названием книги «Средь других имен»² зафиксирована существеннейшая особенность тюремно-лагерной поэзии. Некоторые из поэтов, представленных здесь, прошли через одиночное тюремное заключение, но странным образом все они изжили замкнутость, герметическую изоляцию, ко-

торой страдал на свободе художник двадцатого века. Мы знаем, что из тюрем и лагерей вышли большие, самобытные поэты. Имя Даниила Андреева говорит само за себя. Недавно мы прочли в «Новом мире» стихи другого большого поэта, Анатолия Клещенко. Через тюрьмы, лагеря и ссылку прошел Николай Заболоцкий. Ни один из этих поэтов не похож на другого, но каждый из них — мученик по-своему, а судьба у них общая с другими, как сказала Анна Ахматова:

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Слово «коллективность» слишком отдаёт ГУЛАГом. Слово «соборность» относится не только к поэтам, да и слишком ко многому оно обязывает. Поэты, прошедшие через тюремно-лагерный ад, перекликаются друг с другом, а порознь каждый из них нечто теряет. Иначе как сплоченностью это нечто не назовешь, а совершенная сплоченность — катарсис, вознаграждающий за трагический опыт.

Принцип «Средь других имен» распространяется и на каждую маленькую книжечку, изданную обществом «Возвращение». Две книжечки из малой серии «Поэты — узники ГУЛАГа» без обиняков названы «Кольмский этап» и «Соловецкая муза». Стихи поэтов, представленных в этих книжечках, иногда напоминают некий новейший фольклор, хотя блатному фольклору они решительно противостоят. Видно, что для каждого поэта-узника дело чести — не опуститься до творчества «социально близких». С этой традицией позволяли себе заигрывать скорее официальные поэты и композиторы, извлекая из блатного фольклора подчас настоящие жемчужины. Конечно, при этом трудно сказать, кто у кого заимствовал, и, быть может, популярная мелодия песни «Снова замерло все до расвета» была подхвачена блатным маэстро в песне «Перебиты, поломаны крылья», а не наоборот. И в песне Юрия Стрижевского с характерным посвящением «Моему бедному другу А. Беломестному» распознаются знаменитые «перелетные птицы», залетевшие на Кольму:

Там хлеб на полях не родится,
Там злые туманы плывут,
Живут безголосые птицы,
Бесправные люди живут

Всякому прочитавшему эти строки они всегда будут слышаться при пении «Перелетных птиц». Правда, прочитают их немногие, потому что и в наше время комфортнее, спокойнее не читать их.

Читая «Средь других имен» и серию «Поэты — узники ГУЛАГа», физически ощущаешь запретное, смертельный риск, на который идет эзк, сочиняющий стихи по-своему, а не так, как предписано культурно-воспитательным отделом. Образованный начальник специально осведомлялся, не сочиняет ли стихов заключенный Заболоцкий. И услышав заверение в том, что поэт

² Строка из четверостишия Анны Барковой: «Может быть, через пять поколений, / Через грозный разлив времен / Мир отметит эпоху смятений / И моим средь других имен»

Заболоцкий стихов писать больше никогда не будет, снисходительно-угрожающе ронял: «Ну то-то». Лагерное начальство по-своему тонко улавливало и сознавало недопустимость стихов в ГУЛАГе, так что сам акт поэтического творчества, пусть безмолвного, пусть «про себя», означал сопротивление, «души отчаянный протест». Поэты-узники сплочены прежде всего этим сугубо личным, интимным, но общим для них всех сопротивлением. Откровенно говоря, далеко не все узники, представленные в малой серии, родились поэтами. Некоторые из них в нормальных условиях либо вообще не писали бы стихов, либо остались бы при стихах, которые пишут интеллигентные мальчики и девочки, довольствуясь признанием друзей и подруг. Тем не менее в серии нельзя отделить прирожденных поэтов от поэтов, так сказать, поневоле. Все они истинные поэты, так как они, рискуя жизнью, открыли истинное предназначение поэзии: отвергать, опровергать несвободу, поэт ведь и не может иначе.

Непреодолимая воля к творчеству под угрозой физического уничтожения прорывается в стихах Александра Чижевского. Выдающийся ученый, самобытный мыслитель, он обладал и незаурядным поэтическим даром, по-своему синтезируя традиции Ломоносова и Тютчева. До большевистского переворота выходили его поэтические сборники. В лагере А. Л. Чижевский пишет:

Все приму от этой жизни страшной —
Все насилие, муки, скорби, зло,
День сегодняшний, как день вчерашний, —
Скоротечной жизни помело.

Одного лишь принимать не стану:
За решеткою темницы — тьму,
И пока дышать не перестану,
Не приму неволи — не приму.

Наметанный глаз литератора-профессионала неодобительно подметит рифму «не стану — не перестану». Ее действительно нельзя причислить к достижениям версификации, но она по-своему подчеркивает «за решеткою темницы — тьму». Тема притяжения и неприятия жизни отличается особой напряженностью в русской поэзии двадцатого века. «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!» — восклицал Блок. «Приемлю все, как есть, все принимаю», — вторил ему Есенин. Заключенный Чижевский отваживается настоятельно повторить: «Не приму... не приму». Это не метафизический бунт Ивана Карамазова («Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять»). Александр Чижевский прямо спорит с Иваном Карамазовым, вместе с Блоком принимает ужас бытия, почти цитируя Ницше и его *amor fati* (любовь к року):

Темно вокруг тебя, я страшно бытие.
Благодаря судьбу, а не пытай ее.
Неверен солнца свет: все — бред, все — тлен:
поими!
И даже черный день как дивный дар прими.

Оба стихотворения написаны в 1943 году. В одном и том же году А. Л. Чижевский пишет «Гимн солнцу» и признает, что «неверен солнца свет». Но в столкновении этих взаимоисключающих притяжения и неприятия есть своя высшая согласованность. Нельзя не принять мира, но именно потому нельзя принять неволю. Функция неволи в том, чтобы человек предпочел бытию небытие, ибо пресмыкательство растоптанной жертвы перед палачом и есть небытие. Вот худшее в мире, что происходит в комнате 101, где жертвы умоляют о расстреле. Напротив, когда вопреки неволе, вопреки истязаниям принимаешь мир, он, выстраданный, прекрасен как никогда; таков дивный дар черного дня. Этим дивным даром сплочены поэты — узники ГУЛАГа; отсюда своеобразное неодолимое жизнеутверждение их стихов, позволившее им не только выжить, но восторжествовать над своими палачами.

Трудно причислить к лагерной поэзии (совсем не та тематика) неоконченную поэму отца Павла Флоренского «Оро», но только в лагере могла быть написана эта захватывающая версия «Мцыри», воспеваящая вечную мерзлоту словами пытливого исследователя. В лагерной больнице Лев Платонович Карсавин подытоживает свой философский путь и находит поэтическую формулу для этого итога:

Дабы во мне воскресла жизнь Твоя,
Живу, расту для смерти бесконечной.
Так Ты, любовный умысел тая,
Подвинулся на жертву муки вечной.

Это тоже дивный дар: обретение Бога в человеке и человека в Боге, когда человек и Бог непрерывно жертвуют собой друг за друга. Л. П. Карсавин пишет не просто стихи — он обращается к труднейшей поэтической форме, к венку сонетов. И в своем пристрастии к сонету он не одинок. Опыты сонетов мы встречаем у Сергея Бондарина, Владимира Муравьева, Михаила Фроловского и многих других. Говорят, на Соловках, как во времена трубадуров, устраивались поэтические турниры, чьи участники блистали именно венками сонетов. Сонет, это детище раннего Возрождения, пережил истинное возрождение в лагерях. Может быть, лагерных поэтов привлекала в сонете его магия рифмы, астрологическая гадательность, напоминающая гороскоп или лирический пасьянс. Но вернее всего, гуманистическим протестом против террора насыщена сама аристократически традиционная форма сонета, опровергающая каноны казенного новаторства и псевдонародной доходчивости.

Стремлением к Богу, несомненно, определялась вся прежняя интеллектуально-творческая и личная жизнь Л. П. Карсавина. Но кто знает, не в лагере ли он действительно обрел Бога. Последние стихи философа свидетельствуют об этом. Бог всегда присутствовал и в духовных исканиях А. Л. Чижевского. В 1943 году, в заключении, он возвращается к стихам 1917 года:

Катись, катись, родимая телега,
По древней, по проселочной дороге.
С небес следит мерцающая Вега,
А мысли тонут в бесконечном Боге.

В том же 1943 году А. Л. Чижевский пишет: «Да, мера жизни — это мера Бога». В тюрьме написано и стихотворение А. Л. Чижевского «Бесконечности». Так называется и тонюсенькая книжка, изданная «Возвращением». Нельзя не вспомнить стих Уильяма Блейка: «Бесконечность на ладони твоей». Бесконечность была всегда, в сущности, главной темой А. Л. Чижевского, но в тюрьме она трансформировалась, уточнилась, утончилась, прямо ориентируя поэта на Бога. И тут же возникает вопрос: Бог мерится жизнью или жизнь мерится Богом?

Тоталитарные режимы с особой яростью преследуют религию, ибо над бесконечностью репрессивная машина не властна, как бы жрецы абсолютной власти ни клеветали на бесконечность.

П. А. Флоренский, Л. П. Карсавин, А. Л. Чижевский были носителями глубокого и сложного религиозного опыта, за что их, в сущности, и преследовали. Для некоторых поэтов-узников вера начинается с междометия, с жалобного восклицания, прямо как у Мандельштама: «Господи, сказал я по ошибке»... С религиозной точки зрения такая ошибка действительно приводит человека к Богу, и Бог откликается, помогает человеку вынести невыносимое. Семен Виленский откровенно пишет:

Господи, раньше Тебя не знал
И себя не знал я среди тревоги.
Я от жизни средь многих людей устал.
Дай мне жизни среди немногих.

В этом выстраданном четверостишии поднят целый вихрь проблем, обуревающих русского интеллигента вот уже полтора века. Не знать Бога значит не знать себя — ошеломляющее открытие, особенно когда вы воспитаны в духе научного атеизма и арестованы в двадцать лет. Достоевский в «Записках из мертвого дома» писал: «...в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: *вынужденное общее сожительство*». Русский религиозный мыслитель Г. В. Флоровский добавил к этому: «Но не есть ли каторжная тюрьма только предельный случай планового общества? И не становится ли всякое слишком организованное, хотя бы и по наилучшему штату, общежитие именно каторгой?» Юношески простосердечная, но тем более страстная молитва Семена Виленского включает в себя оба этих социально-философских вывода, инстинктивно улавливая и усваивая дар, на котором они основываются: возможность обратиться к Богу. Эта возможность преображает человека. В стихотворении «Кольымский этап», посвященном писателю Юрию Домбровскому, С. С. Виленский напишет:

А высоко,
Незримо и неслышно,
Торжественно поют людские души.

«Но подан знак, чтоб грешник говорил», — читаем в сонете Сергея Бондарина, и сонет напоминает нам не только пушкинского «Пророка», но и его первоисточник, пророка Исаию. Литератору, перед войной работавшему над историей Черноморского флота, надо было пройти невероятный, поистине крестный путь, чтобы написать:

И я сказал, я слышал только сердце,
Искал одно: у Бога-разноверца
Стол истины, не разветвленные лжи.

И голос мой звучал как прорицанье
Среди миров — их мрака и мерцанья,
Но Бог прервал: «Вернись — и там скажи!»

Едва ли кто-нибудь откажет этим стихам в поэтической значительности и духовной высоте. Стол истины: не разветвленные лжи — великолепное, мощное противопоставление, восходящее к «Слову о полку Игореве», к мысли, растекающейся по древу. Поражает и настаивает формулировка: у Бога-разноверца. В разноверце современному сознанию чудится двоеверие, что несовместимо с бытием истинного Бога, но в строке Сергея Бондарина сказывается напряжение бесстрашной тюремно-лагерной религиозности. Жертва ложной идеологии, выдающей себя за абсолютную истину, не доверяет конфессиональному самодовольству. Жертва помнит: Бог неисчерпаем в своей истинности и заведомо не таков, как Его мыслят люди; потому-то и веруют в Него по-разному. Вне лагеря это чувство деградировало и опошилось, заразив многих либеральных интеллигентов расплывчатый индифферентизмом. То, что было в заключении подвигом, превратилось в салонную теплохладную духовность, приучающую себя вести так, будто Бог есть, и помнить при этом, что Бога все-таки нет.

В лагере поневоле вспоминают Бога. Юрий Стрижевский пишет:

В час, когда в стороне подмосковной
Тихо сходит с небес благодать,
У старинной ограды церковной
Хорошо о любви пометчать.

Теперь это стало общедоступной литературной манерой, и нынешнему заурядному стихотворцу в голову не приходит, что в свое время это звучало иначе. Такие стихи требовали подлинного мужества. За них вполне можно было получить новый срок. Благодать в этих стихах была истинной благодатью, а не дежурной красотостью, как сейчас у слишком многих. Обращение к запретным приметам русской повседневности, мирской и церковной, поддерживало гибнущего человека, иногда буквально спасало его. Ольга Адамова-Слюзберг огубликовала прозрачно-проницательные воспоминания в прозе о своих лагерных мытарствах («Дружба народов», 1989, № 7). Стихи ее приобретают особое звучание на фоне этих воспоминаний:

И я, живя в стране Советов,
Заключена в монастыре.
Гляжу на те же силуэты
На потухающей заре.

Читаю, сплю, гляжу в окно,
Стихи слагаю безыскусно.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

В традиционности, иногда почти альбомной, давали себя знать героическое исповедничество и все та же достоверность свидетельства, как у Нины Гаген-Торн:

Не хуже, не лучше других —
Равноценна моя строка,
Потому что это не стих:
Иероглиф и знак векам.

Но были поэты, не вписывавшиеся в эту красивую, слишком красивую традиционность. Среди них резко выделяется Анна Баркова, удостаивающаяся в наши дни запоздалого признания³. На стихи восемнадцатилетней Анны, как известно, обратил внимание Блок. Анна Баркова — поэтесса угловатая, безудержная в любви и ненависти:

Наша цель пусть будет нам дороже
Матерей, и братьев, и отцов.
Ведь придется выстрелить, быть может,
В самое любимое лицо.

Эти стихи написаны в 1927 году. А через пять лет Анна Баркова напишет:

С покорностью рабского дружно
Мы вносим кровавый пай
Затем, чтоб построить ненужный
Железобетонный рай.

Эти стихи, по всей вероятности, неосознанно, перекликаются со стихами А. Л. Чижевского, написанными еще в 1917 году:

Застенок породил застенок,
Тюрьма — стотенную тюрьму,
И мир погибнет за бесенок
В братоубийственном дыму

Поэты предостерегали современников, которые их не слушали; их только подслушивали те, кому полагалось блюсти идеологическую девственность рабов. Анна Баркова провела в лагерях и тюрьмах в общей сложности двадцать два года, причем в третий раз она была арестована в 1957 году, в пресловутую хрущевскую оттепель, и находилась в лагере, когда в залах и на стадионах с треском рвались игрушечные петарды шестидесятичной поэзии. Анна Баркова говорила без обиняков:

Страха ради, ради награды
Зашушукала скользкая гнусь.
Круг девятый Дантова ада
Заселила советская Русь.

Как известно, в девятом круге Дантова ада помещаются предатели. Но и к себе и к своим собратьям по несчастью Анна Баркова беспощадна:

³ Стоит отметить обстоятельную и яркую статью о ее творчестве Льва Аннинского «Крестный путь Анны Барковой» («Литературное обозрение», 1991, № 8). — *Ред.*

Нет, мы не Божьи дети,
И нас не пустят в рай.
Готовят на том свете
Для нас большой сарай.

Там нары кривобокие,
Не в лад с доской доска,
И там нас ждет широкая
Российская тоска.

Где-то за этими строками угадывается строка Маяковского: «И губы шепчут в лад...» Безоговорочное покаяние Анны Барковой заставляет вспомнить древнерусских подвижников, веровавших, что в рай внидет лишь тот, кто считает себя недостойным рая.

Стих Елены Ильзен (Грин) так же бескомпромиссно бросает вызов хорошему тону в литературе. Елена Ильзен ведет непрерывный диалог со своим современником, озадачивает его, возражает ему. Вот она перечит А. Л. Чижевскому, принимая в споре сторону Ивана Карамазова:

Не в Бога я, милый, не верую,
Я мира Его не приемлю.

Елена Ильзен трогает рукой обжигающую современность, а потом с детским простодушием показывает ожоги:

Красные пальцы. Никак не поймешь —
Маникюр или кровь на ногтях.
Господи, помилуй! Спаси, Боже!
А рядом кто-то кричит «ура!».

В 1943 году в Челябинске А. Л. Чижевский пишет стихотворение «Гёте»:

История, не думая, тебе простит:
Пороки, слабости, ошибки, заблужденья
За сверхвеличие бессмертных дел твоих.
Но лишь двух слов простить не сможет —
не простит:
Кровавых слов, начертанных, как осужденные,
Тобой на смертном приговоре: «Auch ich».

Чиновник Гёте скрепил своей подписью смертный приговор девушке, убившей своего ребенка, как покинутая Гретхен, трогательно оплаканная Гёте-поэтом. У Елены Ильзен есть стихотворение «Врач»:

К врачу двоих ввели,
Раздели, одели и увели.
Врач под картиной «Утро нашей Родины»
Сел заполнять форму:
«Легкие — норма, сердце — норма,
К расстрелу годен».
Вымыл руки,
Подкололся морфием прямо сквозь брюки.
Поспать бы успеть,
Пока к тем двоим позовут
констатировать смерть.

В диалоге А. Л. Чижевского и Елены Ильзен сосредоточена проблематика, заставившая Адорно задать вопрос о том, возможны ли стихи после Освенцима. Ответ на этот вопрос зависит от того, услышана ли нами весть из лагерей смерти. Многое свидетельствует о том, что эта весть не услышана. Сколько наших современников готовы подписывать смертные приговоры и с пеной у рта отстаивать смертную казнь.

Сколько наших соотечественников все громче доказывают, что в прошлом было много хорошего, хотя могло ли быть что-нибудь сносное, не говоря уж о хорошем, в минуты, когда неподалеку убивают и мучают невинных и незащищенных, а ведь наша история после октябрьского переворота вся состоит из таких минут, о чем и свидетельствует тюремно-лагерная поэзия.

В Германии было чувство общей вины, и последующее экономическое чудо связано с этим чувством. Угроза тоталитаризма в современном мире требует непрерывного, безоговорочного «нет», и когда готовность к такому «нет» идет на убыль, наступает спад в поэзии, не предвещающий ничего доброго. Придется признать, что тюрем-

но-лагерная поэзия в 60-е годы не была услышана (хотя малыми дозами просачивалась на волю). Вопрос этот не только нравственный, но и творческий. Нынешний спад в поэзии — расплата за нашу конформистскую глухоту. Тюремно-лагерную поэзию не просто не слышат — ее зачастую не хотят слышать. В серии «Поэты — узники ГУЛАГа» самый большой тираж 500 экземпляров. Книги Анны Барковой и Сергея Бондарина вышли тиражом 100 экземпляров. О многом говорят такие цифры. Неужели цензура возрождается под видом рентабельности? Остается только вспомнить евангельское: имеющий уши да слышит.

Владимир МИКУШЕВИЧ.

*

СЮЖЕТ: ВЫЖИЛ

Е. Федорова. Жареный петух. М. МП «Итларь»; «Carte Blanche». 1992. 251 стр.

Эта книга читается в захлеб. Три фрагмента, составляющие ее, построены на одном приеме — повествовании от лица героя, воплощающего авторский личностный архетип в не слишком отличных от биографических обстоятельствах: деревенское и городское детство, арест, лагерь.

Автор не без удовольствия приводит — среди прочих, орнаментирующих книгу, — отзыв о себе «писателя В. Крупина»: «Его не спутаешь с Шаламовым, Гроссманом или Солженицыным». И ведь правда, кто-то сказал: человек — это микрокосм; так что автор пишет прежде всего о своей уникальной вселенной, хотя формально можно бы отметить еще двух героев книги, в той или иной степени говорящих «от автора». Присутствуя в заглавном фрагменте, они своим поведением оттеняют суть авторского духовного склада. Это Краснов — лицо, ищущее, как по-марксистски-тегельянски осознать лагерную необходимость, и Бирон — тот, кто этой необходимости противостоит. Сам же повествователь не пытается делать ни того, ни другого, но вписывается в отпущенную ему один раз жизнь и жадно выпитывает все, что она ему подносит.

Автор и его двойники — мои сверстники: я даже в Московском университете учился почти в то же самое время. При чтении мне все хотелось по-ослиному закричать: «И я, и я!» И я тоже мог попасть, да и попадал, в сходные ситуации, хотя лагерь меня миновал. Я так же искренне верил в официально проповедуемые идеалы, хотя уже знал, что эта вера никого не спасала, и был осторожнее, что, впрочем, тоже спасало далеко не всегда... Для нас для всех стоял (и стоит) вопрос «как выжить?» — и не просто выжить, а по-человечески, чтобы упрек «как жить нельзя!» не пришлось обращать к себе вновь и вновь.

Как выжить — это сюжет «Робинзона Крузо». Но он боролся лишь с силами природы, которая, говаривал А. Эйнштейн, ко-

варна, но не злонамеренна. Природа не знает приемов, как подчинить себе ум и волю человека, как понизить его сопротивляемость — и чем его соблазнить. Совсем другое дело выжить в лагере, будь то «социалистический лагерь» или один из островков ГУЛАГа, пусть даже самый уютный, почти курортный Каргопольлаг, где нашему герою досталось «тепленькое» место в конторе (гораздо более уютное, чем довелось получить автору). Лагерь полон не только ужасов, но и соблазнов, побуждающих примириться с лагерной жизнью как с нормальной. Мне не первый раз приходилось сталкиваться со своеобразной апологией лагерей (послевоенных, ибо лагеря довоенные — это удел отцов, а мои сверстники или непосредственно старшее поколение хлебнули послевоенных удовольствий). Все они опровергают Шаламова: мол, было не так или не только так; мол, труд был производительным, а не бессмысленным, и дружба лагерная была, и весело бывало. Оно и понятно по-человечески: если лучшие годы пришлось на лагерное существование и вышел человек оттуда не калеской, то не хочется признавать себе, что все это была не настоящая жизнь. Да и на воле действовал сходный эффект — подшкурный страх сам по себе, а радость жизни сама по себе; было чем жить, бывали периоды устроенности, было участие в потоке жизни, оазисы осмысленного существования, захваченность делом или общением, любовью или домом. Когда нам с матерью в сорок пятом возвратили довоенную комнатуху в барачном строении и после четырех лет неприкаянных скитаний врозь (мать с армейским госпиталем, я — студент, по чужим углам) мы получили свой дом, а в нем — привезенный матерью трофейный радиоприемник, то вряд ли наша радость была слабой, чем у миллионера, отгрохавшего себе новый особнячок. Такую же радость испытывают герои Федорова, обретя удобное место на

нарах — в хорошей компании. А то, что на соседних нарах очаровательной Зойке устраивают «трамвай» (упаси Боже, это не групповое изнасилование, а скорее коллективный романчик, который утомленная Зойка по своей воле и прекращает), — так это подается в виде очередного этюда на тему «всюду жизни». Автор описывает этот эпизод глазами потрясенного Краснова, но сам по сему поводу не морализирует, не ужасается, а фиксирует происходящее как слегка отстраненный, но все же включенный в эту жизнь согладатая. На него тоже действует Зойкин шарм и ее жизненная сила. Эта сцена вполне вписывается в ряд других «естественных» — отроческое наблюдение за тем, как жеребец Пегий орудует с кобылой Машкой, собственные любовные игры с невестой и ее сестрой, на которой наш повествователь неожиданно оказывается женатым, и т. п.

А смысл той сцены с Зойкой не понять без другой — провожания Зойки, отправляемой на этап, всеми оставшимися в зоне зэками. Не могу не процитировать: «Нас не менее пятисот человек. Стоим в гробовом молчании, тянем тонкие шеи туда; откуда должна показаться первая краля ОЛПа, обнажили ободванные машинкой зэчьи головы. Мы — угрюмы: и никто эту грусть, грусть глубокоую, и никто никогда не поймет! Начальство переполошилось: не бунт ли? Ан нет. Она выпорхнула: солнце взойшло! Жена, облученная в солнце. Боже, как хороша!» Толку тут после этого о «порнографии Федорова». («Главный порнограф современности» — величает его «Литературная Россия», и этот отзыв гордо вынесен на тыльную сторону обложки.)

Может быть, в этой способности ощущать биение жизни во всех ее проявлениях, не теоретизировать, какой она должна быть, но просто участвовать в ней, не быть поглощенным собственной борьбой за выживание или тем более самоутверждение, а быть открытым (не побюясь философского термина, как не боится их и автор) к чужой экзистенции, — может быть, здесь секрет жизнеустойчивости, итог сюжета? Впрочем, это уже попытка домыслить, как-то рационализировать буйный поток изливающихся из авторского текста впечатлений, ассоциаций, философских максим и их вполне раблезианского травестирования. Конечно, долагерное пребывание автора на искусствоведческом отделении университета снабдило его ворохом культурных реминисценций, но они только равноправный компонент его немалого жизненного опыта, да и сами цитаты из античных классиков, Священного писания и философских трактатов втянуты в личное экзистенциальное поле — как обольстительный пояс Геры приходит повествователю на ум при воспоминании о собачьем ошейнике на голой талии возлюбленной жены. Двойник автора, философ Краснов, упоенно читающий Гегеля на лагерных нарах, — одновременно, как уже говорилось, его антипод, живущий

в принимаемых и заново выстраиваемых теоретических схемах. Этот действительник, попавший на Лубянку из-за своей «вражеской вылазки» на комсомольском собрании, где он обвинил комсомол в перерождении, весь во власти марксистских формулировок. Он и лагерь старается осознать как реализацию коммунистической утопии равенства и справедливости. В этом автор-повествователь готов с ним согласиться (во всяком случае, не спорит), но у него свой путь.

Прежде, до лагерного воспитания, он принимал власть и ее верховного носителя как захватывающий миф, вплоть до экзальтации (разрешившейся срамным казусом) при лицемерии товарища Сталина на трибуне мавзолея. Будучи сверстником автора, я тоже хаживал с университетом на демонстрации как на своеобразные тусовки, где у нас были разработаны приемчики, как, подойдя вдвоем к незнакомому человеку, взявшись за руки, мгновенно перевернуть его через голову. Почему-то это было развлечением, предназначенным именно для демонстраций. Еще было невозбраняемым удовольствием поднимать медленно обезжавшие колонну легковые автомобили за задний бампер и радоваться беспомощно вертящимся в воздухе колесам. Но при всей этой жажде развлечений в жанре неофициально дозволенного хулиганства почти каждый мечтал увидеть на мавзолее Сталина. Это считалось удачей, и легкое соприкосновение с тайной власти шекотало нервы. Впрочем, как писал по другому поводу К. С. Льюис, лучше восхищаться им, чем никем не восхищаться. Восхищение — очень человеческое чувство, даже если предмет выбран, мягко говоря, не слишком подходящий. Любопытно, что возвышенное чувство к Сталину никак не противоречило ощущению окружающей неправды и несправедливости, которое исходно автору было присуще.

Совсем в другой плоскости лежит обнаружившееся у авторского героя умение установить дружелюбные отношения со следователем, которого он раз и навсегда научил, как для ответа на экзамене запомнить пятерку лиц, называвших себя группой «Освобождение труда». Эта «дружба», конечно, не скостила нашему герою срока, но, возможно, позволила получить более мягкую статью.

Вполне естественно, что я вычитываю из книги то, что резонирует с моим опытом, — текст как губка: чуть дотронешься до него, как что-то выступает наружу, все дело, в каком месте читателя тянет дотронуться. Потрошить этот текст или торопливо искать его место в грандиозном потоке русской литературы — дело для меня малопривлекательное. Не то чтобы не по зубам, но нет желания: как-то не хочется уходить от живого читательского чувства в теорию.

Но все же заманчиво указать на присущие этой книге признаки определенного стиля, который сейчас набирает силу. Мысль о

Розанове как вдохновителе авторской позиции (и в жизни и в литературе) выныривает сразу (и сам автор, позволю себе это сообщить, принял такую ассоциацию как ожидаемое должное). Стиль же я назвал бы постмодернистским барокко; он задан незабываемой прозой Венедикта Ерофеева, но более полно проявляется в произведениях второго ряда. Нотабене: «второй ряд» здесь не обидное слово, в русской литературе к этому ряду порой относят И. Гончарова или Н. Лескова. А Куприна в его время вообще относили к третьему ряду.

В этом новом барокко реализуется органическое слияние высокого и низкого, трагедии и фарса, здесь форма доминирует над функцией, а несущая конструкция с трудом различается под, казалось бы, необязательными фантастическими излишествами. Здесь нет прямых линий, все искривлено, как пространство Эйнштейна вблизи черной дыры... Вместе с тем нет здесь модернистского этического релятивизма. Добро и зло ясно различимы и меряются в абсолютной шкале, но в каждом человеке они образуют прихотливый спектр. Занесем сюда и подлинную спонтанность выражения, обратную модернистскому стремлению эпатировать заранее спланированным произволом... А можно этот стиль назвать и экзистенциальным реализмом, таким, который исходит из неуничтожимой реальности человеческой экзистенции, проявляющей себя в любых обстоятельствах, необязательно лишь в крайних (как у записных экзистенциалистов), а и в самых обычных. Федоров ведь избегает живописать эти крайние ситуации и пытается уверить читателя, что он в такие и не попадал. Ну взяли на Лубянку, ну остригли наголо, шнурки от ботинок отобрали, орал на первом допросе. Все это пустяки, дело житейское. И ведь правда, что каждого забрать могут, все чувствовали это кожей, никто не был зачищен. Сам помню, как из деканата энкаведешник в сорок пятом меня на Лубянку вел по Москве. Оказалось, всего лишь на допрос, да еще по делу, о котором я не слыхивал, чему был рад, так как иначе скорее всего раскололи бы. Тут Федоров, описавший, как это бывает, опять-таки прав, тогда не очень-то записались.

Большевицкая власть отобрала чувство защищенности у каждого, но дала взамен огромные возможности поргить жизнь ближним. Самое примитивное средство — донос. Но и другие пути находились. Повышение социального статуса было у нас тесно связано с умножением доступных способов причинять людям вред при непропорционально малом расширении возможностей содействовать чему-либо полезному. Недаром находятся люди, пострадавшие от сталинизма и все-таки славословящие очоурившегося тирана. Он обеспечивал сладостное чувство собственной значимости в гаденьком деле ущучивания всех, до кого хватало силы дотянуться. Да, это было равенство в возможностях сделать подлость. И даже философ

Краснов, теоретик коммунистических утопий, готовый с идейных позиций прославлять мудрые установления ГУЛАГа, наконец взрывается: «Я — контра!.. Я против этой злокачественной, как рак, лживой, двуличной, отвратительной, разратной, растлевающей, чумовой системы! Она наступает! Она все, всех пожирает. Я был слеп, одурманен». Многие должно было случиться, чтобы этот человек прозрел. И не последнее здесь — неожиданно привалившая любовь прекрасной полячки Ирены. Так и выживает, то есть выплывает, Саша Краснов, до того момента — образец, «как жить нельзя». Жизнь победила идиотские принципы. Спасение человека в том, чтобы ими в конце концов поступиться.

Впрочем, свои принципы были и у деревенских дедушки и бабушки героя (это из фрагмента о детстве — «Былое и думы»). Мальчику как бы предлагается коллизия Павлика Морозова: бабушка из поповской семьи и дед — священник, упорствующий в своем призвании и попавший наконец в лагерь за неуплату непосильного церковного налога, а внук — «юный ленинец». И все же он любит бабушку и деда (хотя и пытается того перевоспитать) и Павликову примеру не следует. Именно над судьбой погибшего в лагере деда скорбит автор так, как не позволяет себе скорбеть над своей собственной участью лагерника.

Не это ли деревенское детство, не дедовская ли семья дали автору в наследство слух на добро и зло — очень опасный дар при советском режиме? Нет, я не пытаюсь уверить читателя, что автор безгрешен. Я думаю, что в книге он кой-где согрешил. Например, когда описывает свою беседу с Варламом Шаламовым и при этом мысленно говорит ему бестактные дерзости. Пусть бы это, даже если пришло на ум, так и оставалось невысказанным. Зато не в бровь, а в глаз попадает он, когда, повторяя кого-то из великих, говорит про тех, кто «столкнул старика под откос за его писмецо в Литгазету... Ничто нас так не радует, как падение праведника и позор его».

Кстати, в мысленном споре автора с Шаламовым, с его ужасами, важнее всего свидетельство самого Е. Федорова: «...наш лагерь, обычный ИТЛ, по сравнению с шаламовской Колымой смотрится фешенебельным курортом — санаторием... Конечно, я знал и понимал, что в любой момент мыльный пузырь относительной устроенности может лопнуть: угодишь на общие, а того хуже: на другой лагункт... где так и снует... наглая ненасытная жница смерть».

Так кто же прав в этом споре и что такое лагерь — место неотвратимого уничтожения душ людских, где каждый будет сломан и никакого рецепта сохранить себя нет? (Именно так отвечал на прямой вопрос — уже автора этих строк, а не автора «Жареного петуха» — сам Варлам Тихонович.) Или лагерь (как и вся страна) — такое же место обитания людей, как и всякое другое, место, где можно загубить свою душу, а

можно и освободить ее, приуготовить для стяжания духа? Где герои Е. Федорова действительно избавляются от восхищения тираном и утопических идеалов, ведут интеллигентские беседы, предаются науке страсти нежной и даже возрастают духовно? Боюсь, что любой категорически однозначный ответ будет ложью. Иначе как в амбивалентном стиле барокко решение не формулируется. И главное, сам вопрос по-разному видится изнутри опыта лагерной жизни, к которой на свой лад приобщен каждый. Дело даже не в том, чтобы взглянуть на мир глазами героев Шаламова или Федорова, Солженицына или Домбровского. Такое перевоплощение читателя — эффект давно известный: дети играют в мускетеров, а юноши смотрят на плечи Элен Курагиной глазами Пьера Безухова. С прозой Федорова все обстоит несколько иначе, тут возникает ощущение, что и для тебя оставлено место в кругу его героев. Да и моя рецензия, вероятно, могла бы быть инкорпорирована в текст, как фактически стали его частью, хоть и выделенные красным шрифтом, отзывы о нем Н. Котрелева, Л. Токмакова, Ф. Искандера, Е. Мелетинского, В. Крупина, Ю. Злотникова и Г. Померанца. Всех их присвоил Федоров как своих героев. Рискну сказать, что мое ощущение «своего места» в тексте Федорова, не предполагающее с

моей стороны перевоплощения в Сашу Краснова или прекрасную охальницу Зойку (как перевоплощаемся мы в Наташу Ростову), вызвано не столько тем, что я сверстник автора, сколько особенностями стилистики: барокко всегда допускает включение новых фигур. Это в жестких классических и даже модернистских конструкциях каждой фигуре задана точная функция, каждая фигура несет свою расчисленную нагрузку. В произведениях же стиля барокко фигуры сцеплены причудливым способом, и любая, извне явившаяся, создает новые, неожиданные сцепления. Правда, все в том же барокко есть опасность перейти неуловимую границу между грандиозностью и безвкусицей, гениальностью и графоманством (классические формы искусства в отличие от барочных держат эту границу на замке, там наибольшая опасность — бездарная скука); и притом трудно рассудить: «перешел или не перешел?» Впрочем, этот вопрос важен только для ревнивого мужа из «Прекрасной Елены».

А для заключения у меня нет слов. Я вынужден прибегнуть к высшей степени уместным здесь словам бессмертного Венники Ерофеева: это феноменально! более того, это даже ноуменально!

Ю. ШРЕЙДЕР.

*

«ЖИЗНЬ... ДРОЖИТ ПОЛНОТОЮ»

Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М. «Московский рабочий». 1992. 560 стр.

Эта замечательная книга, впервые увидевшая свет¹, существенно расширяет читательскую аудиторию о. Павла Флоренского, до сих пор известного главным образом своими богословскими и религиозно-философскими трудами, сравнительно мало кому доступными. «Детям моим» — род духовной автобиографии, органично включающей воспоминания детства, элементы семейной хроники, зарисовки «окружающей жизни». В то же время книга эта углубляет наше представление о Флоренском как философе и богослове, сообщая его мысли дополнительное экзистенциальное измерение (отдельные пассажи исповедального характера, встречающиеся в его философско-богословских работах, скорее возбуждают интерес к личности автора, чем удовлетворяют его). Вообще экзистенциальная сторона в творчестве мыслителей XIX — начала XX века вызывает у наших современников особый, я бы сказал, ревнивый интерес: хотим знать, где начинался творческий процесс, откуда бралась, назовем ее так, энергия воспарения. А облик о. Павла Флоренского даже на фоне начала века, столь богатого личностями, выделяется со-

четанием аскетизма и эстетической утонченности с какой-то редкой законченностью; впечатление такое, что в нем «убрано все лишнее».

Книга «Детям моим» заслуживает комментариев с разных точек зрения, я же хочу выделить в ней некоторые темы, представляющие сегодня, как мне кажется, эвристическую ценность.

1. Семья. Та, в которой вырос Флоренский, была почти обычной. Вот как он о ней пишет: «У нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное, сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошлового слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма; всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних». Ребенок, еще сохраняющий память о подлинном эдеме, попадал в обстановку, казавшуюся его естественным продолжением; лишь со временем возникали отдельные диссонансы, по которым можно было понять, что в мире, кроме эдема, есть еще что-то другое. Родители знали о диссонансах несравненно больше, паче того, как утверждает автор, они уже чувствовали «бетховенский стук

¹ Орывки из нее публиковались в разное время в журналах, преимущественно зарубежных.

судьбы в окно», но старались на тот стук не оглядываться, напротив, еще заботливее сохраняли, как мы сегодня скажем, прежний микроклимат в своих четырех стенах.

Придет срок, в доме ворвется буря и все разлетается, а потом картины дореволюционного семейного быта будут дразнить воображение поколений, выросших в советских условиях и на месте прежних эдемчиков заставших лишь крохи или вообще ничего (это уж кому как повезло). Дефицит любви станет самым принципиальным из всех дефицитов, причем с течением времени он будет ощущаться все острее и острее (если бы можно было сейчас измерить «процент любви» в атмосфере наподобие того, как замеряют процент кислорода в воздухе, то результаты, наверно, оказались бы ужасающе низки в сравнении с дореволюционными «показателями»; семья перестанет служить убежищем от внешнего холода, а во многих случаях сама станет его источником).

Но вернемся в конец прошлого века. Не только читатель, но и сам автор как будто испытывает некоторую досаду оттого, что «не ценил» то, что имел. Позволю себе еще одну пространную цитату: «Я позволял любить себя отцу, испытывал полумистическое благоговение, с чувством какой-то несоизмеримости, что ли, пред матерью, имел приятель к теткам и вообще ко многим людям, любил же, нежно и страстно, лишь тетю Юлию (сестра отца. — Ю. К.), однако и ее (*nota bene!* — Ю. К.) — не как ее, т. е. без внутренней мотивированности, а за ее отношение к природе. Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимной любовью семье, как наша, такой впечатлительный и нежный, слишком даже нежный, каким я был, я, в сущности, может быть, никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа». Возможно, Флоренский думал «София», а писал «Природа» (слишком безликое для него понятие), чтобы не осложнять этим богословским термином с непростым содержанием книгу, адресованную им, как явствует из названия, в первую очередь собственным детям, а отнюдь не искушенным в богословских спорах людям. Но не в том дело.

Во Флоренском, конечно, есть нечто от «студента хладных вод» (мистический термин, указывающий на склонность к мышлению, отрешенному от житейской суеты и воспаряющему в горние сферы духа). И в настоящей книге он признается в своей нелюбви к тому, что зовут «слишком человеческим», к «сырости переживаний», мешающих расслышать подлинную, свободную от всякого психологизма музыку сфер. Неудивительно, что «теплое гнездо» семьи радует его лишь тогда, когда из него открывается вид на «далекие горы, сверкающие на солнце», что, очевидно, надо понимать фигурально; в противном случае избыток психологического удобства и уюта вызывает в нем бунт.

Здесь, однако, не просто столкновение определенного душевного склада с жизненными обстоятельствами; за этим столкновением вырисовывается проблема культурно-исторического свойства. В отношении Флоренского к семье есть элемент трезвой оценки этого института, на долю которого в его время (и в его — интеллигентской — среде) выпала чрезмерная эмоциональная нагрузка. Тем из нас, кто «отравлен» литературой XIX века и отчасти (хотя бы и в очень скромной мере) живой традицией, и сейчас хотелось бы видеть в «унесенных ветром» семейных эдемчиках образец того, «как надо» жить в семье. Приходится, однако, признать, что характерный для XIX века культ ларов и пенатов, выросший главным образом на христианстве, в определенной мере (то есть где частично, а где и полностью) подменил само христианство. Подобно людям его круга, Флоренский отец верил, что «теплота и мягкость человеческих отношений исходит из семьи», упуская из виду источник любви (того особого «качества», какое стало возможным только благодаря христианству). Это же было стихийное фейербахянство! Божество «растворялось» в близких людях, на которых переносились чувства, не им предназначенные.

В этих тонких материях Флоренский нашел, как мне кажется, верную тональность — «влюбленной жалости» ко всякой твари (а не только к человеку, тем более не только к близкому человеку). Желание скорректировано жалением, не замкнутым на одной или нескольких персонах и как бы растворенным в мире. Надо обладать редким мистическим даром, какой был у Флоренского, чтобы почувствовать, что любовь, так сказать, разлита в космосе, что, например, цветок, который я вижу и который люблю, оказывается, тоже «видит» и «любит» меня, более того, «видит» меня лучше и «любит» меня больше, чем я его. Но и без подобных углублений должно быть ясно по крайней мере, что семья не генератор любви, а лишь трансформатор ее.

Что это, однако, я так напустился на семью? Своевременно ли? Ее ведь надо сейчас укреплять или даже — строить заново. Но как укреплять или как строить, не имея в виду культурно-исторической перспективы, не учитывая того, что за всякой «физикой» стоит «метафизика»? Ведь и крепкие семьи бывают крепки по-разному: в мафиозных семьях тоже есть внутреннее, хотя бы и животное, тепло, но какой холод распространяют они вокруг себя!

Правильно построенное семейное гнездо не столько мешает космической разомкнутости воспитуемого ребенка, сколько способствует ей. Чтобы почувствовать, что любовь есть «там», надо прежде всего ощутить ее здесь, рядом с собой, исходящей от близкого существа (в случае Флоренского это особенно тетя Юлия, которая «понимала... влечение к свету»). В противном случае

ребенок скорее всего вырастет эмоционально тупым, способным откликаться лишь на зовы низшего порядка.

С другой стороны, Флоренский упрекает своих родителей (я это, впрочем, заостряю, сам он всегда отзывается о них с чрезвычайной деликатностью) в «отрыве от рода», тоже, по-видимому, чисто интеллигентском. Эту тему он намеревался развить в последней главе — к великому сожалению, доведенной лишь до гимназических лет — автобиографии (в сохранившемся плане работы глава названа так: «Профессура: кризис фарисейства: открытие рода»). Как бы исправляя ошибку родителей, Флоренский тщательно исследовал собственные корни, результатом чего явились пространные «Генеалогические исследования», включенные в книгу «Детям моим» (наверное, все-таки зря; им место скорее в полном собрании сочинений).

2. Природа. Слово «Бог» в книге священника Флоренского впервые появляется, если я не ошибся, на странице 147 и в дальнейшем употребляется всего лишь раз пять или шесть. Зато «природа» — чуть не на каждой странице. Повторяю, что это, возможно, «адаптированная» София (она же душа мира), но будем называть ее так, как называет ее автор.

Американский психолог С. Гроф (чьи книги то ли уже переведены, то ли переводятся на русский язык) провел серию интересных экспериментов: целенаправленно обрабатывая сознание своих пациентов средствами ЛСД, он добивался того, что у них из глубин памяти всплывали переживания раннего детства и даже утробного периода. По своей способности удерживать впечатления детства Флоренский лишь немногим уступал искусственно взвинченным пациентам доктора Грофа; я, во всяком случае, не припомню в мировой литературе такого, чтобы кто-то мог рассказать о своем «духовном росте» в возрасте от двух до пяти лет. Впрочем, слово «рост» в данном случае, наверное, лучше заменить словом «пробывание», ибо оно относится не столько к миру культуры (хотя автор, при всех его естественно-мнемонических способностях, не в состоянии вспомнить, когда он научился читать — настолько рано это произошло), сколько к миру природы.

«Я... проводил свои дни в непрестанном экстазе» — эти слова целиком вызваны общением с природой, тоже экстатической, закавказской (отец-инженер строил железные дороги, поэтому детские и отроческие годы Флоренского прошли в Закавказье, главным образом в Грузии). Море, пугающие и манящие горы, яркая, избыточная растительность были не просто книгой, но роскошным фолиантом, который не уставал листать впечатлительный ребенок (впоследствии он не меньше, а еще больше полюбит окрестности Сергиева Посада, более отвечающие одной из основных его душевных струн — смиренномудрию; но и

контрастирующий с нею вкус к яркому и экзотическому тоже останется).

Постоянное, ненасытное и никогда не насытимое созерцание, вслушивание в чудные и чудные голоса, «интерес к бытию до самозабвения», узнавание чего-то родного и близкого: «Дары моря, как смывком, вели по душе и вызывали трепетное чувство — не чувство, а словно звук, рвущийся из груди, — предощущение глубоких, таинственных и родимых недр... Я знал: эти палки, эти камни, эти водоросли — ласковая весточка и ласковый подарочек моего, материнского, что ли, зеленого полумрака. Я смотрел — и припоминал, нюхал — и тоже припоминал, лизал — опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может».

В XX веке я могу назвать только одного мистика, столь же глубокого, — Рильке. Удивительное совпадение: у Рильке мы тоже находим «зеленый полумрак», в глубине которого таится Бог, как бы удерживающий человека в бытии, спасая его от беспочвенного витания в воздухе. Но Рильке этот этап (за которым, как и у Флоренского, последовал этап восприятия Бога как света) пережил, уже будучи взрослым, уже пройдя через отчаяние неверия, а Флоренскому мир приоткрыл свои глубины ab ovo (с самого начала). Не был ли его детский опыт обычен для любого ребенка, но пережит им с особой, исключительной остротой и спасен от забвения?

Изначальная интуиция Флоренского была, таким образом, интуицией природы как живого и интимно-близкого человеку организма. Плоть мира не косное вещество, она достаточно прозрачна, чтобы ощутить, что за нею сидит «сказочник», присутствие которого выдает себя и тогда, когда он молчит: «Весь мир был сказкою, в одних местах притаившеюся, в других — открытою. Но и там, где сказка мира казалась спящей, я видел притворство: глаза ее были приоткрыты и сквозь ресницы высматривали ожидательно». Ни в коем случае не следует видеть здесь «поэзию» и, следовательно, субъективизм; поэтический образ используется Флоренским как наиболее адекватный для описания подлинной, онтологической реальности.

А ведь как раз сказками ребенок был обделен: «Сказок нам не рассказывалось и не читалось, книг со сказками тогда не дарилось, и самые понятия народной мифологии должны были остаться чуждыми нам. Такова была программа — воспитать ум чистым от пережитков человеческой истории, прямо на научном мировоззрении». Считалось (употреблю вслед за автором безличный оборот) само собой разумеющимся, что ничего общего между научным мировоззрением и сказками быть не может. Еще бы: на дворе был конец XIX века, самоуверенность научного мира и его нетерпимость в отношении того, что не научно, достигли апогея; авторитет науки был таким же не-

перекаемым, как прежде авторитет отцов и учителей Церкви.

3. Наука. Сегодня, после Куна, Файерабенда и других, суждения Флоренского о том, что научные теории зиждутся на «чуждых рациональности интуициях детства», вряд ли уже кому-нибудь покажутся скандальными. Зато представляет живейший интерес, как именно интуиции детства увязывались в его сознании с научным миропониманием, в котором он, по его словам, с гимназических лет «распоряжался... как дома».

Урожденный натурфилософ, он, естественно, потянулся к тому знанию, которое называют точным. Есть нечто гётеанское в жадном любопытстве, какое вызвала в нем пестрая феноменология природного мира: «Меня занимали соотношения цветов растительности; приводило в энтузиазм фосфоресцирующее свечение чинаровых дров, сложенных у нас во дворе на даче, и вожденное мною с тех пор, как я себя помню; я делал наблюдения над струями течения Куры, нужные мне для моих размышлений над электрическим током; я обследовал строение гор, искал минералов и нашел толстую жилу красивой голубовато-зеленой яшмы; мерил температуру источников, наблюдал процессы выветривания; жадно всматривался каждый вечер в тона поднимающейся тени земли». День, когда не заносились в тетради какие-либо свежие наблюдения или не делались интересные фотографии природных явлений, казался ему преступно упущенным. Это не были «занятия» или даже «увлечения», это было служение, продолжавшееся, в общем-то, всю жизнь (известно, что свои математические и физико-технические штудии Флоренский не оставлял до конца дней, кажется, и на Соловках).

Даже голос, однажды обратившийся к нему, по-видимому, из горнего мира и лишь назвавший его по имени («Павел! Павел!»), озадачил его хоть и третьестепенным, а все же не совсем несущественным для него вопросом о его физическом материале.

При всем том возрожденческая «научность», которую Флоренский, по его словам, понимал не потому, что кто-то его соответственно обучил, а знал непосредственно, как свои собственные желания, вступала в нем в конфликт не только с его личным мистическим опытом, но и с элементарными, по его убеждению, потребностями человеческой души. Ибо если привитие с детства церковных понятий («...хотя и иным способом, чем это достигается в духовных семинариях») соответствует им, то привитие научного мировоззрения идет против них.

Испытывая известную почтительность к «железным уставам естества», Флоренский-гимназист в то же время чувствовал, что за ними действует какая-то иная, тайная сила: «Я искал и в физике, и в математике, и во

всех областях так же, как актер ищет на сцене спрятавшееся и действующее лицо, зная, где его надо искать, и лишь разыгрывая поиски, чтобы нахождение было для других и для него самого закругленным и оправданным». «Из приличия» приходилось казаться «ученым», будучи внутри «магом», убежденным в том, что законы природы — временно взятая личина, ограждающая подлинный лик тайны. Сами по себе законы эти хороши, познавать их — одно удовольствие, но надо помнить о том, что они не безусловны, что из щелей научного миропорядка выглядывает тайна, которая в любой момент может встать во весь рост, отбросив физическую личину. И сама крепость их (законов) объясняется тем, что кто-то поддерживает их изнутри. Так, уже в гимназические годы «вечерне» был разрешен внутренний конфликт (окончательно это произойдет в зрелые годы): научное миропонимание было приведено в соответствие с изначальными, детскими интуициями.

То же и в мире техники: физические объяснения необходимы, но недостаточны, ибо за физической реальностью кроется какая-то иная реальность: «Духи изображают механику, но до поры до времени — такова была моя формула». Сегодня мы можем сказать, что духи «изображают» уже не только механику, но и электронику, и биотехнику, и что-то еще. Сонмы их постоянно жужжат или пищат, с дьявольской скоростью совершают любые вычисления, напоминают о себе из космоса и со дна морского, всюду преследуют человека, что-то ему постоянно наговаривают, толкают под руку, даже стучатся в его череп с намерением проникнуть внутрь (киборги). Вытеснив прежних поэтических духов (вроде дриад или эльфов), нынешние «деловые» духи создают какую-то новую инфо- и техносферу, имеющую мало общего даже с той технической средой, что существовала на протяжении большей части нашего века. Мы до сих пор почти не задумываемся над этим, хотя в перспективе, может быть, нет ничего более важного. Где тот гений, чья интуиция позволит привести в систему реальности «странного мира», или, как сказал бы Флоренский, даст «подглядеть» его тайну?

4. Религия. Ребенок, не знавший благодаря «прогрессивному» воспитанию (здесь деликатная оговорка: отец не хотел трогать вопросы религии «не как решенные, а как бесконечно трудные и неразрешимые»), сколькими перстами крестятся, шел к ней своими путями, отправляясь опять-таки от детских интуиций.

Если верно, что всякая душа христианка, то верно, должно быть, и прямо противоположное, а именно — что всякая душа язычница; иначе говоря, в глубине своей душа всегда антиномична. Свидетельство Флоренского: «Я... рано понял культ человечности как человеческое самообожествление и рано услышал в Бетховене эту бесконечно родную себе стихию титаниз-

ма... образы Прометея и Титанов с детства я чувствовал своими. Вот почему имя Бог, когда мне ставили его как внешнюю границу, как умаление моей человечности, способно было взорвать меня...» Но, с другой стороны, было острое ощущение иного мира, а значит, и присутствия в нем воли, безмерно превосходящей свою собственную и безмерно более авторитетной; это ощущение неизбежно подводило к понятию Бога, сызмальства вызывавшему упрямое нерасположение (речь идет именно о понятии, то есть словесном оформлении «чего-то», что уже признано де-факто на уровне полусознания). Чтобы преодолеть его, нужен был какой-то последний толчок.

Воздержусь от плохого пересказа одного из центральных эпизодов книги, которого я вскользь уже однажды коснулся (надеюсь, что читатель сам прочел книгу Флоренского или еще прочитает ее). Голос, услышанный им лунной ночью («...не мужской и не женский, упруго звонкий и очень чистый»), означал для него то, что называют непосредственным откровением: перед ним открылось нечто совсем новое — простое и насквозь ясное, однако властно-реальное и несокрушимое, как скала. Об эту скалу разбился прежний бравоый воитель, своим детским копьем норовивший попасть в Того, Кого называют Богом; субъективность была побеждена онтологией. Это не значит, что субъективность вовсе умолкла. Здесь мы сталкиваемся с некоторым противоречием, характерным для творчества Флоренского: он всегда старается говорить «от имени» Церкви, но его интонации остаются очень личными, легко узнаваемыми. Отсюда упреки: даже надев рясу, Флоренский в слишком большой степени остается «человеком культуры».

Последнее утверждение нуждается в уточнениях. Склад ума Флоренского — отчетливо натурфилософский; для него на первом месте мир природы и лишь на втором — мир культуры. И в мире культуры его привлекают «духовные средоточия», а не «периферия». Вот почему его, например, оставляют равнодушным большинство поэтов: «...я их слушал сравнительно с Пушкиным так же, как оперную музыку, например, сравнительно с Моцартом, т. е. ясно сознавал, что это только пустое провождение времени, внешнее шекотание, какое-то «слово праздное», которое отщепляет от вечности». В поэзии, как и в музыке и во всех искусствах, важен только «уплотненный фокус», интимным образом связанный с «фокусом мироздания». (Сходную мысль находим у Германа Гессе: «Каждый из нас — только человек, только попытка, только переход. Переходить же надлежит туда, где обитает совершенство, должно стремиться к центру, а не к периферии»².) Вечное, таким образом, резко противопоставлено временному, «центр» — «периферии».

Личные интонации делает совершенно неизбежными мистический опыт Флоренского, к которому впервые нас приобщают его воспоминания. Наверное, все великие христианские мистики в той или иной степени выламывались из традиции: мистический опыт всегда содержит элемент уникальности. В случае раннего Флоренского это упор на «всеединство», концепцию которого он предчувствовал независимо от Владимира Соловьева. Таков был его живой опыт.

В последнее время множество наших сограждан, уверовавших в существование иного мира, пользуются любыми средствами, лишь бы достучаться «туда». Это «мистическое хулиганство», как его называли в начале века, вероятно, будет распространяться и дальше; одно оно способно внушить предубеждение против любой мистики. Но есть среди смертных редкие люди, которым это дано. Флоренский из их числа. Его опыт в высокой степени убедителен (тем более что у него он уравновешивается высочайшим развитием ratio и корректируется церковностью), хотя и односторонен.

Публикация воспоминаний Флоренского снимает некоторые обвинения в его адрес, в частности обвинение в «александринизме» (исходившее, если не ошибаюсь, от В. Зеньковского), и без того малоосновательное. Александринизм — это сухая расщудочность, творческая вторичность; при чем тут Флоренский с его принципиальным новаторством в мировоззренческих вопросах и его глубочайшей «мистикой сердца» (по классификации, предложенной им в «Столпе и утверждении истины», — единственно истинной, в отличие от «мистики ума» и «мистики живота»)?

Очень спорным представляется и мнение прот. Г. Флоровского (назвавшего «Столп...» осенней книгой) о западничестве Флоренского, о том, что «романтический трагизм западной культуры о. Флоренскому ближе и понятнее, нежели проблематика православного предания»³. Воспоминания раскрывают картину борения в нем (в период роста) двух начал, назову их романтически-героическим и онтологическим, из которых первое (разумеется, западное) терпит поражение, хотя и оставляет после себя кое-какие следы. И трудно представить, чтобы результат мог быть иным. Мироощущение Запада преимущественно историческое, диахроническое. Флоренский четко синхроничен. Его идеал — «жизнь, которая могла бы проявиться, но сдерживает себя и лишь дрожит полнотою». Это Восток, никак не Запад! Но то, что он вместил — или вмещал на каком-то этапе — оба противостоящих начала, придает его мышлению объемность, которой в противном случае, возможно, не было бы.

Что касается «осенних» мотивов (след увя-

² Герман Гессе. Игра в бисер. М. 1969, стр. 99.

³ «Путь», 1930, № 20, стр. 106—107.

дания великой русской культуры XIX века), то они далеко не определяют его творчество. По типу своей духовности, по характеру «интеллектуальных волнений» Флоренский

никакой не декадент. Скорее «слишком ранняя предтеча слишком медленной весны».

Ю. КАГРАМАНОВ.

*

ЧТЕНИЕ И ОБЩЕСТВО В РОССИИ

Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту. Очерки во истории чтения в России во второй половине XIX века. М. Изд-во МПИ. 1991. 223 стр.

Выход этой книги в свет — факт примечательный, и притом по нескольким резонам. Во-первых, она вышла (заслуга Московского полиграфического института), а это для книги, написанной специалистом и посвященной специальной теме, сегодня уже много. Во-вторых, в ней сведены разрозненные, малодоступные, с одной стороны, и собственными трудами автора добытые — с другой, тысячи исторических фактов, относящихся к литературе и чтению. Тут фигурируют произведения, с 1856 по 1895 год вызывавшие самые горячие отклики читателей тогдашних журналов и «современной», злободневной словесности. И наряду с привычными Островским и Тургеневым здесь найдешь М. Воскресенского и Г. Кугушева, с Гончаровым и Пomyловским — И. Железнова и Е. Карновича, Н. Ахшарумов «потеснит» тут Л. Толстого, а Д. Аверкиев — Н. Щедрина, Н. Преображенский и В. Марков встанут рядом с Достоевским и Лесковым, а многолетним лидером читательских пристрастий, чье имя соединит несколько десятилетий, окажется... П. Боборыкин. Для привыкшего к образу литературы по академическим собраниям сочинений или избранному классиков — картина куда как непривычная. Потому что живая.

Но важен, конечно же, не только сам материал, кропотливо полученный и детально представленный. По-настоящему «работает» он только в системе, выстроенной автором, а по масштабности и систематичности подхода к своему предмету поставить рядом с книгой Рейтבלата в отечественной науке сейчас, сколько знаю, нечего (даже основательная коллективная «История русского читателя», четырьмя выпусками вышедшая в 70—80-х годах в тогдашнем Ленинграде, по многосторонности охвата рецензируемой монографии заметно уступает). Здесь прослежено читательское поведение всех основных слоев российского общества, приняты во внимание все главные каналы, по которым к широкому читателю приходила во второй половине прошлого века беллетристика, публицистика, популярная наука. От общего очерка читательской аудитории второй половины прошлого века (разных читательских слоев и групп в их взаимодействии и динамике) автор переходит к коммерческому городским читателям, захватывая попутно историю кабинетов для чтения и платных библиотек в Европе. Далее пред-

метом исследования становится писательский успех — самые признанные и дорого оплачиваемые авторы нескольких десятилетий. Тут Рейтблат наряду с анализом мемуаров и переписки той эпохи прибегает к свидетельству библиотечной статистики; кроме того, использует такую процедуру, как сопоставления репутации того или иного автора в рецензиях на его произведения с репутацией его современников и предшественников — анализ этих отсылок на протяжении полувекового периода дает выразительную картину пристрастий и переменчивости журнальных рецензентов, а вместе с ними и наиболее образованной публики. Главы, посвященные читательской аудитории тонких журналов и массовых газет, вводят новый круг явлений. В том числе — десятки творцов популярной словесности, ныне практически безымянных: автора некогда знаменитого «Разбойника Чуркина» Н. Пастухова и виртуоза уголовного романа А. Деянова, создателя «низовых» исторических романов Д. Дмитриева и разрабатывающего золотую жилу мелодрам из красивой жизни А. Пазухина. Точно так же в следующей далее главе о лубочной книге в среде крестьянства воскрешаются скупые и труднодоступные факты жизни и творчества И. Ивина и М. Евстигнеева, К. Голохвастова и В. Волгина — прежних королей «словесности с Никольской улицы». Последние главы труда Рейтבלата отведены чтению крестьян, их постепенному приближению к светской книге, журналу, газете, их домашним библиотечкам, с одной стороны, и общественным инициативам по обучению крестьян грамоте и чтению со стороны земства — «народным библиотекам», с другой. И все это — с привлечением десятков малодоступных, в том числе архивных, источников, с добротой проверенными цифрами в руках, с кропотливым знанием мельчайших фактов из обихода ушедших групп общества, целых поколений забытых писателей, издателей, читателей.

Наконец — и это, может быть, самое существенное, — перед нами труд социолога, а с этой наукой у нас в стране ситуация как была, так и осталась далеко не блестящей. Книга А. Рейтבלата написана из дня сегодняшнего (без этого, думаю, ни главы о буме тогдашних толстых журналов, ни страниц о массовом развлекательном чтении попросту не было бы). Но вместе с тем она соединяет наше сегодня с теоретиче-

скими поисками начальных пореволюционных лет (поздние работы опоязовцев, попытки функционального подхода к литературе в трудах А. Белецкого и др.) и вводит в более широкие и значимые рамки исторической социологии культуры как дисциплины эмпирической.

Фактически в форме очерков о распространении печатного слова автор пишет главы истории общества в России, причем — поскольку в фокусе внимания именно печать — историю попыток гражданского общества. Ведь распространение печати приобретает массовый характер именно там и тогда, где и когда формируются самостоятельные общественные силы, цивилизованно выражающие свое понимание и волю. В этом смысле граница распространения грамотности есть граница признания универсальных ценностей гражданского общества — защищенной законом свободой действий и мнений, неприкосновенности достоинства и прав личности. Для исторической точности полезно, впрочем, не забывать о масштабах приобщения к печатному слову в данной отдельно взятой стране: на рубеже 60—70-х годов прошлого столетия грамотно было около 8 процентов населения России, к концу века, по данным переписи, 21 процент (для сравнения отмечу, что во Франции в 1895 году грамотными были 95 процентов жителей). Перипетии этих процессов гражданского строительства автор, пользуясь собственным инструментом, и прослеживает.

Самыми общими рамками осмысления выступают для него «модернизационные процессы, начало которым положили реформы Петра I»; как видно из дальнейшего, имеется в виду становление самостоятельных групп в обществе, идеи и интересы которых опосредованы действием общественных институтов, общих норм, универсального языка взаимопонимания — рынка, права, печати и т. д. Далее, к базовым процессам, в которые вовлечена печать, относится урбанизация страны, причем даже не столько сам по себе рост городского населения или увеличение его доли в общей совокупности жителей, но трудный процесс длительного взаимодействия образцов городского стиля жизни, норм поведения, признаваемых ценностных ориентиров с традиционно сельскими, феодально-сословными принципами существования. Растущую роль печати в освоении повседневного мира практических навыков городской жизни — от производства до отношений в семье — выразительно иллюстрируют данные о динамике отходничества в город и числе учащихся сельских школ. Эти процессы заметно обгоняют рост собственно городского населения (а в городе грамотными, по той же переписи 1897 года, были уже 45 процентов жителей, коренные же горожане были грамотными практически все). Наконец, третий крупномасштабный процесс, определяющий для распространения печатного слова, — это формирование элит-

ных групп в обществе, политическая борьба между ними, мобилизация ими в свою поддержку населения через грамотность и печать. Начальные этапы этого (впрочем, так и не оформившегося сколько-нибудь окончательно в России) сдвига ведут и к относительной дифференциации читательской аудитории — публики толстых журналов различного направления, читателей тонких иллюстрированных еженедельников, лубочной книги и т. д.

Сама логика построения монографии в этом смысле есть логика складывающихся вокруг и по поводу печати (словесности) социальных связей и культурных форм. Именно так, социологически (в отличие от исторического или нормативно-книговедческого подхода), автор разбирает форму «идейного» журнала, видя в нем и с оюз единомышленников, и канал обращения к другим группам и более широкой аудитории, и образ мира, выстраиваемый группой и выносимый вовне. Как социальные отношения автора (со своим статусом в обществе и местом в культуре, собственной читательской и «знаточеской» аудиторией) и, с другой стороны, издателя, тоже опирающегося на свою публику и свой общественный имидж, анализируется на огромном объеме эмпирического материала писательский гонорар.

Впечатляющую по полноте часть этой эмпирической информации автор добыл из прямых и косвенных источников — архивов, воспоминаний, переписки — сам. Но не менее ценно и то, сколько малозаметных и позабытых исследовательских свидетельств он свел на страницах своей книги — от земской статистики до трудов Е. Медынского и А. Пругавина (пятнадцатистраничная библиография этих работ приложена к книге). Вовлечены в круг внимания и работы зарубежных специалистов — Присциллы и Терри Кларк о гонораре, Дж. Брукса о лубочной книге, К. Розенгрена о динамике литературных авторитетов журнального рецензента и др. Наконец, автор продолжает разработки по эмпирической социологии литературы как ветви социологии культуры, которые были начаты группой исследователей в Государственной библиотеке имени Ленина в конце 70-х — начале 80-х годов (в нее входил и автор книги), но остались практически вне публикации.

Структурный подход сочетается у автора с динамическим. Прежде всего это относится к изменениям самого высокого уровня — в обществе как целом. Возможность увидеть их дает сама трактовка литературной периодики как способа связи между «центром» общества (источником норм и образцов, определяющим структуру целого) и его «периферией» (применительно к журналу эту идею пробовал внедрить в конце 20-х годов Виктор Шкловский). Для России — как страны поздней модернизации — эти центр-периферийные связи часто напряжены и конфликтны. Именно в этом контексте автор рассматривает подписку, чтение,

пользование библиотеками и коммерческими формами приобщения к печати в губернской, уездной среде, в деревне и малом городе.

Другой срез динамики — взаимоотношения между группами. Что особенно важно и интересно в книге Рейтблата — это смена лидерских групп в процессе роста самой литературной системы и в ходе ее усложнения. Тут автору удается нащупать связь между процессами количественного умножения писательского корпуса, числом издаваемых журналов и газет (а отчасти и книг), увеличением читательской аудитории и ее социальной и мировоззренческой дифференциацией, что, собственно, и составляет основу исторической социологии литературы как общественного института. Понятно, что при этом уже не обойтись нормативным и абстрактным представлением о некоей единой литературе как таковой, и А. Рейтблат исходит из другой, эмпирической, идеи сосуществования и взаимодействия нескольких разных литератур в обществе. Соответственно выделяются разные типы читателей (слои публики, функциональные типы чтения). И если для начала описываемого периода сохраняет (что характерно) свою значимость введенная Ф. Булгаринным еще в середине 20-х годов схема: творческая элита литераторов и ученых, знатные и богатые потребители иностранной книги, среднее сословие, читающее серьезную русскую книгу и журнал, и нижние слои, ориентирующиеся на духовную словесность и «весело-нравственное повествование», — то именно взятый автором для анализа промежуток между 50-ми и 90-ми годами коренным образом усложняет эту картину.

Наиболее активные процессы дифференциации идут, конечно же, в слоях образованной и так или иначе самостоятельной во вкусах и выборе публики. Внутри ее в описываемые годы выделяется поместное дворянство — основной потребитель серьезной словесности 40—50-х годов, адресат и поддержка крупнейших авторов (будущих «классиков») этого периода. Далее, кристаллизуются такие группы, как учащаяся молодежь и провинциальная интеллигенция — не государственно-служилая, что принципиально, а земская, представляющая не волю бюрократической власти, а интересы нарождающегося общества. Собственно, переход от либерально-дворянской журналистики 40—50-х годов к разночинно-демократической идейной прессе 60-х (с соответствующими переменами аудитории, структуры журнала и пр.) и составляет границы и существо журнального периода русской литературы XIX века. С 70-х годов начинается формироваться массовый городской читатель, включая его низовые слои, что в 80-х осознается идеологизированной прессой как «вторжение улицы». К середине же 90-х дает о себе знать новый ангажиро-

ванный читатель (рабочий прежде всего), с одной стороны, и элитные группировки литературного авангарда, выдвигающие идею «чистой словесности» (декаденты, ранние символисты), — с другой. Грядет период сборников, альманахов, «культурных» (не «политических») журналов и массовой «малой» прессы. Но здесь период, рассматриваемый автором, заканчивается. Перед нами прошла детально реконструированная социологом в ее основных измерениях история литературы второй половины прошлого века — история литературы, взятая со стороны чтения.

Надо ли говорить, что она многократно шире той картины, которая входит не только в школьные, но и в вузовские учебники — нормативный образ «классического века», так или иначе, пусть в самом разжиженном (шепотка на стакан воды) виде, вдолбленный через уроки, прессу, телевидение, названия городов и улиц, даты юбилеев и титулатуру премий в каждого научного грамоте человека? Так что же реально читали в XIX веке? Ограничусь здесь лишь несколькими цифрами из книги А. Рейтблата. По подсчетам автора, суммарный тираж толстых журналов (количество их, что примечательно, остается всегда практически неизменным: 8—10 названий) за последнее сорокалетие века вырос втрое и достиг 90 тысяч — это один уровень. У тонких иллюстрированных еженедельников он за финальную треть столетия увеличился в пять раз и достиг полутора миллиона разом — это, как видим, масштаб другой, да и темпы роста другие. И наконец, у общих и литературных газет тот же разовый тираж за те же сорок лет повысился уже в четырнадцать раз и подобрался к миллионной отметке — размах перемен и охвата опять-таки иной... И тут рождается следующий вопрос: из чьих рук мы получаем образ прошлого, ту память, о которой последнее время так много с разных сторон говорят? В книге А. Рейтблата приподнялся краешек затонувшей (или потопленной?) атлантиды, которой в дидактической модели культуры, жестко выстроенной по нормативному ранжиру «классики», места нет: сами «классики» о своих будущих чинах, понятно, не ведали и с словесности своего времени относились (соотносились с ней) совсем иначе...

Ясно в этой связи и другое: в будущих разработках по эмпирической социологии литературы в России не обойтись не только без «пересмотра» образа классиков (для них нужны, продолжу метафору, «другие рамки»), но и без выяснения самого механизма возведения классического пантеона. Какие группы, какими средствами, в расчете на кого и с каким успехом (уровнем признания) его строят? Возможна ли без него вместе с тем сама структура литературы как единого социального института, как культурной системы? Как она складывается в иных исторических обстоятельствах, иных обществах и цивилизациях? И как, довершу

этот ряд вопросов, обосновывать «целостную историю чтения», которую хотел бы видеть в будущем автор? В ней ведь так или иначе предстоит функционально соединить историю общества, историю идей, динамику литературных приемов и трансформации читательского восприятия.

Вероятно, воссоздавая историческую динамику литературы как общественного института, не обойдись в будущем и без конструктивной роли литературного критика (неотъемлемой от толстого журнала), — не он ли создает и держит в уме литературу как целое и целое, имеющее историю? Наконец, институт развитой литературы не сложился бы без механизмов социальной поддержки (патронаж, профессиональные ассоциации, субсидии и премии и т. п.), как вроде бы не складывался он нигде и без структур социального контроля (цензура и проч.). Автор касается этих составных частей системы, затрагивает их в других своих работах; хотелось бы увидеть плоды столь же систематического их анализа в дальнейшем.

Наконец, более подробно и жестко нужно бы, видимо, прочертить другую сторону воссоздаваемого в книге процесса. Автор, например, отмечает «сетку сословной структуры общества», не раз упоминает, что распространение грамотности, печати, чте-

ния во многом идет в России сверху, не оставляет в стороне факты столкновения сельских традиций и религиозной картины мира с универсалистскими ценностями, городскими образцами. Думаю, эти феномены предстоит свести в систему и истолковать конструктивно, не просто как «помехи», а как действующий, эффективный для своих функций и в своих социальных границах механизм коллективного существования, взаимодействия, самопонимания, интеграции общества. В данных рамках, вероятно, станет ясней и многозначная реальная роль грамотности, чтения и др. Скажем, в столкновении стоящих за массовой печатью ценностей гражданского общества с реальностью традиционалистского целого навыки грамотности и чтения могут восприниматься чисто внешне, в качестве своеобразной игры или, напротив, породить тяжелые конфликты идентификации для «новоприобщенных», противоречия со своей средой и т. п. Поворот внимания к этим полускрытым от наблюдателя процессам, в массовом масштабе зарождающимся, видимо, в описываемый А. Рейтбломом период, но доходящим, при всех изменениях, до нынешнего дня, — настоятельная задача.

Б. ДУБИН.

*

О ПОЛЬЗЕ ДИЛЕТАНТИЗМА

Т. П. Виноградова. Нижегородская интеллигенция. Вокруг Н. А. Добролюбова. Нижний Новгород. Волго-Вятское книжное издательство. 1992. 320 стр.

Появление такой книги в эпоху тотальной коммерциализации культуры выглядит неожиданным. Кто сегодня будет читать о безвестных уроженцах Нижегородской губернии? Кого привлечет вынесенное на обложку имя критика, со школы приевшегося обличениями «темного царства»? Бурного читательского интереса к революционным демократам не наблюдалось и раньше — в те годы, когда ими исчерпывалось официальное представление о литературном процессе и критике середины прошлого века. А ныне и подавно от них происходит естественное отторжение. Нижегородская интеллигенция и Н. А. Добролюбов — и масштаб скромный, и фигура затертая, выхолощенная.

Эта внеконъюнктурность книги притягательна. Правда, она не вполне преднамеренна. Хорошо знакомая и уже порядком надоевшая интонация слышна временами и здесь: то «поляка Дзержинского» автор считает нужным затеять без всякой связи с сюжетом, то пропагандируется глубина и выразительность духовной музыки. Лучше бы не было подобных пассажей, да еще вмонтированных, похоже, позднее основного текста, — слишком разит от них вчерашними газетами. Но это все же частность, искупаемая главным.

А главное — редкая обстоятельность, настойчивость, даже одержимость автора, проследившего судьбы нескольких нижегородских семей, связанных с Добролюбовым родством, и ближним и дальним. Изучен громадный материал, не только достаточно известный, но и почти затерянный. Прежде всего статьи из газет прошлого века, статьи, в основном не учтенные библиографиями и потому почти ненаходимые. Впервые введено в оборот множество архивных источников, причем вовсе не таких, чтобы они сами шли в руки исследователю — только загляни в архив. Этот материал надо поискать, надо вычислить его местонахождение, вычитать из него не замеченное предшественниками. Т. П. Виноградова поработала в разных архивохранилищах — и в столичных, и в провинциальных, и в частных собраниях, и в государственных, — просмотрела и личные фонды, и, наиболее трудные, фонды учреждений. И именно эту разыскательскую работу она сделала внутренним сюжетом своей книги, двигаясь и увлекая за собой читателя от открытия к открытию. Правда, речь идет о микрооткрытиях, ведь автор пишет о забытых людях.

Но вот что примечательно и на меня произвело самое сильное впечатление: каждый из героев книги осмыслен изнутри, в масштабах его собственной, давно исчер-

панной судьбы, и оттого вызывает у читателя чувство сопричастности. Чувство, без которого гуманитарная мысль кажется невозможной. Может быть, потому еще Т. П. Виноградова столь лично воспринимает материал, что воссоздает историю рода, к которому принадлежит сама. Хотя центром генеалогических разысканий служит Добролюбов, не о нем пишет Т. П. Виноградова, но о почве, взрастившей его поколение, о семьях священников и дьяконов, из которых в основном и вышли шестидесятники, о силе царивших в этой среде традиций. Вся книга — своего рода семейные предания, «рассказы бабушки», собранные «внуком» не понаслышке, но в результате многолетней и целенаправленной работы.

Вот о специфике этой работы и хотелось бы сказать.

Автор книги — дилетант. И даже не напиши Т. П. Виноградова прямо о своей технической специальности, вряд ли у читателя зародились бы сомнения на этот счет. Дело не только в неизбежных издержках дилетантизма. Да, конечно, гуманитарий-профессионал не назвал бы «Русскую мысль», крупнейший либеральный журнал конца прошлого века, и «Гражданин», одиозное издание консервативной ориентации, в одном, да еще в неподходящем для обоих, ряду — в перечне периодики, «посвященной проблемам педагогики», в соседстве с «Семьей и школой», «Воспитанием и обучением», «Народной школой». Да, специалист не утверждал бы (или, во всяком случае, сделал бы миллион оговорок), что в 80-е годы «сельские школы еще только создавались». А чем же были тогда приходские училища, существовавшие в России издавна? Другое дело, что с 60-х годов — опять же не с 80-х! — система начального образования реформировалась, и существенные изменения претерпели прежде всего школы для крестьян. Да, филолог, тем более недолгобливающий коммунист, не писал бы о книге Б. С. Рюрикова, посвященной Н. Г. Чернышевскому, как о серьезном исследовании. Все это так. Но вместе с тем среднестатистический гуманитарий не сделал бы — увы! — многого из того полезного, что предприняла Т. П. Виноградова: не бросился бы на поиски документов, в существовании которых не убежден (ведь тем временем можно написать десятки статей, а то и монографий, и они были бы востребованы еще совсем недавно, даже если написаны в «стиле Рюрикова»), не отправился бы в дальние поездки за впечатлениями, даже не надеясь разыскать следы своих героев, не проделал бы громадную и, как правило, неблагодарную черновую работу в архивах. Всего этого не просто не испугалась Виноградова. Она одарена неподдельным вкусом к подобной работе.

Пока я читала книгу, я не раз поражаюсь культуре исследования. Может быть, нет ничего удивительного в том, что именно любитель овладел теми навыками поиска и

осмысления материала, которым давно уже не учат в вузах и которые для множества гуманитариев просто неведомы. Самоучка в нашей жизни — фигура символическая. Сколько филологов осваивали азы источниковедения, библиографии, археологии как бы наново, со смелостью первооткрывателя пускаясь на поиски и впадая нередко в ошибки, теряя время, дублируя сделанное. Самоучка прикрывает собой зияющие в культурном пространстве пустоты — следствие прерванной научной традиции. Думаю, что этот тип людей нуждается в осмыслении, и оценить его по достоинству тем более стоит, что он, видимо, уходит в прошлое, уже сейчас загнан в подполье, а в скором будущем — в небытие. Ведь для издания рецензируемой книги понадобился солидный спонсор — Нижегородский коммерческий банк «НКБ — Прогресс». Но дело не только в этом. Человек, искавший роздыха от навсвязь регламентированной жизни в деятельности непрофессиональной, чаще всего гуманитарной, — плоть от плоти ушедшей системы. Ему не продержаться теперь ни материально, ни, главное, психологически. Не будет у него уверенности в насущности и престижности выбранных занятий.

У Т. П. Виноградовой эта уверенность еще есть. Она во многом живет воздухом ушедшей эпохи, побуждавшей ко всецелой погруженности в никем не контролируемую работу. Работу, с которой она достойно справилась.

Смоделировать чужую биографию, давно прожитую, но еще не осмысленную, прошупать и объяснить изгибы чужой судьбы — это великий соблазн, налагающий, однако, и вериги. Неточное слово, фальшивая интонация — и автор навсегда обременен грузом вины перед умершим, а читатель — недоверием к автору. Нельзя сказать, что у Т. П. Виноградовой вовсе нет таких просчетов. Иной раз и она отделяется клишированными характеристиками, напоминающими стиль юбилейных брошюр о всенародно признанных классиках. Но вместе с тем она столь остро ощущает свою ответственность перед неизвестными фигурами, столь пристально вглядывается в любой документ, даже в официальную бумагу, пытаясь увидеть за ним человека, что ее рассказ о нижегородцах захватывает, заставляет забыть об упущениях.

Каждая глава посвящена одной из ветвей реконструированного Т. П. Виноградовой генеалогического древа. В центре почти всех сюжетов — семья. Как правило, это семьи ровесников наших прабабушек и прадедушек, семьи с гармоничным распределением ролей, с крепкими традициями, обеспечивающими нескольким следующим поколениям жизненную стойкость. Возможно, кое-какие углы сглажены — ретроспективному взгляду это свойственно. И все же когда читаешь о семьях Рождественских, Рюриковых, Виноградовых, заражаешься настроением автора. Рождаются ил-

люзия, что прикоснулся и к собственным истокам, — столь много здесь типового. Женны учителей и священников, поднимающие — иногда с мужьями, иногда во вдовстве — семь-восемь детей, живущая на более чем скромные доходы семья дьякона, сумевшего, однако, дать серьезное образование всем детям; семья врачей — отца и сына, которым остались благодарны сотни людей. В рассказе о каждой из этих семей центральное место отведено документу — он служит либо отправной точкой авторских разысканий, либо ключом к пониманию человека.

«Дед писал это прошение столетие назад. Мне казалось, что пожелтевший от времени лист бумаги, чернила на котором приобрели бурый оттенок, вобрал в себя и сохранил какую-то часть его энергии — он обдумывал текст, наверняка переписывал его с черно-

вика, руки его лежали на этом листе, а взгляд скользил по бумаге... Эта страница в деле губернской канцелярии приблизила ко мне деда, которого я совсем не знала». Пиетет перед документальным свидетельством — будь то письмо, воспоминания, дарственная надпись, фотография — позволил автору найти верную интонацию и сделал книгу полезной, думаю, для любого читателя. Стоит только пролистать ее и взглянуть в прекрасно воспроизведенные лица священников, учителей, студентов, адвокатов, земских врачей, купцов, чтобы ощутить особый почерк автора, с любовью подавшего весь этот материал, — почерк энтузиаста-любителя, у которого можно поучиться профессионалам.

О. МАЙОРОВА.

*

ПОРНОЛОГИЯ, ИЛИ ФИЛОСОФИЯ «В ЩЕЛОЧКУ»

Леопольд фон Захер-Мазох. Венера в мехах;
Жиль Делёз. Представление Захер-Мазоха; Зигмунд Фрейд. Работы о мазохизме.
Перевод с немецкого и французского. М. РИК «Культура». 1992. 380 стр.

«Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, другое — отдушина под потолком — в ванную. Я увидел это и сказал Фанни Осиповне Кебчик:

— По вечерам вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Марусе. За это пять рублей.

Фанни Осиповна сказала:

— Ах, какой балованный мужчина! — И согласилась».

Так начинается бабелевский рассказ «В щелочку», завершившийся, как помним, конфузом — падением лестницы и разоблачением героя.

Время идет — совершенствуются и способы подглядывания: допотопная лестница уступила место другим «практикам» — например, «философской рефлексии». Не стоять сегодня на этой лестнице — признак дурного тона; тексты, идущие отсюда, именуются «продвинутыми» в противовес «устаревшему» «традиционному дискурсу». С лестницы человек виден весь до дна (точнее — со дна), во всех своих «реализациях»: так можно «читать» литературу, искусство, историю, весь мир человеческого переживаний... В «окне» человек один, в «отдушине под потолком» — другой.

Книга, о которой идет речь, открывает новую серию «Ad marginem» («Философия по краям. Международная коллекция современной мысли. Литература. Искусство. Политика»). Издается она на деньги («при финансовой поддержке») министерства иностранных дел Французской Республики и «при содействии» отдела культуры, науки и техники посольства Франции в Москве. Это и понятно: выше всех на «лестнице» стоит сегодня французская философия. И

нам обещают публикацию работ П. Клодсовски, Ж. Батая, А. Камю, Ж. Деррида, М. Мерло-Понти, М. Бланшо... Что ж, наконец-то и мы познакомимся на русском языке со многими текстами, которые слыли на Западе скандальными. Впрочем, все, что нам обещает новая серия, давно утратило привкус скандальности и стало «классикой современной мысли». Таковы и тексты, вошедшие в первую книгу серии — «Венера в мехах». Все они посвящены одной теме — мазохизму (следующая — «антология работ мыслителей современной Франции» — посвящена садизму, и она уже вышла: «Маркиз де Сад и XX век». М. РИК «Культура». 1992).

Сюжеты захватывающие. Итак, взберемся на лестницу.

Мазохизм, узнаем мы, основан на договоре, но от договора один шаг к закону, от закона — к институту насилия. Как относиться к насилию? Есть три пути, отвечают нам: стать субъектом насилия (садизм), стать объектом насилия (мазохизм) и, наконец, презреть закон — широкий горизонт ожиданий! Продуктивнее всего насметаться над ним: «Помыслить закон без юмора и иронии невозможно, — уверяет Делёз. — Саду присуще глубокое политическое мышление, ему принадлежит идея революционного и республиканского института в его двойном противопоставлении закону и договору». Сад же утверждал: «Восстание... вовсе не является нравственным состоянием; оно, однако, должно быть перманентным состоянием республики; итак, столь же нелепо, сколь и опасно было бы требовать, чтобы те, кто должен поддерживать постоянное потрясение политической машины, сами были бы очень уж нравственны, пото-

му что нравственное состояние человека есть состояние мира и покоя, тогда как его безнравственное состояние есть состояние неперестанного движения, сближающего его с восстанием, когда республиканец всегда с необходимостью должен поддерживать государственный строй, членом которого он является». А потому «в этих условиях атеизм, клевета, воровство, проституция, кровосмешение и содомия, даже убийство — все это может быть институционализировано и, более того, является необходимым объектом идеальных институтов, институтов вечного движения». Это все Ставрогин, то есть, простите, Сад. А это уже Делёз: «...ухватить... подлинные проблемы права мы способны лишь в тех извращенных формах, которые сумели придать им Сад и Мазох...» Так что автора и его «персонажей» мы не спутали: они вполне солидарны.

Но что есть тогда «извращенные формы», ведь если нет законов, то нет и извращений. И у Сада, и у Мазоха, и у Делёза — целая симфония ненависти к закону, гимн извращению. Постструктуралистская философия, деконструкционизм исходят, как известно, из идеи разрушения, в противовес структуралистскому культу схем (впрочем, как представляется, развитие науки не имманентно: не случайно рождение деконструкционизма совпало с сексуальной революцией на Западе). Чтобы нечто разрушить, нужно выбить центр, краеугольный камень: основы нет, фундамента нет, а есть лишь периферия («философия по краям»). Она то и культивируется. «Краеугольный камень» традиционной философии — человек? Так нет же: он — проститутка. Законы, общественные установления, мораль? — механизмы садо-мазохистского насилия. История имеет смысл? — нет, это история проституции и проституирования. И т. д. И т. п.

Но раз так, то — «все дозволено»? Именно так. Ницше — вчерашний день. «Бесы» получили в лице «мыслителей современной Франции» свое философско-психологическое обоснование. Именно обоснование, а не объяснение: «Поставив в высшей степени спиритуалистическую проблему о смысле страдания, Ницше дал на нее единственно достойный ответ: если страдание и даже боль имеют какой-то смысл, то он должен заключаться в том, что кому-то они доставляют удовольствие. Если двигаться в этом направлении, то возможны лишь три гипотезы. Гипотеза нормальная, моральная или возвышенная: наши страдания доставляют удовольствие богам, которые созерцают нас и наблюдают за нами. И две извращенных гипотезы: боль доставляет удовольствие тому, кто ее причиняет, или тому, кто ее претерпевает. Ясно, что нормальный ответ — наиболее фантастический, наиболее психотический из трех».

Итак, перед нами философия удовольствия: по Делёзу, удовольствие есть «трансцендентальный принцип», «поскольку оно управляет душевной жизнью». Вариации,

«философская рефлексия» на эту тему приводят к выводу: «...принцип удовольствия не знает никаких исключений, хотя имеются кое-какие особые усложнения самого удовольствия... все подпадает под юрисдикцию принципа удовольствия». Вывод этот вполне диалектичен и спекулятивен: все, что не есть удовольствие, тоже является удовольствием хотя бы и наоборот, наизнанку. Итак, мир — «сплошное удовольствие»; садизм и мазохизм — «кое-какие особые усложнения» его. И когда Делёз, касаясь сути этих двух извращений, замечает: «...таково двойное отражение монстра», — подождем радоваться. Слова «извращение» и «монстр» не должны ввести читателя в заблуждение, ибо объяснение и обоснование — две принципиально различные процедуры.

Чтобы объяснять, нужна дистанция. Именно эту дистанцию мы можем наблюдать в публикуемых здесь же работах Фрейда. Объясняя те же феномены, Фрейд остается прежде всего и именно врачом, несмотря на беллетризацию и мифологизацию исследуемых симптомов; для него они предмет изучения: у него есть чужой опыт (как предмет) — опыт пациентов. У Делёза и других «современных французских мыслителей» чужого опыта нет. Напротив, мы присутствуем здесь при фундаментальном споре с Фрейдом; под полемикой достаточно частной — о садо-мазохистском комплексе — таится методологическая критика психоанализа за «малоаналитичные» («непродвинутые») идеи.

Чей же опыт лежит в основе этой «философской рефлексии»? Ответ может быть только один — свой. И я опять-таки не путаю здесь «автора и героя». Напротив, этот вывод последовательно вытекает из работ «современных мыслителей», это и есть предел их радикализма. Я таков же, как и ты, читатель, но только не стесняюсь, как бы говорит автор. В своем бесстыдстве я вижу тебя насквозь. И уже поэтому я выше тебя в своем знании о том, что законами, моралью и этикой ты стремишься скрыть свою садо-мазохистскую сущность. Впрочем, нам ведь не стыдно друг перед другом, между нами говоря.

Это «между нами» — фундаментальная основа делёзовского «письма». И в самом деле, какой может быть стыд, если нет законов и моральных норм? Рассматривая «садистские и мазохистские травести» (кто чей облик принимает: отца, матери, дочери, сына, проститутки и т. д. — вариации на темы таких, например, увлекательных сюжетов: «...одновременно „я“ убил отца, совершил кровосмешение, убийство, продавал свое тело и занимался содомией»), Делёз заставляет читателя вращаться в «мазохистской вселенной»; рассуждая о «галлюцинаторном восприятии», он превращает в галлюцинацию собственный текст. И уже действительно начинаешь верить в некое «продолжение фантазма», в «реальное посягательство галлюцинации». Читатель

оказывается на краю извращений, но эти извращения не только не рассматриваются как извращения, а, напротив, весь потенциал «философской рефлексии» направлен на утверждение порочной природы человека.

О «бытийной слабости человека» писали многие мыслители XX века, но их задача была принципиально иной — объяснить зависимость социальных пароксизмов от сущности человека, от его природы, чтобы понять и предупредить, куда нельзя идти. «Современные французские мыслители» ставят перед собой иную задачу: подтолкнуть человека поближе к пропасти, лишит его надежды и веры, столкнут его в пучину бессознательных инстинктов. Делёз делает вид (и не скрывает, что делает вид), будто он изучает насилие и зло, тогда как сам обворочен ими. Автор эстетизирует насилие, объективирует его для нас и этой позой как будто приглашает нас не бояться вместе с ним вступить в пространство насилия и зла. И эта позиция автора абсолютно адекватна позиции его персонажей: Сад и Мазох тоже не стесняются читателя. Как и Делёз. И не только, конечно, Делёз. И Пьер Клоссовски, и Жорж Батай, и другие сами писали своего рода порнотексты, а потому их «философская рефлексия» — прежде всего саморефлексия, рефлексия собственного творчества. Другие французские мыслители, не столь, очевидно, «современные» и «продвинутые», называют все это интеллектуальной мастурбацией.

В серии нам обещают опубликовать эротическую прозу Батая, но, к примеру, «Историю глаза» можно свободно купить в московских переходах вместе с другой порнопродукцией. Отличительная особенность этих текстов в том, что в них нет откровенных эротических сцен, но отсутствие прямоты с лихвой компенсируется предельным бесстыдством психологизма при описании эротических переживаний. От описания текстов до писания их только шаг, и многие «мыслители» прошли этот путь. В полном соответствии с деконструкционистскими установками мир берется в его периферии, и эта периферия объявляется центром — парафилософия читается паралитературой и, естественно, объявляет паралитературу литературой: Мазох, как и Сад, по Делёзу, «великий писатель» — «чтение Мазоха необходимо». Чтение Делёза, конечно, тоже: ведь если Мазох — великий писатель, то Делёз, надо полагать, — великий философ (оба говорят человеку правду без стеснения). Это так же верно, как и то, что человек — низкая тварь, а задача философии — дальнейшее его проституирование. «На краях» же сама эта философия оставаться, разумеется, никак не хочет; она не скрывает своей периферийности, но, превратив периферию в центр, сама оказывается в центре, где ей весьма уютно — ее популярность прямо пропорциональна популярности порнографии.

Ницшеанство получило наконец во французском прочтении свое психоаналитическое обоснование: лишившись романтической выпренности, оно эротизировалось — так возникла гремучая смесь этого сексуализированного антигуманизма. Вербализовавшись, артикулировавшись, безнравственность оказалась как бы в безопасности: она создала свой круг, втянув в него читателя (фундаментальная основа собственно порнографического текста: мы с тобой один на один, я покажу тебе то, что сам ты не хотел бы и боялся бы увидеть в присутствии других, — такая тайная свобода).

Однако твердя читателю: мы одного поля ягоды, — такой философ все же резервирует для себя лазейку — площадку, на которой он и развивает свою философию бесстыдства и безличности, философию не только неверия в человека, но глубочайшего презрения к нему, философию апатии — то, что Батай называет «хладнокровием порнолога». Нет, это вовсе не философия отчаяния: для отчаяния нужно чувство; здесь же действительно «хладнокровие». Это и не просто философия «отклонения» и вывернутого сознания, но именно философия пустоты и бесосновности, воистину радикальной деконструкции. Философу ничего не страшно. Напротив, очень смешно: «Ложное чувство трагического отупляет; скольких авторов мы искажаем, подменяя одушевляющую их агрессивную комическую силу мысли ребяческим трагическим чувством». Постоянно читаем у Делёза: «ирония», «юмор», «очень глубокий юмор». Действительно чертовски смешно.

Что ж, если в главном Делёз прав: из Эроса вырастает Танатос, воля к смерти, — то эта философия, используя ее же термины, и есть философия (как, впрочем, и культивируемая ею литература) «инстинкта смерти». Таковой инстинкт она определяет универсально — как «основание душевной жизни, и даже больше, чем основание... от него зависит решительно все».

Будучи «до конца революционной», эта философия, как мы видели, восстает против закона, договора, морали — против запрета. Но, в сущности, это и есть наиболее радикальная философия запрета. Она и есть, собственно, полный запрет, тупик, отсюда идти уже некуда: все пути закрыты, все смыслы бессмысленны, человек определен и заперт в публичном доме.

Такого рода революционные идеи обретают на отечественной почве, увы, особо радикальные формы. И все сказанное о «мыслителях современной Франции» вполне относительно к современным русским писателям — будь то вырастающая из Сада проза Вик. Ерофеева, эпатирующие порнографическая Э. Лимонова или погруженная в мир всевозможных (и невозможных) извращений проза Ю. Мамлеева. Как относительно это к чрезвычайно модным сегодня сексуализированным объяснениям России, ее истории и литературы в «продвинутых текстах» бесчисленных адептов передовой француз-

ской мысли, которая к нам, как и всегда, приходит с опозданием.

И дело, разумеется, не в том, что, как полагал Фрейд, мазохизм составляет национальную черту русского характера. Но прежде всего в том, что сама проблематика насилия, лежащая в основании «философской рефлексии» Мишеля Фуко и Жака Лакана, Жюль Делёза и Пьера Клодсовски, Жоржа Батая и Мориса Бланшо, Жака Деррида и множества их последователей и апологетов, явилась знаменем XX века — века страшных тоталитаризмов, века насилия. Открыла и, хочется верить, закрывает эту череду Россия. Философская же мысль также про-

шла в этом веке страшный путь, дойдя до деконструкции, до отрицания реальности и смысла истории в порнологической французской философии.

Начав с изучения насилия, идя от желания понять его, философия пришла к аполло-гии и насилия, обезоруживая человека перед ним.

«Философы различным образом лишь объясняли мир...»

«Ах, какой балованный мужчина!» — сказала Фанни Осиповна Кебчик. И согласилась.

Евгений ДОБРЕНКО.

Дюкский университет, США.

От редакции. Во избежание недоразумений заметим, что серия «Ad marginet» задумана отнюдь не как коммерческая, с расчетом на нынешний эротический бум, а как научно-ознакомительная; тексты в ней подготовлены с профессиональным тщанием и даже с ощутимым (в комментариях) снобизмом; публикация, в рамках такого предприятия, сочинений маркиза де Сада и Захер-Мазоха

не может вызвать особых возражений. Однако агрессивное философско-идеологическое педалирование подобных тем в обстановке нарастающей маргинализации социальной психологии и нравов делает вполне объяснимым тот негативный отклик на первый выпуск серии, который имеет место в публикуемой рецензии.

Читайте в 1993 году:

А. МАКАРОВ, С. МАКАРОВА

К истокам «Тихого Дона»

«Настоящая работа предлагает читателям обзор альтернативных официальному шолоховедению материалов, в которых предпринята попытка объяснить загадку неоднородности текста «Тихого Дона» и взаимоисключающих тенденций в нем. Проблема авторства в свете новых данных предстает по-иному. Вопрос о том, кто написал «Тихий Дон», Шолохов или, например, Крюков, представляется некорректным — у известного нам текста несколько авторов. Все убедительнее звучащее сегодня предположение о наличии в эпосе различных, но сосуществующих авторских начал подтверждается результатами системного текстологического исследования, которое мы предприняли. Нам удалось отслонить от основной (художественной) ткани инородные вставки и вкрапления и выявить сложную структуру посторонних вмешательств, перестановок, заимствований и изъятий, чуждых духу и поэтике исходного художественного текста, который послужил основой «Тихого Дона» 1928 года издания. Надеемся, что эта работа приближает возможность корректно поставить вопрос о реконструкции и авторстве первоначального текста «Тихого Дона»...»

КОРОТКО О КНИГАХ



1. «ТЕПЛЫЙ СТАН». Современный альманах. М. Выпуск 1-й, 1990. Выпуск 2-й, 1991. Выпуск 3-й, 1992.

У старых издателей есть примета: если вышло в свет три номера журнала, то он выживет. В 1992 году появился третий выпуск альманаха «Теплый стан».

Все они внешне не похожи друг на друга. Разнятся объем, оформление, формат. В третьем выпуске даже не указано, что он третий. По-разному организовано и содержание альманахов: в одном выпуске есть рубрики, в других нет... Это не формальности. Складывается впечатление, что альманах еще не устоялся, его создатели продолжают поиск. Но многое уже найдено.

От многочисленных альманахов и журналов, возникших в последние два-три года, «Теплый стан» отличается размахом: в трех номерах, общий объем которых — около 80 печатных листов, представлены произведения примерно ста авторов! И среди них прежде известных совсем немного: Анатолий Ананьев, Анатолий Жигулин, Дмитрий Евдокимов, Иван Жданов, Иван Киуру... Но подавляющее большинство — новые имена.

Объединить такую уйму литераторов под каким-либо одним знаменем — задача почти невозможная. Но, уйдя от жесткого единства, создатели альманаха сумели не попасть в другую ловушку: всеядности. Поверх идейных и эстетических барьеров авторы альманаха образуют некую душевную общность. Можно бы сказать — духовную, но душевную — все же точнее.

Именно об этом пишет главный редактор Михаил Белавин в предисловии к первому выпуску: «Без собственного взаимосоглашения мы не сможем обновить нашу жизнь... На общечеловеческом и стоит литература, она и путь к согласию, и само согласие... Схождение — согласие — сближение. Это «троедние», обновляя, возродит нас. Построится не Вавилонская башня взаимного непонимания, а теплый стан человеческий...»

Михаил Белавин сформулировал задачу, которая не стесняет ни жанров, ни стилей. В выпусках «Теплого стана» — весь журнальный набор: проза, поэзия, литературная критика, немного публицистики, правда, политики почти нет. Зато есть редкий

гость в журналах — драматургия. Есть и вещь достаточно новая: «Книга в альманахе», то есть крупные подборки произведений одного автора, организованные по принципу книги.

Работы ста писателей — это почти библиотека, и любой ее обзор неизбежно будет очень субъективным. С моей точки зрения, интересно заявили о себе прозаик и поэт Михаил Чернушенко, прозаики Александр Яковлев, Виктор Визгин, Алла Рахманина, Игорь Дудинский, драматург Мария Арбатова... Кто-то назовет иные имена, но, наверное, все или почти все сойдется в том, что очень крупных открытий «Теплый стан» пока не совершил. Но можно ли ставить это ему в вину? Подумаем: удалось ли вести совместными усилиями всех наших издательств, журналов, альманахов за последние два-три года в общекультурный обиход хотя бы одно бесспорное и крупное дарование в прозе, поэзии или драматургии? Пожалуй, нет. Что — оскудела наша земля талантами? Не думаю. Причины, на мой взгляд, иные. В последние годы к нам вернулось из запретного небытия немало книг, ставших вершинами творчества крупнейших писателей века. Это так резко подняло планку в литературе, что даже заслуги бывших кумиров читатели и критики теперь оценивают поскромнее. А что уж говорить о начинающих...

Есть и другая причина отсутствия сенсационных открытий в литературе. Вырвавшись из-под глыб политической и эстетической цензуры, разлившись по десяткам новых издательств и журналов, разбившись на течения, рукава и протоки, литература обрела новое качество: спокойную естественность развития. А политизированное массовое сознание пока еще не может воспринимать как сенсацию, как событие художественное чисто эстетические открытия. И появление просто хорошего писателя (не борца, не нарушителя запретов, не волка, который ушел за флажки) не привлекает большого внимания аудитории (которая тоже, кстати, расходится и дробится). Сегодня вообще вряд ли возможна такая ситуация, когда писатель «просыпается знаменитым». Даже «новый Гоголь» явится скромно, бесшумно, и прежде чем все осознают, кто он такой, минет немало времени и много утечет типографской краски...

Как это ни парадоксально, но нынешняя ситуация практически не меняет главную задачу журналов и альманахов: им по-прежнему предназначено печатать работы новых писателей, давать им возможность заявлять о себе, рассчитывая при этом не на мгновенный успех, а на медленные годы беспрестанного труда. «Теплый стан» делает как раз это.

Впрочем, нечто подобное можно сказать и о других альманахах, журналах. В чем же тогда (кроме размаха) особенность «Теплого стана», где его ниша в литературе?

Для ответа посмотрим на некоторые другие из недавно появившихся, но уже известных литературных изданий. «Соло» и «Вестник новой литературы» (о них «Новый мир» уже писал) включают в круг своих авторов главным образом так называемых постмодернистов, выходящих из андеграунда, откровенно и сознательно элитарных. «Странник» обращен в основном в прошлое, его важнейшая тема — разоблачение большевизма, сталинизма и советской власти как таковой. Преобладают мемуаристика, тема истории в серьезном и интеллигентном альманахе «Дядя Ваня». Добротный альманах «Завтра» печатает фантастов. «Твердый знак» производит впечатление домашней забавы юных интеллектуалов — порой это неглупо и даже небездарно, чаще скучно и невнятно; читая этот журнал, чувствуешь себя как новичок в давно спешившей компании, где говорят на своем языке и смеются непонятным тебе шуточкам...

«Теплый стан» нашел свою нишу, открыв двери новым (молодым, но очень молодым и вовсе пожилым) авторам, которые работают в более или менее традиционной реалистической манере, эстетически чужды многообразному авангарду и пишут в основном о днях сегодняшних. На сотнях страниц альманаха представлены именно новые реалисты. Добавим, что страницы эти не залиты кровью и спермой, что там нет сенсационных тем и разоблачительных инвектив. Это спокойное, серьезное и — в меру таланта авторов — глубокое исследование психологии современного человека. И психологии общества. Не забывается и прошлое, в котором кроются истоки сегодняшнего плачевного состояния душ. И высвечивается «дорога к Храму», по которой предстоит подняться из котлована.

II. «ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ». 1992, № 1. М.

В отличие от «Теплого стана», уже доказавшего свою устойчивость, журнал «Здесь и теперь» — дебютант, и его будущее туманно. Впрочем, это не единственное и не главное отличие: «Здесь и теперь» именно журнал, а не альманах.

За последнее время журналов возникло гораздо меньше, чем литературных альманахов. И это объяснимо: в столах писателей томилось много прозы и поэзии, неизвестных читателю не только из-за цензуры, но

и в силу эстетических ограничений традиционных толстых журналов. Накопившаяся к концу 80-х годов критическая масса неопубликованной литературы дала «альманашный взрыв». А статьи по философии, культурологии, литературоведению, искусствознанию тем временем все же находили место на страницах журналов, еженедельников, газет. И острой потребности в новых гуманитарных журналах не возникло. На мой взгляд, нет ее и сегодня. Но живая культура тем и увлекательна, что легко опрокидывает подобные теоретические рассуждения, неожиданно выбрасывая из своего ствола новые побеги.

Направление журнала в трех словах сформулировано на его обложке: «Философия. Литература. Культура». Название журнала — «Здесь и теперь» — может ввести читателя в заблуждение, как бы обещая реакцию на сиюминутные события. Но создатели понимают его имя несколько иначе: «Сверхзадача журнала запечатлена в его названии — это Россия сегодня, попытка понять, что же кроется за этим будничным, в общем-то, словосочетанием. У нас нет «Ответов с решениями»; деятельность в слове, словом имеет своим существенным итогом новые вопросы, ответы на которые — результат жизни... Одно ясно наверняка: нынешние катаклизмы... невозможно понять вне собственной и мировой истории, и потому: точка здесь и теперь — не самоизоляция в настоящем и здешнем, но тот фокус, который должен собирать смысловые токи со всего временного и географического пространства культуры».

Именно в таком взгляде заключается особенность и новизна журнала. В его первом номере — лекция Мераба Мамардашвили «Закон инакомыслия», статьи Марка Туровского «О зависимости культуры от философии» и Станислава Джимбинова «Возвращение русской философии», беседа с Владимиром Библером, озаглавленная «О культуре, об ее доминанте и еще — о цивилизации», доклад Михаила Гаспарова «Метрическое соседство Оды Сталину О. Мандельштама... Имена и тематика говорят сами за себя. И в частности, показывают, что «Здесь и теперь» ориентирован на весьма подготовленных гуманитариев. А разговор о сегодняшней России ведется в очень широком смысловом, пространственном и временном контекстах, разумеется, лишенных любых политических или националистических заморочек. Значительной выглядит подборка материалов, посвященных вопросам киноискусства: беседы с Олегом Янковским, Вадимом Абрашитовым, Юрием Норштейном, статьи Леонида Костюкова и Ирины Шиловой; кроме того, опубликован неизвестный сценарий Андрея Платонова «Воодушевление». Эта попытка проследить достаточно глубинные и долгосрочные тенденции в нашем кино, на мой взгляд, удалась.

И по объему и по глубине философско-культурологическая часть журнала весомей и богаче, чем его литературно-художественный отдел. Проза в нем представлена двумя новыми именами: Григорий Петров и Светлана Максимова.

Рассказы Григория Петрова «Лукавые мытари» и «Хождение Ефимии» погружают читателя в самые низы общества. Жестокая реальность скудного быта и грубых нравов описана жестким, несентиментальным стилем. Но автор показывает эту черноту жизни не для того, чтобы вновь (в который раз!) заставить читателя ужаснуться. Для Петрова такая жизнь — преддверие иной, высокой и светлой жизни небесной. И в его рассказах есть люди, прозревающие такой исход своей жизни, не ограниченной скудостью земного бытия. Думаю, что проза Григория Петрова точно нашла место на страницах «Здесь и теперь»: сегодня среди россиян такое мировидение все чаще становится духовной основой выживания, и понять Россию вне этого феномена едва ли можно.

Рассказы Светланы Максимовой — «о странностях любви». «Нам всем знакома

эта мучительная страсть». А также известно, что «любовь такая штука: в ней так легко пропасть, зарыться, заблудиться, затеряться...». Именно это, по-моему, и случилось со Светланой Максимовой: она заблудилась в избыточно усложненных психологических хитросплетениях собственных сюжетов. И оттого ее рассказы, увы, малопонятны и скучны. Чтение, конечно, труд. Но все-таки радостный, а не каторжный. А дешифровка прозы Максимовой требует уже почасовой оплаты...

Итак, насколько нужно читателям новое издание, созданное усилиями всего двоих людей — Михаила Немцова и Дмитрия Кудри — и выпущенное тиражом в 5 тысяч экземпляров? Не буду категоричен, однако мне представляется, что именно такие частные, небольшие, независимые журналы, дорожащие своим особым взглядом на жизнь, и должны составить арматуру возрождаемой российской культуры, создавая в ней определенное многоголосие.

Георгий Вирен.



**В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ РОМАН
ЕВГЕНИЯ ЛАПУТИНА «ПРИРУЧЕНИЕ АРЛЕКИНОВ»
И НОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ИВАНА ОГАНОВА
«ПЕСНЬ ВИНОГРАДАря ОСЕНЬЮ».**

**Не забудьте вовремя продлить
Вашу подписку на вторую половину 1993 года!**

Читайте в 1993 году:

«ПРОКЛЯТИЯ КРЕСТЬЯН ПАДУТ НА ВАШУ ГОЛОВУ...»

**Секретные обзоры крестьянских писем в газету «Правда»
в 1928—1930 годах**

Публикация и комментарии Т. М. ВАХИТОВОЙ и В. А. ПРОКОФЬЕВА

* * *

...Я прочитал в № 41 «Правды» о том, что в Германии женщины ищут работы, долго простаивая у биржи в ожидании, чтобы их кто-нибудь нанял. Почему вы не описываете, сколько у нас безработных по всему СССР? Этого вы не видите, как будто у нас безработицы нет. В том же номере читаю: «Голод в Бессарабии, пограничники бегут в СССР». В Одесском округе, в Витебской губ. и в других губерниях получают только по полфунта на еду и налог по самообложению платят. Есть инструкция, чтобы по самообложению не выше 25% с налогового рубля, а в Омском округе уже свои инструкции — и по 100% дерут и объявляют в 3-дневный срок, а у не уплативших в срок описывали имущество и сразу же продавали. Разве это свобода? Это каторга. И хотя еще, чтобы все слились в коммуны. Пусть служащие и организаторы сами пример покажут и из общего котла кушают. А то сами не хотят, а крестьян толкают, сами же думают только о том, чтобы больше жалованья получить, лучше погулять и легче пожить. Есть еще в номере 45 воззвание о том, что за миролюбивыми разговорами и договорами буржуазии скрывается война между рабочими и крестьянами. «Будьте готовы к защите Советского Союза». Защищайтесь вы сами, коммунары, довольно, обманули вы нас, крестьян и батраков, довольно с нас шкуру драть. Долой шкуродерскую власть, особенно Омский округ.

Семенов Григорий Васильевич.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 90)

...Вы печатаете, что китайцы-крестьяне идут в армию из-за того, что у них нет земли, хлеба и работы, а почему вы не пишете о своих крестьянах, которых советская власть или ваша свобода разорила? Хлеб отняли, налоги большие, паи в кооперации большие, на чужестранцев хлеб собирают, а своих, русских, голодом морят. Кругом рабочих и крестьян обманули, вся власть держится на штыках. Николая зовут кровопийцем, а вот самая свобода, т. е. кровопийство хуже крепостного права пришло. Царь насильно ничего не просил, а теперь на насильи вся власть держится.

Даже красноармейцы и те сознают, что кругом обмануты. Лес, хлеб, пушнину и золото гонят за границу. Над нашей Россией смеются, хуже теперь стало, чем в крепостное право. Дали волю и разврат бабам, сифилис развели, кругом насилие. За свои собственные деньги крестьянин и служащий и чернорабочий должны стоять в очереди: что дают, то и бери. Та ли жизнь была при частной торговле?

Рабочие, крестьяне и служащие просят Англию, Америку и Японию выручить нас из этой пропасти и от подлых коммунистов.

Кологривов.
(Ф. 520, оп. 1; лл. 22—23)

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

*

PRZEBINDA G. Włodzimierz Solowjow wobec historii. Krakow. Arka, 1992. 247 S. (Z dziejow myśli rosyjskiej. T. 1).— Пшебинда Г. Владимир Соловьев против истории.

Фигура В. С. Соловьева издавна вызывала интерес в Польше, однако аннотируемое издание — первая польская монография, целиком посвященная русскому мыслителю. Ее автор — молодой краковский ученый Гжегож Пшебинда, в 80-е годы опубликовавший несколько статей о Соловьеве в католическом журнале «Знак». Книга содержит изложение философских воззрений Соловьева в целом; особые разделы ее посвящены соловьевской теологии, этике, эстетике, взглядам философа на католицизм, его экуменическим воззрениям, взаимоотношениям с Л. Толстым и Достоевским, политической публицистике. Автор считает историкоцентризм наиболее характерной чертой философского мышления Соловьева: «Исходя из чувства историзма, Соловьев приходил к своим метафизическим теориям», — при этом подчеркивается, что сам историзм у Соловьева «надъисторичен». В попытках же примирить гуманизм с христианством, абсолютом с историей, универсализм с патриотизмом, равно как и в своих экуменических стремлениях, Соловьев, считает ученый, «опередил не только русскую мысль, но во многом — и европейскую».

Имеется обширная и полезная библиография, включающая польскую соловьевяну. Монографией о В. Соловьеве Г. Пшебинда начинает задуманную им серию книг «Из истории русской мысли»; надеемся, что первым томом эта серия не ограничится.

К. Д.

WLADIMIR SOLOWJEW. Schriften zur Philosophie, Theologie und Politik. Werkausgabe. Mit einer biographischen Einleitung und Erläuterungen von Ludolf Müller. München. Erich Wewel Verlag. 1991. 283 S.— Владимир Соловьев. Статьи по философии, теологии и политике. С биографическим введением и объяснениями Лудольфа Мюллера.

В Германии основные сочинения В. С. Соловьева давно известны и доступны — во многом благодаря подвижнической работе доктора философии и теологии профессора Тюбингенского университета Лудольфа Мюллера. Автор множества трудов о Соловьеве и переводчик многих произведений философа, профессор Мюллер тем не менее полагает, что появление ряда новых изданий Соловьева и работ о нем в России в последние годы служит поводом «и для нас, немцев», более интенсивно, чем ранее, заняться изучением наследия русского философа. Смысл настоящего издания Л. Мюллер видит в том, чтобы дать немецкому читателю впечатление о характере личности Соловьева, о многообразии его творческих поисков, о своеобразии его мыслей и веры.

Сборник включает переводы (Л. Мюллер, И. Вилле и др.) небольших статей и фрагментов из сочинений философа разных жанров (от юношеского письма к кузине до предсмертного пророчества «По поводу последних событий»), а также наиболее известные стихотворения («Панмонголизм», «Вновь белые колокольчики») и др. Как свойственно немецким изданиям такого рода, все тексты сопровождаются комментариями, в которых учтены самые последние отечественные публикации и работы; имеется обширная библиография, а также указатели — предметный и именной — упоминаемых произведений Соловьева, ветхозаветных и новозаветных цитат. Все это делает аннотируемое издание весьма полезным не только для желающего ознакомиться с творчеством Соловьева немецкоязычного читателя.

VLADIMIR SOLOVIEV. Le développement dogmatique de l'Église. Traduction et présentation par François Rouleau et Roger Tandonnet. Paris. Desclée. 1991. 210 P. (Collection «La nuit spirituelle»).— Владимир Соловьев. Догматическое развитие Церкви. Перевод и представление Франсуа Руло и Роже Тандонне

Если собственно философское наследие Соловьева имеет глубоких истолкователей в Германии, то его экклезиологические сочинения традиционно находятся в центре внимания католического, в частности французского, богословия. Знаток и ценитель русской духовной культуры, сотрудник Славянской библиотеки в Париже, основанной еще князем И. С. Гагариным, отец-иезуит Франсуа Руло предварил перевод соловьевского трактата кратким, но емким и содержательным введением, в котором подчеркнул выдающийся вклад русского философа в разработку проблемы догматического развития. Так как экклезиология Соловьева в России до сих пор практически не изучалась, но при этом оказывалась предметом резкой полемики и псевдобогословских (чаще всего) риторических обличений или апологий, небольшая по объему работа о. Ф. Руло повернет (хотелось

бы) отечественных историков и богословов к более спокойному, академическому отношению к трудам Соловьева по церковным вопросам.

В книгу также включены переводы других работ: «Письмо в редакцию „Православного обозрения“», «Ответ анонимному критику» и «Значение догмата» (из «Пасхальных писем»). Тексты снабжены подстраничными примечаниями переводчиков; имеется небольшая библиография, указатель имен.

VLADIMIR SOLOVIEV. Le judaïsme et la question chrétienne. Traduit du russe par M. Mathon, F. Lovsky, F. Rouleau et R. Tandonnet. Préface d'Alain Besançon. Paris. Desclée, 1992. 191 P. (Collection «La nuit spirituelle»).— **ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ.** Еврейство и христианский вопрос. Перевод с русского М. Матона, Ф. Ловски, Ф. Руло и Р. Тандонне. Вступительная статья Алена Безансона.

Настоящее издание французского перевода работы В. Соловьева примечательно по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, в распоряжении издателей находится экземпляр соловьевской брошюры с авторскими пометами (хранится в Славянской библиотеке в Медоне), которые воспроизведены в подстраничных примечаниях; во-вторых, книге предпослано обширное предисловие известного философа и политолога Алена Безансона, в котором проблема национального мессианизма и богоизбранности анализируется с позиций христианского богословия (что для отечественного читателя, измученного политическими спекуляциями вокруг национального вопроса, весьма полезно). В издание включены также переводы других работ Соловьева по данной теме («Грехи России», «Протест против антисемитического движения в печати» и письмо Файвелло Гетцу).

Оформление и аппарат книги серийные (см. предыдущую аннотацию).

А. Н.

—◆—

**В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ
НЕИЗВЕСТНУЮ ПЬЕСУ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
«НОЕВ КОВЧЕГ»**

Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста
и комментарии Н. В. Корниенко

Не забудьте вовремя продлить
Вашу подписку на вторую половину 1993 года!

В 1987 году в журнале «Новый мир» была опубликована повесть Даниила Гранина «Зубр» о русском ученом Н. В. Тимофееве-Ресовском, которая вызвала оживленную, зачастую ожесточенную полемику и положила начало трудному процессу восстановления доброго имени ученого.

Редакция «Нового мира» с удовлетворением сообщает своим читателям, что в конце 1992 года сын Тимофеева-Ресовского Андрей Николаевич получил справку об официальной реабилитации отца.

Господа зарубежные подписчики!

Редакция журнала «Новый мир» приносит вам свои глубочайшие извинения за некорректное поведение фирмы «Найманис». Мы не отрицаем и своей вины. Мы не поняли вовремя создавшегося положения. Фирма «Найманис», ее глава г. Сикоев оказались некорректными и неплатежеспособными, они не выполнили условия договора с нами, не перевели нам ни пфеннига за номера журнала «Новый мир» с 1 по 4 за 1992 год.

Мы порвали отношения с «Найманисом» и передали материалы в суд города Мюнхена.

Господа подписчики! Мы рекомендуем вам потребовать деньги с фирмы «Найманис» за номера с мая по декабрь и подписаться на эти номера и на весь 1993 г. через фирму «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner
Postfach 340108 D 8000
München 34 Germany
Tel (089) 522027
Telex 5216711 kusa d

Одновременно мы благодарим фирму «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Комплекты журнала с мая по декабрь вы получите уже через «КУБОН УНД ЗАГНЕР». Точность и корректность — генетические свойства баварской фирмы «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Имейте дело только с фирмой «КУБОН УНД ЗАГНЕР»!

Господа подписчики! Ваше внимание к «Новому миру» мы ценим очень высоко, своей подпиской вы поддерживаете не только нас, но и российскую культуру.

Каждый номер «Нового мира» — это серьезная книга. 12 номеров — это собрание сочинений, в котором обязательно присутствуют лучшие произведения современной русской литературы.

Еще раз извините за недальновидность при заключении договора с фирмой «Найманис».

~~«Найманис» — нет!~~

Желаем вам радости, здоровья и удачи!

ПОМНИТЕ! «КУБОН УНД ЗАГНЕР» — ДА!

SUMMARY

Poetry section of the issue contains poems by Marina Kudimova, a poem by Elena Schwartz under the title «The Corpses of March» and «Francesca da Ramini», a lyric tragedy by Eugenia Kunina.

The major prose work of the issue is a novel by Vladimir Sharov, «Before and At the Time Of» (to be continued in № 4). Besides, there is a short story by Marina Paley, «The Trip».

In the section «Comments» Andrey Vasilevsky reviews some publications in the newspaper «North-East» (Novosibirsk).

Victor Yaroshenko in his publicistic article titled «The Endeavor of Gaidar» sums up the year's work of the «government of reforms».

Pavel Penezhko in his essay gives account of reforms in Russian province.

In the «Publication and Reports» section letters of Ariadna Efron and her memories about M. Tzvetayeva are published.

Publication of the book «Goebbels. Portrait Against a Background of a Diary» by Elena Rzhhevskaya (begun in № 2) is continued.

Poet and translator Gregory Kruzhkov in his piece of literary criticism titled «You Are Many Years Late» proposes an interesting hypothesis as to who is the real hero of Anna Akhmatova's «Poem Without a Hero».

«Book Review» section contains information about various editions most recently to appear on the Russian book market.

In our section «Briefly About Books» Georgy Viren tells about the new almanac «Tyoply Stan» and the new magazine «Here and Now».

In the section «Foreign Book About Russia» Alexander Nosov annotates recent foreign books about Russian philosopher Vladimir Solovyov.

Читайте в следующем номере:

**АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ: «МЕНЯ УБЬЕТ ТОЛЬКО
ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ ПО БАШКЕ»**

Материалы к творческой биографии. 1927—1932.

**Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста
и комментарии Н. В. Корниенко.**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальпин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Слано в набор 20.12.92 г. Подписано к печати 25.01.93 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.) 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 74 600 экз. Зак. 514. Цена 47 р. (по подписке); розничная цена договорная.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

МЕРРИ ФЕШБАХ, АЛЬФРЕД ФРЕНДЛИ-младший

**Экоцид в СССР. Здоровье и природа
на осадном положении. М. 1992. 308 стр.**

Книге дано название, полностью соответствующее ее содержанию.

Ее написали два американца. Сами о себе мы так не написали бы, не сумели. Не смогли бы собрать столько данных, проанализировать их, свести в таблицы. Таблицы занимают 38 страниц, в перечне источников более тысячи названий.

Скажу об общем впечатлении, которое книга оставляет: я никогда не держал в руках столь страшного издания. Что там книги ужасов — пустяки, частные случаи, на которых по случаю же подрабатывает автор, но когда речь идет о ближайшей судьбе страны (теперь уже — многих стран), о все той же трагической одной шестой части суши, о том, что она на всех парах идет к гибели, вероятно, уже неизбежной, — с чем все это можно сравнить? Ни с чем. Сравнений и аналогий нет и никогда не было.

Загрязнение вод и атмосферы, с каждым днем прогрессирующее, уничтожение лесов и почв, выбросы и катастрофы, подобные чернобыльской, челябинской, норильской на Таймыре, никелевской на Кольском полуострове, — это бедствия, о возможности которых люди не только никогда не знали, но и не могли предполагать, предотвратить которые не смогли и все еще не могут. Это и есть наша собственная экология.

Наша собственная, она тем убедительнее, что дана авторами не сама по себе, а в логической и неразрывной связи с нашей реальной политической, экономической и нравственной обстановкой, в связи с проблемами здравоохранения прежде всего, и реалии эти в изложении авторов не вызывают у нас, действующих лиц трагедии, ни малейших сомнений: все правильно, все так и есть.

Только невероятная инфляция страха, только окончательная замена жизни выживанием могут оставить читателя этой книги равнодушным, отнестись к ней с безразличием.

А если у нас еще есть путь к спасению, тогда на этом пути невозможно миновать книгу Фешбаха и Френдли-младшего.

Книга в кратчайший срок переведена с английского и издана НПО «Биотехнология» (директор — г-н Р. Г. Василев) и Издательско-информационным агентством «Голос» при Славянском фонде России (председатель совета агентства — г-н Н. П. Машовец).

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.